

ИНСТИТУТ К. МАРКСА И Ф. ЭНГЕЛЬСА

*Пролетарии всех стран, соединяйтесь!*

# АРХИВ К. МАРКСА и Ф. ЭНГЕЛЬСА

ПОД РЕДАКЦИЕЙ  
Д. РЯЗАНОВА

КНИГА ПЯТАЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

ИНСТИТУТ К. МАРКСА И Ф. ЭНГЕЛЬСА

*Пролетарии всех стран, соединяйтесь!*

# АРХИВ

К. МАРКСА И Ф. ЭНГЕЛЬСА

ПОД РЕДАКЦИЕЙ  
Д. РЯЗАНОВА

КНИГА ПЯТАЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО  
МОСКВА — 1930 — ЛЕНИНГРАД



И. 1. Гиз № 39593.  
Ленинградский Областлит № 57790.  
31<sup>1</sup>/<sub>8</sub> л. Тираж 7500.

## СОДЕРЖАНИЕ

### ОТДЕЛ ПЕРВЫЙ

СТР.

#### СТАТЬИ И ИССЛЕДОВАНИЯ

К. Шмюкле. Учение Томаса Гоббса о государстве . . . . .	5
*	
И. Рувин. Учение Маркса о производстве и потреблении . . . . .	58
Е. Преображенский. О двух спорных вопросах марксовой теории денег . . . . .	132
*	
Ф. Шиллер. Георг Веерт как поэт «Новой рейнской газеты» . . . . .	160
*	
Ф. Потемкин. К социальной истории французской фабрики . . . . .	202

### ОТДЕЛ ВТОРОЙ

#### ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДСТВА

#### К. МАРКСА и Ф. ЭНГЕЛЬСА

К. Маркс и Ф. Энгельс. Великие люди эмиграции. (Со вступительной статьей Э. Цобеля) . . . . .	261
К. Маркс. Критические замечания о книге Адольфа Вагнера. (С предисловием Д. Рязанова) . . . . .	377

### ОТДЕЛ ТРЕТИЙ

#### МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

М. Беер. Дневник Вильяма Оуэна . . . . .	411
М. Беер. Из биографии Джона Фрэнсиса Брэя . . . . .	415
А. Дживелегов. Восстание чомпи и гуманисты . . . . .	419



	СТР.
ОТДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ	
КРИТИКА И РЕЦЕНЗИИ	
М. Косвен. Теория сакрального происхождения власти . . . . .	431
А. Бергер. Демократическая революция в Византии XIV века. .	447
В. Максимовский. Новые книги о Макиавелли . . . . .	457
Ф. Шиллер. Новые материалы о Вейтлинге. . . . .	466
*	
Ernst Simon. Ranke und Hegel. (Г. Лукач). . . . .	478
Hermann Glockner. Hegel. Erster Band: Die Voraussetzungen der Hegelschen Philosophie. (В. Поп.) . . . . .	482
F. Funck-Brentano. Rétif de la Bretonne. Ames et visages d'autrefois. (М. Дом- манже) . . . . .	486
Walter Geer. Campaigns of the Civil War. (А. Аренский). . . . .	488

ОТДЕЛ ПЕРВЫЙ

СТАТЬИ И ИССЛЕДОВАНИЯ

# УЧЕНИЕ ТОМАСА ГОББСА О ГОСУДАРСТВЕ

(К двухсотпятидесятилетию со дня смерти Т. Гоббса)

Двести пятьдесят лет тому назад, 4 декабря 1679 г., умер Томас Гоббс — «отец атеистов».

Происходя из низших слоев общества, — он был сыном сельского священника, — Гоббс в продолжение всей своей жизни сохранял дружеские отношения с покровительствовавшей ему высокородовитой семьей и был свидетелем великих и величайших исторических событий. Когда он писал свою книгу «О гражданине», началась великая борьба английской буржуазии, борьба «круглоголовых» против «кавалеров», — та кровавая борьба, которая вдохновила гений Мильтона на создание эпической поэмы, в которой сонмы ангелов стреляют из пушек через голову «железнобоких» Кромвеля. В противоположность Мильтону, Гоббс не был другом революции, но все же обратился к ней, когда ее основная политическая задача была решена. Как же это случилось?

Через три года после смерти Гоббса Оксфордский университет вынес постановление, направленное против «некоторых пагубных книг и предосудительных учений, которые могут оказать разрушительное действие на священные княжеские особы, их правительства, государства и все человеческое общество». В список этих торжественно сожженных книг вошли и книги Гоббса «О гражданине» и «Левиафан», прежде всего потому, что они доказывали, что всякая гражданская власть по своей природе происходит из народа и что самосохранение есть основной закон природы. Мы стараемся показать, на каком основании заклятые враги Гоббса могли упрекать *монархиста* Гоббса в *демократизме*. Здесь мы действительно имеем чрезвычайно своеобразное явление.

Влияние философии Гоббса — вызывавшей ненависть одних и поклонение других — оставалось в течение долгого времени огромным. Особенно плодотворными были противоречия его системы, так как они в зеркале «естественного разума» воспроизводили исторические противоречия.

Томас Гоббс, как и Спиноза, который до известной степени находился под его влиянием, был настоящей *bête noire* — как во время английской реставрации, так и в течение многих лет после нее — для всего духовенства Англии; оно видело в Гоббсе виновника и образец всех нравственных и духовных пороков, всякого прегрешения против святого духа «респектабельности».

Ровно через сто лет после того, как Гоббс написал свою книгу «О гражданине», через сто лет после начала гражданской войны, английский епископ Варбуртон писал: «Мальмсберийский философ был пугалом прошлого века..., печать не остывала от полемик, и каждый молодой просвещенный деятель церкви хотел испытать силу своего оружия, нанося громовые удары по железной шапке Гоббса». <sup>1</sup>

Томас Гоббс вращался в обществе величайших и наиболее передовых людей Европы своего века, которых выдвинула философия и наука; он был в дружеских отношениях с *Гассенди*, *Галилеем*, *Мерсенном*, *Гарвеем*... Один из поэтов воспел его как «Колумба золотых стран новой философии». И как раз единственный серьезный противник Гоббса по вопросам теории государства, *Гаррингтон*, автор «Осеапа», называл Гоббса «величайшим мировым писателем современности» и пророчил ему признание будущих поколений. <sup>2</sup>

Мы знаем, что впоследствии политическая теория Гоббса становится основным предметом споров между философами права и что *Руссо* исходил из его учения. С другой стороны, XVIII век воскрешает и материалистическую философию Гоббса: во Франции *Бейль* сохранил его в памяти потомства, *Дидро* и *Гольбах* восхищались им, *Лейбниц* называл его «князем нового философского века».

Впоследствии *Гегель* в своей ранней работе, в создавшей эпоху критике «способов изучения естественного права», отчетливо показывает глубину впечатления, произведенного на него «эмпирическим» миросозерцанием Гоббса. <sup>3</sup>

Пророчество Джемса Гаррингтона исполнилось. <sup>4</sup>

## I

Каким многословным и вялым кажется мне Локк, какими слабыми и ничтожными Лабрюйер и Ларошфуко по сравнению с этим Томасом Гоббсом. — Эта смелость мышления...

*Дидро.*

Широко известна та глава из «Святого семейства», в которой Карл Маркс несколькими четкими штрихами очертил развитие современного материализма со времени Бэкона Веруламского. «Материализм, — говорит там

<sup>1</sup> *George C. Robertson*, Hobbes. Edinburgh and London, 1886, p. 208.

<sup>2</sup> *Ibidem*, p. 223.

<sup>3</sup> Гегель на основании диалектической концепции противопоставляет там «абстрактный» подход к естественному праву «эмпирическому»; под первым он подразумевает учение Канта и Фихте, под вторым — прежде всего Гоббса (хотя имя Гоббса он прямо не называет). Гегель безусловно считает эмпирический образ мышления Гоббса выше абстрактного.

<sup>4</sup> В последние десятилетия снова наблюдается повышенный интерес к философии Гоббса. Международный комитет ученых созвал осенью 1929 г. конференцию в Оксфорде по случаю 250-й годовщины смерти Томаса Гоббса.

Маркс, — прирожденный сын Великобритании. В Бэконе, как первом творце материализма, в наивной еще форме скрыты зародыши всестороннего развития этого учения. Материя улыбается своим поэтическим чувственным блеском всему человечеству. Но изложенное в афористической форме учение Бэкона еще полно теологической непоследовательности. В своем дальнейшем развитии материализм становится односторонним..., чувственность теряет свои яркие краски и превращается в абстрактную чувственность геометра». Великим представителем этого уже более не наивного, а трезво калькулирующего материализма, который сбросил первоначальные фантастические покровы, был Томас Гоббс; он развил свои выводы *абстрактно* и *односторонне*, но вместе с тем *систематически* и *прямолинейно*.

Немного времени прошло со смерти канцлера Бэкона (1626). Гоббс был с ним лично знаком, но впоследствии не очень высоко ценил натурфилософию Бэкона.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Ф. Теннисе в предисловии к третьему изданию своей книги (*Ferdinand Tönnies, Thomas Hobbes, Leben und Lehre*, 3. Aufl. Stuttgart, 1925) резко полемизирует с точкой зрения, согласно которой Гоббс по своему мышлению является учеником Бэкона. Он ссылается раньше всего на биографические данные — так, например, на тот факт, что Гоббс сам нигде не упоминает о такой связи и говорит о Бэконе очень редко, и то случайно, по поводу отдельных моментов, и притом в более или менее отрицательном и даже презрительном тоне. Теннисе подчеркивает далее, что в общем теоретически «между духом «*Novum Organum*» и духом «*De corpore*» разница настолько велика, что последняя книга не только никак не может служить продолжением первой, но скорее эта разница заключает в себе определенное противопоставление». Подводя итоги, он говорит: нужно раз навсегда отбросить и предать забвению ту точку зрения, по которой Гоббс является продолжателем философии Бэкона. Все, что внес сам Теннисе в] изречение мальмберийского философа, заключается в критике этого взгляда, главным представителем которого является Куно Фишер. Если Теннисе осмеивает возражения, состоящие в том, что общий «дух» или общая «атмосфера» бэконовского «*Novum Organum*» продолжает жить в философии Гоббса, и говорит, что с подобным «духом» можно всегда проделывать разные фокусы, то он прав по отношению к своим идеологическим противникам. Теннисе не может все же понять, что даже там, где нельзя установить субъективную связь на основании биографических данных, может существовать *объективная* связь, которая базируется на специфической, общественно-экономической структуре данного исторического периода и может найти свое выражение таким «окружным путем» в «общей сфере» мысли и понятий.

Теннисе прав, когда он подчеркивает большую разницу и даже противоречие между философией Бэкона и Гоббса, но может ли произойти действительное историческое превращение, которое в то же время не заключало бы в себе противоречия? Противоречие между «наивным» индуктивным методом Бэкона и «геометрическим» показательным методом Гоббса, которое Теннисе кладет в основу своего суждения, является как раз таким противоречием, диалектическим противоречием; это — специфическое различие тех форм, в которых развивается материализм Бэкона и Гоббса. Но уже Маркс в указанной главе формулировал с непрезойденной отчетливостью превращение «наивной» формы материализма в «геометрически-механическую». Как раз здесь, в самом «сильном» аргументе Теннисеа, сказывается основная слабость его недиалектической точки зрения. Это ни в какой мере не умаляет того значения, какое имеют для изучения Гоббса прекрасные исторические и биографические исследования Теннисеа, в которых он связывает разработку концепции Гоббса с французскими и итальянскими физиками и натурфилософами (Декарт, Гассенди, Мерсенн, Галилей). Во всяком случае, с приведенными оговорками остается правильным определение Маркса, по которому Гоббс является «систематизатором»

Но какой шаг, какой прыжок вперед! У Гоббса материализм «выступает как рассудочное существо, но зато он с беспощадной последовательностью развивает все выводы рассудка». <sup>1</sup> И в этом заключается другая, положительная и подлинно прогрессивная сторона, уравнивающая ту «односторонность», которую приобретает у Гоббса материалистическая мысль; ведь часто в процессе развития философского и научного мышления подлинный, открывающий эпоху прогресс совершается за счет утраты первоначально существовавших элементов, к которым снова возвращаются лишь впоследствии. Но в пределах односторонности и «геометрической» абстрактности исходной точки зрения Гоббса, о которой в дальнейшем будет сказано подробнее, философия Гоббса благодаря своему сугубо систематическому, последовательному, «прямолинейному» характеру и своей совершенно энциклопедической тенденции поистине достойна восхищения. Поэтому французские реставраторы Гоббса в XVIII веке <sup>2</sup> считали его своим. И именно в этом смысле впоследствии говорил Энгельс о Гоббсе как о «первом новейшем материалисте» вообще, — новейшем «в смысле XVIII века». <sup>3</sup>

Возьмем написанные Гоббсом «Возражения на «Размышления» Декарта». Идеалистические историки философии, которые особенно охотно рассматривают сочинения Гоббса только как дополнение к «*Novum Organum*» Бэкона или даже хотят из цельного материализма Гоббса сделать половинчатый идеализм, «феноменализм», придают исключительно большое значение декартовскому принципу «*cogito ergo sum*» и особенно метафизической стороне философии Декарта. Но послушаем, что говорит Гоббс в своем втором возражении на «Размышления» Декарта: <sup>4</sup> «Я — мыслящее существо: это правильно. Именно потому, что «я мыслю», следует, что я — мыслящий, потому что «я мыслю» или «я — мыслящий» обозначает одно и то же... Но когда Декарт прибавляет: это значит «дух, душа, разум, рассудок», то у меня возникают сомнения, потому что вряд ли правильным был бы такой вывод: я — мыслящий, следовательно я — мышление, или: я — разумеющий, следовательно я — разум. Ибо таким же образом мог бы я сказать: я — гуляющий, следовательно я — прогулка... Одно дело само существующее, другое — его сущность. Следовательно, мыслящее существо,

бэконовского материализма». Мы не имеем возможности входить в подробности этих взаимоотношений и только заметим, что Теннисе ни разу не упоминает о точке зрения Маркса.

<sup>1</sup> К. Маркс, Святое семейство. Собрание сочинений (1929 г.), т. III, стр. 157.

<sup>2</sup> О влиянии Гоббса на немецких философов ср. G. Zurt, Einfluss der englischen Philosophie seit Bacon auf die deutsche Philosophie des 18. Jahrhunderts. Berlin, 1881. Ансельм Фейербах, известный юрист, отец философа Людвиг Фейербаха, написал знаменитый труд «Anti-Hobbes oder über die Grenzen der höchsten Gewalt...», Erfurt, 1798.

<sup>3</sup> В письме к Конраду Шмидту от 27 октября 1890 г.; см. «Sozialistische Monatshefte», 1920, т. 55, стр. 871 — 876.

<sup>4</sup> Мы цитируем произведения Гоббса, за исключением «Элементов естественного и государственного права» («*Elements of Law natural and politic*») и «Левифана» по лондонскому изданию William Molesworth: «*Thomas Hobbes, Opera philosophica*», vol. I — V (1839 — 1845). — Obiectiones ad Cartesii meditationes, см. т. V, стр. 251 — 274.



хотя и является субъектом по отношению к уму, разуму, рассудку, в то же время может быть чем-то конкретным. Декарт придерживается противоположного мнения, но бездоказательно». И трижды подчеркивает Гоббс в том же месте, являющемся только введением к критике, этот вывод: «мыслящее существо есть нечто телесное», «мыслящая субстанция материальна», «субъект вечной деятельности, очевидно, можно мыслить только как понятие чего-то телесного или материального», и, наконец, в самом положении «*cogito ergo sum*» мы не можем отделить мышление от мыслящей материи и т. д.<sup>1</sup> И позже в тех же возражениях мы находим классическую, создавшую эпоху, — несмотря на всю свою абстрактно-логическую примитивность, — критику *идеи бога*. Гоббс говорит, что здесь происходит то же, что и со слепым от рождения, который неоднократно испытывал действие огня и часто слышал, как его называют, а отсюда вывел заключение о *существовании* этого огня, не имея ни малейшего понятия или представления о его образе и цвете. «Так человек сознает, что должна существовать какая-то причина его представлений и идей, и эта причина, в свою очередь, должна тоже иметь причину и т. д. В конце этого ряда он ставит вечную причину, которая для своего возникновения не требует предыдущей причины, так как она никогда не начинала существовать; так заключает человек, что существование чего-то вечного необходимо; он не имеет никакого понятия об этом вечном, но обозначает и определяет его словом бог, тем, во что он уверовал и что он признал». И Гоббс сухо заявляет: ему (Гоббсу) кажется, что идея бога вообще не существует в человеке.<sup>2</sup>

Одна основная мысль, один критический метод проходит через гоббсову полемику против «Размышлений» Декарта. Очевидно, что критика *идеи бога* является только логической вариацией, вернее — дальнейшим выводом из материалистического возражения против превращения мышления в обособленное, оторванное от конкретного мыслящего субъекта, в духовную сущность. Гоббс был другом Гассенди и был его соратником в борьбе против метафизики Декарта.

Физический материализм в той ограниченной форме, какую ему придал Декарт, неразрывно связан со своей субстанциальной противоположностью: метафизикой, младшей сестрой средневековой теологии. Физика и метафизика у Декарта противостоят друг другу именно потому, что они обитают в строго разграниченных сферах. Оба элемента философии Декарта играют значительную роль в дальнейшем развитии новой философии: они окончательно отмежевываются друг от друга и образуют два особых направления, борьба которых заканчивается в XVIII веке всесторонней критикой метафизики и ее окончательным поражением.

Но уже с самого начала выступают против картезианской метафизики ее решительные материалистические противники: во Франции — Гассенди,

<sup>1</sup> Стр. 252 — 253. Ср. также «*De corpore*», где в V главе говорится о «заблуждении, ошибке и материальных выводах» и повторяется пример с «прогулкой».

<sup>2</sup> Том V, стр. 259 — 260.

в Англии — Гоббс, «отец атеистов».<sup>1</sup> И совершенно естественно, что просветители XVIII века, которые добились метафизику, опирались на обоих своих предшественников XVIII века и особенно отдали должную честь Гоббсу.

«Метафизика XVII века, — говорит Маркс, — главным представителем которой во Франции был Декарт, должна была со дня своего рождения вести борьбу с материализмом. Материализм выступил против Декарта в лице Гассенди, возродившего эпикурейский материализм. Французский и английский материализм всегда сохранял внутреннюю связь с Демокритом и Эпикуром. Другого противника картезианская метафизика встретила в лице английского материалиста Гоббса. Гассенди и Гоббс победили свою противницу спустя долгое время после своей смерти, в то время, когда она официально господствовала во всех французских школах».<sup>2</sup>

Критика «Размышлений» Декарта, те краткие, тематические, подобные тезисам «Возражения», которые Гоббс переслал в январе 1641 г. Декарту через их общего друга Мерсенна, представляют собою славную страницу истории материализма.<sup>3</sup>

Они представляют собою весьма важное введение<sup>4</sup> к обширным трудам, в которых Гоббс разработал впоследствии отдельные части своей системы. К этому же времени (1640 г.) относится его труд «Элементы естественного и государственного права», который в основном уже содержит его взгляды на государство и право.<sup>5</sup>

В дальнейшем мы пытаемся выяснить только некоторые особые черты

<sup>1</sup> Теннисес в своем, весьма ценном, — но, к сожалению, ошибочном в основных теоретических моментах, — исследовании опубликовал очень интересный документ, относящийся к 1652 г., в котором запечатлено приведенное выражение; это — письмо одного активного представителя роялистской эмиграции, касающееся возвращения Гоббса в Англию в эпоху диктатуры Кромвеля (стр. 44).

<sup>2</sup> Маркс, Святое семейство. Собрание сочинений, т. III, стр. 155.

<sup>3</sup> Дидро, автор статьи «Гоббсизм» в «Энциклопедии» (Невшатель, 1765, т. VIII, стр. 232 — 241), приводит основное содержание этой критики в следующей краткой форме. «Декарт сказал: я мыслю, следовательно я существую. Гоббс сказал: я мыслю, следовательно материя может мыслить. Из этой первой, установленной Декартом аксиомы: я мыслю, следовательно я существую, он сделал вывод, что мыслящее существо является чем-то телесным» (стр. 233).

<sup>4</sup> Тем более странно, что Теннисес отделяется от «Возражений» Гоббса несколькими краткими словами, и здесь, как вообще во всей книге, противоположность теории Гоббса метафизике Декарта совершенно отодвинута на задний план по сравнению с тем, что является общим для обоих мыслителей (стр. 102, 107 цитированного труда). Ср. с этим, например, *Georges Lyon*, *La philosophie de Hobbes* (Paris, 1893), где совершенно правильно посвящена особая глава полемике его с Декартом. Интересно одно место, цитируемое самим Теннисесом из сочинений Aubrey, старого биографа Гоббса. «Он [Гоббс] обычно говорил, что если бы Декарт придерживался геометрии, то он стал бы величайшим мировым геометром. Гоббс не мог ему простить того, что он писал в защиту догмата пресуществления, что делал исключительно с целью полстить пезуитам» и т. д.

<sup>5</sup> Английский оригинальный текст «Элементов» был переиздан Теннисесом в 1889 г. в Лондоне с предисловием, критическими замечками и послесловием. Немецкий перевод, сделанный также Теннисесом, снабжен введением и издан недавно, в 1926 г., в Берлине. В дальнейшем мы цитируем «Элементы» по этим изданиям.

философии Гоббса; мы касаемся натурфилософии и антропологии, лишь поскольку это необходимо для понимания философии государства, и стараемся раскрыть, наряду с формальным характером системы Гоббса *в целом*, главным образом его *метод*.<sup>1</sup>

Система, план которой Гоббс уяснил себе еще в Париже до 1640 г., с самого начала распадалась на три части. «Кто захочет, — читаем мы в первой части, в учении о теле, — исследовать сущность тел, тот будет иметь дело прежде всего с существенно отличными друг от друга видами тел». Один вид охватывает *естественные предметы*, произведения природы, другой — те предметы, которые возникли благодаря человеческой воле, в частности — из заключения соглашений и договоров людей между собою: *общество и государство*. «Отсюда происходят обе части философии: философия природы и философия государства». Но знание человеческих наклонностей, аффектов и нравов является предпосылкой для понимания природы государства, и поэтому следует расчленить философию государства на два отдела, из которых первый изучает этику, а второй — политику или философию государства в собственном смысле.<sup>2</sup> Следовательно, система Гоббса фактически представляет собою трилогию, состоящую из учения *о теле, человеке и гражданине* (*De corpore, De homine, De cive*).

Замечательна в этом *энциклопедическом* плане философского миросозерцания та строгость, с какой Гоббс изображает все сферы естественного и общественного мира как единую *механическую* систему, как механизм, регулируемый законами механики. Он заявляет, что *«все в природе совершается механически и что все явления вещей происходят из материи, возбужденной разнообразными по виду и размеру движениями, как в отношении ощущений живых существ, так и в отношении качеств других тел»*.<sup>3</sup>

Поэтому философское мышление, как мышление в собственном смысле, для него является по существу вычислением, даже просто сложением и вычитанием. Все рассматривается в аспекте *чисел и фигур*.

Оригинальное в работах Гоббса заключается в том, что он подчиняет этому своему механическому миросозерцанию мир общества и распространяет «геометрический» метод на изучение человека и государства. Это именно углубляет противоположность между Гоббсом и Бэконом и делает его миросозерцание всеобъемлющим.

Как известно, Декарт не репался переносить на человека то, что считал правильным по отношению к *животному*, которое он считал своего рода машиной. В приведенных «Возражениях» от 1641 г. Гоббс отвечает ему по вопросу о содержании сознания: «Страх, конечно, сознание, но я не понимаю, как он может быть *чем-нибудь другим*, если не сознанием *предмета*,

<sup>1</sup> Мы отсылаем к предисловию А. Деборина к русскому изданию «Избранных сочинений» (Томас Гоббс, Избранные сочинения. Пер. А. Гутермана. Институт Маркса-Энгельса. Госиздат, 1926).

<sup>2</sup> «De corpore», гл. I. Ср. «De cive», Предисловие.

<sup>3</sup> Ср. *Теннисес*, стр. 100.

которого кто-нибудь боится. Что же такое страх перед львом, который бросается на нас, как не представление о таком льве и как не действие, которое производит такое представление в душе, — действие, благодаря которому боящийся побуждается к тому животному движению, которое мы называем бегством. Это бегство безусловно не составляет содержания сознания». Или дальше, в том же шестом возражении: «Если мы имеем суждение о том, что человек бежит, то в нашем сознании нет ничего, кроме того, что есть в сознании собаки, которая видит, что ее хозяин бежит». Итак, здесь нет ни малейшей разницы между человеком и животным. Как у человека, так и у животного внешние возбудители, действующие на чувства, являются тем рычагом, который приводит в действие механизм внутренних и внешних «движений» (представление, воля, страх, бегство и т. д.).<sup>1</sup>

В высшей степени интересно проследить возникновение нового материалистически-механического мирозерцания и соответствующего ему метода в развитии Гоббса. По свидетельству самого Гоббса, искрой, воспламенившей его, были «Элементы» Евклида;<sup>2</sup> его внимание привлекло к себе не предметное содержание евклидовой геометрии, а геометрический метод, метод определения и доказательства раньше всего. Отныне ему кажется, что в этом методе он обрел безошибочное орудие науки.

Он ставит себе вопрос: как все это случилось, что именно в геометрии логическое мышление достигло таких больших результатов, а не в исследовании человеческого мира? Только потому, — отвечает он себе, — что в человеческом мире истина и человеческие, вернее — общественные интересы вступают между собою в конфликт; в геометрии же подобный конфликт не имеет места. Как только мы стали бы сравнивать между собой людей, а не линии и фигуры, мы сейчас же натолкнулись бы на интересы (права, привилегии и т. д.). Следовательно, проблема состоит в том, чтобы отвлечься от всяких человеческих интересов и следовать за чисто созерцательной мыслью, освободившейся от этих интересов. Тогда, при помощи евклидова метода мышления, должно стать возможным философски изобразить не только геометрию и физику, но и «естественное право».

Еще раньше, — рассказывает сам Гоббс, — он много думал о причине восприятия и пришел к такому заключению: «Если бы все телесные предметы и их части находились в состоянии покоя или всегда находились в одинаковом движении, то всякое различие между предметами, следовательно и

<sup>1</sup> Том V, стр. 261 — 262.

<sup>2</sup> Aubrey, первый биограф Гоббса, рассказывает об этом следующее: «Находясь в библиотеке одного джентльмена..., он нашел «Элементы» Евклида, которые лежали открытыми на 47-й стр. первой книги, и прочел теорему. «Клянусь богом, — сказал он, — это невозможно». Он прочел это доказательство, которое отсылало его к другому, прочитал также последнее и так далее, пока, в конце концов, не убедился наглядно в истине. Тогда он влюбился в геометрию». См. *Robertson, Hobbes*, p. 31. «О себе самом, — пишет Робертсон, — он прибавляет, что способ рассуждения в большей мере, чем содержание, приковал его внимание и с этого дня сделал его прилежным учеником Евклида».

восприятие, должно было бы исчезнуть; поэтому *причину всех вещей следует искать в различии движений*. И это стало его [Гоббса] *первым принципом*, только после этого он пришел к геометрии, для того чтобы познать различия и взаимоотношения движений». <sup>1</sup> В этом мы уже находим основные принципы гоббсовского мышления, но еще только в зародыше, из которого развились много лет спустя весь его метод и вся его система.

Во время своего третьего путешествия (во Францию и Италию, в середине 30-х годов), которое имело величайшее значение для духовного развития Гоббса, он познакомился в Париже с Мерсенном, а во Флоренции посетил Галилея. К этому времени Гоббс глубоко уже проникся сознанием, что «единственной существующей реальностью» является движение. <sup>2</sup> Он уже горячо отдавался изучению основ естествознания. Как с самого начала его интересовал преимущественно мир общественных и политических «тел», так и теперь его внимание занимает применение механически-геометрических принципов к «способностям и страстям души», т. е. к человеку и человеческому миру. С «Диалогами» великого итальянца он уже был знаком, — теперь он пробыл некоторое время у самого престарелого Галилея, у человека, о котором сам сказал: он первый распахнул ворота универсальной натурфилософии». По некоторым, недостаточно проверенным данным Галилей первый внушил Гоббсу мысль довести, при помощи геометрического способа изучения, науку этики до математической точности. Вполне вероятно, что Гоббс рассказал о своих планах и что Галилей его поддержал». <sup>3</sup>

Несомненно, что Гоббс, начиная с 1637 г., стал причислять себя к философам и что только теперь появляется у него великий план трилогии. С другой стороны, отнюдь не является случайностью тот факт, что из трех частей системы именно третья часть — книга «О гражданине», другими словами — анализ политического общества, — была разработана в первую очередь.

Рассмотрим теперь ближе математическую форму этого материализма Гоббса. В первой главе книги «О теле», в которой говорится о философии вообще и которая представляет собою введение к разделу о логике, Гоббс заявляет в «геометрически» обоснованных «определениях», играющих у него такую значительную роль: «Философия — рациональное познание действий или явлений из их известных нам причин или производящих оснований и, обратно, — возможных производящих оснований из известных нам действий». <sup>4</sup> Этот двойной путь философского исследования получает более

<sup>1</sup> Том I, стр. XX — XXI.

<sup>2</sup> Ср. Робертсона, I гл., стр. 33. «Во время третьего путешествия другой новый предмет завладел его умом. День и ночь его преследует мысль о движении в природе. Плавает ли он на корабле, едет ли на лошадях, всюду движение представляется его взору, занимает его мысль и предлагает себя в качестве ключа к тайне многообразной вселенной. Не выяснен вопрос, когда впервые он серьезно осознал, что тайна существует и что он может овладеть ею».

<sup>3</sup> Теннисс, стр. 16. О посещении Галилея ср. Робертсона, стр. 36 и сл., стр. 42: «Теперь Гоббс начал мыслить в духе такой механической философии или физики. Мы можем сравнить его мысли с декартовскими, но импульс он получил от рассуждений Галилея в области физики».

<sup>4</sup> «De corpore», гл. I (т. I, стр. 2).

точное определение в дальнейшей главе «о методе» как «*синтетический*» и «*аналитический*» метод. Для понимания этого определения философии, — продолжает Гоббс, — нужно твердо помнить две предпосылки. Во-первых, чувственное восприятие и память, которые являются общими для человека и для всех животных, будучи по своему происхождению даром природы, представляют собою знание, но не философию; во-вторых, опыт или «практический разум» также не может рассматриваться как философия, потому что этот «практический разум» является только способностью предвидеть в будущем то, что уже известно из прошлого опыта; таким образом, опыт выводится опять-таки из памяти. «Под рациональным же познанием я понимаю *вычисление*. Вычислять значит находить сумму складываемых предметов, либо узнавать разницу, когда один отнимается от другого. Следовательно, рациональное познание то же, что сложение или вычитание». Другими словами: «Величины, тела, движения, времена, качества, действия, понятия, отношения, предложения и слова (в которых содержится философия всякого вида) также можно складывать и вычитать» и т. д.<sup>1</sup>

Из этого видно, *до какой степени* рациональное или философское мышление, т. е. собственно мышление, абстрагируется от своей основы, чувственных ощущений, памяти, практического опыта и т. д., и этим определяется как *абстрактное по существу мышление*. Первоначальная связь, которая обнимает чувственное созерцание и рациональное мышление, хотя и не разрывается, но как бы застывает. Простая эмпирия и чувственная практика низводятся на низкую ступень, — по крайней мере в качестве *органа познания*. Это само по себе понятное следствие того механического подхода, который в действии чувственного раздражения видит в общем лишь *односторонне-пассивное* движение, только механическую акцию и реакцию.

Впрочем, здесь следует прибавить, что Гоббс, разумеется, был далек от того, чтобы изгнать чувственное созерцание, опыт и т. д. из философии, но он изгоняет их из философского *метода* в собственном смысле. Он до известной степени устанавливает *самостоятельность* этого метода по отношению к чувственности, в которой он, с другой стороны, видит единственный «естественный» источник всякого знания и, следовательно, философского знания. Но здесь, несомненно, есть недостаток и противоречие: само отношение рационального мышления к чувственному созерцанию не определяется чувственно-конкретным, диалектическим образом, т. е. как *действительное отношение*. Всомогущество метода, суверенитет рационального мышления оттесняют базис, на котором только он и покоится, — чувственность. (Так, даже Гегель, абсолютный идеалист, говорит, что разумное мышление переплетено с элементами чувственного созерцания как бы корнями или кровеносными сосудами.) Этот недостаток основного принципа становится роковым для дальнейшего. И Маркс обращает внимание на

<sup>1</sup> «De corpore», гл. I (т. I, стр. 2 — 5).



этот момент, когда он говорит, что Гоббс «не дал обстоятельного обоснования главному принципу» Бэкона — «происхождению знаний и идей из чувственного мира».<sup>1</sup>

Следует также прибавить: если Гоббс исключает из мышления в собственном смысле общее живое основание этого мышления, т. е. *практику и опыт*, то он это делает, лишь поскольку речь идет о *генетической* стороне этого отношения, ибо общая *цель* действия этого философского мышления, его польза и т. д., в действительности, «в *последней инстанции*», по мнению Гоббса, и есть практика. «Величайшее значение философии, — говорит Гоббс, — заключается в том, что она дает нам возможность использовать предвиденные действия в своих интересах и на основании нашего познания, в меру наших сил и способностей преднамеренно вызывать эти действия для совершенствования человеческой жизни... Теория (которая в геометрии является путем исследования) служит только для построения, и всякая спекуляция в конечном счете имеет целью какое-нибудь действие».<sup>2</sup>

Рациональная философия, — читаем дальше в той же главе, — принципиально исключает из своей сферы *теологию*, т. е. «учение о природе и атрибутах бога», потому что в боге «ничего нельзя соединить, разделить и ничего нельзя узнать об его происхождении». Рациональная философия эмансипируется также от «учения об ангелах», как и от «всех тех вещей..., которые нельзя отнести ни к телам, ни к аффектам, которым подвержены тела, т. е. она исключает *метафизику* и все сверхчувственные представления. Рациональная философия эмансипируется также от астрологии и знания «по откровению» и «по вдохновению свыше» и тому подобного, — короче говоря, от всего, что не поддается научному вычислению», «соединению или разделению».

Этот метод «исключающей» абстракции не может быть назван иначе, как положительным и создающим эпоху. В этом не может быть сомнения. Гоббс *уничтожил* теистические предрассудки бэконовского материализма,<sup>3</sup> Гоббс идет значительно дальше бэконовской критики «идолов рынка». Это — подлинная эмансипация знания от веры, философии — от теологии. И в то же время это — всеобъемлющее *теоретическое* выражение практической, политической борьбы Гоббса против религии и церкви. Философия кончает *внутри* себя со всеми сверхчувственными представлениями. Философское познание объявляется *посюсторонней философией* и в то же время объявляется *автономным*.

Но, с другой стороны, вместе с этим Гоббс абстрагировался и от всех *исторических* элементов. В той же главе Гоббс продолжает: «Она — философия — *исключает историю как природы, так и политики*..., потому что историческое знание основано только на опыте или авторитете, а не на

<sup>1</sup> Маркс, Святое семейство. Собрание сочинений, т. III, стр. 158.

<sup>2</sup> «De corpore», гл. I (т. I, стр. 76).

<sup>3</sup> Маркс, Святое семейство. Собрание сочинений, т. III, стр. 158.

научном вычислении». Гоббс, правда, оговаривается: «хотя обе», т. е. история природы и история политики, «для философии чрезвычайно полезны (вернее необходимы)».<sup>1</sup> Но эта оговорка фактически не играет никакой роли в системе Гоббса.

По собственным словам Гоббса, исключение истории из философии логически есть только дальнейшее следствие выше рассмотренной относительно низкой оценки опыта и «практического разума» в их значении для философского *метода*. Одновременно выступает и другой момент. Когда Гоббс говорит о «порождении» тела, предмета и т. д., то он имеет в виду не чувственно-действительное, конкретное возникновение этого тела, а скорее абстрактную конструкцию или даже реконструкцию этого тела из его частей или элементов, — «геометрическое» построение. То же следует сказать об определении Гоббсом «движения». Когда он говорит о движении материи как самой действительности и определяет «ничто» как отсутствие всякого движения, то он, правда, с большой силой выдвигает философское значение этого понятия, но все же и здесь, по существу, речь всегда идет только о *механическом* движении и ни в коем случае о движении в «историческом» смысле, в полном, конкретном, универсальном смысле.

Но старый материализм вообще *неисторичен*. Сейчас мы увидим, какое влияние это обстоятельство оказывает на теорию *общественного* «тела».

Прежде чем обратиться к политическому телу и государству — «Левинафану», мы резюмируем словами Маркса общую философскую исходную точку зрения Гоббса.

«Если чувственность есть источник всякого познания, как утверждает Гоббс..., то созерцание, мысль, представление и т. д. суть не что иное, как фантомы телесного мира, более или менее лишенного своих, доступных внешним чувствам, форм. Наука может только дать названия этим фантомам. Одно и то же название может быть приложено ко многим фантомам. Могут даже существовать названия названий. Но было бы противоречием, с одной стороны, видеть в чувственном мире источник всех идей, с другой же стороны, утверждать, что слово есть нечто большее, чем слово, что, кроме существующих в представлении, всегда лишь отдельных существ, имеются еще общие сущности. *Бестелесная субстанция* представляет собою такое же противоречие, как *бестелесное тело*. Тело, бытие, субстанция, это — одна и та же реальная идея. Нельзя отделить мысль от материи, которая мыслит. Она является субъектом всех изменений. Слово бесконечный — бессмысленно, если оно не обозначает нашей способности увеличивать без конца всякую данную величину. Так как только материальное доступно восприятию и

<sup>1</sup> «De corpore», гл. I (т. I, стр. 9). Впрочем, нужно принять во внимание, до какой степени во времена Гоббса *история природы и история общества* находились еще в веленках. Единственным *историческим* трудом большого значения, не говоря о второстепенных, являлась написанная столетием раньше Макиавелли история Флоренции. В противоположность Гоббсу, его современник и противник *Гаррингтон* возвращается как раз к макиавеллиевскому пониманию общества.

пониманию, то нельзя ничего знать о существовании бога. Достоверно для меня лишь мое собственное существование. Всякая человеческая страсть есть механическое движение, которое кончается или начинается. Объекты наших стремлений составляют благо. Человек подчинен тем же законам, что и природа, сила и свобода — тождественны». <sup>1</sup>

## II

Основным предрассудком новых теорий является убеждение в том, что государство есть машина с единственной пружиной, которая приводит в движение весь бесконечный механизм; убеждение в том, что все учреждения, проистекающие из существа общества, должны устанавливаться, регулироваться, управляться, надзираться и руководиться высшей государственной властью.

*Гегель* (1802).

Томас Гоббс самого себя считает *Евклидом науки о человеке и государстве*.

В общих философских положениях, которые он предпосылает своей системе природы и общества, он устанавливает, что *предметом, или материей, философии является всякое тело*, которое по своей природе может быть выражено понятием и затем сравнено с другими телами; или такое тело, в котором происходит соединение или разложение, т. е. вообще «всякое тело, возникновение и свойства которого нам известны». <sup>2</sup> К этим телам, как мы уже указывали, относится и *государство*, которое Гоббс понимает как специфическую форму человеческого общества вообще. В предисловии к книге, в которой идет речь о политическом «гражданине» в отличие от просто «человека» как существа природы, Гоббс следующим образом характеризует свой метод рассуждения:

«Что касается моего метода, то я не ограничился простой ясностью изложения, но считал необходимым создать все учение по определенному методу. Поэтому я начал с *сущности* государства, затем перешел к его *возникновению и оформлению*, а также к происхождению справедливости. Ибо те *элементы*, из которых образована какая-нибудь вещь, лучше всего служат для ее познания. *Даже в самодвижущихся часах и в каждой сколь угодно сложной машине нельзя понять деятельность отдельных частей и колес, не разобрав машины на части* и не изучив вещества, формы и

<sup>1</sup> *Маркс*, Святое семейство. Собрание сочинений, т. III, стр. 158. Здесь же Маркс говорит: «Номинализм был одним из главных элементов английского материализма и вообще является первым выражением материализма» (стр. 157). В Оксфорде, где Гоббс учился в продолжение пяти лет, номинализм был господствующим научным воззрением. Между прочим и Галилей был также номиналистом.

<sup>2</sup> «De corpore», гл. I (т. I, стр. 9).

2. Архив К. Маркса и Ф. Энгельса, кн. V.

движения каждой части в отдельности. *Так же точно, имея дело с правами государства и обязанностями граждан, нужно хотя и не разлагать государство на отдельные части, но рассматривать его как бы в отдельных частях.* Иными словами, нужно рассматривать человеческую природу, поскольку она приспособлена к образованию государства, и каким образом люди должны объединяться, чтобы составить единство; только таким путем можно достигнуть настоящего познания в этом вопросе.<sup>1</sup>

Мы еще вернемся к конструкции государства из его «элементов» или «отдельных частей», вернемся к «методологическому построению целого», когда будем рассматривать конкретное содержание теории Гоббса. Здесь нас интересует формальная структура его системы в целом. Совершенно очевидно, что здесь применяется тот же метод, который применялся при изображении механизма природы. Мы находим тот же способ рассуждений в *антропологии*, которая у Гоббса представляет собою нечто среднее между натурфилософией и философией государства, переход из сферы физического господства природы в царство общественно-политического ее могущества.

Гоббс не совсем игнорирует ту разницу и то противоречие, которые необходимо должны существовать между механизмом часов или машины, с одной стороны, и «механизмом» политического тела — с другой. Как признает сам Гоббс, государство нельзя разобрать на составные части, как часы или другую «сложную машину», его можно только исследовать, *«как тело в разобранном виде»*, т. е. только по *формальному* образцу какого-нибудь тела, составленного из «частей» или «колес». Автоматизм часов; «которые движутся сами», представляет здесь автоматизм всей природы, всей физической материи, «которая сама движется». Но как только, по аналогии, речь заходит о политической «материи» или об общественном «теле», которое также движется само, ясно выявляется чисто формальный, *чисто аналогический характер* представления об универсальном механическом автомате.

Мы уже сказали, что в той смелости, с которой Гоббс основывает механику «политического тела» на механике «естественного тела» и старается применить геометрической метод доказательства к обеим этим сферам всего предметного мира, можно видеть величие и оригинальность гоббсовской концепции. С другой стороны, именно здесь особенно выступает *односторонний, абстрактный и противоречивый* характер этой философии. Как мы отчасти уже видели, эта односторонность, или абстрактность, заложена в общих основах самой системы, но именно здесь, при рассмотрении общественных и политических явлений, она получает свое *завершение*; это — прирожденное свойство «геометрического метода», потому что этот *метод* сам есть только концентрированное абстрактное выражение и «математический» вывод из *основного механистического принципа* мирозерцания.

<sup>1</sup> «De cive», гл. I (т. II, стр. 145 — 146).

Лишь тогда, когда форма человеческого общества также рассматривается как форма особого механизма — внутри всеобщего мирового механизма, мы получаем последний вывод механистического материализма, доведенного до конца и полностью обнаруживающего присущий ему абстрактный характер.<sup>1</sup>

Таким образом, философия Гоббса, всеохватывающая и универсальная по своему методу и стремлениям, является столь же ранним, сколь и прекрасным примером специфической ограниченности старого механистического, недиалектического материализма. В категорической последовательности, с которой Гоббс старается перенести законы механики твердых тел на всю вселенную, в односторонности, с которой какая-нибудь *одна* определенность материи возводится в *общую, исключительную* определенность *всей* материи, — в этой грандиозной односторонности проявляются границы механистического материализма вообще.

Людвиг Фейербах с особенной остротой подчеркнул эту отрицательную сторону гоббсовской философии. «Гоббс, — говорит он, — совсем *абстрактный* материалист, так как понятие, которое господствует в его философии, есть понятие о голой *материи*, о голом *теле* или, вернее, об абстрактном, материалистическом теле, *существенным* определением которого является только количество. Это голое умоизобразительное тело составляет субстанцию его философии. Но в своей чистоте и отвлеченности оно есть отрицание и идеальность всех чувственных акциденций, а именно *всякого качества*; оно есть состояние тела, воспринимаемое только мыслью, оно есть совершенно *абстрактное* свойство, — количество, — субстанциальное определение тел».<sup>2</sup> «Впрочем, гоббсовский эмпиризм отнюдь не абсолютный эмпиризм, но конечный, ограниченный эмпиризм, потому что он всегда *определенные явления* превращает в *абсолютную сущность*. Так, Гоббс из вычисления делает сущность мышления, из проявлений человека в гражданской войне он делает природную сущность человека».<sup>3</sup>

И действительно, у самого Гоббса специфическая форма старого мате-

<sup>1</sup> Дидро говорит о Гоббсе (в приведенной статье «Энциклопедии»): «Он страдал недостатком систематиков; он обобщал отдельные факты и ловко подгонял их под свои гипотезы». Но к этому он прибавляет: «Самые его ошибки больше послужили прогрессу человеческого ума, чем куча трудов, сотканных из общих истин».

<sup>2</sup> Фейербах, «История новой философии» (Sämtliche Werke, 1906, т. III, стр. 80). «У позднейших материалистов, особенно у французских, — читаем дальше в приведенном месте, — наоборот, господствующим понятием является чувственная материя, чувственное тело; проникновение в абстрактную телесность материальности стало у них проникновением в чувственность, в сущность чувственного представления и ощущения». Впрочем, Фейербах благодаря еще весьма идеалистической и более или менее гегелевской точке зрения в этом раннем труде от 1830 г. приходит в целом к слишком отрицательной критике Гоббса.

<sup>3</sup> Там же, стр. 18, в позднейшем примечании от 1847 г., которое представляет собою материалистическую поправку к его критике от 1830 г. В тексте от 1830 г. было еще сказано: Гоббс, хотя «бесспорно один из интереснейших и остроумнейших материалистов новейшего времени», все же «хотел невозможного, — выразить эмпирию как самую философию».

риализма — механистическая точка зрения — разработана в еще более резком и чисто «математическом» виде, чем у механистических материалистов XVIII века. Структура всей его системы построена по плану такого способа мышления, который по содержанию является механистическим, а по методу «геометрическим» или «математическим». Поэтому Фейербах прямо говорит о «машине мысли».<sup>1</sup>

Но отнюдь не следует упускать из виду того *прогрессивного* значения, которое имело понимание вселенной как «самодвижущегося» механизма. Когда Кампанелла говорил<sup>2</sup> о «фабрике мира» — *fabbrica del mondo*, — то он этим неопределенно выразил в короткой формуле новое представление своего века. Но Гоббс углубил это понимание, которое у старых итальянских натурфилософов, как и у Бэкона, выступает в совершенно фантастической форме; он первый превратил его в универсальную систему. Он определяет естественный мир вообще, человеческое и гражданское общество в частности, как единый и расчлененный на отдельные части механизм, движение которого регулируется исключительно имманентными, т. е. посясторонними, материальными причинами, *поддающимися чувственному восприятию и математическому вычислению*. Систематическое изображение этого целого механизма было решительным ударом по всему теологически-догматическому миросозерцанию, оставшемуся от средневековья, но особенно решительным ударом по старой *телеологии* трансцендентных, божественных целей, — по всему устаревшему миру представлений, который в то время играл такую большую роль как апология церковной и монархической власти.

Гегель говорил: «Механизм представляет стремление к целокупности благодаря тому, что он пытается рассматривать природу как *одно* целое, которое для *своего* понятия не нуждается ни в чем ином, — целокупности, которая не находится в телеологии и в связанном с ней внемировом разуме». «Поэтому этот принцип дает в своей связи внешней необходимости *сознание бесконечной свободы* по сравнению с телеологией, выставляющей мелочность и даже ничтожность своего содержания как нечто абсолютное, в котором всеобщая мысль может чувствовать себя только бесконечно стесненной и даже весьма отвратительно».<sup>3</sup>

Но *государство* было той «частью» мирового механизма, которая с са-

<sup>1</sup> Там же, стр. 78.

<sup>2</sup> *Tomaso Campanella*, Poesie filosofiche. Изд. 1834 г., стр. 40.

<sup>3</sup> *Hegel*, Wissenschaft der Logik, II. Teil. Jubiläumsausgabe 1928, Bd. V, S. 211, 212. Там же говорится (стр. 210): «Чем больше телеологический принцип связан с посятием *внемирового* разума и поскольку он поощрялся набожностью, тем больше, казалось, он удалялся от истинного изучения природы, которое хотело познать свойство природы не как чуждую, а как *имманентную определенность*, и только такое познание признает за *разумение*». Энгельс особенно выделяет это гегелевское изображение «механизма», но тут же прибавляет, что этот «механизм (также материализм XVIII века) не может выбраться из абстрактной необходимости, а благодаря этому также из случайности» («Диалектика природы», «Архив К. Маркса и Ф. Энгельса», т. II, стр. 81).



мого начала вызывала в Гоббсе величайший интерес. Из мира «самодвижущихся» естественных тел государство выступает на первый план. *И оно, это «политическое тело», в себе самом имеет свой закон движения, свою силу тяготения, свой автоматизм.* Это есть теоретическая эмансипация государства от всякой церковной власти. Это государство *по своей внешней форме* так же построено, как всякое другое сложное твердое тело, — ведь и человек по своей физической структуре, человек как сила природы, является таким сложным телом, таким часовым механизмом. Но государство в то же время движется по законам, которые присущи ему одному, потому что, как нам уже известно, речь идет вообще о «*двух существенно различных видах тел*». Следовательно, государство есть особый механизм, машина *особого рода*. Оно отличается от великого механизма природы тем, что это — *искусственно* созданное, произведенное человеком тело. Из этого следует, что, хотя природа вообще познается путем заключений «апостериори», — от «видимых свойств» обратно к причинам, — государство, равно как политика и этика, наоборот, познается «априори», потому что «познание априори для нас... возможно только в отношении тех вещей, возникновение которых зависит от воли самого человека». <sup>1</sup> Мы позже еще рассмотрим «рождение» государства более подробно. Оно во всяком случае имеет источник своего происхождения в мире человеческого общества, оно вобрало, даже можно сказать всосало в себя в *политической* форме естественные силы, двигательные пружины и движения людей. Поэтому государство есть искусственный продукт из человеческого материала, — «искусственный человек» или «выдуманное произведение искусства» (excogitatum opificium artis), живущее «искусственной жизнью» (vita artificialis), механическое чудовище. <sup>2</sup> Оно и есть тот самый «*Левиафан*», о котором сказано в книге Иова: Нет ничего на земле, с чем бы можно было его сравнить; он ничего не боится и властвует над всем.

«Потому что искусственно создается тот великий Левиафан, общество (Common-wealth) или государство (State), по-латыни Civitas, которое есть не что иное, как искусственный человек (an Artificiall Man); он большего роста и большей силы, чем естественный человек, охрана и защита которого и есть цель государства. Суверенитет, это — искусственная душа (an Artificiall Soul), которая дает жизнь и движение всему телу; магистраты и другие должностные лица судебной и исполнительной власти (Officers of Judicature and Execution) — искусственные члены; вознаграждение и штрафы, исходящие от суверенитета, — откуда все суставы и все члены приводятся в движение, для того чтобы свершить свои обязанности, это — нервы, которые таким же образом действуют и в естественном теле (Body Naturall); благосостояние и богатство всех отдельных членов, это — сила;

<sup>1</sup> «De homine», гл. X (т. II, стр. 92).

<sup>2</sup> Ср. *Otto Gierke, Johannes Althusius und die Entwicklung der naturrechtlichen Staatstheorien* (2-е изд. 1902 г., стр. 184 — 190). Гирке, однако, в этом механистическом представлении не видит никакой проблемы.

salus populi, т. е. общее благо, составляет его призвание; советники, через посредство которых сообщается ему все, что нужно, изображают память; справедливость и законы (Equity and Lawes) — искусственный разум и искусственную волю; согласие (Concord) — здоровье; возмущение (Sedition) — болезнь; гражданская война (Civill war), это — смерть. И, наконец, договоры и соглашения (the Pacts and Covenants), по которым части этого политического тела (Body Politique) преимущественно создаются и объединяются, подобны тому Fiat или «да сотворим мы людей», которое бог произнес при сотворении мира». <sup>1</sup>

Так говорит Гоббс в введении к своему труду, вышедшему на английском языке в 1651 г. в Лондоне, — к тому труду, который содержит *самую последовательную, самую решительную формулировку его политической теории*. Так говорит он в книге, которая больше всего приблизила его к побеждающей революции, т. е. к Кромвелю, «Государственному совету» и правящей партии умеренных индипендентов. В этой книге о «Левиафане» он политически подготовил свое возвращение из Франции в Англию «круглоголовых»; эта книга превратила это возвращение в Англию в настоящее бегство от партии «кавалеров» и обеспечила ему почтительный прием в английской республике. <sup>2</sup>

Приведенные слова дают несложный контур *готовой* архитектуры государства, целое «политического тела» в том виде, в каком Гоббс реконструировал его в своем представлении, т. е. «методически построил из его элементов». Хотя по теории Гоббса существует *рождение* и *уничтожение* государства, — как мы это увидим дальше, — но только в *неисторическом, прагматическом* смысле, т. е. в действительности не существует конкретного исторического процесса образования, развития и превращения государства и общества. «Движение» государства есть абстрактное движение автомата, сложение и разложение сложного тела, взаимная акция и реакция элементов или частей этого особенного тела, — многообразная игра проявлений его *сущности, его состояния равновесия*, его «искусственная» *конструкция* и *деструкция*, т. е. построение тела и его разложение. Там, где Гоббс говорит о принципе индивидуации в естественном и человеческом мире, он вполне последовательно занимает враждебную позицию по отношению к перешедшей из древней философии диалектике «становления»; при этом он заявляет; «Государство остается также неизменным, если его действия продолжают вытекать из того же устройства, будут ли в этом государстве те же люди или другие. Противоположное предположение, по которому государство перестает быть тем же самым государством, если оно на протяжении сто-

<sup>1</sup> «Leviathan or Matter, Forme and Power of a Common-wealth...» Изд. Cambridge, 1904 стр. XVIII—XIX.

<sup>2</sup> Ср. *Tönnies* и недавно вышедший труд *Julius Lips*, Die Stellung des Thomas Hobbes zu den politischen Parteien der grossen englischen Revolution (1927 г., главы VI и VIII). С биографическими данными этого исследования и выводами, имеющими значение для исторической и политической оценки теории Гоббса, в основном нельзя не согласиться.

летий изменило свои законы, привело бы в замешательство все гражданское право».<sup>1</sup>

Это только вывод из того представления о неизменном, однообразном движении природы, которое в свою очередь соответствовало тогдашнему состоянию естествознания и техники.

«Первый период нового естествознания в области неорганического мира кончается Ньютоном. Это — период овладения данным материалом в области математики, механики и астрономии, статики и динамики; он дал великие достижения главным образом благодаря работам Кеплера и Галилея, из которых Ньютон извлек ряд следствий.

«Но в области органических явлений еще не вышли за пределы первых начатков знания. Природа вообще не представлялась тогда чем-то исторически развивающимся, имеющим свою историю во времени; в расчет принималась только пространственная протяженность; различные формы группировались не в последовательном, а в параллельном порядке; история природы была действительна для всех времен, подобно эллиптическим орбитам планет. Для всякого дальнейшего исследования форм органической жизни недоставало обеих основных наук: химии и науки о главной органической структурной форме, — клетке».<sup>2</sup> «Знали только то, что природа находится в вечном движении. Но по тогдашним воззрениям это движение также вечно совершало круг. В те времена это представление было неизбежным».<sup>3</sup>

Если это верно по отношению к XVIII веку, то еще вернее по отношению к веку Гоббса. В примитивной последовательности своего метода он перенес «круговое движение» природы на государство. Кроме того вспомним о представлении о вечном круговороте *государственных форм*, как мы его находим хотя бы у Макиавелли и как оно перешло еще из древней философии.

В эпоху *мануфактуры*, практические и технические проблемы которой по существу еще носят несложный механический характер, *механика твердых тел* представляет собою основную науку — базис «всеобщей производительной силы», т. е. науки; поэтому она во всех областях является образцом для методов теоретического мышления. (Так, Гоббс просто объявляет геометрию и физику «основами философии».)<sup>4</sup> «Для материалистов XVIII века человек был такой же машиной, как животное для Декарта».<sup>5</sup>

<sup>1</sup> «De corpore», гл. XI (т. I, стр. 121 — 122).

<sup>2</sup> Ф. Энгельс в «Диалектике природы» (Архив К. Маркса и Ф. Энгельса), т. II, стр. 40 — 41). Даже гегелевская *натурфилософия* может быть понята только как философское и энциклопедическое резюме этого «первого периода естествознания», благодаря чему природа у него «отпадает» от *исторически развивающегося* «духа», является его «отчуждением». Тем меньше можно упрекнуть Гоббса в неисторическом характере его учения о природе и обществе, так как он всецело исходил из содержания и метода современного ему естествознания.

<sup>3</sup> Ф. Энгельс в «Людвиге Фейербахе».

<sup>4</sup> «De corpore», гл. VI, о методе (т. I, стр. 65).

<sup>5</sup> Ф. Энгельс в «Людвиге Фейербахе».

Гоббс, современник Декарта, сконструировал государство как «*Opificium*», как «искусственного человека», как машину.

Гоббсовское представление о «государственной машине» вполне соответствует той ступени развития производительных сил, когда сотрудничество частных работников является единственным видом действительной «механизации», а мануфактурные мастерские в качестве «сложных тел», в качестве «искусственной» комбинации разделенного труда и «ремесленных инструментов», являются собственно экономической основной клеткой промышленного общества.

«Декарт, определяя животных просто как машины, смотрит глазами мануфактурного периода в противоположность средневековью, которое в животном видело помощника человека... Из «*Discours de la méthode*» видно, что Декарт, так же как и Бэкон, рассматривал изменившуюся форму производства и практическую победу человека над природой как результат изменившегося метода мышления».<sup>1</sup> Мы можем прибавить, что то же относится к Томасу Гоббсу.

В неоднократно приводимой первой главе книги «О теле», он пишет: «Легче всего убедиться в том, как велика... польза философии, особенно натурфилософии и геометрии, если представить себе возможное совершенствование человеческого рода благодаря этим наукам... Человеческий род своим совершенствованием больше всего обязан технике, — искусству измерять тела и их движения, передвигать большие тяжести, строить, заниматься мореплаванием, изготовлять инструменты для всех надобностей, искусству вычислять движения, совершающиеся на небе, пути созвездий, календарь и т. д. Легче осознать, чем выразить словами ту исключительную пользу, которую наука приносит людям».<sup>2</sup>

Далее он сравнивает образ жизни народов, «почти всех европейских народов», которые пользуются помощью науки, с существованием тех, которые лишены этой помощи. В книге «*De cive*» Гоббс прямо заявляет, что именно техника (мануфактурного периода) «отличает современность от варварства прошлых столетий», и опять-таки прибавляет, что всем этим прогрессом, «всем чудесным в машинах» и т. д. человечество обязано почти исключительно геометрии, потому что и физика обязана своими достижениями той же геометрии.<sup>3</sup> Мы уже выше, в общих чертах, говорили об этой — в конечном счете практической — цели философии. В словах Гоббса отражается то восхищение и те надежды, которые вызывает в молодом капиталистическом обществе освобождение материальных производительных сил и вместе с тем науки. Гоббс приводит к универсальной рассудочной фор-

<sup>1</sup> *Маркс*, Капитал, т. I. Маркс там же говорит о Бэконе и Гоббсе, как о тех двух философах, к которым примыкают ранние английские экономисты, в то время как более поздние примыкают к Локку. Впрочем, Вильям Петти был личным другом и поклонником Томаса Гоббса.

<sup>2</sup> «*De corpore*», гл. I (т. I, стр. 7).

<sup>3</sup> «*De cive*», Посвящение (т. II, стр. 137).

муле то, что до него Бэкон провозгласил в утопии «Nova Atlantis» в наивно-восторженной форме представления и воображения.<sup>1</sup>

Мы уже говорили о том, что всегда наибольший интерес Гоббса привлекало к себе познание общества и государства, т. е. «*philosophia civilis*». Он сам следующим образом подводит итоги достижениям своего века, кладущим основу будущей науки: начало астрономии положил Коперник, после этого Галилей первый голожил основу физике, изобразив движение природы, и, наконец, Гарвей, открывший кровообращение, изложил науку о человеческом теле. «До них в физике не было ничего достоверного», после них Кеплер, Гассенди, Мерсенн и определенный круг английских врачей продолжали развивать астрономию и физику. Следовательно, физика является новым делом, но еще более новой является теория государства. «*Гражданская философия (philosophia civilis) не старше моего собственного труда*» «*De cive*».<sup>2</sup>

Что же касается общественной пользы и практической цели политической философии, то здесь обоснование Гоббса по необходимости несколько иное. По его мнению, эту пользу можно оценить не столько по тем преимуществам, которые мы получаем благодаря философии, морали и теории общества, сколько по тому ущербу, который мы терпим благодаря незнанию этой

<sup>1</sup> «Nova Atlantis» Бэкона заслуживает внимания, хотя эта утопия представляет собою только отрывок и касается только предметов технологии и природоведения, а не форм общественной жизни. Как сообщает более поздний издатель (в 1643 г.), Бэкон все же имел намерение разработать в этой «fabula» книгу о законах или «лучшем устройстве общества» (de optimo civitatis statu). Бэкон описывает «модель» грандиозного института под названием «Дом Соломона или школа шестидневного труда», предназначенный для интерпретации природы и т. д. («...Modulum quendam et descriptionem Collegii, ad interpretationem naturae et operum Magnitudinem, ac potentiam, instituti... nomine domus Salomonis, sive collegii operum sex dierum» etc. Изд. 1643 г., стр. 3.) Интересны описания технических аппаратов, «artes mechanicae» этого института (стр. 75). Но общественная связь изображена у Бэкона еще далеко не механически и «аскетически», а чувственно-красочно, так, например (стр. 57), он описывает искусственную гроздь, сделанную из драгоценного металла (золотую, зеленую, пурпурную), как «символ» патриархальных семейных отношений в стране утопии. Томас Кампанелла в конце своей книги о «Civitas Solis» говорит о кораблях, которые движутся без ветра и без весел; он, как и Гоббс, называет «чудом» — *mira res* — приобретенное человеком умение готовить из материи и земли все орудия и инструменты техники («*Realis Philosophiae Epilogisticae*», изд. 1623 г., стр. 256 и след.). Но эти ранние утопии, Томас Мор, Кампанелла и т. д., велики именно тем, что они свои грандиозные социальные предвидения, как хотя бы сокращение рабочего дня (Кампанелла) и т. д., связывают с экономически-техническим развитием.

<sup>2</sup> «*De cive*» («Посвящение»). Впрочем и Гегель в своей «Истории философии», ссылаясь на цитированное место, особенно подчеркивает эту сторону философии Гоббса (изд. 1908, стр. 913 след.). Можно сказать, что он только на нее и обратил внимание. При всем своем критическом отношении к «эмпиризму» гоббсовской теории государства, он все же заявляет: «Ославленные» труды «*De cive*» и «*Левиафан*» содержат «более трезвые мысли о природе общества и власти, чем те, которые отчасти и сейчас еще находятся в обращении». Мы уже раньше в другом месте указывали, что между гегелевской и гоббсовской теорией государства существует известная общность. (Marx-Engels - Archiv, Bd. II, S. 541). В своей теории «гражданского общества» (в «Философии права») Гегель принимает учение Гоббса о «войне всех против всех».

теории. Корень этого ущерба — война и, прежде всего, *гражданская война*. «Поэтому гражданская война возможна только там, где не знают причин ни войны, ни мира». Бесчисленные и обширные труды моралистов сохранились до сих пор, по мнению Гоббса, только «звучные слова», почему их одинаково можно использовать как оправдание злых умыслов и как руководство к пониманию своего долга перед обществом и государством. Поэтому задача заключается в том, чтобы «точно и твердо установить основные положения, дающие объяснения права и бесправия». «Так как благодаря незнанию гражданского долга, т. е. научной теории морали и государства, происходят гражданские войны, которые являются наибольшим несчастьем человечества, то мы в праве надеяться, что научное познание этой теории даст нам большие преимущества».<sup>1</sup>

И в той книге, которая, по его мнению, вообще является первым открытием истинной теории государства и политики и которую он, по собственному указанию, писал уже в канун начинающейся гражданской войны в Англии,<sup>2</sup> он, подобно Макиавелли, объявляет «*наиболее ценной*» из всех наук именно ту науку, в которой нуждаются князья и все мужи, облеченные властью над человеческим родом, — *теорию государства*.<sup>3</sup>

И здесь Гоббс уже говорит: «Если бы практические взаимоотношения между людьми были так же добросовестно известны, как соотношения величин и фигур, то честолюбие и жадность стали бы безопасными, и человеческий род наслаждался бы постоянным миром».<sup>4</sup>

Свое идеологическое предубеждение, согласно которому исторические перемены, как технико-экономического, так и общественно-политического характера, по существу определяются прогрессом научного познания, Гоббс разделяет почти со всеми своими последователями XVIII века. Это только следствие упомянутого *неисторического* мирозерцания.

### III

Эта действительная война всех против всех есть та ось, вокруг которой вертится все философствование нашего Гоббса о государственном праве.

*Ансельм Фейербах* в «*Анти-Гоббсе*» (1798).

Мы видели, что государство, как его изображает Гоббс с помощью «геометрического метода», поднимается над горизонтом естественного и обще-

<sup>1</sup> «De corpore», гл. I (т. I, стр. 8).

<sup>2</sup> Небольшое издание «Elementorum Philosophiae sectio tertia, De cive», вышло в Париже в 1642 г. анонимно в виде рукописи. В 1647 г. в Амстердаме вышло новое издание. «Эта книга впоследствии получила величайшее распространение и глубже всего запечатлела имя Гоббса в мировой литературе» (*Tönnies*, стр. 23 — 24).

<sup>3</sup> «De cive», Предисловие к читателям, добавленное к изданию 1647 г.

<sup>4</sup> «De cive», Посвящение.



ственного мира в гигантском образе полумеханического, получеловеческого автомата, в образе «искусственного человека» или человеческого «Opificium».

Эта машина-государство *противостоит* «человеческому» обществу, вернее — стоит *над ним*. Оно есть в то же время та сила, от которой само общество получает все свои существенные побуждения. Никто в такой степени, как Гоббс, не заострял изображения государства как воплощения суверенной власти и как «центрального тела», которое управляет всем обществом.

Мы уже видели, как сквозь конструктивный план этой гигантской политической машины просвечивает в отвлеченно-чувственных формах физическое явление человека как агрегата мельчайших тел.<sup>1</sup>

Посмотрим теперь, каким образом и из каких элементов «родилось» это государственное тело и, в особенности, как определяются взаимоотношения государства и общества, «человека» и «гражданина»,

В Антропологии Гоббс заявляет: Подобно тому как оружие человека — мечи, копыя и т. п. — превосходит оружие животных — рога, зубы, иглы и т. д., так хищность и жестокость *человека*, «который голоден даже будущим голодом», превосходят хищность и жестокость волков, медведей и змей, хищная жадность которых прекращается вместе с насыщением.<sup>2</sup> Антропология заканчивается изображением «воображаемого человека», т. е. политического «лица» или маски индивидуума «на политическом театре», а также отделением «естественного» человека от «политического лица» (от такого, которое впоследствии обозначалось чисто юридически как «физическое» и «моральное» или «юридическое лицо»)<sup>3</sup> Таким образом, мы входим в гражданскую жизнь, в гражданское общество.

Книга «О гражданине» начинается с «состояния человека вне гражданского общества».<sup>4</sup> Здесь мы находим основную предпосылку гоббсовской теории государства, ибо изображение перехода или, вернее, *прыжка* человека из естественного состояния в государственное или в общество *государственных граждан* отличает гоббсово понимание «естественного права» от всех прежних средневековых и древних, как и от всех позднейших представлений. Это тот «Fiat», благодаря которому государство в своем абсолютном самодовлении как бы по одному мановению руки вырастает из-под земли.

<sup>1</sup> На заглавном листе лондонского издания «Левифаана» (1651) нарисовано ставшее знаменитым символическое изображение тела государства в виде гиганта, состоящего из отдельных маленьких человеческих фигурок, все взгляды которых обращены на лицо гиганта. Между прочим, в чертах этого лица старались найти сходство с *Кромвелем*.

<sup>2</sup> «De homine», гл. X (т. II, стр. 91). Поэтуто животные не имеют государственных образований в собственном смысле, т. е. не образуют *политических* объединений. Ср. «De cive», гл. V, где Гоббс подробнее развивает эту мысль в полемике с Аристотелем.

<sup>3</sup> «De homine», глава XV (т. II, стр. 130 сл.). «В гражданской жизни такие фикции так же необходимы, как и в театре, для совершения сделок и договоров, заключаемых от имени отсутствующих».

<sup>4</sup> «De cive», гл. I (т. II, стр. 157 сл.).

Гоббс выступает против более ранних теоретиков естественного права, потому что большинство из них, по его словам, рассматривали человека как существо, от природы предназначенное для общества. Он не оспаривает, что природный инстинкт толкает людей друг к другу, но этого совершенно недостаточно, чтобы создать государство. «Гражданские общества не представляют собою собрания, а *объединения*, для образования которых требуется заключение *соглашения и договоров*».<sup>1</sup> В старом естественном праве, проникнутом еще в большей или меньшей степени теологией, «естественное состояние» понималось как *райское* состояние, которого человек впоследствии лишился. Гоббс совершенно переворачивает это положение.

Нельзя отрицать, — говорит он, — «что естественное состояние людей до того, как они соединились в общество, было просто войной и именно *войной всех против всех*».<sup>2</sup> Свойства человеческой природы сводятся к физической силе, опыту, рассудку и страстям. В «чисто естественном состоянии» человек может применять эти силы абсолютно свободно, он может овладеть *всем*, чем хочет, он имеет право на все. Но именно это всеобщее естественное равенство порождает естественную *борьбу* каждого против каждого. Люди стоят друг против друга просто как *естественная сила*. Если же человек стремится к организации общества, то не ради общества, а ради эгоистических интересов, чтобы добиться «чести и выгоды». Следовательно, при всеобщем антагонизме «естественного состояния» собственная природа человека толкает его не столько к обществу, сколько к *власти*. Поэтому нужно признать, что источник всех крупных и длительных человеческих объединений возник не из взаимной доброжелательности, а из *взаимного страха*.<sup>3</sup>

Это первый основной тезис Гоббса.<sup>4</sup> Мы еще вернемся к более подробной характеристике «*bellum omnium contra omnes*».

Каким же образом происходит образование государства? Оно происходит посредством *договора* и именно такого договора, благодаря которому возникают политическая центральная власть и абсолютный государственный авторитет, и все становятся «*гражданами*» государства благодаря тому, что они становятся «*подданными*» этого государства. Они *подчиняются* единой, абсолютной, суверенной государственной власти *тем же* ~~актом~~, которым они создали эту государственную власть. Акт подчинения общества государственной власти полностью совпадает с созданием самой этой власти. Равным образом и образование *государства* в этом политическом акте или договоре идентично образованию *общества* в собственном, т. е. в политическом и юридическом, смысле, так как в естественном состоянии не возникают «крупные и длительные объединения», не возникает общество в соб-

<sup>1</sup> «De cive», гл. I (т. II, стр. 158).

<sup>2</sup> «De cive», гл. I (т. II, стр. 166).

<sup>3</sup> «De cive», гл. I (т. II, стр. 161).

<sup>4</sup> Ср. с XIII главой «Левинафана», где именно из этого равенства человека в естественном состоянии (равенства в смысле естественных и духовных свойств) выводится *противоречие* интересов и даже «*война* каждого против каждого». В цитированном издании стр. 81.

ственном смысле. Тот акт, которым прекращается естественное состояние, представляет собою идентичность государства и общества, но представляет ее только на момент и в идеальной форме. Это, с одной стороны, договор, *который заключает каждый с каждым* и который, таким образом, создает общественное или политическое объединение (*unio*) природных человеческих сил, действовавших прежде только под давлением всестороннего антагонизма. Но, с другой стороны, это *не есть* договор между «гражданами» и вновь созданной центральной властью, *не есть* договор между подвластными и властителем, обладающим этой исключительной властью. Следовательно, в принципе государственное тело и политическое общество *противостоят* друг другу. Их идентичность, созданная этим политическим актом, сейчас же снова исчезает и остается только в качестве идентичности *формы*, поскольку государственное тело заключает в себе все общество, а обладатель центральной государственной власти в качестве абсолютного *суверена* является в то же время *представителем* общества — массы, превратившейся в народ, — и своим существованием выражает единство политического объединения или общества (*Common-wealth*). Будучи *представителем* общества, суверен одновременно является представителем самого общества, другими словами — суверен, как продукт общества, господствуя над этим обществом, вместе с тем не перестает быть именно его *продуктом*.

Гоббс в «Левиафане» изображает в следующей формуле образование или «учреждение» общества, т. е. содержание конституирующего соглашения: «Общество (*Common-wealth*) считается учрежденным (*instituted*), когда масса людей приходит к соглашению и заключает договоры каждый с каждым (*Covenant, every one with every one*); этот договор сводится к следующему: тот человек или то собрание людей (*Assembly of Men*), которому большинством будет дано право быть их представителями (*to be their Representative*), получает от каждого, как от того, кто проголосовал за, так и от того, кто проголосовал против, полномочия на действия и суждения, как будто они его собственные (действия и суждения), — с целью жить в мире друг с другом и пользоваться защитой против других людей».<sup>1</sup>

Таков второй основной тезис Гоббса.

Нет надобности подчеркивать значение *принципа большинства*. Наряду с этим мы видим, что для *сущности* государства в принципе безразлично, держит ли высшую власть в своих руках отдельный человек, «монарх, или собрание людей». Гоббс снова и снова подчеркивает эту мысль, почти не-

<sup>1</sup> «Leviathan», гл. XVIII (цитированное издание, стр. 120). В соответствии с этим сказано в книге «De cive» (глава V, о причинах и возникновении государства): «Подчинение воли всех воле *одного* человека или *одного* собрания людей происходит тогда, когда каждый, по соглашению, обязуется пред каждым из остальных не сопротивляться воле этого *одного*; никто не отказывает ему в использовании всех средств и сил против каких-либо других людей (причем он, конечно, оставляет за собой право на самозащиту против насилия). Это называется союзом или объединением. Воля большинства лиц, из которых состоит собрание, считается волей этого собрания».

пзменно пользуясь выражением: «безразлично — в руках одного монарха или собрания». Так, уже в книге «De cive» он заявляет, что строго придерживается правила «не говорить ничего такого, из чего можно было бы заключить, что... граждане обязаны меньшим повиновением аристократическому или демократическому государству, чем монархическому». И если в X главе этой книги он привел несколько доводов в пользу монархии как «более подходящей формы государства», то это единственный пункт, который *не доказывается* точно, а только *предполагается*, и, во всяком случае, из всей теории государства вытекает, что государственная власть в любой форме должна быть высшей и везде *одинаковой* властью. По этим же теоретическим соображениям он тщательно избегал «говорить что-либо о гражданских законах какого-нибудь определенного народа».<sup>1</sup>

Во всяком случае, очевидно, что для Гоббса в первую очередь важна *сущность* государства, а государственные *формы* имеют второстепенное значение. Это вполне соответствует его методу и способу изображения (как в «De cive», так и в «Leviathan»). Этот пункт нужно подчеркнуть, потому что в противном случае своеобразный характер гоббсовской теории государства останется непонятым.

В чем же заключается эта сущность государства? Если все передают, согласно договору о подчинении, право на свою силу и способности одному человеку или одному собранию, то тот, которому подчиняются, получает *такую большую власть, что он при помощи угрозы этой властью может удерживать волю индивидов в единстве и единении*. «В каждом государстве тот человек или то собрание, воле которого отдельные люди подчинили свою волю, считается обладателем высшей власти или высшего господства или *суверенитета*. Это могущество и это право властвовать заключается в том, что каждый отдельный гражданин *всю свою силу и все свое могущество перенес на того человека или на то собрание*».<sup>2</sup> Следовательно, только таким образом масса получила *одну* волю и сама стала *одним* «лицом». — *политическим* лицом. Если масса, как масса *естественных* людей, путем взаимного соглашения устанавливает, что воля *одного* человека или согласованная воля большинства считается волей всех, то тогда эта масса становится *одним* лицом, наделяется *одной* волей и в этой форме может повелевать, издавать законы, добиваться прав и т. д., и т. д. «В этом объединении или подчинении заключается сущность государства».<sup>3</sup>

Учение о власти государства над своими гражданами, — говорит Гоббс, — «почти всецело зависит от осознания разницы, которая суще-

<sup>1</sup> «Потому что я не хотел приближаться к опасным берегам, где грозные скалы и вечные ветры». Последние приведенные места взяты из «предисловия» и из «посвящения» к книге «De cive», которая, как подчеркивает Гоббс, — очевидно, для защиты от роялистической интерпретации — «была написана не в интересах какой-нибудь партии, а в интересах родины». Ср. «Левинафан», глава XXX.

<sup>2</sup> «De cive», гл. V (т. II, стр. 215).

<sup>3</sup> «De cive», гл. VI (т. II, стр. 219).

ствуется между управляющими и управляемыми, потому что по самой природе государства масса или собрание граждан не только повелевает, но и подчиняется повелителю, но и то и другое в разном смысле». В чем состоит эта разница? Гоббс ведь как раз и старается показать, что государство и «масса» становятся идентичными через соглашение о подчинении, т. е. что «управляющая» или «повелевающая» масса есть само государство: «Если говорят, что народ или масса что-нибудь хочет, повелевает или делает, то под этим понимают государство, которое волей *одного* человека или согласованной волей нескольких людей... повелевает, хочет или действует». Но, с другой стороны, Гоббс говорит, что эта самая масса «не есть государство», как только она действует «помимо воли того *одного* человека или собрания». В этом последнем случае она *просто* масса, просто *агрегат* подданных, в то время как в первом случае ее правильнее назвать «народом». Это и есть та разница, от которой зависит понимание природы государственной власти.<sup>1</sup>

На деле здесь заключается основное логическое *противоречие* гоббсова изображения государственной власти, хотя и противоречие, которое оказалось плодотворным, как показывает последующее развитие «естественного права». Руссо в своем «Contrat social» сделал радикально-демократические выводы из демократических элементов гоббсовского тезиса; он перенес суверенитет на самый народ.

Но Гоббс из своих *самых по себе* демократических предпосылок выводит диаметрально противоположные заключения. Мы уже сказали, что государственная власть даже тогда, когда она противостоит обществу как самостоятельное, даже «абсолютное господство», все же остается *продуктом* этого самого общества или массы. Сам Гоббс объясняет это в таком смысле: простой народ является опорой государства, и даже короли не должны выводить его из терпения.<sup>2</sup> Далее он пишет: «Народ властвует в каждом государстве, даже в монархическом, потому что там народ выражает свою волю через волю одного человека».<sup>3</sup> Можно также сказать, что то собрание, которое посредством договора утверждает свою собственную единую волю, — пусть даже в лице монарха, — является в «зародыше» подлинно демократическим *учредительным собранием*,<sup>4</sup> хотя актом заключения

<sup>1</sup> «De cive», гл. VI (т. II, стр. 217).

<sup>2</sup> «Leviathan», гл. XXX.

<sup>3</sup> «De cive», гл. XII (т. II, стр. 291).

<sup>4</sup> Теннисес (стр. 340 сл., стр. 305) указывает на это. Особенной заслугой Теннисеса является то обстоятельство, что он первый внимательно исследовал развитие гоббсовской теории (в «Элементах естественного и политического права», затем в «De cive» и, наконец, в «Leviathan»). Здесь мы не имеем возможности остановиться на этом подробнее. Теннисес, повидимому, первый обратил внимание на чрезвычайно поучительную разницу между первоначальным английским текстом «Левифана» и более поздним латинским переводом. «Левифан» появился в 1651 г. в Лондоне (по-английски) и преследовал определенную цель — обосновать подчинение республиканскому государству, государственной власти Кромвеля. Латинский перевод, опубликованный только во время реставрации, содержит значительные смягчения в революционной формулировке. Julius Lips, автор весьма интересной книги о «позиции Томаса Гоббса по отношению к

договора и заканчивается его учредительская деятельность. В первоначальном изложении теории — в «Элементах естественного и политического права» — Гоббс прямо писал: «Демократия превосходит все другие формы управления».

*Теория представительства*, которую Гоббс развивает уже в «De cive», но гораздо решительнее и шире в «Leviathan», также имеет огромное историческое значение. Но как раз это понятие *представительства* должно у Гоббса играть роль посредника между имеющимися в зародыше «демократическими» предпосылками, с одной стороны, и абсолютным суверенитетом и всемогуществом государственной власти, направленными против «народа», — с другой. Это видно уже из вышеприведенных цитат, потому что та *единая* воля, которая превращает «массу» в «народ», может, по Гоббсу, существовать только как *представительство*; обладатель государственной власти, будь то монарх или демократическое собрание, есть воплощение этой *единой* воли.

Государство ни в каком случае не является совокупностью своих граждан. По теории Гоббса оно является скорее чем-то совершенно *обособленным* от этой совокупности, несмотря на то, что, по приведенным словам его, «управляющая масса», или «народ», и есть само государство. Так как, — говорит Гоббс, — простое соглашение или договор не дает никакой гарантии желательного состояния всесторонней безопасности, нужно создать «общую власть», которая руководила бы индивидами при помощи *страха* наказания и т. п. И эта «общая власть» должна сама по себе быть обособленной, свободной, самостоятельной властью, т. е. она должна принять форму особого «тела» или органа. «Объединение», образовавшееся благодаря учредительному соглашению, является «государством или гражданским обществом, или *гражданским лицом*». Но мы уже видели, что означает это юридическое, фиктивное или гражданское «лицо». Подобно тому как другие юридические лица являются представителями «естественных лиц», от которых получили полномочия, так и государство получает свою власть благодаря своим полномочиям; мы видели, что полномочия государства состоят в перенесении *всех* сил и способностей массы на *государственное* «лицо». «Если государство в целом является правовым лицом, то это не значит, что каждое правовое лицо есть государство, потому что с разрешения государства несколько граждан могут объединяться в *одно* лицо для ведения какого-нибудь определенного дела; этим они становятся правовым лицом, как, например, купеческие гильдии и различные другие союзы. Но они не государство...» Иное дело, когда речь идет о самом государстве: «Так как здесь все обладают только *одной* волей, то все считаются *одним* лицом, которое проявляется в этом единстве и *отличается от всех отдельных людей, обладающих особыми правами и особыми средствами*. Поэтому (за исключением

---

политическим партиям великой английской революции», проводит, следуя Теннису, основательное сравнение английского и латинского издания (стр. 75 сл.).

того лица, чья воля признается как воля всех) ни отдельный гражданин, ни все граждане в совокупности не могут считаться государством. Поэтому государство должно определяться как *одно* лицо, чья воля, в силу соглашения многих людей, принимается за волю всех людей и которое вследствие этого может использовать силы и средства отдельных лиц для всеобщего мира и всеобщей защиты» и т. д.<sup>1</sup> Это — логическое следствие того акта, благодаря которому *рождение* государства стало идентичным рождению *абсолютного* государства, т. е. государства, *обособленного* от общества и противостоящего массе как особое единство. Во всяком случае, — говорит Гоббс в другом месте, — *единство* не может быть на стороне тех, кого представляют, а только на стороне представителя. Но единство государства основано только на единстве *всех* перенесенных на него энергий, *всех* энергий *всех* индивидов, — на централизации всех «животных» энергий превращенного и отмененного *естественного* состояния.

Гоббс этим «логически» описал не что иное, как *фактическое* отделение государственной верхушки (суверенитета, центральной государственной власти, государственного аппарата) от «народа» или от общества, «абсолютную» эмансипацию государства от общества, полное «*отчуждение*» государства, создание особого государственного неба, куда граждане еще при жизни переносят свое настоящее политическое существование — и переносят таким образом, что политическая субстанция общества концентрируется в одну абсолютную, господствующую, сверхчеловеческую волю, а от самого общества остается только пустая физическая оболочка в юдоли «обывательской жизни». Вот «абсолютный» смысл того «Fiat», которым «левиафановский» государственный мир был создан из хаоса.

Тот первоначальный договор, который приводил к подчинению одному *абсолютному* представителю государства, имел, по теории Гоббса, самые далеко идущие последствия. Мы здесь коснемся наиболее важных пунктов.

Государство, это «искусственное» чудовище, образовалось в результате *отмирания* всестороннего антагонизма, который превращал естественное состояние в «войну всех против всех», а «человека в волка по отношению к другим людям». Но бестиальность этого естественного состояния *сохранилась* в другом виде: в отношениях между государствами, равным образом в отношении к неподчиняющемуся меньшинству, естественное состояние господствует, даже *не изменив своей формы*.

Как видно из анализа причин, приведших к составлению этого первоначального договора, государство было создано в целях *безопасности*, *гражданского мира*, в качестве *поручителя за договоры* в гражданской жизни и т. д., и т. д. «Безопасность — вот та цель, ради которой одни люди подчиняются другим». Для обеспечения этой всеобщей безопасности требуется не только «меч Немезиды» — соблюдение права, судопроизводства в целом, но и «меч войны», т. е. военная сила во всех ее формах. К тому же право,

<sup>1</sup> «De cive», гл. V (т. II, стр. 214—215).

которое можно назвать мечом войны, должно быть предоставлено тому же человеку или тому же собранию, которому принадлежит меч справедливости». Это необходимо вытекает из конституции самого государства, так как только тот может принудить граждан носить оружие и уплачивать военные налоги, кто может также наказать неповинующихся; с другой стороны, только государство, обладающее правом наказания, может обеспечить соблюдение всех договоров, а следовательно всеобщую безопасность и внутренний мир и этим выполнить свое основное назначение.

Все разногласия между людьми, — говорит дальше Гоббс, — возникают из различного представления о *моем* и *твоём*, о нравственном и безнравственном, о полезном и бесполезном и т. д. Поэтому высшей государственной власти надлежит «установить и обнародовать для всех граждан в совокупности правила или мерилы, из которых каждый может узнать, что принадлежит ему и что принадлежит другому» и т. д., и т. д., короче говоря — издать «гражданские или государственные законы». «Таким образом, гражданские законы (как можно их определить), это — приказы лица, облеченного высшей властью в государстве, относительно будущих поступков граждан». <sup>1</sup> Этот тезис опять-таки послужит основанием для выводов, имеющих большое значение. Когда Гоббс, по его собственному рассказу, <sup>2</sup> направил свои мысли на исследование *справедливости*, ему стало ясно, что «прежде всего» нужно найти основание для возникновения «обособленной собственности»: ведь в естественном состоянии «все принадлежало всем». Он разрешает эту загадку только тем, что приписывает *государственному состоянию* способность породить частную собственность; он говорит, «что собственность появилась только с государством и что каждому принадлежит только то, что он в силу законов и всей государственной власти может сохранить за собою»; <sup>3</sup> наоборот, сама государственная власть в принципе имеет право на всякую частную собственность. Вместе с появлением собственности образовалось неравенство в отношении собственности и экономическое неравенство вообще, чего Гоббс отнюдь не отрицает.

Здесь, как и всюду, специфически-*исторические* и *общественные* изменения человеческих отношений проявляются в определенной *политической* форме. Так как только в государстве существуют законы и собственность, то только в нем и можно найти разницу между добром и злом и т. д. — нравственность вообще. «Только в государственной жизни существует одно общее мерило добродетелей и пороков; именно по этому мерило совпадает с законами каждого отдельного государства; *даже законы природы*, после установления конституции, превращаются в *часть государственного закона*». <sup>4</sup> Из этого вытекает непосредственный вывод, что вне государственного со-

<sup>1</sup> «De cive», гл. VI (т. II, стр. 216 след.).

<sup>2</sup> «De cive», Посвящение (т. II, стр. 138 — 139).

<sup>3</sup> «De cive», гл. VI (т. II, стр. 227—228).

<sup>4</sup> «De homine», гл. XIII (т. II, стр. 116—117).



стояния не может возникнуть наука о нравственности благодаря отсутствию надежного мерил для «измерения» добродетели и порока. Правда, это относится не ко всем «естественным законам». Гоббс делает известное разграничение между добродетелями, которые присущи человеку как *таковому*, и теми, которые присущи ему как *гражданину*. Храбрость, осмотрительность и умеренность принадлежат к первому виду, потому что (обоснование, достойное внимания!), хотя они одни могут *поддержат* государство, но зато они могут и *разрушить* его, если ими обладают враги государства. Нравственные качества, поскольку их можно «измерить» законами самого государства, основаны на *справедливости*. Истинная добродетель, во всяком случае, это — *политическая добродетель*, т. е. те нравственные качества, которые наилучшим образом поддерживают государство.<sup>1</sup> Мы здесь не можем подробнее остановиться на разграничении частной и политической нравственности, хотя это разграничение имеет большое значение для всего дальнейшего развития «естественного права». В конечном итоге превращение «естественных законов» в политические основано на том, что образование самого государства явилось следствием веления «первого и основного закона природы», того закона, который повелевает искать мира, насколько это возможно, и помощи для ведения войны, если невозможно искать мира. Из этого закона, касающегося *самосохранения* и *безопасности*, вытекают все другие «естественные законы»; одновременно они являются законами «истинного разума», потому что они познаются разумом: они *неизменны*; будучи «естественными» законами, они еще не являются «законами» в собственном смысле слова, и только от государства, в конечном итоге, они получают, как было уже сказано, специфический характер *законов*.

Все это относится также и к *религии*. Религия, — говорится в одном месте у Гоббса, — это — горькая пилюля, которую нужно проглотить, как всякую пилюлю, без предварительного исследования. Во всяком случае, Христос не дал гражданам государства «распределительных законов» (законов о собственности); следовательно, все эти правила устанавливаются государством. Христос, вообще, предоставил разрешение всех спорных *светских* вопросов обладателям высшей государственной власти как в языческих, так и в христианских государствах. Но и в *духовных* вопросах, т. е. в отношении толкования религиозных велений, решение принадлежит обладателю государственной власти. Церковь и христианское государство едины, глава государственной власти — в то же время глава церкви; на самом государстве лежит обязанность толковать через своих духовных чиновников священное писание, распоряжаться культом и т. д. Все божеские повеления провозглашаются устами государственной власти.<sup>2</sup> В сущности *религия* для Гоббса — не что иное, как *копия* «естественных законов», даже только другое их название; он говорит, что естественный и

<sup>1</sup> «De homine», гл. XIII (т. II, стр. 117 — 118).

<sup>2</sup> «De cive», гл. XV — XVIII (т. II, стр. 331 сл.).

нравственный закон обычно называется божественным законом и не без основания...<sup>1</sup>

И «если религия, помимо природной набожности, не зависит от отдельного человека, то она должна, так как давно уже не существует чудес, зависеть от государственных законов. *Религия не философия, а государственный закон*, и поэтому ее нельзя обсуждать, ее можно только исполнять». <sup>2</sup> Таким образом, Гоббс всецело подчиняет религию государству (в этом отношении Руссо был его последователем). Превращение религии в свойство государства — безусловно своего рода критика религии. Гоббс ожесточенно борется против всяких притязаний церковной организации, — будь то католическая или протестантская, — на самостоятельность по отношению к государству. Четвертая книга «Левиафана» — сплошное воззвание против «царства тьмы».

Государство, как мы уже видели, представляет собою *единство*, «одно лицо», — в нем нет разделения властей. Гоббс далее говорит, что «для государства в высшей степени пагубно учение о разделении власти», потому что такое разделение — не что иное, как начало разложения государства.<sup>3</sup> Центральная государственная власть полностью держит в своих руках судопроизводство и религию, ведает вопросами войны и мира, издает все законы и т. д. и «естественно» распоряжается всем *государственным аппаратом*, всеми «магистратами». «Один человек или одно собрание не может вести государственные дела, как во время мира, так и во время войны, без помощи чиновников и организованной публичной власти; так как мир и всеобщая защита требуют, чтобы те лица, которым надлежит справедливо разрешать разногласия, проникать в планы соседей, искусно вести войну и не упускать из виду всестороннюю пользу государства, исполняли свою должность хорошо, то вполне разумно, чтобы эти высшие чиновники выбирались тем и зависели от того, кому принадлежит высшая власть в войне и мире». <sup>4</sup> Правда, это относится только к «совершенному государству», в котором никому в отдельности не предоставлено «право меча» и где ни один смертный не может конкурировать с обладателем высшей власти в могуществе или праве. Другими словами: государство только тогда совершенно по своей «материи» и «форме», когда весь государственный аппарат во всех своих частях руководится *одной* высшей волей, когда он совершенно обособился от общества и больше от него не зависит. Только тогда это соотношение

<sup>1</sup> Ср. «Elements of Law», I, гл. 18. Эти законы «называются законами природы, потому что они являются предписаниями природного разума; они являются также нравственными законами, потому что они относятся к нравам и взаимоотношениям людей; равным образом они являются и божественными законами, потому что они должны согласоваться или, по крайней мере, не противоречить слову божью, как оно открывается в священном писании». — Поэтому Гоббс повсюду привлекает Библию только в качестве дополнительного аргумента в пользу «естественного права».

<sup>2</sup> «De homine», гл. XIV (т. II, стр. 119—120).

<sup>3</sup> «De cive» гл. XII (т. II, стр. 289).

<sup>4</sup> «De cive», гл. VI (т. II, стр. 222).

осуществлено, когда совокупность «граждан» подчинена государству как единому *государственному аппарату*. Но если только государство издает те законы, которые осуществляются государственным аппаратом, то из этого следует, что *высшая государственная власть не связана гражданскими законами*. Этим завершается изображение государства и его *формы*. С одной стороны, власть и право совершенно совпадают в государстве, с другой стороны — последнее в принципе является *диктатурой*, поскольку оно не связано государственными законами. Таким образом, государство, по выражению Гоббса, — «абсолютное государство». Оно представляет собою единое чудовищное тело, управляемое *одним* центром. И то, что вначале являлось искусственным *механизмом*, теперь определяется как *бюрократическая машина*.

Бюрократическое или административное понимание общества играет исключительно большую роль в теории Гоббса. Возьмем, для примера, его определение свободы. «По-моему мнению, свобода — не что иное, как отсутствие всего того, что препятствует движению». Каждый, значит, обладает свободой в большей или меньшей степени в зависимости от того, обладает ли он большим или меньшим свободным пространством, большей или меньшей свободой движения, или, другими словами, свободы тем больше, чем больше видов свободного движения. «Поэтому заключенный в обширную тюрьму пользуется большей свободой, чем находящийся в тесной тюрьме». У Гоббса встречаются подобные примеры о заборах и стенах, которые удерживают пешехода от разрушения прилегающих к дороге полей или виноградников, или о корабле и т. д. Эти примеры, которыми Гоббс поясняет свое определение свободы, говорят сами за себя. С другой стороны, обнаруживается, что бюрократическое понимание «политического тела» есть только специфическая форма *механического* понимания вообще. «Поэтому вода, заключенная в сосуд, не свободна, сосуд препятствует ее вытеканию, но она освобождается, если ломается сосуд». Здесь не место для более подробного рассмотрения особенностей этого бюрократического способа мышления. Насколько далеко Гоббс заходит в этом направлении, видно из его изображения государственных *«иттионов»*. Для безопасности государства нужны такие лица, которые следили бы за намерениями и поступками *всех* тех, кто может стать опасным для государства. Их можно сравнить с паутиной, которая, протянув во все стороны тончайшие нити, сигнализирует о внешних событиях сидящему в своей маленькой норе пауку и т. д.<sup>1</sup>

Следовательно, всемогущий *«государственный паук»*, если можно так сказать, фактически опутывает своей сетью все общество. Тот факт, что государство не связано законами, которые оно само издает и которые являются только выражением и продуктом природы его абсолютной власти, не освобождает его, как государство, от *обязанностей*. В суверенном использовании своих полномочий государство должно осуществлять свою

<sup>1</sup> «De cive», гл. XIII (т. II, стр. 301).

собственную цель, ту цель, которой оно обязано своим возникновением. «Все обязанности властителей можно выразить *одной* фразой: благо государства есть высший закон». «Ибо обладатели государственной власти, хотя и не подчинены чужой воле или чужому закону, все же обязаны по возможности подчиняться во всем истинному разуму, который составляет естественный, нравственный и божественный закон». «Ибо государство образовалось *не для самого себя, а для граждан*»; правда, оно не может считаться с каждым отдельным гражданским индивидуумом, — оно заботится при помощи *общих* законов и установлений *об общих* интересах народа и т. д. Эти интересы следует понимать как «возможно более счастливую жизнь», как спокойное наслаждение добытыми собственным трудом богатствами, как материальное благосостояние вообще; для этого требуются: 1) защита от внешних врагов; 2) поддержание внутреннего мира; 3) возможность увеличения «своего имущества до тех пределов, которые не нарушают общественной безопасности»; 4) пользование свободой в тех пределах, в каких «она не может причинить вреда». <sup>1</sup> Следовательно, в первую очередь нужно «указать каждому подданному его собственность и его определенные поместья и владения, чтобы он мог развить себе свое предприимчивое трудолюбие и пожинать его плоды, так как без этих мероприятий люди перессорились бы между собою». Удобство жизни, которое должно предоставить государство, заключается в «свободе и благосостоянии». К этой свободе относятся и удобные средства сообщения, наличие хороших дорог и достаточных транспортных средств. «А что касается благосостояния народа, то оно состоит из трех частей: *хорошо организованной торговли, отсутствия безработицы и запрещения чрезмерного потребления* продуктов питания и домашней утвари». <sup>2</sup>

Затем следует равномерное распределение общественных обложений, обложение налогами в зависимости от имущественного положения и т. д., и т. д. *Равенство всех граждан перед законом* есть одна из высших необходимостей для самого государства и т. д. *Чрезмерное накопление богатств в одних руках представляет опасность для государства. Труд и бережливость* — вот лозунг хорошего гражданина. Этим намечаются сферы, в которых государство должно осуществлять свою «всеобщую» цель. Государство в силу «*законов природы*», благодаря которым оно возникло и которые оно санкционирует как государственные законы, должно обеспечить гражданам все виды свободы, которые совместимы с целью государства. Гоббс всемерно подчеркивает, что «как вода, замкнутая со всех сторон, останавливается и загнивает, а открытая — растекается по всем направлениям..., так же и граждане поглупели бы и стали беспомощными, если бы они не могли ничего предпринять без разрешения закона...; следовательно, чем больше остается не определенного законом, тем большей свободой пользуются граждане».

<sup>1</sup> «De cive», гл. XIII (т. II, стр. 298 сл.).

<sup>2</sup> «Elements of Law», т. II, гл. 9.

Мерилом этой свободы *должно быть благо граждан и благо государства* и т. д., и т. д.<sup>1</sup>

Мы видим здесь, как только что развивавшаяся всесторонняя самостоятельность и отчужденность государства уничтожается, и снова государство изображается как *продукт и орган* общества. Но это опять-таки только выражение того своеобразного, насквозь противоречивого положения, которое мы наблюдали при возникновении государства путем договора. В конечном итоге Гоббс старается примирить основные противоречия между интересами государства и интересами граждан путем установления своего рода механического *равновесия*.

В заключение необходимо сказать несколько слов о *формах государства*.

«Ясно, — говорит Гоббс, — что в каждом государстве существует *один* человек или *одно* собрание или одна коллегия, которые по праву имеют такую же большую власть над отдельными гражданами, какую каждый, вне государства, имеет над собой, т. е. самую высшую и самую неограниченную власть, которую ограничить может только сила и мощь государства». Ибо для ограничения этой власти потребовалась бы власть еще высшая, а для той — еще высшая, и так до бесконечности. Таким образом «мы в конце концов приходим к такой власти, пределы которой устанавливаются высшей мерой сил всех «граждан», — эта власть и есть государство, высшая власть». <sup>2</sup> Для сущности этой высшей государственной власти, не имеющей предела, во всяком случае безразлично, имеет ли она *монархическую, аристократическую* или *демократическую* форму. Мы уже говорили, что Гоббс отдает предпочтение монархии, но с оговоркой, что это единственный, предположительный, не имеющий доказательств пункт его государственной геометрии. По существу государственная власть всегда одна и та же во всех своих формах, потому что она всегда высшая власть, поэтому демократия не менее *абсолютное государство*, чем монархия. То же относится и к свободе: если под свободой понимать такое положение, при котором имеется не слишком много законов и запрещений, а только такие, какие необходимы для поддержания мира, тогда, — говорит Гоббс, — не может быть речи о том, что в демократии заключается больше свободы, чем в монархии; та и другая государственная форма совместима с одинаковой свободой. «Какими бы большими буквами ни написать слово «свобода» на воротах каждого города, оно все же обозначает не свободу гражданина, а свободу государства». Впрочем, *демократия* у Гоббса возникает просто в силу того, что первоначальное, образующее государство учредительное собрание объявляет себя постоянным или же наделяет *одного* человека или *один* совет полномочиями высшей власти на время между своими периодическими сессиями.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> «De cive», гл. XIII (т. II, стр. 306 сл.).

<sup>2</sup> «De cive», гл. VI (т. II, стр. 231—232).

<sup>3</sup> «De cive», гл. VII (т. II, стр. 240 сл.).

Административный способ мышления играет большую роль среди аргументов, приводимых Гоббсом в пользу монархической формы государства. «Потому что господство, — говорит он, — это только средство, и только ведение дел есть действие». Поэтому различные государственные формы отличаются друг от друга *этой деятельностью*, лучшим или худшим *управлением* государства, т. е. они определяются тем, «исходят ли действия и движения государства от совещаний многих или немногих, опытных или неопытных». Поэтому *преимущества и недостатки всякой государственной формы зависят* не от личности суверена, но от «государственных чиновников», от *государственного аппарата*. Кроме того, существующая для всех государственных форм необходимость передачи во время войны высшей власти одному лицу без всяких ограничений доказывает преимущество монархической формы государства. Но что же такое государства, — тут же прибавляет Гоббс, — «как не военные лагеря, которые защищаются друг от друга оружием и людьми и состояние которых... нужно расценивать как естественное, как состояние войны», потому что между государствами не существует *общей высшей власти*.<sup>1</sup> Следовательно, в конечном счете для Гоббса монархия только потому самая подходящая форма государства, что она означает для него только выражение самой строгой *централизации и концентрации* государственной власти, и эта централизация и концентрация, независимо от формы ее выражения, является альфой и омегой всей гоббсовской теории государства.

## IV

Понятно, почему так важно превращение формы стоимости и цены рабочей силы в заработную плату или в стоимость и цену самого труда. На этой форме проявления, скрывающей действительные отношения и показывающей совершенно противное им, основываются все правовые представления как рабочего, так и капиталиста, все мистификации капиталистического способа производства, все капиталистические иллюзии о свободе...

Маркс, Капитал, т. I, гл. XVII.

«Это, — говорит Гоббс, — есть продукт того великого Левиафана или (выражаясь более почтительно) того *смертного бога*, которому после бессмертного бога мы обязаны нашим миром и защитой. Благодаря тому авторитету, который дан ему каждым отдельным лицом в государстве, он получает в свое распоряжение такую огромную власть (power) и силу (strength), что страх, который эта власть и сила внушают членам общества, делает его способным направлять волю всех последних к поддержанию внутреннего

<sup>1</sup> «De cive», гл. X (т. II, стр. 276 сл.).

мира и взаимной помощи против внешних врагов. В нем заключается сущность (essence) государства (common-wealth)...»<sup>1</sup>

Мы пришли к концу того пути, который ведет от безудержного, неограниченного, всестороннего антагонизма «естественного» состояния к материальному и формальному установлению его противоположности — «совершенного» государства или всестороннего «политического» состояния. Мы рассмотрели важнейшие моменты действия того «искусственного» акта рождения, того договора, благодаря которому государство возникло из природы. Те положения, которыми Гоббс резюмирует *противопоставление* «естественного» и государственного человеческого существования представляют собою один сплошной гимн государству.

В том месте, где Гоббс в ходе своего систематического изложения вплотную подходит к «сравнению недостатков трех государственных форм», он говорит: «Сначала я рассмотрю преимущества и недостатки государства вообще, дабы никто не подумал, что лучше предоставить каждому жить по своему усмотрению, чем образовать государство». Далее говорится: вне государства каждый обладает наибольшей свободой, но фактически самой бесполезной, в созданном же государстве отдельный гражданин имеет ровно столько свободы, сколько требуется для «хорошей и спокойной жизни», и тем самым освобождается от неизбежного в естественном состоянии страха, внушаемого неограниченной свободой других граждан.

В то время как вне государства каждый имеет право на все, но не может по-настоящему наслаждаться ничем, государство гарантирует каждому надежное пользование своим ограниченным правом. Вне государства никто не уверен в получении «плодов своего труда», — в государстве эта уверенность обеспечена каждому и т. д. Одним словом, в «естественном» состоянии царит сила страстей, война, бедность, изоляция, варварство, невежество, а в государстве — разум, мир, богатство, общественность, наука и т. д.

Но существует опасность, что вместо этого созданного государством режима гражданской безопасности и мира наступит возвращение к состоянию «войны всех против всех» — опасность гибели государства. Гоббс подробно изучает «внутренние причины, приводящие к распадению государства»,<sup>2</sup> т. е. «причины восстаний». Ибо восстания, как и все формы гражданской войны, представляют собою явления распада государства. Насколько велик энтузиазм, с каким Гоббс относится к государству, к «совершенной форме государства», к «искусственной вечной жизни государства», настолько же велика его враждебность по отношению к восстаниям, гражданской войне и революции. Мы уже раньше говорили о том, что Гоббс объявляет гражданскую войну одним из величайших зол человеческого рода. Он даже определяет сущность гражданской войны как абсолютное отрицание государства и говорит: «Для поддержания внутреннего мира нужно взвешивать столько

<sup>1</sup> «Leviathan», гл. XVII (стр. 119).

<sup>2</sup> «De cive», гл. XII (т. II, стр. 284 сл.); «Leviathan», гл. XXIX (стр. 232 сл.).

обстоятельств и делать столько же распоряжений, сколько существует различных причин, приводящих к возмущению».<sup>1</sup> Из всех обвинений, предъявляемых Гоббсом церковным властям, одно из самых жестоких заключается в том, что современная религиозная борьба является причиной гражданской войны. Прежде всего он анализирует различные учения, которые должны привести к уничтожению государства; теорию убийства тиранов, которая с возрождением древних учений в век Макиавелли приобрела такое большое политическое значение; теорию подчинения главы государства государственным законам, разделения властей, неограниченного права собственности отдельных граждан и т. д. Он исследует организационные предпосылки устройства восстания<sup>2</sup> и действие материальных общественных причин, особенно *бедности, неравенства в обложении пошлинами и налогами, «чрезмерного богатства отдельных граждан», жадности к деньгам вообще и монополий, порождающих склонность к восстаниям и приводящих к образованию партий.*<sup>3</sup> Долг государственной власти всеми репрессивными мерами противодействовать разрушающим государству лжеучениям и партиям. Подстрекатели и государственные изменники наказываются не по государственным, а по естественным законам, т. е. по законам войны, потому что обязательство повиноваться государству предшествует всем государственным законам и само по себе есть естественный закон.<sup>4</sup>

С другой стороны, обязательство граждан по отношению к государству прекращается, как только государство перестает служить той цели, которой оно обязано своим существованием, т. е. как только оно теряет способность *защищать* своих граждан. «Тогда общественное существо распадается» и восстанавливается «первоначальное» состояние индивидуальной самозащиты, первобытной борьбы за сохранение жизни и т. д.<sup>5</sup>

Следовательно, *разрушение* государства соответствует его *созданию*.

Но и здесь, где рождение и гибель государства заключены в своего рода круговорот, государство Гоббса не отказывается от своего происхождения из того состояния, которое является совершенной и «абсолютной» противоположностью теперешнего его состояния. Ибо эта противоположность по существу есть только изменение формы, модификация того же содержания, которое в основном осталось неизменным. Поскольку государство,

<sup>1</sup> «Elements of Law», т. II, гл. 9.

<sup>2</sup> «De cive», гл. XII (т. II, стр. 293—294). Ни одно восстание, — говорит Гоббс, — не может вспыхнуть без надежды на успех. «Но для этой надежды нужны четыре вещи: достаточное число людей, военное вооружение, взаимное доверие и вождь. Спротивление властям, не подержанное достаточным числом людей, не является восстанием, а актом отчаяния».

<sup>3</sup> «De cive», гл. XIII (т. II, стр. 306). «Партией я называю некоторое число граждан, которые объединились своей собственной властью без соизволения обладателя или обладателей государственной власти. Следовательно, партия есть государство в государстве, потому что как государство возникает из объединения людей в естественном состоянии, так и партия возникает из нового объединения граждан».

<sup>4</sup> «De cive», гл. XIV (т. II, стр. 328—329); «Leviathan», гл. XXVIII (стр. 226).

<sup>5</sup> «Leviathan», там же (стр. 242).



рассматриваемое изнутри, представляет собою только государственную централизацию анархических, атомистических первоначальных природных сил и вместе с тем в своем *собственном политическом* движении всегда представляет и осуществляет только законы природы, постольку совершенно ясно, что естественное состояние и есть общая принципиально первая и определяющая основа.

Это естественное состояние, первобытная «война всех против всех», действительно является той осью, вокруг которой в теории Гоббса движутся все формы существования человеческого общества.

Правда, Гоббс определяет естественное состояние именно как «состояние человека *вне* гражданского общества», т. е. «естественное» состояние войны всех против всех *проявляется* как противоположность «*гражданскому*» состоянию или «гражданскому обществу». Но мы видели, что «*гражданский*» характер этого общества или то, что составляет противоположность по отношению к «естественному» бытию, в действительности определяется как специфическое *политическое* свойство. Мы также видели, каковы причины этого оптического обмана. — *То, что в понимании Гоббса является «бытием вне гражданского общества», состоянием природы, в действительности есть не что иное, как существование самого буржуазного общества, вернее — характеристика практического способа проявления конкретного буржуазного общества.*

*Всесторонний антагонизм «естественного» состояния есть только извращенное выражение состояния общества, в котором всеобщая конкуренция индивидуальных товаровладельцев проявляется как бесспорная или естественная форма существования.*

Неуверенность, изолированность и варварство «естественной» жизни людей «вне гражданского общества» отражает только реальную неуверенность и враждебную изоляцию, которую испытывает каждый отдельный индивидум в обществе, основанном на всеобщей конкуренции. Учение, по которому всесторонняя борьба частных интересов представляет собою свойство, присущее самой *природе*, закон природы, безудержную силу природы, могло возникнуть только в таком обществе, где фактически всеобщий конфликт материальных интересов есть необходимое следствие *общественной* формы жизни.

Мы уже сказали, что Гоббс первый систематически заменяет представление о первобытном естественном состоянии райского счастья, предшествовавшего началу всякой истории, теорией, в которой «естественное состояние» характеризуется как раз *обратными* свойствами. Это преобразование «естественного права», создающее эпоху в истории идеологий и срывающее с него теологическую маску, основано на эмпирическом созерцании эмпирических отношений, т. е. отражает фактическое коренное изменение самого общества.

При исследовании метода Гоббса мы уже рассмотрели его теоретическую, формальную и абстрактную сторону, теперь мы должны подчеркнуть его

*эмпирический* характер. Гоббс действительно исходит из наблюдения буржуазного общества; но его наблюдения односторонни; Гоббс рассматривает его форму проявления и видит в конкуренции отличительный признак последней. То, что выражает *общественную* связь индивидов в этом обществе, выступает у него, с одной стороны, как неограниченная *конкуренция* всех индивидуальных интересов, с другой стороны — как *договор* между этими индивидами. Именно договор между персонифицированными материальными интересами является тем элементом, который создает и устанавливает основной базис подлинно общественной связи между изолированными индивидами.

Но, по мысли Гоббса, требуется третий элемент, который гарантировал бы исполнение договоров, т. е. превратил их в контракты, и он находит гарантию этого во всеобщей власти — в государстве. Поэтому всеобщий договор массы индивидов — вернее, большинства их — и обуславливает «переход» в гражданское общество. Исключительная последовательность гоббсова эмпирического понимания проявляется в том, что он характеризует этот «учредительный» договор как массу отдельных договоров и как договоры только между отдельными индивидами, а не между ними и сувереном. Не трудно заметить, что под этими «договорами», посредством которых масса индивидов может возвыситься до «народа» и «конституируется» общественное и гражданское состояние, скрывается вся масса *экономических актов обмена*, осуществляющих в обществе отдельных товаропроизводителей общественную связь.

Из собственных слов Гоббса видно, что он исходит именно из этих явлений действительной «гражданской жизни», что он не переносит «естественного» состояния антагонистических интересов в фиктивное первобытное состояние людей, *по ту сторону истории*, а открывает эту «естественную» борьбу всех против всех *внутри* эмпирически данного общества. Об этом свидетельствуют все примеры, на которые он ссылается как-раз в той главе, где говорится об отношениях «вне гражданского общества». Он говорит там: яснее всего можно понять ту цель, ради которой люди вступают в общественную связь, из того, что они делают, как только эта связь осуществляется. Если последняя осуществляется ради *торговли*, то каждый заботится не о своем близком, но о своей собственной выгоде; если — для общественной службы, то возникает особый вид служебной дружбы, которая содержит больше зависти, чем дружбы; подобное же происходит при *объединениях* с целью получения удовольствий и т. д. Одним словом, во всех формах общественных объединений господствует конкуренция, своекорыстный интерес, жажда материальных или духовных выгод. В той же главе Гоббс приводит ряд других примеров из повседневной буржуазной жизни для обоснования своего тезиса о том, что страх каждого пред каждым принуждает людей стремиться к государственному объединению. Так, ложащийся спать запирает двери, отправляющийся в путешествие берет с собою оружие. Из страха друг перед другом люди защищаются либо бегством, либо вооруженной

борьбой. Так и государства защищаются посредством крепостей, армий и т. д., а города окружают себя стенами, — «и все это под влиянием страха перед соседними государствами и городами». Но этот страх — только следствие борьбы каждого против каждого. Гоббс неисчерпаем в примерах, когда хочет выявить это состояние и эту «природу человека». В другом месте он сравнивает всю человеческую жизнь со скаковым полем, где каждый стремится оказаться первым и откуда он уходит только в момент смерти.<sup>1</sup>

Гоббс выводит эту взаимную конкуренцию из природы «человека», но он не замечает, что речь идет только о человеке как о члене буржуазного общества, не замечает этой *буржуазной* природы человека.

Во всяком случае, он видит, что эта конкуренция индивидуальных интересов царит *во всех* областях общественной жизни.<sup>2</sup> Гоббс видит *основу* всего этого антагонизма в борьбе за частную *собственность*. Наконец, и гражданская война представляется ему формой, в которой гражданский антагонизм получает особенно яркое выражение. Так он говорит: самым значительным возражением против его теории суверенитета является взятый из *опыта* аргумент, сводящийся к вопросу о том, когда и где абсолютный суверенитет государственной власти был признан подданными. На этот вопрос Гоббс отвечает другим вопросом: когда и где общество бывало свободным от возмущений и гражданской войны? Нужно согласиться, что здесь Гоббс с большей наблюдательностью и, следовательно, с большим правом, чем его противник, ссылается на *опыт*.

Из всех представителей новой философии Гоббс первый сделал исходным пунктом своей теории всестороннюю борьбу индивидов за свои материальные интересы. Людвиг Фейербах упрекает Гоббса в том, что он «считал проявление человека в гражданской войне природной сущностью человека», в этом Фейербах усматривает односторонность Гоббса. Но эта критика сама страдает односторонностью: в действительности Гоббс указывает на *проявление человека в гражданском обществе всеобщей конкуренции* как на природную или естественную сущность человека, и *только поэтому* Гоббс рассматривает *проявление человека в гражданской войне* как дальнейшее выражение этой природной сущности. Кроме того, следует добавить, что мысль Гоббса об «естественной» и «гражданской» сущности человека возникла у него задолго до начала гражданской войны в Англии.

<sup>1</sup> «Elements of Law», т. I, гл. 9. «Эти скачки не должны иметь другой цели, другой славы, кроме возможности занять первое место» и т. д. Ср. *Теннисес*, стр. 176: «Правильное изображение свободной конкуренции», — прибавляет Теннисес; он выдвигает этот пункт, не указывая, однако, что из этого основного «элемента» вытекает в общих чертах все последующие определения гоббсової социальной теории (ср. стр. 206).

<sup>2</sup> Таким образом, становится ясным смысл знаменитого гоббсова парадокса: «Я не сомневаюсь в том, что если бы тот факт, что сумма трех углов треугольника равна двум углам квадрата, нарушил право собственности какого-нибудь человека или (правильнее сказать) интересы тех, кто обладает собственностью, то это учение, если и не было бы оспариваемо, то, во всяком случае, привело бы к сожжению всех книг по геометрии, поскольку заинтересованные лица могли бы этого добиться» («Leviathan», гл. XI).

Но борьба интересов есть только первая, только *одна* сторона. «Естественно-необходимым» следствием этой борьбы является *договор*. Если Гоббс определяет договор, как «перенесение прав», то под маской *переносимых* материальных «прав» в действительности нужно искать экономическое и общественное лицо *товара, обмениваемого* товара. Для Гоббса, собственно, человеком является не человек, *производящий* товары, но *обменивающий* товары, владелец товаров, *имеющий право распоряжаться* любой вещью, которую можно обменять или «перенести».

Таким образом, в итоге мы имеем два *основных атрибута*, конституирующие природу человека. «Два самых настоящих требования человеческой природы», — говорит Гоббс — проявляются, с одной стороны, в жажде исключительного, частного владения или пользования вещами, с другой стороны — в желании избежать «высшего зла» — «насильственной смерти». И Гоббс продолжает: «Я думаю, что, исходя из этих основ, доказал необходимость заключения и выполнения договоров»... *Эта необходимость самих договоров и необходимость их выполнения отчетливо определяются как «элементы нравственных добродетелей и гражданского долга»*.<sup>1</sup> Договор между двумя индивидами представляет собою прототип всех «гражданских» форм объединения, общественной жизни, так же как исполнение договоров является фундаментом всех гражданских обязанностей, справедливости, общей морали.

Гоббс сам обнаруживает, что в действительности речь идет *об экономическом акте обмена* как о базисе «этики и политики». «Справедливость поступков обыкновенно рассматривается в двух видах — как коммутативная и дистрибутивная... Первая имеет дело с обменом, куплей, продажей, займами, платежами, сдачей в аренду и подобными операциями между лицами, заключающими договор. Если в этих случаях равное дается за равное, то возникает так называемая коммутативная или меновая справедливость. Дистрибутивная справедливость касается ценности заслуг людей; если каждому дается *παρὰ τὴν ἀξίαν*, т. е. большее более достойному и меньшее — менее достойному, и притом в определенной пропорции, то возникает дистрибутивная или распределительная справедливость». Если кто-нибудь продает свои вещи так дорого, как он может, то покупатель не терпит несправедливости; и если кто-нибудь дает из своей собственности больше тому, кто заслуживает меньше, то все же ни та, ни другая сторона не терпит несправедливости, если только другой получает то, что ему следует («об этом свидетельствует сам Иисус Христос, спаситель наш, в Евангелии»). Следовательно, — продолжает Гоббс, — при разделении справедливости на коммутативную и дистрибутивную прежде всего идет речь не о *справедливости*, а о *равенстве*. «В то же время нельзя отрицать того, что справед-

<sup>1</sup> «De cive», «Посвящение» (т. II, стр. 139). В этом же месте Гоббс поясняет: он *только* для того сделал в своей книге «добавление о царстве божьем», чтобы не оставалось «видимости противоречия» между законами, данными природой, и провозглашенными Библией нравственными заветами бога.

длиность есть особого вида равенство». Равенство — истинное, справедливость — только ложное название этого отношения. Другими словами, справедливость *основывается* на равенстве и, как видно из изложения Гоббса, именно на равенстве стоимостей обмениваемых вещей, или товаров. Если действительно «равное дается за равное» и происходит таким образом обмен эквивалентов, то осуществляется и нравственное равенство, т. е. справедливость. Наоборот, несправедливость тождественна с нарушением этого закона эквивалентности, или равенства. Гоббс особенно подчеркивает значение этого анализа справедливости и говорит: «Хотя это деление справедливости общепризнанно, я все же это сказал для того, чтобы не подумали, что несправедливость есть что-нибудь другое, чем определенное выше нарушение договора или верности».<sup>1</sup>

С другой стороны, Гоббс вполне признает, что действительного, всеобщего равенства не существует и не может существовать в гражданском обществе; напротив, установление гражданских общественных отношений, или, по Гоббсу, переход из естественного состояния в гражданское, является как раз причиной *экономического неравенства*, т. е. общественного неравенства в отношении собственности. Следовательно, равенство обменивающихся между собою *индивидов* материально ограничено лишь равенством стоимостей *вещей*; этот вид равенства, который «сам есть закон природы», является тем базисом, на котором основано идеальное, нравственное, юридическое, политическое равенство, «равенство граждан пред законом». Вот смысл слов Гоббса о том, что люди равны «от природы».

Но, как мы видели, Гоббс различает два вида справедливости, *два вида равенства*. Этим он имеет в виду провести различие между эквивалентным обменом *натуральных* товаров, с одной стороны, и куплей-продажей особого *человеческого товара*, рабочей силы — с другой. Правда, Гоббс не в состоянии анализировать настоящую сущность этого различия, но он фиксирует ее, говорит о ней. Тот факт, что в товаре — рабочей силе он в сущности видит только объект покупки и продажи, видит ее характер товара и объявляет ее «такой же вещью, как и все другие вещи», — этот факт показывает, с одной стороны, гениальность его дара предвидения, а с другой — показывает, что для него остается закрытой общественная природа этой «вещи».

«Стоимость, или ценность (*value or worth*), человека, так же как и всякой вещи, есть его цена, т. е. она составляет столько, сколько может быть получено за пользование его силой».<sup>2</sup> «Труд человека, — говорится в другом месте «Левиафана», — есть также товар, подлежащий обмену на доход, подобно всякой другой вещи».<sup>3</sup>

Что касается общего выражения стоимости *всех* товаров, то золото

<sup>1</sup> «De cive», гл. III (т. II, стр. 184 сл.). Ср. «Leviathan», гл. XV (стр. 97).

<sup>2</sup> «Leviathan», гл. 10 (стр. 55). Маркс цитирует это место, как известно, в «Капитале», т. I, сл. 4 и в «Теориях прибавочной стоимости», т. I.

<sup>3</sup> «Leviathan», гл. XXIV (стр. 175 — 176).

и серебро получают свою стоимость от содержащейся в них материи; они являются той «эквивалентной вещью», к которой должны «сводиться» все товары, они поэтому представляют собою мировые деньги. Они являются «общим и повсеместным мерилom вещей, имеющих стоимость», и в отличие от разменной монеты, пригодной только во внутреннем обращении, их стоимость не может изменить ни одна государственная власть. «Золото и серебро, расценивающиеся выше всего во всех странах мира, являются удобной мерой стоимости всех остальных вещей в сношениях между народами; и чеканная монета, из какого бы материала ни чеканил ее суверен данного общества, является достаточной мерой стоимости всех других вещей в обращении между подданными этого общества»<sup>1</sup> и т. д.

Гоббс видит в труде единственный источник всякого богатства, за исключением «божских даров», тех даров непосредственного потребления, которые находятся в природе. Бог, — говорит он, — дает эти дары безвозмездно (freely), либо продает их людям за труд<sup>2</sup> (если раньше Христос выступал в качестве судьи в вопросах равенства и справедливости при купле-продаже, то выступление бога в качестве благородного купца доказывает лишь похвальную последовательность Гоббса).

Вместе с тем Гоббс имеет некоторое представление о различии между производительным и непроизводительным трудом. Он говорит: «Недостаточно того, что человек работает для поддержания своей жизни, он еще должен бороться за обеспечение своего труда, если это требуется. Либо он должен, подобно евреям при построении храма после возвращения из вавилонского плена, строить одной рукой и держать в другой меч, или же он должен нанимать других лиц, которые сражались бы за него».<sup>3</sup>

Уже выше мы говорили о производительном характере, — который приписывает Гоббс науке как истинной матери «общепользных искусств», — строительства крепостей, машиностроительства и т. д.

Мы не можем здесь дольше останавливаться на экономических воззрениях Гоббса; они изложены преимущественно в «Левиафане», в главе о «пропитании общества».<sup>4</sup> В другом месте мы показали,<sup>5</sup> в каком своеобразном коммерческом, юридическом и, наконец, политическом одеянии проявляется закон стоимости у Гоббса. Общественное распределение средств производства проявляется у Гоббса как фиксация частной собственности на землю и на «материалы», необходимые для торгового дела. Оно является актом распределения, производимым сувереном-государством. «Распре-

<sup>1</sup> «Leviathan», гл. XXIV (стр. 179—180).

<sup>2</sup> «Leviathan», гл. XXIV (стр. 175).

<sup>3</sup> «Leviathan», гл. XXX (стр. 251). Маркс и на это первый обратил внимание («Mehrwerttheorien» Bd. I, S. 287—288).

<sup>4</sup> «Leviathan», гл. XXIV (стр. 175). Маркс упоминает о Гоббсе в примечании к 23-й главе I тома «Капитала»: «первоначально экономией занимались философы, как Гоббс, Локк, Юм» и т. д.

<sup>5</sup> «Marx-Engels Archiv», В. II, S. 535.

деление средств пропитания, это — установление моего, твоего и его, одним словом — собственности; и во всех государственных формах — это, дело суверенной власти... Суверен указывает каждому участок земли, какой, по его мнению, а не по мнению кого-нибудь другого или целого ряда подданных, соответствует справедливости и общему благу».<sup>1</sup> Равным образом только «общество, т. е. суверен», может регулировать торговлю и назначать места для рынков; для поддержания общества недостаточно того, чтобы каждый обладал участком земли, либо средствами потребления, либо «естественной собственностью на то или другое полезное ремесленное искусство» (т. е. рабочей силой), требуется еще перемещение такой собственности посредством взаимных договоров. Поэтому «обществу, суверену», необходимо определить пути и способы, по которым могли бы состояться всякого рода договоры между подданными, как-то купля-продажа, займы и ссуды, наем и сдача в аренду.<sup>2</sup> Таким образом, Гоббс определяет *денежное обращение* как «кровообращение политического тела».

Легко заметить, что Гоббс вообще исходит из сферы общественного обращения и что все его экономические определения проявляются в том специфическом виде, какой получают производственные отношения в сфере обращения, торговых сношений, договорных сделок. Гоббс, естественно, не в состоянии раскрыть тайну особенного товара, — рабочей силы, — создающего прибавочную стоимость, — «тайну заработной платы». Поэтому он не знает, что не из природы человека вообще, а из природы капитала и его человеческой маски вытекает следующая особенность: «быть голодным будущим голодом». «Обмен между капиталом и трудом *сначала представляется* точно так же, как купля-продажа всех других товаров... Правовое сознание в лучшем случае видит здесь лишь вещественное различие».<sup>3</sup> Гоббс действительно берет за эмпирическую исходную точку именно *это* представление, экономическую *форму проявления*, и это *правовое сознание* характеризует его изображение «естественного права», «этики», «политики». «Простое обращение, рассматриваемое само по себе, — а это есть поверхность гражданского общества, где затемнены более глубокие процессы, из которых обращение возникает, — не обнаруживает никакого различия между объектами обмена, за исключением внешнего и преходящего. Здесь царство свободы, равенства и основанной на «труде» собственности».<sup>4</sup> В этом заключается самое глубокое основание, почему экономическая и вся общественная *действительность* буржуазного общества с «естественной необходимостью» принимает у Гоббса совершенно превратный, мистифицированный образ; эта гоббсова теория воспроизводит именно *форму проявления, обманчивую видимость* действительных отношений и остается в плену у этой видимости.

<sup>1</sup> «Leviathan», гл. XXIV (стр. 176).

<sup>2</sup> «Leviathan», гл. XXIV (стр. 179).

<sup>3</sup> Маркс, Капитал, т. I, гл. XVII.

<sup>4</sup> Письмо Маркса к Энгельсу от 2 апреля 1858 г.

Если это верно для всех дальнейших ступеней «геометрического» изображения всей политической теории, то все же нужно сказать, что это своеобразное извращение в сознании действительных отношений в большей или меньшей степени касается только теоретической *формы*, внутри же этой формы некоторые общие черты общественной и государственной действительности находят у Гоббса очень яркое и выпуклое выражение.

Глубина этого *эмпирического* миропонимания, этого *материалистического* взгляда на вещи, обнаруживается в том, что в естественно-правовых, абстрактных, неисторических формах представления отражается антагонизм буржуазного общества. Из атрибутов, которые Гоббс открыл сначала эмпирически как формы проявления буржуазных отношений, он мысленно воздвиг все социальное, юридическое и политическое здание этого общества. Бесстрашная логическая последовательность, с которой Гоббс мыслит, под давлением его эмпирического образа мысли в большей мере избавляется здесь от своей односторонности, — это приводит к некоторой *непоследовательности* мысли. На эту особенность указал уже Гегель.<sup>1</sup>

Конкуренция, насилие, противоречия всех видов, вообще противопоставление каждого индивидуального интереса всем другим интересам и есть то основание, на котором, по Гоббсу, возникает государство. Правда, описывая последнее как концентрированное воплощение власти, он не сознает того, что власть сама есть «экономическая потенция». Определяя государство как «абсолютную» власть, Гоббс прежде всего (и это очень важно) стремится показать, что существование государственной власти, централизация и концентрация этой власти и образование государственного аппарата являются *абсолютной необходимостью* для буржуазного общества. По энтузиазму, с которым Гоббс говорит о государстве, видно, что установление «*всеобщего царства буржуазного общества*» представляется ему «естественной необходимостью», абсолютной необходимостью, идеалом разумности. Подтверждение этому мы находим в гоббсовской философии нравственности и прежде всего в тех целях, «совершенное» осуществление которых совпадает с «полным» осуществлением этого нового, специфического буржуазного государства. — того «зримого бога», того «зверя», того «Левиафана», на котором концентрируется высший философский интерес Гоббса.

Поэтому он определяет государство как «искусственно» организованную власть гражданского общества, высшая цель которой заключается в следующем: поставить первобытный антагонизм в регулирующие рамки; распространить власть законов на все общество; обеспечить пользование гражданской собственностью и превращение в капитал всех ценностей, как в вещественной, так и в личной форме; гарантировать «добросовестное» исполнение всех договоров, беспрепятственное ведение всех дел и своеобразное общественное сотрудничество гражданских индивидов, — одним словом, установить всеобщую *безопасность* гражданского, или буржуазного, состояния.

<sup>1</sup> В вышеупомянутом труде «О научных методах изучения естественного права» (1802).



«Безопасность», — говорит Маркс в том периоде своего развития, когда он подвергает окончательной критике все старые, «естественно-правовые» теории общества и государства, — есть высшее социальное понятие гражданского общества, понятие *полицейское*, согласно которому все общество существует лишь для того, чтобы обеспечить каждому его члену неприкосновенность его личности, его прав и его собственности».<sup>1</sup>

Но одновременно мы видели, что этой материи (Matter) у Гоббса соответствует определенная «форма» (Forme), т. е. что государство, обособленное от своего собственного творца, общества, и господствующее над ним, имеет *абсолютную* форму, что в этой форме оно констатирует *собственные* силы общества как *чужие* силы и т. д. Мы также видели, что весь вообще специфический *общественный* характер современного общества имеет у Гоббса *специфический политический* характер как продукт политической власти.

«Одновременно с великим открытием Коперника и даже до него был открыт также и закон тяготения государств, их центр тяжести был найден в них самих. Различные европейские правительства пытались, правда поверхностно, как это бывает при первых практических шагах, применить этот закон в смысле установления равновесия государств. Но уже Макиавелли, Кампанелла и впоследствии Гоббс, Спиноза, Гуго Гроций, вплоть до Руссо, Фихте, Гегеля, стали рассматривать государство человеческими глазами и выводили его законы из разума и опыта, а не из теологии».<sup>2</sup>

Но именно Гоббс был самым ярким представителем взгляда, согласно которому государство является абсолютным центральным телом в системе буржуазного общества. Доведенное до предела *отчуждение* государства и исключительное восхваление *власти, присущей государству*, объясняются исторической обстановкой, в которой развивались взгляды эмпирика Гоббса. Политическая власть во всех видах была необходима для установления специфического механизма буржуазного способа производства, а в особенности для освобождения этой общественной формы от рамок, унаследованных от старого феодального общества.

Этим объясняется *односторонность*, с которой Гоббс превращает сущность *политической* власти в абсолютную сущность *общественной* власти и в субстанцию общества.

Но, с другой стороны, заслуга Гоббса заключается в том, что он поставил проблему *противоречия* (включив это противоречие в самую свою систему), обусловленного различием между *действительной сущностью буржуазного государства* и внешними формами его проявления. Поэтому «совершенная» государственная власть является у Гоббса то продуктом, то производителем

<sup>1</sup> Маркс, К еврейскому вопросу. Собр. соч. К. Маркса и Ф. Энгельса. Институт К. Маркса и Ф. Энгельса. Госиздат, М. — Л., 1929, т. I, стр. 387.

<sup>2</sup> Маркс, Передовица в № 179 «Кельнской газеты». (Собр. соч. К. Маркса и Ф. Энгельса, т. I, стр. 206 — 207). Эти слова написаны в то время, когда Маркс еще не завершил своей критики всей старой теории государства, а скорее сам был только радикально-демократическим представителем этого понимания государства.

«гражданского общества», то средством и органом, то высшей целью общества, то самоцелью — сувереном... Гоббс не мог разрешить этого основного противоречия, поэтому вся его теория государства полна неразрешимых противоречий.

Руссо, который в основном является последователем теории Гоббса, впоследствии понимает суверенитет именно как атрибут общества, «народа». «Другие времена, другие обстоятельства, другая философия», — замечает Дидро, подчеркивая контраст между обеими теориями.<sup>1</sup>

И в самом деле: расстояние между ними довольно точно измеряется исторической разницей общественной обстановки, в которой готовились буржуазные революции в Англии и во Франции.

Но если Руссо переиначивает государственную власть Гоббса и сводит самостоятельность государства к его *демократическому* базису, то он делает это в рамках формы отчуждения, — раздвоения реального индивидуума буржуазного общества на чувственно-естественного «человека» и на абстрактно-политического «гражданина». Это различие уже имеется у Гоббса. Поэтому «общественный договор» Руссо, представляя собою общую радикальную критику *государственного договора* Гоббса, в то же время является *завершением* основного принципа Гоббса. «Но человек, как член буржуазного общества, неполитический человек, неизбежно является *естественным* человеком. Droits de l'homme являются droits naturels, ибо *сознательная деятельность* концентрируется в *политическом акте*. Политическая революция разлагает гражданскую жизнь на ее составные части, не революционизируя этих составных частей и не подвергая критике. Она относится к гражданскому обществу, миру потребностей, труда, частных интересов, частного права, как к *основе своего существования*, как к последней, не подлежащей дальнейшему обоснованию *предпосылке* и потому как к своему *естественному основанию*. Наконец, человек, как член гражданского общества, имеет значение *собственно* человека, homme в отличие от citoyen, ибо он является человеком в своем *ближайшем* чувственном индивидуальном существовании, тогда как *политический* человек является лишь абстрактным, искусственным человеком, человеком как *аллегорической моральной* личностью. Действительный человек признан лишь в образе *эгоистической* личности, истинный человек — лишь в образе *абстрактного* citoyen». <sup>2</sup> Но чем же при ближайшем рассмотрении оказываются этот «естественный», или «реальный», человек и его абстрактная тень — политическое, или моральное, лицо? Фактически не чем иным, как самостоятельным, правоспособным и торгово-способным членом буржуазного общества, основанного на конкуренции, единичным товаропроизводителем и индивидуальным собственником средств производства, экономической характерной маской *буржуа как такового*. А с другой стороны, он тот же индивидуальный буржуа, но

<sup>1</sup> В статье «Hobbisme» (I. с., р. 240 — 241).

<sup>2</sup> Маркс, К еврейскому вопросу. Собр. соч. К. Маркса и Ф. Энгельса, т. I, стр. 390 — 391.

уже в своей маске, имеющей *политический* характер, как действующее лицо «общих» интересов и целей, как политический член особого общественного класса, являющегося представителем и господином буржуазного общества, это — буржуа как идеальный участник буржуазной государственной власти, т. е. *буржуа под титулом гражданина*. Это фантастическое раздвоение действительного буржуа на «естественного человека» и возвышенного «гражданина государства», отделение абстрактного гражданина от «естественного» буржуа, находится в прямой зависимости от степени, в какой государственная власть, на различных стадиях развития буржуазного общества, сама отделяется *в своих конкретных проявлениях* от своей общественной основы или, наоборот, совпадает с ней, т. е. с буржуазным классом. И здесь видимость и иллюзии вытекают из самих реальных общественных отношений.

Мы знаем, с какой исключительной остротой Гоббс рисует противоположность человека и гражданина, «естественного» и «политического» состояния общества. Но это соответствует положению, при котором буржуазное общество еще не совсем вышло из грубой, дикой, «нерегулярной» формы своего исторического существования; оно еще не успело выработать собственный экономический механизм и отвечающую его буржуазным потребностям государственную форму. Именно поэтому Гоббс сосредоточивает все «общие» атрибуты буржуазного общества во «всеобъемлющей», «абсолютной», «суверенной» государственной форме гражданского общества, и противоречие, в которое он ~~впадает~~, заключается в том, что он этой государственной форме придает характер, *не* соответствующий целям и стремлениям ее содержания, — характер, который в действительности лишь повторяет форму старого, феодального и абсолютистского государства.

Руссо радикально устраняет это противоречие между чисто буржуазным содержанием и не-буржуазной формой этого государственного идеала. Он наделяет политический образ «народа», т. е. совокупность граждан, той добродетелью, активностью и той сознательной политической энергией, которую Гоббс отнял у ее плебейской «субстанции» только для того, чтобы вдохнуть эту политическую душу в величественную фигуру «искусственного» чудовища — государства. Следовательно, Руссо возвращает народу только то, что ему принадлежит. Он концентрирует политическую волю граждан в «общей воле». Но он выражает то же, что и Гоббс, только в радикальной форме: идеал чистого, законченного и всеобщего господства буржуазного общества. Но так как «всеобщее царство» буржуазии, как цель, к которой нужно стремиться, существует только в представлении теоретиков, то иллюзорный дуализм человека и гражданина, хотя и в очищенной форме, сохранился и у Руссо как необходимая предпосылка.

Теория Руссо, в конечном итоге, сводится к *политическому* изъятию «собственных сил народа» из сферы государственного отчуждения и поглощения, и поэтому она представляет собою теорию политической *революции*. Гоббс, напротив, в гражданской революции видит только разрушительный

«пожар», отвратительное *раздробление* общества, которое он иллюстрирует грандиозной картиной из древней мифологии.<sup>1</sup> Это только другое выражение прославления абсолютного государства, и поэтому абсолютное заострение основных противоречий между предпосылками и выводами его теории государства.

Гоббс знал Францию Ришелье, он знал Англию Карла I; он осознал элементы своей теории государства еще до начала гражданской войны в Англии. Это было время расцвета *абсолютной* монархии. Но разве развитие абсолютной монархии не основывалось в конечном счете на первом широком развитии буржуазных отношений?

Можно сказать, что теория Гоббса логически отражает именно эту историческую связь. Но в действительности абсолютная монархия есть только первая значительная форма проявления *относительной* эмансипации государства, государственной верхушки, государственного аппарата от общества.

Этим объясняется тот грандиозный образ, который принимает государство в понимании Гоббса. *Но этим не объясняется все содержание гоббсово-вой теории государства.*

Правда, субъективно и, повидимому, только в первый период своего развития Гоббс более или менее определенно считает *абсолютную монархию* наиболее соответствующей формой *абсолютного государства*. Ни в коем случае нельзя утверждать, что Гоббс объявляет абсолютную монархию сущностью государства, т. е. что он считает конкретный ее образ идентичным теоретическому образу своего «абсолютного государства». Он не останавливается на чисто внешней форме проявления государства, а смотрит гораздо глубже. Процесс концентрации и централизации современного ему государства, который уже начался в пределах государственной формы абсолютной монархии, поражает его и эмпирически определяет его взгляды: прежде всего его поражает развитие могущественной, своеобразной государственной машины. Вот почему бюрократические и административные черты государства приобретают такое большое значение в теории Гоббса.

Начинается гражданская война в Англии. Абсолютная монархия вызывает народ на борьбу. Глубину образа мыслей Гоббса можно видеть в том, что ему была известна проблема *двоевластия*: «В некоторых случаях бывает трудно установить, какой человек или какое собрание обладает высшей властью в государстве, но она всегда существует и действует, за исключением периода восстаний и гражданской войны, когда одна высшая государственная власть распадается на две. Вожди восставших, борющиеся против абсолют-

<sup>1</sup> «Подобно тому как дочери фессалийского царя Пелея, желая *омолодить* дряхлого отца, по совету Медей, разрезали его на части и поставили варить на огонь, так и чернь в своем неразумии... хочет омолодить старое государство; соблазненная ораторским искусством честолюбивых людей, подобных отравительнице Медее, делит его на партии и, вместо того чтобы реформировать его, большею частью оставляет на пожирание огню» («De cive» гл. XII. Ср. «Leviathan», гл. XXX, стр. 246).

ной власти, не столько стремятся уничтожить ее, сколько передать ее в другие руки; *если бы они устранили эту власть, то тем самым уничтожили бы и государство*...<sup>1</sup> Но действительно, буржуазная, или политическая, революция вовсе не уничтожает государства, она только заменяет старую государственную форму новой, отвечающей потребностям буржуазного общества; она заменяет старое классовое господство новым, политически обеспечивающим господство буржуазного способа производства.

Гражданская война в Англии кончается победой «народа», казнью Карла I и установлением диктатуры Кромвеля. В диктатуре, централизующей в своих руках всю государственную энергию, весь политический процесс централизации и концентрации получает особенно яркое выражение. Базис, на котором протекает этот процесс, очищается от феодальных форм, — государство переходит на буржуазный базис. Если Гоббс теперь, при помощи своего «Левнафана», обеспечивает себе возвращение в обновленную Англию и теоретически обосновывает подчинение государству Кромвеля, то это только прямое следствие теории Гоббса. Господство Кромвеля и умеренных «индепендентов» представляется ему подтверждением его принципа, что демократическая (республиканская), как и монархическая формы государства в одинаковой мере являются «абсолютным государством». Впрочем, он бежал из Англии в начале гражданской войны не столько из страха перед революцией, сколько из страха перед духовенством, в особенности перед пресвитерианами; можно считать, что исследования новейшего времени с достоверностью устанавливают этот факт.

«Гоббс был первым современным материалистом (в смысле XVIII века), но абсолютистом в ту эпоху, когда абсолютная монархия достигла своего расцвета во всей Европе, а в Англии вступила в борьбу с народом», — так говорит Фридрих Энгельс.<sup>2</sup> Мы постарались показать, в каком смысле следует понимать абсолютизм Гоббса. Во всяком случае, нам кажется, что старая точка зрения Кунова<sup>3</sup> и, очевидно, Бернштейна,<sup>4</sup> согласно которой Гоббс представляется просто идеологическим поборником абсолютной монархии, оказывается несостоятельной при более тщательном анализе теории государства Гоббса; кроме того, данные новейших биографических исследований, повидимому, опровергают эту точку зрения. Как бы то ни было,

<sup>1</sup> «De cive», гл. VI (т. II, стр. 225).

<sup>2</sup> В письме к Конраду Шмидту от 27 октября 1890 г. («Sozialistische Monatshefte», 1920, В. 55, S. 874 — 875). Ср. Энгельс в «Диалектике природы» об отношении учения Дарвина к «Воине всех против всех» Гоббса.

<sup>3</sup> См. полемику между Куновым и Тенниссом в «Neue Zeit» (1896 — 1897, В. XV/2, S. 630, 783, 815 сл.). Нам кажется, что в этом споре об историческом значении Гоббса именно Теннисс приводит более веские аргументы, но оба спорящих односторонне используют только часть противоречий, содержащихся в самой теории Гоббса. Нам кажется в основном совершенно недопустимой позднейшая постановка этой проблемы или, вернее, *обход* ее Куновым в первом томе его работы об «Исторической, общественной и государственной теории Маркса».

<sup>4</sup> E. Bernstein, Sozialismus und Demokratie während der grossen englischen Revolution. 3 Aufl., 1919, S. 245.

можно с уверенностью сказать, что Гоббс, будучи принципиальным противником революции, все же под видом «абсолютного государства» «гражданского общества» провозглашает именно «всеобщее царство» буржуазии, которое предстояло осуществить английской революции и которое, в конечном итоге, фактически претворилось в жизнь через классовый компромисс так называемой «славной революции». Эмпирическое понимание абсолютной монархии сказалось не столько на внутреннем содержании теории Гоббса, сколько на тех рамках, которые с самого начала ограничивали эту поистине великую и оригинальную теорию.

Энгельс в другом месте разъясняет своеобразное противоречие между представителями широких буржуазных масс и прогрессивными взглядами великих буржуазных материалистов. Это же противоречие находит своеобразное отражение в теории Томаса Гоббса. Английская революция протекала под лозунгами и формулами преимущественно религиозного характера, хотя этот религиозный флаг едва прикрывал материальные движущие силы — классовые интересы крупной и мелкой буржуазии. Гоббс противопоставляет всему пуританско-библейскому миру представлений, с которым выступила революция, принципиальную эмансипацию государства и политики от теологии и всякого господства церкви. Даже в «Behemoth», в той книге, в которой Гоббс впоследствии, после реставрации, описывает исторические события гражданской войны, осуждая их и пересматривая задним числом свою собственную позицию по отношению к государству Кромвеля, даже здесь красной нитью проходит ненависть к козням духовенства, к материальной и духовной диктатуре церкви.

Это «царство мрака, — говорится в «Левиафане», — есть не что иное, как «заговор обманщиков, которые с целью добиться в этом мире господства над людьми стараются погасить свет разума и Евангелия темными и лживыми учениями».

В этом реальном мире, — возражает он иезуиту, кардиналу Беллармину, — нет духовного государства, которое отлучалось бы от светского, и именно потому, что в этой земной жизни люди никогда не обладают духовным телом и граждане каждого государства являются телесными существами из плоти и крови, никакое духовное государство невозможно на земле.<sup>1</sup>

Гоббс так резюмирует свои рассуждения о христианской религии и истории церкви: с тех пор как римский епископ был признан всеобщим епископом, можно сравнить всю духовную иерархию с царством злых духов, т. е. с бабьими сказками, в которых говорится о духах и привидениях и о бесчинствах, которые они творят по ночам. Эти *духи* прячутся во мраке и уединенных местах; *духовенство* (в самом имени есть что-то зловещее) обретается в темницах догмы, — в монастырях и церквях. Злые духи не подлежат наказанию, также и духовенство не подчинено закону, так как оно освобождено от суда гражданской юстиции. Старые бабы не узнали, в какой

<sup>1</sup> «Leviathan», гл. 42 (стр. 428).

мастерской нечистые духи варили свои зелья, но колдовская кухня духовенства хорошо известна всем: это — университеты, находящиеся под руководством духовенства. Духовенство снимает сливки в форме десятины и даров глухих людей, так же как в сказке домовые во время ночных походов снимают с молока только сливки. Сказка ничего не говорит о том, какая монета имеет хождение в царстве злых духов, но духовенству платят теми же деньгами, что и всем людям. Но если самому духовенству приходится платить, — оно платит изречениями святых, отпущениями грехов и церковными службами. Так же как нечистые духи и приведения живут только в фантазии и страхе темного народа, так и духовная власть папы основана исключительно на страхе отлучения от церкви. Злые духи, как бы они ни были рассеяны по свету, имеют одного единственного владыку, также и священники во всех странах признают только одного короля — папу. «Если вдуматься в происхождение этого великого духовного господства, то легко убедиться, что папство есть не что иное, как призрак погибшего римского царства с короной на голове».

Но, — прибавляет Гоббс — *«римское духовенство не единственное духовенство, которое претендует на то, что царство божие есть царство этого мира, и которое таким путем стремится к земной власти, отличающейся от власти гражданского государства»*.<sup>1</sup>

Этими словами заканчивается последняя глава книги Гоббса о государстве — Левиафане.

К. Шмюкле.

<sup>1</sup> «Leviathan», гл. XXXVII (стр. 516 — 518).

# УЧЕНИЕ МАРКСА О ПРОИЗВОДСТВЕ И ПОТРЕБЛЕНИИ

В марксистской литературе до сих пор отсутствует систематическое изложение и анализ учения Маркса о связи между производством и потреблением. А между тем это учение имеет большое значение для правильного понимания методологических основ всей экономической теории Маркса. До сих пор это учение привлекало внимание не столько марксистов, сколько критиков Маркса, которые с большим однообразием повторяли друг за другом излюбленный аргумент о том, что Маркс игнорирует процесс потребления продуктов и забывает о существовании потребительной стоимости. До каких нелепостей доходили критики в этом пункте, можно убедиться хотя бы на примере Гаммахера. Последний приписывает Марксу «ложную заднюю мысль, что при капитализме естественные свойства товара совершенно не ценятся». И Гаммахер с ученым видом знатока поучает Маркса, что «и в капиталистической системе вещественное качество товара остается решающим».<sup>1</sup>

Подобного рода нелепые упреки объясняются совершенно различным отношением Маркса и его критиков к проблеме потребительной стоимости. Критики, близкие к австрийской школе или «примиряющие» меновую стоимость с потребительной, признают последнюю фактором, определяющим стоимость товара. Не находя у Маркса признания подобной роли за потребительной стоимостью, они делают вывод, что Маркс «игнорирует» процесс потребления. Дальнейшее изложение убедит нас в ложности этого вывода. В многочисленных замечаниях Маркса и Энгельса, — правда, разбросанных в их различных сочинениях и нигде систематически не обработанных, — мы найдем не мало материала для правильного понимания процесса потребления, как одного из моментов процесса воспроизводства в целом. В настоящей статье мы намерены дать систематическое изложение и анализ этого материала, не ставя себе задачей исчерпывающую разработку вопроса.

Вопрос о связи между производством и потреблением является пограничным вопросом, интересующим в одинаковой мере и теорию исторического материализма, и экономическую теорию. В соответствии с этим мы находим

<sup>1</sup> *Hammacher*. Das philosophisch-ökonomische System des Marxismus. Leipzig 1909. S. 545.



у Маркса и Энгельса: 1) общее учение о производстве и потреблении, поскольку они составляют необходимые моменты воспроизводства в любой экономической формации; 2) специальное учение о производстве и потреблении в капиталистическом обществе. Первое учение будет изложено нами в I главе, а последнее — во II главе. Наконец, III глава посвящена вопросу о том, в какой мере процесс потребления входит в область исследования политической экономии; в частности, в последней главе большое внимание будет посвящено нами «формальной потребительной стоимости», которая играет в марксовой теории видную роль, но не привлекала к себе внимания исследователей.

## Г Л А В А I

### ОБЩЕЕ УЧЕНИЕ О ПРОИЗВОДСТВЕ И ПОТРЕБЛЕНИИ

В настоящей главе мы изложим общее учение Маркса о связи между производством и потреблением, поскольку она имеет место в различных экономических формациях, а не только в капиталистическом обществе. Мы располагаем это изложение в хронологическом порядке, начиная с ранних подготовительных работ Маркса для «Святого семейства» (1844 г.), опубликованных Д. Б. Рязановым в III томе «Архива К. Маркса и Ф. Энгельса». После анализа этой работы мы переходим к «Немецкой идеологии» (зима 1845—1846 гг.), чтобы закончить эту главу «Введением к Критике политической экономии» (1858 г.), где общее учение Маркса о связи между производством и потреблением получило свою наиболее законченную формулировку.

#### 1) Подготовительные работы для «Святого семейства».

В третьей книге «Архива» Д. Б. Рязановым опубликованы ранние подготовительные работы для «Святого семейства»,<sup>1</sup> написанные Марксом в 1844 г.

В этот период Маркс интересовался еще преимущественно проблемами философии, права и государства. Но в тесном переплетении с ними выступают уже, — в виде отдельных замечаний или более длинных рассуждений, — также вопросы, относящиеся к теоретической экономии.<sup>1</sup> Именно потому, что в ранних работах Маркса экономический материал еще не обособился от материала философского и историко-социологического, анализ его представляет значительные трудности, но вместе с тем и огромный интерес. Наряду с интереснейшими замечаниями о разделении труда, связи разделения труда с частной собственностью и т. д., мы в названной выше работе находим зародыш того учения о связи между производством и потребле-

<sup>1</sup> Перепечатаны в третьем томе Собрания сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса, изданном в 1929 году.

нием, которое впоследствии было дальше развито Марксом в его «Введении к Критике политической экономии» и других сочинениях.

В 1843—1844 гг. на Маркса оказали значительное влияние философские сочинения Фейербаха. Но, как справедливо отметил Д. Б. Рязанов, «Маркс, усвоив себе антропологизм Фейербаха, в отличие от последнего, сохраняет и дальше развивает все революционные элементы гегелевской диалектики».<sup>1</sup> Правильность этого замечания подтверждается и разбираемыми ниже рассуждениями Маркса о человеческих потребностях. Они могли быть формулированы Марксом лишь на основе органической переработки тех идей, которые он нашел как у Гегеля, так и у Фейербаха.

Идея единства человеческих потребностей и предметов, необходимых для их удовлетворения, ярко выражена у Гегеля.<sup>2</sup> Но она носит у него идеалистический характер, так как человек рассматривается как чисто духовное «самосознание», а предмет — как нечто созданное самим духом в акте его «отрешения» от самого себя и потому обладающее лишь кажущейся самостоятельностью по отношению к субъекту. Последний сознает, что внешний предмет есть лишь продукт акта отрешения самосознания, есть «нечто, принадлежащее к его собственной сущности и вместе с тем недостающее ему». Субъект видит во внешнем предмете «свою собственную односторонность» и вместе с тем знает, что предмет «содержит в себе возможность удовлетворения желания, что предмет, следовательно, соответствует желанию, которое именно поэтому и возбуждается им». Отсюда возникает для субъекта необходимость удовлетворить свое желание путем уничтожения (потребления) внешнего предмета и таким образом доказать мнимый характер самостоятельности последнего и его действительную идентичность с самим субъектом. «Посредством удовлетворения желания существующая в себе идентичность субъекта и объекта становится положенною (gesetzt), односторонность субъективности и кажущаяся самостоятельность объекта уничтожаются».

Основную идею этих рассуждений Гегеля Болланд, известный комментатор его сочинений, выразил в следующем кратком примечании: «Удовлетворение желаний на деле доказывает существенное единство противоположенных», т. е. субъекта и объекта. Это единство носит у Гегеля идеалистический характер: объект есть лишь инобытие субъекта, а последний представляет собою чисто духовную сущность самосознания. Несмотря на этот идеалистический характер концепции Гегеля, в ней отмечен ряд интересных моментов, получивших впоследствии дальнейшее развитие у Фейербаха и Маркса. Таковы: испытываемое субъектом чувство односторонности и «нужды» во внешнем предмете; роль последнего как необходимого дополне-

<sup>1</sup> Д. Б. Рязанов, От «Рейнской газеты» до «Святого семейства». («Архив К. Маркса и Ф. Энгельса», т. III, стр. 133.)

<sup>2</sup> См. *Hegel, Phänomenologie des Geistes*, 1921, S. 120 — 122. Подробнее о том же: *Hegels Encyclopädie der philosophischen Wissenschaften, herausgegeben von Bolland, Leiden 1906*, S. 911 — 915. Нижеследующие цитаты взяты нами из последнего издания (стр. 913).

ния к сущности самого субъекта; соответствие внешнего предмета желаниям, удовлетворяемым при его помощи; и, наконец, в качестве общей философской основы всех этих моментов, учение о единстве субъекта и объекта, — истолкованное, правда, в идеалистическом духе.

В материалистическом духе переработал учение о потребностях Фейербах. Мы приведем две характерные для него цитаты, взятые как раз из тех его сочинений, которые в этот период произвели на Маркса наибольшее впечатление. В своих «Предварительных тезисах к реформе философии» (1843 г.) Фейербах писал: «Только существо, имеющее *в чем-нибудь нужду*, есть *необходимое* существо. Существование без потребностей есть ненужное существование... Божественно только существо, страдающее от неудовлетворения потребностей. Существо, неспособное испытывать лишения, это — существо без сущности. Но ведь существо, не испытывающее страданий неудовлетворенных потребностей, есть не что иное, как существо без чувственности, без материи».<sup>1</sup>

Если у Гегеля человек испытывает нужду во внешнем предмете потому, что последний порожден творческим актом «отрешения» чисто духовной сущности самого человека, его «самосознания», то у Фейербаха нужда во внешнем предмете вытекает именно из чувственной, материальной природы человека. Нематериальный, чисто духовный человек, вопреки мнению Гегеля, ни в каких внешних предметах не нуждался бы.

Еще резче заостряет Фейербах свою мысль против Гегеля в следующем своем сочинении — «Основы философии будущего» (1843 г.): «Только чувственное существо нуждается в вещах вне себя для того, чтобы существовать. Для дыхания я нуждаюсь в воздухе, для питья — в воде, для того, чтобы видеть — в свете, для питания мне нужна растительная и животная пища, но для мышления, по крайней мере непосредственно, мне не нужно ничего... Существо, которое дышит, неизбежно относится к какой-то сущности вне себя, имеет вне себя свой *необходимый* предмет, при помощи и посредством которого оно есть то, что есть».<sup>2</sup>

В 1844 г., когда Маркс писал свои подготовительные работы для «Святого семейства», он, опираясь на философию Фейербаха, вел решительную борьбу против идеалистических взглядов Гегеля. Отсюда понятно, что и в своих рассуждениях о потребностях и потреблении он в этой ранней работе прежде всего делает, по примеру Фейербаха, сильный упор на чувственную природу человека. Он пишет: «Человек является непосредственно *природным существом*. В качестве природного существа, притом живого природного существа, он отчасти наделен *естественными силами, жизненными силами*, является *деятельным* природным существом; эти силы существуют в нем в виде задатков и способностей, в виде *инстинктов*; отчасти же, в качестве естественного, телесного, чувственного, предметного существа, он,

<sup>1</sup> Фейербах, Сочинения, т. I, изд. Института К. Маркса и Ф. Энгельса, стр. 67.

<sup>2</sup> Там же, стр. 80.

подобно животным и растениям, является *страдающим*, обусловленным и ограниченным существом, т. е. *предметы* его инстинктов существуют вне него как независимые от него *предметы*; но эти предметы суть *предметы*, служащие для удовлетворения его *потребностей*; это необходимые, существенные для утверждения и осуществления его существенных сил *предметы*... Быть предметным, естественным, чувственным, это — все равно, что иметь вне себя предмет, природу, чувство или быть самому предметом, природой, чувством для некоторого третьего существа. *Голод* есть естественная *потребность*; поэтому для его удовлетворения и утоления ему необходима *природа* вне его, предмет вне его. Голод, это — предметная потребность одного тела в другом, находящемся вне его, необходимым для его дополнения и проявления его жизни *предмете*... Существо, не имеющее вне себя своей природы, не есть *естественное* существо, оно непричастно к сущности природы. Существо, не имеющее никакого предмета вне себя, не есть предметное существо».<sup>1</sup>

Читатель легко заметит сходство этих слов Маркса с приведенными выше цитатами из сочинений Фейербаха. Подобно Фейербаху, Маркс делает исходным пунктом своих рассуждений чувственный характер человека, объясняющий неразрывную связь его с природой. «Чувственность (см. Фейербах) должна быть основой всякой науки», — пишет Маркс (стр. 629), и на этой основе он воздвигает свое учение о потребностях. Именно из чувственной природы человека Маркс, по примеру Фейербаха, выводит теснейшую связь человеческих потребностей и предметов, служащих для их удовлетворения. Как природное существо, человек нуждается в предметах природы, находящихся вне его; но, с другой стороны, эти предметы служат именно для удовлетворения потребностей человека, для дополнения и проявления его жизни.

Если бы Маркс ограничился выяснением чувственно-пассивной природы человека, он не вышел бы из круга идей, намеченного Фейербахом. Но, как указал Д. Б. Рязанов в цитированных выше словах, Маркс даже в период своего увлечения Фейербахом «сохраняет и дальше развивает все революционные элементы гегелевской диалектики». И подтверждение этому мы находим также в учении Маркса о потребностях и потреблении. Уже в разбираемой нами ранней работе Маркса человек выступает не только как пассивное существо, испытывающее потребность во внешних предметах, но и как *активно* действующее, *исторически* изменяющееся и *общественное* существо.

Уже в цитированных выше словах Маркс с самого же начала характеризует природу человека с ее двойственной, активно-пассивной стороны. Человек не только пассивное существо, страдающее от неудовлетворения своих потребностей, но и активное существо, наделенное «естественными

<sup>1</sup> Маркс, Подготовительные работы для «Святого семейства». Собрание сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса, т. III, стр. 642 — 643. В дальнейшем цитируется это же издание.

силами», которые проявляются в его деятельности. Если у Гегеля активная сторона человека сводилась к абстрактному, чисто духовному акту деятельности «самосознания», то Маркс ставит на ее место «содержательную, живую, чувственную конкретную деятельность самоопредмечивания» (стр. 650), т. е. трудовую деятельность. Но в своей трудовой деятельности человек выступает уже не только как природное, но и как общественное существо: «Деятельность труда и дух, как по своему содержанию, так и по способу возникновения, общественны: это — общественная деятельность и общественный дух» (стр. 623). Из общественной природы человека вытекает его исторически изменяющаяся природа: «Вся история есть не что иное, как образование человека человеческим трудом» (стр. 632).

Как видим, Маркс, хотя и взял исходным пунктом своих рассуждений «естественного» человека Фейербаха, не остановился на нем. От естественного человека он перешел к общественному, активно действующему и исторически изменяющемуся человеку. Именно в применении к общественному человеку он развил дальше свои ценные мысли о связи между производством и потреблением.

В обществе проявляется с наибольшею силою уже намеченная выше связь между потребностями людей и предметами, которые служат для их удовлетворения. В обществе все предметы выступают уже не в том виде, в каком они даны непосредственно самой природой, они уже не являются природными предметами, они созданы самим человеком. Они представляют собою проявление его жизненных сил, овеществленное проявление самой природы человека. «Поскольку повсюду для человека в обществе предметная действительность становится действительностью человеческих существенных сил, становится человеческою действительностью, а значит и действительностью собственных его существенных сил, постольку для него все предметы становятся *опредмечиванием* его самого, утверждающими и осуществляющими его индивидуальность предметами» (стр. 627). Сами предметы выступают как очеловеченные, т. е. как результат человеческой деятельности, как проявление человеческих сил.

Но деятельность человека изменяет не только внешние предметы, на которые она непосредственно направлена, она изменяет и самые чувства человека, его потребности. «Только музыка пробуждает музыкальные чувства человека» (стр. 627). «*Чувства* общественного человека иные, чем у необщественного; только благодаря (предметно) объективно развернутому богатству человеческой сущности получается богатство субъективной *человеческой* чувственности, получается музыкальное ухо, глаз, умеющий понимать красоту формы, — словом, отчасти впервые порождаются, отчасти развиваются *человеческие*, способные наслаждаться *чувства*, чувства, которые утверждаются как *человеческие* существенные силы» (стр. 627). Только наличие объективно развернутого богатства человеческой сущности, т. е. разнообразного мира предметов, порожденных человеческою деятельностью, делает возможным развитие и уточнение человеческих потребностей,

человеческих чувств. Таким образом происходит одновременно процесс очеловечения как мира предметов, окружающих человека, так и чувств (потребностей) самого человека, и этот процесс является результатом активной деятельности человека, которая, в свою очередь, служит проявлением жизненных сил, заложенных в человеческой природе.

Повидимому, ход мыслей Маркса таков: Активная природа человека проявляет себя в активной деятельности, а следовательно, и в предметах, созданных при ее помощи. Эти предметы, созданные для удовлетворения человеческих потребностей, в свою очередь воздействуют на человека, обогащая его чувства и потребности. Именно потому, что активная деятельность человека преобразует одновременно и предметы внешнего мира, и потребности самого человека, получается полное соответствие между человеческими потребностями и предметами, служащими для их удовлетворения. Потребности и предметы это — не два ряда явлений, чуждых друг другу и внешне воздействующих друг на друга. Мы наблюдаем взаимное проникновение этих рядов явлений, так как предметы созданы человеческой деятельностью именно для удовлетворения потребностей, а последние в свою очередь могут развиваться и обогащаться только под воздействием окружающего и созданного человеком мира предметов. Уже здесь Марксом ярко намечена мысль о диалектической связи и взаимопроникновении потребностей человека и предметов, служащих для их удовлетворения. Уже в этой ранней работе он преодолел широко распространенный взгляд, что потребности и предметы связаны между собою лишь внешнею связью. Уже здесь он преодолел заблуждение буржуазных экономистов, которые в своих рассуждениях исходят из наличия человеческих потребностей, которые они рассматривают как нечто наперед данное вне связи с процессом производства и порожденным им миром предметов, а затем уже рассматривают предметы как внешние средства для удовлетворения этих данных потребностей. Достаточно указать, что все учение австрийской школы о потребностях основано именно на таком чисто механическом представлении о связи между потребностями и предметами. Нечего говорить, что такое же представление лежало в основе утилитаристической теории Бентама и следовавших за ним в этом вопросе экономистов рикардianской школы. Маркс презрительно отзывался уже в разбираемой нами работе об этой утилитаристической и гедонистической психологии, которая рассматривает явления «под углом зрения внешнего отношения полезности», для которой все «богатство человеческого творчества выражается лишь в таких словах, как «потребность, общая потребность» (стр. 628—629). Дальнейшую и более подробную критику этой утилитаристической психологии Маркс дал в своей работе против Штирнера, впервые опубликованной Д. Б. Рязановым в IV томе «Архива К. Маркса и Ф. Энгельса» (стр. 275—279).

Понимание диалектической связи между потребностями и внешними предметами открывало перед Марксом широкие возможности правильного истолкования законов развития человеческих потребностей. Действительно,

уже в цитируемой нами работе мы находим зародыши мысли о том, что весь процесс развития человеческих чувств и потребностей является результатом развития самой человеческой деятельности. «Образование пяти чувств, это — продукт всей всемирной истории. *Чувства*, находящиеся в плену грубой практической потребности, обладают только *ограниченным* смыслом. Для изголодавшегося человека не существует человеческой формы пищи, а существует только ее абстрактное бытие как пищи: она могла бы с таким же успехом иметь самую грубую форму, и невозможно сказать, чем отличается этот способ удовлетворения потребности в пище от животного способа удовлетворения ее» (Маркс и Энгельс, Собр. сочин., т. III, стр. 627—628). Здесь Марксом намечена та мысль, что даже, поскольку речь идет о потребности в пище, коренящейся в физической природе человека, сама эта потребность изменяется и приобретает различные формы в ходе исторического развития, т. е. является продуктом истории. (Дальнейшее развитие той же мысли, опять-таки на примере голода, Маркс дал в своем «Введении к Критике политической экономии», о чем смотри ниже.)

Дальше Маркс дает еще более точную формулу развития потребностей. Так как потребности развиваются и обогащаются только вместе с обогащением мира предметов, окружающих человека, а мир предметов создан человеческим трудом, или промышленностью, то последнее объяснение процесса изменения человеческих потребностей мы должны искать в процессе развития промышленности. В истории промышленности должны мы найти объяснение процесса развития и усложнения человеческих чувств и потребностей. «История *промышленности* и возникшее предметное бытие промышленности есть *раскрытая книга человеческих сущностных сил*, чувственно предлежащая перед нами человеческая *психология*» (стр. 628). Промышленность есть «*экзотерическая* форма раскрытия человеческих *сущностных сил*» (стр. 629).

Изложенные нами рассуждения Маркса в его подготовительных работах для «Святого семейства» уже содержат в себе зародыши плодотворных мыслей о связи между производством и потреблением. Потребности не противопоставляются механически внешним предметам, а рассматриваются в неразрывной связи с последними. Самый процесс развития человеческих потребностей рассматривается как процесс исторический, протекающий в зависимости от развития промышленности, т. е. активной человеческой деятельности, человеческого труда. Тем не менее, в изложенных рассуждениях Маркса проявляются еще некоторые недостатки, объясняемые, быть может, влиянием фейербаховской философии. Маркс начинает свои рассуждения со ссылки на сущностные силы человека, которые находят свое проявление в деятельности, порождающей разнообразный мир предметов. Процесс одновременного и параллельного обогащения мира предметов и человеческих потребностей рассматривается как проявление сущностных сил человека, как раскрытие задатков, существовавших — хотя бы и в неразвитой форме — в природе человека. Кроме того, хотя Маркс уже подчеркивает

значение активной, практической деятельности, все же в качестве причины, вызывающей изменение человеческих потребностей, у него выступает не столько сама активная деятельность человека в процессе производства, сколько восприятие предметов, порожденных этой деятельностью.

До сих пор мы изложили мысли Маркса об общих законах развития потребностей. Можно предполагать, что условия для описанного обогащения человеческих чувств и потребностей, могут, по мнению Маркса, существовать полностью только в социалистическом обществе. Нарисованная картина «естественного» развития человеческих чувств и потребностей под влиянием возрастающего разнообразия и обогащения мира предметов мыслилась Марксом как идеал, который найдет свое полное осуществление в социалистическом обществе (прямое указание на этот счет мы находим на страницах 626 и 654). В качестве антитезы этой картине роста человеческих потребностей Маркс нарисовал нам то положение дел, которое имеет место в буржуазном хозяйстве.

Обратимся к анализу потребностей и потребления в буржуазном хозяйстве. Маркс не делает еще различия между простым товарным хозяйством и капиталистическим, но мы в его рассуждениях постараемся отделить те черты, которые присущи всякому товарному хозяйству, от особенностей, характерных именно для капиталистического хозяйства. Маркс дает следующую характеристику буржуазного общества: «Общество, каким оно является для политико-эконома, это — *гражданское общество*, где каждый индивид представляет собою сумму потребностей и существует только для другого человека, как другой существует только для него, поскольку они оказываются друг для друга средствами» (стр. 665). Эту часто встречающуюся у Маркса характеристику буржуазного общества он развивает более подробно в «Святом семействе»: «Так как потребность одного индивидуума не имеет для другого эгоистического индивидуума, обладающего средством для удовлетворения этой потребности, никакого самого по себе понятного смысла, т. е. не находится ни в какой непосредственной связи с самим удовлетворением, то каждый индивидуум должен создать эту связь, становясь в то же время сводником между чужой потребностью и предметами этой потребности».<sup>1</sup>

Легко убедиться, что здесь Маркс имеет в виду особенность, характерную для всякого товарного хозяйства: каждый индивид может удовлетворить свои потребности лишь посредством удовлетворения чужих потребностей. Эта особенность процесса удовлетворения человеческих потребностей в товарном хозяйстве была отмечена еще Адамом Смитом, который писал во II главе своего «Богатства народов»: «Человек почти всегда нуждается в помощи своих ближних, но напрасно он стал бы надеяться на их доброе к себе расположение. Гораздо вернее достигает он своей цели, если обращается к их эгоизму и умеет убедить их, что в их собственных инте-

<sup>1</sup> Маркс, Собрание сочинений, т. III, стр. 149.



ресах сделать для него то, чего он просит у них». Вероятно, под влиянием Смита взаимозависимость членов «гражданского общества» в удовлетворении их потребностей отметил и Гегель.<sup>1</sup>

Ту же мысль Маркс выразил в приведенных нами выше словах, характеризующих основную особенность процесса удовлетворения потребностей в товарном хозяйстве. Впоследствии Маркс в «Критике политической экономии» развил эту мысль о том, что в товарном хозяйстве удовлетворение потребностей производителя возможно только через посредство обмена. Из этой мысли он извлек целый ряд важнейших и интересных выводов о противоречии между потребительной и меновой стоимостью. Но в разбираемой нами ранней работе Маркс еще не занимается анализом простого товарного хозяйства. Он отметил взаимозависимость товаропроизводителей в удовлетворении их потребностей лишь для того, чтобы сейчас же перейти к капиталистическому хозяйству и вскрыть все присущие ему неисправимые пороки. К этому он переходит в отрывке, напечатанном Д. В. Рязановым в тех же подготовительных работах под заглавием «Потребности, производство и разделение труда».

Маркс начинает этот отрывок со следующего рассуждения. Раз товаропроизводитель может удовлетворить свои потребности, лишь предварительно удовлетворив потребности другого индивида, то он заинтересован в том, чтобы искусственно вызывать у последнего разного рода потребности. «Всякий человек спекулирует на том, чтобы создать новую потребность для другого человека, чтобы толкнуть его на новую жертву, чтобы поставить его в новую зависимость и склонить его к новому способу наслаждения, а значит, и экономического разорения. Всякий стремится поставить другого человека в зависимость от *чуждой* существенной силы, чтобы найти в этом удовлетворение своей собственной своекорыстной потребности».<sup>2</sup> Результатом этого является искусственное возбуждение утонченных, неестественных и мнимых вожделений, фантазий, причуд и прихотей. «Ни один евнух не льстит более низким образом своему деспоту и не старается возбудить более гнусными способами его притупившиеся чувства, чтобы снискать себе его милость, чем это делает евнух промышленности, производитель, гоняясь за серебряными монетами, желая выманить из кармана горячо любимого ближнего денежки». «Он приспособляется к извращеннейшим его фантазиям, берет на себя роль сводника между ним и его потребностью, вызывает в нем патологические желания, подстерегает всякую слабость его, чтобы затем потребовать награду за удовлетворение ее» (стр. 655). Отсюда рост утонченных потребностей, прихоти богачей, погоня за предметами роскоши, расточительное потребление.

Легко показать, что Маркс здесь незаметно делает переход от простого товарного хозяйства к капиталистическому. Из того факта, что каждый

<sup>1</sup> «Философия права», § 192.

<sup>2</sup> *Маркс*, Собрание сочинений, т. III, стр. 654.

товаропроизводитель может удовлетворить свои потребности только посредством обмена, он делает вывод о необходимости для продавцов искусственного возбуждения у покупателей потребности в предметах роскоши. Но само собою очевидно, что последняя может иметь место только в классовом обществе, где имущие классы присваивают себе бóльшую массу прибавочного труда. Почва для расточительной роскоши создается именно эксплуатацией одного класса другим, а не является результатом искусственного возбуждения продавцами потребностей у покупателей, как доказывал еще в этой ранней работе Маркс.

Большой интерес к проблеме роскоши и расточительности, который в своих ранних работах проявляли Маркс и Энгельс, объясняется прежде всего влиянием на них произведений утопических социалистов, которые в роскоши и расточительности праздных богачей видели один из главных пороков капиталистического общества. Отчасти интерес Маркса к проблеме роскоши объясняется также тем, что этот вопрос служил предметом горячих споров между двумя группами экономистов классической школы. Экономисты, являвшиеся представителями землевладельческого дворянства (Мальтус, Лодердэл и др.), доказывали, что расточительный образ жизни землевладельцев, потребляющих значительное количество предметов роскоши, создает рынок для капиталистической промышленности. Экономисты, являвшиеся представителями промышленной буржуазии (Рикардо, Сэй и др.), в противоположность первым, доказывали весь вред непроизводительного потребления праздных землевладельцев и рекомендовали бережливость, которая содействует накоплению новых капиталов и расширению производства. В разбираемой нами ранней работе Маркс подробно останавливается на этом споре между сторонниками роскоши и сторонниками бережливости и доказывает ложность позиции обеих сторон. Первые экономисты ошибаются, выдавая расточительность непосредственно за средство обогащения, но и другая сторона «лицемерно не хочет признать, что именно прихоть и капризы определяют производство. Она забывает «утонченные потребности», она забывает, что без потребления не было бы производства, она забывает, что производство становится благодаря конкуренции только более разносторонним и более направленным на предметы роскоши; она забывает, что согласно ей потребление определяет стоимость вещи, а мода определяет потребление» (стр. 658).

Мы видим, что Маркс находится здесь еще под влиянием аргументации, развитой в спорах о роскоши, с одной стороны, утопическими социалистами, а с другой — Мальтусом и его сторонниками. Маркс придает еще решающее значение утонченным потребностям богачей, их прихотям и капризам, преувеличивая значение их для процесса капиталистического производства в целом. Он ссылается даже на мнение экономистов, что «потребление определяет стоимость вещи», вероятно имея в виду соответствующее учение Сэя. Такое же мнение о влиянии прихотей богачей на стоимость продуктов было высказано Энгельсом в его ранней статье «Очерки критики политической

экономии», в которой он писал, что «полезность зависит от случая, от моды, от прихоти богатых». <sup>1</sup>

Если мы оставим в стороне преувеличенное значение, которое Маркс придает непроизводительному потреблению богачей, мы должны отметить одну очень ценную черту в этих его ранних рассуждениях. Он с самого начала ставит всю проблему потребления на классовую точку зрения: он характеризует потребление отдельных классов, составляющих капиталистическое общество, и тщательно отмечает основные черты, присущие каждому из них. Описанный расточительный образ жизни Маркс рассматривает как характерную черту землевладельческого класса; что же касается промышленной буржуазии, то она, напротив, обнаруживает трезвый, прозаический образ мыслей. Правда, промышленник, как мы уже видели выше, искусственно возбуждает потребности покупателей и тем самым содействует потреблению предметов роскоши. Но в дальнейшем ходе своего развития промышленная буржуазия активно выступает против роскоши и расточительности землевладельцев (стр. 663). «Разумеется, и промышленный капиталист потребляет и наслаждается. Он вовсе не возвращается к неестественной простоте потребностей, но его потребление и наслаждение, это — нечто только побочное, дело отдыха, подчиненное производству; при этом оно *рассчитанное*, т. е. тоже *экономическое*, наслаждение, ибо капиталист относит свое наслаждение к издержкам капитала, и оно, значит, должно стоить ему лишь столько, что потраченное им может быть восстановлено с лихвой путем воспроизводства капитала. Таким образом, наслаждение подчиняется капиталу, наслаждающийся индивид подчиняется капитализирующему индивиду, между тем как прежде имело место обратное» (стр. 564). Здесь Марксом опять ярко отмечен классовый характер потребления, различные специфические черты, присущие потреблению промышленных капиталистов и отличающие его от потребления землевладельцев. <sup>2</sup>

Однако, если различный характер потребления разных классов ярко выступает уже там, где речь идет о землевладельцах и промышленных капиталистах, то еще резче проявляется классовый характер потребления, когда речь идет о противоположности между имущими классами и рабочими. Капиталистическое общество одновременно «на одной стороне порождает уточненность потребностей и средств, служащих для их удовлетворения, а на другой стороне — оскотинение и совершенно грубое, абстрактное упрощение потребностей» (стр. 655). Маркс в ярких красках, по примеру других социалистов, рисует тот низкий уровень и то упрощение потребностей, до которого рабочий доведен в капиталистическом обществе. В применении к рабочему не только перестает действовать тот процесс постепенного обогащения потребностей человека, который был обрисован Марксом выше в

<sup>1</sup> Маркс и Энгельс, Собрание сочинений, т. II, стр. 302.

<sup>2</sup> Это же противопоставление потребления промышленных капиталистов и землевладельцев Маркс повторяет в «Капитале», т. I, стр. 468. См. цитированную выше статью Д. Б. Рязанова, стр. 141.

применении к обществу, лишенному классовых различий: в капиталистическом хозяйстве не удовлетворяются даже чисто физические, или естественные, потребности, которые рабочий ощущает в силу своей физической природы. «Даже потребность в чистом, вольном воздухе перестает быть у рабочего потребностью... Свет, воздух и т. д., простейшая, присущая даже животным чистота перестают быть потребностью для человека. Грязь, этот признак падения и деградации человека, нечистоты (это надо понимать буквально) цивилизации становятся элементом его жизни. Полная неестественная запущенность, гниющая природа становится элементом его жизни. Ни одно из его чувств не существует более не только в человеческом виде, но и в нечеловеческом и поэтому даже не в животном виде» (стр. 655—656). Если раньше мы проследили процесс постепенного обогащения и очеловечения чувств и потребностей, то теперь мы наблюдаем обратный процесс деградации человеческих потребностей до уровня животных потребностей и даже ниже этого уровня. Маркс иллюстрирует этот процесс опять на примере питания. «Человек лишается не только человеческих потребностей, но он утрачивает *животные* потребности. Ирландец знает лишь потребность *еды*, и притом только *картофельной еды*, и, вдобавок, только худшего сорта картофеля» (стр. 656).

Но потребление рабочих рассматривается Марксом не только как яркая антитеза потреблению расточительных богачей, он подчеркивает не только их резкую противоположность, но и неразрывную связь между ними. И здесь сказывается плодотворность диалектического метода, которым Маркс оперировал во всех своих работах. Расточительное потребление богачей и скудное потребление рабочих составляют две стороны одного и того же капиталистического хозяйства, они друг друга дополняют и взаимно обуславливают. «Умножение потребностей и средств для их удовлетворения порождает отсутствие потребностей и соответствующих средств» (стр. 657). Промышленная буржуазия извлекает выгоду как из расточительности землевладельцев, так и из грубых потребностей рабочих. «Грубая потребность рабочих, это — гораздо более выгодный источник барыша, чем *утонченная* потребность богача. Подвальные помещения в Лондоне приносят своим хозяевам больше, чем дворцы, т. е. они являются для них *большим богатством*, и, значит, выражаясь на языке политической экономии, они являются *большим общественным богатством*. Промышленность, спекулируя на утонченности потребностей, точно так же спекулирует на *грубости* их, на искусственно вызванной грубости» (стр. 659). Уже здесь Маркс отмечает, что для капиталистического производства огромное значение имеет не только потребление предметов роскоши имущими классами, но и массовое потребление простых продуктов рабочими. Однако, как мы видели выше, роль роскоши молодым Марксом, как и другими ранними социалистами, все еще преувеличивается. Впоследствии, в «Нищете философии», Маркс выдвинул на первый план значение предметов массового потребления.

Как видим, подготовительные работы для «Святого семейства» содержат

ряд интересных рассуждений Маркса как о законах развития человеческих потребностей вообще, так, в частности, о характере потребления в капиталистическом хозяйстве. Что касается первой части, то Маркс подчеркивает исторически изменчивый характер потребностей человека и неразрывную связь процесса развития потребностей с самим процессом развития активной деятельности человека, выражающейся в процессе производства. Во второй части, в своих рассуждениях о капиталистическом хозяйстве, Маркс ярко рисует классовый характер потребления и отмечает специфические черты, присущие потреблению землевладельцев, промышленных капиталистов и рабочих. В этом отношении Маркс уже в своих ранних заметках стоит выше многих современных буржуазных экономистов, которые умудряются рассуждать о «потребителях», не проводя прежде всего резкой границы между потребителями-рабочими и потребителями-капиталистами. Однако приведенные рассуждения Маркса о потреблении различных классов не связаны еще с анализом капиталистического процесса производства в его целом; это — отдельные замечания скорее социологического и публицистического характера, чем экономического. Вторым недостатком этих рассуждений о капиталистическом хозяйстве является то, что они не связаны с предыдущими рассуждениями о закономерности развития человеческих потребностей вообще. Второй отрывок, в котором Маркс рисует потребление в капиталистическом обществе, представляет собою, скорее, не продолжение и развитие мыслей, изложенных в первом отрывке, а их антитезу. В первом отрывке речь идет об обогащении человеческих потребностей, во втором — об их огрубении. В первом отрывке речь идет об очеловечении чувств и потребностей, во втором случае они лишаются своего человеческого характера (при этом не только для голодающего рабочего, но и для расточительных богачей, как отмечает Маркс на страницах 655 и 663). В первом отрывке речь идет о «естественном» процессе обогащения человеческих потребностей в обществе, лишенном классовых различий, во втором отрывке изображается «противоестественный» характер потребления как рабочих, так и богачей в капиталистическом обществе.

## 2) *Немецкая идеология*

Дальнейший ход развития мыслей Маркса шел по тем же двум направлениям, которые мы отметили уже в подготовительных работах к «Святому семейству». С одной стороны, Маркс должен был подробнее и точнее формулировать свои взгляды на общие законы развития человеческих потребностей; с другой стороны, проблему потребления в капиталистическом хозяйстве он должен был связать с анализом процесса капиталистического производства в его целом. Первую задачу Маркс выполнил в «Немецкой идеологии» и в своем «Введении к Критике политической экономии». Над выполнением второй задачи он работал в «Нищете философии» и в «Капитале». Для ясности изложения мы в дальнейшем разделим обе эти проблемы и,

прежде всего, остановимся на учении Маркса о закономерности развития человеческих потребностей, поскольку эта закономерность имеет силу для любой формации общества. Как раз этому вопросу посвящен ряд интересных замечаний Маркса в «Немецкой идеологии», написанной зимой 1845—1846 гг. и напечатанной Д. Б. Рязановым в I томе «Архива К. Маркса и Ф. Энгельса». В данном вопросе, как и в других, Маркс сделал в «Немецкой идеологии» значительный шаг вперед по сравнению с подготовительными работами к «Святому семейству». Это вполне понятно, так как именно в «Немецкой идеологии» Маркс и Энгельс дали первый широкий набросок своей теории исторического материализма. Вопрос о развитии человеческих потребностей составляет часть теории исторического материализма, и потому вполне естественно, что в «Немецкой идеологии» Маркс и Энгельс дали более точную формулировку своих мыслей о развитии потребностей и потребления.

Если в подготовительных работах к «Святому семейству» Маркс исходил из человека как природного существа, то и в «Немецкой идеологии» он принимает за исходный пункт существование индивидов, отличающихся определенной физической природой. «Первым, требующим констатирования, фактом является телесная организация этих индивидов и данная этим связь их с остальной природой» (стр. 214. Цитируем здесь и в дальнейшем по указанному первому тому «Архива», изд. 1924 г.). В силу своей физической природы люди имеют определенные потребности в пище, жилище и т. п. «Люди должны быть в состоянии жить, чтобы иметь возможность делать историю.<sup>1</sup> Но для жизни прежде всего нужны еда и питье, жилище, одежда и еще кое-что. Таким образом, первым историческим делом является производство средств, необходимых для удовлетворения этих потребностей, производство самой материальной жизни» (стр. 219). Здесь Маркс ярко подчеркивает решающую роль производства для всей человеческой жизни, в то время как в подготовительных работах к «Святому семейству» он чаще пользовался более туманным термином «человеческая деятельность». Это подчеркивание роли процесса производства сразу же дало Марксу возможность правильно поставить вопрос о закономерности развития потребностей. Связь между развитием производства и ростом потребностей Маркс рисует следующим образом на странице 219, имеющей большое значение для нашей темы. В начале Маркс<sup>1</sup> написал следующие слова: «Приобретенная легкость удовлетворения первых потребностей сейчас же порождает новые потребности»; но эти слова были Марксом зачеркнуты и заменены следующими: «Удовлетворенная первая потребность, действие удовлетворения и приобретенное уже орудие удовлетворения ведут к новым потребностям, и

<sup>1</sup> К этим словам Маркс сделал внизу примечание: «История. Гегель. Геологические, гидрогеографические и другие условия человеческой жизни. *Потребность. Труд*» (стр. 219, курсив наш. — И. Р.). И здесь мы видим следы влияния, которое на Маркса оказало учение Гегеля о потребностях.

<sup>2</sup> Возможно, что цитируемые слова были написаны Энгельсом. Этот вопрос мы оставляем здесь в стороне.

это порождение новых потребностей является первым историческим делом» (стр. 219).

На первый взгляд может показаться, что нет большого различия между первоначально зачеркнутой редакцией фразы и ее окончательной редакцией; на самом деле разница между ними значительная. В первоначально набросанной фразе Маркс (или Энгельс) еще не порвал окончательно с широко распространенным ходячим представлением о так называемой безграничности человеческих потребностей. Согласно этому представлению, до сих пор широко распространенному в буржуазной политической экономии, потребности человека сами по себе безграничны, и лишь от наличия внешних средств зависит, какая именно часть этих потребностей будет фактически удовлетворена. Совокупность потребностей принимается за нечто первично данное и само по себе совершенно независимое от наличия средств для их удовлетворения. Внешние предметы выступают лишь в роли средств для удовлетворения заранее данных потребностей. Ввиду безграничного характера потребностей удовлетворение одной части их немедленно вызывает на сцену действие других потребностей, следующих за ними по степени интенсивности. Механическое противопоставление неограниченных потребностей и ограниченного мира внешних средств их удовлетворения, отрыв потребностей от процесса производства — таковы отличительные черты этой концепции.<sup>1</sup> Уже рассуждения Маркса о диалектической связи между потребностями и внешними предметами, изложенные им в подготовительных работах к «Святому семейству», исключали для него возможность верить в фикцию безграничного мира потребностей, существующих независимо от развития самого процесса производства. И действительно, в новой редакции фразы Маркс дал совершенно другую концепцию развития потребностей: речь идет уже не о проявлении потребностей, которые сами по себе существовали (хотя и не могли фактически быть удовлетворяемы) совершенно независимо от данного процесса производства; речь идет о том, что самый процесс производства вызывает новые потребности. Происходит процесс «порождения новых потребностей», и этот процесс является результатом развития процесса производительной деятельности человека. В частности Маркс уже отмечает здесь огромную роль, которую играет появление новых орудий производства. Развитие орудий производства играет революционизирующую

---

<sup>1</sup> В какой мере эта концепция еще поныне разделяется буржуазными экономистами, можно показать на многочисленных примерах. Приведем слова Готтля-Оттлихенфельда: «В конечном счете в наших потребностях проявляется наша *воля* (Wollen); воле же принципиально не поставлены границы. Воле противостоит наша *сила* (Können), которая измеряется как-раз степенью нашей власти над средствами удовлетворения (потребностей); но всякая сила принципиально ограничена, так как в противном случае она была бы всемогуществом. Ограниченная сила и неограниченная воля. Это неизбежно ведет к конфликту» (*Gottl-Ottlihenfeld, Wirtschaft und Technik. Grundriss der Sozialökonomik. II. Abt., 1914, S. 208*). Слова Готтля ярко показывают, что в основе учения о безграничности человеческих потребностей лежит идеалистическая концепция безграничного человеческого духа.

роль не только в процессе производительной деятельности человека, но и в процессе развития самих человеческих потребностей.

В «Немецкой идеологии» диалектическая связь производства и потребностей выяснена уже более правильно, чем в подготовительных работах к «Святому семейству». Если в более раннем сочинении Маркса уже подчеркнуто значение активной деятельности человека, то в более позднем сочинении это понятие заменено более определенным понятием производства материальной жизни. Если в первом сочинении Маркс уже говорил о воздействии человека на природу, то теперь посредствующим звеном между человеком и природой является орудие труда, и подчеркивается огромное значение орудия труда как в процессе развития производительной деятельности человека, так и в процессе развития человеческих потребностей. Наконец, если в более раннем сочинении Маркса, на-ряду с правильным пониманием исторического характера процесса изменения потребностей, встречаются ссылки на заложенные в природе человека задатки, то теперь проблема изменения самой человеческой природы ставится уже с большею силою и определенностью.

Несмотря на правильную постановку в «Немецкой идеологии» проблемы связи между производством и потреблением, эта проблема требовала еще своей дальнейшей разработки. Только в своей окончательной формулировке теории исторического материализма и, в частности, в своей экономической теории, изложенной в трех томах «Капитала», Маркс дал ряд более конкретных указаний на законы развития потребностей. В «Немецкой идеологии» вопрос еще не был достаточно разработан; поэтому вполне понятно, что, на-ряду с общею правильной формулой зависимости развития потребностей от развития производительной деятельности человека, мы встречаем также повторение ходячих и распространенных взглядов о зависимости изменения потребностей от роста народонаселения. В одном месте Маркс говорит, что «умножившиеся потребности порождают новые общественные отношения, а размножившееся население порождает новые потребности» (стр. 220). В другом месте читаем, что в основе увеличения производительности труда и роста потребностей лежит рост населения (стр. 221). Для объяснения расцвета ткачества в эпоху раннего капитализма Маркс ссылается на спрос на ткань для одежды, возрастающий вместе с ростом населения (стр. 237). На-ряду с ростом населения, в качестве фактора, определяющего уровень потребностей, упоминается Марксом также и состояние культуры. Он говорит о более грубых или развитых потребностях, обусловленных данною ступенью культуры (стр. 236).

«Немецкая идеология» представляет собою сочинение одновременно социологическое и историческое; с одной стороны, Маркс и Энгельс намекают здесь общие основы теории исторического материализма, с другой стороны — на основе этой теории они пытаются набросать картину экономического и социально-политического развития Европы от средних веков до эпохи капитализма. Понятно поэтому, что, на-ряду с изложенными общими



рассуждениями о связи между производством и потреблением, мы находим ряд отдельных метких замечаний об особенностях процесса потребления в капиталистическом хозяйстве. Мы находим интересное замечание, что в капиталистическом обществе, основанном на разделении труда, дана уже возможность того, что «наслаждение и труд, производство и потребление достаются различным индивидам». В дальнейшем, как мы увидим, Маркс часто возвращается к этой мысли об обособлении потребления от производства в товарном и особенно в капиталистическом хозяйстве. Далее Маркс отмечает, что появление и рост городов означает «концентрацию потребностей» (стр. 234), — факт, действительно характеризующий процесс потребления в капиталистическом обществе. Мы находим также указание, что потребность в предметах роскоши возрастает под влиянием увеличивающегося накопления капитала и расширения торговли (стр. 237). Здесь мы имеем уже более реалистическое и исторически правильное объяснение возрастающей потребности в предметах роскоши, чем в подготовительных работах к «Святому семейству».

### 3) «Введение к Критике политической экономии»

В наиболее полном виде учение Маркса о взаимоотношении между производством и потреблением изложено им в «Введении к Критике политической экономии». Здесь Маркс специально обсуждает вопрос о взаимоотношении между различными моментами процесса воспроизводства в целом, т. е. между производством в тесном смысле слова, потреблением, распределением и обменом. Специально вопросу о взаимоотношении между производством и потреблением Маркс посвящает несколько интереснейших страниц, составляющих небольшой раздел. Как увидим, в этом разделе речь идет об особенностях процесса потребления не только в капиталистическом хозяйстве, а обсуждается более общий вопрос о связи между производством и потреблением вообще. Маркс указывает, что связь эта бывает тройкого рода. Эти три вида связи между производством и потреблением мы можем кратко обозначить как их 1) непосредственное тождество, 2) внешнюю противоположность и 3) взаимное проникновение.

Прежде всего мы замечаем непосредственное тождество между производством и потреблением. Каждый акт производства вместе с тем непосредственно является и актом потребления как самой рабочей силы, так и средств производства (сырья, машин и пр.). С другой стороны, каждый акт потребления представляет собою воспроизводство рабочей силы человека, т. е. акт производства рабочей силы. Мы можем оба акта (производство и потребление) рассматривать как производство. Первый акт представляет собою производство вещей, второй акт — производство рабочей силы человека. Но с таким же правом мы можем оба акта рассматривать как потребление. В первом акте потребляются рабочая сила и средства производства, во втором акте — средства потребления, необходимые для воспроизводства

рабочей силы. «Производство, таким образом, является непосредственно потреблением, потребление — непосредственно производством. Каждое непосредственно заключает в себе свою противоположность».<sup>1</sup>

Однако отмеченное нами непосредственное тождество производства с потреблением ни в малейшей мере не исключает их противоположности, ибо нельзя закрывать глаза на то, что в одном случае мы имеем производство предметов, необходимых для удовлетворения человеческих потребностей, в другом же случае мы имеем производство рабочей силы, т. е. потребление тех самых предметов, которые были ранее изготовлены. В первой стадии рабочая сила человека в процессе производительной деятельности создает вещи, во второй стадии вещи, потребляемые человеком, воспроизводят его рабочую силу. Каждый из этих актов исключает другой акт. В акте производства не имеет места то потребление средств существования, которое необходимо для восстановления израсходованной рабочей силы; с другой стороны, в акте потребления вещи отнюдь не производятся, а затрачиваются и уничтожаются. Следовательно, наряду с непосредственным тождеством производства и потребления существует также их непосредственная противоположность, противоположность между производством в тесном смысле слова и потреблением в тесном смысле слова, как между двумя взаимно исключаящими друг друга актами. «Непосредственное единство, в котором производство совпадает с потреблением и потребление с производством, не уничтожает их непосредственную раздвоенность» (стр. 24).

Противоположность актов производства и потребления не означает полного отсутствия связи между ними. Они связаны между собою, но лишь как два чуждых друг другу и внешних акта. Между ними происходит «посредствующее» движение; каждый из этих актов является посредствующим по отношению к другому, т. е. служит для него внешним средством. Действительно, потребление не может существовать без производства, ибо в этом случае отсутствовал бы предмет или объект, который мог бы быть потреблен. Но, с другой стороны, без потребления самый акт производства был бы бесцельным. Правда, предмет мог бы быть произведен, но, если он не поступает в потребление, он является простым предметом природы, а не продуктом; продуктом он является только потому, что служит целям потребления.

Итак, мы обнаружили связь между производством и потреблением; «каждое из них является средством для другого и совершается с его помощью, в чем и выражается их взаимная зависимость» (стр. 27). Однако эта зависимость носит внешний характер; она связывает два чуждых друг другу и внешних друг для друга явления. «Это — движение, в котором они вступают в отношения друг к другу, являясь как необходимое условие одно для другого, но оставаясь еще внешними по отношению друг к другу» (стр. 27).

<sup>1</sup> *Маркс*, К критике политической экономии. Институт К. Маркса и Ф. Энгельса, Госиздат, М.-Л. 1929 стр. 24. Далее цитируем по тому же изданию.

До сих пор мы рассматривали сперва непосредственное тождество производства и потребления, а затем их непосредственную противоположность. Но если мы глубже рассмотрим связь между ними, мы откроем, что оба они в сущности представляют собою лишь два акта одного и того же процесса воспроизводства. Каждый акт необходимо переходит в другой и в то же время заключает в себе последний (но не непосредственно заключает в себе, как это было в первом случае, а заключает в себе как момент противоположный). Если мы будем рассматривать акт производства не как изолированный акт, а как закономерно и правильно повторяющийся процесс, то мы убедимся, что первый его момент, — производство в тесном смысле, — необходимо должен перейти во второй момент — потребление в тесном смысле. Производство не может начаться снова, пока продукт не будет потреблен и не будет восстановлена рабочая сила, затраченная в процессе производства. Только потребление, восстанавливая рабочую силу, создает *возможность* повторения процесса производства; вместе с тем оно же создает и *необходимость* такого повторения, так как с уничтожением продукта становится невозможным дальнейшее потребление и требуется новый процесс производства. Производство необходимо вызывает потребление, которое, в свою очередь, делает необходимым возвращение к производству. Потребление, делая необходимым последующий акт производства, вместе с тем гарантирует повторение акта потребления. «Каждое из них, совершаясь, создает другое, создает себя как другое» (стр. 27. Каутский поставил здесь вопросительный знак, но нет сомнения, что Маркс имел в виду употребить именно данную терминологию). В этой необходимости возвращения обнаруживается, что производство в тесном смысле и потребление в тесном смысле представляют собою лишь два подчиненных момента единого процесса воспроизводства.

Необходимый переход одного момента в другой дополняется их взаимным проникновением. Каждый из моментов заключает в себе другой, но здесь речь идет уже не о непосредственном тождестве их, как это было в первом случае, а имеет место опосредствованное тождество. Каждый из обоих моментов, не переставая отличаться от другого, в то же время содержит в себе последний. Потребление проникает в производство, производство проникает в потребление.

Проникновение потребления в производство заключается в том, что уже в самом акте производства принимается во внимание последующее потребление, и предмет производится специально для целей потребления. Прежде еще, чем предмет произведен, он уже существует идеально в уме производителя «как внутренний образ, как потребность, как импульс и как цель» (стр. 25.) «Потребление порождает производство, создавая потребность в *новом* производстве, т. е. вызывая идеальный, внутренний, побуждающий мотив производства, который является его предпосылкой. Потребление создает импульс к производству, оно создает также и предмет, который в качестве цели определяющим образом влияет на производство» (стр. 25).

Производство заранее направлено к определенной цели, к созданию определенного предмета, служащего для потребления. Эта особенность человеческого труда отмечена Марксом и в «Капитале»: «Паук совершает операции, напоминающие операции ткача, и пчела постройкой своих восковых ячеек посрамляет некоторых людей-архитекторов. Но и самый плохой архитектор от наилучшей пчелы с самого начала отличается тем, что, прежде чем строить ячейку из воска, он уже построил ее в своей голове. В конце процесса труда получается результат, который уже перед началом этого процесса имелся идеально, т. е. в представлении работника».<sup>1</sup>

Если потребление проникает в производство и влияет на него, то и обратно — производство проникает в потребление и определяет его характер. Самый способ потребления определяется способом производства. «Производство создает для потребления не только предмет, — оно дает потреблению его определенность, его характер, его законченность» (стр. 25). Самый характер потребления изменяется в зависимости от изменения процесса производства и характера тех продуктов, которые являются его результатом. «Предмет не есть предмет вообще, а определенный предмет, который должен быть потреблен определенным способом, опять-таки предуказанным производством. Голод есть голод, однако голод, который удовлетворяется вареным мясом, поедаемым с помощью ножа и вилки, это — иной голод, чем тот, который заставляет проглатывать сырое мясо с помощью рук, ногтей и зубов. Не только предмет потребления, но также и способ потребления порождается поэтому производством, не только объективно, но также и субъективно. Производство, таким образом, создает потребителя» (стр. 26). Здесь мы встречаем тот же пример голода, к которому Маркс прибегал уже в своих вступительных работах к «Святому семейству». И там он отличал человеческую форму голода от животного способа удовлетворения потребности в пище; здесь он еще яснее подчеркивает исторически изменчивый характер даже тех потребностей, которые коренятся непосредственно в физической природе человека. Под влиянием изменения процесса производства изменяется характер потребности в пище и способ ее удовлетворения. Поскольку речь идет не о потреблении вообще, а об *определенном* способе потребления (например, вареного мяса с помощью ножа и вилки), то этот определенный способ потребления уже является результатом определенного состояния производства и, следовательно, заключает в себе последнее как свое условие.

Производство вызывает не только определенный характер потребности и потребления, оно вызывает и совершенно новые потребности. Экономисты привыкли оперировать широким и неопределенным понятием потребности в пище, одежде и т. д. На деле же речь идет не только о потребности в пище вообще, но и о потребности в конкретных предметах, которыми члены данного общества и данного класса обычно удовлетворяют свою потребность в пище. Но потребность в определенных предметах не есть нечто заранее

<sup>1</sup> «Капитал», т. I, 1929, стр. 120.

данное, а вызывается восприятием самих этих предметов. Уже во вступительных работах к «Святому семейству» Маркс говорил, что самое развитие человеческой деятельности вызывает развитие человеческих чувств, что только музыка пробуждает музыкальные чувства человека; эти мысли он развивает далее в разбираемом нами произведении. Сама потребность исходит от предмета. «Потребность, которую оно [потребление] в нем ощущает, создается его восприятием. Предмет искусства, — а также всякий другой продукт, — создает публику, понимающую искусство и способную наслаждаться красотой. Производство производит поэтому не только предмет для субъекта, но также и субъект для предмета. Производство поэтому создает потребление: 1) производя для него материал, 2) определяя способ потребления, 3) тем, что возбуждает в потребителе потребность, предметом которой является созданный им продукт. Оно порождает поэтому предмет потребления, способ потребления и импульс потребления» (стр. 26).

Легко заметить, что изложенные рассуждения Маркса о производстве и потреблении расположены по схеме, напоминающей диалектическую триаду. Сперва Маркс рассматривает непосредственное единство или тождество производства и потребления, затем он переходит к их противоположности, чтобы на третьей стадии рассуждений доказать единство этих противоположностей или взаимопроникновение производства и потребления. На второй стадии рассуждения производство и потребление рассматриваются как внешние друг для друга явления, каждое из которых служит внешним средством для другого. На третьей же стадии производство и потребление рассматриваются уже с точки зрения закона единства и взаимопроникновения противоположностей.

Ошибочно думать, что эта схема употребляется здесь Марксом из любви к гегелевским схемам. Маркс пользуется гегелевскими схемами лишь тогда, когда они представляют собою отражение реальной действительности. И нельзя отрицать, что в реальной действительности связь между производством и потреблением встречается во всех трех формах, в которых она рассматривается Марксом: и как непосредственное тождество производства и потребления, и как их внешнее взаимодействие, и как их внутреннее единство и взаимопроникновение.

Еще интереснее то обстоятельство, что Маркс в своей изложенной нами триаде старался не только отразить реальную действительность, но и показать, что мысль экономистов, погруженная в анализ капиталистической действительности, останавливалась то на одном, то на другом члене этой триады. Он указывает, что непосредственное тождество производства и потребления привлекало к себе внимание экономистов, которые рассматривали его в своих исследованиях о производительном труде и производительном потреблении (стр. 26—27). Далее, внешнее взаимодействие также привлекало к себе, по словам Маркса, внимание экономистов: «Без производства нет потребления, без потребления нет производства, — это положение фигурирует в экономике в различных формах» (стр. 27). Наконец, Маркс отмечает,

что и третий тип связи между производством и потреблением, а именно взаимопроникновение их, также не оставалось вне поля зрения экономистов: «Эта последняя, указанная под цифрой 3 идентичность многократно разъясняется в политической экономии в отношении спроса и предложения, предметов и потребностей, потребностей естественных и созданных обществом» (стр. 27—28). Но в то время как до Маркса экономисты ограничивались отдельными замечаниями о связи между производством и потреблением и обычно представляли ее себе в одностороннем виде, мы у Маркса на нескольких страницах «Введения к Критике политической экономии» находим синтетическое понимание связи производства и потребления как моментов единого процесса воспроизводства.

Исходя из изложенных рассуждений, Маркс исследует не только единство производства и потребления, но и их различия и противоположность. «Результат, к которому мы пришли, заключается не в том, что производство, распределение, обмен и потребление — одно и то же, но что все они образуют собою части целого, различия внутри единства. Производство превалирует как над самим собой в противоположности всех определений производства, так и над всеми другими моментами. С него каждый раз начинается снова процесс» (стр. 35). Единство производства и потребления не исключает того, что движущим моментом всего процесса воспроизводства является именно производство, а не потребление. «Что обмен и потребление не имеют господствующего значения, — это ясно само собою» (стр. 35). «Производство является действительным исходным пунктом, а потому и господствующим моментом. Потребление, в качестве нужды или потребности, само является внутренним моментом производительной деятельности; однако последняя есть исходный пункт реализации, а поэтому и ее господствующий момент — факт, в котором весь процесс снова повторяется сначала. Индивид производит предмет и через его потребление возвращается опять к самому себе, но к себе как производящему и воспроизводящему себя самого индивиду. Потребление, таким образом, является моментом производства» (стр. 28). Это учение о примате производства над потреблением является необходимым выводом из всего изложенного выше учения Маркса о потреблении. Потребление представляет собою пассивное восприятие предметов, созданных человеческой деятельностью, последняя же представляет собою активный творческий момент и именно в силу своего активного характера является движущим моментом всей общественной жизни. Не только удовлетворение потребностей поставлено в зависимость от производства, но и сама потребность, как мы видели выше, вызывается определенным деятельным проявлением сил человека и восприятием тех внешних предметов, которые созданы этой творческой деятельностью. Поэтому вся общественная жизнь рассматривается Марксом как единый процесс активной человеческой деятельности, как процесс воспроизводства человеческой жизни, в котором потребление является одним из посредствующих моментов.

Мы подробно изложили рассуждения Маркса во «Введении к Критике политической экономии». В этой работе Маркс подвел итоги своему учению о связи между производством и потреблением, поскольку она имеет место в любой формации хозяйства. Большинство изложенных здесь рассуждений Маркса применимо одинаково и к капиталистическому, и к феодальному хозяйству, и даже к хозяйству единичного субъекта. «Если рассматривать производство и потребление как деятельность единого ли субъекта или отдельных индивидов, во всяком случае они выступают как моменты процесса, в котором производство является действительным исходным пунктом, а потому и господствующим моментом» (стр. 28). Маркс тут же указывает, что изложенные законы связи между производством и потреблением приобретают значительно более сложный вид, поскольку речь идет уже не об отдельном индивиде, а обо всем обществе. «Но в обществе отношение производителя к продукту, поскольку он уже изготовлен, чисто внешнее, и возвращение продукта к субъекту зависит от отношения последнего к другим индивидам. Он не вступает в непосредственное владение продуктом. Точно так же, если он производит в обществе, то непосредственное присвоение продукта не составляет его цели. Между производителем и продуктом встает распределение, которое при помощи общественных законов определяет долю производителя в мире продуктов; оно становится, следовательно, между производством и потреблением» (стр. 28). Если в любой общественной формации связь между производством и потреблением усложняется благодаря тому, что между ними становится распределение, то особенно сложный вид она приобретает в капиталистическом обществе. Здесь понимание этой связи становится невозможным без анализа обмена и распределения, без анализа всей классовой структуры капиталистического общества.

## Г Л А В А II

### ПРОИЗВОДСТВО И ПОТРЕБЛЕНИЕ В ТОВАРНО-КАПИТАЛИСТИЧЕСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

В товарно-капиталистическом хозяйстве связь между производством и потреблением значительно усложняется. Поскольку речь идет о товарном хозяйстве вообще, посредствующее место между производством и потреблением занимает *обмен*: товар должен пройти через сферу обмена, чтобы попасть в сферу потребления. Поскольку же речь идет не только о товарном, но и о капиталистическом хозяйстве, решающее влияние на процесс потребления приобретает специфическая классовая структура капиталистического общества с соответствующим ей *распределением* доходов между разными общественными классами. Эти усложненные формы связи между производством и потреблением будут нами рассмотрены во 2-м и 3-м разделах настоящей главы. В 1-м же разделе мы даем сводку замечаний Маркса о переходе от натурального хозяйства к товарно-капиталистическому

с постепенным усилением роли меновой стоимости как движущей цели процесса производства.

*1) Потребительная стоимость и меновая стоимость как движущая цель процесса производства*

В товарном хозяйстве продукт лишь через свое отчуждение становится потребительной стоимостью для своего владельца. Это значит, что товаро-производитель заинтересован непосредственно не в качествах своего продукта как потребительной стоимости, а в величине его меновой стоимости. На этом основано общее противопоставление двух типов хозяйства: в некоторых общественных формациях преобладающее значение имеет потребительная стоимость продукта, в других — меновая стоимость. Наиболее ярким примером первого хозяйства является чисто натуральное хозяйство первобытных народов, совершенно не знающих обмена; наиболее ярким примером второго типа хозяйства является развитое капиталистическое производство. Противопоставление обоих этих типов хозяйства мы часто встречаем у Маркса, но наряду с этим мы у него находим указания на целый ряд промежуточных типов хозяйства, которые представляют собою постепенный переход от чисто натурального к капиталистическому хозяйству.

В чисто натуральном хозяйстве мы имеем полное господство потребительной стоимости; например, весь процесс производства патриархальной семьи, совершенно не знающей обмена, направлен непосредственно на удовлетворение потребностей ее членов. Первую брешь в этом натуральном хозяйстве пробивает появление какого-нибудь продукта в количестве, превышающем непосредственные потребности данного хозяйства.<sup>1</sup> На почве географического разделения труда в различных общинах разные продукты производятся в количестве, превышающем потребности членов данной общины. На этой почве возникает первоначальный обмен между различными общинами, и данный продукт, будучи непосредственной потребительной стоимостью для членов общины, вместе с тем частично превращается в товар для внешнего обмена. Но, так как данный продукт производится преимущественно для собственного потребления, он еще не является товаром до акта обмена, а становится им лишь в самом акте обмена.<sup>2</sup> Эту стадию обмена мы можем характеризовать как обмен излишками производства, когда продукт лишь начинает превращаться в товар и становится товаром лишь в самом акте обмена.

Следующая стадия обмена начинается с того момента, когда часть продуктов начинает уже производиться специально для обмена. «Потребность в чужих предметах потребления мало-по-малу укрепляется. Постоянное повторение обмена делает его регулярным общественным процессом. По-

<sup>1</sup> «Капитал», т. I, стр. 44. <sup>2</sup> Там же.



этому с течением времени по крайней мере часть продуктов труда начинает производиться преднамеренно для обмена. С этого момента закрепляется разделение между полезностью вещи для непосредственного потребления и полезностью ее для обмена. Ее потребительная стоимость отделяется от ее меновой стоимости».<sup>1</sup>

Пока обмен носит еще характер натурального обмена, т. е. непосредственного обмена продуктами, отделение меновой стоимости от потребительной носит еще скрытый характер; продукт в своей натуральной форме служит одновременно и потребительною, и меновою стоимостью. «Обмениваемый предмет еще не получает никакой формы стоимости, независимой от его собственной потребительной стоимости или от индивидуальных потребностей обменивающихся лиц».<sup>2</sup> Характер товара, как меновой стоимости, не получает своего полного развития, так как товар еще не обладает способностью обмениваться на любой другой продукт общественного труда. Меновая стоимость товара получает самостоятельную форму лишь с возникновением денег и выделением их из всего мира остальных товаров.

Если производство избыточного продукта вызвало появление обмена, то дальнейшее развитие торговли, в свою очередь, «благоприятствует созданию избыточного продукта, предназначенного войти в обмен для того, чтобы увеличить потребление или сокровища производителей (под которыми здесь следует понимать собственников продуктов); следовательно, он придает производству характер производства, все более имеющего своею целью меновую стоимость».<sup>3</sup> «Торговля будет оказывать большее или меньшее влияние на те общества, между которыми она ведется; производство она все более и более будет подчинять меновой стоимости, потому что наслаждение и потребление она ставит в большую зависимость от продажи, чем от непосредственного потребления продукта. Этим она разлагает старые отношения. Она увеличивает денежное обращение. Она захватывает уже не только избыток продуктов, но мало-по-малу начинает поедать и самое производство и ставить в зависимость от себя целые отрасли производства. Однако это разлагающее влияние в значительной степени зависит от природы производящего общества».<sup>4</sup> В обществах, в которых отсутствовали условия для развития капитализма, значительно развитой денежный обмен существовал на-ряду с различными формами натурального хозяйства (патриархальная семья, рабовладельческое хозяйство, феодальное поместье). Поэтому, с одной стороны, развитие торговли все больше придавало хозяйству характер производства, имеющего своею целью меновую стоимость, но, на-ряду с этим, главною целью хозяйства все еще оставалось производство потребительной стоимости. «Денежное и товарное обращение может обслуживать сферы производства самых разнообразных организаций,

<sup>1</sup> Там же, стр. 44 — 45. <sup>2</sup> Там же. <sup>3</sup> «Капитал», т. III, ч. 1-я, стр. 251. <sup>4</sup> Там же, стр. 254 — 255.

которые по своей внутренней структуре все еще имеют главной целью производство потребительной стоимости».<sup>1</sup>

Мы обрисовали несколько стадий развития производства и обмена с постепенным усилением роли меновой стоимости: чисто натуральное хозяйство, случайный обмен излишков, производство части продуктов специально для обмена, постепенное увеличение этой части за счет части, предназначенной для непосредственного потребления. Можно сказать, что на описанных стадиях развития между потребительной стоимостью и меновой стоимостью происходит борьба за роль движущей цели или побудительного мотива процесса производства. Эта роль выполняется ими одновременно, с постепенным отеснением роли потребительной стоимости и постепенным усилением роли меновой стоимости. Окончательно этот процесс завершается только в капиталистическом хозяйстве. «В каком размере производство входит в торговлю, проходит через руки купцов, это зависит от способа производства; этот размер достигает своего максимума при полном развитии капиталистического производства, когда продукт производится уже только как товар, а не как предмет непосредственного потребления».<sup>2</sup>

Только при развитом капиталистическом производстве мы имеем полное господство меновой стоимости. Однако теоретически мы можем представить себе это господство меновой стоимости и в условиях простого товарного хозяйства, предполагая, что последнее является господствующим типом хозяйства и вытеснило остатки натурального производства. Если мы представим себе общество простых товаропроизводителей (например, ремесленников), которые все свои продукты производят для продажи, мы найдем, что непосредственной целью производства является уже меновая стоимость, а не потребительная. Непосредственная цель простых товаропроизводителей заключается в извлечении из продажи произведенных ими продуктов возможно большей суммы меновой стоимости (денег). Однако, хотя потребительная стоимость уже непосредственно не играет роли движущей цели производства, она продолжает еще выполнять эту роль косвенным образом, через посредство меновой стоимости (денег). Действительно. в предположенном нами обществе ремесленник вырученную им от продажи продукта сумму денег затрачивает на покупку предметов, служащих для удовлетворения его потребностей (конечно, наряду с необходимыми средствами производства). Здесь имеет место товарное обращение по формуле  $T - D - T$ ; деньги служат здесь для ремесленника только средством для получения необходимой ему суммы предметов потребления. Отсюда вытекает то двойственное место, которое занимает простое товарное хозяйство. По сравнению с натуральным хозяйством оно отличается господством меновой стоимости, выполняющей роль движущего мотива самого процесса производства. Но по сравнению с капиталистическим хозяйством

<sup>1</sup> Там же, стр. 253. <sup>2</sup> Там же, стр. 250 — 251.

оно характеризуется еще производством для удовлетворения (правда, не непосредственного, а косвенного, через посредство денег) личных потребностей самих производителей. Именно с этой точки зрения Маркс резко противопоставляет друг другу две формы кругооборота:  $T—D—T$  и  $D—T—D$ . «Кругооборот  $T—D—T$  исходит из того полюса товарного метаморфоза, на котором стоит товар, и заканчивается полюсом, на котором находится другой товар, выходящий из сферы обращения в сферу потребления. Потребление, удовлетворение потребностей, одним словом — потребительная стоимость, есть, таким образом, конечная цель этого кругооборота. Напротив, кругооборот  $D—T—D$  берет исходным пунктом денежный полюс и в конце концов возвращается к тому же полюсу. Его движущим мотивом, его определяющей целью является поэтому сама меновая стоимость».<sup>1</sup> «Конечная цель продажи ради купли, а также цель возобновления, или повторения, этого процесса лежит вне его самого, в потреблении, в удовлетворении определенных потребностей».<sup>2</sup> «Простое товарное обращение — продажа ради купли — служит средством для достижения конечного результата, лежащего вне обращения, для присвоения потребительных стоимостей, для удовлетворения потребностей. Напротив, обращение денег в качестве капитала есть самоцель, так как самовозрастание стоимости осуществляется лишь в пределах этого постоянно возобновляющегося движения... Поэтому потребительную стоимость отнюдь нельзя рассматривать как непосредственную цель капиталиста».<sup>3</sup>

На первый взгляд может казаться, что Маркс себе противоречит. Раньше он говорил, что развитие торговли все больше придает производству характер производства, имеющего свою целью меновую стоимость. Казалось бы, что при полном господстве простого товарного хозяйства единственной целью производства является уже меновая стоимость, а не потребительная, а между тем Маркс объявляет, что конечную целью кругооборота  $T—D—T$  является потребительная стоимость. Это кажущееся противоречие исчезает, если мы вспомним, что речь идет о длительном историческом процессе развития, который начинается с чисто натурального хозяйства и кончается развитым капитализмом. Этот длительный процесс исторического развития характеризуется постепенным вытеснением потребительной стоимости меновой в роли движущего мотива и цели производства. Поэтому вполне понятно, что данная стадия, которая по сравнению с предшествующею обнаруживает усиление господства меновой стоимости, вместе с тем, по сравнению с последующей стадией развития, обнаруживает недостаточное господство меновой стоимости. В частности, такое промежуточное место и занимает простое товарное хозяйство. В последнем роль цели производства *непосредственно* выполняет только меновая стоимость, но *косвенно*, или в последнем счете, производство имеет целью удовлетворение личных потребностей самого производителя. Поэтому во всех

<sup>1</sup> «Капитал», т. I, стр. 96. <sup>2</sup> Там же, стр. 97. <sup>3</sup> Там же, стр. 98.

трех приведенных нами последних цитатах Маркс говорит, что потребительная стоимость является «конечною» (но не непосредственною) целью кругооборота Т—Д—Т.

Маркс резко противопоставляет друг другу две формы кругооборота: Т—Д—Т и Д—Т—Д. В различии этих двух форм кругооборота отражается различие простого товарного хозяйства и капиталистического. Верный диалектическому методу, который предписывает нам искать постепенные переходы между противоположными формами явлений, Маркс и в данном случае старается точно проследить переходные формы между обоими кругооборотами. Эти переходные формы Маркс указывает при изучении функций денег как сокровища и платежного средства. В пределах самого товарного обращения Т—Д—Т зарождаются формы, подготовляющие переход к кругообороту Д—Т—Д. В кругообороте Т—Д—Т продажа совершается для того, чтобы на вырученные деньги приобрести необходимые предметы потребления. Но, если товаропроизводитель задерживает вырученные от продажи деньги в качестве сокровища, то в этом случае «товар продается не для того, чтобы купить другие товары, а для того, чтобы заместить товарную форму денежной. Из простого посредствующего звена при обмене веществ эта перемена форм становится самоцелью»<sup>1</sup>. Или, как говорит Маркс в «Критике политической экономии», «меновая стоимость из простой формы становится содержанием движения», т. е. выполняет в зачаточной форме ту роль, которую в более развитом виде она выполняет в кругообороте Д—Т—Д. Если кругооборот Т—Д—Т имел своею конечною целью удовлетворение личных потребностей производителя, то задержка денег в качестве сокровища уже требует от товаропроизводителя отказа от удовлетворения его личных потребностей.<sup>2</sup>

Другую переходную форму между обоими кругооборотами товарного обращения Маркс отмечает при исследовании функции денег как платежного средства. Если товаропроизводитель продает свой продукт для того, чтобы при помощи вырученных денег погасить заключенное им раньше денежное обязательство, потребительная стоимость уже не является конечною целью совершаемой им продажи. «Деньги уже не обслуживают процесс. Они самостоятельно завершают его как абсолютное бытие меновой стоимости, или как всеобщий товар. Продавец превратил товар в деньги чтобы удовлетворить при помощи последних какую-либо потребность, создатель сокровищ, — чтобы консервировать товар в денежной форме, должник-покупатель, — чтобы иметь возможность уплатить. Если он не уплатит, его имущество будет подвергнуто принудительной продаже. Следовательно, превращение товара в образ его стоимости, в деньги, становится теперь общественной необходимостью, вынуждаемой у товаропроизводителя независимо от его потребностей и его личных склонностей. Эта необходимость возникает из отношений самого процесса обращения».<sup>3</sup> Продажа товара

<sup>1</sup> Там же, стр. 78 — 79. <sup>2</sup> Там же, стр. 81. <sup>3</sup> Там же, стр. 84.

в данном случае уже не имеет своей конечной целью удовлетворение потребностей и личных склонностей производителя.

Если при разборе функций денег как сокровища и платежного средства мы заметили дальнейшее вытеснение потребительной стоимости как конечной цели товарного производства и обращения, то окончательно этот процесс завершается, как мы уже видели выше, в кругообороте Д—Т—Д. «Кругооборот денежного капитала есть самая односторонняя, а потому и наиболее ярко выраженная и характерная из форм, в которых проявляется кругооборот промышленного капитала; цель и движущий мотив последнего: увеличение стоимости, делание денег и накопление, представлены здесь так... что они прямо бросаются в глаза».<sup>1</sup> Этот кругооборот выражает тот факт, что меновая стоимость, а не потребительная стоимость, есть самоцель, определяющая движение, он «с наибольшей наглядностью выражает побудительный мотив капиталистического производства — делание денег. Производственный процесс является лишь необходимым злом, неминуемым средством для делания денег».<sup>2</sup> Если в простом товарном хозяйстве производитель стремился получить путем продажи своего продукта определенную сумму денег лишь для того, чтобы при ее помощи удовлетворить свои личные потребности, то, наоборот, в капиталистическом хозяйстве производство потребительной стоимости служит лишь средством для извлечения прибыли, для возрастания капитала. «Потребительная стоимость при товарном производстве вообще не представляет вещи, которую любят ради нее самой. Потребительные стоимости вообще производятся здесь лишь потому и постольку, что и поскольку они являются материальной основой, носителями меновой стоимости».<sup>3</sup> Стремление к безграничному обогащению было присуще и собирателю сокровищ, но, поскольку речь шла о простом товарно-производителе, который не эксплуатирует чужого труда, это стремление могло осуществиться лишь в ограниченной степени. Широкое поле для своего действия это стремление находит только в обществе, основанном на антагонизме классов и эксплуатации прибавочного труда значительного числа людей<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> «Капитал», т. II, стр. 25.   <sup>2</sup> Там же, стр. 23.

<sup>3</sup> «Капитал», т. I, стр. 126.

<sup>4</sup> Как известно, капитал не изобрел прибавочного труда; эксплуатация прибавочного труда существовала и ранее, но лишь при господстве товарного производства она приняла специфический характер стремления к безграничному возрастанию меновой стоимости. Маркс показывает, как изменялся характер эксплуатации прибавочного труда по мере перехода от натурального хозяйства к товарному. «Если в какой-нибудь общественно-экономической формации преобладающее значение имеет не меновая стоимость, а потребительная стоимость продукта, то прибавочный труд ограничивается более или менее узким кругом потребностей, но из самого характера соответственного производства не вытекает безграничная потребность в прибавочном труде» («Капитал», т. I, стр. 165). Развитие денежного хозяйства и торговли изменяет характер эксплуатации прибавочного труда. В условиях рабского хозяйства оно приводит к превращению патриархальной системы рабства, рассчитанной на производство непосредственных средств существования, в рабовладельческую систему, целью которой является производство прибавочной стоимости» («Капитал», т. III, ч. 1-я, стр. 256). Особенно жестокие формы

Итак, капиталистическое хозяйство резко отличается от того «товарного производства, цель которого — существование производителя».<sup>1</sup> Поэтому Маркс всегда резко возражал против вульгарной политической экономии, которая видит «в капиталистическом процессе производства просто производство товаров, потребительных стоимостей, предназначенных для потребления того или иного рода и производимых капиталистом исключительно с той целью, чтобы заменить их товарами иной потребительной стоимости или, как ложно утверждает вульгарная экономия, обменять на эти товары».<sup>2</sup> В капиталистическом обществе потребительная стоимость уже не играет той роли косвенной цели производства, которую она играла в простом товарном хозяйстве.

В капиталистическом производстве преобладающее значение имеет меновая стоимость, а не потребительная. Однако и в пределах самого капиталистического хозяйства Маркс, чтобы отметить все диалектические переходы между разными стадиями процесса, отмечает постепенное усиление роли меновой стоимости за счет потребительной. В этом отношении Маркс проводит различие между простым воспроизводством капитала и расширенным его воспроизводством. При простом воспроизводстве вся масса прибавочной стоимости тратится на удовлетворение личных потребностей класса капиталистов. Хотя процесс производства имеет свою цель — возрастание меновой стоимости, т. е. превращение суммы  $D$  в сумму  $(D+d)$ , но вся извлекаемая сумма прибавочной стоимости ( $d$ ) затрачивается только на удовлетворение личных потребностей капиталистов. Этим объясняется следующее утверждение Маркса: «Простое воспроизводство по существу имеет своей целью потребление, хотя получение прибавочной стоимости и здесь является побудительным мотивом индивидуальных капиталистов; но прибавочная стоимость — какова бы ни была ее относительная величина — в конце концов должна служить здесь только для индивидуального потребления капиталиста».<sup>3</sup> При желании придирчивый критик и здесь мог бы увидеть противоречие в словах Маркса. Раньше Маркс доказывал, что целью капиталистического производства, в отличие от простого товарного хозяйства, является возрастание меновой стоимости, теперь же он говорит, что простое воспроизводство капитала имеет своей целью потребление. Но и на этот раз кажущееся противоречие исчезает при надлежащем понимании диалектического хода мысли Маркса. По сравнению с простым товарным хозяйством, простое воспроизводство капитала знаменует собою дальнейшее усиление доли меновой стоимости за счет потребительной. При переходе же от про-

<sup>1</sup> «Капитал», т. II, стр. 37.

<sup>2</sup> Там же, стр. 32. <sup>3</sup> Там же, стр. 297.

принимает эксплуатация труда рабов в тех условиях, где дело идет о добывании меновой стоимости в ее самостоятельной, денежной форме, а именно в производстве золота и серебра («Капитал», т. I, стр. 165). В условиях феодального хозяйства возможность продажи продукта на рынке вызывает успешную погоню феодала за барщинным трудом подвластных ему крестьян (там же, стр. 166). Наконец, в капиталистическом хозяйстве жажда прибавочного труда проявляется в стремлении к безмерному удлинению рабочего дня.

стого воспроизводства к расширенному мы замечаем дальнейшее усиление роли меновой стоимости.

Приведенные слова Маркса показывают, что мотив личного потребления капиталистов, хотя и не играет господствующей роли в капиталистическом производстве, все же сохраняет известное значение. «Поскольку простое воспроизводство составляет часть, притом самую значительную часть, и всякого годичного воспроизводства в расширенном масштабе, этот мотив — личное потребление — остается, выступая в сопровождении мотива и в противоположность мотиву обогащения как такового».<sup>1</sup> Но, хотя мотив личного потребления капиталистов сохраняется, он все же постепенно вытесняется мотивом обогащения. Иначе говоря, простое воспроизводство как таковое противоречит самому существу капиталистического хозяйства и необходимо переходит в расширенное воспроизводство; только при последнем размер личного потребления капиталистов становится относительно все меньше по сравнению с накапливаемой частью прибавочной стоимости. Только расширенное воспроизводство представляет собою тот тип хозяйства, в котором господство меновой стоимости достигает полной силы.

Как видим, Маркс рисует сложную картину постепенного усиления роли меновой стоимости за счет потребительной. Мы можем наметить следующие стадии этого длительного исторического процесса:

1) *Чисто натуральное* хозяйство, характеризующееся полным господством потребительной стоимости.

2) Случайный обмен *избыточных* продуктов. Роль движущей цели производства выполняет еще потребительная стоимость, меновая стоимость только зарождается.

3) *Часть* продукта производится *преднамеренно для обмена*; роль цели производства выполняют одновременно потребительная стоимость и меновая стоимость. Относительная сила их зависит от относительного размера производства, предназначенного для собственного потребления, и производства, предназначенного на рынок.

4) *Простое товарное хозяйство*, в котором все продукты производятся для продажи. Роль цели производства выполняет непосредственно меновая стоимость, но косвенно производство имеет целью удовлетворение личных потребностей товаропроизводителя.

5) *Переходные* формы от простого товарного хозяйства к капиталистическому (сокровище и платежное средство). Продажа продукта уже не имеет целью удовлетворение личных потребностей товаропроизводителя.

6) *Капиталистическое хозяйство* в форме *простого* воспроизводства. Целью производства является возрастание меновой стоимости или извлечение прибавочной стоимости, но полученная сумма прибавочной стоимости целиком затрачивается на удовлетворение личных потребностей капиталиста.

7) *Капиталистическое хозяйство* в форме *расширенного* воспроизводства,

<sup>1</sup> Там же.

при котором получаемая прибавочная стоимость накапливается как капитал и лишь небольшая и все уменьшающаяся часть ее затрачивается на удовлетворение личных потребностей капиталиста.

## 2) Противоречие между потребительной и меновой<sup>1</sup> стоимостью

В I главе связь между производством и потреблением рассматривалась нами в той общей форме, которую она имеет в любой экономической формации. Теперь мы переходим к исследованию связи между производством и потреблением в товарном хозяйстве и начинаем анализ с особенностей простого товарного хозяйства, или общества простых товаропроизводителей. Характерной чертой его является обособление производства от потребления, — обособление, которое развивается вместе с развитием самого товарного хозяйства. В натуральном хозяйстве продукт является потребительной стоимостью для самого производителя; на дальнейшей стадии развития продукты, произведенные в избыточном количестве и потому не нужные для удовлетворения потребностей их владельца, вступают в обмен. Появляется зародышевая форма стоимости; начинается процесс превращения потребительных стоимостей в товары. Если обмен носит еще натуральный характер, обмениваемые продукты представляют собою еще непосредственно потребительные стоимости, хотя каждый из них является потребительной стоимостью не для своего владельца. Наконец, когда продукты производятся уже специально для продажи на неопределенный рынок, происходит окончательное обособление меновой стоимости от потребительной. Все продукты производятся теперь как товары, для продажи, а не для удовлетворения потребностей самих производителей. С другой стороны, все необходимые ему продукты производитель получает уже при помощи обмена. Продукт становится товаром, который обладает двойственной природой, — как потребительная стоимость и как меновая стоимость.

Эту двойственную природу товара Маркс анализирует на первых страницах «Критики политической экономии» и «Капитала». Путем анализа Маркс разлагает единый товар на две стороны, каждую из которых он рассматривает отдельно. Он вкратце на первых двух страницах рассматривает потребительную стоимость товара, чтобы после этого заняться подробным анализом другой стороны товара, его стоимости. Здесь Маркс *аналитическим* путем изучает *различие* обеих сторон товара, но после этого аналитического рассечения товара Маркс переходит к синтетическому исследованию действительного процесса обмена, в котором товары выступают одновременно как потребительные стоимости и как меновые стоимости. Необходимость перехода от изолированного рассмотрения отдельных сторон товара к синтетическому рассмотрению движения товара как целого подчерки-

<sup>1</sup> Здесь и всюду в дальнейшем меновая стоимость употребляется нами в том же смысле, как и термин «стоимость».



вается Марксом в «Критике» и в «Капитале». «До сих пор товар рассматривался с двух точек зрения: как потребительная стоимость и как меновая стоимость, каждый раз с односторонней точки зрения. Однако в качестве товара он есть непосредственно *единство* потребительной стоимости и меновой стоимости». <sup>1</sup> Раз от изолированного изучения потребительной стоимости и меновой стоимости мы переходим к изучению условий их совместного существования в одном товаре, мы приходим к вопросу о противоречии между стоимостью и потребительной стоимостью. «Товар есть *непосредственное единство потребительной стоимости и меновой стоимости*, т. е. двух противоположностей. Он есть поэтому непосредственное *противоречие*. Это противоречие должно развиваться, раз товар уже не рассматривается, как до сих пор, аналитически, то с точки зрения потребительной стоимости, то с точки зрения меновой стоимости, а как целое действительно отнесен к другим товарам. Но *действительное* отношение товаров друг к другу есть *процесс их обмена*». <sup>2</sup> От различия потребительной стоимости и меновой стоимости Маркс переходит к их противоположности (внутри единства — товара).

Учение Маркса о противоречии между потребительной стоимостью и меновой стоимостью представляет большие трудности для понимания и вызывало особенно резкие нападки со стороны критиков. Последние утверждали, что Маркс занимается здесь метафизическими рассуждениями, не имеющими отношения к реальной действительности. На самом же деле это учение Маркса отражает реальные процессы товарного хозяйства. Проблема, которая стояла здесь перед Марксом, может быть выражена следующими словами: в какой мере видоизменяется природа потребительной стоимости и меновой стоимости под влиянием их совместного существования в одном товаре? Если до сих пор изолированное изучение этих двух сторон товара открывало нам природу каждой из них, то теперь возникает вопрос о возможности одновременного совместного существования в товаре обеих этих сторон в той форме, в которой мы нашли их при изолированном их рассмотрении. И Маркс приходит к выводу, что совместное существование в товаре двух его сторон накладывает на каждую из них особую специфическую печать, что наличие каждой из этих сторон как бы ограничивает другую сторону и не дает ей непосредственно проявиться во всем богатстве тех определений, которые мы констатировали при изолированном рассмотрении каждой из этих сторон.

Маркс начинает свое рассуждение с потребительной стоимости. Мы знаем, что каждый товар является прежде всего потребительной стоимостью. Но если мы вспомним, что товар является также и меновой стоимостью, то мы увидим, что последняя его сторона ограничивает характер его как потребительной стоимости, не дает ему возможности выступать непосредственно в роли потребительной стоимости. Действительно, раз продукт

<sup>1</sup> «Критика», стр. 77. <sup>2</sup> «Kapital», В. I., 1-е немецкое издание 1867 г., стр. 44.

произведен для продажи, он не является непосредственной потребительной стоимостью для своего владельца. Но вместе с тем он не является еще непосредственной потребительной стоимостью и для других лиц, так как он еще не находится в их руках. Только посредством перехода из рук в руки, т. е. посредством обмена, товар может стать потребительной стоимостью для других лиц, а тем самым и для своего владельца, ибо последний только путем обмена своего продукта может получить другие продукты, необходимые для удовлетворения его потребностей. Итак, «товар *есть* потребительная стоимость, например пшеница, холст, алмаз, машина и т. д., но в качестве товара он вместе с тем *не есть* потребительная стоимость. Если бы он был потребительной стоимостью для своего владельца, т. е. прямым средством удовлетворения его собственных потребностей, он не был бы товаром... Поэтому товар должен еще *сделаться* (werden) потребительной стоимостью сперва для других... Таким образом, потребительные стоимости товаров *становятся* (werden) потребительными стоимостями, меняя всесторонним образом свои места, переходя из рук тех лиц, для которых они являются средством обмена, в руки тех лиц, для которых они суть предметы потребления... Следовательно, для того чтобы осуществляться как потребительные стоимости, товары должны осуществляться как меновые стоимости».<sup>1</sup>

Мы приходим к следующему выводу. То обстоятельство, что товар является меновой стоимостью, исключает для него возможность быть непосредственно потребительной стоимостью как для его владельца, так и для других лиц. Мы имеем два противоположных утверждения: 1) товар *есть* потребительная стоимость и 2) товар *не есть* непосредственно потребительная стоимость. Выход из этого противоречия может быть только один: товар должен сделаться потребительной стоимостью; он является потребительной стоимостью не непосредственно, а обходным путем, через средство обмена, в котором реализуется его меновая стоимость. Меновая стоимость выступает здесь как внешнее средство для того, чтобы товар стал потребительной стоимостью.

Если реализация меновой стоимости товара является условием реализации его потребительной стоимости, то, с другой стороны, между этими двумя сторонами товара существует и обратное отношение: чтобы реализоваться как меновая стоимость, товар должен проявить и доказать свою потребительную стоимость. Если раньше мы убедились, что характер товара, как меновой стоимости, не позволяет ему выступать непосредственно в роли потребительной стоимости, то теперь мы убеждаемся в противоположном: характер товара, как потребительной стоимости, не дает ему выступать непосредственно в роли меновой стоимости. Товар, как меновая стоимость, является воплощением непосредственно-общественного рабочего времени в том смысле, что он «по усмотрению замешает определенное количество

<sup>1</sup> «Критика», стр. 77 — 79.

любого другого товара, независимо от того, является ли он для владельца этого другого товара потребительной стоимостью или нет». <sup>1</sup> Этим свойством отличается меновая стоимость товара, поскольку она рассматривается нами изолированно. Но если мы вспомним, что товар является также и потребительной стоимостью, то наличие последней уже не дает товару возможности непосредственно проявить характер, присущий ему как меновой стоимости. Товар уже не может замещать по усмотрению любой другой продукт общественного труда, так как он «может быть отчужден как потребительная стоимость только тому лицу, для которого он является потребительной стоимостью, т. е. предметом особенной потребности» (стр. 79). Прежде чем приобрести способность замещать по усмотрению товаропроизводителя любой другой продукт, данный товар должен быть поставлен «в соприкосновение с особенною потребностью, удовлетворению которой он служит» (стр. 79). Иначе говоря, до своего отчуждения как потребительная стоимость «товар *не есть* непосредственно меновая стоимость, но еще должен *стать* (werden) таковою» (стр. 79). И здесь мы получаем два противоположных утверждения: 1) товар *есть* меновая стоимость, 2) товар *не есть* непосредственно меновая стоимость. Из этого противоречия опять-таки выход может быть только один: товар должен еще *стать* меновой стоимостью, а именно обходным путем, в котором обнаруживается его потребительная стоимость для определенного лица, т. е. обходным путем обмена. Реализация потребительной стоимости выступает здесь как внешнее средство для реализации его меновой стоимости. «Если товар может сделаться потребительной стоимостью только посредством осуществления его в качестве меновой стоимости, то, с другой стороны, он может осуществляться как меновая стоимость только благодаря тому, что в процессе отчуждения он доказывает свою потребительную стоимость» (стр. 79). <sup>2</sup>

Только через посредство процесса обмена происходит действительная реализация двойственной природы товара, т. е. его меновой стоимости и потребительной стоимости. До процесса обмена совместное существование в товаре обеих этих противоречащих друг другу сторон не дает возможности непосредственно проявиться каждой из них во всем богатстве ее определений; каждая из этих сторон как бы ограничена наличием другой стороны и поэтому приобретает новый характер, которого мы не могли бы открыть

<sup>1</sup> Там же.

<sup>2</sup> Легко заметить здесь внешнее сходство рассуждений Маркса со схемами Гегеля в начале его «Логик». Если Гегель сперва рассматривает «бытие», а потом «ничто», чтобы после этого найти их примирение в «становлении», то той же схеме следует Маркс: сперва он рассматривает и потребительную стоимость и меновую стоимость как бытие; после этого следует отрицание их бытия, за которым следует изучение их становления, т. е. процесса действительного движения товаров в обмене. Сходство со схемами Гегеля можно заметить и в другом пункте: потребительная стоимость и меновая стоимость рассматриваются сперва как изолированные определения; после этого они ставятся во внешнюю связь, и каждая из них рассматривается как внешнее средство для осуществления другой. Далее следует взаимопроникновение этих противоположностей, когда они принимают форму товара и денег.

в ней при изолированном ее рассмотрении и который нам необходимо изучить теперь. Рассмотрим то новое, что вносится в природу каждой из этих сторон товара благодаря наличию в нем другой стороны.

Сперва рассмотрим кратко те изменения, которые претерпевает меновая стоимость благодаря тому, что она связана с конкретной потребительной стоимостью товара. Товар, как потребительная стоимость, должен перейти именно к тому лицу, который нуждается в нем для удовлетворения своих потребностей, а это значит, что он еще не обладает непосредственно-общественным характером и не может еще быть обменен на любой другой продукт по усмотрению его владельца. Общественная природа стоимости еще ограничена и как бы скована благодаря тому, что она связана с конкретной натуральной формой товара. Стоимость носит еще потенциальный характер и полностью реализуется лишь тогда, когда товар сбросит с себя свою данную конкретную натуральную форму, т. е. будет превращен в деньги. Отсюда вытекает необходимость раздвоения товара на товар и деньги, или, как иногда выражается Маркс, раздвоения стоимости на товарную форму и денежную форму стоимости. Только в последней непосредственно общественная природа стоимости находит свое полное осуществление. В первой же эта общественная природа стоимости еще скована благодаря наличию в товаре другой стороны его, т. е. конкретной потребительной стоимости. Наличие потребительной стоимости накладывает свою печать на характер меновой стоимости, превращает последнюю в потенциальную, или товарную, стоимость, которая еще нуждается в реализации.

С другой стороны, наличие меновой стоимости накладывает свою печать на характер потребительной стоимости товара. На первых страницах «Критики» и «Капитала» потребительная стоимость рассматривается изолированно от меновой стоимости, т. е. как способность удовлетворять человеческие потребности, присущая продукту совершенно независимо от той или иной общественной формы хозяйства. Потребительная стоимость рассматривается в ее безразличии к общественной форме продукта. «Какова бы ни была общественная форма богатства, потребительные стоимости образуют всегда его содержание, первоначально безразличное к этой форме».<sup>1</sup> Но это свое безразличие потребительная стоимость сохраняет лишь до тех пор, пока она рассматривалась нами изолированно от меновой стоимости. Когда же мы переходим к изучению потребительной стоимости *товара*, мы видим, что наличие меновой стоимости накладывает определенную печать и на потребительную стоимость. Поскольку речь идет о товаре, его потребительная стоимость имеет особый характер, по сравнению, например, с продуктом феодального общества. Речь идет здесь не об изменении натуральной формы продукта, а об изменении общественной природы самой потребительной стоимости. Отношение продукта, как потребительной стоимости,

<sup>1</sup> «Критика», стр. 60.

к производителю и потребителю становится иным в товарном хозяйстве по сравнению с другими формами хозяйства. Здесь продукт уже не является потребительной стоимостью для производителя, а в качестве потребительной стоимости производится для удовлетворения потребностей других лиц, т. е. производится для продажи. «Теперь производитель производит уже не просто потребительную стоимость, но потребительную стоимость для других, общественную потребительную стоимость».<sup>1</sup> Эта «общественная потребительная стоимость» и есть та видоизмененная форма, которую потребительная стоимость приобретает только в товарном хозяйстве под влиянием меновой стоимости. Совместное существование в товаре меновой стоимости и потребительной стоимости изменило самый характер последней.

Приведенные слова Маркса об «общественной потребительной стоимости» не всегда понимаются правильно. Нередко этот термин истолковывается в смысле всякой потребительной стоимости, производимой для нужд членов общественной группы. С этой точки зрения общественной потребительной стоимостью можно называть и продукт, который средневековый крестьянин производил для нужд поместья, и продукт, который будет производиться в социалистической общине. Но при таком расширительном понимании указанного термина уничтожается всякая его определенность. Маркс имел в виду не всякую потребительную стоимость, производимую для общества при любой социальной форме хозяйства, а потребительную стоимость *товара*. Энгельс поэтому счел нужным прибавить к цитированным словам Маркса следующее замечание: «И не только для других вообще. Часть хлеба, произведенного средневековым крестьянином, отдавалась в виде оброка сеньеру, часть — в виде десятины попам. Но ни хлеб, отчуждавшийся в виде оброка, ни хлеб, отчуждавшийся в виде десятины, не становился товаром вследствие того только, что он произведен для других. Для того чтобы стать товаром, продукт должен быть передан *посредством обмена* в руки того, кому он служит в качестве потребительной стоимости».<sup>2</sup> Энгельс поясняет, что, когда Маркс говорит об общественной потребительной стоимости, он имеет в виду *потребительную стоимость товара*, который переходит от производителя к потребителю через посредство обмена. Эта необходимость прохождения через сферу обмена накладывает определенную печать на товар не только в том смысле, что последний выступает как меновая стоимость; она накладывает определенную печать и на другую сторону товара, на его потребительную стоимость. Потребительная стоимость продукта, благодаря своей связи с его меновой стоимостью, приобретает особый общественный характер или «общественную определенность». «Как полезная вещь, товар обладает общественной определенностью, поскольку он есть потребительная стоимость для других, а не для своего владельца, т. е. поскольку он удовлетворяет общественные потребности».<sup>3</sup>

<sup>1</sup> «Капитал», т. I, стр. 6. <sup>2</sup> Там же.

<sup>3</sup> «Kapital», B. I., стр. 28, немецкое издание 1867 г.

### 3) Производство и потребление в капиталистическом обществе

Мы проследили развитие хозяйства, сопровождавшееся постепенным оттеснением потребительной стоимости в качестве движущей цели производства и постепенным усилением роли меновой стоимости. Это изменение означало вместе с тем изменившееся соотношение между производством и потреблением. В натуральном хозяйстве, например патриархальной семьи, производство было направлено непосредственно на удовлетворение потребностей ее членов. Такая же непосредственная связь между производством и потреблением существует в каждом организованном хозяйстве, например в социалистической общине. Маркс и Энгельс часто указывали, что характерной особенностью социалистической общины является приспособление производства к размерам общественной потребности, подлежащей удовлетворению и заранее рассчитываемой тем или иным способом.<sup>1</sup>

С возникновением и развитием обмена, как мы уже знаем, продукт производится не непосредственно для удовлетворения потребностей, а для продажи. Однако, пока речь идет о простом товарном хозяйстве, например ремесленном, производство ведется или по определенному заказу, или для ближайшего рынка. В таком случае размеры спроса или общественной потребности, подлежащей удовлетворению, заранее приблизительно известны и влияют определяющим образом на размеры производства. Вместе с тем размер производства определяется размером обычных потребностей самого ремесленника, подлежащих удовлетворению после продажи изготовленных им изделий. Только с развитием капиталистического производства потребительная стоимость окончательно перестает быть движущей целью процесса производства. Капиталист стремится к получению прибыли и весь процесс производства подчиняет этой цели. Производство продукта, как потребительной стоимости, не является целью капиталиста. То же самое относится и к рабочему: «Продукт его [рабочего] деятельности не составляет цель его деятельности. Шелк, который он ткет, золото, которое он добывает на приисках, дворец, который он строит, — все это он производит не для себя самого».<sup>2</sup> В капиталистическом хозяйстве происходит дальнейшее обособление производства от потребления, производителя от потребителя.

Наряду с обособлением производства и потребления между ними сохраняется необходимая связь. Как уже было выяснено в I главе, производство и потребление взаимно связаны и взаимно обусловлены. Каким же образом осуществляется эта связь в капиталистическом обществе? Эта связь осуществляется через *спрос*. Так как потребности членов общества заранее не учитываются и сами по себе не могут направлять производство, общественные потребности оказывают воздействие на процесс производства лишь косвенным образом, через платежеспособный спрос. Если сам произ-

<sup>1</sup> «Капитал», т. III, ч. 1-я, стр. 137; «Нищета философии», стр. 62.

<sup>2</sup> К. Маркс, Наемный труд и капитал. Собрание сочинений. том V, стр. 422.

водитель не считает своей целью удовлетворение общественных потребностей, то ему приходится с ними считаться, поскольку товар должен быть продан потребителю. Общественная потребность в форме платежеспособного спроса оказывает воздействие на направление процесса производства; производитель вынужден изготовлять только такие продукты, на которые имеется спрос. Но, с другой стороны, необходимо помнить, что общественная потребность может оказывать такое воздействие лишь при том условии, если она принимает форму платежеспособного спроса, т. е. если потребитель может уплатить необходимый эквивалент (деньги), стоимость которого равна стоимости покупаемого им продукта. Маркс неоднократно подчеркивает, что, когда мы говорим о соответствии между производством и потребностями в капиталистическом обществе, речь идет отнюдь не об «абсолютных» потребностях или о «действительной» общественной потребности, а лишь о платежеспособной общественной потребности, представленной на рынке, т. е. о сумме общественного спроса.<sup>1</sup>

Эта платежеспособная общественная потребность, или общественный спрос, имеет определенный размер. Производство данного продукта должно не только удовлетворять общественной потребности вообще, но должно соответствовать определенному размеру этой общественной потребности, т. е. определенной сумме общественного спроса на данный продукт. «Потребительная стоимость известной массы определенных продуктов зависит от того, адекватна ли она количественно определенной общественной потребности в продукте каждого особого рода, и, следовательно, от того, пропорционально ли, в соответствии ли с этой общественной количественно-определенной потребностью распределен труд между различными сферами производства».<sup>2</sup> Общественная потребность, или общественный спрос, имеет определенную величину и именно этой своей количественно определенной величиной оказывает воздействие на направление процесса производства.

Не вносим ли мы в нашу экономическую теорию дуализм благодаря признанию этого воздействия спроса на характер процесса производства, не отказываемся ли мы от монистического принципа примата производства над потреблением? Правда, и в организованной общине мы видели непосредственное, прямое влияние характера потребления на характер производства, но там производство и потребление представляли собою акты единого процесса воспроизводства. Там потребление составляло лишь момент всего процесса производства, и вполне понятно, что между отдельными моментами последнего существовало взаимодействие. В капиталистическом же хозяйстве производство обособилось от потребления, общественные потребности приняли форму платежеспособного спроса, который как бы со стороны, в качестве внешней силы, воздействует на процесс производства. Однако вспомним, что внешнее обособление производства от потребления

<sup>1</sup> «Капитал», т. III, ч. 2-я, стр. 142.

<sup>2</sup> «Капитал», т. III, ч. 1-я, стр. 132, 138, 141; «Theorien», том II, ч. 2-я, стр. 296, 300.

не уничтожает и в капиталистическом хозяйстве их внутренней необходимой связи. Общественные потребности, принявшие форму общественного спроса, изменяются и развиваются в зависимости от изменения самого процесса производства. И в капиталистическом обществе производство в тесном смысле слова и потребление составляют лишь обособившиеся части единого процесса воспроизводства. Необходимая связь между ними сохраняется, хотя и через длинный ряд промежуточных звеньев, в первую очередь через посредство общественного спроса. Мы должны, следовательно, рассмотреть этот общественный спрос и показать, что он в своем движении обусловлен движением процесса производства.

На первый взгляд кажется, что спрос определяется потребностями и произволом отдельных лиц, выступающих в качестве покупателей. Но уже в «Нищете философии» (стр. 41) Маркс отметил неправильность такого представления о спросе: «Потребитель не более свободен, чем производитель. Его мнение основывается на его средствах и потребностях. И те, и другие определяются его общественным положением, которое зависит в свою очередь от общественной организации в ее целом. Конечно, и рабочий, покупающий картофель, и содержанка, покупающая кружева, следуют своему собственному мнению, но различие их мнений объясняется различием положений, занимаемых ими в обществе, а положения их являются продуктами общественной организации». Если мы будем рассматривать не спрос того или иного отдельного лица, а спрос значительной массы покупателей, то мы найдем в его движении известную закономерность. Спрос прямо или в конечном счете определяется состоянием процесса производства, а именно развитием производительных сил и характером производственных отношений, господствующих в данном обществе. В главе 10-й III тома «Капитала» Маркс подробно рассматривает зависимость общественного спроса от общественного производства.

Прежде всего необходимо указать, что сами размеры общественного спроса не являются заранее данными и фиксированными. Когда мы выше говорили, что производство каждого продукта должно соответствовать размерам общественной потребности в нем (или спросу), то мы принимали величину общественного спроса за данную, но сама-то эта величина, в свою очередь, требует объяснения. «Дело принимает такой вид, как будто на стороне спроса имеется определенная общественная потребность данных размеров, которая требует для своего покрытия наличности определенного количества продукта на рынке. Но количественная определенность этой потребности во всяком случае эластична и непостоянна. Она только кажется фиксированной. Если бы средства существования были *дешевле* или денежная заработная плата была *выше*, то рабочие покупали бы больше, и таким образом обнаружилась бы более значительная «общественная потребность» в данных сортах товаров».<sup>1</sup> Таким образом размеры общественного спроса.

<sup>1</sup> «Капитал», т. III, ч. 1-я, стр. 138. Курсив наш. — П. Р.



на данный продукт зависят, во-первых, от *цены* данного продукта и, во-вторых, от величины *доходов* покупателей. Но ведь цена продукта определяется его стоимостью, которая, в свою очередь, зависит от количества труда, необходимого для его производства, т. е. от развития производительности труда. С другой стороны, размеры дохода данной группы лиц зависят от классового положения, занимаемого ими в обществе, т. е. от характера производственных отношений, присущих данному способу производства. Следовательно, поскольку спрос зависит от цен и доходов, он определяется характером процесса производства. Правда, при данном уровне цен и доходов, спрос на определенный продукт может изменяться в зависимости от изменения потребности в нем, но сама-то эта потребность изменяется в зависимости от изменения условий жизни общества, зависящих в конечном счете от изменения процесса производства. Рассмотрим теперь подробнее зависимость размера спроса от каждого из перечисленных условий.

Остановимся прежде всего на влиянии *цены* продукта на размеры спроса. Маркс часто указывает, что величина спроса на данный продукт зависит от цены этого продукта, определяемой в свою очередь его стоимостью. «Расширение или сокращение рынка зависит от цены отдельного товара и находится в обратном отношении к повышению или падению этой цены».<sup>1</sup> Спрос «изменяется в направлении, противоположном ценам: повышается, когда падают эти последние, и наоборот».<sup>2</sup> «При падении рыночной стоимости общественная потребность (под которой здесь всегда разумеется платежеспособная потребность) в среднем расширяется и в известных границах может поглотить более значительные массы товаров. При повышении рыночной стоимости общественная потребность в товарах сокращается и поглощает меньшие массы их».<sup>3</sup>

Здесь читатель может поставить следующий вопрос: если цена товара определяет размеры спроса на него, то не существует ли здесь и обратной зависимости цены товара от размера спроса? Действительно, как всякому известно, цены на товары колеблются под влиянием колебания спроса на них; но спрос может оказать влияние лишь на рыночную цену товара, а не на его среднюю цену, которая зависит от его стоимости. В самом механизме товарного хозяйства действует регулятор, который посредством расширения и сокращения производства стремится устранить отклонение рыночных цен товаров от их стоимости (или цен производства). Каковы бы ни были размеры общественной потребности в данном продукте, — идет ли, например, речь о продукте массового потребления, на который предъявляют спрос миллионы покупателей, или же об изысканном предмете роскоши, который доступен лишь узкому кругу потребителей, — производство данного продукта имеет тенденцию устанавливаться как раз в таком размере, при котором его рыночные цены имеют центром своего тяготения

<sup>1</sup> Там же, стр. 71.   <sup>2</sup> Там же, стр. 140.   <sup>3</sup> Там же, стр. 131 — 132.

его стоимость (или цену производства в капиталистическом обществе). Именно потому, что капиталисту совершенно безразлично, какой продукт производить, потребительная стоимость продукта не может играть роли фактора, определяющего его стоимость. Не спрос влияет определяющим образом на стоимость продукта, а, наоборот, величина стоимости продукта определяет средние размеры спроса, существующего на этот продукт. «Если спрос и предложение определяют рыночные цены или, точнее, отклонение рыночных цен от рыночной стоимости, то, с другой стороны, рыночная стоимость регулирует отношения спроса и предложения».<sup>1</sup>

Теперь обратимся к вопросу о зависимости спроса от распределения *доходов* между разными общественными классами. Уже в «Нищете философии» (стр. 61) Маркс указал, что «потребление продуктов определяется социальными условиями, в которые поставлены потребители, а сами эти условия основаны на антагонизме классов». Только классовое деление капиталистического общества, построенного на антагонистической основе, может объяснить нам характер спроса и потребления, господствующего в нем. Еще резче подчеркнул Маркс эту мысль в «Капитале».<sup>2</sup> «Отметим здесь совсем мимоходом, что «общественная потребность», т. е. то, что регулирует принципы спроса, существенно обуславливается отношением различных классов друг к другу и их взаимным экономическим положением, а следовательно, во-первых, отношением всей прибавочной стоимости к заработной плате и, во-вторых, соотношением различных частей, на которые распадается прибавочная стоимость (прибыль, земельная рента, налоги и т. п.). Таким образом, здесь снова обнаруживается, что отношение спроса и предложения абсолютно ничего не в состоянии объяснить, пока не раскрыт базис, на котором покоится само это отношение».

Итак, общественная потребность в продуктах обуславливается прежде всего отношением прибавочной стоимости к заработной плате, т. е. распределительными отношениями, которые представляют лишь другую сторону производственных отношений капиталистического общества. Двухклассовый характер *доходов* (т. е. разделение вновь произведенной стоимости на заработную плату и прибавочную стоимость) имеет своим необходимым следствием двухклассовый характер *спроса и потребления*.

Начнем с характеристики потребления *рабочих* и спроса, предъявляемого ими на рынке. То обстоятельство, что в капиталистическом обществе класс рабочих лишен средств производства и получает доход в виде заработной платы, влияет определяющим образом на характер спроса, предъявляемого рабочими. Рабочие, во-первых, предъявляют спрос только на предметы потребления, а не на средства производства,<sup>3</sup> и, во-вторых, предъявляют спрос только на средства существования, необходимые для воспроизводства их рабочей силы. Потребление рабочих, а вместе с тем и предъявляемый ими на рынке спрос ограничены необходимыми средствами существования.

<sup>1</sup> Там же. <sup>2</sup> Там же, стр. 132. <sup>3</sup> «Theorien», т. II, ч. 2-я, стр. 299.

На первый взгляд может показаться, что как-раз в данном случае мы имеем яркий пример зависимости спроса от чисто естественных условий, коренящихся в физической природе человека. Можно подумать, что величина спроса рабочих определяется их «естественными» потребностями, удовлетворение которых абсолютно необходимо для поддержания жизни человека. Но эта граница так называемого физиологического минимума средств существования является только минимальной границей среднего размера спроса рабочих. В учении о стоимости рабочей силы Маркс предполагает, что средняя заработная плата определяется уровнем «необходимых» потребностей рабочих, которые превышают сумму «естественных» потребностей.<sup>1</sup> В качестве примера естественных потребностей Маркс перечисляет пищу, одежду, топливо, жилище, но, как было уже выяснено выше, самый способ удовлетворения этих естественных потребностей изменяется в различные исторические эпохи и, таким образом, носит социально обусловленный характер. Тем более относится это к «интеллектуальным и социальным потребностям, объем и количество которых определяется общим состоянием культуры».<sup>2</sup> «Размер так называемых необходимых потребностей, равно как и способы их удовлетворения сами представляют продукт истории и зависят по большей части от культурного уровня страны, между прочим и от того, при каких условиях, а следовательно, с какими привычками и притязаниями сформировался класс свободных рабочих».<sup>3</sup>

Не только характер потребностей рабочего класса определяется развитием условий жизни общества и, в последнем счете, его производительных сил, но даже степень удовлетворения, испытываемого рабочим от потребления того или иного продукта, зависит от окружающих его общественных условий. Маркс говорит об этом в известном месте из «Наемного труда и капитала»: «Несмотря на то, что доступные рабочему наслаждения возросли, доставляемое ими удовлетворение понизилось, ввиду увеличившихся, недоступных рабочему наслаждений капиталиста ввиду более высокой ступени общественного развития вообще. Наши потребности и наслаждения возникают из общества; поэтому мы прикладываем к ним общественную мерку, а не измеряем их самими предметами, служащими для их удовлетворения. Именно общественный характер наших потребностей и наслаждений делает их относительными».<sup>4</sup>

<sup>1</sup> «Капитал», т. I, стр. 113. — В других местах Маркс различает «естественные» и «исторически развившиеся жизненные потребности», «естественные и социальные потребности», «естественные и созданные обществом потребности» («Капитал», т. I, стр. 437, 463; «Критика», стр. 28). Иногда Маркс особо выделяет «интеллектуальные и социальные потребности» («Капитал», т. I, стр. 163).

<sup>2</sup> Там же, стр. 163. <sup>3</sup> Там же, стр. 113.

<sup>4</sup> *К. Маркс*, Собр. сочин., т. V, стр. 433. — Как видно из рукописи Маркса о заработной плате, впервые опубликованной Д. Б. Рязановым, Маркс заимствовал цитируемую нами мысль у Шербюлье. В указанной рукописи мы находим следующую цитату из сочинения Шербюлье: «Не столько абсолютное потребление рабочего, сколько его относительное потребление делает его положение счастливым или несчастным. За пределами необходимого потребления стоя-

Итак, доходы рабочего в капиталистическом обществе настолько ограничены, что дают ему возможность предъявлять спрос только на необходимые средства существования. С другой стороны, вспомним сказанное выше о влиянии цены данного продукта на размеры спроса, предъявляемого на него. Отсюда следует вывод, что рабочие предъявляют спрос почти исключительно на наиболее дешевые, а следовательно, и плохие предметы потребления. Это обстоятельство было с большой силой подчеркнуто Марксом в «Нищете философии». «Почему же хлопок, картофель и водка стали краеугольным камнем буржуазного общества? — Потому, что их производство требует наименьшего труда, и они имеют вследствие этого наименьшую цену». Характер потребления всецело зависит от условий производства продуктов. «Экономика победила; она продиктовала свои законы потреблению».<sup>1</sup>

Отсюда видно, в какой мере ошибочно говорить без дальнейших пояснений, что капиталистическое производство, как и всякое производство вообще, удовлетворяет общественные потребности. Эта формула верна лишь в том случае, если мы под последними будем понимать только те потребности, которые признаны капиталистическим обществом, т. е. которые могут предъявить платежеспособный спрос. Капиталистам нет никакого дела до того, что потребности широких народных масс удовлетворяются лишь в минимальной степени, а следовательно, огромная масса потребностей остается совершенно неудовлетворенною. Капиталистическое производство удовлетворяет лишь те потребности, которые выступают в форме платежеспособного спроса. Именно поэтому Маркс часто подчеркивал совершенно различный характер связи между производством и потреблением в обществе капиталистическом и социалистическом. «В будущем обществе, где исчезнет антагонизм классов, где не будет и самих классов, потребление не будет определяться *минимумом* времени, *необходимым* на производство, а, наоборот, количество времени, которое будут посвящать на производство различных предметов, будет определяться степенью их общественной полезности».<sup>2</sup>

Так как характер дохода, получаемого рабочими, определяет характер их потребления и спроса, предъявляемого ими на рынке, то вполне понятно, что с изменением заработной платы изменяется и потребление рабочих. Мы знаем учение Маркса о влиянии роста органического состава капитала и резервной армии на величину заработной платы. Мы знаем учение Маркса

мость нашего наслаждения по существу дела' относительна» (там же, стр. 540). Более подробно Маркс цитирует слова Шербюлье в «Теориях» (немецкое изд., т. III, стр. 447). Любопытно, что Маркс счел нужным выразить свое несогласие с Чернышевским, который придерживался противоположного мнения и писал: «Человек терпит или не терпит нужды, благосостоятелен или неблагосостоятелен не по сравнению с другими, а сам по себе. Масштаб тут дается природою человека». Против этих слов Чернышевского Маркс на полях его книги поставил вопросительный знак (см. «Архив К. Маркса и Ф. Энгельса», 1929 г., т. IV, стр. 386).

<sup>1</sup> «Нищета философии», стр. 61. <sup>2</sup> Там же, стр. 62, и примечание к ней.

о существующей в капиталистическом обществе тенденции к обнищанию рабочего класса. Само собою понятно, что эта общая закономерность движения заработной платы необходимо вызывает соответствующие изменения в потреблении рабочих.

Такие же изменения, но лишь временного характера, вызываются и временными изменениями размера заработной платы. Как известно, заработная плата испытывает колебания в ходе промышленного цикла: она поднимается в годы расцвета и падает в годы депрессии. Маркс внимательно отмечал влияние, которое ход конъюнктуры оказывает на потребление рабочих: он указывал, что в годы расцвета «повышается не только потребление необходимых средств существования: рабочий класс... на время принимает участие и в потреблении, вообще говоря, недоступных для него предметов роскоши». <sup>1</sup> Наоборот, в периоды депрессии заработная плата падает, а в результате сокращается потребление рабочих и спрос, предъявляемый ими на рынке. <sup>2</sup>

Как мы видим, характер спроса и потребления рабочих всецело обуславливается положением их в процессе производства, т. е. характером производственных отношений капиталистического общества. Во-первых, уровень необходимых потребностей рабочих определяется общими условиями жизни общества; во-вторых, классовое положение рабочих всецело определяет общую структуру спроса, предъявляемого ими на рынке: они предъявляют спрос лишь на необходимые средства существования; в-третьих, потребление рабочих зависит от уровня цен продуктов в том смысле, что рабочие предъявляют широкий спрос лишь на наиболее дешевые товары; в-четвертых, общая тенденция к уменьшению относительной доли рабочего класса в общественном продукте влияет определяющим образом на размеры спроса и потребления рабочих; в-пятых, наконец, временные колебания в размерах потребления и спроса рабочих определяются временными колебаниями заработной платы в ходе конъюнктуры.

От потребления рабочих переходим к потреблению капиталистов; пока мы будем говорить только об их личном потреблении. Личное потребление капиталистов носит совершенно иной характер, чем личное потребление рабочих, и это различие потребления непосредственно отражает различный характер и уровень их доходов. Капиталисты предъявляют спрос на другие продукты, чем рабочие. Во-первых, поскольку они потребляют необходимые средства существования (хлеб, мясо и т. д.), эти продукты обычно отличаются по своему качеству и стоимости от средств потребления рабочих. <sup>3</sup> Кроме того, капиталисты употребляют предметы роскоши, под которыми Маркс понимает здесь те продукты, которые входят лишь в потребление класса капиталистов. <sup>4</sup> Таким образом, Маркс различает три группы предметов потребления: 1) необходимые средства суще-

<sup>1</sup> «Капитал», т. II, стр. 296. <sup>2</sup> «Theorien», т. II, ч. 2-я, стр. 303. <sup>3</sup> «Капитал», т. II, стр. 290. <sup>4</sup> Там же.

ствования рабочих. 2) необходимые средства существования капиталистов, 3) предметы роскоши.<sup>1</sup> Интересно отметить, что в основу этой классификации предметов потребления Марксом положен классовый принцип включения тех или иных продуктов в потребительский бюджет того или иного класса общества.

Таким образом, характер доходов, получаемых капиталистами, накладывает свою печать на характер их потребления. Правда, в данном случае эта зависимость не носит столь непосредственного характера, как в потреблении рабочих. Между величиной заработной платы рабочего и размерами его потребления существует самая тесная связь, так как обычно почти вся заработная плата затрачивается рабочим на покупку средств существования. Капиталист же затрачивает на свое личное потребление только небольшую часть своей прибыли, остальную ее часть он накапливает в качестве капитала, т. е. затрачивает на покупку средств производства и рабочей силы. Поэтому личное потребление капиталиста зависит не только от общей суммы получаемой им прибыли, но и от того, в какой пропорции эта прибыль разделяется им между фондом личного потребления и фондом накопления. Однако и в данном случае мы можем заметить известную закономерность в поведении капиталистов, которое изменяется в зависимости от изменения общих условий капиталистического производства. В различные эпохи развития капитализма личное потребление капиталистов носило разный характер. «При возникновении капиталистического способа производства в истории... жажда обогащения и скупость господствуют как абсолютные страсти. Но прогресс капиталистического производства не только создает новый мир наслаждений; с развитием спекуляции и кредитного дела он открывает тысячи источников внезапного обогащения. На известной ступени развития определенный обычный уровень расточительности, являясь выставкой богатства и, следовательно, гарантией кредитоспособности, становится даже деловой необходимостью для «несчастливого» капиталиста. Роскошь входит в издержки представительства капитала... Правда, расточительность капиталиста никогда не приобретает того откровенного характера, как расточительность разгульного феодала, наоборот, в основе ее всегда таится самое грязное скряжничество и скрупулезная расчетливость; тем не менее, расточительность капиталиста возрастает с ростом его накопления, отнюдь не мешая последнему».<sup>2</sup> По мере развития капитализма потребление класса капиталистов увеличивается в огромной степени. Но ввиду того, что размеры получаемой ими прибыли увеличиваются еще быстрее, расходы на личное потребление занимают относительно все меньшую долю прибыли капиталистов. Таким образом, развитие потребления капиталистов обнаруживает известную закономерность, которая

<sup>1</sup> Там же, стр. 290, 296.

<sup>2</sup> «Капитал», т. I, стр. 467 — 468. Ср. о том же «Теории прибавочной стоимости», т. I, русск. изд. 1906 г., стр. 298.

определяется общими тенденциями развития капиталистического производства.

Если сумма предметов потребления и роскоши, достоящихся классу капиталистов, в общем имеет тенденцию к огромному возрастанию, то вместе с тем она обнаруживает известные временные колебания в зависимости от хода конъюнктуры. В периоды промышленного процветания возрастает потребление капиталистов и спрос, предъявляемый ими на рынке на предметы потребления, в частности на предметы роскоши.<sup>1</sup> Маркс предвосхитил новейшие исследования о влиянии хода конъюнктуры на размеры потребления как рабочих, так и капиталистов. Он тщательно отмечал периодическое расширение и сокращение процесса потребления, которое, в свою очередь, только отражает движение процесса производства.

Спрос капиталистов на предметы потребления составляет только ничтожную часть того спроса, который они вообще предъявляют на рынке. Огромную и все возрастающую часть своей прибыли капиталисты затрачивают не на личное потребление, а в качестве накапливаемого капитала. Они выступают на рынке в качестве покупателей средств производства и рабочей силы. Поскольку капиталист покупает рабочую силу, «спрос капиталиста на рабочую силу косвенно является в то же время спросом на средства потребления, входящие в потребление рабочего класса».<sup>2</sup> Но вместе с ростом органического состава капитала капиталист все большую часть накапливаемых им сумм тратит не на покупку рабочей силы, а на покупку средств производства, т. е. сырья и орудий труда. В капиталистическом обществе единственными покупателями средств производства являются капиталисты; предъявляемый ими спрос на средства производства составляет огромную часть всего спроса, предъявляемого на рынке.

Это обстоятельство необходимо для понимания всего характера капиталистического производства. Маркс уже в «Нищете философии» писал (стр. 42): «Чаще всего потребности вытекают прямо из производства или из порядка вещей, основанного на производстве. Почти все движение мировой торговли обуславливается влиянием потребностей не личного потребления, а производства». В капиталистическом обществе мы должны отметить два совершенно различных сорта потребителей: «индивидуальных потребителей», которые предъявляют спрос на средства потребления, и «производительных потребителей», которые предъявляют спрос на средства производства.<sup>3</sup> Если размеры спроса на средства потребления, как мы уже убедились выше, зависят от общих условий процесса производства, то тем в большей мере относится это к производительному спросу, т. е. к спросу на средства производства. Если капиталист покупает хлопок для переработки в хлопчатобумажную материю, то его потребность в хлопке носит уже совершенно

<sup>1</sup> «Капитал», т. II, стр. 221, 296; «Капитал», т. III, ч. 1-я, стр. 234, 348.

<sup>2</sup> «Капитал», т. II, стр. 70.

<sup>3</sup> Там же, стр. 316.

другой характер, чем потребность потребителя в продукте, удовлетворяющем его личные потребности. Капиталист покупает хлопок лишь постольку, поскольку операция его переработки обещает доставить ему прибыль. «Его потребность в хлопке существенно видоизменяется благодаря тому обстоятельству, что в действительности она прикрывает лишь его потребность в получении прибыли».<sup>1</sup> Спрос на средства производства зависит от условий процесса производства самым непосредственным образом, а не только косвенно, как это имело место в примере спроса на предметы личного потребления.

Так как спрос капиталистов на средства производства определяется стремлением капиталистов к прибыли, то он уже не является непосредственным отражением общественной потребности в предметах потребления. А так как, с другой стороны, размеры спроса на средства производства оказывают огромное воздействие на весь процесс производства, то последний становится в известной мере независимым от процесса потребления. Отсюда свойственная капитализму тенденция к расширению производства за пределы платежеспособного спроса, или платежеспособной общественной потребности. «Так как целью капитала является не удовлетворение потребностей, а производство прибыли, и так как эта цель достигается такими методами, при которых масса продуктов определяется размерами производства, а не наоборот, то постоянно должно возникать несоответствие между ограниченными размерами потребления на капиталистическом базисе и производством, которое постоянно стремится выйти за эти имманентные пределы».<sup>2</sup> «Производство ведется безотносительно к существующим границам потребления, а ограничено только самим капиталом».<sup>3</sup> Это стремление к расширению производства может реализоваться на практике благодаря тому, что большая часть прибыли накапливается и, следовательно, на рынке предъясняется новый спрос на средства производства. Иначе говоря, в капиталистическом хозяйстве производство в известных пределах само создает для себя рынок, так как расширение производства означает предъяснение спроса на средства производства, а этот вид спроса имеет огромное значение в капиталистическом обществе.

Огромное и все возрастающее значение производительного спроса делает размер производства в высшей степени эластичным и в известных пределах независимым от общественных потребностей в узком смысле слова, т. е. от наличного состояния платежеспособного спроса на предметы потребления. Однако это верно лишь в известных пределах, так как в конечном счете средства производства предназначены именно для того, чтобы создавать средства потребления. Размеры производительного спроса в первое время независимы от потребления, но в конечном счете все же ограничены личным потреблением, потому что производство постоянного капитала никогда не

<sup>1</sup> «Капитал», т. III, ч. 1-я, стр. 138.   <sup>2</sup> Там же, стр. 194.

<sup>3</sup> «Theorien», т. II, ч. 2-я, стр. 299.



совершается ради него самого, а в конечном счете вызывает производство предметов потребления.<sup>1</sup> Правда, процесс воспроизводства до известных границ может совершаться в прежнем или даже расширенном масштабе, хотя выброшенные из него товары в действительности не перешли в сферу личного или производительного потребления.<sup>2</sup> Но в конечном счете дальнейшая возможность расширения производства наталкивается на границы, установленные низким уровнем потребления народных масс. В капиталистическом обществе антагонистические отношения распределения «сводят потребление огромной массы общества к минимуму, изменяющемуся лишь в более или менее узких границах».<sup>3</sup> Поэтому «чем больше развивается производительная сила, тем более впадает она в противоречие с тем узким базисом, на котором покоится потребление».<sup>4</sup> Относительная независимость производства от потребления, обусловленная стремлением капиталистов к безграничному расширению производства и все возрастающую ролью производительного спроса, все же имеет место лишь в определенных пределах; при выходе за эти пределы обнаруживается внутренняя, необходимая связь производства с потреблением, и разражается кризис.

Мы можем теперь подвести итоги нашим рассуждениям о связи между производством и потреблением в капиталистическом хозяйстве. В первых главах мы выяснили общее учение Маркса о связи между производством и потреблением. Мы видели, что оба эти момента процесса воспроизводства взаимно проникают друг друга: производство направлено на изготовление продуктов, служащих для потребления, а последнее в свою очередь изменяется в зависимости от изменения самого процесса производства.

Уже в простом товарном хозяйстве связь между производством и потреблением становится более длинной и сложной. Производство не имеет своей целью непосредственное удовлетворение потребностей производителя. Последний производит продукт не ради потребительной, а ради меновой стоимости. Тем не менее, тесная связь между производством и потреблением сохраняется. С одной стороны, производителю хорошо известен традиционный и медленно изменяющийся размер спроса, предъявляемого на производимые им продукты, следовательно, потребности покупателей, выражающиеся в предъявляемом ими спросе, заранее принимаются во внимание и учитываются производителем. С другой стороны, при простом товарном хозяйстве, в котором отсутствует деление классов и классовая эксплуатация, выгоды от роста производительности труда достаются самому производителю. Рост производительности труда и возрастание количества продуктов, служащих для удовлетворения человеческих потребностей, вызывают рост потребностей и потребления членов общества. Развитие производства сопровождается ростом потребления.

Дальнейшее обособление производства от потребления имеет место

<sup>1</sup> «Капитал», т. III, ч. 1-я, стр. 234. <sup>2</sup> «Капитал», т. II, стр. 38. <sup>3</sup> «Капитал», т. III, ч. 1-я, стр. 184. <sup>4</sup> Там же.

в капиталистическом хозяйстве, где целью капиталиста является получение прибыли. Капиталист производит не для удовлетворения потребностей членов общества, а для удовлетворения платежеспособного спроса. Спрос, предъявляемый на рынке на средства потребления, носит ярко выраженный классовый характер и обуславливается распределением общественного дохода между разными классами общества. Доходы рабочего класса остаются на крайне низком уровне и на таком же уровне остается спрос, предъявляемый рабочими на средства потребления. Потребности широких народных масс не являются движущей целью, направляющей производство. С другой стороны, колоссальное возрастание производительности труда и размеров общественного богатства не сопровождается соответствующим возрастанием потребления рабочего класса. Если в хозяйстве патриархальной [семьи или социалистической общины непосредственно действует закон, в силу которого потребности развиваются «вместе со средствами их удовлетворения и в непосредственной зависимости от развития этих последних»,<sup>1</sup> то в капиталистическом хозяйстве этот закон проявляется в модифицированном виде. Рост производительности труда и колоссальное возрастание общественного богатства не вызывают, — а в лучшем случае вызывают лишь в ничтожной степени, — возрастание размеров потребления рабочего класса. «Мы не можем представить себе капитализма без противоречия между производством и потреблением, без того, чтобы гигантский рост производства не совмещался с крайне слабым ростом (или даже застоем и ухудшением) народного потребления».<sup>2</sup> Эта особенность капиталистического хозяйства была уже, как мы видели, отмечена Марксом в его ранних подготовительных работах к «Святому семейству». Но там Маркс, находившийся еще под влиянием идей утопического социализма, резко противопоставлял «естественный» закон роста человеческих потребностей «противоестественному» закону деградации рабочего класса в условиях капиталистического хозяйства. Теперь же Маркс вскрывает диалектическое противоречие обоих законов: общего закона возрастания потребностей по мере развития производства и присущего капиталистическому хозяйству закона, который держит потребление рабочих на низком уровне, несмотря на гигантский рост производительности труда. Маркс вскрывает весь механизм капиталистического хозяйства, в котором возрастание производительности общественного труда, сопровождаемое ростом органического состава капитала и резервной армии, не влечет за собою повышения потребления и благосостояния рабочего класса. «Теория Маркса показала, как осуществляется то присущее капитализму противоречие, что громадный рост производительных сил не сопровождается соответствующим ростом народного потребления».<sup>3</sup>

Общий закон, согласно которому возрастание производства сопровож-

<sup>1</sup> «Капитал», т. I, стр. 397 — 398.

<sup>2</sup> Ленин, Сочинения, т. II, 1923 г., стр. 499.

<sup>3</sup> Там же, стр. 491.

ждается ростом потребностей, значительно усложняется и модифицируется в капиталистическом хозяйстве, но в конечном счете все же продолжает оказывать свое действие. Рост производительности труда вызывает понижение стоимости различных предметов потребления, делая их тем самым доступными и рабочим массам. Правда, даже в этом лучшем случае лишь ничтожная часть выгоды, доставляемой ростом производительности общественного труда, достается рабочему классу; даже в этом, наиболее благоприятном для рабочих случае повышается сумма продуктов в натуре, достоящихся рабочему, а не сумма получаемых им стоимостей. Таким образом, возрастание производительности труда может оказывать действие на размер потребления рабочих лишь в очень ограниченной степени и косвенным путем (через понижение стоимости продуктов).

Если возрастание размеров производства и общественного богатства оказывает лишь косвенное влияние на размеры *потребления* рабочих, то более значительное влияние оно оказывает на развитие *потребностей* рабочих. Самый факт колоссального роста общественного богатства, сопровождающийся огромным повышением благосостояния и уровня личного потребления капиталистов и близких к ним групп населения, не может не вызывать роста потребностей рабочих, как это отметил уже Маркс в работе «Наемный труд и капитал». Расхождение между потребностями рабочих и средствами к их удовлетворению приобретает все более острый характер.

В условиях капиталистического хозяйства рост производства, помимо своего косвенного и ограниченного влияния на размеры потребления рабочих, оказывает также непосредственное влияние, а именно: 1) сопровождается огромным ростом личного потребления класса капиталистов и близких к ним групп населения, 2) вызывает огромное увеличение спроса капиталистов на средства производства. Значительная часть прибыли накапливается в виде капитала и употребляется, — за вычетом сумм, необходимых для покупки рабочей силы, — на покупку средств производства. Само производство отчасти создает для себя рынок, и расширение его вызывает огромное увеличение спроса на средства производства даже при стационарном, понижающемся или медленно повышающемся уровне личного потребления рабочих масс. Рост этого спроса на средства производства делает капиталистическое производство относительно независимым от узкого базиса личного потребления рабочих масс. Однако эта независимость носит лишь временный и относительный характер. Возрастание спроса на средства производства равносильно дальнейшему увеличению самого же процесса производства. Следовательно, возрастание производительного спроса, делая производство на время независимым от размеров личного потребления, в конечном счете лишь обостряет противоречие между колоссальным развитием производительных сил и теми «условиями распределения и потребления», в которых оно происходит; это противоречие периодически находит свое выражение в острых кризисах, а в конечном счете приводит к необходимости социальной революции.

Как видим, в капиталистическом обществе связь между производством и потреблением носит очень сложный и запутанный характер. Потребление воздействует на производство лишь через посредство платежеспособного спроса. Для понимания же характера спроса в капиталистическом обществе мы должны обратить усиленное внимание: 1) на распределение *доходов* между различными классами общества, обуславливающее размер предъявляемого ими спроса на товары, и 2) на огромное значение спроса на *средства производства*. Именно эти два обстоятельства, существенно влияющие на всю структуру спроса в капиталистическом обществе, Маркс усиленно подчеркивает в своих рассуждениях. «При простой купле и продаже достаточно, чтобы производители товаров, как таковые, противостояли друг другу. Спрос и предложение при дальнейшем анализе предполагают существование различных классов и подразделений классов, которые распределяют между собою весь доход общества и потребляют его как доход, которые, следовательно, предъявляют спрос, определяемый этим доходом; между тем, с другой стороны, для понимания тех спроса и предложения, которые создают между собою производители как таковые, необходимо уяснить себе всю систему капиталистического процесса производства в целом».<sup>1</sup> Наряду с этими двумя важнейшими обстоятельствами, определяющими структуру спроса в капиталистическом обществе, в последнем действует целый ряд других условий, которые еще более усложняют и запутывают связь между производством и потреблением. Достаточно упомянуть хотя бы о роли потребления непродуцируемых групп населения или об огромном возрастании торгового аппарата, который удлиняет путь от производителя к потребителю.

На первый взгляд может показаться, что в капиталистическом обществе производство и потребление совершенно обособлены и независимы друг от друга. Производство ведется не для удовлетворения потребностей членов общества, а для получения прибыли; оно в значительной мере независимо от размеров личного потребления и направлено в большей степени на удовлетворение производительного спроса, т. е., на расширение самого же процесса производства. С другой стороны, и потребление народных масс не изменяется непосредственно под влиянием роста процесса производства и общественного богатства. Однако обособление производства от потребления не уничтожает их внутренней связи. С одной стороны, производство в конечном счете сдерживается узкими рамками, которые ему ставятся «условиями распределения и потребления»; с другой стороны, потребление составляет момент всего процесса воспроизводства, либо непосредственно вытекающий из потребностей процесса производства (спрос на средства производства), либо же обусловленный распределительными отношениями и в первую очередь уровнем заработной платы (спрос рабочих на предметы личного потребления).

<sup>1</sup> «Капитал», т. III, ч. 1-я, стр. 143.

## ГЛАВА III

ПОТРЕБИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ И ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ  
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ*1) Входит ли потребительная стоимость в область исследования  
политической экономики?*

Мы должны теперь поставить вопрос, в какой мере потребительная стоимость изучается политической экономией. Как нам уже известно, критики Маркса часто бросают ему упрек в игнорировании потребительной стоимости. Разбор сочинений Маркса убедил нас уже в том, что процесс потребления Марксом никоим образом не игнорировался, но рассматривался как один из моментов процесса воспроизводства в целом. Теперь нам нужно ответить на вопрос, в какой же мере потребительная стоимость принимается во внимание экономистом при исследовании процесса производства.

Капиталистический процесс производства есть единство процесса труда (т. е. процесса производства потребительных стоимостей) и процесса производства и возрастания стоимости. Политическая экономия делает специальным предметом своего исследования последнюю сторону процесса производства, т. е. процесс производства и возрастания стоимости. Но процесс возрастания стоимости представляет собою ту форму, в которой происходит процесс производства продуктов или потребительных стоимостей. Поэтому и последний процесс всегда присутствует в нашем исследовании, но не как самостоятельный объект анализа в данной науке, а как другая сторона единого процесса воспроизводства, который изучается нами как «общественный строй производства» (Ленин). Отсюда следует, что потребительная стоимость привлекается в круг нашего исследования лишь постольку, поскольку это необходимо для понимания процесса производства и возрастания стоимости.

Маркс неоднократно подчеркивал, что потребительная стоимость не составляет самостоятельного предмета исследования в теоретической экономике. На первых же страницах «Критики» он указывал, что потребительная стоимость как таковая, т. е. в своем безразличии к определению экономической формы, лежит вне круга исследования политической экономики.<sup>1</sup> Об этом же Маркс говорил в своем письме к Энгельсу от 2 апреля 1858 г., в котором он излагал ему содержание «Критики». В этом письме мы читаем: «Потребительная стоимость, — рассматриваемая субъективно, в виде полезности труда, или объективно, в виде полезности продукта, — является здесь лишь вещественной предпосылкой стоимости, предпосылкой, которая временно совершенно выпадает из определения экономической

<sup>1</sup> «Критика», стр. 60.

формы».<sup>1</sup> Эти слова Маркса показывают, что, во-первых, потребительная стоимость не представляет самостоятельного объекта исследования теоретической экономии и, во-вторых, должна приниматься во внимание, поскольку это необходимо для исследования «определений экономической формы», т. е. производственных отношений людей. Рассмотрим теперь на ряде примеров, в какой мере Маркс в своем исследовании принимает во внимание потребительную стоимость товаров.

Как мы уже видели в главе II (раздел 2), Маркс в начале своего исследования рассматривает меновую стоимость отдельно и совершенно независимо от потребительной стоимости, чтобы после этого изучить условия их совместного существования в товаре. Здесь, в учении о противоречии между меновой стоимостью и потребительной стоимостью, наличие последней Марксом все время предполагается и принимается во внимание. Мы не поймем законов движения стоимости (например, учения о формах стоимости, учения о раздвоении товара на товар и деньги), если упустим из виду, что меновая стоимость есть только одна сторона товара, который с другой стороны выступает как потребительная стоимость. Но отсюда никоим образом не следует, что Маркс занимается исследованием потребительной стоимости. Маркс ограничивается здесь предположением, что товар является не только меновой стоимостью, но и потребительной стоимостью. Это предположение является уже достаточным для целей его исследования.

От анализа отдельного товара, как единства стоимости и потребительной стоимости, Маркс переходит к действительному процессу обмена товаров, т. е. к товарному обращению в форме Т—Д—Т. Маркс подчеркивает, что этот кругооборот товаров изучается им как процесс «перемены форм» (Formwechsel) товаров, а не как процесс общественного «обмена веществ» (Stoffwechsel). По словам Маркса, экономисты не могли правильно понять кругооборота Т—Д—Т именно потому, что обращали внимание на его вещественную сторону и упускали из вида процесс, касающийся самой формы товара<sup>2</sup>.

Значит ли это, что Маркс игнорировал в своем исследовании тот «обмен веществ», который протекает в виде «перемены форм» Т—Д—Т? — Конечно, такое предположение было бы ложным. Если бы мы игнорировали общественный обмен веществ, мы не могли бы понять и того процесса перемены форм, который его обслуживает. Действительно, чтобы понять движение товара в кругообороте Т—Д—Т, мы должны принять во внимание, что речь идет о продукте, который произведен товаропроизводителем для продажи и должен служить непосредственным предметом потребления не для самого производителя, а для другого лица, т. е. для покупателя. Мы не поймем первого метаморфоза товара Т—Д, если забудем,

<sup>1</sup> *Marx u. Engels, Briefwechsel*, В. III, S. 266. (Русский перевод в Собр. соч. Маркса и Энгельса, т. XXII, стр. 327.)

<sup>2</sup> «Капитал», т. I, стр. 57.

что продукт прodelывает определенный путь от производителя к потребителю. Словом, чтобы понять кругооборот  $T—D—T$  со стороны его общественной формы, мы должны все время помнить другую сторону этого же кругооборота, т. е. процесс движения продуктов или потребительных стоимостей от производителя к потребителю. Но последний процесс присутствует в нашем исследовании не как самостоятельный предмет анализа, а лишь как другая сторона единого процесса товарного производства и обращения.

До сих пор Маркс предполагал, что товар, — рассматриваемый либо как отдельный товар, либо в движении кругооборота  $T—D—T$ , — обладает потребительной стоимостью. Но если мы перейдем к исследованию всей товарной массы, произведенной в данной отрасли производства, то уже недостаточным является предположение, что отдельные экземпляры этой товарной массы представляют собою потребительные стоимости. Мы должны также предположить, что вся эта товарная масса в целом с количественной стороны соответствует общественной потребности, т. е. платежеспособному спросу, в товарах данного рода. Здесь мы предполагаем уже не только существование потребительной стоимости, но и наличие «потребительной стоимости в общественном масштабе», т. е. количественно определенной общественной потребности. «Общественная потребность, т. е. потребительная стоимость в общественном масштабе, — вот что определяет здесь количества всего общественного рабочего времени, приходящиеся на различные особые сферы производства».<sup>1</sup> Однако было бы ошибочно думать, что Маркс делает здесь предметом своего специального исследования определенный, конкретный характер этой общественной потребности. Маркс ограничивается общим предположением, что общественная потребность в каждом роде продуктов имеет количественно определенный характер. Этого предположения вполне достаточно для понимания условий процесса воспроизводства в целом, и дальнейшее исследование конкретной структуры общественных потребностей у Маркса отсутствует. И здесь, как в других местах, процесс потребления продуктов принимается во внимание лишь как момент процесса общественного воспроизводства, т. е. поскольку структура общественных потребностей определяется условиями процесса производства (см. выше, главу II, раздел 3) и, с другой стороны, сама воздействует на последний.

В приведенных выше примерах Маркс принимал во внимание потребительную стоимость, поскольку он должен был исходить из некоторых общих предпосылок, касающихся процесса потребления. Но определенная потребительная стоимость продуктов имеет большое значение и для самого процесса непосредственного производства. Поэтому и при исследовании последнего она принимается Марксом во внимание, поскольку ему необходимо осветить техническую сторону процесса производства. Приведем несколько примеров.

<sup>1</sup> «Капитал», т. III, ч. 2-я, стр. 142.

Мы не пойдем деления капитала на две различные формы (постоянного и переменного капитала), если упустим из виду, что первый затрачивается на покупку мертвых средств производства, а последний — на покупку живой рабочей силы. Следовательно, в основе этих двух различных форм капитала лежит вещественное различие элементов, необходимых для технического процесса производства. Поэтому при исследовании постоянного и переменного капитала все время принимается во внимание та специфическая вещественная форма, которая отличает друг от друга различные элементы производства. Но вместе с тем было бы в высшей степени ошибочным отождествлять различие между постоянным и переменным капиталами с вещественным или техническим различием между средствами производства и рабочей силой. Маркс решительно высказывался против вульгарных экономистов, которые видели разницу между отдельными частями капитала лишь в том, что они служат «для оплаты материально отличного элемента производства». Маркс же видит эту разницу в общественной функции постоянного и переменного капиталов, в их различной функциональной роли в процессе увеличения стоимости.<sup>1</sup> Техническое различие элементов производства не подвергается Марксом специальному анализу, а принимается во внимание лишь постольку, поскольку это необходимо для понимания деления капитала на постоянный и переменный.

Такое же соотношение между стоимостью и потребительной стоимостью мы найдем в учении Маркса об основном и оборотном капитале. И это деление капитала имеет своею основой различие в техническом функционировании различных элементов производства. Текстильная машина изнашивается медленно и служит в течение многих лет, между тем как хлопок перерабатывается в течение одного периода производства. Эти технические различия служат тою основой, на которой вырастает экономическое различие между основным и оборотным капиталами. Но опять-таки и в данном пункте Маркс решительно возражает против экономистов, которые приписывают различию между основным и оборотным капиталами технический, а не экономический характер. С точки зрения Маркса различие между основным и оборотным капиталами заключается в различном способе перехода их *стоимостей* на продукт.<sup>2</sup> Что же касается тех технических различий, которые вытекают из специфической природы потребительных стоимостей хлопка и машины и из различных условий функционирования их в процессе труда, то они не подвергаются Марксом специальному анализу.

На основе своего учения о постоянном и переменном капитале Маркс построил учение об органическом составе капитала. И здесь мы можем ясно проследить, каким именно образом Маркс связывает стоимость с потребительной стоимостью. Органический состав капитала есть состав капитала *по*

<sup>1</sup> Там же, ч. 1-я, стр. 7.

<sup>2</sup> «Капитал», т. II, стр. 131.



стоимости; но стоимостный состав капитала рассматривается как органический состав капитала лишь в том случае, если он отражает технический состав капитала, т. е. соотношение между количествами живого труда и мертвых средств производства. Органический состав капитала вырастает на основе его технического состава, но не совпадает с последним. Предметом своего специального исследования Маркс делает именно органический состав капитала и закономерность его изменений. Конечно, мы не сможем вскрыть эту закономерность (например, закон повышения органического состава капитала), если не обратим внимания на процессы, совершающиеся в техническом процессе производства и вызывающие возрастание технического состава капитала (т. е. возрастание количества мертвых средств производства за счет живого труда). В высшей степени интересно проследить, как именно Маркс привлекает в свое исследование факт возрастания технического состава капитала. Он кратко указывает, что в результате роста производительности труда все больше возрастает количество сырья и машин, приходящихся на одного рабочего. Не исследуя детально этого процесса, Маркс лишь кратко останавливается на нем, поскольку это необходимо для понимания вытекающих отсюда важнейших экономических явлений, например возрастания органического состава капитала, вытеснения рабочих машинами, образования резервной армии и т. д. Если бы Маркс сделал специальным предметом своего исследования возрастание технического состава капитала, он должен был бы дать нам огромный технологический материал, иллюстрирующий процесс вытеснения живого труда мертвым в различных отраслях производства. Он этого не делает, так как возрастание технического состава капитала привлекается им в исследование лишь постольку, поскольку это необходимо для познания закономерности развития органического состава капитала.

Итак, Маркс не делает потребительную стоимость специальным предметом своего исследования, но принимает ее во внимание как в своих замечаниях о процессе потребления, так и в своем исследовании процесса производства. Тем более должен Маркс уделить внимание потребительной стоимости в своем учении о процессе воспроизводства, изложенном во II томе «Капитала». «Процесс воспроизводства, как целое, в такой же мере включает в себе процесс потребления, обслуживаемый обращением, как и собственно процесс воспроизводства капитала».<sup>1</sup> При исследовании этого процесса воспроизводства в целом уже нельзя ограничиться предположением, что товар имеет потребительную стоимость; для того чтобы процесс общественного воспроизводства мог совершаться беспрепятственно, требуется, чтобы общественный продукт заключал в себе несколько подразделений продуктов, отличающихся различною натуральною формою или потребительною стоимостью. Со стороны своей натуральной формы общественный продукт делится, прежде всего, на два больших подразделения:

<sup>1</sup> Там же, стр. 282.

1) средства производства и 2) средства потребления; последняя группа продуктов, в свою очередь, может быть подразделена на две подгруппы, отличающиеся различной натуральной формой: 1) средства потребления рабочих и 2) средства потребления капиталистов. Поэтому при изучении общественного воспроизводства в целом необходимо рассматривать не только процесс воспроизводства *стоимости* и *капитала*, но и процесс воспроизводства *продукта в натуре*. «Продукт индивидуального капитала... может иметь какую-угодно натуральную форму. Единственное условие заключается в том, чтобы он действительно имел потребительную форму, потребительную стоимость, которая накладывает на него отпечаток как на члена, способного к обращению в мире товаров... Иначе обстоит дело с продуктом всего общественного капитала. Все вещественные элементы воспроизводства в своей натуральной форме должны послужить частями этого самого продукта».<sup>1</sup> Этим объясняется, что Маркс во II томе «Капитала» не только исследует процесс воспроизводства составных частей капитала и прибавочной стоимости (*c*, *v*, *m*), но и принимает во внимание воспроизводство продукта в натуре (средства производства, средства потребления рабочих, средства потребления капиталистов).

Конечно, и во II томе «Капитала» Маркс исследует непосредственно процесс воспроизводства *капитала*, а не процесс воспроизводства *продуктов*, но так как для воспроизводства капитала необходимо наличие определенных продуктов в натуре (например, средств производства, средств потребления для рабочих и т. д.), то процесс производства последних должен быть нами принят во внимание. И действительно, процесс этот привлекается Марксом в исследование, поскольку это необходимо для понимания процесса воспроизводства капитала. Например, нам известно, что в стоимости общественного продукта должна быть воспроизведена стоимость переменного капитала. Но переменный капитал затрачивается в виде заработной платы на покупку рабочей силы; заработная же плата расходуется рабочими на покупку средств потребления. Следовательно, из самой социальной природы переменного капитала вытекает необходимость наличия в общественном продукте количественно определенных частей, имеющих натуральную форму средств потребления для рабочих. Наличие таких частей и предполагается Марксом. Этим предположением Маркс в данном пункте и ограничивается, не считая нужным подвергать специальному анализу ту конкретную натуральную форму, которую имеет группа средств потребления рабочих.

Таким образом, в своих схемах воспроизводства Маркс никоим образом не занимается детальным анализом общественного продукта со стороны его натуральной формы или потребительной стоимости. Из сферы процесса производства потребительных стоимостей Маркс заимствует лишь несколько общих условий, связанных с процессом воспроизводства капитала; эти ус-

<sup>1</sup> Там же, стр. 313 — 314.

ловия привлекаются им в исследование, поскольку это необходимо для понимания общественного строя процесса воспроизводства. И именно такого рода формулировки мы находим у Маркса в связи с его теорией воспроизводства. Как раз в применении к последней Маркс говорит, что «здесь мы имеем опять пример важности определения потребительной стоимости для определений экономической формы».<sup>1</sup> Почти в тех же словах Маркс выражает эту же мысль в другом месте: «При исследовании прибавочной стоимости как таковой натуральная форма продукта, т. е. прибавочного продукта, безразлична. При исследовании же действительного процесса воспроизводства она приобретает важность частью, чтобы понять самые формы этого процесса, частью же, чтобы понять влияние, оказываемое производством предметов роскоши и т. п. на воспроизводство. Здесь мы опять имеем пример того, что потребительная стоимость, как таковая, приобретает экономическое значение».<sup>2</sup> Как ясно видно из этих формулировок Маркса, потребительная стоимость принимается во внимание постольку, поскольку она имеет значение для изучения «определений экономической формы», т. е. производственных отношений людей.

Этим объясняется то обстоятельство, что Маркс и Энгельс не включали условия потребления в предмет исследования политической экономии, хотя, как мы уже неоднократно убеждались, никоим образом не игнорировали процесса потребления. В своем «Введении к Критике политической экономии» Маркс проводит ту мысль, что процесс воспроизводства включает в себя производство, обмен, распределение и потребление как свои подчиненные моменты. Читатель мог бы подумать, что процесс потребления должен быть включен в предмет исследования политической экономии на равных началах с процессами обмена и распределения. С таким мнением нельзя согласиться. Прямые указания на этот счет мы находим как у Маркса, так и у Энгельса. В предисловии к I тому «Капитала» Маркс писал: «Предметом моего исследования в настоящей работе является капиталистический способ производства и соответствующие ему отношения *производства и обмена*». О процессе потребления здесь нет речи. Правда, Маркс не упоминает и отношений распределения, но если мы вспомним, что распределительные отношения представляют собою лишь другую сторону производственных отношений, то необходимость включения их в предмет исследования политической экономии станет очевидной. И действительно, прямые указания на этот счет мы находим у Энгельса в «Анти-Дюринге»: Политическая экономия в широком смысле слова определена Энгельсом как «наука об условиях и формах *производства и обмена* продуктов в различных человеческих обществах и о соответствующих способах *распределения* этих продуктов». <sup>3</sup> И в данной формуле, подробно перечисляющей различные стороны предмета исследования политической экономии, процесс потребления

<sup>1</sup> «Theorien», т. II, ч. 2-я, стр. 258.

<sup>2</sup> «Theorien», т. III, стр. 298.

<sup>3</sup> Энгельс, Анти-Дюринг, стр. 138.

не включен в последний.<sup>1</sup> Процесс потребления не составляет непосредственного предмета анализа в марксовой политической экономии, а принимается во внимание лишь постольку, поскольку это необходимо для познания капиталистического процесса воспроизводства в его целом, с соответствующими ему отношениями производства, обмена и распределения.

## 2) Формальная потребительная стоимость

Наряду с потребительной стоимостью в тесном смысле слова, мы встречаем в учении Маркса это же понятие, употребляемое в другом смысле. Если в начале «Капитала» Маркс указывает, что в капиталистическом обществе потребительная стоимость приобретает особую общественную форму меновой стоимости и таким образом становится товаром, то совсем другое он имеет в виду, когда говорит, например, о потребительной стоимости денег (именно как денег, а не как металла). В этом случае уже не потребительная стоимость приобретает особую общественную форму (это имеет силу лишь для потребительной стоимости металла, из которого изготовлены деньги, а не для самих денег), а сама *общественная форма* данного предмета приобретает для товаропроизводителя особую *потребительную стоимость* благодаря тому, что она дает ему возможность обменять данный предмет на любой другой. В этом случае потребительная стоимость зависит не от натуральных свойств предмета, а представляет собою общественное свойство, всецело порожденное общественной формой хозяйства, т. е. характером господствующих в нем производственных отношений между людьми.

На второй странице «Критики политической экономии» мы встречаем следующую туманную фразу: «Потребительная стоимость в этом своем безразличии к экономическому определению формы, т. е. потребительная стоимость как потребительная стоимость, находится вне области исследования политической экономии. К области последней потребительная стоимость принадлежит лишь тогда, когда она сама есть определение формы».<sup>2</sup> Эта фраза на первый взгляд кажется столь туманною и непонятною, что П. Румянцев, первый переводчик «Критики», счел нужным перевести ее следующим образом: «К области последней она [потребительная стоимость] принадлежит лишь постольку, поскольку она сама *определяет* экономические формы». Сама по себе мысль, выраженная П. Румянцевым, не может вызывать особых возражений. Действительно, в тех случаях, когда потребительная стоимость влияет определяющим образом на экономические формы, она должна быть нами исследована в целях правильного познания этих экономических форм. Но дело-то в том, что как-раз в данном месте Маркс говорит совсем не об этом. Как это видно из буквального текста

<sup>1</sup> Нам могут возразить, что в приведенной формулировке Энгельс говорит о политической экономии в широком, а не в узком смысле слова. Но как-раз в данном пункте он не проводит между ними различия.

<sup>2</sup> «Критика», стр. 60.

его фразы, он говорит не о потребительной стоимости, которая *определяет* экономические формы, а о потребительной стоимости, которая *«сама есть* определение формы».

На первый взгляд эта фраза кажется очень темною, но она вполне разъясняется, если мы обратимся к стр. 84 — 85 «Критики», где Маркс говорит о потребительной стоимости денег: «Последняя [т. е. потребительная стоимость всеобщего эквивалента] сама представляет собою *определенность формы*, т. е. она вытекает из той специфической роли, которую этот товар играет благодаря всестороннему действию на него других товаров в процессе обмена» (курсив наш. — И. Р.). Очевидно, что уже на второй странице «Критики» Маркс под потребительной стоимостью, которая сама «есть определение формы», имел в виду потребительную стоимость денег, которая обусловлена не натуральными свойствами металла, из которого сделаны деньги, а общественной функцией последних. Так как *эта* потребительная стоимость не является потребительною стоимостью в тесном смысле слова, т. е. обусловленной натуральными свойствами продукта, а представляет собою общественную форму вещи, выражающую производственные отношения между людьми, то она является непосредственным предметом исследования политической экономии.

Понятие потребительной стоимости в расширительном, чисто общественном смысле употребляется Марксом не только в применении к деньгам; в том же смысле он говорит о потребительной стоимости рабочей силы, о потребительной стоимости ссужаемого денежного капитала. Понятие потребительной стоимости во всех этих случаях имеет чисто общественный характер и употребляется Марксом в особом смысле, в каком оно совершенно не встречается в сочинениях буржуазных экономистов. Мы должны поэтому выяснить данное понятие и отметить те важнейшие случаи, когда оно употребляется Марксом.

#### *а) Потребительная стоимость денег*

Выше мы уже видели, что само производство продуктов для обмена вызывает «разделение между полезностью вещи для непосредственного потребления и полезностью ее для обмена». <sup>1</sup> Вещь, помимо своей непосредственной полезности в качестве предмета потребления, приобретает для ее владельца особую полезность, заключающуюся в ее способности к обмену на другие необходимые ему продукты. Если производитель производит продукт исключительно для продажи, то, в сущности говоря, только меновая стоимость этого продукта представляет для него полезность. «Для владельца вся его непосредственная потребительная стоимость заключается лишь в том, что он есть носитель меновой стоимости и, следовательно, средство обмена». <sup>2</sup> В этой фразе ярко проявляется диалектический ход мысли Маркса. Если в условиях товарного хозяйства потребительная

<sup>1</sup> «Капитал», т. I, стр. 44. <sup>2</sup> Там же, стр. 42.

стоимость приобретает характер меновой стоимости, то и обратно: меновая стоимость продукта приобретает для его владельца особую полезность или потребительную стоимость, давая ему возможность получить в обмен за данный продукт необходимые ему средства потребления.

С выделением всеобщего эквивалента из среды всех других товаров, за ним закрепляется эта специфическая потребительная стоимость, заключающаяся в его способности к непосредственному обмену на любой другой товар. Появляется специфическая *потребительная стоимость денег*. «Товар, выделенный в качестве всеобщего эквивалента, удваивает свою потребительную стоимость. Помимо своей *особенной* потребительной стоимости в качестве особенного товара, он приобретает *всеобщую* потребительную стоимость. Последняя сама представляет собою *определенность формы*, т. е. она вытекает из той специфической роли, которую этот товар играет благодаря всестороннему действию на него других товаров в процессе обмена».<sup>1</sup> «Потребительная стоимость денежного товара удваивается. Наряду с *особенной* потребительной стоимостью, принадлежащей ему как данному товару, — так, например, золото служит для пломбирования зубов, является сырым материалом для предметов роскоши и т. д., — он получает *формальную* потребительную стоимость, вытекающую из его специфически общественных функций».<sup>2</sup> В другом месте Маркс называет потребительную стоимость денег «*функциональной*».<sup>3</sup>

Это обозначение потребительной стоимости денег как «формальной» или «функциональной» вполне понятно. Специфическая потребительная стоимость денег вытекает из той особой общественной формы или функции, которую данный предмет выполняет в качестве всеобщего эквивалента. Только в товарном хозяйстве с присущей ему системой производственных отношений людей появляется всеобщий эквивалент с присущей ему формальной потребительной стоимостью.

Само собою понятно, что потребительная стоимость денег коренным образом отличается от потребительной стоимости в тесном смысле, которую обладают другие товары. «Потребительная стоимость каждого товара, как предмета особенной потребности, имеет различную стоимость в различных руках; например, в руках лица, отчуждающего товар, она имеет другую стоимость, чем в руках того лица, которое его покупает. Товар же, выделенный в качестве всеобщего эквивалента, является теперь предметом всеобщей потребности, вырастающей из самого процесса обмена, и имеет для всех ту же самую потребительную стоимость, заключающуюся в его способности быть носителем меновой стоимости, всеобщим средством обмена».<sup>4</sup> Всеобщая потребность в деньгах есть нечто совершенно иное, чем потребность, которую индивид испытывает в тех или иных предметах потребле-

<sup>1</sup> «Критика», стр. 84 — 85. Курсив наш — И. Р.

<sup>2</sup> «Капитал», т. I, стр. 46. Курсив наш. — И. Р.

<sup>3</sup> «Theorien», т. III, стр. 531.

<sup>4</sup> «Критика», стр. 85.

ния. Предметы потребления нужны товаропроизводителю как индивиду; потребность же в деньгах характеризует именно природу его как товаропроизводителя. Поэтому потребность в деньгах есть чисто общественная потребность в том смысле, что она возникает только при определенной, а именно товарной, форме хозяйства. Маркс поэтому писал в подготовительных работах к «Святому семейству»: «Потребность в деньгах есть истинная, порожаемая политической экономией потребность, есть единственная потребность, которую она порождает».<sup>1</sup>

Итак, деньги обладают двумя потребительными стоимостями. Однако ни одна из них не служит непосредственно удовлетворению какой-нибудь конкретной потребности владельца денег. Конкретная потребительная стоимость денежного материала, например золота, может быть использована только в том случае, когда золото уже не служит в качестве денег: пока золото выполняет функцию денег, его конкретная потребительная стоимость не может быть использована. Но вместе с тем владелец денег не получает еще непосредственной полезности от специфической потребительной стоимости денег, заключающейся в их способности к обмену. Эта потребительная стоимость денег носит еще «идеальный» характер, так как она еще не реализована путем обмена на те конкретные потребительные стоимости, в которых нуждается товаропроизводитель для удовлетворения своих потребностей. Поэтому деньги характеризуются Марксом как «действительная меновая стоимость и лишь идеальная потребительная стоимость».<sup>2</sup> Эта идеальная потребительная стоимость должна быть еще реализована; «потребительная стоимость этого выделенного товара, хотя вполне реальная, в самом процессе обмена является только *формальным* бытием, которое еще должно реализоваться посредством превращения в действительные потребительные стоимости».<sup>3</sup> Формальная, функциональная, или идеальная потребительная стоимость денег должна быть еще реализована и найти свое воплощение в той конкретной потребительной стоимости, на которую деньги обмениваются. При обмене денег на холст последний представляет собою конкретное воплощение потребительной стоимости денег.<sup>4</sup>

Как видим, о потребительной стоимости денег Маркс говорит в различном смысле. Во-первых, материал, из которого деньги изготовлены, обладает конкретной потребительной стоимостью, например золото для пломбирования зубов, выделки украшений и т. д.; во-вторых, деньги обладают формальной, или функциональной, потребительной стоимостью, которая удовлетворяет «всеобщей потребности» и вытекает из общественной функции, выполняемой деньгами в товарном обществе; в-третьих, под потребительной стоимостью денег можно понимать потребительную стоимость тех товаров, которые покупаются при помощи этих денег.

<sup>1</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс. Собр. соч., т. III, стр. 654. <sup>2</sup> «Критика», стр. 190; «Капитал», т. I, стр. 58.

<sup>3</sup> «Критика», стр. 85. Курсив наш. — И. Р.

<sup>4</sup> «Капитал», т. I, стр. 60.

б) *Сокровище*

В простом товарном хозяйстве товаропроизводитель стремится выручить из продажи своего продукта возможно ббльшую сумму денег, но последняя служит ему для покупки необходимых предметов потребления. Следовательно, формальная потребительная стоимость денег играет здесь лишь роль представителя конкретной потребительной стоимости тех продуктов, которые будут куплены товаропроизводителем. Меновая стоимость является представителем потребительной стоимости. Но уже в пределах простого товарного хозяйства товаропроизводитель вынужден производить ряд действий, непосредственной целью которых является сама формальная потребительная стоимость денег (т. е. меновая стоимость), а не конкретная потребительная стоимость тех продуктов, которые могут быть куплены при помощи этих денег. В таком случае деньги уже перестают быть средством обращения, которое затрачивается на покупку необходимых предметов потребления. Эта перемена характера денег обнаруживается в функции их как сокровища и платежного средства. Вначале Маркс указывает, что необходимость задержки товаропроизводителем денег, вырученных от продажи продукта, диктуется необходимостью удовлетворения его личных потребностей. Потребности товаропроизводителя вновь и вновь заявляют о себе и непрерывно побуждают его покупать чужие товары, в то время как производство и продажа его собственного товара имеет место в определенные сроки и зависит от случайностей.<sup>1</sup> Поэтому часть вырученных денег товаропроизводитель временно задерживает у себя, чтобы постепенно тратить их по мере надобности для удовлетворения своих потребностей. В данном случае деньги выполняют только роль «задержанной монеты» (т. е. временно остановившегося средства обращения), а не роль сокровища.

Последнюю роль деньги начинают выполнять лишь с того момента, когда они извлекаются из обращения именно для того, чтобы сохранить меновую стоимость в ее непосредственно общественной форме. Маркс показывает, что самый факт появления и распространения товарного обращения уже вызывает к жизни «необходимость и страстное стремление» удерживать у себя деньги в качестве сокровища.<sup>2</sup> Один только факт возможности удержать в своих руках меновую стоимость в ее денежной форме вызывает страстное стремление и потребность задержать деньги; «вместе с возможностью удерживать товар как меновую стоимость или меновую стоимость как товар пробуждается жажда золота».<sup>3</sup> Деньги представляют собой огромную общественную силу, и эта «общественная сила становится частною силою частного лица».<sup>4</sup> Страсть к накоплению денег сама вызывается фактом существования денег, т. е. вытекает из определенной общественной формы хозяйства. «Деньги являются настолько же предметом, как и источником страсти к обогащению».<sup>5</sup>

<sup>1</sup> «Капитал», т. I, стр. 79. <sup>2</sup> Там же, стр. 78. <sup>3</sup> Там же, стр. 79. <sup>4</sup> Там же, стр. 80.

<sup>5</sup> «Критика», стр. 182. Курсив наш. — И. Р.



Как видим, объективный общественный факт — возникновение и распространение товарного производства и денежного обращения — является источником появления и распространения новых человеческих страстей, новых потребностей, новых мотивов действий. Действие товаропроизводителя, продающего свой продукт с целью накопления сокровища, уже коренным образом отличается по своему характеру и по своим мотивам от действия товаропроизводителя, который продает свой продукт с целью на вырученные деньги купить необходимые предметы потребления. Действие последнего товаропроизводителя направляется его стремлением к удовлетворению личной потребности; действие первого товаропроизводителя направлено к удовлетворению его потребности в деньгах, т. е. потребности, которая появилась и выросла только вместе с определенной общественной формой хозяйства. «Благодаря одному тому факту, что товаровладелец может удержать товар в его форме меновой стоимости или же самую меновую стоимость как товар, обмен товаров с целью получить их обратно в превращенной форме золота становится мотивом самого обращения. Метаморфоз товара Т—Д совершается ради самого этого метаморфоза, с целью превратить товар из особенного натурального богатства во всеобщее общественное богатство. Вместо обмена веществ самоцелью становится перемена форм. Из простой формы меновая стоимость превращается в содержание движения».<sup>1</sup>

Вновь возникающая потребность, потребность в деньгах, не только действует наряду с личными потребностями товаропроизводителя; она стремится вытеснить их и занять их место. Чтобы накапливать деньги, товаропроизводитель должен возможно больше продавать и возможно меньше покупать; он должен ограничить удовлетворение своих личных потребностей. «Созидатель сокровищ приносит потребность своей плоти в жертву золотому фетишу; он берет всерьез евангелие отречения».<sup>2</sup> «Естественные» потребности индивида оттесняются на задний план его новой, чисто социальной потребностью иметь в своих руках огромную общественную силу, представляемую деньгами. «Так как он хочет удовлетворить все социальные потребности, то он едва удовлетворяет свои естественные потребности».<sup>3</sup>

Потребность в накоплении сокровищ по самой природе своей безгранична, в отличие от личных потребностей индивида, которые всегда имеют конкретный характер и для своего удовлетворения требуют конкретных продуктов. «Образование сокровищ не имеет в самом себе никакой присущей ему внутренней границы, никакой меры, но есть бесконечный процесс, который в каждом достигнутом им результате находит мотив своего начала. Если сокровище умножается только через сохранение, то, с другой стороны, оно сохраняется только через умножение».<sup>4</sup> Чем больше потребность в накоплении сокровищ удовлетворяется, тем сильнее она действует, требуя дальнейшего накопления сокровищ. Накопление сокровищ,

<sup>1</sup> Там же, стр. 177. <sup>2</sup> «Капитал», т. I, стр. 81. <sup>3</sup> «Критика», стр. 184. <sup>4</sup> Там же, стр. 182.

следовательно, представляет собою действие, имеющее тенденцию к постоянному повторению, а потребность в деньгах представляет собою такую потребность, которая не удовлетворяется раз достигнутым результатом. Постоянно повторяющееся действие накопления сокровищ сообщает определенную печать данному индивиду, делает из него определенный социальный тип «профессионального собирателя сокровищ», придает ему, как выражается Маркс, определенный «экономический характер». Этот собиратель сокровищ отличается и определенным психическим укладом, который не раз получал в мировой литературе яркое изображение. *Скупость* не только становится главным жизненным стимулом собирателя сокровищ, она санкционируется и освящается религией, ее стараются поощрять отцы церкви в своих увещаниях и меркантилисты в своих сочинениях.<sup>1</sup> Пуританское вероучение с его суровой проповедью бережливости и аскетизма отражало потребность раннего капиталистического хозяйства в более широком накоплении сокровищ.

Распространение и усиление функции денег как сокровища знаменует собою новый этап в истории человеческих потребностей. Оно свидетельствует о распространении и усилении специфической, формальной потребительной стоимости денег. Если потребность в деньгах как средстве обращения лишь отражала потребность товаропроизводителя в предметах потребления, то потребность в деньгах как сокровище не носит уже «естественного» характера, а сама порождается общественной формой хозяйства, а именно распространением товарного производства и обращения. Функционирование денег в роли сокровища сопровождается появлением совершенно новых, «формальных» потребностей, которые присущи только товаропроизводителю, а не индивиду вообще. Потребность в деньгах является уже самоцелью действия товаропроизводителя, а не прикрывает собою только его стремление к удовлетворению личных потребностей. Больше того, потребность в деньгах стремится к оттеснению «естественных» потребностей индивида в предметах потребления. Меновая стоимость становится уже самоцелью, а не только представителем потребительной стоимости. Это оттеснение потребительной стоимости на задний план обнаруживается не только в действии отдельных товаропроизводителей, но и в характере всего процесса производства. Если раньше размеры производства простого товаропроизводителя определялись размером его личных потребностей, подлежащих удовлетворению, то теперь эти границы для производства уже отпадают. Товаропроизводитель, задерживающий и накапливающий деньги как сокровище, должен расширять производство, поскольку это возможно при наличии еще отсталых и несовершенных средств производства. «Накопление денег ради денег представляет собою варварскую форму производства ради производства, т. е. развития производительных сил человеческого труда за пределы традиционных потребностей».<sup>2</sup>

<sup>1</sup> «Капитал», т. II, стр. 25. <sup>2</sup> «Критика», стр. 184. Курсив наш. — И. Р.

### в) Платежное средство

Дальнейшее усиление потребности в самих деньгах мы видим при появлении новой функции денег, а именно платежного средства. Товаропроизводитель, который купил товар в кредит, должен теперь продать свой собственный продукт не для того, чтобы на вырученные деньги купить необходимые предметы потребления, а для того, чтобы при помощи вырученных денег погасить свой долг. Деньги уже не являются для него представителем потребительной стоимости или предметов потребления, они представляют собою самоцель. Товаропроизводитель нуждается теперь не в конкретных потребительных стоимостях, а в той специфической формальной потребительной стоимости, которою обладают деньги.

По сравнению с сокровищем функция денег как платежного средства свидетельствует о дальнейшем усилении того значения, которое для товаропроизводителя имеет формальная потребительная стоимость денег. Поскольку речь шла о собирателе сокровищ, от его произвола зависело, задержать ли деньги у себя или затратить их на покупку предметов потребления. Если же деньги должны выполнить роль платежного средства, товаропроизводитель уже вынужден употребить деньги для этой цели и не может затратить их на свое личное потребление. Он должен превратить продукт в деньги, а деньги, в свою очередь, нужны ему для уплаты долга, т. е. должны служить в качестве формальной потребительной стоимости. «Первоначально превращение продукта в деньги в обращении являлось только индивидуальной необходимостью для товаровладельца, поскольку его продукт не представляет для него потребительной стоимости, но еще должен сделаться таковою через свое отчуждение. Но, чтобы уплатить в обусловленный договором срок, он должен раньше продать товар. Таким образом, благодаря движению процесса обращения продажа превратилась для него в общественную необходимость совершенно независимо от его индивидуальных потребностей... Превращение товара в деньги как завершающий акт, или первый метаморфоз товара как самоцель; — метаморфоз, который в процессе образования сокровищ, казалось, зависел от прихоти товаровладельца, — теперь сделался экономической функцией. Мотив и содержание продажи для возможности уплаты представляет собою содержание процесса обращения, возникающее из самой формы этого последнего».<sup>1</sup>

Само развитие товарного обращения вызывает появление новой потребности, потребности в деньгах для уплаты; эта потребность в деньгах имеет своим условием распространение товарного производства и обращения и усиление той формальной потребительной стоимости, которая присуща деньгам. Потребность в деньгах как платежном средстве независима от личных потребностей товаропроизводителя и представляет собою чисто социальную потребность, которая возникает только при данной системе производственных отношений людей и всецело подчиняет себе

<sup>1</sup> Там же, стр. 191 — 192. Курсив наш. — И. Р.

товаропроизводителя. Действия товаропроизводителя подчиняются законам общественной необходимости; эта необходимость носит экономический характер, так как необходимость уплаты долга вынуждается всей системой отношений людей как товаропроизводителей. Но эта экономическая необходимость находит также свою санкцию в юридической необходимости; товаропроизводитель знает, что, в случае отказа от уплаты долга, его имущество будет подвергнуто принудительной продаже на основании закона.<sup>1</sup> Подобно тому как действия собирателя сокровищ освящались религией, взаимоотношения между товаропроизводителем - кредитором и товаропроизводителем-должником регулируются правом.<sup>2</sup>

Мы видели, что деньги как сокровище уже не являлись для товаропроизводителя представителем конкретных потребительных стоимостей, а, наоборот, конкретные потребительные стоимости имели для него значение лишь постольку, поскольку они представляли всеобщее богатство — деньги. Точно так же и для товаропроизводителя, который продает свой продукт с целью погасить сделанный им раньше долг, конкретные потребительные стоимости играют лишь роль представителя абстрактного богатства — денег. Поэтому всякая невозможность продажи продукта в периоды кризиса равносильна для него полному обесценению потребительной стоимости. В моменты денежного кризиса потребительные стоимости представляются чем-то совершенно бесполезным по сравнению с наличными деньгами.<sup>3</sup>

Итак, распространение денег в роли платежного средства означает усиление и распространение потребности в деньгах ради их специфической формальной потребительной стоимости. Потребность эта независима от личных потребностей отдельных товаропроизводителей. Удовлетворение этой всеобщей потребности в деньгах диктуется каждому отдельному товаропроизводителю в силу законов общественной необходимости; оно навязывается ему принудительно всей той сетью общественных производственных отношений, в которую он включен.

### г) Потребительная стоимость рабочей силы

Развитие товарного хозяйства вызывает появление новой потребительной стоимости, «формальной» потребительной стоимости денег. Но, как известно, на этом развитие товарного хозяйства не останавливается. В результате экспроприации мелких производителей простое товарное хозяйство превращается в капиталистическое. В последнем деньги служат уже не только в качестве средства обращения, т. е. в качестве посредствующего звена при обмене одного продукта на другой, но также в качестве капитала. Возникновение и развитие капиталистических отношений вызывает появление новых видов «функциональной» или «формальной» потребительной стоимости. Поскольку речь идет о процессе производства капитала, само-

<sup>1</sup> «Капитал», т. I, стр. 84. <sup>2</sup> «Критика», стр. 191. <sup>3</sup> Там же, стр. 198; «Капитал», т. I, стр. 85 — 86.

возрастание последнего имеет своим источником эксплуатацию наемного труда, или рабочей силы. Рабочая сила является для капиталиста средством для извлечения прибавочной стоимости, или прибыли. В качестве такого средства рабочая сила приобретает для капиталиста особую потребительную стоимость, которая является формальной, или функциональной, в том смысле, что рабочая сила обладает ею только в условиях капиталистического хозяйства.

Потребительная стоимость рабочей силы состоит прежде всего в ее активных проявлениях, т. е. в труде.<sup>1</sup> Потребительная стоимость рабочей силы обнаруживается «лишь в процессе фактического использования, в процессе потребления рабочей силы».<sup>2</sup>

Капиталист покупает рабочую силу, которая в процессе производства проявляется в активной деятельности, в труде. Но так как труд в капиталистическом хозяйстве носит двойственный характер, то возникает следующий вопрос: состоит ли потребительная стоимость рабочей силы в ее способности быть источником конкретного труда или же труда абстрактного? Маркс дает на этот вопрос недвусмысленный ответ: «Стоимость рабочей силы и ее использование в процессе труда суть две различных величины. Капиталист, покупая рабочую силу, имел в виду это различие стоимости. Ее полезное свойство, ее способность производить пряжу и сапоги только потому были неизбежным условием, что для созидания стоимости необходимо затратить труд в полезной форме. Но решающее значение имела *специфическая потребительная стоимость* этого товара, его *свойство быть источником стоимости*, притом большей стоимости, чем имеет он сам. Это та специфическая услуга, которую ожидает от него капиталист».<sup>3</sup> Итак, специфическою потребительною стоимостью рабочей силы является ее свойство быть источником абстрактного труда, или стоимости.

Правда, в некоторых местах у Маркса встречаются выражения, которые на первый взгляд дают повод предполагать, что потребительная стоимость рабочей силы проявляется в конкретных трудовых актах, или в конкретном труде. Но Маркс всегда подчеркивает, что здесь конкретный труд выступает лишь как необходимое условие присвоения капиталистом абстрактного труда, или стоимости. «Не этот конкретный характер труда, не его потребительная стоимость как таковая, не то, что он представляет собою, например, работу кузнеца, сапожника, прядильщика, ткача и т. д., не это составляет его специфическую потребительную стоимость для капитала... эта стоимость обуславливается характером этого труда как творческого элемента по отношению к меновой стоимости, — она создается абстрактным трудом».<sup>4</sup>

<sup>1</sup> «Капитал», т. I, стр. 115, 116, 126. <sup>2</sup> Там же, стр. 116. <sup>3</sup> Там же, стр. 132. Курсив наш. — И. Р.

<sup>4</sup> «Теории прибавочной стоимости», т. I, перев. под ред. Г. Плеханова, 1906 г., стр. 326 — 327.

Если бы мы считали потребительною стоимостью рабочей силы ее способность быть источником конкретного труда, мы никоим образом не могли бы провести различие между покупкой рабочей силы и покупкой услуг. А между тем Маркс считал необходимым провести резкое разграничение между этими двумя видами купли-продажи и считает только первый вид характерным спутником капиталистического хозяйства. «Рабочая сила покупается здесь не для того, чтобы ее действием или ее продуктами покупатель мог удовлетворить свои личные потребности. Цель покупателя — увеличение стоимости его капитала, производство товаров, которые содержат больше труда, чем он оплатил, следовательно содержат такую часть стоимости, которая для него ничего не стоила и которая, тем не менее, реализуется при продаже товара».<sup>1</sup> Поэтому покупку рабочей силы следует строго отличать от покупки так называемых «услуг», т. е. от покупки способности работника к конкретному труду, который служит удовлетворению личных потребностей покупателя. Наем рабочего-садовода капиталистом-владельцем большого садоводства является актом покупки рабочей силы, но если тот же капиталист нанимает работника-садовода для ухода за садом, расположенным в его имении, здесь имеет место не покупка рабочей силы, а покупка услуг. Маркс всегда упрекал представителей вульгарной политической экономии в смешении обоих этих видов покупки. «Вместо того чтобы говорить о наемном труде, говорят об «услугах»; это — слово, в котором уничтожена специфическая определенность наемного труда и его потребления, — а именно способность увеличивать стоимость товаров, на которые он обменивается, способность создавать прибавочную стоимость, — а тем самым уничтожено и специфическое отношение, благодаря которому деньги и товар превращаются в капитал. «Услуги» — есть труд, рассматриваемый только как *потребительная стоимость* (в капиталистическом производстве нечто побочное), подобно тому как в слове «продукт» уничтожена сущность *товара* и заключенного в нем противоречия».<sup>2</sup>

Итак, потребительною стоимостью рабочей силы является ее способность создавать стоимость. Поэтому рабочая сила и определяется Марксом как товар, потребительная стоимость которого обладает специфическим свойством быть источником стоимости.<sup>3</sup> Но рабочая сила покупается капиталистом только потому, что она является источником большей суммы стоимостей, чем стоимость самой этой рабочей силы. Рабочая сила является не только источником стоимости, но и источником прибавочной стоимости, и именно получение последней и составляет ту цель, ради которой капиталист покупает рабочую силу. Поэтому Маркс часто определяет потребительную стоимость рабочей силы как ее способность создавать избыток стоимости, или прибавочную стоимость. «Потребительная стоимость рабочей силы для промышленного капиталиста такова: потребляя ее, произвести больше стоимости (прибыль), чем какою она сама обладает и чего она стоит. Этот

<sup>1</sup> «Капитал», т. I, стр. 490. <sup>2</sup> «Theorien», т. II, ч. 2-я, стр. 275. <sup>3</sup> «Капитал», т. I, стр. 110.

*излишек стоимости есть потребительная стоимость рабочей силы для промышленного капиталиста».*<sup>1</sup>

После изложенного легко понять, что потребительная стоимость рабочей силы также носит формальный, или функциональный, характер, как и потребительная стоимость денег. Способностью быть источником стоимости и прибавочной стоимости рабочая сила обладает только в определенной социально-экономической формации, при наличии определенной системы производственных отношений людей. Когда Маркс говорит о специфической потребительной стоимости рабочей силы, он имеет в виду не ее техническую способность быть источником конкретного труда, а ее общественную способность быть источником абстрактного труда, или стоимости. Эта потребительная стоимость носит формальный характер, так как она вытекает из той специфической формы наемного труда, которая присуща капиталистическому хозяйству.

*д) Потребительная стоимость ссудного денежного капитала.*

Только благодаря эксплуатации рабочей силы в процессе производства класс капиталистов в целом извлекает прибавочную стоимость. Но с разделением этого класса на капиталистов промышленных и денежных последние получают возможность извлекать прибавочную стоимость в виде процента, не участвуя непосредственно в организации процесса производства. Денежный капиталист ссужает свой денежный капитал промышленнику, от которого и получает часть извлекаемой последним прибавочной стоимости в виде процента. Для промышленного капиталиста получаемая им в ссуду денежная сумма имеет особую потребительную стоимость, заключающуюся в ее способности быть источником прибавочной стоимости. «Что же это за потребительная стоимость, которую денежный капиталист отчуждает на время ссуды и передает промышленному капиталисту, заемщику? Это — потребительная стоимость, которую деньги приобретают вследствие того, что они могут быть превращены в капитал, могут функционировать как капитал и что поэтому они производят в своем движении определенную прибавочную стоимость, среднюю прибыль... сверх того, что сохраняют свою первоначальную величину стоимости. Потребительная стоимость остальных товаров в конце концов потребляется и вместе с тем исчезает субстанция товара, а с нею и его стоимость. Товар-капитал, напротив, обладает той особенностью, что потреблением его потребительной стоимости его стоимость и потребительная стоимость не только сохраняется, но еще и увеличивается. Эту-то потребительную стоимость денег как капитала — способность производить среднюю прибыль — и отчуждает денежный капиталист промышленному капиталисту на то время, на которое он передает этому последнему право распоряжаться ссуженным капиталом».<sup>2</sup>

<sup>1</sup> «Капитал», т. III, ч. 1-я, стр. 272 — 273. Курсив наш. — П. Р.

<sup>2</sup> Там же, стр. 272.

Само собою очевидно, что эта потребительная стоимость сужаемого денежного капитала носит формальный, или функциональный, характер, т. е. вытекает из капиталистической системы производственных отношений. «В отличие от обыкновенного товара эта потребительная стоимость сама есть стоимость, именно излишек величины стоимости в сравнении с ее первоначальной величиной, излишек, получающийся вследствие употребления денег как капитала. *Прибыль* есть эта *потребительная стоимость*». <sup>1</sup> «Стоимость как таковая (процент) становится *потребительной стоимостью* капитала». <sup>2</sup>

Указанною потребительною стоимостью обладает капитал, отдаваемый в ссуду, т. е. капитал как товар. Но в развитом капиталистическом хозяйстве каждая более или менее значительная сумма денег может функционировать в качестве капитала. Поэтому указанная выше специфическая потребительная стоимость присуща не только капиталу как товару, но и деньгам как капиталу. В развитом капиталистическом хозяйстве каждая значительная сумма денег может рассматриваться как специфическая форма капитала и, в свою очередь, обладает способностью к превращению в капитал. Поэтому деньги, наряду с той формальной потребительной стоимостью, которою они обладают во всяком товарном хозяйстве (а именно способностью служить в качестве средства обращения, сокровища и платежного средства), приобретают в капиталистическом хозяйстве еще вторую формальную потребительную стоимость, заключающуюся в их способности служить источником прибавочной стоимости.

Само собою понятно, что потребительная стоимость капитала как товара и денег как капитала самым неразрывным образом связана с рассмотренной нами выше потребительною стоимостью рабочей силы. Если бы последняя не обладала свойством быть источником стоимости и прибавочной стоимости, источником последней не мог бы служить и денежный капитал, или деньги. Денежный капитал обладает способностью быть источником средней прибыли именно потому, что он может быть затрачен на покупку рабочей силы, которая обладает способностью быть источником стоимости и прибавочной стоимости. «Так как на основе капиталистического производства определенная сумма стоимостей, представленная в деньгах или товарах, — собственно в деньгах, этой превращенной форме товара, — дает власть извлечь из рабочих бесплатно определенное количество труда, присвоить себе определенную прибавочную стоимость, прибавочный труд, прибавочный продукт, — то ясно, что сами деньги могут быть проданы как товар, но как товар особого рода». <sup>3</sup>

Таким образом, *потребительная стоимость* капитала как товара имеет своим источником *потребительную стоимость рабочей силы*. Однако на поверхности рынка эта внутренняя связь явлений затушевывается и скрывается

<sup>1</sup> Там же, стр. 273. Курсив наш. — И. Р. <sup>2</sup> Там же, стр. 275, примечание.

<sup>3</sup> «Theorien», т. III, стр. 524.



вается благодаря обособлению класса денежных капиталистов от промышленных. Так как денежный капиталист непосредственно не занят в процессе производства и не покупает рабочей силы, возникает иллюзия, что денежный капитал сам по себе способен порождать процент, совершенно независимо от использования его для покупки рабочей силы, занятой в процессе производства.

Так как потребительная стоимость ссудного денежного капитала имеет своим источником рабочую силу, то неудивительно, что между обоими можно провести известную аналогию. «В этом смысле имеется известная аналогия между деньгами, отданными таким образом в ссуду, и рабочей силой, взятой в ее отношении к промышленному капиталисту... Потребительная стоимость рабочей силы для промышленного капиталиста такова: потребляя ее, произвести больше стоимости (прибыль), чем какую она сама обладает и чего она стоит. Этот излишек стоимости есть потребительная стоимость рабочей силы для промышленного капиталиста. Точно так же потребительную<sup>1</sup> стоимостью ссужаемого денежного капитала является его способность присоединять и увеличивать стоимость». <sup>2</sup> Об этом же Маркс говорит в другом месте: «Потребительная стоимость денег, как и рабочей силы, заключается здесь в том, чтобы создавать меновую стоимость, большую меновую стоимость, чем заключенная в них самих». <sup>3</sup>

Мы начали с потребительной стоимости денег и ею же закончили. Но если первоначально деньги выступали как деньги, то теперь они играют роль капитала. Если потребительная стоимость денег как денег вытекала из особенностей товарного хозяйства, то потребительная стоимость денег как капитала вытекает из особенностей капиталистического хозяйства. В обоих случаях сама социальная форма товара (т. е. деньги) приобретает особую специфическую потребительную стоимость. В отличие от потребительной стоимости, которая присуща конкретному продукту независимо от определенной общественной формы процесса производства, в данном случае речь идет о потребительной стоимости, являющейся результатом специфической общественной формы хозяйства. Эта потребительная стоимость носит функциональный, или формальный, характер.

*И. Рубин.*

<sup>1</sup> В русском переводе «Капитала», т. III, ч. 1-я, на странице 273, вместо «потребительную» ошибочно напечатано «прибавочною».

<sup>2</sup> «Капитал», т. III, ч. 1-я, стр. 272 — 273.

<sup>3</sup> «Theorien», т. III, стр. 528.

# О ДВУХ СПОРНЫХ ВОПРОСАХ МАРКСОВОЙ ТЕОРИИ ДЕНЕГ

Два вопроса марксовой теории денег, на которых я намерен здесь остановиться, с первого взгляда представляются двумя проблемами совершенно различного порядка. Однако в дальнейшем будет показано, что между этими вопросами существует глубокая внутренняя связь, хотя каждый из них имеет и самостоятельное значение.

Вопросы, о которых идет здесь речь, следующие:

1) Все категории политической экономии являются категориями историческими. Исторической является и категория денег. Но, в отличие, например, от категории капитала, закона цен производства и т. д., деньги Маркс относил к тем простым категориям, которые знакомы и до-капиталистическому хозяйству. Спрашивается, как же развивались исторически функции денег, в какой степени категория денег капиталистического хозяйства отличается от денег экономических систем с преобладанием натурального хозяйства и как эти вопросы освещены у Маркса. В частности, не вытекает ли из самих основ марксовой теории денег, а также и из некоторых его характеристик античного хозяйства, что категория денег развитого товарного хозяйства и экономический феномен денег в системах с преобладанием натурального хозяйства суть два настолько различные явления, что один и тот же термин, безоговорочно употребляемый в отношении этих двух различных явлений, способен часто вводить в заблуждение и самих экономистов, и, в особенности, историков.

2) Золото и серебро, как денежный товар, играют чрезвычайно важную роль во всей системе стоимостного регулирования капиталистического хозяйства. Общеизвестна та роль, которую во всей системе Маркса занимает теория металлического обращения. Спрашивается, каков же тот механизм и все те промежуточные звенья, через которые понижение или повышение стоимости золота на производстве (особенно понижение) приводит к изменениям (а иногда к целым революциям) в общетоварном индексе золотых цен? Что было написано на эту тему у Маркса, на чем остановилось его исследование и что нового для всей этой проблемы, уже имеющей свою литературу в лагере самих марксистов, принесли факты военного и послевоенного периодов?

В этой статье мы намерены рассмотреть только первый из этих двух вопросов.

*Историческое развитие категории денег*

В введении к «Критике политической экономии» мы находим у Маркса одно место, имеющее фундаментальное значение для нашей темы. Мы приведем целиком это место, к отдельным пунктам которого нам ниже придется еще возвращаться не один раз:

«...простейшие категории суть выражения условий, в которых может реализоваться неразвившаяся конкретность, до установления более многостороннего отношения или более многосторонней связи, идеальным выражением которых служит конкретная категория, тогда как развившаяся конкретность сохраняет простейшую категорию как подчиненное отношение.

«Деньги могут существовать и существовали исторически раньше капитала, раньше банков, раньше наемного труда и т. д. С этой стороны можно сказать, что простейшая категория может выражать собой господствующие отношения неразвившегося целого, отношения, которые уже существовали исторически раньше, чем целое развилось в том направлении, которое находит свое выражение в более конкретной категории. Постольку законы абстрактного мышления, восходящего от простого к сложному, соответствовали бы действительному историческому процессу.

«С другой стороны, можно сказать, что имеются в высшей степени развитые и все-таки исторически незрелые общественные формы, где встречаются высшие хозяйственные формы, например сотрудничество, развитое разделение труда и т. д., но совершенно неизвестны деньги, например Перу.

«Точно так же у славянских общин деньги и обуславливающий их обмен или совсем не выступают, или играют незначительную роль внутри отдельных общин, но встречаются на границах последних, в сношениях с другими общинами; вообще ошибочно принимать обмен между членами одной и той же общины за первоначально конституирующий элемент. Наоборот, вначале он выступает в отношениях различных общин друг к другу в гораздо большей степени, чем в отношениях членов внутри одной и той же общины. Далее: хотя деньги начали играть роль очень рано и в различных отношениях, однако в древности они выступают как господствующий элемент только у односторонне определившихся наций, у торговых наций, и даже в наиболее развитой древности, у греков и римлян, полное развитие денег, которое является предпосылкой современного буржуазного общества, наблюдается только в период разложения. Таким образом, эта совершенно простая категория выявляется исторически в своей полной силе только при наиболее развитых общественных отношениях. Она никоим образом не пропитывает все экономические отношения; например, в Римской империи, в период наибольшего ее развития, основу составляли натуральные подати и повинности. Денежное хозяйство было там вполне развито, собственно, только в армии, оно никогда не охватывало весь процесс труда в целом».<sup>1</sup>

<sup>1</sup> *K. Marx, Zur Kritik der politischen Ökonomie. 3. Aufl., Stuttgart, 1909, S. XXXVIII — XXXIX.* Русский перевод.

Таким образом, Маркс говорит здесь следующее: 1) Простейшая категория может исторически существовать раньше более развитой и конкретной. 2) В этом случае она находится в недоразвитом, эмбриональном состоянии и в развернутом виде встречается лишь в наиболее развитых общественных отношениях. 3) В качестве такой простой категории деньги могут существовать и существовали до появления развитого товарного хозяйства и, тем более, раньше капитала, наемного труда, банков и т. д., «но даже в античном мире, хозяйство которого относительно довольно далеко продвинулось в сторону развития денежных отношений, эта категория отнюдь не пропитывает все отношения труда в целом, основу которых составляло все же натуральное хозяйство». 4) Полного развития категория денег может достигнуть лишь при полном развитии товарного и товарно-капиталистического хозяйства.

Прежде чем пойти дальше, ликвидируем сначала возможное недоразумение, которое может возникнуть у читателя от сопоставления двух мест в только что приведенной цитате. С одной стороны, Маркс говорит, что в Риме «денежное хозяйство... никогда не охватывало весь процесс труда в целом», основу империи составляли «натуральные подати и повинности», и, кроме того, в другом месте «Критики» Маркс вспоминает о дважды неудавшейся попытке римского государства перейти от натуральных повинностей и налогов к денежным, а несколькими строками выше в приведенной цитате он пишет: «У греков и римлян полное развитие денег, которое является предпосылкой современного буржуазного общества, наблюдается только в период разложения». Таким образом, у римлян деньги, с одной стороны, никогда не достигали полного развития, а с другой стороны — как будто достигали такового, хотя и в период разложения античного хозяйства. Совершенно очевидно, что, даже не выходя за пределы данной цитаты, мы должны взять за основу раньше цитированные строки, в самой цитате стоящие по контексту ниже.

Теми строками, которые кажутся противоречащими основному утверждению Маркса о неразвитости категории денег в античном мире, сам Маркс мог сказать лишь одно из двух: 1) Феномен денег *никогда* не достигал в античном мире полного развития. *В рамках этого недоразвитого состояния*, которое было характерным и типичным для всей древности, наиболее полного развития деньги достигали только в период разложения всей античной системы. 2) У греков и римлян деньги хотя и достигали своего полного развития, являющегося предпосылкой буржуазного развития, но достигали лишь как эпизод в период разложения системы античного общества, т. е. этот кратковременный расцвет был не следствием органического и неуклонного развития товарного хозяйства (являющегося естественной базой для развертывания категории денег), но скорей функцией этого распада или, во всяком случае, находился с ним в какой-то причинной связи.

Из этих двух толкований цитированных высказываний Маркса я бы предпочел первое, потому что оно лучше всего согласуется как со всеми

другими положениями Маркса, касающимися того же вопроса, так и с самой сутью всей его теории денег. Но если даже останавливаться на втором толковании, которое формально ближе к тексту, то и тогда не надо забывать следующего. Полное развитие денег в античном мире в период распада. Если даже считать такое развитие денег достаточной предпосылкой для современного буржуазного общества, не есть полное развитие категории денег, какой она выступает в истории человеческого хозяйства, потому что своего полного развития эта категория не достигает даже при высоко развитом простом товарном производстве позднего средневековья и в эпоху торгового капитала. Только при развитом капитализме, в эпоху свободной конкуренции и свободного перелива труда из одних отраслей в другие, категория денег достигает своего наиболее полного развития. Для правильного понимания интерпретируемого места всегда нужно не упускать из виду, с одной стороны, мировой рынок XIX века, с другой — те узкие каналы товарного обращения, которые обслуживали в Риме (и то лишь отчасти) эксплуататорский класс с его армией, сидевший на верхушке пирамиды, основание которой опиралось на натуральное хозяйство покоренных областей, на грабежи натуральных ценностей и рабской рабочей силы этих областей, на применение рабских рабочих сил, не воспроизводившихся в самой системе.

Однако к этой стороне дела мы еще вернемся ниже.

Эмбриональное развитие денег на наиболее ранней ступени регулярной торговли Маркс представляет себе так. «Непосредственная меновая торговля, эта естественно выросшая форма процесса обмена, представляет собою скорее начинающееся превращение потребительных стоимостей в товары, чем превращение товаров в деньги... Меновая стоимость какого-либо товара тем в большей степени проявляется как меновая стоимость, чем длинней ряд его эквивалентов или чем больше сфера обмена для этого товара. Поэтому постепенное расширение меновой торговли, увеличение числа меновых актов и разнообразие входящих в меновую торговлю товаров развивают товар как меновую стоимость, необходимо вызывают образование денег и тем самым действуют разлагающим образом на непосредственную меновую торговлю».<sup>1</sup>

Как же обстоит дело с развертыванием различных функций денег? Какие из этих функций являются более первичными, какие развиваются позже? Или, быть может, все функции могут проявиться сразу, хотя и все в недоразвитом состоянии? На этот вопрос, как известно, различные историки хозяйства отвечают по-разному. Маркс освещает этот вопрос попутно, говоря об историческом возникновении капитала и о различии генезиса этой категории в сравнении с категорией денег.

В I томе «Капитала», уже закончив с вопросом о деньгах и переходя к анализу капитала, Маркс пишет:

<sup>1</sup> К. Маркс, К критике политической экономии, стр. 87 — 88.

«Те экономические категории, которые мы рассматривали раньше, также носят на себе следы своей истории. В бытии продукта как товара уже заключается наличие определенных исторических условий. Чтобы превратиться в товар, продукт должен производиться не для непосредственного удовлетворения потребностей производителя. Если бы мы пошли дальше в своем исследовании, если бы мы спросили себя, при каких условиях все или, по крайней мере, большинство продуктов принимают форму товара, то мы нашли бы, что это совершается лишь на основе вполне определенного, а именно капиталистического, способа производства. Но такое исследование не связано с анализом товара как такового. Товарное производство и товарное обращение могут существовать, несмотря на то, что подавляющая масса продуктов, предназначенная непосредственно для собственного потребления, не превращается в товары и, следовательно, общественный процесс производства далеко еще не во всем своем объеме подчинен господству меновой стоимости. Для превращения продукта в товар разделение труда внутри общества должно развиваться в такой степени, чтобы разграничение потребительной стоимости и меновой стоимости, едва начинающееся при непосредственной меновой торговле, было вполне закончено. Но эта ступень развития встречается в исторически весьма различных общественно-экономических формациях.

«Или возьмем деньги. Деньги предполагают известное развитие товарообмена. Отдельные формы денег — простой товарный эквивалент, средство обращения, платежное средство, сокровище и мировые деньги — в соответствии с различным объемом действия и относительным перевесом той или другой из этих функций — означают очень различные ступени развития общественно-производственного процесса. Тем не менее, как показывает опыт, достаточно сравнительно слабого развития товарного обращения, чтобы могли образоваться все эти формы. Совершенно иное приходится сказать о капитале. Исторические условия его существования отнюдь не исчерпываются наличием товарного и денежного обращения. Капитал возникает лишь там, где владелец средств производства и средств существования находит на рынке свободного рабочего в роли продавца своей рабочей силы, и уже одна эта историческая предпосылка включает в себя целый мир особого исторического развития. Таким образом капитал с самого своего возникновения возвещает наступление особой эпохи общественно-производственного процесса».<sup>1</sup>

В этой цитате мы отметим четыре основные мысли Маркса:

1) Для того, чтобы появилась категория товара, не требуется, чтобы товарное производство сделалось преобладающим в обществе. Товар может существовать и в обществе, где подавляющая часть продукции пред-

<sup>1</sup> «Kapital», В I., Stuttgart, 1914, S. 124 — 126. — Характерной особенностью капиталистической эпохи является тот факт, что рабочая сила для самого рабочего принимает форму принадлежащего ему товара, а потому труд принимает форму наемного труда. С другой стороны, лишь начиная с этого момента товарная форма становится всеобщей формой для всех продуктов труда.

назначается для натурального потребления. 2) Для того, чтобы появились на сцену все функции денег, достаточно сравнительно незначительного развития товарного обмена. 3) Наоборот, для возникновения капитала (дело идет о производительном капитале) недостаточно наличности товарного и денежного обращения, а необходимо превращение в товар рабочей силы. 4) Хотя все функции денег появляются сразу, но для различных ступеней экономического развития характерно преобладание той или другой из этих функций.

Что касается первой мысли, то здесь Маркс в отношении другой простой категории, а именно товара, говорит то же самое, что в введении к «Критике» он говорил о деньгах. Третья мысль, к которой Маркс возвращается неоднократно почти во всех своих работах и которая составляет основной элемент в его теории капитала, совершенно ясна, бесспорна и не требует никаких комментариев. Наоборот, вторая и четвертая мысли требуют более внимательного рассмотрения.<sup>1</sup>

Рассмотрим сначала положение о том, что достаточно относительно слабого развития товарного обращения, чтобы могли проявиться все функции денег. Оставляя пока в стороне функцию мерила стоимости, рассмотрим остальные функции одну за другой.

Может ли проявиться функция денег как средства обращения, если товарообмен захватывает лишь незначительную часть продукции общества, допустим — лишь одну десятую всего производства, а остальная часть продукции предназначается для натурального потребления? В зародышевом состоянии несомненно может, потому что для функции денег, как средства обращения, необходимо, чтобы существовала развернутая форма эквивалента, стоимости товаров могли обособляться в особую форму, материализоваться в ней, а сам товарооборот постоянно оставал в обращении определенное количество денег. «Деньгам присуща

<sup>1</sup> Ввиду важности рассматриваемого места и ввиду того, что оно не совсем точно передано в переводе И. И. Степанова, приведем его по-немецки: «Oder betrachten wir das Geld, so setzt es eine gewisse Höhe des Warenaustausches voraus. Die besonderen Geldformen: blosses Warenäquivalent, oder Zirkulationsmittel, oder Zahlungsmittel, Schatz- und Weltgeld, deuten — je nach dem verschiedenen Umfang und dem relativen Vorwiegen einer oder der anderen Funktion — auf sehr verschiedene Stufen des gesellschaftlichen Produktionsprozesses. Dennoch genügt erfahrungsmässig eine relativ schwach entwickelte Warenzirkulation zur Bildung aller dieser Formen» («Kapital», I, Stuttgart, 1914, S. 125 — 126). В переводе И. И. Степанова вторая фраза передана так: «Если мы остановим свое внимание на деньгах, то увидим, что они предполагают известное развитие товарообмена. Особенные формы денег — просто товарный эквивалент, средство обращения, платежное средство, сокровище и мировые деньги — указывают, в связи с относительным значением или преобладанием той или другой из этих функций, на очень различные ступени развития общественно-производственного процесса. Тем не менее, как показывает опыт, достаточно сравнительно слабого развития товарного обращения, чтобы могли образоваться все эти формы» (1929 г., стр. 112). Неточность перевода состоит в том, что Umfang und Vorwiegen у Маркса не противопоставляются, как это сделано в переводе, отчего и союз und переведен не как «и», а как «или», что в данном случае неверно и формально, и по существу. Во французском переводе также нет этого противопоставления («Le Capital», p. 72).

функция средства обращения лишь потому, что они представляют стоимость товаров, принявшую обособленную форму». Чтобы стоимости товаров могли принимать обособленную форму денег, а деньги обособлялись на функции обращения, для этого необходимо распространение денежного товарообмена на всю или подавляющую часть продукции общества. Но здесь совершенно очевидны и другие стороны дела, а именно: обособление стоимостей товаров может иметь разные степени в зависимости от степени развития самой категории меновой стоимости, от систематичности и интенсивности денежного товарообмена в той части хозяйства, которая охвачена денежными отношениями, от количества разнообразных товаров, регулярно вовлекаемых в товарооборот. Иными словами: при слабом развитии денежного товарного обмена функция денег, как средства обращения, может уже проявиться, но может проявиться лишь адекватно этой слабости рынка, т. е. в недоразвитом, вернее — в зародышевом состоянии. Одним из косвенных доказательств зрелости функции денег, как средства обращения, является возможность появления широкой практики бумажных денег. Последние, как массовое явление, появляются лишь тогда, когда в стране создается достаточно емкое внутреннее товарное обращение. Для Европы этот период наступил только в XVII веке.

Может ли проявиться функция денег как сокровища в тех же условиях, т. е. при слабом еще развитии денежного хозяйства?

Чтобы деньги выступали в качестве сокровища, необходимо известное развитие рыночных отношений и категории меновой стоимости. Деньги должны представлять из себя абстрактное богатство, которое можно хранить как всеобщее покупательное средство, как потенциальные средства производства и потенциальный потребительский резерв. Таким абстрактным богатством и всеобщим товаром деньги будут лишь в том случае, когда их всегда можно реализовать, т. е. когда существует рынок, имеющий тот или иной удельный вес в хозяйстве. Разумеется, для функционирования денег в качестве сокровища в вышеназванном объеме совсем не требуется, чтобы денежные отношения в стране играли господствующую роль во всей экономике: достаточно, если часть продукции общества проходит через рынок. Но, с другой стороны, функция сокровища, как резерва денежного обращения, сообщающего огромную эластичность всей системе металлического обращения и облегчающего действие всего механизма стоимостного регулирования, — эта сторона функции денег, как сокровища, не может существовать там, где нет еще развитого денежного обращения, охватывающего, подобно разветвленной нервной системе, всю общественную ткань и связывающего между собой отдельные клетки работающих на рынок отдельных производителей. И в данном случае функция сокровища проявляется, но в недоразвитой форме, соответствующей недоразвитости всех отношений товарного хозяйства.

Все сказанное еще более очевидно в отношении функции денег как платежного средства.



В «Критике» Маркс писал: «В качестве всеобщего платежного средства деньги становятся *всеобщим товаром* в контрактах, — сперва только в сфере товарного обращения. Однако, по мере развития денег в этой функции, все другие формы платежей постепенно сводятся к денежным платежам. Степень развития денег, как единственного платежного средства, показывает ту степень, в которой меновая стоимость овладевает производством во всем его объеме». <sup>1</sup> Таким образом, эта функция развивается в непосредственной зависимости от того, в какой степени отношения товарного хозяйства распространяются на всю сферу правовых, финансовых и социальных отношений общества. Но для того, чтобы, например, отношения должника к кредитору, обязательства населения перед государством, обязательства государства перед его служащими и т. д. приняли денежную форму, требуется очень глубокое проникновение денежных отношений во всю хозяйственную жизнь. Мелкий производитель, взявший натуральную ссуду от крупного землевладельца или у ростовщика, не в состоянии вернуть ее в деньгах, если он не может продать часть своей продукции на рынке. Денежная ссуда мелкому производителю и на потребительские, и на производственные нужды является бесцельной, если нужных товаров он не может купить на рынке и на том же рынке продать в дальнейшем часть своей продукции для погашения ссуды. А область отношений кредиторов к должникам есть очень существенная область, где, за пределами торговли, находит свое применение функция денег в качестве платежного средства. При существовании натуральных государственных налогов и повинностей, когда и государственный аппарат получает свое содержание в натуре, деньги, как средство платежа, не охватывают этой важной области. А переход к системе денежных налогов и денежного вознаграждения работников аппарата невозможен при слабом развитии товарного хозяйства, он требует охвата рыночными отношениями, по крайней мере, производства города и значительной части продукции деревни. Наконец, чрезвычайно важная форма денег — кредитные деньги, — представляющая собою наиболее высокую форму проявления функции денег как платежного средства, вырастает лишь из вексельного обращения и предполагает в качестве своей основы не только развитие капиталистических отношений, но и такую степень качественных изменений в общественном характере капиталистического производства, когда делается возможным в капиталистическом производстве и торговле опираться на капитал всего общества. Из всего этого видно, что функция денег, как средства платежа, хотя и начинает появляться с возникновением регулярного денежного товарооборота, но при минимальном удельном весе этого товарооборота во всем хозяйстве она не выходит за его пределы, да и в его пределах сведена к самому минимуму, поскольку и здесь доминирующей является расплата за наличные. А это значит, что слабое развитие товарного обмена может произвести лишь эмбрион

<sup>1</sup> «К критике политической экономии», стр. 195.

функции денег как платежного средства, если сравнивать первые проявления этой функции со всем тем, что в дальнейшем развивается отсюда в условиях развернутого товарного и товарно-капиталистического хозяйства.

Что касается роли денег на арене мирового рынка, то здесь деньги не выполняют какой-либо особой функции в сравнении с теми их функциями, которые мы только что рассмотрели. Особо важна здесь роль металлических денег и слитков как международного средства платежа, а также роль золота, как мерила ценности, для всех национальных хозяйств, связанных мировым разделением труда. И то, и другое означает далеко продвинувшийся процесс образования мирового рынка, о чем еще не может быть речи при слабом развитии в обществе товарного хозяйства и при господствующей роли натурального хозяйства.<sup>1</sup>

И здесь мы приходим к тому же самому выводу, что и выше.

Но наиболее убедительным и самым важным является то, что придется констатировать по отношению к историческому развитию функции денег как мерила стоимости, т. е. по отношению к той из функций, которая имеет определяющее значение для всех остальных.

В приведенной нами цитате Маркс пишет, строго говоря, не о мериле стоимости (Mass der Werte), а о функции денег как простого товарного эквивалента (blosses Warenäquivalent). Есть ли здесь случайная замена одного термина другим или же Маркс сознательно взял термин из исторически наиболее ранней, наиболее примитивной формы стоимостного измерения, когда определенный товар еще окончательно не выделился на специальную роль всеобщего эквивалента, это в данном случае трудно сказать, хотя определение «blosses» указывает, что Маркс придавал в данной связи какое-то значение этому оттенку мысли. Но в данном случае все это не имеет для нас существенного значения. В более развитой или менее развитой форме, но функция денег, как мерила стоимости, неотделима от остальных функций, появление которых Маркс считал возможным даже при сравнительно слабом развитии товарного обмена. Функцию мерила стоимости Маркс называет «первой функцией золота», и называет ее так не потому, что с ней первой начинает свое изложение. Спрашивается теперь, если для появления всех прочих функций денег достаточно уже «относительно слабого еще развития товарного обращения», то на какой ступени своего развития будет находиться функция мерила стоимости при «относительно слабом развитии товарного обращения»? Маркс говорит еще при этом: «как показывает опыт», т. е. он имел в виду конкретные исторические формации.

Можно лишь пожалеть, что Маркс не назвал в данной связи стран и

<sup>1</sup> Особенно важное значение имеет сглаживание национальных золотых цен и образование единых цен мирового хозяйства. При этих условиях «деньги становятся действительно воплощением всеобщего рабочего времени в той мере, в какой обмен веществ реальных видов труда охватывает весь земной шар». («Zur Kritik», S. 154.)

определенных исторических дат, потому что выражение «относительно слабое развитие товарного обращения» можно понимать и как указание на экономику наиболее развитых отношений древнего Востока, и на экономику Греции и Рима периода их расцвета и упадка, и на экономический строй всей Европы в целом времени XII — XIII веков. Кстати, о средних веках Маркс говорит в III томе «Капитала», что они имели «ничтожное денежное обращение». Но надо помнить, что мы имеем здесь совершенно различные степени хозяйственного развития, особенно в отношении средневековья.

\* \* \*

Однако не будем гадать, о каких эпохах и странах думал Маркс, когда писал цитированные выше строки, и попытаемся дать ответ на вопрос, исходя из понимания всей сущности марксовой теории денег в целом и из сопоставления известных фактов из истории хозяйственного развития.

Марксова теория денег является неразрывной частью его общей теории стоимости. Функция денег, как мерила стоимости, входит в качестве важнейшего элемента в весь механизм регулирования товарного хозяйства на основе закона стоимости. Для полного развертывания действия этого закона нужно полное развертывание той экономической базы, на которой с имманентной неизбежностью вырастает регулирование этого типа. В числе основных предпосылок действия закона стоимости и его денежного механизма нужно назвать: 1) разделение труда, охватывающее основную часть продукции общества; 2) рыночный характер хозяйственной связи; 3) свободный труд; 4) рабочую силу как товар; 5) свободу конкуренции и свободный перелив труда и капитала из одних отраслей в другие.

Совершенно очевидно для каждого марксиста, почему все эти элементы должны быть налицо. Чтобы идеальное для *развитого*<sup>1</sup> товарного хозяйства металлическое золотое обращение могло выполнить полностью свою роль во всей системе стоимостного регулирования, необходимы, во-первых, все предпосылки стоимостного регулирования; во-вторых, необходимо, чтобы денежный товар производился на одинаковых условиях со всеми остальными товарами, чтобы производство это было не случайным, а систематическим, и чтобы стоимостное отношение товарного мира постоянно проверялось на условиях производства денежного товара и наоборот. Только при таких условиях весь механизм работает идеально в рамках капитализма, поскольку можно говорить об идеальности рыночного регулирования вообще. В этом случае увеличение металлической денежной массы за пределы того максимума, который требуется товарооборотом, не может вызвать никакой денежно-металлической «инфляции», якобы

---

<sup>1</sup> Я подчеркиваю здесь «развитого» товарного хозяйства, потому что, по моему мнению, золото не только не было, но и не могло быть лучшим денежным металлом для всех эпох на всех стадиях развития товарного обмена, о чем мы еще скажем подробнее ниже.

бросаящей цены вниз, как думают сторонники количественной теории, а в обратном случае — уменьшение денежной массы ниже уровня минимума обращения не может привести к увеличению покупательной способности металла за пределы его стоимости, которая складывается в условиях его производства. В первом случае деньги отливают в резерв обращения, не теряя ничего от своей стоимости, во втором случае увеличивается приток их из резервов обращения. Наоборот, когда обращение, взятое со всеми своими резервами, оказывается недостаточным с точки зрения спроса на золото и серебро и как на денежный товар, и просто как на драгоценный металл, тогда прилив труда и капитала в сферу производства благородных металлов происходит на тех же основаниях, как и в другие отрасли в аналогичных случаях, а именно: при недостаточном удовлетворении спроса расценка металлов в товарах поднимается, временно отрываясь от стоимости вверх, затем в разработку входят менее богатые месторождения, и на старых делается рентабельной более тщательное использование породы, вследствие чего, во-первых, увеличивается масса драгоценных металлов и, во-вторых, удорожается в среднем единица добываемого металла, и, таким образом, расценка металлов в товарах снова возвращается к уровню трудовых затрат. Сложней происходит достижение стоимостного равновесия в том случае, когда стоимость производства денежного металла понижается и установившиеся расценки металла в товарах, т. е. покупательная способность металла, отрывается от себестоимости производства, превосходя ее. Этот случай мы разберем во второй части статьи. Но каковы бы ни были те особенности, которые существуют при установлении стоимостного равновесия между сферами производства денежного товара и сферой производства всех остальных товаров, во всяком случае здесь, по самой сути дела, необходимо максимальное выравнивание условий производства денежного товара и всего товарного индекса и постоянное соприкосновение через рынок этих отраслей.

Спрашивается теперь, в какой степени все это возможно «при относительно слабом развитии товарного обмена», т. е. при условиях, когда большинство продуктов общества еще не принимает товарной формы, когда золото и серебро, хотя и являющиеся уже денежным товаром в это время, не подвергаются систематической разработке в массовом масштабе (потому что только такой масштаб обеспечивает от случайных колебаний их стоимостные взаимоотношения с другими товарами), когда о свободном приливе в сферу их разработки труда и капитала не может быть речи, потому что еще нет капитала, а труд не является в подавляющей сфере отношений свободным, когда перенесение металлов из одной страны в другую в результате завоеваний бросает вниз покупательную способность этих металлов вне всякого отношения к себестоимости производства, когда еще не появилось самой категории себестоимости производства как регулятора хозяйственной деятельности и нормы хозяйственного расчета, когда в эмбриональном состоянии находится сама категория стоимости вообще? Я отвечаю на этот во-

прос так. Не может существовать функции денег в качестве мерил стоимости, в полном, т. е. в современном, смысле этого слова, когда еще не развилась категория стоимости,<sup>1</sup> потому что эта категория не может развиться на узком поле товарооборота, захватывающего лишь незначительную часть продукции общества. И эта функция денег может существовать в этих условиях лишь в зародышевом состоянии. Металлические деньги не могут являться сколько-нибудь совершенными измерителями стоимости в условиях слабого развития товарного хозяйства: пропорции обмена определенных весовых количеств золота на определенное количество товаров являются довольно случайными, подверженными всяким неожиданным колебаниям и далекими от стоимостной эквивалентности. Процент ежегодного нового производства металлов составляет еще ничтожную часть по сравнению со всей наличностью благородных металлов. Ни увеличение ежегодного производства, ни его сокращение не могут повлиять сколько-нибудь заметно на количество металла, находящегося в распоряжении общества, что существенно затрудняет действие всего механизма стоимостного регулирования через денежную систему. Например, в период открытия Америки, если верить проф. Лексису, ежегодное производство золота и серебра в Европе равнялось 18,7 милл. марок при наличии серебра в Европе в конце XV века около 1200—1300 милл. марок, золота в начале XVI века—1800—1900 милл. марок, т. е. производство составляло что-то около  $\frac{1}{165}$  всей наличности благородных металлов. Очень узкий денежный товарооборот, обслуживающий в подавляющем большинстве лишь эксплуататорскую верхушку общества, отсутствие массового производства на массовый рынок, отсутствие массового производства благородных металлов вообще и какой бы то ни было добычи их в ряде стран при слабых межнациональных торговых связях, следовательно отсутствие массовой проверки трудовых затрат в сферах производства товаров в сравнении с сферой производства золота,—все это делало благородные металлы весьма ненадежными измерителями стоимости. Можно сказать, — и я мог бы доказать это на ряде примеров из истории хозяйства, — что денежные системы древности, построенные на серебре или золоте, носили сугубо аристократический, эксплуататорский, социально-верхушечный характер; здесь роль металлов в качестве денежного товара не только переплеталась с их ролью в качестве предметов украшения, роскоши и богатства, но и сами монеты были в значительной степени предметами украшения, медалями и т. д. Настоящая экономическая история денег, к огорчению нумизматов, должна очень многие монеты прошлого перенести из категории денег в категории средств украшения, не имеющих того хозяйственного значения, какое имеют деньги как феномен массового характера. Для этого периода хлеб, скот и прочие продукты массового производства и массового

<sup>1</sup> Когда Маркс говорит в «Критике», что стоимость имеет допотопное существование, то в данном случае дело идет о зачатках меновой стоимости, а не о развитой категории стоимости, которой подчинено все хозяйство общества.

потребления, удельный вес которых в торговле был очень велик, могли быть и фактически были более надежными мерилami стоимости, чем металлические деньги, стоимость производства которых трудно поддавалась систематическому измерению на массовых масштабах добычи. Трудовые затраты при производстве этих основных элементов торговли скотоводческих народов и народов земледельческих, имевших хлебные излишки, легче поддавались учету и легче проверялись на практике повседневной хозяйственной деятельности.

\* \* \*

Посмотрим теперь, что говорил по рассматриваемому вопросу сам Маркс, и постараемся систематизировать отдельные замечания, разбросанные им в различных местах его сочинений. Самым важным из этих мест, имеющим высоко принципиальное теоретическое значение, мы считаем то место из I тома «Капитала», где Маркс, говоря об Аристотеле, показывает, почему античная мысль не только не поднялась, но и не могла подняться до понимания категории стоимости. Аристотель говорит, что «обмен не может иметь места без равенства, а равенство без соизмеримости. Однако в действительности невозможно, чтобы столь разнородные вещи были соизмеримы», т. е. качественно равны. Такое приравнивание может быть лишь чем-то чуждым истинной природе вещей, следовательно «лишь средством, к которому прибегают под давлением практической необходимости» (Notbehelf). «Таким образом, Аристотель сам говорит нам, обо что разбилась его попытка дальнейшего анализа, — именно об отсутствие понятия стоимости... «Тот факт, что в форме товарной стоимости все виды работы выражаются как одинаковый и потому равнозначный (gleichgeltend) человеческий труд, — этот факт Аристотель не мог вычитать из самой формы стоимости, потому что греческое общество основывалось на рабском труде и, следовательно, имело своим естественным базисом неравенство людей и их рабочих сил. Тайна выражения стоимости, — а именно равенство и равнозначность всех видов труда, поскольку они являются человеческим трудом вообще, — эта тайна может быть раскрыта лишь тогда, когда понятие человеческого равенства приобрело уже прочность народного предрассудка. А это возможно лишь в таком обществе, где товарная форма есть общая форма продукта труда, следовательно отношение людей друг к другу в качестве товаровладельцев является господствующим общественным отношением. Гений Аристотеля блестяще проявляется именно в том, что он открывает в выражении стоимости товаров отношение равенства. Лишь исторические границы современного ему общества помешали ему найти, в чем заключается «в действительности» это отношение равенства».<sup>1</sup>

Это место из «Капитала» имеет чрезвычайно важное общее значение, далеко выходящее за пределы затронутой мною темы. Не говоря об исто-

<sup>1</sup> «Kapital», I. B., Hamburg, 6. Auflage, S. 26—27; русский перевод стр. 21—22 изд. 1929 г.

рико-социологическом содержании этого места, а лишь об экономическом, мы можем констатировать следующее. В античном обществе, построенном на рабском труде, на неравенстве рабочих сил и при преобладании натурального хозяйства категория стоимости, как господствующая категория общественных отношений производства, не развилась и не могла развиваться. Античная мысль не раскрыла и не могла раскрыть сущности этой категории, не развитой в самой действительности, потому что не имела перед глазами ничего, кроме той формы стоимости, в какой эта стоимость находила свое выражение в деньгах той эпохи. А эту денежную форму можно назвать лишь весьма примитивной формой стоимости, даже если иметь в виду, что дело идет о деньгах античного мира, которые отнюдь еще не являлись всеобщим эквивалентом, связывающим через рынок работающих на основе разделения труда свободных производителей в единый хозяйственный организм, не являлись эквивалентом, собственная стоимость которого проверяется, — поскольку в данном случае дело идет о металлических деньгах, — на регулярном массовом производстве благородных металлов. В древней Греции и Риме в период их расцвета лишь намечалась тенденция к уравниванию труда рабов с трудом низших классов, тенденция, которая не взяла верх и которая могла бы возобладать лишь в том случае, если бы развитие товарного хозяйства и нивелирующая роль рынка уравнивали рабский и свободный труд на рынке, а рынок развился бы в нечто большее, чем потребительский рынок эксплуататорской верхушки общества и обслуживающих ее групп населения.

Вследствие неразвитости отношения стоимости оказывается неразвитой тем самым и категория цены. Маркс пишет в «Критике»:

«На месте своего производства золото такой же товар, как и всякий другой товар. Здесь относительная стоимость золота и железа или любого другого товара представляется в тех количествах, в которых они взаимно обмениваются друг на друга. Но в процессе обращения эта операция уже заранее предполагается, в товарных ценах собственная стоимость золота уже дана».<sup>1</sup> Где же и как происходит это стоимостно-уравнивательное соприкосновение золота с остальным товарным миром?

В другом месте «Критики» Маркс говорит об этом: «Мерой стоимости золото становится только потому, что все товары измеряют в нем свою меновую стоимость. Но всесторонний характер этого отношения... предполагает, что каждый отдельный товар измеряется в золоте в соответствии с содержащимся в них обоим рабочим временем, что, следовательно, действительной мерой товара и золота служит сам труд или что товар и золото в непосредственной меновой торговле приравниваются друг к другу как меновые стоимости. Каким образом происходит это приравнивание на практике, *не может быть объяснено в стадии простого обращения* (курсив мой. — Е. П.) Тем не менее, очевидно, что в странах, производящих золото

<sup>1</sup> «Zur Kritik». Stuttgart, 3. Aufl., S. 78; русск. пер., стр. 104.

и серебро, определенное рабочее время воплощается непосредственно в определенном количестве золота и серебра; в странах же, не производящих ни золота, ни серебра, тот же самый результат достигается обходным путем, при помощи непосредственного или посредственного обмена туземных товаров, т. е. определенной доли национального среднего труда, на определенное количество воплощенного в золоте и серебре рабочего времени стран, обладающих рудниками.<sup>1</sup>

Достаточно мысленно воспроизвести хозяйственные условия античного мира, чтобы убедиться, как далеки они были даже в период самого высшего их развития от тех предпосылок, которые необходимы для полного развития функции денег как мерила стоимости.

Во-первых, заметим, что дело может идти в данном случае главным образом лишь о серебре, потому что добыча золота в районе европейских границ античной цивилизации была совершенно ничтожной. В местах же производства серебра (в Греции — в рудниках Лавриона, в Риме — в рудниках Испании, отнятых у карфагенян) добыча велась с применением рабского труда. Рабский же труд не поддавался учету путем сравнения его, во-первых, со стоимостью самой рабочей силы и ее воспроизводства и, во-вторых, с эффективностью труда в других отраслях производства, как все это имеет место при капиталистической системе. Приобретение рабов носило военно-грабительский характер. Сама система не воспроизводила рабскую рабочую силу, а потому количество труда, воплотившееся в единице серебра, не могло подвергаться регулярному стоимостному измерению во всем хозяйстве как целом. Вследствие этого и само серебро не могло быть сколько-нибудь совершенным мерилем стоимости в нашем смысле этого слова или, точнее говоря, эта функция его была зародышевой и выполнялась грубо примитивным и приблизительным образом.

Рабовладельцу, разумеется, не чуждо было представление о количественном измерении рабского труда; он мог отличать вещи, которые стоили 30 дней труда, от вещи, которая отнимала 3 часа работы раба. Но у него не было ни большой практической необходимости, ни структурно-экономической возможности руководствоваться предпосылками эквивалентного обмена там, где он или покупал что-либо, или продавал. Это относится и к той сфере, где серебро выходило из производства, чтобы затем перейти в предметы роскоши, превратиться в монету или обменяться на другие товары. А к этому еще надо прибавить большие передвижки благородных металлов из страны в страну в результате завоеваний, вследствие чего чрезвычайно узкие эксплуататорские рынки после военных побед испытывали такое сильное давление «платежеспособного спроса», не уравновешиваемого никаким товарным предложением или расширением производства, что товарные цены, и без того очень далекие от стоимостных уравнений себестоимости производства товаров и производства благородных металлов, стремительно ска-

<sup>1</sup> «Zur Kritik...», S. 49 — 50; русск. пер., стр. 106.



нали вверх, вскрывая тем самым и чрезвычайную слабость рынка, и слабое развитие меновой стоимости, и лишь зародышевое состояние стоимостного регулирования вообще. При таких условиях и резкое изменение в соотношении стоимости золота и серебра также лишь в отдаленной степени и весьма грубым образом определялось изменениями в области трудовых затрат на их производство.

Маркс не один раз останавливался на факте золотой и серебряной инфляции в древности и указывал на то, что влияние этой инфляции на цены отнюдь не доказывает правильности количественной теории. Самый метод его возражения количественникам построен на отрицании существования в античном мире развитого стоимостного регулирования хозяйственной жизни, следовательно на подчеркивании ошибочности отождествления античных хозяйственных условий и роли денег в античном мире с условиями капиталистического периода. Маркс писал:

«В Греции... и в Риме образование сокровищ, как постоянно обеспеченной и пригодной для употребления формы избытков, становится постоянным правилом политики. Быстрое перенесение таких сокровищ из одной страны в другую завоевателями и частичный внезапный прилив их в обращение составляют особенность античной экономики.<sup>1</sup> Колебание в соотношении стоимости золота и серебра имеет особенно важное значение, так как оба они параллельно служат на мировом рынке в качестве денежного материала. Чисто экономические основания такого изменения стоимости, — завоевания и другие политические перевороты, оказывавшие большое влияние на стоимость металлов в древнем мире, имеют только местное и преходящее действие, — должны быть сведены к изменениям в рабочем времени, необходимом для производства этих металлов.<sup>2</sup>

«Совершенно неуместными являются излюбленные ссылки учеников Юма на повышение цен в античном Риме в результате завоевания Македонии, Египта, Малой Азии. Свойственное древнему миру внезапное и насильственное перемещение накопленных денежных сокровищ из одной страны в другую, временное уменьшение издержек производства благородных металлов для данной страны при помощи простого процесса грабежа так же не изменяет имманентных законов денежного обращения, как, положим, бесплатная раздача египетского и сицилийского хлеба в Риме не изменяет общего закона, регулирующего цену хлеба».<sup>3</sup>

Во всех этих цитатах особенности хозяйственных условий античного мира, как не характерные для обстановки развитого товарного хозяйства, противопоставляются условиям, в которых действуют «имманентные законы денежного обращения». Если в условиях массового товарного производства, массовой и регулярной добычи благородных металлов и широ-

<sup>1</sup> «Zur Kritik...», S. 124; русск. пер., стр. 176.

<sup>2</sup> Там же, стр. 161; русск. пер., стр. 209 — 210.

<sup>3</sup> Там же, стр. 167; русск. пер., стр. 216.

кого международного разделения труда и мировых хозяйственных связей насильственные перенесения благородных металлов из одной страны в другую могут оказывать лишь временные и случайные действия на цены, а то и не оказывать никакого заметного действия (как было, например, при перекачке пятимиллиардной контрибуции из Франции в Германию в 1871 г.), то в античном мире, наоборот, такое перенесение ценностей и вызывавшиеся этим революции в ценах составляли «особенность античной экономики». Эта «особенность» как раз и заключалась в том, что чрезвычайно слабое развитие элементов товарного хозяйства и товарной торговли, очень слабый базис для денежного обращения, при отсутствии регулярной проверки стоимости благородных металлов путем систематической связи товарного производства металлов с товарным производством вообще, делали революции в ценах от переноса сокровищ из одной страны в другую явлением неизбежным. Не было случайностью ни само перенесение масс благородных металлов, ни действие такого переноса на цены, потому что не случайной была слабость рыночных связей, ничтожная емкость всего обращения и неразвитость всей системы стоимостного регулирования хозяйственной жизни вообще.

Следует отметить здесь еще и тот характерный факт, что в древности стоимость золота и серебра тряслась часто, как от лихорадки, хотя условия добычи и серебра, и золота со стороны технической на протяжении сотен лет почти не менялись. А это значит, что колебания в стоимости не были связаны с производством, т. е. с действительными стоимостными отношениями. Наоборот, в Европе на протяжении последних пяти столетий колебания в стоимости серебра все с большей и большей точностью отражали изменения в условиях производства серебра.

В переписке с Энгельсом Маркс в одном месте затрагивает эту тему, говоря: «Из развития закона, согласно которому обращающееся количество [денег] определяется ценами, вытекает, что здесь создаются предпосылки, которые существуют отнюдь не при всяких общественных формациях; поэтому нелепо, например, приток денег из Азии в Рим и действие его на цены в Риме tout bonnement приравнять к современным коммерческим условиям».<sup>1</sup>

Общий итог, к которому мы, таким образом, приходим, сводится к следующему:

1) Деньги могут появляться и исторически появились даже при относительно слабом развитии товарного обмена, и при относительно слабом развитии его могут уже проявляться все их основные функции. Но эти функции находятся еще в зародышевом состоянии, как и сами отношения товарного хозяйства, выражением которых в определенной области деятельности и человеческих отношений они являются.

<sup>1</sup> «Briefwechsel», В. II., *Marx-Engels Gesamtausgabe*, S. 310—311 (*К. Маркс и Ф. Энгельс*, Сочинения, т. XXII, стр. 329).

2) Это доказывается историческим анализом генезиса и развития каждой из функций денег и особенно ярко — историей основной функции денег, функции меркла стоимости.

3) При слабом развитии товарного обмена и тем более, когда слабое развитие денежного хозяйства соединяется с рабовладельческой системой производства, деньги могут быть лишь весьма несовершенным, грубо-приблизительным, точнее — зародышевым мерклом стоимости. И их количественное скопление в определенных географических пунктах, и их стоимость, получающая свое внешнее выражение в ценах остальных товаров, подвержены очень большим колебаниям под влиянием случайных обстоятельств, не вытекающих из условий их производства. Постоянная подверженность таким случайностям не является, однакоже, случайной для периода слабого развития товарного обмена и товарного производства денежного материала.

4) Является грубейшей ошибкой понятие развитой категории стоимости (какой она выступает в эпоху капитализма) и связанное с этим понятие о деньгах с развернутыми функциями переносить на эпохи слабого развития товарного обмена, когда все эти основные функции хотя и появляются одновременно, но лишь в зачаточном виде.

С этой точки зрения металлические деньги Рима, взятые со стороны их экономической сущности, имели, пожалуй, больше сходства с чем-то вроде металлических талонов на распределение награбленной добычи среди верхушки эксплуататоров, чем с деньгами развитой капиталистической системы.<sup>1</sup> Даже деньги позднего средневековья очень отличны от денег капиталистического периода и весьма еще несовершенны как мерило стоимости.

5) Является грубой ошибкой искать в денежном обращении Греции и Рима иллюстрации или подтверждения законов денежного обращения (например, марксова закона о количестве денег, необходимых для обращения), которые предполагают развитие категории цены и стоимости вообще и в частности стоимости денежного металла, систематически проверяемой в производстве и сфере обмена серебропромышленности и золотопромышленности с общим рынком товаров.

Вот те беглые замечания, которые я должен сделать для интерпретации первой мысли Маркса об историческом развитии функций денег. Я мог бы развить свою аргументацию гораздо подробнее, в частности привести ряд

<sup>1</sup> Это утверждение может показаться слишком рискованным, но я должен указать здесь лишь на одно решающее обстоятельство, поскольку не могу говорить на эту тему подробней: если представители господствующего класса Рима получали путем грабежа золото и серебро, ткани, предметы украшения и даже предметы питания, а затем переделывали все это применительно к определенным весовым количествам золота и серебра, то ведь в этом случае деньги не имели обращения в марксовом смысле этого слова. Правда, и в Греции, и в Риме были сферы хозяйственных отношений, где обращение было. Но задача науки в том и состоит здесь, чтобы провести разграничение между этими совершенно различными вещами и определить удельный вес в обществе каждого из этих отношений.

многочисленных примеров из истории денег Востока и античного мира, но это приходится, к сожалению, отложить до другого раза, так как подобные иллюстрации потребовали бы целой статьи.

\* \* \*

Прежде чем перейти ко второй мысли Маркса, заключающейся в рассматриваемом нами месте из I тома «Капитала», ликвидируем возможное недоразумение, которое может появиться из сопоставления только что приведенных цитат из Маркса и их интерпретации с некоторыми местами из «Анти-Дюринга» Энгельса. Говоря о предмете политической экономии, Энгельс писал в «Анти-Дюринге»:

«Само собою разумеется, что законы, имеющие силу для определенных способов производства и обмена, могут иметь значение для всех исторических периодов, для которых являются общими именно эти способы производства и обмена. Так, например, с введением металлических денег начинает действовать ряд законов, сохраняющих свою силу для всех стран и исторических периодов, в которых металлические деньги являются средствами обмена» (den Austausch vermittelt).<sup>1</sup>

В другом месте «Анти-Дюринга» Энгельс, указав на то, что при товарном производстве количество труда, потраченное на производство продукта, измеряется не прямым путем в часах, а косвенным путем, в другом товаре, пишет: «Но хотя товарное производство и товарный обмен принуждают базирующееся на них общество прибегать к такому косвенному пути, они заставляют его в то же время по возможности укоротить этот путь. Они выделяют из общей плебейской массы товаров один аристократический (fürstliche) товар, в котором раз навсегда оказывается выразимой стоимостью всех других товаров, — товар, который рассматривается как непосредственное воплощение общественного труда и который непосредственно и безусловно может обмениваться на все другие товары, это — деньги. В понятии стоимости в зародыше уже содержатся деньги, они представляют из себя лишь ее развитую форму».<sup>2</sup>

В первой цитате из Энгельса нас интересует в данной связи не ее начало, а ее конец. Ни в коем случае нельзя понимать это место таким образом, что, с появлением в стране или группе стран металлических денег, в этих странах начинают действовать *все законы* денег и денежного обращения, независимо от того, на каком уровне развития меновой стоимости находятся эти страны и какое социально-экономическое содержание имеют их деньги. Такое понимание этого места прямо противоречит ряду цитат из Маркса, которые мы уже приводили, и в особенности цитате из письма Маркса к Энгельсу от 4 апреля 1858 г., написанного почти двадцатью годами раньше «Анти-Дюринга». Нелепо думать, что в стране с едва начавшимся

<sup>1</sup> Engels, Anti-Dühring, Berlin, 1928, S. 150.

<sup>2</sup> Там же. стр. 333.

развитием денежного обмена деньги уже являются мерилем стоимости, столь же совершенным, как в условиях капиталистической экономики; что из их эмбриональной функции средства обращения уже могут появиться заместители металлических денег — бумажные деньги, хотя бы внутреннее обращение данной страны находилось в зачаточном состоянии и все движение по «каналам обращения» состояло в передвижке денег от полсотни замлевладельцев к трем десяткам купцов и внутри сословия купцов; что из функции денег, как средства платежа, в Аргосе V века до нашей эры или в Афинах IV столетия могло появиться банкнотное обращение; что в Риме денежное обращение управлялось теми же законами, которые действовали в Англии XIX века, или что казна Ивана Калиты могла играть важную роль в качестве регулятора металлического обращения. Наоборот, цитированную мысль Энгельса надо понимать в том смысле, что с появлением в тех или иных странах металлического обращения в этих странах начинают действовать *все те законы металлического обращения, которые соответствуют данному уровню экономического развития этих стран.*

Что касается второго места из Энгельса, вернее — последней строчки приведенной цитаты, то там речь идет не о развитой категории стоимости развернутого товарного хозяйства, где уже действует закон *стоимости* как регулятор экономической жизни и где деньги адекватны по степени развития своих функций этому уровню хозяйства, — дело идет у него о самом общем понятии стоимости, которое охватывает и самые ранние ступени развития меновых отношений. В начальной стадии развития регулярных меновых связей стихийно нащупывается отношение стоимости, и оно уже имеется в примитивной форме до выделения из товарного мира всеобщего эквивалента. Следующая стадия, это — выделение всеобщего эквивалента, материализация его в определенном товаре. Деньги здесь представляют уже более развитую форму стоимости. Но если это деньги стран, где еще не развито товарное хозяйство как господствующая форма производства, то деньги хотя вообще и представляют развитую форму стоимости, но в данном случае сама стоимость, как господствующая категория *производства*, не является еще развитой. В данном случае деньги представляют, если можно так выразиться, развитую форму неразвитой стоимости.

Энгельс в цитированном месте говорит, что понятие стоимости распространяется и на эмбриональное стоимостное отношение безденежной меновой торговли, которое уже в потенции содержит в себе будущие деньги. Деньги каждой ступени экономического развития имеют свою физиономию. Нет неизменной категории денег, общей во всех своих видах всем ступеням менового хозяйства. Тот, кто некритически вкладывает в понятие денег самых различных ступеней хозяйственного развития одинаковое содержание, тот разрывает с самой сутью не только марксовой теории стоимости и теории денег, но и со всей марксистской методологией вообще, а кроме того напяливает грубейшую абстракцию на весьма различные и весьма свое-

образные периоды в истории хозяйства, тем самым доказывая свою неспособность писать именно *историю* хозяйства. Эта абстракция незнания сильнее всего затрудняет исторический анализ так называемых простых категорий политической экономии, потому что предполагает простым и известным как раз то, что надо изучить. Исторический анализ простейших категорий весьма сложен. Он вряд ли легче анализа конкретных и развитых категорий, хотя бы уже по одному тому, что с точки зрения теоретико-познавательной он может начаться только после изучения развернутых конкретных категорий, которые раскрывают конечный смысл всего движения. Деньги не вещь, а общественное отношение, сказал Маркс еще в «Нищете философии». Деньги не вещь, а овеществленное общественное отношение. Материал их — золото и серебро — остался неизменным со времени критского царства Миноса; римские же монеты и по внешности мало отличаются от монет европейских стран до изобретения механической чеканки. А между тем, с тех пор общественные отношения, не отпечатанные на металле монеты, изменились настолько же, насколько римская экономика эпохи императоров отличается от экономики современного капитализма.

\* \* \*

Обратимся теперь ко второй мысли Маркса, содержащейся в разбираемой нами цитате из IV главы 2-го отдела I тома «Капитала». Маркс говорит там, что различные формы денег, смотря по объему действия и относительному значению той или иной их функции, означают весьма различные ступени общественного производственного процесса.

Прежде всего о том, как не надо понимать это место. При поверхностном знакомстве с марксовой теорией стоимости не исключено такое понимание этого места, что деньги с самого момента их появления *развертывают полностью все свои функции*, но на одной ступени экономического развития так сказать физическое количественное преобладание имеет одна функция, на другой ступени — другая, на третьей — третья. Такое грубо механистическое понимание Маркса совершенно противоречит смыслу рассматриваемой цитаты и общему духу его теории денег и стоимости. Что деньги, с момента их появления, имеют все свои функции не в развернутом, а в зародышевом состоянии, это мы уже доказали выше. Тем самым, рассуждая логически, отпадает и второе утверждение, если его рассматривать как продолжение первого и брать их во взаимной связи. Но мы покажем несостоятельность второго утверждения и на материальном содержании исторического развития денег и докажем, что если та или иная функция денег получала больший или меньший удельный вес на различных ступенях экономического развития, то все это сочеталось одновременно с историческим развитием всей категории денег, сочеталось с постепенным развертыванием всех функций денег.

Обратимся, однако, к фактам из истории хозяйства и денег. Возьмем

страны со слабым развитием товарной торговли, но такие, где уже существует ростовщический капитал, который берет процент и с разоряющейся земельной аристократии, и с мелких производителей. Слабое развитие товарного обмена вообще, в частности ничтожная емкость внутреннего товарного рынка и внутреннего товарооборота, не создают почвы для появления постоянных и сколько-нибудь значительных каналов внутреннего денежного обращения. Покупки и продажи не составляют непрерывного во времени и широкого по охвату потока. Незначительные по размерам товарные сделки в большинстве случаев разорваны во времени. Вследствие этого роль денег, как средства обращения, еще совершенно ничтожна, и функция эта не только находится в зародышевом состоянии с точки зрения ее генезиса и развития присущих ей потенциальных форм, но на данном уровне развития товарного хозяйства не может получить так сказать чисто количественного распространения и большого удельного веса в сравнении с другими функциями денег. Наоборот, функция денег как платежного средства, при данном уровне развития товарного хозяйства, хотя и представлена своей самой элементарной, самой зачаточной формой, но удельный вес этой элементарной функции, наряду с другими историческими, столь же элементарными функциями, совсем другой. Данная функция играет в этот период главную роль. Именно она, плюс еще отчасти функция сокровища, дает свою физиономию деньгам этого периода. Маркс писал о ростовщичестве: «Широкой и притом специфической ареной ростовщичества является функция денег как платежного средства. Всякие денежные повинности, приуроченные к определенному сроку: аренда, подати, налоги и т. д., сопряжены с необходимостью денежных платежей».<sup>1</sup> В то же время он говорит: «Для существования ростовщического капитала требуется лишь, чтобы, по крайней мере, часть продуктов превращалась в товары, и в то же время, наряду с развитием торговли, и деньги могли развить свои различные функции».<sup>2</sup> Таким образом, та форма проявления функции денег как платежного средства, которая выступает при ростовщическом капитале, весьма примитивна и требует весьма небольшого развития отношений товарного хозяйства. Но и для этой примитивной формы платежного средства нужно, чтобы деньги могли развить уже и другие функции, хотя бы в столь же примитивном виде, в соответствии с примитивной ступенью развития самого товарного хозяйства. Маркс даже говорит: «Чем незначительнее та роль, которую в общественном воспроизводстве играет обращение, тем пышнее расцветает ростовщичество».<sup>3</sup> В этот период фетишизация денег достигает своего апогея, и они кажутся всеобщим, абстрактным, мистическим богатством. «Чем менее развит товарный характер продукта, чем менее полно меновая стоимость подчинила себе производство, тем более деньги как таковые кажутся богатством в собствен-

<sup>1</sup> «Das Kapital», В. III., Vorkapitalistisches.

<sup>2</sup> «Das Kapital», Hamburg, 1919. В. III, Т. 2., S. 132.

<sup>3</sup> Там же.

ном смысле, богатством вообще, в противоположность той ограниченной форме его бытия, в какой оно существует в потребительных стоимостях. На этом базируется накопление сокровищ. Оставляя в стороне деньги как мировые деньги и как сокровища, именно в форме средства платежа деньги выступают как абсолютная форма товара».<sup>1</sup> Насколько примитивна, однако, функция денег, как платежного средства, в период начального развития товарного хозяйства и расцвета ростовщичества, видно хотя бы из того, что ростовщичество возможно в обществе, где функция денег как платежного средства, даже в ее самой элементарной форме, не имеет сколько-нибудь широкого пространственно-экономического распространения, когда еще государственные налоги остаются натуральными, а также многие повинности частно-правовыми, т. е. когда функция средства платежа лишь на небольшом поле общественных отношений выполняется деньгами. И достаточно сравнить деньги, в роли средства платежа, этого периода хозяйственного развития с банкнотой XIX века или ролью золота при покрытии сальдо расчетных балансов между странами во внешней торговле, чтобы видеть, как отличаются между собой эти две полярные формы одной и той же функции: деньги ростовщического капитала, например древнего Рима, и кредитные деньги XIX — XX веков; которые «ограничивают монополию благородных металлов».

В рассматриваемый период все функции денег недоразвиты, но по удельному весу функция средства платежа, отчасти сокровища, является преобладающей. Но чем больше ростовщичество выходит за пределы такой формы капитала, которая «не меняет способа производства, а лишь крепко присасывается к нему, как паразит, и разоряет его»,<sup>2</sup> чем больше оно превращается в инструмент накопления средств производства для более высокой ступени хозяйства, тем больше становится удельный вес функции денег в качестве сокровища и тем быстрее меняется и сама форма сокровища: из абстрактного богатства, сосредоточенного в немногих руках и служащего потребительским резервом владельца и орудием простого разорения данного способа производства, оно превращается в форму накопления *средств производства и обмена* для более прогрессивного типа хозяйства. Одновременно продвигается вперед и развитие «формы проявления» других функций: деньги, как мерило стоимости, делаются более совершенными, потому что разработка драгоценных металлов делается более систематической и увязанной с международной торговлей; с другой стороны — увеличивается объем внутреннего товарооборота. На авансцене — деньги, у которых выступает на первый план их функция сокровища; именно эта функция набрасывает характерные штрихи на деньги этой эпохи, именно эта функция денег делает музыку в эпоху торгового капитала и меркантилизма.

Но после открытия Америки в странах, связанных с мировой торговлей,

<sup>1</sup> Der Tausch. S. 137.

<sup>2</sup> Там же, стр. 135 Г.



с большой быстротой развивается внутренний рынок. Разделение труда делает огромный шаг вперед. Каждый производитель в той или иной степени связывается с рынком, хотя бы часто еще локальным. Каналы денежного обращения, подобно капиллярным сосудам, доходят уже до каждого крестьянского двора, не говоря о ремесленниках и кустарях. Внешняя торговля развивается на базе внутреннего массового производства на экспорт. Растет массовое производство и для внутреннего потребления. Функция денег как сокровища блекнет; за золотом и серебром выступают контуры тех товаров, которые можно и нужно на них купить для перепродажи или для производства на рынок. На авансцену выступает функция денег как средства обращения. В области экономической теории старомодные представления меркантилизма, еще ранее оспаривавшиеся Буагильбером и Вобаном, сменяются теориями физиократов, Монтескье, Юма, развенчивающих металлические деньги и выдвигающих на первый план их функцию средства обращения, т. е. функцию, которая выростала уже в экономической действительности, — ту функцию, в которой металлические деньги могли быть заменены их бумажными представителями. Начинается эпоха бумажно-денежных эмиссий (Северо-Американские Штаты, Франция, Россия, Австрия), и не случайно начинается именно в этот период. Но и остальные функции денег, хотя и несколько отодвигаемые на задний план, развертываются по исторически восходящей спирали параллельно с развитием функции средства обращения. Денежный материал в своей стоимости в гораздо большей степени зависит от условий массового производства во всех частях света. После революции цен в XVI и частью в XVII столетиях наступает период большой устойчивости в стоимости денежного материала и в стоимостных отношениях между золотом и серебром. Достаточно сказать, что курс серебра в золоте остается без изменения в течение 150 лет, а затем обращение в самой передовой в хозяйственном отношении стране, Англии, постепенно переходит с серебра на более идеальный (для данного периода) денежный материал и мерило стоимости — на золото. В то же время неуклонно растет значение металлических денег в качестве международного средства платежа, а с другой стороны, из-за векселя начинает проглядывать банкнота.

XIX век есть период наиболее полного развития кредитных денег. Но одновременно деньги играют огромную роль в качестве внутреннего средства обращения, а кредитные билеты государства и банкноты, с другой стороны, чрезвычайно суживают функции обращения металлических денег в их натуральном, вещном виде (имея их своей базой с финансово-экономической точки зрения), но зато, с развитием мирового хозяйства, тем большую роль приобретает золото для расчетов между странами и для поддержания вексельных курсов. В то же время выключение серебра из роли мерила стоимости, совершившееся в XIX веке, проходит без всякого потрясения в области цен мирового рынка, что указывает на очень большое совершенство, которого достигли деньги XIX века в своей функ-

ции мерила стоимости, и на очень большую эластичность всей денежной системы вообще.

Такова в двух словах экономическая история денежных функций. Хозяйственное развитие на различных ступенях нажимает больше то на ту, то на другую из функций денег, создавая в то же время объективные предпосылки для совершенствования и развития всех функций денег, создавая одновременно для всех их большую гибкость, взаимосвязанность и большее разнообразие форм.

\* \* \*

Чтобы длина пройденного экономическим развитием пути была особенно рельефно видна, лучше всего взять его крайние звенья: исходный пункт появления денег на арене хозяйственной истории и последнее звено — развитие денежного капиталистического хозяйства. Это раннее исходное звено мы могли бы иллюстрировать массой фактов из того периода, когда деньги существовали, но обслуживали натуральное хозяйство, и поэтому все их функции находились в самом зародышевом состоянии. С тех пор как умер Маркс, история хозяйства древности, археология и нумизматика обогатили науку рядом новых данных. Суммируя эти данные, можно сказать, что период появления денег, в частности монетный период, отодвинулся назад, но, с другой стороны, более тщательная оценка экономического значения денег на ранних ступенях развития заставляет критически пересмотреть все выводы о денежном хозяйстве на Востоке и в античном мире, которые были сделаны без достаточного учета специфической роли и хозяйственной физиономии денег этого периода, что способствовало распространению со стороны некоторых историков грубо механистических и упрощенно вульгарных аналогий между деньгами древности и деньгами современного капитализма (которые вызывали столь же упрощенный отпор, как, например, в полемике К. Бюхера с его противниками о характере античного хозяйства).

Если хозяйство в основном является еще натуральным, если денежно-товарное движение на общем фоне натурального хозяйства представляется в форме маленьких и узеньких ручейков, которые не делают музыки в хозяйстве и которые перемещают лишь малую часть из всей продукции общества, то здесь денежный обмен служит лишь коррективом, дополнением к натуральному хозяйству, и пропорции обмена являются еще весьма случайными. «Денежное и товарное обращение, — пишет Маркс, — может обслуживать сферы производства самых разнообразных организаций, которые по своей внутренней структуре все еще имеют главной целью производство потребительной стоимости».<sup>1</sup> Но в этом случае важнейшая функция денег, функция мерила стоимости, находится в столь зародышевом состоянии, что сравнивать ее с соответствующей функцией денег развитого

<sup>1</sup> «Das Kapital», Hamburg, 1922, 6. Auflage, S. 312.

капитализма — почти то же, что сравнивать жолудь с дубом. «Количественное отношение, в котором продукты обмениваются друг на друга, сначала совершенно случайно. Они принимают товарную форму потому, что они вообще могут обмениваться, т. е. потому, что они суть выражение одного и того же третьего».<sup>1</sup> Но если это третье есть труд, воплощенный в деньгах, то эти деньги на разных ступенях появления металлических денег сами не являются продуктом систематического производства, такого производства, когда их стоимость регулярно измеряется трудом в условиях массовой добычи благородных металлов. К этому прибавляется еще и тот факт, что самый обмен, обслуживающий в огромном большинстве случаев лишь эксплуататорские верхушки общества, не является жизненной необходимостью для существования данной экономической формации. А если получить некоторые предметы обмена и бывает крайне необходимо (в случае, например, отсутствия соли, металлов), то никакой жизненной необходимости нет именно в эквивалентном обмене. Достаточно сравнить под этим углом зрения, например, вотчинное хозяйство раннего средневековья и капиталистическое предприятие современности. Если вотчинное хозяйство из всей продукции потребляет внутри 90% и продает 10% для обмена на продукты других хозяйств или других стран, то увеличение цен на эти покупные продукты, допустим на 25%, составляет потерю при обмене лишь 2,5% рабочей силы, материализованной в продукции вотчины, т. е. величину, очень мало заметную. Такая потеря ни в какой степени не может пошатнуть хозяйственное равновесие этой хозяйственной единицы. Наоборот, если мы имеем капиталистическую фабрику с 1 миллионом годовой валовой продукции, вложенным капиталом, допустим, в 300 000 тысяч и средней нормой прибыли в 10% (т. е. с годовой прибылью в 30 000 рублей), то длительное падение цен на продукцию этой фабрики на те же 25% не только не даст прибыли, но съест почти весь капитал предприятия, т. е. ликвидирует его с финансово-экономической точки зрения. Даже падение продажных цен только на 5% лишит предпринимателя всей прибыли и заденет на 20 000 р. его капитал. Совершенно очевидно, что в случае с денежным обменом вотчины мы имеем такое положение, когда эквивалентность обмена не имеет жизненного хозяйственного значения. Но ведь эта эквивалентность не имеет жизненного значения и в том случае, когда дело идет о покупках на золото, приобретенное в результате грабежа, или, если элиминировать эту сторону отношений (отнюдь не имевших единичный или случайный характер в рассматриваемую эпоху), а взять условие добычи благородных металлов при господстве натурального хозяйства, то и здесь эквивалентность не была жизненной хозяйственной необходимостью. Если феодал, владевший поместьями с крепостным трудом, разрабатывал тем же крепостным трудом серебряный рудник, то, при даровой работе на этом руднике и натуральном снабжении работников из продукции даро-

<sup>1</sup> Там же, стр. 314.

вого крепостного труда других вотчин, эквивалентность обмена серебра как товара на товары, доставляемые, допустим, купцом, также не имела жизненного значения для феодала. Здесь возможно было хищническое расточение дарового труда, совершенно непропорциональное трудовым издержкам на производство и транспорт товаров, покупаемых на добытое серебро.

Лишь при добыче благородных металлов свободным трудом мелких самостоятельных производителей появляется первый естественный предел затраты труда в этой области; этот предел — возможность просуществовать на продукты, получаемые в обмен на добытое золото или серебро. Только в условиях вольнонаемного труда при добыче денежного материала, когда сама рабочая сила есть товар, воспроизводимый на базе рыночного обмена, себестоимость самого золота и серебра не есть нечто случайное, а подвергается контролю всего производственно-распределительного механизма общества и мирового товарного рынка. Здесь эквивалентность обмена жизненно необходима и для самого производства денежного материала, и для всего процесса воспроизводства во всей экономике общества. И только здесь создается и хозяйственно-материальная возможность для того, чтобы денежный материал, по условиям его собственного производства и появления в каналах мирового товарного обращения, сделался надежным мерилom стоимости.

Мы выше уже цитировали слова Маркса о том, почему Аристотель и мыслители античного мира вообще не могли раскрыть тайны стоимости. Нам остается еще напомнить, что он говорил о воспроизводстве рабской рабочей силы. «Но и рабовладельческая система, — поскольку она представляет господствующую форму производительного труда в земледелии, мануфактуре и судоходстве и т. д., как это имело место в развитых государствах Греции и Рима, — сохраняет элемент натурального хозяйства. Самый рынок рабов постоянно получает пополнение своего товара — рабочей силы — путем войны, морского грабежа и т. д., грабеж же этот, с своей стороны, обходится без участия процесса обращения, являясь присвоением чужой рабочей силы в натуре посредством прямого физического насилия».<sup>1</sup>

Этот «элемент натурального хозяйства» был основным элементом в процессе воспроизводства всей рабовладельческой системы Греции и Рима. Античная цивилизация рухнула, поскольку не могла воспроизводить рабскую рабочую силу дальше таким путем. А это значит, что и воспроизводство рабочей силы в рудниках производилось на основе грабежа рабочей силы покоренных стран, и именно поэтому продукт производства этих рудников — денежный материал — не мог быть надежным мерилom стоимости. Можно, пожалуй, утверждать, что сицилийский хлеб, скот Италии и прилегающих варварских стран были более надежными мерилами стоимости, чем серебро испанских рудников, не говоря уже о золоте и серебре, привозимых в Рим в результате грабежа, как было с драгоценными металлами, доставленными в Рим Павлом Эмилием, Цезарем и т. д.

<sup>1</sup> «Das Kapital», В. II, S. 410, 411.

Выводы из этих слов Маркса ясны. Несмотря на сгущение денежно-товарных отношений в определенных пунктах античного хозяйства, в Риме, в Афинах, в ряде других греческих городов, основной базис общества, основной массив хозяйства народов, вовлеченных в движение античной культурой, опирался на натуральное хозяйство, а элементы рабовладельческого товарного производства в отношении воспроизводства рабской рабочей силы опирались на внеэкономическое давление на побежденные страны, проще сказать — на насильственный грабёж рабочих сил покоренных провинций, которые в свою очередь воспроизводили эту рабочую силу также в условиях натурального хозяйства. Торговый капитал в этой обстановке играл вспомогательную роль в системе грабежа, проводившегося организованной в государство римской аристократией, а отнюдь не был посредником в жизненно-необходимом обмене мелкого товарного производства с отдельными рынками, как это имело место в позднее средневековье и после открытия Америки. Точно так же и сгущение денежно-товарного обращения на территории численно небольших торговых народов древности и зависимость их от импортного хлеба и других продуктов не могло создать широкой народно-хозяйственной базы для денежного обращения, поскольку и экономика этих народов была лишь малозаметным наростом на базе натурального хозяйства. «Торговые народы древности, — писал Маркс в III томе «Капитала», — существовали, как боги Эпикура в междумировых пространствах вселенной или, вернее, как евреи в порах польского общества. Торговля первых самостоятельных, широко развивавшихся торговых городов и торговых народов, как торговля чисто посредническая, основывалась на варварстве производящих народов, для которых они играли роль посредников».<sup>1</sup>

Но если торговля не была средством связи между массой товаропроизводителей, которые не могут жить без рынка, то и денежное обращение, возникающее на такой базе, сильнейшим образом отличается от денежного обращения развитого товарного хозяйства.

Если в Риме деньги в значительной степени напоминали металлические талоны для размена награбленного в среде самих грабителей, то в торговых городах, взятых на фоне натурально-хозяйственного окружения, они также играли роль весьма аристократического института, который за пределами этих государств обслуживал лишь потребительские нужды верхушки эксплуататоров варварских стран. История превращения золота и серебра из аристократического предмета роскоши, через аристократическое средство обращения, в демократический институт развитого товарного хозяйства еще не написана.

*Е. Преображенский.*

<sup>1</sup> «Das Kapital», В. III, Т. I, S. 314.

# ГЕОРГ ВЕЕРТ

## КАК ПОЭТ «НОВОЙ РЕЙНСКОЙ ГАЗЕТЫ»

Среди многочисленных рабочих певцов и социалистических поэтов, откликавшихся своими песнями на раннее рабочее движение в Германии, начиная с первых неуверенных шагов немецкого рабочего класса (коммунистических ремесленников) и кончая крахом революции 1848 — 1849 гг., особенное место занимает один писатель, художественный талант которого был несравненно выше скромного поэтического творчества других ранних рабочих певцов; в идеологическом же отношении этот классово-сознательный, пролетарский поэт далеко превосходил трех известных классиков-попутчиков раннего этапа немецкого рабочего движения: Гейне, Фрейлиграта и Гервега.

Этим поэтом был *Георг Веерт*, певец первой классовой организации пролетариата — Союза коммунистов. Выходец из рейнской мелкобуржуазной интеллигенции, Веерт в 1842—1845 гг. проходит все стадии быстрой эволюции революционной и социалистической мысли на Западе, отражая и в своем творчестве эволюцию поэзии от политического позднего романтизма (через младогегельянство и народнический «истинный» социализм) к марксизму. С 1844 г. Веерт находился под непосредственным влиянием Маркса и Энгельса и был в числе организаторов Союза коммунистов, одним из его активных членов, его поэтом с самого его основания и, наконец, редактором фельетона «Новой рейнской газеты», партийного органа в революции 1848 — 1849 гг. Маркс и Энгельс, всегда считавшие Веерта именно поэтом Союза коммунистов, постоянно гордились поэтическим творчеством своего рано умершего друга, особенно его сотрудничеством в «Новой рейнской газете». К сожалению, Веерт скончался слишком молодым, в период лютой европейской реакции (1856 г.), когда Маркс и Энгельс, будучи в эмиграции, не имели даже возможности напечатать некролог так высоко ценимого ими поэта и работника партии. И лишь в 1883 г. Энгельс напечатал в цюрихском «Социал-демократе» статью о бывшем соратнике по Союзу коммунистов, где, вкратце проанализировав деятельность Веерта в редакции «Новой рейнской газеты», называет его «первым и самым выдающимся поэтом немецкого рабочего класса» и ставит его в некоторых отношениях выше Гейне и Фрейлиграта.

Цеховая буржуазная история литературы, выскивающая в забытой книжной макулатуре стишки даже самых ничтожных своих поэтов, по испол-

не понятным причинам никогда не занималась исследованием поэзии раннего рабочего движения и, в частности, Веерта. Германской социал-демократией были сделаны две попытки исследования о Веерте; дважды пытались собрать его стихи и фельетоны, разбросанные по журналам и газетам раннего немецкого социализма, но обе попытки кончились неудачей. Подобная работа стала возможной лишь теперь, когда создались необходимые предпосылки: Институт К. Маркса и Ф. Энгельса собрал в числе других богатых коллекций также и специальную коллекцию материалов по истории социалистической и рабочей поэзии XIX века на Западе; в этой сокровищнице хранится (в фотокопиях) и рукописное наследство Веерта. Лишь по окончании предварительных работ по собиранию и обработке названных материалов можно было написать исследование о Веерте; настоящая статья представляет отрывок из этой работы.

## I

Союз коммунистов был еще слишком слаб, чтобы организационно влиять на ход революционных событий в 1848 г. Никто не сознавал этого с такой ясностью, как Маркс. Союз резко высказался против путчистских планов Гервега, Вормштедта и Бакунина. Центральный комитет Союза, при материальной поддержке временного французского правительства, послал несколько сот своих членов в Германию, где они работали каждый по отдельности, развивая очень активную деятельность как руководители революционного движения в тех провинциях, где социально-экономические условия этому благоприятствовали.

При первом же известии о революции в Германии Веерт поспешил в Кельн, где находилась самая сильная община Союза коммунистов. Руководители общины — Виллих, Готшалк, Бюргерс, Аннеке, Даниэльс и др. — играли главную роль в местных революционных событиях. Веерт должен был ознакомиться с положением дел и сообщать обо всем центральному комитету в Париже.

Письмо его об этом к Марксу от 25 марта из Кельна гласит:

Дорогой Маркс! Я уже несколько дней в Кельне. Все вооружены, берлинским обещаниям не верят — лишь всеобщее избирательное право, безусловная свобода печати и право союзов могут дать удовлетворение. Старый ландтаг погиб в глазах народа, и уже слоняют с трибуны всех прежних депутатов, которые, не будучи целиком на стороне демократии, отваживаются показаться; — сегодня уезжают отсюда в Берлин пять уполномоченных, чтобы все это изъяснить королю. Согласны лишь на образование нового ландтага, избранного на основе всеобщей подачи голосов. То же самое и с Франкфуртским парламентом; — отсюда посылают в Франкфурт несколько человек, чтобы они следили за депутатами.

Хотя все, что здесь делают, довольно демократично, все же одно слово «республика» наводит трепет, и нашествие немцев из Парижа было бы здесь плохо встречено. Зато по направлению к Кобленцу и Верхнему Рейну настроение как будто бы в пользу республики.

Самое страшное слово — «коммунизм». Открыто выступившего коммуниста забросали бы камнями. Даниэльс, Бюргерс, д'Эстер поговаривают о новой газете, но средства, на которые надеются, пока что кажутся мне сомнительными. Конечно, было бы хорошо, если бы ты-

вместо того чтобы сидеть в Париже, приехал бы сюда и т. д., так как, во всяком случае, сейчас здесь много работы. Полиция едва дышит, и амнистия, как будто бы, до сих пор действительно существует. Сердечный привет. Твой В.

Главной причиной поездки Веерта в Кельн (помимо стремления возможно лучше ознакомиться с политической конъюнктурой) было желание нащупать почву для основания печатного органа Союза. В письме от 27 марта он уже сообщает своей матери, что был в Кельне, где в городской ратуше встретился со своими старыми друзьями и, «закончив в Кельне переговоры об основании газеты... я вернулся 26-го сюда, в Брюссель». Инициатива основания газеты исходила как из демократических, так и из коммунистических кругов. — Маркс и руководящий штаб Союза скоро переехали в Кельн, организовали акционерное общество для издания газеты и, после многих разочарований в «истинных» социалистах и коммунистах, выпустили первый номер «Новой рейнской газеты» 1 июня 1848 г. Главным редактором был Маркс, а членами редакции — Энгельс, Дронке, Вильгельм и Фердинанд Вольфы, Бургерс и Веерт. Веерт взял на себя фельетон, и все, что за время выхода газеты появлялось «в подвале», принадлежало, за немногими исключениями, его перу. Работы его в «Новой рейнской газете» состоят из стихотворений, фельетонных статей и романа «Приключения рыцаря Шнапганского». Он написал также ряд статей политического и экономического характера «над чертой»; но значение Веерта в революции 1848 года лежит в создании *революционного фельетона*, и он в полном смысле слова является поэтом пролетарской партии 1848 года, Союза коммунистов. Настоящая глава посвящена сатирической лирике Веерта в связи с революционной и рабочей поэзией 1848 года.

Прежде всего одно общее замечание относительно лирики Веерта 1848—1849 гг. Если пролетарский писатель в «мирное» время, предшествовавшее революции 1848 г., затрагивал в своей поэзии по преимуществу *социальные* проблемы рабочего класса и общеполитические вопросы, часто в несколько абстрактной форме, то с наступлением революционных боев поэт партии наравне с пролетарским политиком, экономистом и т. д. трактует почти исключительно *актуально-политические* события, *злободневные* вопросы; социальные темы (напр. описание положения рабочего, ремесленника), занимавшие такое важное место в дореволюционной социалистической поэзии, отходят теперь на второй план и если еще и играют известную роль в полуремесленнических организациях, то в самом передовом, единственно марксистском органе 1848 г., в «Новой рейнской газете», в творчестве как Веерта, так и Фрейлиграта, они исчезают почти целиком.

Редко когда-либо революционеры шли в бой с таким беззаботным революционным оптимизмом (и это при самых безотрадных перспективах!), с каким ринулся в борьбу редакционный штаб «Новой рейнской газеты». Веерт выражает свою радость в «Песне Троицы», где Европа сравнивается со старушкой матерью-землей, страдающей от долгой суровой зимы, лишенной радости и жизни, ожидающей свое детище, весну. И вот, наконец, она приходит, весна:



Sie herzten sich und sie küssten sich  
 Mit liebevoller Gebärde:  
 Der junge Herr Frühling wonniglich,  
 Der besuchte die alte Frau Erde.  
 Er ist der guten, ehrlichen Frau  
 Mit eins an den Hals gesprungen,  
 Dass bis hinauf in den Himmel blau  
 Nur Lust und Jubel erklungen.  
 «Mein Sohn, es freut mich, dass Du hier: --  
 Lang währte des Winters Tosen.  
 Meine Felder brauchen die güldene Zier,  
 Meine Gärten Lilien und Rosen.  
 «Verstimmt sind all' meine Nachtigall'n,  
 Seit ich Dich verloren hatte:  
 Drum schmücke den Vögeln die grünen Hall'n.  
 Und den Hirschen die blumige Matte.  
 «Ich habe so oft an Dich gedacht,  
 Wenn es stürmte wilder und wilder —  
 Doch sprich, was hast Du mir mitgebracht  
 Für die lieblichen Menschenkinder?»  
 «Für die Menschenkinder?» versetzte da  
 Der junge Herr Frühling stutzend --  
 In die Tasche griff er behend: «Voilà!  
 Revolutionen ein Dutzend». <sup>1</sup>

Но с высот таких аллегорических и оптимистических революционных тем пришлось быстро спуститься в самую гущу повседневной жизни. В Кельне, в центре революционного и особенно рабочего движения 1848 г., партия Маркса вынуждена была бороться не только с юнкерством, мещанством, буржуазией, но и с ультра-левым, бланкистским крылом Союза коммунистов. Позицию Веерта, совпадающую с тактикой Маркса, легче всего понять, если рассмотреть ее в общей связи с лево-революционной и рабочей поэзией 1848 г.

Следовавшие с кинематографической быстротой одно за другим революционные события вызвали бурный подъем в лагере буржуазно-политических поэтов, считавших себя у цели своих желаний в эти первые, опьяняющие революционные дни. Многочисленные «мартовские стихи» дышат полным энтузиазмом победы «народа». Особенно сильный отклик вызвали берлинские баррикадные бои и капитуляция реакции (например, стихи Руд. Готшалля «Берлинским героям», «Песни баррикад», 1848 г.; затем В. Мюллера фон-Кенигсвинтера и мн. др.). Вообще же в этой новой революционной

<sup>1</sup> «Они обнимались, выражая нежные чувства: молодой властелин Весна с радостью посетил старуху Землю. Он сразу бросился на шею доброй честной женщине, и раздались радостные звуки, доносившиеся до синего неба. «Сын мой, я рада, что ты здесь: долго свирепствовала зима. Мои поля нуждаются в золотом убранстве, моим садам нужны лилии и розы. Умолкли все мои соловьи, с тех пор как я тебя лишилась: птак, разукрась зеленью палаты для птиц и усей цветами лужайки для оленей. Я часто думала о тебе, когда свирепствовала буря. Но скажи, что принес ты мне для милых людей?» — «Для людей?» — переспросил, смутившись, молодой властелин Весна. — Быстро сунул он руку в карман: «Вот что! Дюжину революций».

поэзии творчество старых политических лириков отступает на задний план (за исключением Фрейлиграта). Так, например, немногочисленные стихотворения Гервега, как «Две прусских песни» (1848 г.) в его «Песнях Геккера» и несколько сатирических песен по поводу политических событий, не получили почти никакого распространения. Такая же участь постигла и сатирические стихи Гейне из «Матрадной могилы» («Михель после марта», «Кобес I», «Воевода Вислоухий V» и др.). Другие известные певцы свободы предмартовского времени, как Гофман фон-Фаллерслебен, Руд. Маркграф, Г. Линг, О. Людвиг, Г. Келлер и др., перешли к весьма умеренному либерализму. Зато вследствие закона о свободе печати на литературной арене появилась теперь целая армия новых политических поэтов, имена которых бесследно исчезли после крушения революции. Это были по большей части писатели не-профессионалы, выходцы из радикальной интеллигенции, мещанства, ремесленников и рабочих; они создали необходимую для революционного движения агитационную литературу. Один специальный исследователь этого литературного творчества характеризует его таким образом: «Эстетическая ценность мартовских песен весьма незначительна. Чистой, отделанной формы мы почти нигде не находим; это объясняется горячим, тревожным, беспокойным временем. Содержание, настроение и тенденции не умещаются в определенной форме. Стихотворения полны энтузиазма: главное настроение — ликование и радость. Вместе с ними процветают шутка и сатира: сперва бесхитростно-юмористические, после марта же обнаруживающие все более озлобленный и враждебный тон».<sup>1</sup> Главными темами этой лирики были: нападки на князей, пародии на цензоров, воспевание борцов баррикад, объединение Германии и т. д. Так, напр., Ад. Штротдман, один из самых радикальных поэтов 1848 г. буржуазно-демократического направления, поет в своем стихотворении «Auch so etwas zum 18. März»:

Herbei zur rasenden Todesschlacht,  
Zum blutigen Völkergerichte!  
Die Schwerter rasseln, die Salve kracht,  
So fahren wir in die ewige Nacht,  
So endet die deutsche Geschichte! <sup>2</sup>

Развитие бюргерско-республиканской поэзии тематически связывалось, главным образом, с известными политическими событиями. Поэты выставили своих защитников и хулителей Франкфуртского парламента, а также и восстания Геккера в Южной Германии. Певцом волонтеров Геккера стал Карл-Генрих Шнауффер (1823 — 1854), издавший после своего бегства в Швейцарию сборник «Новые песни немецкому народу» с отделом «Венки на могилы павших бойцов за свободу». Большую поэтическую литературу со-

<sup>1</sup> *Alex. Bröcker*, Die Wirkung der deutschen Revolution auf die Dichtung der Zeit, mit besonderer Berücksichtigung der politischen Lyrik. Köln, 1912.

<sup>2</sup> «По поводу событий 18 марта». — «Сюда, в яростный смертный бой, на кровавый суд народов! Мечи бряцают, залпы грохочут, так устремляемся мы в вечную ночь, так кончается история Германии!»

здал также поход волонтерских отрядов в Шлезвиг-Голштинию.<sup>1</sup> Поэзия *венской революции* темпераментнее германской.<sup>2</sup>

Все это революционно-бюргерское творчество 1848 г. послужило в последние десятилетия предметом ряда исследований,<sup>3</sup> и поэтому мы ограничимся в настоящей главе исключительно рабочей поэзией, еще совершенно не изученной.

Немецкая историография, — за исключением нескольких марксистских работ, — поскольку она занимается революцией 1848—1849 гг., обходит глубоким молчанием рабочее движение: она, естественно, видит в революции только политическую и национальную сторону и игнорирует *социальную*. Участие рабочего класса в революции выразилось, прежде всего, в разных восстаниях и баррикадных боях; его требования формулированы в резолюциях различных конгрессов и в печатных органах рабочих и ремесленных союзов. Герман Шлютер, первый марксистский историк этого движения, насчитывает около 50 газет и журналов, которые могут быть названы в 1848 г. социалистическими. Правда, большая часть этих органов была очень расплывчата в своих программах и скоро, особенно же после поражения пролетариата в июньских боях в Париже, оставила и эту умеренно социалистическую платформу. Рабочий класс Германии в это время состоял в подавляющем большинстве из ремесленников, и хотя небольшие группы промышленного пролетариата, сконцентрированного в крупных городах, выдвинули свои требования, но они сразу же натолкнулись на сопротивление со стороны цеховых ремесленников. Последние всецело еще разделяли иллюзии цеховых организаций, пытавшихся использовать свободу союзов, всеобщее избирательное право и т. д., для укрепления своих реакционных цеховых порядков, ибо мастера боялись подмастерьев. Представители этого направления ремесленного движения постановили на своих конгрессах в Гамбурге (2 июня 1848 г.) и Франкфурте-на-Майне (15 июля) обратиться к парламенту с просьбой ничего не предпринимать по отношению к ремесленникам без их согласия. Составителем резолюций, как и вообще идейным руководителем ремесленного движения, был писатель Карл-Георг Винкельблех (Карл Марло)<sup>4</sup>, проповедывавший какую-то смесь реакционных и радикальных идей: с одной стороны, он выступал против буржуазии и требовал социалистических реформ, с другой же стороны — высказывался за «истинно-христианскую германскую цензовую организацию». Особенно

<sup>1</sup> *Fr. Benöhr*, Die politische Dichtung aus und für Schleswig-Holstein in den Jahren 1840—1864. Schleswig, 1911.

<sup>2</sup> *A. Von Helfert*, Der Wiener Parnass im Jahre 1848. Wien, 1882.

<sup>3</sup> *Chr. Petzel*, Die Blütezeit der politischen Lyrik von 1840 bis 1850. München, 1903; *P. Träger*, Die politische Dichtung der Deutschen, München, 1895; *J.-K. Kannengiesser*, Die Sturmjahre, 1848 und 1849 und die politische Lyrik in Westfalen. Münster i. W., 1923; *W. Dohn*, Das Jahr 1848 im deutschen Epos. Stuttgart, 1912.

<sup>4</sup> См. о нем: *W.-Ed. Biermann*, K.-G. Winkelblech, sein Leben und sein Werk. Bd. 1—2, Leipzig, 1909.

резко Марло критиковал свободу промышленности, так как она, будто бы, мешает спасению среднего сословия от «опасностей коммунизма». Стремления этих ремесленных организаций были одинаково враждебны как по отношению к пролетариату, так и по отношению к капитализму; их предложения были отклонены Франкфуртским парламентом; вообще, все это движение не повлияло сколько-нибудь заметно на ход политических событий. Начиная с 1 января 1849 г. «Ремесленный союз» издавал под редакцией Нагельса «Всеобщую немецкую рабочую газету».

Это, в сущности реакционное, ремесленное движение 1848 г. создало, само собой разумеется, и своеобразную поэзию, отличавшуюся всеми недостатками самого движения. «Ремесленный союз» в Берлине издал в 1848 г. «Книгу песен для ремесленных союзов» и несколько сборников «Стихи Берлинского ремесленного союза». Неуклюжими виршами ремесленники воспевают в них свой союз, — подражая то классическому романсу, то народной песне позднего романтизма; затем, воспевают совместную братскую жизнь, борьбу за свободу (в весьма абстрактной форме), единение, дружбу и т. д. Стихотворение обычно прилаживалось к мелодии какой-нибудь популярной песни, или же учитель пения союза, Ф. Мюкке, сочинял к нему музыку. Большинство стихов и песен написано берлинскими ремесленниками — В. Штейнгейзером, Л. Клопфштехом, Р. Линдерером; отдельные песни — Т. Йором, Сим. Дахом, О. Рувелем, И. Бюхнером, Е. Редером, Э. Брахфогелем, Т. Больце, Ф. Е. Моллем и др. Примером аполитической цеховой идеологии этой ремесленной поэзии 1848 г. могут послужить несколько строф из стихотворения Л. Клопфштеха:

Heil dem schönen Handwerksbunde,  
 Der uns treu zusammenhält!  
 Sind wir so in trauter Runde  
 Hier vereint zur Abendstunde.  
 Fragen wir nicht nach der Welt!  
 Lasst die Grossen nur sich streiten,  
 Wir sind Kön'ge unsrer Welt.  
 Was wir Schönes hier erbeuten,  
 Nimmt in Kriegs- und Friedenszeiten  
 Nimmer uns der grösste Held.<sup>1</sup>

Нередко в устах ремесленников звучали и мотивы национальных песен и «всеобъемлющей человеческой любви».

Хотя число ремесленников в 1848 г. еще значительно превосходило число промышленных рабочих, последние организовались повсюду, где только имелась крупная индустрия. Правда, за исключением Рейнской про-

<sup>1</sup> «Привет прекрасному союзу ремесленников, который объединяет нас и которому мы остаемся верны. Собравшись здесь в вечерний час в нашем тесном кругу, мы не интересуемся тем, что делается в мире! Пусть сильные мира сего спорят между собой, в нашем мире мы сами короли. Тех благ, которые мы здесь приобретаем, нас не лишит и величайший герой ни в военное, ни в мирное время».

винции, нигде не было чисто марксистского рабочего движения: большей частью эти организации работали под лозунгами Луи Блана: «право на труд», «организация труда», «рабочее министерство» и т. д. Наиболее классово-сознательным оказался союз печатников, но и его требования не выходили за пределы демократического парламентаризма. Инициатива наилучше организованного рабочего движения 1848 г. все же вышла из Берлина. После того как «Ремесленный союз», в который вначале входили и революционные рабочие группы, достаточно ясно показал свое реакционное лицо, заявив протест против классовой борьбы между буржуазией и пролетариатом, он был вытеснен «ультра-демократическими» идеями студента Г. А. Шлеффеля, с 5 апреля 1848 г. издававшего «Друг народа» в духе интересов безработных и бедноты. Поэзия в «Друге народа» носит совершенно другой характер, нежели у ремесленников — *революционный* характер. «Поэты» здесь безработные или плохо оплачиваемые рабочие, и они говорят резким языком. Так, рабочий Менеке в стихотворении «Да здравствует пролетариат!» обращается к богачам:

Ihr auf dem weichen, seidnen Pfühl,  
Den Lorbeer um die Schläfe,  
Der ärmste Mann hat sein Gefühl,  
Sprecht nicht von Pöbelhefe!  
Einst stösst euch dieses Lumpenpack  
Aus eurer trägen Ruhe;  
Das Heil steckt in dem Bettelsack,  
Nicht in verschloss'ner Truhe.  
Not und Verzweiflung nährt die Tat,  
Drum lebe das Proletariat!<sup>1</sup>

Самые передовые рабочие элементы из берлинского ремесленного союза организовали в июне 1848 г. «Рабочий союз»; во главе его стал Стефан Борн, член Союза коммунистов, друг Маркса и Энгельса, и ювелир Л. Биски, отличившийся на баррикадах. С этого времени рабочее движение идет другими путями: 18 июня, непосредственно после знаменитого штурма цейхгауза, собрался ремесленный союз; когда же выяснилось, что вследствие разношерстности социального состава союз не может прийти к решению поставленных вопросов, семь представителей от рабочих обратились ко всем немецким ремесленным и рабочим организациям, а также к коммунистическим немецким общинам за границей, с предложением созвать на 23 августа 1848 г. в Берлине рабочий конгресс. Требования сводились к тому, что рабочему классу пора решить свою судьбу *самостоятельно*; проектируемый рабочий парламент должен был выработать народную хартию. До созыва конгресса Борн издавал (с 25 мая по 29 августа 1848 г.) социально-политический

<sup>1</sup> «Вы, восседающие на мягких шелковых подушках и увенчанные лавровыми венками, знайте, что и у самого бедного человека есть чувство: не говорите о черни. Когда-нибудь эти оборванцы нарушат ваше безмятежное спокойствие. Спасение заключается в суме нищего, а не в запертых сундуках. Нищета и отчаяние побуждают к действиям; итак, да здравствует пролетариат!

журнал «Народ», в котором был напечатан ряд стихотворений рабочих — в первую очередь самого Борна, а затем С. Мейера; последний в «Баррикадах» поет:

Auf, mut'ge Flammen, seid bereit,  
 Lasst all Metall zusammenfließen,  
 Lasst, weil es heiss, uns Kugeln giessen  
 Und eine neue Form die Zeit.  
 Durch Kugeln wollen wir sie weitem,  
 Durch Feuer wollen wir sie läutern,  
 Das ist kein Thron von Gottes Gnaden,  
 Der Freiheit Thron, die Barrikaden.<sup>1</sup>

На берлинском конгрессе в августе 1848 г. рабочие организации и союзы подмастерьев объединились в одну ассоциацию «Братство рабочих» с местопребыванием центрального комитета в Лейпциге. Президентом был избран старый естествовед Христиан Нес фон-Эзенбек, а вице-президентом — Борн. Последний прекратил издание «Народа» в Берлине, переселился в Лейпциг и редактировал центральный орган объединения «Братство». В этом журнале, настоящем рабочем органе 1848 г., выступило очень много рабочих со своими стихами. Конечно, наибольшее количество напечатанных стихотворений, это — стихи Фрейлиграта, Веерта, Гервега, Гейне, К. Бека и др. признанных революционных поэтов. Из рабочих, кроме Борна, особенно много стихов дали Фр. Вобцин из Мюнхена и прежде всего Л. Виски. Виски еще до революции принадлежал вместе с Борном к клубу поэтов при берлинском ремесленном союзе, и его творчество является наивысшим достижением *рабочей* поэзии 1848 г. «снизу». Он прежде всего мастер страстно-революционного пафоса и едкого юмора, когда он борется против дворянства, духовенства и бюрократов. Одно из характернейших его стихотворений «Послание к бедному народу»:

Soldaten und Volk!  
 Das Gesindel wächst an, seine Zahl wird gross,  
 Nun geht die Hetzjagd wieder los.  
 Hasch! Heisa! Gesindel, pack an, pack an!  
 Und greife jeder den rechten Mann!  
 Singen und springen hat seine Zeit:  
 Tanzen und ranzen hat seine Zeit!  
 Schlafen und schwelgen hat seine Zeit!  
 Heisa! Heirum!  
 Wie seid ihr doch dumm!  
 Liebeln und Kosen,  
 Weihrauch und Rosen,  
 Dukaten und Wein  
 Für uns nur allein!  
 Für *uns* die Freuden —

<sup>1</sup> «Восстайте! Пусть будет готово горячее пламя! Расплавим весь металл и, пока он горяч, будем лить пули и новую форму для нашего времени; пулями мы сделаем его более широким, огнем мы его очистим, — это не трон монархов «божьей милостью»; это трон свободы — баррикады».

Für *Euch* die Leiden;  
 Für *uns* der Braten —  
 Für *Euch* die Granaten;  
 Für *uns* der Sieg —  
 Für *Euch* der Krieg;  
 Für *uns* das Brot —  
 Für *Euch* die Not;  
 Auf seidenen Kissen  
 In Hochgenüssen —  
 Auf Lumpen und Stroh  
 Und dumm und roh! —  
 Zerschlagt Euch die Köpfe.  
 Ihr albernen Töpfe!  
 Eures Lebens Blüten  
 Taube Nieten!  
 Wir haben das Los,  
 Sind mächtig und gross!  
 Ihr führt die Kanonen  
 In Revolutionen  
 Auf die eignen Brüder  
 Und schiesst sie nieder.  
 Wir singen die Lieder!  
 Ohne Sorgen und Pein  
 Sind wir allein!

Das Gesindel wächst an — seine Zahl wird gross,  
 Drum werfen wir nieder das eiserne Los —  
 Drum schicken wir Pfaffen und schicken Spione,  
 Dass bei der Dummheit die Falschheit wohne;  
 Und schüren und hetzen und schleifen und wetzen  
 Und erkaufen mit Gold die «freien» Pressen,  
 Um Euch zu pressen —  
 Und schüren die Wut und zapfen das Blut,  
 Und was wir gebrockt und was wir gebraut,  
 Die Dummheit bezahlt es mit ihrer Haut.  
 Wir kaufen sie Alle mit Gold und «Ehre» —  
 Und ziehen uns klüglich aus der Affäre.

Merkt Ihr den Braten,  
 Ihr dummen Soldaten?  
 Merkst du den Schnack,  
 Mein süßes Pack?

*Ihr seid verkauft und seid verraten!*

Wir lachen zu euren Heldentaten,  
 Wir sitzen zu Hause in guter Ruh —  
 Und wenn Ihr kommt, wir rieгeln zu. <sup>1</sup>

<sup>1</sup> «Солдаты и народ! Чернь усиливается, становится многочисленной; итак, приступим опять к травле! Лови! живей! Сволочь, хватай, хватай — держи кого следует! Петь и прыгать нужно уметь во-время. Танцовать и плясать следует во-время! Спать и кутить следует во-время! Живей! Проворней! Как вы глупы! Любовь и ласки, фишам и розы, червонцы и вино только нам одним! Нам наслажденья — вам страданья; нам добыча — вам гранаты; нам победа — вам война; нам хлеб — вам нужда; на шелковых подушках в неге и наслажденьях, — в лохмотьях и на соломе, и глупые и грубые! — Сокрушайтесь до изнеможения, жалкие простофили! Цветы вашей жизни — не выигравший билет! Выигрыш принадлежит нам, мы могущественны и велики! Вы во время.

Мы воспроизвели это стихотворение Биски целиком, потому что оно заслуживает нашего внимания не только в идеологическом, но и в формально-художественном отношении: оно показывает, как актуально-политический момент вызывает в психоидеологии рабочего стремление к преодолению вековых традиций в поисках новых форм выражения. В этом смысле некоторые стихотворения Биски представляют собой, насколько нам известно, первую попытку порвать со старыми формами.

По-иному, в сравнении с остальной Германией и Австрией, развивалась революционная и рабочая литература в Рейнской провинции; здесь, в основных центрах германской промышленности, сконцентрировались довольно значительные кадры индустриального пролетариата; здесь были единственные в 1848 — 1849 гг. марксистские рабочие организации, и здесь же проявлялись наиболее революционные настроения среди буржуазии и радикальной интеллигенции. Поэтому неудивительно, что именно Рейнская провинция выдвинула двух величайших поэтов революции 1848 г. — Фрейлиграта и Веерта: первого — в революционной лирике, второго — в фельетоне. Веерт состоял членом Союза коммунистов со дня его основания, Фрейлиграт же пришел к нему в процессе революционных событий. Остановимся вкратце на творчестве Фрейлиграта в 1848 г., до его вступления в редакцию «Новой рейнской газеты».

Февральская революция застала Фрейлиграта в приготовлениях к переезду в Соединенные Штаты, куда его звали друзья. Этот план был теперь оставлен, ибо поэт не хотел быть «солдатом, дезертирующим с поля сражения». Развертывающиеся революционные события дали ему опять то вдохновение, в котором он всегда нуждался. «В горах раздался первый выстрел» — гимн революции, первое приветствие поэта; в этом стихотворении революция сравнивается с лавиной, катящейся по всей Европе. Последовавшие за этим стихотворения «Революция», «Черно-красно-золотое» и другие, написанные еще в Лондоне, в виде листовок распространялись по всей Германии, и когда в марте революция вспыхнула и там, то первую же песню Фрейлиграт посвятил борцам берлинских баррикад.

Земля дрожала, и одни,  
 Не дрогнувши в теченье  
 Тринадцати часов, они  
 Дрались в ожесточеньи.

революций направляет пушки против ваших собственных братьев и стреляет в них. Мы поем песни! Без забот и без мучений живем только мы одни! Чернь усиливается — она становится многочисленной, поэтому бросим опять железный жребий — поэтому пошлем попов, пошлем шпионов, чтобы возле глупцов находились обманщики; будем разжигать и травить, точить и острить — и покушать за золото «свободную» прессу и вас давить — и разжигать злобу и высасывать кровь, а за все то, что мы приготовили и что мы разломали, расплатятся глупцы. Мы купили их всех за золото и «честь», — а сами благоразумно выпутаемся из беды. Видите ли вы добычу, лучшие солдаты? Примешь ли ты к сведению шутку, мой милый сброд? *Вы проданы и преданы!* Мы смеемся над вашими геройскими подвигами, мы сидим дома совершенно спокойно, — а если вы придете, мы запрем дверь на задвижку».



Не песни вроде «Ça ira!»,  
 Лишь стон и крик осипший!  
 Дрался в молчании тогда,  
 Скользя в крови налипшей!  
 Так спите! Вечный вам почет!  
 Склонясь над смертным ложем,  
 Поцеловать ваш бледный рот,  
 Вам руку сжать не можем.  
 И долг последний вам отдать,  
 Осыпать вас цветами,—  
 Но можем мы мечи сковать  
 И в бой вступить за вами!

В мае 1848 г. Фрейлиграт переехал в Германию и поселился в Дюссельдорфе. Он сразу примкнул к демократическому союзу, но его участие в активном революционном движении было невелико; заслуги его перед революцией заключаются, главным образом, в его революционной поэзии. Появление каждого стихотворения на злободневно-политические темы было событием в Германии. В особенности это относится к стихотворению «Мертвые — живым!», в котором бойцы, павшие на берлинских баррикадах, призывают оставшихся в живых не останавливаться на полпути, а докончить начатое революционное дело. Мертвые говорят:

Мы думали: не даром, нет,  
 Мы головы сложили.  
 Теперь навеки можем мы  
 Спокойно спать в могиле.  
 Вы обманули нас! Позор  
 Живым! Вы проиграли  
 В четыре месяца все то,  
 Что мы завоевали.  
 И подвиг наш, и нашу смерть —  
 Вы предали их тоже.  
 Все слышим мы, все знаем мы,  
 В могилах братских лежа!  
 .....  
 И верьте мертвым нам: опять  
 Тот гнев воскреснет скоро!  
 Он в вас живет. И вспыхнет вновь,  
 От спячки всех пробудит.  
 И революция уже  
 Не половиной будет!  
 Он лишь мгновенье ждет в тиши  
 И ширится неслышно,  
 И в буре рук, голов опять  
 Пожаром вспыхнет пышно.  
 .....  
 Пока же не пробил тот час,  
 Пусть наш могильный голос  
 Вольет вам мужество в сердца,  
 Чтоб дольше вы боролись.

Это стихотворение справедливо считается наивысшим достижением революционной лирики 1848 г. Роберт Пруц называет его поэтическим шедевром, имеющим мало равных себе в мировой литературе. Содержание его то же, что и в передовицах Маркса, печатавшихся в это время в «Новой рейнской газете». Вообще, с переездом Фрейлиграта в Германию его поэтическое творчество подпадает под сильное влияние взглядов Маркса, высказывавшихся им на страницах названной газеты. Так, напр., в «Вопреки всему», написанном еще в июне 1848 г., Фрейлиграт выступает уже против двусмысленной роли буржуазии и называет ее опорой трона.

Но хотя Фрейлиграт и печатал эти стихотворения, все же до осени 1848 г. он был оторван от непосредственного рабочего движения, от живого источника и пульса революции; этот пульс бился сильнее всего в *Кельне*. Здесь с самого начала революции рабочее движение распалось на два лагеря, по-разному относившихся к бюргерской демократии: один из них, «Кельнский рабочий союз», основанный 13 апреля 1848 г., под руководством врача А. Готшалька и отставного офицера Фр. Аннеке, и знать не хотел о борьбе с реакцией совместно с буржуазией и даже с самым радикальным крылом буржуазии; его тактика бланкизма и бабувизма существенно отличалась от тактики Маркса. «Рабочий союз» требовал «чистой рабочей политики», не признавал переходного периода господства буржуазии, был против участия в выборах и стоял за создание «рабочей республики». После ареста руководителей Союза марксистам (во главе с Шашпером и Моллем) удалось овладеть им, и Маркс с октября был его председателем, но уже в начале 1849 г. союз опять стал бланкистским. Иначе смотрели на задачи пролетарской партии в 1848 г. Маркс, Энгельс и их приверженцы. Маркс прекрасно понимал, что социально-экономические условия 1848 г. в Германии не позволяли совершить пролетарскую революцию, и поэтому он до апреля 1849 г. поддерживал левое крыло буржуазной демократии, следуя, однако, с самого начала, особенно же после июньского поражения пролетариата на улицах Парижа, пролетарской тактике.

Органом кельнских бланкистов была «Газета Кельнского рабочего союза». В ней напечатан ряд стихотворений рабочих (Ферд. Зепшеля, И.-И. Гюлиха, П. Флимма, Фр. Моранта и мн. др.). Конечно, имеется и немало перепечаток стихотворений Фрейлиграта (который посещал союз и был там в большом почете), Веерта, Гервега и Гейне. Стихи рабочих Кельнского союза гораздо революционнее стихов «Народа» Борна, не говоря уже о «рабочих газетах», находившихся под влиянием ремесленных союзов. Для кельнской рабочей поэзии характерно то, что она почти совершенно не затрагивала абстрактные темы о свободе и революции, а всегда отзывалась на актуально-политический и социальный моменты; тематически стихи эти относятся, во-первых, к ожесточенной борьбе с юнкерством, парламентом (т. е. с буржуазией), во-вторых, к революционной пропаганде в армии и среди крестьян в деревне и, в-третьих, к описанию жизни рабочих и впервые здесь появляющимся описаниям трудового процесса.

Примером первой группы может послужить стихотворение «Крестьянин»:

Wer bist Du, Fürst, dass ohne Scheu,  
 Zerrollen mich dein Wagenrad,  
 Zerschlagen darf dein Ross?  
 Wer bist Du, Fürst, dass in mein Fleisch  
 Dein Freund, der Haghund, ungebleut  
 Darf Klau und Rachen hau'n?  
 Wer bist Du, dass durch Saat und Forst  
 Das Hurra Deiner Jagd zertritt,  
 Entatmet wie das Wild?  
 Die Saat, so Deine Jagd zertritt,  
 Was Ross und Hund und Du verschlingst,  
 Das Brot, Du Fürst, ist mein.  
 Du, Fürst, hast nicht, bei Egg und Pflug,  
 Hast nicht den Erntetag durchschwitzt.  
 Mein, mein ist Fleisch und Brot! —  
 Ha! Du wärest Obrigkeit von Gott?  
 Gott spendet Segen aus; Du raubst:  
 Du *nicht* von Gott, Tyrann!<sup>1</sup>

Многочисленнее стихов о крестьянах песни и стихи «простых солдат» (подписи обычно так и гласят). Кельнский рабочий союз — и тут мы особенно имеем в виду тот период, когда во главе его стоял Маркс — был, насколько нам известно, единственной рабочей организацией, которая занималась широкой пропагандой в армии и среди крестьян. Из призывов городских рабочих и революционеров к солдатам приведем следующий пример:

Reichet uns die Hand Soldaten,  
 Und sie stürzen ohne Blut;  
 Die euch stets mit uns verraten,  
 Diese Fürsten und die Knut.  
 Bürger und Soldatenstand  
 Steht für Freiheit Hand in Hand!  
 Drum bedenket ihr Soldaten,  
 Wofür zieht ihr in den Streit?  
 Für die Herrn «von Gottes Gnaden».  
 Euch zu knechten stets bereit?  
 Ihr seid Bürger, so wie wir;  
 Sind wir frei, so seid's auch ihr!<sup>2</sup>

<sup>1</sup> «Кто ты, князь, нагло воображающий, что твой экипаж может раздавить меня и что твой конь может растоптать меня? Кто ты, князь, воображающий, что твоя дворовая собака может когтями и зубами вонзаться в мое тело? Кто ты, охотники которого, запыхавшись, как преследуемая дичь, с криками «ура» топчут посевы и леса? Посев, который топчут твои охотники, хлеб, который поглощают твой конь, твоя собака и ты, князь, — мой. Ты, князь, не потел за борошой и плугом, не трудился в день жатвы. Мой, мой труд и хлеб! — Ах! но власть ли ты от бога? Бог дает благодать; ты грабишь; ты не от бога, тиран!»

<sup>2</sup> «Протяните нам руки, солдаты, и они будут низвергнуты без пролития крови, те, которые всегда предавали вас и нас, эти князья и кнут. Граждане и солдаты, боритесь рука об руку за свободу! Итак, подумайте вы, солдаты, за какое дело идете вы сражаться! За господ «божьей милостью», всегда готовых вас поработать? Вы граждане, как и мы; если мы будем свободны, то свободны будете и вы!»

Форма этих рабочих стихов часто наивная, неотшлифованная; большею частью это — подражания классической форме, народной песне и революционно-политической поэзии 1840-х гг. Как на всем протяжении XIX века, т. е. за все время «эмбрионального периода» рабочей литературы, так и в 1848 г. наблюдается одно и то же явление: рабочие излагают свои мысли почти исключительно в лирике (редко кто из них писал и рассказы), и так как неопытный автор слабо владеет художественной формой современной ему поэзии, то обычно он *подражает*, заимствует форму популярного стихотворения или песни, наполняя ее своими желаниями, своими словами. Так, в весьма недурном стихотворении «Пролетарий и его сын» (5 апреля 1849 г.) рабочий берет известный поэтический мотив, наполняя его совершенно другим содержанием:

*Sohn*

«Ach, Vater, mich hungert!  
O gib mir doch Brot!  
Schon sendet die Sonne  
Durch's Fenster ihr Rot!  
Ach sieh doch, mein Vater,  
O sieh meine Not!»

*Vater*

«Sei stille, Gott lebet noch!  
Vergesse ihn nicht!  
Wenn Fürsten auch wenden  
Von uns ihr Gesicht —  
Die Throne, sie stürzen,  
Die Kette, sie bricht,  
Die Finsternis fliehet —  
Uns lacht einst das Licht!»

*Sohn*

«Wie? hör doch da draussen,  
Was ist's, dass so dröhnt?  
Hör' «Greifet zur Waffe!»  
Weithin es ertönt!  
Wie rennt es zum Kampfe,  
Das Volk unversöhnt!  
Puff! fallen die Schüsse,  
Der Sterbende stöhnt!»

*Vater*

«Ja, ja, das ist Kampf!  
Es bläst das Signal!  
Hol' Schwert mir und Büchse,  
Hier bleibt keine Wahl!»  
  
Er setzt sich die Mütze  
Auf's Haupt schon so kahl!  
Und stürzet hinaus in  
Der feindlichen Zahl!

Der Hunger, er machet  
 Die Revolution,  
 Der Hunger bekriegt  
 Den fürstlichen Thron!  
 Der Hunger hält Rechnung  
 Mit Szepter und Kron!  
 Der Hunger vergeltet  
 Den Spott und den Hohn! <sup>1</sup>

Маркса и Энгельса нередко упрекали в том, что они в издававшейся ими «Новой рейнской газете» посвящали очень мало места повседневным нуждам рабочего класса и различным формам, которые принимало немецкое рабочее движение в 1848—1849 гг. Это утверждение, как показал ряд исследований, появившихся за последние годы, не совсем соответствует действительности, но известная доля правды в нем есть. Не нужно забывать, что «Новая рейнская газета» была единственным политическим и теоретическим марксистским органом европейской революции 1848 г., и поэтому местные интересы оттеснялись общеполитическими европейскими событиями и теоретическим их анализом. В некоторой степени вышесказанное относится и к фельетону газеты, и к поэзии Веерта и Фрейлиграта. Во всех других органах рабочих и ремесленных организаций вопросы рабочего движения, нужды пролетариата — как политические, так и социальные — освещались куда подробнее, чем в «Новой рейнской газете». И Веерт, в соответствии с общим направлением органа, пишет главным образом свои стихи на актуально-политические темы общегосударственного, а нередко и общеевропейского движения. Но как газета, выходящая в Рейнской провинции, в которой разыгрывались такие важные политические события, — «Новая рейнская газета» не могла не касаться время от времени и местных событий. В стихотворениях Веерта больше всего достается — кроме полиции («Я хотел бы быть начальником полиции» — № 39 от 9 июля 1848 г.) — кельнскому мещанству, этому «балласту революции». Если филистеры, желающие во что бы то ни стало покоя и домашнего уюта, называли революционеров «смутьянами», то сами они получили, в свою очередь, прозвище «плакс». Над этим мещанством Веерт издевается в стихотворении «Плакса и смутьян» (№ 33). Но лучше всего ирония над представлением мещанина о коммунизме выражена в № 44 от 14 июля; характеристика мелкой буржуазии здесь настолько удачна, что немецкие социал-демократические

<sup>1</sup> «Сын: Ах, отец, я голоден! Дай же мне хлеба! Через окно уже виднеется восходящее солнце! Ах, посмотри же, отец, взгляни, как я страдаю! — Отец: Успокойся, бог еще жив! Не забывай его! Если князь и отвратит от нас свое лицо, помни: троны рушатся, цепи разбиваются, мрак рассеивается — придет время, когда свет воссияет для нас. — Сын: Как? Послушай-ка, что это гремит там на улице? Слышишь: «К оружию!» Далеко раздается этот клич! Как устремляется в бой непримирившийся народ. Пуфф! раздаются выстрелы, стонет умирающий! — Отец: Да, да, это бой! Раздается сигнал! Неси мне меч и ружье, выбора нет! Он надевает шапку на голову, уже лысую, и бросается на вражеские ряды! Голод, он делает революцию, голод, он воюет против трона! Голод сводит счеты со скипетром и короной! Голод мстит за насмешку и издевательство!»

газеты второй половины XIX века неоднократно перепечатывали это стихотворение. Веерт пишет:

Heute morgen fuhr ich nach Düsseldorf  
 In sehr honetter Begleitung:  
 Ein Regierungsrat — er schimpfte  
 Auf die Neue Rheinische Zeitung.  
 «Die Redakteure dieses Blatts —  
 So sprach er — sind sämtlich Teufel;  
 Sie fürchten weder den lieben Gott,  
 Noch den Ober-Prokurator Zweifel.  
 «Für alles irdische Missgeschick  
 Sehn sie die einzige Heilung  
 In der rosenrötlichen Republik  
 Und vollkommener Güterteilung.  
 «Die ganze Welt wird eingeteilt  
 In Tausend Millionen Parzellen;  
 In so viel Land, in so viel Sand.  
 Und in so viel Meereswellen.  
 «Und alle Menschen bekommen ein Stück  
 Zu ihrer speziellen Erheitrung —  
 Die besten Brocken: die Redakteur'  
 Der Neuen Rheinischen Zeitung.  
 «Auch nach Weibergemeinschaft steht ihr Sinn.  
 Abschaff'n woll'n sie die Ehe:  
 Dass alles in Zukunft ad libitum  
 Miteinander nach Bette gehe.  
 «Tartar und Mongole mit Griechenfrau'n,  
 Cherusker mit gelben Chinesen,  
 Eisbären mit schwedischen Nachtigall'n,  
 Türkinnen und Irokesen.  
 «Tranduftende Samoyedinnen soll'n  
 Zu Briten und Römern sich betten,  
 Plattnasige düstre Kaffern zu  
 Alabasterweissen Grisetten.  
 «Ja, ändern wird sich die ganze Welt  
 Durch diese moderne Leitung, —  
 Doch die schönsten Weiber bekommen die  
 Redakteure der Rheinischen Zeitung.  
 «Auflösen wollen sie alles schier,  
 O, Lästrer sind sie und Spötter!  
 Kein Mensch soll in Zukunft besitzen mehr  
 Privateigentümlich Götter». <sup>1</sup>

<sup>1</sup> «Сегодня утром я поехал в Дюссельдорф с очень почтенным спутником: статским советником; он бранил «Новую рейнскую газету». «Редакторы этой газеты, — так говорил он, — все черти; они не боятся ни бога, ни главного прокурора Цвейффеля. Единственное спасение от всех земных бедствий они усматривают в красновато-розовой республике и в разделе всех имуществ. Весь мир будет разделен на тысячу миллионов участков; на столько-то участков земли, на столько-то участков песку и на столько-то морских волн. И все люди получают по кусочку для их собственного увеселения. — Лучшие куски получают редакторы «Новой рейнской газеты». Они также стоят за общность жен. Отменить хотят они брак, чтобы в будущем все по благоусмотрению шли друг с другом спать. Татарин и монгол с гречанками, херуски с желтыми китайками, белые мед-

И дальше говорится о том, что «Новая рейнская газета» хочет уничтожить всякую религию, чтобы самой стать «единственным далай-ламой», изрекаются мещанские «мудрости», сопровождающие всякую революцию. Как мы видим, и тогда уже призрак «социализации женщин» был использован контр-революцией для компрометирования коммунистов.

Самая большая по размерам и лучшая поэма Веерта в «Новой рейнской газете» написана по поводу следующего политического события. Когда в связи с сентябрьским кризисом Франкфуртского и Прусского парламентов (заключение позорного перемирия с Данией) Кельнский демократический союз, душой которого был Маркс, потребовал продолжения войны, — реакция сочла момент подходящим для спровоцирования в Кельне путча, чтобы создать предлог для объявления осадного положения, ареста штаба редакции и закрытия газеты. Маркс предостерегал рабочих, но все же, когда полиция захотела арестовать Шаппера, Молля, Вольфа и др. (25 сентября), собралась толпа, устроила баррикады и т. д. Комендант Кельна объявил город на осадном положении и запретил газету; во избежание ареста редакторы скрылись — Энгельс в Швейцарию, Веерт в провинцию к знакомым. Когда 12 октября газета начала опять выходить, Веерт, единственный редактор (кроме Маркса), вернулся и опубликовал упомянутую поэму о восстании в Кельне, запрещении газеты, собственном бегстве, преследовании его полицией; особенно же достается коменданту Кельна и «Кельнской газете». Эта поэма во всем напоминает «Зимнюю сказку» Гейне. Но как бы Веерт ни был похож на Гейне, в его вещах всегда есть нечто самобытное, индивидуальное, так что стихи его читаются с неменьшим интересом, чем гейневские сатиры. Так, Веерт начинает свою поэму следующими строфами:

Kein schöneres Ding ist auf der Welt  
 Als seine Feinde zu beissen,  
 Als über all die plumpen Gesell'n  
 Seine lustigen Witze zu reissen.  
 So dacht' ich und stimmte die Saiten schon;  
 Da ward ich versetzt in Ruhstand.  
 Aus war der Spass; die heil'ge Stadt Köln  
 Ward erklärt in Belagerungszustand.  
 Von Bajonetten startte die Stadt  
 Wie ein Stachelschwein. Rings um den Neumarkt  
 Wogten die preussischen Erzengel bis  
 Zum Hahnenort und zum Heumarkt.  
 Und ein Leutnant zog vor unsere Tür  
 In kriegerischer Begleitung  
 Und proklamierte trommelnd den Tod  
 Der Neuen Rheinischen Zeitung.<sup>1</sup>

веди со шведскими соловьями. Пахнущие китовым жиром самоедки пусть спят с британцами и римлянами, плосконосые черные кафры с белыми, как алебастр, гризетками. Да, весь мир изменится благодаря этому современному нововведению, но прекраснейших женщин получают редакторы «Новой рейнской газеты». Они хотят все сокрушить, они хулители и насмешники; отныне никто не должен обладать богами, как своею собственностью».

<sup>1</sup> «Всего лучше издеваться над врагами, осыпать остроумными насмешками глупых людей.

В одном диалоге со своим знакомым, господином «Таким-то», Веерт описывает кельнское восстание таким образом:

In Köln war wirklich ein arger Skandal —  
 Begann ich zum alten Herrn Soherr —  
 Barrikaden kamen in Masse, man wusst'  
 Bei Gott nicht, von wannen und woher.  
 Sie wurden im Nu emporgebaut  
 Von Händen, energischen, raschen,  
 Aus Dombausteinen und Kirchenstühl'n  
 Und aus ausgetrunkenen Flaschen.<sup>1</sup>

В этой интересной сатирической поэме нужно указать еще на то место, где Веерт говорит об умершей «Новой рейнской газете»; это место тем более интересно, что оно предвосхищает мысли, высказанные несколько месяцев спустя Фрейлигратом в его знаменитом «Прощальном слове». Веерт здесь говорит:

Die arme Rheinische — ach! schon tot!  
 Doch wartet: Empor einst rütteln  
 Wird die zur Hölle Gefahrene sich  
 Und keck ihre Locken schütteln.  
 Ja, schütteln ihr ambrosisch' Gelock,  
 Wird hoch zu Gerichte sie sitzen:  
 Zu spielen mit ihrem Donnerkeil  
 Und mit ihren schlechten Witzen.<sup>2</sup>

Приблизительно через неделю после опубликования этого стихотворения фельетон «Новой рейнской газеты» обогатился еще одним сотрудником: знаменитым Фрейлигратом. Правда, вступая в редакцию газеты после сентябрьских событий в Кельне, когда почти все члены редакции отсутствовали, Фрейлиграт должен был заведывать английским отделом. Но это занятие вряд ли пришлось ему по душе, и Маркс сообщает Энгельсу в письме от 26 октября 1848 г.: «Теперь, когда все, кроме Веерта, уехали, а Фрейлиграт лишь несколько дней тому назад вступил в дело, я занят по горло и не могу заняться более серьезными работами...» Фактически участие Фрей-

Так думал я и уже настраивал струны; но вдруг мне дали отставку; игра окончена; в священном городе Кельне объявлено осадное положение.<sup>3</sup> Штыки торчали в городе, как щетина на дикобразе. Вокруг Нового рынка реяли прусские архангелы до Петушиных ворот и до Сенной площади. И некий поручик, во главе отряда воинов, подошел к нашей двери и с барабанным боем возвестил смертный приговор «Новой рейнской газете».

<sup>1</sup> «В Кельне в самом деле произошел ужасный скандал, — сказал я старому господину Т-кому то, — неизвестно откуда вдруг появилось множество баррикад; они были мигом сооружены энергичными, проворными руками из камней, назначавшихся для постройки собора, из ступлей, стоявших в церквах, и из опорожненных бутылок».

<sup>2</sup> «Бедная «Рейнская» — увы! уже мертва! Но подождите: настанет время и низринутая в ад воспрянет и молодеваато тряхнет кудрями. Да, она тряхнет своими благоухающими, как амброзия, кудрями и будет судить: она будет метать громы и молнии и изрекать свои плохие стрелы».



лиграта в редакции выражалось в работе его в фельетоне, который он, наравне с Веертом, украшал своими стихотворениями. В политическом отношении Фрейлиграт стоял теперь целиком на платформе Маркса и немедленно вступил в Союз коммунистов.

Для Веерта наступает теперь самое счастливое время его жизни: он и Фрейлиграт, бывшие уже и раньше знакомыми, сошлись ближе, и Фрейлиграт, много лет спустя после смерти своего соседа по столу в редакции, вспоминает эту прекрасную пору и рассказывает, как они тогда втроем с Марксом составляли газету. С момента вступления Фрейлиграта в редакцию между двумя поэтами началось известное разделение труда: лирическую часть фельетона пишет Фрейлиграт, а прозаически-сатирическую — Веерт. В ноябре первый написал известное стихотворение «Вена», в котором выражается точка зрения Маркса, в противовес точке зрения Руге: наилучшая помощь Вене — подавление контр-революции в своей собственной стране. Вообще все стихи Фрейлиграта, опубликованные в «Новой рейнской газете», в той или иной мере отражают мысли Маркса, облеченные в поэтическую форму. Немного позже «Вены» было напечатано стихотворение в память расстрелянного Роберта Блюма; зимою 1848 — 1849 г. появились «Венгрия» — гимн борющимся венграм — и «Утренняя заря», по образцу «Марсельезы», в честь праздника революции в Кельне.

Веерт за все это время написал много фельетонных статей, но всего лишь одно стихотворение, посвященное имперской армии, которая, как известно, совершенно бездействовала. Мы его приводим полностью, потому что оно было анонимным и прошло совершенно незамеченным: оно весьма характерно для сравнения поэтического творчества Веерта с творчеством Фрейлиграта:

Die heilige deutsche Reichsarmee  
Ist auf den Strumpf gekommen:  
Sie hat aus Schwaben und Hessen sich  
Die besten Jungens genommen.  
Die heilige deutsche Reichsarmee,  
Die sollte die Schweiz berücken;  
Schon rückte sie aus, da musste sie, ach,  
Die verfluchten Hosen noch flicken.

Die heilige deutsche Reichsarmee,  
Die sollte ganz Limburg fressen:  
Schon rückte sie aus, da hatte sie, ach,  
Das verfluchte Pulver vergessen.  
Die heilige deutsche Reichsarmee,  
Die war zum Kampfe entschlossen:  
Da haben die Preussen und Dänen, ach,  
Den verfluchten Frieden geschlossen.

Die heilige deutsche Reichsarmee,  
Die sollte auch Wien erlösen:  
Da ist, ach Gott, der Herr Windischgrätz  
So verflucht bei der Hand gewesen.

Die heilige deutsche Reichsarmee,  
 Die lebt' ohn viele Sorgen:  
 Die Landsknechte traun auf den lieben Gott —  
 Kommst Du heute nicht, kommst Du morgen.<sup>1</sup>

Поэтическое творчество Фрейлиграта и Веерта — каждого в своей области — являет собой наивысшее достижение революционной поэзии того времени. Оба они нуждались в большом революционном вдохновении; но между тем как Фрейлиграт прежде всего наслаждался богатством красок и форм, сопровождающих революционное массовое движение, и примкнул к революции лишь под влиянием внешних впечатлений, от власти которых он освобождается только позднее, — для Веерта революция с самого начала была делом внутреннего убеждения, его пролетарского мирозерцания, проникающего и диктующего его произведению. Из этой принципиальной установки и вытекает коренное различие их художественных приемов: для Фрейлиграта живописная сторона его поэзии — основная часть его поэтической техники вообще; при ее помощи он *рисует* свои великолепные драматические сцены; его стихи пластичны и нередко даже слишком перегружены декламацией. Веерт же всегда исходит из действительной политической ситуации и потребностей пролетарской поэзии. Его художественный стиль был мастерски охарактеризован еще Мерингом, который назвал его «принцем из царства гениев, легко выступающим со сверкающим мечом и в блестящих латах; не шутник и не остряк буржуазного пошиба».<sup>2</sup> Веерт был великим реалистом; у Фрейлиграта всегда налицо риторика. Каждый из них был велик в своем роде, тем не менее Энгельс правильно сказал о Веерте, что «поистине его социалистические и политические стихотворения далеко превосходят фрейлигратовские оригинальностью, остроумием и особенно темпераментом».

Это психологически различное восприятие революции Веертом и Фрейлигратом объясняет то обстоятельство, что, начиная с января 1849 г., т. е. со времени крушения революции, в творчестве первого замечается «надрыв», второй же продолжает писать свои лучшие стихи. Для Фрейлиграта погибающая революция, поскольку он лично не страдал от этого, сопровождалась таким же богатством красок и движений, как и победоносная. Но для Веерта затягивающаяся революция становится «скудной». Он написал

<sup>1</sup> «Священное немецкое имперское воинство выступило в поход; в нем шествуют лучшие молодцы, набранные из Швабии и из Гессена. Священное немецкое имперское воинство должно было занять Швейцарию; оно уже выступило, но, увы, ему пришлось чинить проклятые панталоны. Священное немецкое имперское воинство должно было поглотить весь Лимбург, оно уже выступило; но, увы, оно забыло проклятый порох. Священное немецкое имперское воинство решилось вступить в бой; но, увы, проклятые пруссаки и датчане заключили проклятый мир. Священное немецкое имперское воинство должно было спасти и Вену; но, боже мой, подошел господин Виндиггрец, будь он проклят! Священное немецкое имперское воинство живет припеваючи; ландскнехты уповают на господя: если ты не придешь сегодня, то ты придешь завтра».

<sup>2</sup> *Фр. Меринг, История германской социал-демократии, Москва, 1922, т. II, стр. 126.*

еще несколько прекрасных фельетонов, но «надрыв» чувствуется уже и в них. Для этих настроений характерен его мартовский фельетон (1849 г.) — «Скука, сплин и морская болезнь», написанный в Лондоне, куда он ездил по служебным делам своей фирмы; он рассказывает, как к нему явилась богиня «Скука», жалующаяся сперва поэту на революцию, когда ей еще нечего делать. Но она уготовила себе теплое местечко, особенно в немецкой литературе, и — «неслыханные вещи!» — «творила в богословии». «В последнее же время, — продолжает она, — я чувствую новую почву и в политической жизни Германии»... «Самым утешительным образом у них все снова затягивается. Но это происходит потому, что я сидела на одной скамье с лучшими ораторами из церкви святого Павла...» и т. д. Революция предана. Нечего делать. Скучно стало...

Характерно также для отличия творчества Фрейлиграта от творчества Веерта то, как они прощались с «Новой рейнской газетой». Обнаглевшая реакция в мае 1849 г. решилась на шаг, который она раньше боялась сделать: она выслала Маркса из Пруссии как «иностранца». Газета должна была прекратить свое существование. В апреле она еще раз и окончательно изменила свою тактику, порвав всякие сношения с демократами и стала чисто рабочим органом: это решение было логическим выводом из развития революции. Кроме Маркса, реакционное правительство выслало еще нескольких редакторов газеты. 19 мая 1849 г. вышел знаменитый последний «красный» номер газеты с «Прощальным словом» Фрейлиграта:

Не честный удар в лихом бою,  
 Но обманы коварной клинки  
 Сломали внезапно мощь мою;  
 То западные калмыки  
 Из мрака в меня метнули копье,  
 Мне в тыл стрела полетела,  
 И вот бессильно лежит мое  
 Мятежное гордое тело.

.....  
 Так прощай же, воюющая земля,  
 Так прощайте, лихие солдаты!  
 Так прощайте, покрытые дымом поля,  
 Так прощайте, мечи и латы!  
 Так прощай же, мир, но не навсегда,  
 Дух они не убили, о братья!  
 Скоро опять я вернусь сюда  
 И за меч свой возьмусь опять я!  
 И лишь молния битвы опять сверкнет,  
 Лишь венцы, как стекло, разлеятся,  
 Лишь «виновен» скажет великий народ,  
 Вновь мы встанем и будем сражаться.  
 Над Дунаем, над Рейном, мудра и сильна  
 Пролетит она, чудо-девица...  
 И над миром навек воцарится она,  
 Величаяя бунтовщица.

Сколько энергии, революционного пафоса и непоколебимой веры в конечную победу революции! Недаром «Прощальное слово» считается одним из лучших стихотворений Фрейлиграта!

Иначе прощается с газетою Веерт: его фельетон в «красном» номере озаглавлен: «Прокламация к женщинам». Мужчины предали революцию, — спасите ее вы, женщины! Что случилось с вашими мужьями, с государственными деятелями, знаменитыми учеными, писателями и др. патриотами, «которые, подобно меланхолическим степным овцам, поджав хвосты, плетутся по люнебургскому пустырю настоящего навстречу Сахаре будущего? Схватите ваших смирных мужей за их нечесанные косицы и повесьте их, как пугала, где хотите, — только уберите их с глаз долой! Возьмите себе новых мужей, революционных мужей!» Таковыми он считает борющихся венгров, этих «французов XIX века». «Нас спасут гильотина и страсть женщин».

В 1848 — 1849 г. Веерт был в полном смысле этого слова поэтом партии Маркса и Энгельса. Его стихи, особенно же его фельетоны, перепечатывались всеми рабочими и лево-республиканскими органами.

## II

Самое крупное поэтическое произведение Веерта — роман «Жизнь и деяния знаменитого рыцаря Шнапганского». Это, кроме того, единственное его произведение, вышедшее отдельной книгой (в издании Гофмана и Кампе, 1849 г.). В нем он хотел дать «вечную карикатуру» на главного врага немецкой революции и прогресса вообще — *прусского юнкера-феодала*. Образцом для него, по словам самого Веерта, должны были служить бессмертные карикатуры на рыцарские романы: «Дон-Кихот» Сервантеса, «Рыцарь Фоблаз» Лувэ и «Странные и удивительные деяния и подвиги знаменитого Пантагрюэля, царя дипсодов» Раблэ. Из последнего романа он даже приводит целые отрывки.

Подразумевается ли под «Шнапганским» какое-нибудь определенное лицо? И да, и нет. Во-первых, самое имя заимствовано у Гейне («Атта Тролль»), где определенно имеется в виду князь Феликс Лихновский, сражавшийся тогда в Испании. Описывая дочерей старого медведя Тролля, Гейне пишет:

Всех взволнованней меньшая,  
 В щекотании блаженном  
 Сердце юное трепещет,  
 Чует силу Купидона.  
 Да, стрела малютки-бога  
 В грудь сквозь шкуру к ней проникла,  
 И — о небо! — тот, кто ею  
 Обожаем, — человек!  
 И зовут его Шнапганский.  
 В генеральной ретираде  
 Пробежал он перед нею  
 Как-то утром через горы.

Сердце женщин сострадает  
 Злоключениям героев,  
 На лице его лежала  
 Как всегда, нужда в финансах.

Всей его военной массой —  
 Двадцатью двумя грошами,  
 Привезенными в Испанию, —  
 Завладел дон-Эспартеро.

И часов не спас он даже!  
 Там, в ломбарде пампелунском,  
 Он оставил этот ценный  
 Дар, полученный в наследство.

Удирал он без оглядки;  
 Но, и сам того не зная,  
 Одержал победу лучше  
 И дороже — в плен взял сердце.

Вот что было написано о будущем герое Веерта, когда князь Лихновский в 1848 г. был избран в национальный парламент во Франкфурте и занял самую правую, консервативную позицию. Он держался в высшей степени вызывающе и презирал всякие, даже самые умеренные демократические убеждения. И вот, летом 1848 г., редакции «Новой рейнской газеты», по словам Энгельса, удалось получить новые сведения о прежней, изобилующей разного рода приключениями в разных странах и городах жизни этого князя Лихновского, типичнейшего отпрыска вырождающегося юнкерства. Сведения эти Веерт и положил в основу своего сатирического романа. Сперва он был напечатан в газете (в двадцати одном номере), а затем вышел отдельной книгой.

Шнапганский-Лихновский — князь из Силезии. Что это за князя и в какой степени карикатура на их вырождение была верна в 1848 г.? Рыцарская помещичья власть в Силезии так же, как и в остальных восточных провинциях Германии, возникла в процессе хозяйственных перемен эпохи реформации: рыцарь — воин-грабитель — стал теперь производителем товаров и для этой цели прогнал крестьян с их земель и ограничил их личную свободу, сделал их крепостными. Этот процесс грабежа длился столетиями, прерываясь разве лишь изредка, когда центральная власть сама принималась выжимать последние соки из крестьян для своей казны. Во время Великой французской революции, когда государственным деятелям, более дальновидным, чем тупоумные юнкера, стало ясно, что с крепостными не устоишь перед свободным французским крестьянином в наполеоновской армии, прусский абсолютизм «освободил» крестьян — после нескольких восстаний, — но старался сохранить от феодализма все, что только было возможно. Крестьянину дали личную свободу и даже обещали дать землю после изгнания французов. Но как только «мавр сделал свое дело», он мог удалиться. Фактически большая часть крестьянства была попросту обращена, путем насилия, лжи и обмана, в армию безземельных пролетариев. При помощи этой

беззащитной армии юнкера начали ставить хозяйство государственных доменов и юнкерских имений на капиталистическую ногу (винокурение, свекло-сахарная промышленность и т. д.). Являясь, таким образом, полукapиталистическим, полуфеодальным предпринимателем, юнкерство в то же время продолжало ревниво и судорожно держаться за все старо-дворянско-рыцарские традиции и еще ревнивее удерживать в своих руках массу старых феодальных привилегий, как-то: вотчинную юстицию, право охоты, поместную полицию и т. д. Создался какой-то причудливо-карикатурный тип дворянина, которого Гейне описывает в следующих выражениях:

Ребенок с тыквой головой,  
С усищами, седой косой,  
Чьи крепки длинные ручонки,  
Велик живот, кишки же тонки,  
Уродец подлинный...

Из такого же «причудливо-карикатурного» мира вышел и герой романа Веерта, Шнапганский-Лихновский. Великие сатирики всех времен пользовались разными приемами в зависимости от стиля класса, к которому они принадлежали, и от предмета, обстановки и времени их произведений. Так, романы Раблэ — «юмористический выворот наизнанку рыцарских романов»; основным сатирическим приемом их является «грандиозное преувеличение: люди-великаны, аппетиты их громадны, подвиги они совершают сверхчеловеческие; наконец, их язык, как и язык самого автора, представляет колоссальное нагромождение однозначных слов, причем и автор, и его герои создают совершенно новые слова и новые грамматические формы...» (Фриче). Роман же Сервантеса — пародия на рыцарство и формально, как роман, и идеологически, в обрисовке героя. Сатирический прием Веерта состоит в соединении двух указанных приемов. Но если Сервантес, будучи сам выходцем из дворянства времен упадка, окружает своего героя романтическим ореолом, и смех его — нередко смех сквозь слезы, — Веерт всей душой ненавидит своего «рыцаря печального образа», ибо он — душитель революции и злейший враг рабочего класса. Поэтому сатира на Шнапганского — злая, резкая, разоблачительная. Да и характер и личные качества «рыцаря Шнапганского» совсем другие, чем у его бессмертных предшественников: он — что угодно, только не благочестив; он плутует, лжет, ворует, — лишь бы сохранить аппарансы. Веерт сам рисует его следующим образом: «Жизнь Шнапганского похожа на пеструю арабеску. Иногда она нам будет напоминать похождения кавалера Фоблаза, иногда — эпизод из истории рыцаря Ламанчского; иногда — блестящие моменты из жизни фокусника Воско. Нежный, влюбленный пастушок, неистовый бретёр, дипломат, солдат, писатель — все это Шнапганский».

Роман начинается главой «Силезия». Шнапганский, красивый молодой князь, вольноопределяющийся гусарского полка, влюбляется в жену графа С. Тут описывается первое приключение героя. Он похищает красавицу

виду, но, услыхав приближение кареты преследующего их графа, оставляет графиню на произвол судьбы и удирает. Вся жизнь он боится лакеев графа, получивших приказание жестоко избить его при первом же случае. Далее следует второе приключение—с дуэлью. В аристократических кругах наш герой сочинил целую историю о своих отношениях с графиней С. и о том, как он из-за нее дрался на дуэли. Эта сказка мигом облетает все круги прусского юнкерства, возбуждая зависть драчуна-дуэлиста графа Г., который теперь только и ищет случая, чтоб помериться силами со страшным стрелком Шнапганским. Случай этот скоро представляется, и наш герой удирает со всех ног. Но граф Г. не сдается: он разыскивает его и заставляет драться на саблях. И оказывается, что рыцарь подложил под свой костюм дюжину мокрых платков, чтобы никакая сабля не повредила ему. Затем наш рыцарь попадает в Берлин, где предается сладкому ничегонеделанию все время, пока его поместье в Силезии дает доход. Тут у него опять множество приключений с женщинами и дворянами-офицерами, с танцовщицами и ювелирами. «Скомпрометированный» в высшем обществе — хотя и другие представители «высшего» круга поступали не лучше — Шнапганский уезжает в Испанию и поступает в армию Дон-Карлоса, а после поражения армии отправляется во Францию. К этой «славной» поездке в Испанию относится вышеприведенная сатира Гейне. Переехав в Брюссель, рыцарь пишет свои мемуары и пускается в новые приключения на балах бельгийского дворянства, увлекается азартными играми в Мюнхене и т. д. Между тем Шнапганский успел уже выпустить свои мемуары (об испанском походе), в которых он выдумывает для себя всевозможные подвиги. Таким образом он создал себе ореол храбреца в Германии. После вступления на престол Фридриха-Вильгельма IV (1810 г.) он опять в Берлине. Но ему недостает самого существенного, самого необходимого для приключений юнкера — денег. Их нехватало потому, что «расположенные в Верхней Силезии имения Шнапганского почти не приносили дохода, так как были отягощены огромными долгами; долги возрастали с каждым днем, ибо благородный рыцарь отнюдь не обладал даже и такими доходами, которые покрывали бы проценты по закладной. Отец Шнапганского весьма гениально избавился от части долгов, отдавшись своевременно и добровольно под опеку. Именья перешли к молодому рыцарю, бывшему тогда еще юношей, который не отвечал за долги отца, так как на майораты нельзя было накладывать ареста, даже на доходы от майоратных имений кредиторы могли законно притязать лишь до тех пор, пока должник является *владельцем* майората. При помощи этого ловкого кунштютка семья Шнапганского разделалась с большей частью долгов и разорила много буржуазной сволочи. За отсутствием какого бы то ни было оборотного капитала именья вернулись очень скоро к прежнему положению. Все их доходы были снова заложены, и все владения опять отягощены ипотеками. Сами по себе доходы с этих имений все же были очень значительны» (стр. 120 — 121). Но в Берлине юнкерство бойкотировало Шнапганского за прежние его приключения. «Как мокрый пудель, бледный, дрожащий,

бессильный, наш рыцарь покинул Берлин» и уехал в Силезию в свое поместье. «Свой дома, свои поля, своих овец он заложил евреям и христианам... «Говорят, что в эти дни он иногда читал Библию...» Однако вскоре пришло спасение: наш рыцарь женился на очень богатой, но и очень некрасивой старушенции — герцогине, владельнице соседнего имения. Изображая эту свадьбу, Веерт рисует нам всю жизнь провинциального юнкерства: князей, графов, баронов и рыцарей, ставших теперь винокурами, овцеводами и барышниками. Он мастерски изображает этот «причудливо-карикатурный» мир, не забывая указывать, между прочим, и на его экономические предпосылки. После своей женитьбы Шнапганский делает карьеру. Веерт пишет: «Уплатив долги Шнапганского, герцогиня на этом не успокоилась. Больше всего она хотела снова открыть ему доступ в берлинское общество. Только герцогиня фон-С. могла приняться за такую задачу. Женщина, знакомая со всеми интригами старого режима и революции, испытавшая все превратности жизни, империи, реставрации, не боялась ничего. Вместе со своим рыцарем она является в Берлин, импонируя своей смелостью, своим опытом и своим колоссальным богатством. Старые враги Шнапганского зашевелились в сотнях мест, но они бессильны перед энергией герцогини; самые отвратительные похождения ее друга превращаются в очаровательнейшие приключения; ненависть, зависть, насмешки, — все это герцогиня побеждает. Во время аудиенции у товарища своих детских игр ей удается выхлопотать Шнапганскому доступ в высшие сферы. Рыцарь делается «приемлемым», он чувствует почву под ногами, он имеет определенное положение — его терпят. Начинается политическая карьера Шнапганского. Она идет быстрым темпом: вскоре он делается членом силезского провинциального ландтага, проникает в высшие придворные круги и после революции 1848 г. избирается во франкфуртский парламент!

Деятельность князя Лихновского-Шнапганского в национальном парламенте общеизвестна: он держался вызывающе по отношению к демократам и издевался над народом и революцией, постоянно опираясь на свои аристократические привилегии. 18 сентября 1848 г. он прогуливался в окрестностях Франкфурта вместе с другим дворянским депутатом фон-Ауэрсвальдом, занимаясь в то же время слежкой за крестьянами, идущими на помощь восставшим во Франкфурте. Но это была последняя прогулка: оба депутата были убиты.

В это время Веерт прекратил печатание своих фельетонов. В первой части романа приключения были сгруппированы и описаны так, что каждый мог догадаться, что под Шнапганским подразумевается именно князь Лихновский. И вот, — как думала публика — чтобы не «издеваться» над убитым, Веерт и решил закончить печатание романа в газете. Но министр юстиции центрального правительства истолковал это по-своему: раз Веерт прекратил печатание в тот момент, когда убили Лихновского, то отсюда, во-первых, следует, что под Шнапганским действительно подразумевался этот князь и, во-вторых, что автору романа необходимо навязать процесс за



оскорбление убитого. Таким образом, Веерт попал под суд. Покуда велось следствие, он уехал в Англию. Но роман не был еще закончен. И чтобы доказать, что он имел в виду не отдельное лицо, а целую категорию лиц, определенную социальную группировку, прусское юнкерство, Веерт добавил еще несколько глав к роману, в которых продолжают приключения героя; но эти главы довольно слабо связаны с предыдущей, основной частью романа. Конечно, было бы ошибочно утверждать, что Веерт хотел «оскорбить» именно князя Лихновского. Как всякий художник, Веерт искал образа для своего романа-сатиры на злейшего врага трудового народа и революции, прусского юнкера. Лихновский — типичнейший представитель наиболее реакционной части этого класса феодалов, бывший его глашатаем и политическим адвокатом в парламенте. Неудивительно, что революционный Сервантес, замышлявший «Дон-Кихота» прусского юнкерства, жадно набросился на подвиги князя, сведения о которых каким-то путем были добыты редакцией «Новой рейнской газеты» и обработаны с целью скомпрометировать, изобразить в карикатурном виде ненавистный класс. Вот в каком смысле можно говорить о тождестве Шнапганского с Лихновским.

В оценке художественных достоинств «Рыцаря Шнапганского» (само собой разумеется, что на него обратили внимание почти исключительно марксисты) не все критики держатся одного мнения. Некоторые считают этот роман наивысшим достижением художественного творчества 1848 — 1849 гг., другие относятся к нему отрицательно, как к «безвкусице», и склонны придавать ему значение лишь документа эпохи, отражающего грубость тогдашних обычаев и нравов. Дело в том, что Веерт в своих фельетонах, как и в своей социалистической лирике, никогда не стесняется говорить о вещах, о которых в «благородном» и «благонравном» мире открыто выражаться не принято, вследствие чего естественные и самые обыкновенные вещи превращаются в грязные анекдоты. Именно эту «чувственность» ни буржуазные, ни мещански-пабжные филистеры-критики не могли простить Веерту. Такие субъекты жили, конечно, и в его время. Веерт в одном письме отвечает на подобные упреки: «Верно, что во многих отношениях мы, несмотря на все революции, живем еще в «строغو-нравственное» время, когда редко осмеливаются назвать что-либо своим настоящим именем и когда стараются скрыть самое естественное за самым неестественным. Так, чувственность вызывает у нас глупую краску. Разве чувственность не так же свойственна человеку, как и другие его потребности? Зачем пужно играть с ней в прятки? Я не понимаю этого, я считаю это нелепым. Я не могу постичь, почему нельзя писать так же чувственно, как чувственно переживаешь и думаешь. О, людям не мешало бы поучиться у царя Соломона, у старика Аристотеля или у Гете, тогда бы они поняли, что я прав». И лучшие мастера свободной критики, свободные от мещанских предрассудков в этой области, всегда признавали «Рыцаря Шнапганского» великим художественным произведением. Достаточно привести оценку, данную Мерингом и Энгельсом. Первый пишет: «С тех пор как немецкий буржуа всецело посвятил себя

пошлой наживе, он потерял вместе с теоретическим смыслом и литературный вкус, отличавший его раньше, и не один кандидат высшей политической экономии поднимал страшный вопль по поводу мнимой порнографии в фельетоне «Новой рейнской газеты». Если бы Веерт был еще жив, то серьезный тон этого нравственного возмущения вызвал бы у него самый искренний смех. Его главная работа в «Новой рейнской газете»: «Жизнь и деяния знаменитого рыцаря Шнапганского», где он верно описывал с натуры приключения князя Лихновского..., представляют собой перл той гениальной дерзости, которая искони пользовалась во всякой литературе полным правом гражданства по отношению к подобным сюжетам, по крайней мере в литературе, которой наслаждаются настоящие мужчины и настоящие женщины, хотя бы она и внушала притворный ужас девицам старшего возраста.<sup>1</sup> А Энгельс уже прямо считает эту черту творчества Веерта огромной заслугой и пишет: «В чем Веерт был мастером, в чем он превзошел Гейне (ибо он был здоровее и менее испорчен) и в чем на немецком языке превзойден только Гете, — это в изображении естественной, крепкой чувственности и плотскости..., и я не могу не заметить, что и для немецких социалистов наступит также время, когда они открыто отбросят эти отсталые взгляды немецкого филистера, ложную нравственность, которая, к тому же, служит только для прикрытия тайного сквернословия. Когда читаешь, например, стихотворения Фрейлиграта, можно, поистине, подумать, что у людей совсем нет половых органов. И, однако, никто так в тиши не смековал непристойный рассказец, как именно ультра-целомудренный Фрейлиграт. Давно пора, по крайней мере немецким рабочим, приучиться говорить о некоторых вещах... так же свободно, как романские народы, как Гомер и Платон, как Гораций и Ювенал, как Ветхий завет и «Новая рейнская газета».<sup>2</sup>

В «Рыцаре Шнапганском» Веерт действительно достиг наивысшей точки в своей сатире-прозе. Мы неоднократно уже указывали на огромное влияние Гейне на Веерта; оно чувствуется очень сильно и в этом романе. Но в него, в гораздо большей степени чем в свою лирику, Веерт вложил новый элемент; а именно, он соединил могучий, мужественный народный стиль средневекового немецкого политического памфлета с легкой, игривой, но в то же время и ядовитой сатирой в стиле Гейне. Из этих элементов и складывается сатира романа, которую, скорее, можно назвать юмором, переходящим в сарказм. Любимыми приемами Веерта для выражения юмора и сатиры были:

а) юмор ситуации: носится рыцарь Шнапганский из города в город, и всюду ему мерещатся лакеи графа С. с розгами. Или: граф Г. пронзает нашего героя на дуэли рыцарской саблей, — Шнапганский падает; полный скорби и сожаления, граф Г. расстегивает скюртук своей жертвы, чтобы по-

<sup>1</sup> Ф. Меринг, История германской социал-демократии, Гиз, Москва 1922 г., том II, стр. 126—127.

<sup>2</sup> Цюрихский «Sozialdemokrat», № 24, 1883.

смотреть рану и осушить кровь, и находит—одни мокрые платки, которыми обмотался «рыцарь» и т. д.;

б) *сатира характеристики* — наиболее часто применяемый прием у Веерта. Когда он изображает типичнейшие черты силезского барона, князя или рыцаря и доводит их до крайности, то получается карикатура, но карикатура такая жизненная, что можно было бы эти характеристики приложить к тому или иному действительно существовавшему силезскому дворянину;

в) *резкое противопоставление противоречий*: храбрость и трусость, добродетель и зло, мир дворянский и буржуазный, благовоспитанность и нахальство, добродушие и злобность, и сопоставление вещей без внутренней связи — все это соединяется, сталкивается в бешеном вихре явлений, кружась все время около главного героя. И, наконец, последний излюбленный прием Веерта:

г) *сочный народный юмор* рассказа с многочисленными вставками, не имеющими, на первый взгляд, никакого отношения к сюжету. Местами нить романа прерывается на целую главу, чтобы дать место какому-нибудь случаю с добродушным вестфальским крестьянином, попавшим в большой город, или с рассеянным профессором и т. д., с целью создать юмористическую аналогию с ситуацией главного героя.

Что касается техники выражения этой сатиры, то Веерт в основном пользуется излюбленными у народа *преувеличенно-частыми повторениями* особенно смешных приключений рыцаря, затем чрезмерной чувствительностью и раздражительностью некоторых героев, а также ложью и нахальством главного действующего лица. Веерт является, безусловно, одним из самых выдающихся немецких юмористических писателей. Он использовал также некоторые сюжеты и приемы многих своих английских и французских предшественников. Но основное, *оригинальное*, отличающее его ото всех остальных — это то, что он *революционный, пролетарский сатирик*. Раблэ, представитель новой французской гуманистической интеллигенции, начинает свой роман гомерическим хохотом, великолепной сатирой на все средневековое общество и культуру, но кончает меланхолическим аккордом. Сервантес, гениальный создатель сатиры на уходящий рыцарский мир, не только насмеяется над своим героем, но вместе с тем и идеализирует его. Гейне, величайший мастер сатиры, разразился кощунственным смехом над всем романтическим и буржуазным миром и в то же время жалел его. Если же исследовать творчество великого юмориста английской городской мелкой буржуазии, Диккенса, то окажется, что и его отношение к «странным» героям, к «добрым эгоистам», в сущности, «смех сквозь слезы» в своеобразной форме. Одним словом, у всех этих юмористов мировой литературы налицо идеологическая *двойственность*; в той или иной мере у них замечается сочувствие к осмеиваемым героям. Формально эта идеология выражалась в переплетении реализма с символизмом, натурализма с романтизмом и т. д.; в их сатире имеется элемент *трагикомизма*. Этого нет у Веерта. Его сатира

злая, разоблачительная, дискредитирующая, воинствующая; цель ее — высмеять, уничтожить классового врага. В этот период идеология Веерта — еще оптимистическая, проникнутая надеждою на светлое будущее. Рыцари Шнапганские — смертельные враги социальной революции; поэтому сатира на них — ядовитая, беспощадная, смертельная.

«Рыцарь Шнапганский» — не роман в строгом смысле этого слова. Вообще Веерту не удавались большие произведения; гениальными были его политические фельетоны. Но Шнапганский в сущности не что иное, как большая серия сатирических фельетонов, связанных нитью хронологического пересказа приключений рыцаря. Эта черта в то же время является отрицательной стороной романа: отсутствует строгая композиция. Однако эта «свободная» конструкция дала Веерту возможность делать всякие, местами весьма интересные, экскурсии исторического или экономического характера, повышающие в наших глазах ценность романа. Так, вместо введения к главе о дон-кихотских приключениях Шнапганского в Испании (в качестве наемного генерала Дон-Карлоса), наш поэт дает краткую, великолепную характеристику, своего рода историческую справку о наемных немецких ландскнехтах всех времен. «Немецкие ландскнехты, — пишет он, — были храбры во все времена. Те же самые неуклюжие пентюхи, которые, в валенках, в вязаных камзолах и в шерстяных ночных колпаках, ленивые, как одряхлевшие собаки, и трусливые, как зайчихи, валялись на печи у себя дома или на скамьях в трактире, за рубежом всегда дрались за чужих князей с добросовестностью и упорством, превосходившими все границы. Тот, кто дома был кроликом, на чужбине делался тигром; мечтатели превращались в забияк; белокурые сентиментальные повесы — в убийц; кроткие бледные Генрихи и Готфриды — в сыплющих ругательствами генералов и фельдфебелей, уничтожавших своих врагов с такою же безмятежностью, с какою они в свое время косили рожь или сажали спаржу. Немцы на всех полях сражений всех веков, за аккуратно выплачиваемое жалованье, так же аккуратно давали себя убивать. Своими кроткими голубыми глазами они так смиренно взирали в черные, как сажа, жерла пушек, как будто оттуда должны были вылететь жареные голуби, а не огромные ядра» (стр. 60 — 61). В другом месте он дает юмористический, но основанный на глубоком понимании экономической сущности вопроса, блестящий анализ происхождения проституции; эти рассуждения опять-таки служат введением к главе о похождениях героя в Берлине с танцовщицей.

Роман заканчивается главой о торжествах в кельнской ратуше. Она должна была доказать судьям Веерта, что Шнапганский — не князь Лихновский, а прусский юнкер вообще. Но эта глава, написанная во время последней агонии революции, превратилась в беспощадную обвинительную сатиру — уже не только на юнкерство, но и на всю немецкую буржуазию, предавшую революцию, и на мещанство, «отягощавшее свинцовыми подошвами ноги революции». Веерт почувствовал, что в такие минуты не достаточно бичующей сатиры и что надо бороться и другими средствами.

Заканчивает он следующими словами: «Да, прошло празднество отвратительнейшего заигрывания с глупым суверенным Михелем, и мы, может быть, даже посмеялись бы над этим, если бы сквозь блестящую толпу князей, «друзей народа», этих продажных рабов и этих одураченных народных представителей, мы не видели пронзенные пулями трупы пролетариев Парижа, Вены и Берлина; если бы сквозь хаос лицемерных уверений, бесстыднейшей лжи не доносились до нас предсмертные вздохи раздавленных поляков, крики терзаемых венгров о помощи и призыв опустошенной Ломбардии к мести; если бы окровавленная голова Роберта Блюма не валялась у наших ног — но довольно! юмор иссяк, книге конец!» А на отдельном листе имеется маленькое дополнение: «Но какова судьба Шнапганского? Жив он или мертв? Шнапганский жив и никогда не умрет. *Мой Шнапганский бессмертен*». Шнапганский Веерта, как самое выдающееся художественно-сатирическое произведение революционной литературы 1848 г. — *действительно бессмертен*.

### III

Из всех видов художественной литературы фельетон исследован менее других; существующие три буржуазные работы (Э. Экштейна, Т. Келлена и Фр. Мейнье) не могут претендовать на научное значение, а ненапечатанное еще исследование немецкого марксиста Феддерсена<sup>1</sup> о социалистическом фельетоне в немецкой социал-демократической ежедневной печати относится почти исключительно ко второй половине XIX века; в вводной же главе, где трактуется социалистический фельетон предмартовского времени, автор ошибается в общей его оценке, подводя его под одну формулу — *младогерманского фельетона*.

Правда, нельзя отрицать, что «Молодая Германия» является основательницей немецкого фельетона: начиная с 1838 г., большие немецкие газеты, в первую очередь «Кельнская», начинают помещать живо написанные статейки на злобу дня (из области политики, искусства и т. п.), по французскому образцу — «в подвале». Младогерманцы, как представители пробуждающейся либеральной буржуазии, были инициаторами и авторами этого газетного нововведения, так как революция в области газетного дела (изобретение скоростной машины) требовала гибкого и более злободневного содержания. Но слабость немецкого бюргерства, обусловленный этой слабостью быстрый отказ «Молодой Германии» от первоначальной своей радикально-буржуазной программы и распад всего движения создали тот характерный игриво-салонный фельетонный стиль, который не культивировали лишь Гейне и Берне. Перекочевав из области политики и критики социального строя в область театра, беллетристики, описания

<sup>1</sup> *H. Feddersen, Das Feuilleton der soz.-dem. Tagespresse Deutschlands von den Anfängen bis zum Jahre 1914. Leipzig, 1922 (Manuskript).*

пейзажей и домашней жизни, эстетизирующий стиль Гудкова, Лаубе, Кюне и др. превратился в самодовлеющую игру слов. В сменившем эту школу младогерманском движении и в области фельетона отражается идеологическая двойственность: с одной стороны, сохраняется упадочный младогерманский стиль; с другой же стороны, он уже преодолевается здоровой социальной критикой и политической, радикальной агитацией. Эта раздвоенность как нельзя лучше обнаруживается в фельетоне самого выдающегося органа этого движения, в редактировавшейся Марксом «Рейнской газете» (1842—1843 гг.). Если подвергнуть исследованию ряд ее фельетонов, вылившихся преимущественно из-под пера ее берлинских сотрудников (так называемого кружка «Свободных»), в особенности статьи Э. Бауэра и Э. Мейена об искусстве и театре, то мы увидим, что они почти не отличаются от фельетонов Лаубе, Кюне и др. Маркс сам называет их, в своем письме к Руге от 30 ноября 1842 г., «бессодержательными статьями», написанными «плохим слогом, с некоторым оттенком атеизма и коммунизма, которого эти господа никогда не изучали». И он не меньше, чем цензор, вычеркивал в этих присылаемых «пачками» статьях. Но, с другой стороны, в том же фельетоне «Рейнской газеты» мы находим много статей, которые, в совокупности, придают ему актуально политический сатирический характер (статьи Ф. Кёппена, Энгельса, Макса Штирнера, А. и К. Штара, К. Науверка, Б. Ауэрбаха и мн. др.) и в очень резкой форме бичуют предмартовский социальный строй и немецкого Михеля. Наравне со статьями Маркса именно эти фельетоны вызывали особый гнев берлинских министров и повлекли за собой запрещение газеты. В общем, если фельетон «Рейнской газеты» еще и нельзя назвать социалистическим, то все же он содержит в себе много элементов, на основе которых могла возникнуть социалистическая трактовка вопросов.

Связующим звеном между этим актуально-политическим, младогегельянским и социалистическим фельетоном служит фельетон парижской эмигрантской газеты «Vorwärts», после того как она летом 1841 г. сделалась социалистической. Фельетон этой газеты отличается от фельетона прежних радикальных газет тем, что центр тяжести переносится с литературно-художественных вопросов на социально-политические. Главными сотрудниками его были состоявшие тогда всецело под непосредственным влиянием Маркса Г. Гейне и Г. Вебер, молодой коммунист из Кюля. Писали там и другие, как, например, старый вейтлингианец Г. Мейер, затем В. Марр, а также радикальные и истинно-социалистические поэты Рейнской провинции.

После этих фельетонов, проникнутых уже социалистическими мотивами, рассматривающих социальные проблемы как центральные, дальнейшее развитие шло уже в сторону социалистического фельетона, который получил свое сильнейшее выражение в журналах и газетах рейнского истинного социализма («Trierer Zeitung», «Kölnische Zeitung», «Rheinische Jahrbücher», «Gesellschaftsspiegel», «Deutsches Bürgerbuch», «Westphalisches

Dampfboot», «Prometheus» и др). Общее направление и тенденции фельетона этих органов такие же, как и у поэзии «истинного» социализма. Основной целью фельетонистов было, конечно, в связи с общей установкой этого движения, дать детальное и сентиментальное описание несчастных случаев, эксплуатации пауперизированных народных масс — чтобы вызвать сострадание у богатых, господствующих классов общества. Но — как и в поэзии — истинный социализм в фельетоне не является чем-то однородным: наравне со слезливыми описаниями, напоминающими стиль мелкобуржуазного натурализма 80 — 90-х гг., в этих газетах и журналах можно встретить и весьма реалистические, социально-политические рассказы, на много превосходящие этот стиль, часто напоминающий стиль «Gartenlaube». И своим ясно выраженным стремлением к сознательному служению социальным и политическим интересам рабочего класса этот фельетон если и не сумел выполнить принципиальные задачи пролетарской журналистики, то, по крайней мере, он эти задачи *наметил*.

Веерт, — как в своей лирике, так и в фельетоне, — проделал всю эволюцию своей эпохи: в начале 40-х гг. он писал романтические, фольклористские фельетоны, затем младогегельянские и социалистические. Но все, что написано им в этом жанре до 1848 г., носит — по крайней мере тематически — случайный характер. Несколько более устойчивым является лишь его интерес к социально-политической жизни англичан, особенно рабочего класса. Другое дело в 1848 г., когда он стал редактором фельетона «Новой рейнской газеты». Тут тема была дана самими событиями революции, на которые нужно было реагировать с пролетарской точки зрения. Общая идеологическая установка Веерта в фельетоне — такая же, как и в его лирике, т. е. тактика Маркса и Энгельса в «Новой рейнской газете» вообще; именно, до июньских боев в Париже и перехода буржуазии на сторону реакции основным врагом революции признается юнкерство в Германии, и против него и направлена большая часть фельетонов Веерта. Но если мы говорим о согласованности тактики фельетона с общей линией газеты и Маркса, то это относится, конечно, только к принципиальным взглядам на революцию 1848 г. На практике же, например, Веерт выступил с разоблачением реакционных настроений лавировавшей немецкой буржуазии еще до июньских боев. Уже первый номер газеты Веерт открыл едкой сатирической характеристикой роли немецкой буржуазии в революции. «Господин Прейс в опасности» (№№ 1, 2 и 3) — так озаглавлен первый фельетон, и в нем описывается положение немецкого буржуа после февральской революции в Париже: акции падают, и господин Прейс ругает «проклятую революцию», которая «выбила нас из колеи». «Еще вчера мне снилось, что гильотина и нищенская сума танцуют ужасный вальс. Когда весь в поту просыпаешься утром и смотришься в зеркало, то кажется, что перед собой видишь сорвавшегося с виселицы». Но больше всего буржуа беспокоит следующее: «Банкротство следует за банкротством, и кредит поколеблен до самого своего основания. Шатаются престолы, и вместе с ними

шатается последний мыловар»... «По улицам ходишь с похоронным видом, терпя издевательства грубых пролетариев, и на тебя, разинув рот, жадно смотрит ненасытный народ. На бирже тихо, как среди поля. Слышно, как мыши скребутся за стеной, и слезы льются при мысли о низком курсе». Господин Прейс ищет выхода из положения путем увольнения части своих служащих — и вдруг вести о победе революции в Берлине! Прейс окончательно падает духом и в течение нескольких дней живет в неописуемом испуге; известие о победоносной революции давит его, как кошмар, и Веерт с неподражаемым юмором описывает сон Прейса: баррикадный бой в Берлине, представляющийся ему как *борьба единиц с нулями!*

Всего в серии о немецкой буржуазии и революции — 7 фельетонов, напечатанных в газете с 1 июня по 6 июля 1848 г. За фельетонами «Господин Прейс в опасности» вскоре следуют другие, на тему о том, «Как господин Прейс приспособлялся к обстоятельствам». — Оправившись от первого испуга, господин Прейс старается подделаться под новый порядок вещей. «Времена меняются, и мы должны меняться вместе с ними», и «умный человек держит нос по ветру» — таковы догматы этого буржуа. Но чем бы заняться? Ладно! Мы учредим предприятие по изготовлению черно-красно-золотых кокард. Патриотично или непатриотично, но это прибыльно». Однако же надолго ли это выгодное дело? Что если придут русские или французы? Не начать ли производство оружия? Нет: «при первом удобном случае пролетарии разгромят наши склады!» И после долгого размышления Прейс останавливается на следующем плане: спекулировать на шрапнели! Выработать грандиозный план снабжения правительственной армии шрапнелью! Теперь ведь свобода, и он, как гражданин немецкой (будущей) республики, жертвует своими деньгами, пускается на риск из-за «патриотической любви» к новым порядкам. Он посылает свой проект в военное министерство и, в ожидании ответа, философствует «о вещах вообще». Вот, например, во Франции членом правительства избран поэт! Разве найдется на свете что-либо более дурацкое, чем поэт? Он, Прейс, ненавидит всех астрономов, журналистов и адвокатов. Но это еще пол-беды: членом французского правительства состоит настоящий *рабочий*. Тут уж мурашки пробегают по спине господина Прейса, и он повторяет свою ежечасную молитву: «Охрани нас от кроваво-красного знамени!» — Но «бытие господина Прейса приобретает всемирно-историческое значение»: — так озаглавлен последний фельетон этой серии; — военное министерство одобрило план снабжения армии шрапнелью, и Прейс особенно доволен выдуманном им для этой шрапнели названием «Пилули против суверенного народа». Приспособление буржуазии к «новым порядкам» произошло, круг замкнулся: — из боязни социальной революции рабочего класса буржуазия пошла на коалицию с юнкерством — *против* революции. Господину Прейсу предстоит блестящая карьера: уже поговаривают о назначении его министром. Но, «услыхав совершенно необоснованные известия о том, что господин Прейс будет министром, грубые пролетарии в тот же вечер разбили



у него окна». — Так Веерт заканчивает серию своих фельетонов. — Во всей немецкой литературе нет даже попытки проанализировать позицию немецкой буржуазии в таком исторически верном марксистском освещении. А это было написано Веертом в самый разгар революционных событий, отчасти даже с предвосхищением этих событий! И притом сколько здесь юмора и сатиры!

Пролетарская поэзия 1848—1849 гг. боролась и против *мещанства*, которое «как свинцовые подошвы, отягощало ноги революции». Мы уже в лирике Веерта видели, как он язвил этот социальный слой. Не меньше доставалось ему и в фельетонах. Как и буржуазии, Веерт посвятил мещанству серию статей «Из дневника плаксы». Точно живые, встают перед нами все маленькие люди этих фельетонов, собирающиеся в кельнском кафе и дискутирующие о вопросах дня и революции; тут сборщик податных налогов Эрлих, рантье Дюрр, художник Пинзель, учитель Фукс и ряд простых мещан, отцов семейств без титулов. Все они за кружкой пива, оживленно жестикулируя, развивают свои мещанские аргументы против революции и «анархии». О чартистах и французских рабочих диспут ведется еще довольно спокойно: но вот приходит журналист, читает письмо из Парижа о баррикадных боях и предвещает такие же бои и в «святом граде Кельне». — И все собравшиеся бледнеют, некоторые даже падают в обморок.

Лучше всего, конечно, Веерт был знаком с мещанством Рейнской провинции, и поэтому его статьи о роли городской мелкой буржуазии в революции всегда окрашены местным, обычно кельнским, колоритом. Но не хуже наш поэт знал и английский «средний класс». Побывав весной 1849 г. по делам своей торговой фирмы в Лондоне, он рисует нам эту среднюю английскую буржуазию и ее отношение к религии. Вообще Веерт — и совершенно правильно — анализирует англиканскую церковь как «религию индустриального порядка», где пастор является держателем многих железнодорожных и других акций. И вот Веерт описывает различные группы людей в англиканской церкви: «Внизу, в нефе, стоят представители мелкой буржуазии, которые в будние дни так охотно подсыпают песок в сахар, мешают вино с водкой и совершают крещение молока если и не иорданской водой, то, во всяком случае, от щедрот своего насоса — одним словом, маленькие, честные люди, довольствующиеся умеренным барышом. Но сегодня они тщательно вымыли руки и торжественно явились в церковь все в черном, точно скворцы, и важные, как козлы. — Крутом на хорах располагаются высшие классы общества. Фабриканты, живущие на счет недооплаченного труда рабочих, предприимчивые спекулянты, по воскресеньям очень увлекающиеся миссионерскими делами и библейскими обществами, а в будни, например, фабрикующие идолов для экспорта в Центральную Африку, Индостан или на острова Тихого океана. Далее, банкиры, более искусные в скальпировании, нежели могоканы дальнего Запада. Маклера, которые наверно попадут на небо, ибо они с величайшей ловкостью надувают черта, когда он явится за их душой. Адвокаты, пользующиеся такой

репутацией, что их именем пугают детей. Неподкупные чиновники, получающие 300 фунтов жалованья, но откладываящие ежегодно по 500. Ученые, всегда готовые выступить за освобождение рабов, но, подобно лорду Бруму, переплетающие свои молитвенники в негритянскую кожу. Благочестивые благотворители-рантьеры, уплачивающие, во искупление своих грехов, до последней копейки установленный законом налог в пользу бедных. Как сказано, это лучшие классы общества, те, что занимают мягкие стулья на хорах; люди, стоящие от 5 до 20 тысяч фунтов... еще более богатые люди служат господу богу в отдельных ложах... Вместе с мужчинами сидят целомудренно, как кролики, супруги и дочери любящих отцов семейств... У каждого свое место. Только оборванные рабочие и нищие, не имеющие средств заплатить за стул, стоят на сквозняке у входа, а то и вовсе изгоняются». Если принять во внимание ту исключительную роль, которую до настоящего времени играет религия в английском рабочем движении, то фельетонам Веерта нельзя отказать в высокой оценке и как средству антирелигиозной пропаганды: ведь он уже в 1849 г., задолго до наступления мощного социалистического рабочего движения и углубленной марксистской проработки религиозных проблем, в легкой, доступной пониманию простого рабочего форме разоблачал классовое лицо религии и церкви. И это обстоятельство еще раз доказывает, как глубоко понимал Веерт задачи пролетарской литературы и как великолепно он разбирался в данной политической ситуации и связанных с ней обязанностях поэта пролетарской партии. Разоблачение классовой сущности религии в 1848—1849 гг., когда церковь, как всегда, стояла всецело на стороне реакции, было насущнейшей задачей партии.

Но большинство фельетонов Веерта в «Новой рейнской газете» направлено, само собой разумеется, против основного врага революции 1848 г. — феодальной реакции.

Es ist nichts schöneres auf der Welt  
Als seine Feinde zu beissen <sup>1</sup> —

пел Веерт, и он «кусал» юнкерство в своих фельетонах больше, чем вся либеральная буржуазная литература 1848 г. вместе взятая. Отдельные политические сатирики, как, например, Ад. Гласбрэннер в Берлине и др., не менее издевались над немецким Михелем и юнкерами, но сатира их, по большей части, самодовлеющая и похожа то на безобидные гримасы, то на балаганного паяца, то на комариные укусы; сатира же Веерта всегда носит сугубо политический характер и основана на всестороннем понимании социально-экономических факторов поведения врагов. Больше всего доставалось прусскому юнкерскому офицерству, всегда готовому к подавлению рабочих восстаний, отпрыскам «бранденбургских Квицовых» и генералам этих придворных кланов. Воинствующим органом прусской юнкерской реак-

<sup>1</sup> «Нет ничего прекраснее на свете, чем кусать своих врагов».

ции (в котором сотрудничал молодой Бисмарк) стала «Новая прусская газета» («Крестовая газета»), играющая и поныне ту же роль. Вот против нее-то, главным образом, и направляет Веерт стрелы своей сатиры; особенно любил он издеваться над сочетанием двух функций «Крестового рыцаря»: с одной стороны, берлинской бульварной газеты и, с другой — органа земельной аристократии и лютеранской ортодоксии! Вторую функцию она обычно выполняла в «передовых» и вообще «над чертой», а первую — «в подвале». «Сверху высокаторжественное негодование, — пишет Веерт, — и проповедь добродетели, внизу — берлинская скандальная хроника, восхваление галантных походов лейтенантов, плотские вождения и тайное распутство; наверху церковь — внизу пивная; вот что представляет собою «Новая прусская газета» в ее теперешней фазе». С декабря 1848 г. «Крестовая» издавала в виде приложения «Воскресный листок» для крестьян и батраков, со специальной задачей очернить революцию. Веерт характеризует этот «Листок» как «Одиссею министерства Мантейфеля» и, вскрыв его реакционную сущность, утверждает, что если бы «собрались все политики мира, им не удалось бы наболтать столько ерунды, сколько ее заключается в первом номере «Воскресного листка». Фельетоны Веерта против феодальной реакции отличаются от творчества либеральных и радикальных журналистов 1848 г. еще и тем, что Веерт, как редактор фельетона фактического органа международной пролетарской партии, Союза коммунистов, не ограничивается в них (как и Маркс в передовых статьях газеты) борьбой против немецкой, т. е. «национальной», реакции, но направляет свои удары и против иностранной. Он одинаково резко выступает против французских («Corsaire»), английских («Times») и др. органов печати буржуазно-феодальной реакции. Небезынтересны рассуждения Веерта о социальном содержании юмора; он, как лучший немецкий юморист первой половины XIX века (его юмор свободен от «надрыва», свойственного юмору Гейне), пишет по этому поводу в своей характеристике английской юмористической газеты «Пенч» («Punch») 30 декабря 1848 г. следующее: «И мы могли бы найти еще сотни поводов для восхваления нашего друга Пенча, если бы нам не пришлось внезапно на ум попробовать подойти к веселому Пенчу как к органу политической партии. Юмористический или не юмористический, всякий выдающийся журнал в цивилизованной стране становится на сторону какой-нибудь партии... Но, во всяком случае, Пенч был всегда подголоском «Times'a», газеты, которая, несмотря на многие свои хорошие стороны, по существу все же защищает интересы высшей буржуазии. Раньше было.. еще довольно забавно, когда маленький Пенч так уморительно перекрикивал большой «Times». Как исполинский боксер, нападал «Times» на своего противника; как оса забивался Пенч в его волосы и жалил его вторично как раз в то время, когда он меньше всего этого ожидал. Но это делалось то в наивно-забавной форме, то таким дьявольски-саркастическим образом, что ему невольно прощалось все, несмотря на его сотрудничество с «Times'ом». Только тогда, когда «Times»

во время движения за свободу торговли начал становиться все скучнее и скучнее, а в связи с успехами чартистской партии — все более и более грубел, в то же время крепко захватывая веселого Пенча на буксир, тогда наш друг вместе со своей наивностью потерял и свою грацию. Пенч сделался буржуа, фритредером; Пенч уже не был больше старым Пенчем. Я никогда ни о ком так не горевал, как о моем старом английском друге. Он вышел из народа и предал народ. Но народ отомстил ему: Пенч потерял свое остроумие!... Напрасно пытается он время от времени дать блестящие прежнего юмора. Все ни к чему. Нет больше старых шуток, а если они иногда и появляются там и сям, то кажется, будто великий Ричард, манчестерец Кобден, выткал их из хлопка: жидкие, тягучие, тысяча ярдов за пенни». — «Нет более скучной твари на свете, чем буржуа! Настоящий, естественный юмор всегда исходит от народа», то есть, прибавляет Веерт, «от пролетариата».

Остановимся, наконец, еще на одной важной части фельетонов Веерта в «Новой рейнской газете», — на актуально-политических темах. И тут имеются статьи по поводу обще-европейских вопросов 1848—1849 гг. по поводу французских, бельгийских, английских и др. событий. Но чаще всего Веерт откликается на немецкие события, на поведение разных группировок в общегерманском и прусском парламентах и т. д. Один резко-сатирический фельетон «Непризнанные гении» посвящен героям прусской палаты соглашения и их поведению во время государственного переворота осенью 1848 г. в Берлине. Этим своим поведением («Пассивное сопротивление») либеральная буржуазия доказала, что она способна извергать потоки эффектных фраз, но в решительный момент натиска реакционных сил предпочитает компромисс поддержке революционного пролетариата. Вследствие этой своей политики буржуазия попала в очень печальное, трагикомическое положение: депутаты разъехались по домам; иных методов борьбы «революционная» буржуазия не знала и знать не хотела. Маркс, как известно, призывал народ к вооруженному сопротивлению против насильственного сбора налогов новым революционным правительством. Веерт в названном фельетоне характеризует этих депутатов следующим образом: «В Германии у нас теперь больше, чем когда-либо, непризнанных гениев: именно, вернувшиеся из Берлина депутаты Национального собрания! За немногими благородными исключениями эти счастливые несчастливцы представляют самое трогательное зрелище. Те самые врачи, адвокаты и нотариусы, которые были раньше такими необыкновенно практичными и полезными людьми, предаются теперь осеннему унынию непризнанных благородных душ и патетически восклицают: *Нет, немецкий народ недостойн таких людей, как мы!* Мы не возьмем на себя труд напоминать этим господам обо всех их парламентских промахах, но не можем отказать себе в удовольствии слегка посмеяться над их осенним унынием. Люди, которые не смогли вызвать нашего восхищения, когда они привязывали к ногам котурны, чтобы исполнять на мировой сцене свой неуклюжий танец, забавляют

вас, когда они, подобно евреям, скорбящим на реках вавилонских, сидят вечером в своих отечественных кабаках за кислым мозельским вином и, болезненно растроганные, восклицают: «*Нет, немецкий народ недостойн таких людей, как мы!*» — Нет, — продолжает Веерт, — «немецкий народ не заслужил этих непризнанных гениев! Немецкий народ заслужил розги, и розги он еще получит в достаточном количестве, но иметь непризнанных гениев на шее — нет, это уж слишком! Вы бедные непризнанные гении! Из-за вашей нерешительности мы вместе с вами вернулись к исходному пункту; мы — с Альп свободы в люнебургскую степь прежнего злополучия; вы — с трибуны на родную печку!»

Другая серия фельетонов посвящена имперской конституции, принятой Франкфуртским парламентом 28 марта 1849 г., а также выборам Фридриха-Вильгельма IV германским императором. С художественной стороны, — в отношении сатиры и юмора, — эти фельетоны превосходят все остальные, написанные в 1848—1849 гг. Подражая в стиле и языке «Золотой булле 1356 г.», Веерт дает краткую историю развития Германии со средневековья до 1849 г. и доказывает, что в сущности все осталось таким же, как и в 1356 г.: и новая имперская конституция, и выборы императора — все это было уже в средние века. В этом ходе развития как-то невзначай случилось несчастье: мартовская революция. До этого все было так хорошо! В целях сохранения этого специфического юмора в средневековом стиле, мы приводим эти выдержки по-немецки: «*Da hat aber sich die Sach gewendt, denn siehe da, im Jahr vorher, Anno 1848, ist uns urplötzlich durch die Gottlosigkeit fränkischer Nation eine grosse Aenderung widerfahren. Ludovicus Philippus, König der Welschen, ist nemblich am 24. Februar von seinem Volck vom Thron hinuntergezackt worden, und, wie niemals ein Unglück allein kommt, so hat sich das Volck teutscher Nation ein böss Exempel daran nommen und alsofort auch bei sich eine allmächtige Konfusion ange-richt. Wenig hat gemangelt dass man Se. Mayst. von Oesterreich bei Ihrer Keyserlich langen Nas aus dem Land zog. Der Marggraf von Brandenburg hat sein Birret vor dem Volcke absetzen müssen und auf einem generosen Pferd durch die Strassen reitend, höfliche Reverenz gemacht. Die grewlichen Bierkrawalle im Beyerland sind jedermenniglich bekannt; aber auch in Wirtemberg hat man viel Schlösser verbrannt und dem Hertzog von Nassau das Wildpret geschossen in Dero Forsten und die Krapffen gefangen in den Deichen. In Cassel sind den plinden Hessen plötzlich die Augen aufgegangen; in der freien Stadt Hampurg hat man eine Barrikadirung verffertigt auff der Mitt des grossen Marckts, darüber sich die Oberältesten wunderlich ersatz. Ein Gleiches ist aber geschehen zu Hildpurghausen, und in Lippe Bückburg, wo fürstlich Heiterkeit alle Privilegien besessen, seynd die Bauern mit grimmigen Speeren vor das Schloss gezogen und haben deklariert, dass der fürstliche Schnaps unwürdig schlecht sei, was Serenissimus geleugnet, aber nichts geholfen, denn alle Vorrechte seynd Ihme genommen und die Privilegien von Lippe Bückburg gehören an dem Meere der Verfllossenheit. —*

Als die Fürsten aber gesehn, dass es ihnen also hart zu Leibe ging, seyns sie in sich gegangen und haben gute Min zu bösen Spiel gemacht. Haben demnach gepottten, gesetzt und gefestnet, dass gleichsamb zu einem Reichstag wie früher in Nüremberg, in Augspurg und so ferner, jetzt die Statt Frankfurt zu einer grossen National Versammlung der Teutschen mit Vertretern beschickt werde, damit durch Gotts des Allmächtigen Hilf und guter Freund Ränk, die Sach in die Läng gezogen und etwas eine andre güldine Bull verfertigt werde zu gemeinem Nutz, vornemblich der Fürsten».<sup>1</sup>

И дальше Веерт издевается, — с таким искусством, с каким до него это делал только один немецкий поэт, Г. Гейне, — над красивыми и плаксивыми фразами «великих» ораторов Франкфуртского парламента, над их близорукостью во всех «великих» начинаниях и деяниях; издевается над имперской конституцией и выборами императора. За исключением, может быть, знаменитой политической поэмы М. Гартмана «Рифмованная хроника попа Маурициуса» — сатиры на революцию 1848 г. — в немецкой литературе нет произведения, так резко бичующего половинчатость, мелочность, мещанство (карикатурную сущность первой немецкой революции), как фельетоны Веерта. «So stahn wir denn» — заканчивает он третий фельетон (из пяти) — «nun mit Gotts Hilf in diesem Jahr des Herrn 1849 bald wiederumb auf demselben Fleck, allwo die teutsche Nation gestanden um das Jahr 1356, zur Zeitt der güldine Bull, worauss zu schliessen, dass das teutsche Volk nicht zu eilig ist, sondern fein hübsch und ökonomisch mit sein Zeitt zu Rathe geht» В остальных двух фельетонах этой серии он рисует нам коронационное шествие (как он его себе представляет) Фридриха-Вильгельма IV в Кельн. Юмор этих сцен поистине неподражаем.

<sup>1</sup> «Но тогда дело приняло иной оборот, так как, год тому назад, в 1848 г., вдруг вследствие безбожия французского народа, у нас произошла большая перемена. А именно Людовик-Филипп, король французов, был свергнут 24 февраля своим народом с престола, а так как несчастье никогда не приходит одно, и немецкий народ последовал дурному примеру и тотчас же и у себя произвел величайшую смуту. Его величество австрийского императора едва не вывели за его длинный императорский нос вон из Австрии. Маркграфу Бранденбургскому пришлось обнажить голову перед народом, и, проезжая на статном коне по улицам, вежливо кланяться. Ужасные волнения в Баварии общеизвестны, но и в Вюртемберге было сожжено множество замков, и в лесах герцога Нассауского истреблено много дичи, в принадлежащих же ему прудах выловлено много карпов. В Касселе слепые гессенцы вдруг прозрели; в вольном городе Гамбурге на большой площади воздвигли баррикады, что привело в недоумение власти. Нечто подобное произошло и в Гильдбурггаузене, а в Липпе-Бюккебурге, где их княжеские светлости обладают всеми привилегиями, крестьяне с ужасными копьями двинулись к двору и заявили, что княжеская водка скверна. Светлейший князь отрицал это, но это не помогло ему, так как его лишили всех привилегий, которые отошли в область предания. Но когда князя увидели, что им придется плохо, они обдумали свои поступки и скрыли свое неудовольствие. Они постановили, что, как прежде на рейхстагах в Вюртемберге, в Аугсбурге и т. д., так теперь в городе Франкфурте будет созвано многочленное Национальное собрание представителей немецкого народа, дабы с помощью всемогущего бога и благодаря ухищрениям добрых приятелей дело было отложено и было сфабриковано нечто вроде второй «Золотой буллы» для общего блага, главным образом — князей».

Для соответствующей оценки высоких достоинств — политических и художественных — фельетонов Веерта всегда нужно иметь в виду высокий политический и художественный уровень «Новой рейнской газеты». Д. В. Рязанов характеризует ее следующим образом: «Надо сказать, что до сих пор эта газета остается недосыгаемым образцом революционной публицистики. Ни одна европейская газета и ни одна русская не достигала того высокого уровня, который был достигнут «Новой рейнской газетой». Статьи этой газеты, хотя от них нас отделяют теперь 80 лет, не потеряли своей свежести, не потеряли своего революционного пыла, не потеряли ничего в остроте анализа всех текущих явлений».<sup>1</sup> Эту же характеристику можно приложить и к фельетонам Веерта; во всяком случае он умел не хуже своих политических коллег внести нечто свое в «Новую рейнскую газету» и поставить ее на высоту, не превзойденную во всей социалистической печати. Маркс и Энгельс всю жизнь гордились поэтическими творениями Веерта в «Новой рейнской газете», и Энгельс прямо пишет: «Я сомневаюсь, чтобы какая-нибудь газета имела такой веселый фельетон». Небезынтересно также, как сам Веерт отзывался в 1848—1849 гг. о своих работах. В одной неопубликованной статье 1849 г. он пишет между прочим: «Дурное всегда находит сбыт, и, как я с ужасом замечаю, число абонентов «Новой рейнской газеты» увеличивается с каждым днем. С жадностью читают передовые статьи... но наибольший успех имеет фельетон... Да, фельетон!.. Этот ужасный *rez-de-chaussée* «Новой рейнской газеты», в котором стараются засыпать безнравственными шутками все высокое и прекрасное. С поистине возмутительной дерзостью автор их поддерживает своих коллег в их разрушительных тенденциях; это ужасно; он не оставляет в покое ни одного честного человека, и давно пора повесить ему жернов на шею и утопить в самом глубоком месте Рейна». А в знаменитом «красном» прощальном номере Веерт характеризует «Новую рейнскую газету» и, в частности, свой фельетон следующим образом: «С 1 июля 1848 г., когда «Новая рейнская газета» грозно и великолепно, как новая звезда, взошла над странами и морями и фельетон заблестал за нею, как юмористический хвост кометы, этот кометный хвост свершил так неопишимо много...»

Историческая заслуга Веерта, его настоящее место в немецкой пролетарской литературе всегда будет определяться его творениями в центральном органе партии коммунистов 1848—1849 гг., в органе Маркса и Энгельса, — «Новой рейнской газете». И когда немецкий рабочий класс выдвинет своих крупных критиков и литературоведов, — которые не будут, в угоду классовым интересам буржуазии, замалчивать и игнорировать певцов и писателей, первых вставших в его ряды, — то Веерт займет далеко не последнее место в истории немецкой литературы.

*Ф. Шиллер.*

<sup>1</sup> Д. В. Рязанов, Маркс и Энгельс. Москва, 1923, стр. 110.

# К СОЦИАЛЬНОЙ ИСТОРИИ ФРАНЦУЗСКОЙ ФАБРИКИ

(ПОЛОЖЕНИЕ МАЛОЛЕТНИХ РАБОЧИХ В ЭПОХУ ПРОМЫШЛЕННОГО ПЕРЕВОРОТА  
И ПЕРВЫЙ ЗАКОН ОБ ОХРАНЕ ДЕТСКОГО ТРУДА)

Изучение условий детского труда в эпоху промышленной революции раскрывает бесспорно самую яркую страницу социальной истории крупного капиталистического производства. Известно, с какой полнотой были использованы отчеты английской фабричной инспекции Марксом, для которого «труд физически и юридически несовершеннолетних» был, во-первых, «особенно ярким примером высасывания труда»;<sup>1</sup> во-вторых, «поскольку *машины* делают мускульную силу излишней», эксплуатация детского труда представлялась одним из характернейших феноменов социальной истории промышленного переворота: «*женский и детский труд был первым словом капиталистического применения машин*».<sup>2</sup> Значение истории детского труда сделалось понятным и для новейшей буржуазной историографии. Англичане Hammond'ы в своей работе о «Городском рабочем» в период 1760 — 1832 гг. освещают вопрос о применении детского труда на фабриках и в коях, уделяя этой проблеме две главы названной книги.<sup>3</sup>

История фабричного законодательства, постоянно связанная с историей применения детского труда на капиталистической фабрике, также вновь привлекла внимание буржуазных историков. Озаренный светом идеалистического метода, французский историк Elis Halévy пересмотрел историю английского закона 1833 г. и «открыл», что, хотя поток движения в пользу закона и развивался в своем течении под влиянием различных «впадающих» ручейков, по «*источник реки, это — пиетизм, евангелический сантиментализм*».<sup>4</sup>

Как экономическая, так и социальная история Франции (периода капиталистического Sturm und Drang'a) несравненно менее разработана.

*Положение* рабочего класса, в частности и положение малолетних рабочих, освещается почти исключительно теми данными, которые еще во второй трети XIX века были собраны Вильнев де-Баржемоном, доктором

<sup>1</sup> Маркс, Капитал, т. I, русск. перев., изд. 1925 г., стр. 271 (глава 8-я).

<sup>2</sup> Ibid, стр. 373 (глава 13-я). Курсив наш повсюду, за исключением случаев, каждый раз отмечаемых ниже.

<sup>3</sup> J. L. Hammond and W. Hammond, The Town Labourer. 1760 — 1832. The New Civilisation. London, 1920, pp. 143—193.

<sup>4</sup> E. Halévy, Comment fut votée la loi anglaise des fabriques de 1833 («Revue d'histoire économique et sociale», 1922, p. 256).



Виллермэ, Бюрэ, Бланки. В новейшей же историографии только один Рейнье обратился к архивному материалу, но разработал его лишь в нарочито суженном плане локального исследования по истории *одной* отрасли производства в *одном* департаменте Франции. Что же касается постоянно (от Левассера до Тарле) повторяемых данных Виллермэ и других современников изучаемой эпохи, то следует подчеркнуть не только хронологическую ограниченность всех этих показаний (например, данные Виллермэ относятся лишь ко второй половине *тридцатых* годов, а работа Бланки написана «о положении рабочего класса в 1848 году»); еще важнее указать на ограниченность самого поля наблюдений. Виллермэ обследовал только часть промышленной Франции и осветил всего лишь три отрасли промышленности: хлопчатобумажное, шерстяное и шелковое производства, т. е. даже не все отрасли текстильной промышленности.<sup>1</sup> Бланки тоже ничего не сказал о многих видах производства и, как увидим, неверно изобразил степень распространенности губительных условий труда во Франции.<sup>2</sup>

Таким образом, во-первых, совершенно неосвещенными оказались те годы, которые отделяют книжку Бланки от известной «анкеты» Виллермэ (не говоря уже об отрезке времени, непосредственно следующем за революцией 1848 г.); во-вторых, многие виды производства (в том числе и добывающая промышленность, металлургия, металлообрабатывающая промышленность) оставались и до сих пор все еще остаются такой же terra incognita, как и те департаменты Франции, где уже в 30 — 40-х годах XIX века было развито машинизированное текстильное производство, но где никто и никогда не видывал доверчивых и прекраснодушных путешественников Виллермэ и Бланки.

Несколько больше посчастливилось истории *французского рабочего законодательства*. Кроме нескольких компилятивных, чаще всего совершенно бесцветных, докторских диссертаций<sup>3</sup> следует отметить статью Бауэра (St. Bauer), впервые использовавшего несколько редких брошюр эпохи

<sup>1</sup> *Villermé*, Tableau de l'état physique et moral des ouvriers. Paris 1840, 2 v.v. Том I разделен на три «секции», соответствующие трем вышеназванным отраслям текстильного производства.

<sup>2</sup> *Blanqui*, Des classes ouvrières en France pendant l'année 1848. Paris 1849. Ср. особенно стр. 31, 223.

<sup>3</sup> Таковы, например, работы Chabrol'я («La réglementation légale de la durée du travail dans l'industrie française». Paris 1901), Durand'a («L'inspection du travail en France de 1841 à 1902». Paris 1902), Cotton de Bennetot («La réglementation légale de la durée du travail en France». Bordeaux 1907). Серьезнее и добросовестнее работа Colmart'a («De l'inspection du travail en France. Paris 1899), в которой впервые были использованы некоторые данные из парламентских материалов. Ниже нам придется цитировать эту работу. Навыно объясняется происхождение закона о детском труде у Bonzon'a («100 ans de lutte sociale. La législation de l'enfance». 1789 — 1894. Paris 1894). Кратко и неточно высказывается о законе 22 марта 1841 г. Paul Louis в своей известной книжке «L'ouvrier devant l'Etat» (Paris 1904).

<sup>4</sup> *Stephan Bauer*, Die geschichtlichen Motive des internationalen Arbeiterschutzes. («Vierteljahrsschrift für Social- und Wirtschaftsgeschichte»), B. I., 1903, S. 79—104.

затем статью Гено (Gueneau), впервые обратившегося к архивному материалу,<sup>1</sup> и, наконец, монографию Вейса (Weiss) об одном из самых энергичных буржуазных агитаторов в пользу законодательства об охране труда — о Даниэле Ле-Гране.<sup>2</sup>

К сожалению, все трое, Бауэр, Вейс и Гено, несмотря на существенные качественные и количественные различия их работ, оказываются близнецами по своим методологическим приемам. Никто из них не смог подняться даже до той высоты, которая была достигнута в изучении фабричного законодательства Туган-Барановским. В каждой из трех названных работ не только не изучается история классовой борьбы вокруг закона, но отсутствует даже какое бы то ни было *социально-экономическое* исследование. Таким образом, даже самое подробное исследование происхождения закона о детском труде (22 марта 1841 г.), которое мы находим в работе Гено, сводится почти исключительно к формальному описанию различных выступлений в пользу закона и его узкой парламентской истории. Поэтому не случайно, что и Налéву и все три историка французского рабочего законодательства с одинаковой серьезностью пишут о сангументализме, о филантропии и протестантском пиетизме инициаторов движения в пользу закона, усматривая в этой маскировке не «идеологию», а действительные и притом важнейшие стимулы движения.

Предлагаемая статья не претендует на исчерпывающее освещение поставленных в ней вопросов. Наша задача сводится к тому, чтобы, *во-первых*, хоть до некоторой степени пополнить тот вопиющий пробел, каким является социальная история французского пролетариата в 40-е и 50-е годы XIX века. Словами Маркса о значении детского труда в эпоху Sturm und Drang'a мы уже формулировали «постановку вопроса» в нашей работе. Читатель сейчас увидит, что исследование об эксплуатации труда малолетних, это — не только «сочинение о детях»; дети работали столько же часов, сколько и взрослые; дети чахли в тех же «жилищах», в каких ютились и взрослые; штрафовали и обманывали с одинаковой жестокостью как детей, так и взрослых рабочих. Таким образом, исследование о детском труде есть один из аспектов изучения социальной истории пролетариата.

Следует оговорить также и то обстоятельство, что *фабрика* займет хотя и главное, но не исключительное место: мы рассмотрим условия детского труда и в коях, и в чисто мануфактурных предприятиях, и в механизированных мастерских. Все эти вопросы и составят содержание первой главы предлагаемого этюда.

*Во-вторых* же, в главе II, мы исследуем некоторые проблемы, связанные с историей первого общего закона о детском труде во Франции.

<sup>1</sup> Louis Gueneau, La législation restrictive du travail des enfants («Revue d'histoire économique et sociale, 1927, pp. 420—503).

<sup>2</sup> Raymond Weiss, Un précurseur de la législation internationale du travail Daniel Le-Grand. Son oeuvre sociale et internationale. P., Rivière, 1926.

Что касается источников, то заметим лишь, что если и не единственным, то все же *основным* фондом для всей работы послужила та серия архивных документов, которая сохраняется в Национальном архиве (в Париже) в картонах под шифрами F<sup>12</sup> 4704, 4705, 4706, 4707, 4708, 4709, 4710, 4711, 4712, 4713, 4714. Три первых картона этой серии и были использованы историком Гено для вышеуказанной статьи о происхождении закона 22 марта.

## I

Хронологическими границами, в которых укладывается большая часть освещаемого здесь фактического материала, являются приблизительно годы 1842 — 1855. Причины, обуславливающие выбор именно этого периода, заключаются не только и даже не столько в том, что данные по социальной истории первых десятилетий промышленного переворота (т. е. по истории *первой* трети XIX века) более или менее собраны в работах современников эпохи и повторены в трудах некоторых новейших историков (Н. Сée, Е. Тарле), в то время как десятилетие, предшествующее революции 1848 г., остается почти совершенно темным; решающей причиной нашего предпочтения периода 1842 — 1855 гг. является его значение как определенного фазиса в истории промышленного переворота. Можно сказать, что ко второй половине 50-х годов промышленная революция во Франции закончилась: прядильное производство во всех четырех крупнейших отраслях текстильной промышленности, а также отчасти и ткацкое производство были уже механизированы. И не только текстильная промышленность, — многие другие виды производства были уже механизированы: одни в сфере так называемого «рабочего инструмента», другие же полностью, до степени настоящего фабричного способа производства.

Рассмотрим сначала положение в *бумагопрядильном* производстве.

*Бумагопрядильное производство*

Начнем с нормандийских департаментов. Чрезвычайно интересны показания документов, характеризующих *общие* условия труда в департаменте *Нижней Сены*. Обнаруживается, что продолжительность так называемого «действительного» рабочего дня (travail effectif) колебалась в пределах от 13½ до 18 часов, а вовсе не 13—14½, как писал Виллермэ и, вслед за ним, все историки, включая и Тарле:<sup>1</sup> «Рабочий день взрослого чересчур долог. В самом деле, на фабриках, и именно на прядильных фабриках, действительный рабочий день [равен] — 13½, иногда 14 и даже 15 часов».<sup>2</sup> Таким полупризнанием начинает свой отчет один из местных

<sup>1</sup> *Villermé*, Tableau de l'état physique et moral, t. I, p. 162; *Тарле*, Рабочий класс во Франции в первые времена машинного производства, стр. 36.

<sup>2</sup> Нац. арх. F<sup>12</sup> 4713, Seine-Inférieure, отчет инспекторской комиссии 25 ноября 1843 г.

инспекторов в 1843 г. Еще более четкие очертания вырисовываются из той части отчета, в которой инспектор рассказывает о контрактах на аренду водяной двигательной силы, представлявшей распространенный тип фабричного двигателя в эпоху промышленной революции. В тексте таких контрактов предусматривалась работа в течение 300 дней в году, по 15 часов в сутки. Поэтому понятно, что фабриканты стремились к возможно полному использованию рабочей силы прежде всего в этих «нормальных» условиях: «чем больше станет перегружать своих рабочих съемщик двигательной силы, тем большую он получит продукцию, не увеличивая вместе с тем свои общие издержки», как вразумительно пояснял местный инспектор в цитируемом отчете. Но «нормальные» условия не утоляли жажды капитала: он искал и находил дополнительный источник абсолютной прибавочной стоимости в злоупотреблениях правом удлинять дневную продолжительность рабочего дня. В контрактах на эксплуатацию двигательной силы предусматривались возможные перебои в повседневной работе фабрики с приостановкой производственного процесса по тем или иным техническим причинам. В этих случаях не только в определенный день простоя машин, но и в течение целого ряда следующих дней фабрикант мог задерживать своих рабочих (*de jure* — соответственно с простоем) на 2, на 4 и на 5 часов сверх обычной суточной «нормы», и тогда даже «действительный» рабочий день вырастает до 18 часов в сутки.<sup>1</sup> Как бы предугадывая возможность сомнения в общераспространенности этой ужасающей эксплуатации труда, инспектор спешит подчеркнуть, что *все* контракты составлены по такой форме и что не только взрослые рабочие, но даже старики и дети несут непосильное бремя «des travaux aussi pénibles». Поэтому не удивительно, что и здоровье всего «фабричного населения», по признанию инспектора, было «в прискорбном состоянии».

«Усталость детей — чрезмерна». Некоторым из них (речь идет о детях, работавших на невшательских фабриках) приходится питаться за работой, «так что охлопья и пыль смешиваются с их пищей».<sup>2</sup>

Ретроспективную оценку предшествующего периода, т. е. как-раз периода «первых времен машинного производства», можно найти на страницах местной периодической печати. Так, в одной из руанских газет откровенно признавали, что до закона 22 марта 1841 г., т. е. «при прежнем порядке вещей, существовала тенденция видеть в детях лишь машины для связывания порванных нитей и для чесания хлопка».<sup>3</sup> Значит, положение детей и в 30-е годы не было лучшим. Улучшились ли условия труда к концу 40-х годов? Из документов мы узнаем о полной бездеятельности местной инспекции, потворствовавшей фабрикантам. «До революции 1848 г. все

<sup>1</sup> Ibid., цит. отчет от 25 ноября 1843 г.: «Alors dans ce cas les ouvriers sont tenus de faire 15 et 18 heures de travail effectif. Tous les baux des propriétaires de force sont ainsi rédigés».

<sup>2</sup> Ibid., rapport sommaire, префект — министру 12 июля 1843 г.

<sup>3</sup> «Mémorial de Rouen» № 151 от 31 мая 1843 г.

заседания [инспекторской] комиссии были безрезультатны (*stériles*); не могли толком договориться о способах наблюдения, да и самое наблюдение было совершенно иллюзорным».<sup>1</sup> Окружная руанская комиссия состояла из 12 человек: 1 член Генерального совета, 1 член Окружного совета, 4 бывших негоцианта, 4 мэра кантональных городов, 1 служитель католического культа и 1 врач. Подобный же социальный состав характеризует и другие местные инспекторские комиссии. Поэтому ясно, что если обличительные данные и становятся к концу 40-х годов несколько скудными, то это еще не свидетельствует ни о малой распространенности злоупотреблений, ни об улучшениях. Последние ограничиваются только частичным выполнением той статьи закона 1841 г., которая касалась возраста работающих детей: малюток, не достигших 8 лет, фабриканты, по свидетельству наших документов, к концу 40-х годов больше не принимают на работу. Все же прочие формы эксплуатации сохраняются вплоть до революции 1848 г.: продолжительность рабочего дня и в 1847 г. доходит до 15 часов;<sup>2</sup> заработная плата малолетних детей в 1846 г. 30 — 40 сантимов в день.

Не улучшилась и санитарная охрана труда. Послушаем, что писал в 1847 г. руанский аптекарь г. Дюпюи (*Dupuis, pharmacien à Maranne*): «Я живу в таком месте, где *рядильщики* составляют большинство...» «Сколько уж раз приходилось мне видеть несчастных рабочих — детей или отцов семейств, — прибегавших в мою лабораторию или приносимых, в слезах и в крови, с ужасными ранами, умоляющих об оказании первой помощи...» «Суббота — злосчастный день для рабочих, особенно же для *детей*, потому что, во-первых, суббота, это — день чистки [машин], возлагаемой именно на детей; во-вторых же, чистка, и особенно чистка приводных колес (*des engrenages*), обычно производится во время полного хода машин».<sup>3</sup> Дюпюи указывает при этом, что несчастные рабочие теряют вместе с кровью и свою заработную плату: время отлучки с производства не оплачивается. Пресса же, как утверждает Дюпюи, *редко* отмечает эти увечья, иногда делая исключение лишь для самых тяжелых случаев. С преступным легкомыслием относилась к таким ранениям и местная власть. В том же департаменте один механик из Дарнеталья придумал предохранительные приспособления и еще в 1844 г. представил местному префекту обстоятельную докладную записку; три года мемуар пересылают по канцеляриям; в 1847 г. пообещали, наконец, серьезно заняться этим вопросом. Но еще и 40 лет спустя проект механика из Дарнеталья не был осуществлен.<sup>4</sup>

В другом из нормандийских департаментов, в департаменте *Орн*, к середине 40-х годов документы устанавливают следующую картину. Подавляющее число промышленных предприятий департамента — бумаго-

<sup>1</sup> Нац. арх. F<sup>12</sup> 4713, Seine-Inférieure, префект — министру 10 октября 1849 г.

<sup>2</sup> *Ibid.*, из протокола заседания окружного совета г. Руана, 1847 г.

<sup>3</sup> Нац. арх. F<sup>12</sup> 4617, Dupuis — министру торговли 27 января 1847 г.

<sup>4</sup> *Louis Ovière*, Accidents causés par les machines. Rouen 1884

прядаильные фабрики,<sup>1</sup> которые лишь к 50-м годам переходят к применению паровой двигательной силы. Общая продолжительность рабочего дня как взрослых рабочих, так и детей — *17 часов в сутки*. В течение этого периода отдыхают три раза по полчаса,<sup>2</sup> т. е. фактически работают по 15½. Что касается гигиенических условий производства, то сам префект признал несоблюдение установленных санитарных правил. Рабочие живут при предприятиях, причем как взрослые, так и дети обязаны получать продовольствие в фабричных кантинах, где их обвешивают и *сплавляют*.<sup>3</sup> В фабричных спальнях, по свидетельству инспектора, «больше миазмов, чем кислорода». Кровати расставлены там с такой теснотой, что в проходах можно лишь с трудом продвинуться одному человеку, постели взрослых и детей, мужчин и женщин настолько перемешаны, что местный инспектор с иронией говорит о неизбежности коммунизма в подобном «фаланстере».<sup>4</sup> Дети же, проживающие *не при фабрике*, а у родителей, вынуждены после семнадцатичасового рабочего дня, ежедневно отмеривать по 4 километра, невзирая на непогоду.

В департаменте *Кальвадос*, так же как и в смежном с ним департаменте Орп, к 40 — 50-м годам XIX века насчитывалось несколько небольших гидравлических бумагопрядаильных фабрик<sup>5</sup> с общим числом рабочих от 18 до 112 человек (на предприятие). В одном лишь округе Лизье было 29 фабрик, на которых работало больше 1 000 рабочих; среди них от 400 до 500 детей. По сообщению местного префекта, главные статьи закона «почти повсюду» не соблюдались. Инспекторская же комиссия округа Лизье утверждала, что будто бы закон 22 марта 1841 г. соблюдался фабрикантами по отношению к детям французского происхождения; по отношению же к значительному числу работавших здесь малолетних *бельгийцев, англичан и ирландцев* фабриканты ни в чем себя не стесняли.<sup>6</sup>

<sup>1</sup> Нац. арх. F<sup>12</sup> 4712, Orne, таблица предприятий 1849 г. В это время в округе Домфрон было 33 бумагопрядаильных фабрики с общим количеством 76 682 механических веретен. Число детей разного возраста — 274. Всего рабочих-прядаильщиков — 1290 человек.

<sup>2</sup> Ibid., префект — министру, 23 апреля 1845 г.: «...toutes les filatures commencent le travail à 5 heures du matin et le finissent à 10 heures du soir; pendant le cours de 17 heures tous les ouvriers ainsi que les enfants n'ont qu'une heure et demie de repos» . . .

<sup>3</sup> Ibid., тот же отчет: «...les filateurs font valoir leur cantine par des affidés: toutes les denrées et les boissons sont vendues clandestinement et à fausses mesures, les ouvriers sont dans l'impossibilité d'aller vivre ailleurs sous peine d'être congédiés».

<sup>4</sup> Ibid., инспекторский отчет супрефекту округа Домфрон, 1846 г.

<sup>5</sup> Нац. арх. F<sup>12</sup> 4708, Calvados, Таблица предприятий, на которые распространялось действие закона 22 марта. Подписано префектом 30 сентября 1841 г.

<sup>6</sup> Нац. арх. F<sup>12</sup> 4709, Calvados, при отношении префекта — министру, 12 октября 1846 г. Однако же сомнительно и показание инспекторской комиссии о соблюдении закона по отношению к детям-французам. Явно покровительственное отношение комиссии к фабрикантам засвидетельствовано в донесении супрефекта (округа Лизье), который писал, что инспектора не в состоянии прибегать к суровым мерам по отношению «к друзьям и родным» («...peine correctionnelle... qu'elle ne veut pas, qu'elle ne peut réellement pas provoquer contre des amis et des parents»). Истинные «amis du commerce», как иронически называл французских фабричных инспекторов этой эпохи Марке!

Резюмируя разрозненные показания местной инспекции, можно сказать, что главнейшие злоупотребления фабрикантов в 40-е годы сводились: 1) к несоблюдению статьи о воскресном отдыхе, 2) к нарушению воспрещения ночной работы, 3) к преступлениям против статьи о продолжительности рабочего дня.

В департаменте Эр были и мелкие фабрики, с общим числом рабочих по 24, по 35 человек, и крупные по тому времени предприятия, на которых числилось по 300 и 400 рабочих. Официальная статистика распределения рабочей силы по предприятиям представляется очень сомнительной: нет никакой закономерности в соотношении числа детей и взрослых даже на совершенно однородных фабриках.<sup>1</sup> Вообще сведения об условиях труда на местных хлопчатобумажных фабриках довольно скудны. Данные же о шерстяном производстве, которое было очень развито в департаменте Эр, мы рассмотрим ниже.

Наконец, в последнем из нормандийских департаментов, в департаменте Манш, фабричная бумагопрядильная промышленность была почти неразвита. Лишь кое-где разбросаны прядильные фабрики с гидравлической двигательной силой. Члены местной инспекторской комиссии — «hommes honorables» (!) — совершенно не выполняли своих обязанностей, контролеры же (мер и весов) не прикомандировывались к составу местных комиссий до 1853 г. И только лишь «задним числом», из документов 60-х годов XIX века, мы узнаем, что и здесь при шестнадцатичасовом рабочем дне работали без праздничных перерывов.<sup>2</sup>

Мы покончим с северо-западным районом бумагопрядильного производства, если еще рассмотрим, к сожалению, далеко не обильные данные о фабриках в бывших провинциях Мэн и Анжу, т. е. в департаментах Майенны, Сарты, Мэн-и-Луары и Нижней Луары.

В Майенне к 1843 г. работали пять довольно крупных (по тому времени) бумагопрядилен. На одной из них, с общим количеством 131 рабочих, фабрикант даже «позаботился» об образовании своих малолетних рабочих, оборудовав школу, в которой дети обучались с 2 часов дня, предварительно *отработав на фабрике с 5 часов утра!* Общая картина эксплуатации детей, повидимому, и здесь одна и та же. Инспекторская комиссия округа Лаваль еще и в 1846 г. констатирует допущение по отношению к детям различных irrégularités; в округе же Майенны точно устанавливается факт принуждения детей к чистке машин по воскресеньям. Продолжительность рабочего дня осталась невыясненной: «...il nous a été impossible de vérifier», — пишет комиссия. Сам префект отмечает слабое физическое развитие и крайне жалкий, болезненный вид детей, которых он видел на одной бумагопрядильной фабрике.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Нац. арх. F<sup>32</sup> 4711, Manche, префект — министру, 11 июля 1868 г.

<sup>2</sup> Нац. арх. F<sup>12</sup> 4710, Eure, Tableau, 3 января 1843 г.

<sup>3</sup> Нац. арх. F<sup>12</sup> 4711, Mayenne, префект — министру 30 сентября 1843 г.

Сходное положение в департаменте Сарты, где также было несколько гидравлических бумагопрядильных фабрик (четыре фабрики в одном лишь округе Сен-Калэ). Здесь имеются прямые указания на случаи эксплуатации детей, *не достигших* восьмилетнего возраста. Изобличенные в нарушении закона фабриканты оправдываются совершенно «по-английски»: малютки приняты на фабрику «из милости». Замечательно то упорство, с каким сохранялись здесь формы хищнической эксплуатации труда. Оказывается, что еще и в 60-е годы XIX века подобные случаи были возможны.<sup>1</sup>

В департаменте Нижней Луары, в районе города Нанта, на пяти бумагопрядильных фабриках (с паровыми двигателями) дети работают, как и взрослые рабочие, по 15 часов. Весь этот мучительно долгий рабочий день разделен всего лишь двумя перерывами по полчаса;<sup>2</sup> до 1843 г. еще нигде и никто не приступил к выполнению закона 22 марта; на других бумагопрядильных в том же департаменте, в округе Нанта, констатирован *16-часовой* рабочий день. В мастерских нет вентиляции (*ouvertures soigneusement fermées*). Дети — неграмотны. Один из мальчиков, умевший писать и читать до поступления на работу, совершенно все позабыл после трехлетнего пребывания на фабрике. Инспекторский надзор и здесь отсутствовал, — факт, не скрывавшийся даже в официальной переписке префекта с министром (1847 г.).

Перейдем теперь от северо-западного и западного районов к северо-восточному и восточному. Следовало бы в первую очередь остановиться на описании условий детского труда в Эльзасе (т. е. в Нижне-рейнском и в Верхне-рейнском департаментах). Но в первой главе мы вовсе не коснемся этого района по следующим причинам: в другом месте нам уже приходилось цитировать те источники, которые освещали положение рабочего класса в период особенно бурного развития механического бумагопрядения в Эльзасе,<sup>3</sup> некоторые же из документальных данных (о десятилетии 40-х годов) удобнее сообщить при исследовании вопроса о прославленной «филантропии» эльзасских фабрикантов, т. е. как-раз во второй части статьи.

Поэтому начнем со смежного с Эльзасом департамента *Вогезов*, где хлопчатобумажное производство также было сильно развито, будучи во многих отношениях сходно с эльзасским. С крупными фабриками здесь конкурировали многочисленные мелкие предприятия, эксплуатировавшие в каждом отдельном случае *менее* 20 рабочих разного возраста и пола.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Нац. арх. F<sup>12</sup> 4713, Sarthe, префект — министру 30 октября 1861 г. По официальному признанию, инспекторские комиссии «оставляли желать лучшего» (префект — министру 13 июня 1850 г.), и поэтому неудивительно, что обличительные данные так скудны.

<sup>2</sup> Нац. арх. F<sup>12</sup> 4711, Loire-Inférieure, rapport 7 мая 1843 г.

<sup>3</sup> *Gerspach*, Considérations sur l'influence des filatures de coton et des tissages sur la santé des ouvriers. Thèse. Paris, 1927. Ср. «Архив К. Маркса и Ф. Энгельса», кн. IV, стр. 174.

<sup>4</sup> Нац. арх. F<sup>12</sup> 4714, Vosges; в одном лишь округе Сен-Дье в 1846 г. было 14 бумагопрядильных фабрик с общим числом рабочих по предприятиям от 8 до 262 человек.



Понятно, что в описываемую эпоху эксплуатация рабочей силы на этих мелких фабриках была особенно жестокой. Общая характеристика условий труда бумагопрядильщика дается в отчете по округу Ремиремон (20 ноября 1846 г.): «Сравнительно с нынешней дороговизной съестных припасов рабочий-бумагопрядильщик зарабатывает мало». В бумагопрядильном производстве работает очень много детей (около 689 человек в округе). Лишь только узнаешь их поближе, сразу же убеждаешься, что эти дети не обнаруживают ни умственного развития, ни того физического здоровья, которое характерно для других категорий рабочего класса.

Обучение детей в фабричных школах отмечается как редкое явление. Из цитируемого документа мы узнаем об учреждении одной частной школы, в которую дети поступают по достижении *пятилетнего* возраста. Изнеможенные ребята находят здесь известный отдых от физического труда. Этот благоприятный момент и отмечается в нашем источнике; но ведь подобным признанием косвенно утверждается обычно скрываемый факт эксплуатации детей с *пятилетнего* возраста.

Положение малолетнего «рабочего» в департаменте Вогезов не изменилось к лучшему и после революции 1848 г. Изучая переписку, относящуюся к 50-м годам, мы обнаруживаем упорную тенденцию к сохранению ночного труда как взрослых рабочих, так и *детей*. При этом в течение *полу-суточного* рабочего дня отдыхают всего лишь 30 минут.<sup>1</sup>

Наконец, вновь подтверждаются факты понуждения детей к чистке машин, т. е. к работе, выполняемой в неоплачиваемое сверхурочное время.

На пути между собственно восточным и северным районом бумагопрядильного производства расположены департаменты *Мезы* и *Марны*. В первом из них, с преобладающим числом мелких фабрик с гидравлической двигательной силой,<sup>2</sup> документы с точностью устанавливают такую картину: к 1845 году в районе Бар-ле-Дюк у детей прядильщиков нет ни сертификатов о возрасте, ни рабочих книжек; что касается продолжительности рабочего дня, то на одних предприятиях устанавливается 14 часов работы, относительно же других инспектор неопределенно сообщает, что они работают иногда до *10 и 11 часов вечера*.<sup>3</sup> Таким образом, и здесь устанавливается, по меньшей мере, 16 — 17 часов общего периода пребывания на фабрике с заработной платой для малолетних от 40 до 60 сантимов.

Бумагопрядильные фабрики в департаменте *Марны* в 40-х годах XIX века были оборудованы частью паровыми, частью гидравлическими двига-

<sup>1</sup> Ibid., Vilmin (?), инспектор округа Сен-Дье, — супрефекту, 1854 г.: дети моложе 16 лет «travaillent quelquefois de minuit à midi ou de midi à minuit n'ayant qu'une demi-heure de repos pendant cet espace de temps»...

<sup>2</sup> Нац. арх. F<sup>12</sup> 4712, Meuse, таблица предприятий, 29 декабря 1841 г. Здесь до 15 бумагопрядильных фабрик с разным количеством работающих детей (от 8 до 78 человек); в одном лишь районе Бар-ле-Дюк 8 бумагопрядильных фабрик, и именно здесь-то упорнее всего не соблюдались требования закона.

<sup>3</sup> Ibid., отчет инспектора-контролера мер и весов (округ Бар-ле-Дюк) 30 декабря 1846 г.

тремя.<sup>1</sup> К концу этого десятилетия число малолетних в реймском округе как будто бы несколько сократилось. Но улучшения еще и к 1856 г. были настолько незначительны, что даже снисходительнейший из инспекторов-контролеров откровенно признавался, что «добрая воля» к выполнению закона встречается редко и что у промышленников «la question d'intérêt passe avant celle de l'humanité».

В переписке, относящейся к департаменту *Мерты*, мы находим официальное подтверждение фактов хищнической экономии на постоянном капитале: в 1842 г. префект сообщает министру о вредности работы в чесальном цехе местных хлопкопрядильных и ватных фабрик; мастерские совершенно не вентилируются («герметически закупорены», по выражению префекта);<sup>2</sup> констатирован случай воспаления глаз у одного из мальчиков, работавших на ватной фабрике; в ответ же на предложение принять соответствующие гигиенические меры фабриканты ссылаются на их убыточность.<sup>3</sup>

Из департаментов, примыкающих к восточному району, следует отметить и департамент *Верней Соны*, на бумагопрядильных фабриках которого в изучаемый период также не существовало законных перерывов для отдыха, т. е. и здесь продолжительность рабочего дня была больше официально признаваемого срока.<sup>4</sup> Особенно много злоупотреблений было в округе Луге, где к 1844 г. насчитывалось 30 предприятий с общим количеством 529 детей. Но местная инспекция не изобличала хищничество фабрикантов; некоторые же члены инспекторской комиссии к этому времени совершенно выбыли из ее состава из-за страха перед «mission des pénalités».<sup>5</sup>

В департаменте *Об* бумагопрядильное производство не было широко распространено. Например, к началу 40-х годов XIX века в округе Арсиюр-Об была всего только одна небольшая гидравлическая бумагопрядильная фабрика.<sup>6</sup> Очень мало подобных же фабрик было и в других округах (например, в округах Труа, Ножан). Но тем рельефнее выступают характерные черты, отличающие фабрику изучаемой эпохи. Следует заметить, что только к 1844 г. и лишь в конфиденциальной переписке инспектора службы контролеров мер и весов г. Фонтэна (Fontaines)<sup>7</sup> вскрывается картина злоупотреблений в округе Труа. Как подтверждал один из местных

<sup>1</sup> Нац. арх. F<sup>12</sup> 4711, Magne. По имеющимся здесь статистическим данным (от 31 декабря 1847 г.) в районе г. Корбо было 8 бумагопрядильных с гидравлическими двигателями (число детей на одно предприятие от 11 до 60 человек) и 23 фабрики с паровой двигательной силой.

<sup>2</sup> Нац. арх. F<sup>12</sup> 4712, Meurthe, префект — министру 7 мая 1842 г.

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> Нац. арх. F<sup>12</sup> 4713, Haute-Saône, префект — министру 17 января 1845 г.

<sup>5</sup> Ibid., префект — министру 8 января 1844 г.

<sup>6</sup> Нац. арх. F<sup>12</sup> 4708, Aube.

<sup>7</sup> Получившего от правительства секретное поручение обследовать несколько департаментов. Нам удалось найти только три отчета г. Фонтэна, посетившего, кроме департамента Об, также департамент Орн и малоинтересный «мануфактурный» департамент Дуб. Пока еще не удалось выяснить, обследовались ли этим добросовестным чиновником какие-либо другие департаменты.

инспекторов-контролеров, г. Lachave, на предприятии у некоего Фонтэн-Гри дети в возрасте от 8 до 12 лет работали по 16 часов в сутки ежедневно.<sup>1</sup> До 1844 г. никто не решался писать об этой преступной эксплуатации по той причине, что владелец бумагопрядильни (в Barbery), господин Фонтэн-Гри, состоял членом Палаты депутатов, членом Торговой палаты и... членом комиссии, учрежденной для наблюдения за выполнением закона. В округе Арси-сюр-Об к 1844 г. насчитывались уже три бумагопрядильни. Общая продолжительность пребывания детей на фабрике от 15 до 16 часов в сутки с двухчасовым перерывом в течение дня. Никто не заботится об образовании детей. Условия их физического и нравственного развития одинаково несчастны. Внешний вид детей, это — беспросветное страдание и крайняя нищета («*misère profonde*»).

Перейдем, наконец, к собственно северному району, к материалам о положении в *Северном* департаменте, и на этом закончим наше обследование бумагопрядильного производства. Из переписки префекта с министром (в самом начале 40-х годов) мы прежде всего узнаем, что в этом департаменте «большая часть муниципальных и административных функций сосредоточена в руках представителей крупной промышленности».<sup>2</sup> Идея законодательного ограничения детского труда здесь принимается враждебно. Сам префект «по политическим соображениям» действует «с осторожностью и не торопясь». Таким образом, положение, существующее в начале 40-х годов, остается почти не вскрытым в наших архивных документах. Между тем, не может быть сомнений в лживости оптимистических заверений. Вот один из примеров противоречий в показаниях самих фабрикантов. В 1837 г., когда совещательные и торговые палаты (а также советы прюдомов) отвечали на правительственную анкету о детском труде, лильская палата в своем докладе министру торговли категорически уверяла, что в Северном департаменте дети не принимаются на фабрики раньше восьмилетнего возраста. А «если же *иногда* и встречается несколько [ребят] более юного возраста, то только как исключение».<sup>3</sup> Но не проходит и трех лет, как один из членов той же торговой палаты, удосужившийся подсчитать число фабричных детей (в департаменте) и распределить их по возрастным категориям, огласил нижеследующие цифры. Всех детей на различных фабриках департамента было 11 114 человек. И вот в этом числе одних лишь малюток в возрасте от 4 до 6 лет было 2 800. Детей в возрасте от 6 до 12 лет — 6 632; остальные были старше 12 лет.<sup>4</sup> Благородные фабриканты не насиловали умственное развитие четырехлетних малюток, называя не заработной платой, а «гратификацией» («вознаграждением») те жалкие гроши — от 50 сант. до 1½ фр., — которые они выплачивали за целую *неделю*

<sup>1</sup> Нац. арх. F<sup>12</sup> 4709, Aube, Фонтэн — министру, 1 августа 1844 г.: «...cette durée étant invariable par chaque jour».

<sup>2</sup> Нац. арх. F<sup>12</sup> 4712, Nord, префект — министру 5 декабря 1842 г.

<sup>3</sup> «Archives de la Chambre de Commerce de Lille», t. I, p. 270.

<sup>4</sup> Ibid., p. 474.

работы.<sup>1</sup> Даже дети в возрасте от 8 до 10 лет, работавшие совершенно так же долго, как и взрослые, получали от 1½ фр. до 3 фр. в неделю. Через 10 лет уже открыто признавали, что статья закона, предусматривающая ограничение рабочего дня 8 часами в сутки, «никогда не выполнялась».<sup>2</sup>

Перейдем теперь к изучению условий труда в шерстяной промышленности.

### *Шерстяная и сукноделательная промышленность*

В шерстяной промышленности следовало бы резко дифференцировать два вида производства: камвольное производство, обрабатывающее длинную шерсть, и прядение шерсти, чесанной кардами. В особом параграфе нужно бы рассмотреть и сукноделательное производство. Но, к сожалению, социальную историю этих отраслей промышленности дифференцировать не легко: в источниках не всегда указывается, о каких именно «*filatures de laine*» идет речь. Да и нередко те случаи, когда эти различные виды производства объединялись в руках одного и того же лица.

Что касается функций, выполнявшихся детьми на шерстяных фабриках, то, как и в бумагопрядильном производстве, в 40-е и 50-е годы XIX века операции все те же, что и десятилетием раньше, и так как они были подробно описаны в книге Виллермэ, то мы не будем возвращаться к этому вопросу.

Перейдем пока к изучению общих условий детского труда в шерстяном и суконном производстве, группируя наши данные по департаментам.

В департаменте *Арденны*, где находится знаменитый седанский центр сукноделательного производства, в 40-х годах XIX века насчитывалось очень много шерстопрядильных фабрик с гидравлическими «*moteurs mécaniques*». Число работавших детей колебалось, смотря по величине предприятий, от 3 до 60 человек.<sup>3</sup> Не сразу удастся восстановить подлинную картину эксплуатации. Местные инспектора, вместо того чтобы изобличать притаившихся здесь хищников, с неизменной готовностью доставляют сведения об исключительно благоприятном районе департамента, где соблюдались все статьи закона 22 марта. Это был район Живэ. Но, как оказывается, Живэ — мануфактурный, а не фабричный округ: здесь две мануфактуры курительных трубок, восемь кожевенных и две клееваренных мануфактуры. Из характерных же, хотя и очень скудных данных о шерстопрядильных фабриках в данном департаменте отметим систему штрафов. Фабриканты из округа Ретель были так религиозны и нравственны, что штрафовали рабочих не только за неприличные слова, но и за божбу, штрафовали даже за

<sup>1</sup> Ibid., p. 270 «... ils n'ont pas de salaire déterminé et reçoivent une gratification qui varie de 50 centimes à 1 franc 50 c. par semaine suivant leur force (!) on plutôt leur aptitude».

<sup>2</sup> Нац. арх. F<sup>12</sup> 4712, копия доклада вице-председателя инспекторской комиссии Лилльского округа при отношении префекта 10 октября 1850 г.

<sup>3</sup> Нац. арх. F<sup>12</sup> 4708, *Ardennes, Tableau* и *Tableau supplémentaire* в переписке префекта с министром (1842—1843 гг.). В одном только Седанском округе больше 50 шерстопрядильных и сукноделательных фабрик.

«неприличные жесты». Денежные суммы, притекавшие из столь надежного источника, поступали в особую кассу по оказанию помощи пострадавшим на производстве рабочим. И, таким образом, сами рабочие выполняли обязанности набожных и остроумных капиталистов. Отмечается недостоверность документов об образовании эксплуатируемых малолетних рабочих. Подобные фальшивки было легко раздобыть у местных учителей, и это не считалось «неприличным жестом».<sup>1</sup> В более поздней переписке мы находим точные сведения о *спекулятивной расплате товарами*. На предприятиях приобретаются не только съестные продукты, но и одежда. Ни торговаться, ни спорить о добротности этих товаров рабочие не могут.<sup>2</sup>

В департаменте *Иль-и-Вилен* в изучаемый период (40-х и 50-х годах) наряду с несколькими разнородными мануфактурами существовали и две шерстопрядильные фабрики в округе Фужер. Интересно отметить, что сведения об этих фабриках резко нарушают общий тон вполне благополучных сообщений о положении на других промышленных предприятиях. Точно устанавливается, что на *шерстопрядильных* фабриках «несколько девочек в возрасте от 12 до 16 лет чрезвычайно продолжительное время [заняты на производстве] и работают по *ночам*».<sup>3</sup> Заработная плата детей в 1847 г. равнялась всего 25—30 сантимам в день.<sup>4</sup>

В департаменте *Эндра-и-Луара* шерстопрядильщикам-фабрикантам как будто бы ни с кем не приходилось «делить» местный контингент малолетних рабочих. И все же именно эта часть промышленников враждебно встречает закон 22 марта, обнаруживая отмечаемое в документах «*gêrignance*» по отношению к важнейшим требованиям закона.<sup>5</sup>

В соседнем с Вандеей департаменте *Обе Севры* также находим несколько шерстопрядильных предприятий, часть которых пользовалась даже паровой двигательной силой. Интересно, что, несмотря на официально признанную бездеятельность местной инспекторской комиссии, все же и здесь при внимательном изучении документов вырисовываются характерные черты: дети моложе 12 лет работают по *14 часов*. Три перерыва (всего лишь по  $\frac{3}{4}$  часа каждый) разделяют рабочий день с 5 часов утра до 8 и даже до 9 часов вечера, т. е. рабочий день, общая продолжительность которого 15 и 16 часов.<sup>6</sup> При этом *иногда* работы не останавливаются и по *воскресеньям*. Как правило

<sup>1</sup> Нац. арх. F<sup>12</sup> 4709, Ardennes, из отчета инспектора Bodson'a, при отношении префекта — министру 4 марта 1846 г.

<sup>2</sup> Ibid, префект — министру, 23 августа 1853 г., об округе *Мезьер*: «Un grand nombre de fabricants spéculent sur le salaire des ouvriers en fournissant à ceux-ci dans l'établissement même les objets de première nécessité, soit pour nourriture, soit pour vêtement... il n'y a pas même le droit de discuter ni le prix, ni la qualité des objets».

<sup>3</sup> Нац. арх. F<sup>12</sup> 4711, Пе-ет-Вилаине, Extrait из протокола инспекторской комиссии 12 января 1849 г.

<sup>4</sup> Ibid., Tableau, 8 апреля 1847 г.

<sup>5</sup> Ibid., Indre-et Loire, префект — министру 19 ноября 1842 г. и 3 февраля 1844 г.

<sup>6</sup> Нац. арх. F<sup>12</sup> 4713, Deux Sèvres, префект — министру 6 октября 1842 г.

(en général), дети совершенно безграмотны: они не умеют ни писать, ни читать. Сам префект к концу 1845 г. просит о присоединении контролеров к местной бездеятельной инспекторской комиссии, откровенно признаваясь, что при данных условиях он не располагает достаточным материалом для добросовестного, подробного отчета.<sup>1</sup>

В дальнейшей переписке хотя и отмечается появление некоторых улучшений, но сообщения подобного рода сопровождаются характерной оговоркой, что именно предприниматели-прядильщики всего упорнее продолжают нарушать закон 22 марта.

В департаменте *Аржеж* — «единственные предприятия, на которых только и применяется труд детей моложе 12 лет, это — шерстопрядельные фабрики».<sup>2</sup>

В департаменте *Тарн* — шерстопрядельни с гидравлическими двигателями. Ценны указания на *дурное обращение*, которому, по свидетельству инспектора Ouradon'a, «слишком часто подвергаются бедные дети».<sup>3</sup> Уборные на некоторых шерстопрядельных предприятиях не были отделены от помещений, в которых работают.<sup>4</sup>

Общая продолжительность рабочего дня детей та же, что и взрослых рабочих: 16 часов, заработная плата (около 1843 г.) 45 сантимов в день. Дети не получают образования по вполне «уважительной» причине: они «одеты в рабочие костюмы, до такой степени пропитанные маслом, что было бы невозможно собрать их для посещения школы, как невозможно найти и учителя, который согласился бы принять их в таком виде».<sup>5</sup>

На *сукноделательных* фабриках практикуются ночные работы, но наши документы отмечают их как редкое явление. Дети от 8 до 12 лет работают «незаконное время»: с 5 часов утра до 8 часов вечера, т. е. общая продолжительность рабочего дня и здесь 15 и 16 часов. В другом из южных центров шерстопрядельного производства, в департаменте *Од*, в изучаемый период большая часть фабрик — не крупные предприятия с гидравлическим двигателем и с общим количеством по 20, по 40, иногда по 60 и реже по 100 рабочих.<sup>6</sup> Префект уверяет министра торговли, что, за исключением ст. 5-й, закон 22 марта полностью выполняется. Важно подчеркнуть *сомнительность* подобных оптимистических сообщений. Противоречие в рапорте префекта вскрывается без труда: объясняя министру причины, затрудняю-

<sup>1</sup> Ibid., префект — министру 20 декабря 1845 г.

<sup>2</sup> Нац. арх. F<sup>12</sup> 4709, префект — министру 15 июня 1847 г. Развитие шерстяного производства в департаменте Аржеж определяется статистической табличкой за 1841 г. из которой явствует, что в округе Руа было 8 шерстопрядельных и сукноделательных фабрик, занимавших от 15 до 44 рабочих; в округе Палье — 10 фабрик с числом рабочих от 13 до 100 на одно предприятие (Нац. арх. F<sup>12</sup> 4708, Arège, Tableau, 4 октября 1841 г.).

<sup>3</sup> Нац. арх. F<sup>12</sup> 4714, инспектор — супрефекту 1 декабря 1842 г.

<sup>4</sup> Ibid.: «Nous observâmes seulement que les lieux d'aisance n'étaient point séparés des salles du travail».

<sup>5</sup> Ibid, мер — супрефекту Кастра 1 июня 1843 г.

<sup>6</sup> Нац. арх. F<sup>12</sup> 4708, Aude, Tableau, 29 сентября 1842 г.

шие выполнение ст. 5-й (т. е. об образовании), префект указывает на бедность родителей, вынужденных посылать своих детишек *не в школу*, а на фабрику; на фабрике же «*tous les travaux s'enchaînent les uns les autres*», и поэтому детский труд связан с трудом взрослых рабочих.<sup>1</sup> Таким образом, *косвенно* устанавливается и факт приема детей на фабрику с самого юного возраста, и факт одинаковой продолжительности рабочего дня детей и взрослых, работавших, конечно, не по 8 часов в день.

В департаменте *Нижние Альпы* — та же картина: несколько сукноделательных фабрик (в табличке за 1841 г. — 7 фабрик с общим числом от 21 до 70 рабочих, в числе которых от 6 до 20 детей). Только лишь в 1864 г. местный префект откровенно признает, что *le service de l'inspection est tout à fait nul*,<sup>2</sup> и это позднее признание сразу же разъясняет, почему за весь период с 1841 г., — когда префект уверял, что на местных шелковых и сукноделательных фабриках детский труд — «не свыше сил»,<sup>3</sup> — вплоть до 1864 г. мы не находим никаких обличительных показаний.

В департаменте *Луар-и-Шер*, в округе Блуа, в Фужер, к 1846 г. действовала только одна шерстопрядильная фабрика. Из других промышленных предприятий местный инспектор называет горшечную мануфактуру и три кожевенных завода. Самые тяжелые условия труда — на шерстопрядильной фабрике: «работа (*le travail effectif*) продолжается там дольше, чем в других мастерских, где длительность рабочего дня колеблется между 10 и 12 часами».<sup>4</sup> На шерстопрядильной же фабрике работали до 9 часов вечера, т. е. больше 13 часов.

В департаменте *Эр* шерстопрядильное производство было особенно развито в округе Лувье, где, кроме мелких и средних предприятий, в начале 40-х годов насчитывалось около 16 крупных по тому времени фабрик с общим числом от 100 до 400 человек на одно предприятие.<sup>5</sup> Однако все эти фабрики пользовались еще гидравлической двигательной силой. Здесь даже к 1843 г. (т. е. уже после того как закон о детском труде был опубликован) не только не сократилась дневная продолжительность рабочего дня, но, как явствует из официальной переписки, после целого дня работы как взрослые, так и малолетние прядильщики иногда оставались *еще и на ночь*.<sup>6</sup> Злоупотребления долго сохраняются: в 1853 г. местный префект утешается тем, что «работа никогда не начинается раньше 5 часов утра и не продолжается дольше 9 часов вечера», вместе с тем уверяя, что продолжительность детского труда не превосходит норм, предусмотренных законом!

В департаменте *Эна* фабриканты-шерстяники, как и некоторые хлопкопрядильщики, с особенным упорством противодействовали попыткам

<sup>1</sup> Нац. арх. F<sup>12</sup> 4709, Aude, префект — министру 10 апреля 1845 г.

<sup>2</sup> Нац. арх. F<sup>12</sup> 4709, Basses-Alpes, префект — министру 5 апреля 1846 г.

<sup>3</sup> Нац. арх. F<sup>12</sup> 4708, Basses-Alpes, Tableau, 6 октября 1841 г.

<sup>4</sup> Нац. арх. F<sup>12</sup> 4711, Loir-et-Cher, 11 марта 1846 г.

<sup>5</sup> Нац. арх. F<sup>12</sup> 4710, Eure, Tableau, 3 января 1843 г.

<sup>6</sup> Ibid., префект — министру 2 мая 1843 г.

инспекторов-контролеров регламентировать работу детей согласно закону 22 марта 1841 г. Так, например, еще и к 1844 г. у детей не было документов о возрасте. Дети работали столько же часов, сколько и взрослые. Часто рабочие-прядаильщики сами подыскивали себе помощников-детей и выплачивали им около 40 сантимов в день из своей сдельной заработной платы.<sup>1</sup> Наконец, в департаменте *Сена-и-Уаза* на шерстопрядаильных фабриках в округе Корбейль был официально констатирован 14-часовой рабочий день, причем дети моложе 12 лет работали и по ночам; в одних случаях говорят, что эти ночные работы «временные», в других показывают, что «ночной труд по несколько часов применяется один раз в неделю».<sup>2</sup> Так было в начале 40-х годов; позднее появляется оптимистическая переписка префекта с министром, доверие к которой совершенно рассеивается случайным документом: мэр корбейльской коммуны, 20 лет выполнявший эту службу, в 1851 г. обращается непосредственно к министру с конфиденциальным письмом, в котором просит об обследовании условий детского труда, уверяя, что анкетой будет доказан факт эксплуатации детей, не достигших *даже и 8 лет*, но работавших по 12 часов в сутки. А в 1857 г. сам префект признает, что «продолжительность рабочего дня» может быть проконтролирована лишь очень несовершенно.<sup>3</sup>

Из четырех крупнейших отраслей текстильной промышленности теперь рассмотрены две: бумажное и шерстяное производство. Уже своевременно было бы перейти к изучению *шелкового* производства. Но положение в «шелкопрядении» было исследовано в другом месте, в связи с общим очерком по истории революции в шелкомотальной и шелкокрутильной промышленности.<sup>4</sup> Резюмируем лишь итоги: целый обширный район (департаменты Ардеш, Дрома, Луара, Верхняя Луара, Изер, Рона) был почти совершенно не обследован современниками изучаемой эпохи. Из историков лишь один Рейнье написал документированную историю шелкопрядаильного производства, но осветил всего только один из перечисленных департаментов. Между тем, как оказалось, во всем названном районе, в забытой провинциальной глуши, на всех шелкомотальных и шелкокрутильных фабриках существовала система жесточайшей эксплуатации детей и подростков. Посредством систематических обманов с фабричными часами продолжительность рабочего дня доводилась до 18 часов в сутки; девочки-подростки часто составляли главный контингент рабочей силы на фабрике; нищенская оплата труда, отвратительное, антисанитарное состояние общежитий — вот в немногих словах условия труда в этой промышленности.

Что касается *шелкоткацкого* производства, то, как и в других отраслях текстильной промышленности, особого места в этой статье ткачество занимать

<sup>1</sup> Нац. арх. F<sup>12</sup> 4709, Aisne.

<sup>2</sup> Нац. арх. F<sup>12</sup> 4713, Seine-et-Oise, 24 февраля 1843 г.

<sup>3</sup> Ibid., префект — министру 22 декабря 1857 г.

<sup>4</sup> Ср. «Историк-марксист», т. XII, стр. 141 и сл.



не будет. Закончим наше обследование текстильной промышленности рассмотрением условий труда в льнопрядильном и пенькопрядильном производствах.

### *Льнопрядильное и пенькопрядильное производства*

В департаменте Соммы, к 1843 г., по свидетельству самого префекта картина такая: в течение круглого года льнопрядильные фабрики работают с 6-ти утра до 8<sup>3</sup>/<sub>4</sub> час. вечера, т. е. почти полные 15 часов. Что касается продолжительности дневного отдыха, то показание о нем выражено уклончиво: отдыхают «не более часа» за целый день.<sup>1</sup> Размеры заработной платы детей колеблются в пределах от 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> франков до 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub> франков *в неделю*. В серии документов несколько более позднего происхождения мы находим мемуар некоего Неприот (?). Автор мемуара описывает мучения фабричных детей, вскрывая при этом и социально-экономическую основу тяжелых условий: «благодаря машинам целое преждевременно истощенное поколение мучается на потребу фабрики (aux besoins de la manufacture)», и вследствие этого рабочая масса становится «лишь более покорной и более прирученной». Жертвы же чудовищной эксплуатации (de cet abus monstrueux) кончают свою жизнь в госпиталях и богадельнях.

Вообще на фабриках в департаменте Соммы еще и в 1856 г. дети моложе 12 лет «работали по 15 и по 16 часов в день», а на некоторых еще и «всю ночь с субботы на воскресенье». Инспектора единодушно признавали, что такие условия труда обрекали подрастающих рабочих на «невежество и рахитизм».<sup>2</sup> Сравнительно позднее развитие механизации в льнопрядильной промышленности объясняет тот факт, что даже в середине 60-х годов XIX века число малолетних детей (от 8 до 12 лет) на местных льнопрядильных фабриках все еще не сокращалось, а возрастало. Из всех заболевающих чахоткою именно льнопрядильщики отличались особенно высоким процентом смертности.<sup>3</sup>

Соседний с департаментом Соммы *Северный* департамент был не только районом хлопчатобумажного производства, но также и крупнейшим центром льнопрядильной промышленности. К сожалению, отчеты первого (во Франции) *оплачиваемого* фабричного инспектора, г. Дюпона, очень бледны. Умеренный и аккуратный инспектор решительно предпочитал заполнять страницы своих чистеньких отчетов общими фразами и подробностями об образовании фабричных детей. Интересны лишь сообщаемые им данные о несчастных случаях на производстве. Всего за пять лет, с 1855 по 1860 г., на фабриках Северного департамента (а там особенно сильно было развито бумагопрядильное и льнопрядильное производства) зарегистрировано 34 смертельных поранений, 168 тяжелых и 232 легких увечий. По этому поводу даже Дюпон решился заметить, что равного количества несчастий за

<sup>1</sup> Нац. арх. F<sup>12</sup> 4713, Somme, префект — министру 28 сентября 1843 г.

<sup>2</sup> Ibid., префект — Генеральному совету департамента 24 августа 1856 г.

<sup>3</sup> Ibid., Extrait du registre aux délibérations du Conseil Général, 1865.

такой же срок не было и на железных дорогах,<sup>1</sup> а, между тем, железнодорожные крушения в изучаемую эпоху были далеко не редки. Потрясающие, хотя и не проверенные данные о детской смертности в Лилле около 1848 г. сообщались у Бланки.<sup>2</sup> Что улучшений не было и в 50-х годах, видно из статистических подсчетов доктора Крэтъена. С 1851 по 1856 г. наблюдается явная тенденция возрастания общей смертности населения г. Лилля; о детской же смертности Крэтъен сообщает, что с 1854 по 1856 г. целая *треть* родившихся детей вымирает, не достигнув трехлетнего возраста.<sup>3</sup> Следует при этом заметить, что подсчеты д-ра Крэтъена еще не вскрывают картину смертности во всей полноте. Приходится иметь в виду не только особенности Лилля как городского центра (крепость, в которой еще резче, чем где бы то ни было, различалось постоянное население и приходящее только на время работы), но и ту общую поправку к вычислениям смертности, о которой писал еще Дементьев: городские рабочие часто уходили умирать в деревню.

*Пенькопрядильное* производство частично было развито в департаменте Орн. Так, например, в Алансонском округе, кроме 5 железодельных заводов, 1 фаянсовой мануфактуры, 1 стекольного завода, 2 ткацких мануфактур существовала в 40-е годы XIX века и одна более или менее крупная *пенькопрядильная* фабрика. Разнообразие перечисленных промышленных предприятий, подавляющее большинство которых — не фабрики, а мануфактуры, дает возможность установить сравнительную характеристику фабричной эксплуатации. Как явствует из конфиденциального отчета командированного в департамент Орн ревизора службы контролеров мер и весов, *именно на пенькопрядильной фабрике* дети-рабочие отличались особенно несчастным, болезненным видом. Заработная плата некоторых из них *не более 25 сантимов*. Но и эта жалкая сумма еще сокращается посредством характерной для эпохи промышленного переворота жесточайшей системы штрафов: за каждые 15 минут опоздания *взималось по 15 сантимов*, т. е. потеря 1—2% дневной работы каралась штрафом в размере 60% дневной заработной платы! Как выясняется из цитируемого секретного отчета, собственником пенькопрядильной фабрики оказался *член палаты депутатов*, некий Mercier.<sup>4</sup>

Вот почему вплоть до секретного обследования данного района инспектором службы контролеров в официальной переписке не было даже и намека на злоупотребления подобного рода.

<sup>1</sup> Нац. арх. F<sup>12</sup> 4712, Nord, отчет Dupont'a, январь 1864 г. Из более ранних данных об «accidents» ср. «Annales d'hygiène publique», т. 43, pp. 261—289.

<sup>2</sup> *Blanqui*, op. cit., pp. 101—102.

<sup>3</sup> *Chrestien*, Notes statistiques sur la mortalité de la ville de Lille (Нац. библ. Td <sup>33</sup>47), p. 12 + 18.

<sup>4</sup> Нац. арх. F<sup>12</sup> 4712, Orne, Фонтэн — министру 21 декабря 1844 г.

*Добывающая промышленность*

Переходя к характеристике положения детского труда в каменноугольной промышленности, постараемся прежде всего определить функции малолетних рабочих. Из инспекторских отчетов по департаменту Мэн-и-Луара мы узнаем, что работа самых юных детей «чаще всего состоит в том», что они «открывают и закрывают вентиляционные двери, чтобы пропустить каретки»,<sup>1</sup> т. е. выполняют буквально ту же самую работу, какую констатировала Childrens Employment Commission в Англии. Малолетние дети, из числа не работающих под землей, выполняют вспомогательные работы. Как видно из переписки по департаменту Майенна, дети моложе 12 лет подносят питьевую воду, кипятят воду для умывания и т. п.

Подростки от 15 до 18 лет заняты уже тяжелым трудом: они перетаскивают уголь.

Послушаем теперь показания источников об условиях труда в каменноугольных коях *по департаментам*. Не сразу освещается вопрос о продолжительности рабочего дня в шахтах департамента *Мэн-и-Луара*. Местный префект в своих первых отчетах пишет о 8 часах работы. И только из статистической сводки за 1843 г. (документ, подписанный тремя инспекторами) явствует, что эту «восьмерку» нужно понимать «по-английски»: каждый рабочий день разделялся на три чередующиеся «восьмерки» труда и отдыха. Таким образом, продолжительность рабочего дня в одни сутки достигала 16 часов, в следующие — 8 часов, на третьи сутки снова 16, затем опять 8 часов и т. д. Заработная плата (в 1843 г.) — 50 сантимов.<sup>2</sup> Определить возраст у всех детей инспекторам не удалось. Департаментская инспекция еще и в 1853 г. была «инертной», и таким образом закон о детском труде здесь оставался «мертвой буквой».<sup>3</sup>

В департаменте *Майенна* сам префект в 1843 г. констатирует систему чередования «восьмерок», причем особенно ценно его точное указание на несоблюдение воскресного отдыха в местных каменноугольных коях.<sup>4</sup> Сообщаются и данные о возрасте детей, но ввиду официального признания, что не у всех имелись сертификаты о возрасте, вопрос о незаконном пользовании трудом детей, не достигших 8 лет, нельзя признать освещенным в наших документах. Как явствует из позднейшей переписки, еще и в начале 50-х годов целиком сохраняются описанные условия труда.

Чрезвычайно скудны данные о департаменте *Финистер*, где конста-

<sup>1</sup> Нац. арх. F<sup>12</sup> 4711, Maine-et-Loire, отчет инспекторской комиссии — префекту, 1846 г.

<sup>2</sup> Ibid., Tableau, 4 апреля 1843 г.

<sup>3</sup> Ibid., префект — министру 13 декабря 1853 и 28 февраля 1854 г.

<sup>4</sup> Ibid., Mayenne, префект — министру, 1843 г.: «...ainsi ces jeunes gens passent huit heures dans la mine, se reposent en suite huit heures et continuent pareillement même le dimanche pendant lequel le travail est obligé, afin d'éviter des pertes énormes qui sans cela arriveraient indubitablement» (!).

тируется 10—12-часовой рабочий день и здоровый вид работающих детей. Но эти сведения исходят от одного из местных супрефектов.<sup>1</sup>

В департаменте *Нижней Луары* рабочие «восьмерки» часто *сдваивают*, таким образом малолетние дети даже в копях, под землю, работают по 16 часов *под-ряд!*<sup>2</sup> Возраст работающих детей и здесь инспекторам не удалось точно установить. Дети — неграмотны.

В департаменте Устьеv Роны — та же система чередующихся «восьмерок». Тем самым устанавливается факт ночной работы. Отмечается непосильность работ подростков от 15 до 18 лет, таскающих на своих еще не окрепших спинах грузы с углем по 1½ и даже по 2½ пуда весом (от 20 до 40 кило).<sup>3</sup> И взрослые, и дети работают почти совершенно голыми.

Трудом восьмилетних детей пользовались особенно широко в годы, предшествовавшие появлению закона 22 марта.<sup>4</sup> В сороковые же годы появляется тенденция к сокращению числа малолетних. Однако причина этой отрадной перемены отнюдь не «идеалистического» происхождения. В 40-е годы описываемые копи были уже настолько разработаны, что труд малолетних детей, так называемых *mendits*, занимавшихся расчисткой путей, перестал удовлетворять предпринимателей: «*des enfants aussi jeunes feraient trop peu de travail*», — как пишет рассудительный автор цитируемого документа.<sup>5</sup>

В департаменте Алье нарушались 2, 3, 4, 5, 6, 9 и 10 статьи закона о детском труде, т. е. фактически здесь имели место все наиболее тяжкие формы злоупотреблений: ночной труд, непомерная продолжительность рабочего дня и т. д.<sup>6</sup>

Перейдем к северному району. Хорошо известные каменноугольные копи в Северном департаменте были, правда, обследованы инспектором Дюпоном, но труд шахтеров не получил достаточно четкого освещения в его отчетах. Констатировано применение в копиях труда девушек и девочек различного возраста, занятых не только на вспомогательных работах, но, как это было и в Англии, извлекавших из шахт отработанный уголь. Эти девочки не получают никакого образования. Управляющие копиями относились даже с удивлением к вопросу об образовании шахтеров.

Так, например, вице-директор копей в Анзене говорил: «Но разве необ-

<sup>1</sup> Нац. арх. F<sup>12</sup> 4710, Finistère, 25 января 1842 г.

<sup>2</sup> [Нац. арх. F<sup>12</sup> 7411, Loire-Inférieure, отчет 7 мая 1843 г.: «... la journée... dans la mine est de 8 heures, mais souvent les ouvriers redoublent de manière à travailler 16 heures sur 24».

<sup>3</sup> Нац. арх. F<sup>12</sup> 4712, Bouches du Rhône, инспекторский отчет при отношении префекта — министру 9 февраля 1843 г.

<sup>4</sup> Мы имеем в виду закон 22 марта 1841 г. Следует, однакоже, отметить, что еще задолго до опубликования этого первого общего закона о детском труде существовал декрет, специально регулирующий условия труда малолетних рабочих в копиях. Это — наполеоновский декрет 3 января 1813 г., *встречающийся опускать в шахты детей моложе 10 лет*.

<sup>5</sup> Ibid., цитированный отчет. |

<sup>6</sup> Нац. арх. F<sup>12</sup> 4709, копия инспекторского отчета 28 ноября 1848 г.

ходимо нашим молодым рабочим уметь читать, писать и считать для того, чтобы извлекать наш уголь». <sup>1</sup>

Послушаем еще, что рассказывают документы о положении шахтеров в департаменте *Па-де-Калэ*. Местный кантональный мировой судья пишет супрефекту Бетюнского района и со слов очевидца, ежедневно наблюдавшего уход на работу и возвращение малолетних шахтеров, обрисовывает условия их труда в следующих чертах. Положение их «хуже, чем рабов». Не только днем, но и ночью, в часы, предназначенные для сна, «эти бедные малютки шагают в шахтенные галлерей, которые лучше было бы называть *галлерами*». <sup>2</sup> Развитие физических сил парализуется, здоровье подрывается, сокращается продолжительность жизни. Эти дети осуждены на полное и беспросветное невежество, вплоть даже до незнания азбуки своего родного языка; они обречены на полную моральную деградацию.

Из других видов добывающей промышленности отметим *шиферные копи* в департаменте Мэн-и-Луара. К 1845 г. здесь работает около 255 детей. Эксплоатация их труда ни в какой мере не сократилась после закона 22 марта. Так, в десяти копиях Анжерского округа дети работали по ночам и без соблюдения воскресного и праздничного отдыха. Интересен по характеру своего промышленного развития департамент Соны-и-Луары. В описываемый период здесь существовали два рудника железной руды, в четырех рудниках добывался смолистый сланец, в восьми рудниках магнетизма и, кроме того, здесь насчитывалось 14 каменноугольных копей. <sup>3</sup> Характерно, что в магнетизальных копиях, где не было никаких «*moteurs mécaniques*», детский труд вовсе не применялся. Сланец добывался под открытым небом, т. е. как в простых каменоломнях, и здесь также не пользовались детским трудом. В железорудных копиях взрослые приводят на работу своих детей, но это бывает не постоянно. Напротив, угольных копиях и в этом департаменте постоянно применяется труд малолетних детей. Официально считалось, что они достигли 12 лет, но показания о возрасте не были проверены. Рабочий день—8 часов. После всего вышеизложенного ясно, как следует понимать эту «восьмерку».

### *Металлургическая и металлообрабатывающая промышленность*

Положение детского труда в металлопромышленности характеризуется обстоятельнее всего в документах, относящихся к департаменту *Ионн*. Здесь описано положение на заводе d'Aisy. Ни в доменном, ни в фришевальном цехе якобы не применяется труд малолетних рабочих. Работают лишь подростки не моложе 16 лет и все они якобы бодро и весело выглядят. Считают, что, по особым техническим условиям работы, продолжительность

<sup>1</sup> Нац. арх. F<sup>12</sup> 4712, Nord, отчет за 1853 г.

<sup>2</sup> Ibid., Pas de Calais, цитированный документ.

<sup>3</sup> Нац. арх. F<sup>12</sup> 4713, Saône-et-Loire, инспекторский отчет при отношении префекта — министру 15 января 1846 г.

«действительного» труда равна лишь 6 часам при двойной общей продолжительности рабочего дня.<sup>1</sup>

Как бы мы ни относились к вопросу об абсолютной достоверности сообщаемых данных, представляется все же весьма замечательной та разница, которая отличает продолжительность рабочего дня текстильщика и рабочего металлопромышленности. Одинаково различаются «действительная» и «номинальная» продолжительность, но в обоих случаях разные сроки этой продолжительности. На заводе в d'Aisy работа прекращалась по субботам в 12 часов ночи. Прерванные работы возобновлялись ровно через сутки, т. е. в воскресенье в 12 часов ночи.

При другом заводе в том же департаменте, кроме доменного цеха, существовало шесть пудлинговых печей и несколько других мастерских. Здесь применялся не только труд подростков, но и малолетних детей. Сведения об их возрасте противоречивы. Префект писал в 1843 г. только о детях в возрасте 8—12 лет и старше. Но два года спустя появляется список всех работающих на том же заводе. и в этом списке фигурируют несколько шестилетних и семилетних детей и даже один ребенок 5½ лет. В своей переписке с министром префект восхваляет гуманность хозяев завода и уверяет, что дети моложе восьми лет не работали, но приводились на завод лишь «для порядка».

Условия труда в доменном и фришевальном цехе различны, — по сведениям, относящимся к *третьему* заводу того же департамента. В доменном цехе работали и по праздникам, а в фришевальном производстве воскресные перерывы работ *соблюдались*. Дети, работающие в этом цехе, обучаются грамоте и снабжены рабочими книжками.

Общее суточное пребывание в стенах завода — 12 часов, «действительный» же рабочий день измерялся 6 часами. Часть детей работала по ночам, принимая участие в ночных сменах, чередующихся еженедельно. Мы еще ничего не сказали о функциях малолеток. Их работа состояла в том, что они посредством особого канатика или веревки периодически приоткрывали и затворяли чугунную дверцу. Эта операция продолжалась около одного часа; после этого час отдыхали, затем вновь прodelывали подобную же работу и снова отдыхали.

В департаменте *Верхней Марны* к 1843 г. металлургическая промышленность была особенно сильно развита в округе Vassy, где было несколько чугунолитейных и железоделательных (железопрокатных?) заводов. Детский труд применялся только там, где существовал «feu continu», т. е. лишь в литейном производстве. Эти дети *моложе* 16 лет. Их воскресный отдых якобы строго соблюдается («entièremment observé») <sup>2</sup> детской ночной работы не существует. В железоделательном же производстве детский труд не применялся.

<sup>1</sup> Нац. арх. F<sup>12</sup> 4714, Yonne, префект — министру 8 февраля 1843 г.

<sup>2</sup> Нац. арх. F<sup>12</sup> 4711, Haute-Marne, Tableau и примечания, подписано супрефектом 21 ноября 1843 г.; ср. также отношения префекта — министру в 1845 г. и в следующие годы.

В департаменте *Шер* в изучаемый период также имелось несколько металлургических заводов. В собственно доменном цехе, по утверждению наших документов, детский труд вовсе не применялся. Констатируется частичное применение труда малолетних только в литейном цехе. На железоделательных же заводах работают лишь юноши в возрасте от 16 до 20 лет.<sup>1</sup>

*Вязальное производство и другие отрасли промышленности, «не охраняемые»  
законом 22 марта*

Одним из наиболее развитых центров вязального производства в период 40—50-х годов XIX века был департамент *Об*. Названная отрасль промышленности в эти годы еще не поднялась до такой ступени механизации, когда мануфактура превращается в совершенно законченный тип фабрики. Количество занятых рабочих в подобных вязальных мастерских чаще всего менее 20 человек; с другой стороны, здесь все еще не применяется система единой двигательной силы, хотя «*métiers circulaires*» и представляют вполне механизированный «рабочий инструмент», широкое распространение которого пауперизирует и работниц, занятых в механизированных мастерских, и ремесленников, работающих «по старинке» на неусовершенствованных вязальных станках.<sup>2</sup> Таким образом, поскольку вязальные мастерские, как предприятия, не применявшие «*moteur mécanique*» и в то же время обслуживаемые менее чем 20 рабочими, не подвергались ограничениям, предусматриваемым по закону 22 марта 1841 г., — эксплуатация детского труда здесь, как и во всех других подобных предприятиях, была совершенно свободной.

Посмотрим же, как пользовались этой свободой предприниматели в различных, «не охраняемых» законом отраслях промышленности в департаменте *Об*. Все сообщаемые ниже данные относятся к первой половине 50-х годов XIX века.

В собственно вязальном производстве (*bonneterie en gros, fabricants et commissionaires*): «совсем юные дети — рабы чрезмерного труда»; они работают в мастерских, в которых постоянно смешиваются рабочие различного возраста и обоего пола, но где, однако, «не существует никаких правил внутреннего распорядка и надзора»; между тем, здесь часто случаются «факты, которые оскорбляют мораль и общественные нравы и которые являются губительным примером для девушек». Инспекторская комиссия, сообщая эти данные, вместе с тем устанавливает, что дети «часто становятся жертвами произвола и ненасытной жадности предпринимателей»; ребята не усваивают даже самых «основных понятий морали и религии».

<sup>1</sup> Нац. арх. F<sup>12</sup> 4710, Cher, Tableau по округу Saint-Amand, составил и подписал супрефект 9 августа 1847 г.

<sup>2</sup> Нац. арх. F<sup>12</sup> 4709, Aube: «Résultat sommaire de la 1-ère inspection générale faite par la commission nouvellement constituée», 1854 г.

Отметим здесь и те чрезвычайно ценные показания местной добросовестной инспекторской комиссии, которые касаются не только детей, но имеют и общее характеристическое значение: «почти всегда (la plupart du temps) рабочие оплачиваются поденно, за действительную работу (travail effectif) в течение 12 часов, между тем как их вынуждают к труду, продолжающемуся *несколькими* часами более этого срока», и «всегда к работе по ночам, в ущерб здоровью». Продолжительность «действительного» рабочего дня в *среднем* — 15 часов в сутки. О девушках, работающих в качестве brodeuses, couseuses, remailleuses (вышивальщицы, швеи и т. д.), наш источник выразительно и лаконично сообщает, что все эти работницы «...sont exploitées par des entreprises dangereuses quand ce n'est pas des spéculations honteuses».<sup>1</sup>

На *аппретурных* работах (в вязальном производстве) дети выполняют функции, «требующие такого [физического] развития, которым малытки (les enfants d'un âge tendre) не обладают»; продолжительность «действительного» рабочего дня и здесь больше 12 часов в сутки: работы в мастерских продолжаются даже после 9 часов вечера; констатированы и антигигиенические условия производства: в мастерских не хватает воздуха, рабочие, в том числе и дети, вынуждены дышать «удушливой теплотой, подобной смраднему пару», что порождает «болезни с губительными последствиями»; *никакого* образования дети не получают.

*Крахмальное* производство выдвигалось на первое место в списке тех не охраняемых законом отраслей промышленности, по поводу которых забила тревогу честная инспекторская комиссия департамента Об. Причинами, в силу которых подчинение закону рассматривалось комиссией как «безотлагательная необходимость», являются, во-первых, нездоровые условия производства («месторасположение мастерских, а также машин и чанов»), равно как и непосильный труд работающих здесь подростков, не достигших 16 лет, во-вторых, их полная безграмотность.<sup>2</sup>

В производстве *картона* те же условия, что и в крахмальном производстве.

В *кондитерском* производстве выработка «драже» и других сахарных изделий совершается при нестерпимо жаркой температуре в помещениях, причем особенно вредные условия создаются в момент колоризации; уже одни только технические условия кондитерского производства задерживают рост детей, да кроме того ребят изнуряют случающиеся время от времени срочные ночные работы (в ночь под Новый год и другие праздники); достаточного отдыха дети не имеют и школ не посещают.

В *перчаточном* производстве (и в производстве mitaines) условия работы детей те же, что и в вязальном производстве.

В *типографском* деле нет твердо установленной продолжительности

<sup>1</sup> Нац. арх. F<sup>12</sup> 4709, Aube, комментированная таблица, 24 января 1855 г.

<sup>2</sup> Ibid., тот же документ.



рабочего дня; дети заняты не только в будние, но также в праздничные дни и по воскресеньям, иногда же работают и по ночам; мальчики по большей части с трудом умеют читать и писать; по техническим условиям производства требуется, чтобы дети работали стоя и с напряженным зрением в течение продолжительного рабочего дня.

В производстве *черепицы, кирпича, стекла и мела*, как и в крахмальной промышленности, расположение производственных помещений признано нездоровым, работы, выполняемые детьми, непосильны, и, кроме того, констатированы случаи работы по ночам, в праздничные дни и по воскресеньям; «нравственного и религиозного образования» дети здесь тоже не получают.<sup>1</sup>

Мы видим, что не все перечисленные виды промышленности были одинаково вредны в той же самой мере, как текстильная фабрика или механизированная вязальная мастерская. Например, из документов 40-х годов нам известно, что в производстве черепицы не применялся труд детей моложе 13 лет и что положение их было во всех отношениях лучше, чем на бумагопрядильной фабрике в том же районе.<sup>2</sup> Но все же важно отметить, что сам префект счел необходимым просить о подчинении режиму, предусмотренному законом 22 марта, всех предприятий, которые хотя и не имеют *moteurs mécaniques* (или по 20 и более рабочих), «однако же заставляют детей работать по 15 и по 17 часов в день».<sup>3</sup>

### *Другие отрасли производства*

До сих пор мы рассматривали положение детского труда в таких предприятиях, экономический тип которых каждый раз был вполне для нас ясен. До известной степени нам удалось установить общую картину эксплуатации детского труда на «классической» текстильной фабрике, на заводах с *feu continu* (но с большим количеством «мануфактурных» трудовых процессов), на мануфактурных предприятиях, в коях и в механизированных мастерских без паровой или гидравлической двигательной силы (и с общим количеством рабочих менее чем по 20 человек в одном предприятии).

Теперь последует небольшая смешанная серия иллюстраций. Значительная часть этих документальных данных должна еще больше уточнить наше

<sup>1</sup> Ibid.

<sup>2</sup> Ibid., Фонтэн (ревизор службы контролеров мер и весов) в секретном отчете министру (1844 г.) об округе Арси-сюр-Об писал: «Dans la tuilerie les enfants ne sont reçus qu'à 13 ans, lorsqu'ils ont quitté l'école primaire. La santé de ces enfants est très bonne. La durée du labeur est moindre et le traitement meilleur». О детях же, работавших на бумагопрядильных фабриках, тот же добросовестный обследователь сообщал, что «leur aspect est celui d'une continuelle souffrance et d'une misère profonde».

<sup>3</sup> Ibid., сопроводительное отношение префекта к цитированному протоколу инспекторской комиссии от 24 января 1855 г. Интересно отметить, что Советательный комитет ремесл и мануфактур (в Париже) рассмотрел эту переписку, но не признал мотивировку основательной, так как, по мнению комитета, «dans la plupart des faits allégués on ne trouve rien qui ne soit commun à l'industrie manufacturière en général» (18 апреля 1855 г.)

представление о *фабрике* эпохи. К сожалению, не во всех нижеследующих случаях мы смогли бы доказать, что речь идет действительно о фабрике, а не о мануфактуре. Но здесь же будут фигурировать и такие предприятия, экономический тип которых нам пока действительно не ясен или не вполне ясен.

### *Бумагоделательное производство*

Для изучаемого периода, т. е. преимущественно для 40-х годов XIX века, еще не удастся нарисовать хоть сколько-нибудь законченную картину. В исследованной серии архивных документов сведения о бумагоделательных фабриках эпохи чрезвычайно скудны. Характерные и яркие данные находим в *печатных* первоисточниках эпохи. Так, например, из журнала «Annales de la Charité» за 1847 г. мы узнаем о следующих ужасающих фактах, наблюдавшихся доктором Dazanvilliers в департаменте *Сены-и-Уазы*. «Еще совсем недавно, — речь идет о бумажной фабрике в кантоне Корбейль, — несколько детей, из которых старшему едва ли исполнилось 15 лет, а младшему было самое большее лет 10, работали по ночам и *под угрозой штрафа* вынуждались через каждые две недели *отрабатывать по 24 часа без перерыва*».<sup>1</sup>

### *Производство шнурков*

Вот что писал в 1842 г. один из супрефектов департамента *Сены-и-Уазы* по поводу внешнего вида детей, работавших в данном производстве: «Трудно смотреть на подобную нищету»... «...По совести сказать, арестанты нашей скверной тюрьмы д'Этан во всех отношениях живут в двадцать раз лучше».<sup>2</sup>

### *Спичечное производство*

Из тех скудных данных, которыми мы еще располагаем о *спичечном* производстве, приведем лишь характерную справку о положении в департаменте *Нижнего Рейна*. В 40-е годы XIX века бумагопрядильные фабрики здесь уже пережили период особенно хищнической эксплуатации. Тем резче выделяются те черты, которыми характеризуется положение детей на спичечных фабриках. Так, например, в округе Саверн рабочий день начинался с 5 часов утра и продолжался до 9 и даже до 10 часов вечера; и, как оказывается, общий 17-часовой рабочий день, протекавший в крайне вредных для здоровья технических условиях, был одинаково обязателен как для взрослых рабочих, так и *для детей*, в числе которых были и малютки, *не достигшие восьми лет*.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> «Annales de la Charité», t. III, p. 116—121: «...étaient occupés au travail de nuit et obligés tous les 15 jours, sous peine d'amende, de travailler 24 heures sans discontinuer»...

<sup>2</sup> Нац. арх. F<sup>12</sup> 4713, Seine-et-Oise, Tableau и комментарии, 24 февраля 1843 г.

<sup>3</sup> Нац. арх. F<sup>12</sup> 4712, Bas-Rhin, префект—министру 24 июня 1857 г.

*Ситцепечатное производство*

Под самым Парижем безнаказанно практиковалась ужасающая эксплуатация детского труда. Мы имеем показания очевидца, наблюдавшего условия труда на ситцепечатных фабриках в Пюто. Рабочие ситцепечатники обычно сами подыскивали себе помощников, приготовлявших краски. И вот, мальчики и девочки от 5 до 15 лет, для того чтобы заработать 50 сантимов в день, работали с 6 утра и до 7—8 вечера, взобравшись на скамейки и простаивая на них целый день. Были и такие фабрики, где рабочий день затягивался до 12 часов ночи, а иногда и на всю ночь, несколько раз в неделю. В результате общих условий фабричного труда — «растление в возрасте 10 лет, материнство в возрасте 15 лет, бесчестие, принимаемое без стыда и раскаяния».<sup>1</sup> Так писала в 1845 г. Eugénie Michel, подчеркивая при этом, что «ни одно из ее утверждений не грешит преувеличением».

На этом пока и закончим очерк по истории «превращения детской крови в капитал» во Франции. Основная задача — исследование *фабричной* эксплуатации — более или менее выполнена, и теперь уже пора подробнее остановиться на том первом «детском» законе, который был несколько раз упомянут выше.

## II

Марксистское исследование истории первого закона об охране детского труда встречается прежде всего с проблемой преодоления «навязанных препятствий». Под этим термином мы подразумеваем все неверные и некритические утверждения историков-идеалистов и эклектиков, касавшихся вопроса о происхождении закона 22 марта 1841 г. Оживление интереса к истории фабричного законодательства и разработка этой проблемы в трудах современных буржуазных историков привели их к «ревизии» тех четких, материалистических положений, к которым сводится история фабричного законодательства у Маркса. Как уже было отмечено в начале этой статьи, Бауэр, Алеви, Гено и Вейс, хотя и по-разному, но с одинаковой решительностью выдвигают значение таких «высоко идеалистических» факторов, как «любовь к ближнему» или «святость» определенного религиозного настроения (протестантизм), в числе объективных причин, побуждающих часть капиталистов выступать на защиту эксплуатируемых рабочих. Таким образом, хотя и эта часть предлагаемой статьи в такой же мере, как первая, основана на самостоятельной, исследовательской работе автора,<sup>2</sup> но самое положение вопроса в литературе вынуждает избрать местами критическую форму изложения, тем более, что чисто *внешняя* история подготовки закона с исчерпывающей полнотой изложена, как уже сказано, в статье

<sup>1</sup> «Annales de la Charité», t. I, p. 383—388.

<sup>2</sup> Весь материал к истории закона 22 марта был собран еще до появления статьи Гено в печати.

Гено. Не будем дублировать эту статью и дадим здесь лишь самый краткий перечень главнейших фактов, составляющих канву «внешней» истории происхождения закона. Бесспорной хронологической датой, отмечающей начальный момент агитации, является 30 ноября 1827 г., когда эльзасский фабрикант Буркарт, — как видим, еще задолго до 1841 г., — выступил на заседании Мюльгаузенского промышленного общества с предложением ходатайствовать перед палатой пэров и палатой депутатов о вотировании закона, устанавливающего возрастной лимит для принимаемых на фабрику детей и, во-вторых, сокращающего продолжительность рабочего дня до 12 часов в сутки. Некоторое время спустя тот же фабрикант предпринимает небольшое путешествие по промышленным городам Франции и затем, лично убедившись, что положение фабричных детей в других местах «еще хуже, чем в Эльзасе», возобновляет свое предложение в заседании Мюльгаузенского промышленного общества 26 декабря 1828 г.<sup>1</sup> Обе попытки мобилизовать авторитет крупнейшей промышленной ассоциации того времени не увенчались успехом: в среде самого Мюльгаузенского общества мнения по вопросу о законодательной охране труда разделились или, как вполне серьезно уверяет Гено, «чувства *филантропии* даже в Мюльгаузене не были единодушны». Проходит несколько лет, и в 1833 г., в связи с предпринятыми предварительными работами по подготовке закона о всеобщем начальном образовании, для известной части мюльгаузенских промышленников представился *повод* высказать свои *desiderata*: на заседании 27 февраля 1833 г. в ответ на анкету (об условиях, в которых возможно было бы разрешить задачу первоначального образования и для детей, связанных с фабрикой), при сильном сопротивлении со стороны некоторых членов почтенного «филантропического» общества, были предложены такие ответы, которые частично уже предвосхищали некоторые идеи закона 22 марта 1841 г. В 1835 г. два члена французской Академии политических наук (l'Academie des Sciences morales et politiques), д-р Виллермэ и Бенуастон де-Шатонеф (Benoiston de Châteauneuf) получают от Академии поручение обследовать положение труда в западном и восточном промышленных районах Франции. Как известно, наиболее важную задачу обследования *восточного* района взял на себя Виллермэ, почетный член Мюльгаузенского промышленного общества, с которым он был связан еще до своей командировки. Здесь уместно вспомнить, в какие именно годы производилась «анкета» Виллермэ. Летом 1835 г. он посетил один из главных центров хлопчатобумажного производства — департамент Верхнего Рейна, осенью — департамент Эна. В конце того же года он обследовал Северный департамент и департамент Нижней Сены. Почти ровно через год, после *вторичного* посещения департамента Верхнего Рейна в сентябре 1836 г., совершается поездка в Реймс (департамент Марны) и в Седан (департамент

<sup>1</sup> «Bulletin de la Société Industrielle de Mulhouse», t. I (a. 1828), p. 325 sq.; ср. *Gueneau*, op. cit. pp. 425—427.

Арденн). Перед вторичным визитом в Эльзас Виллермэ побывал лишь на юге (Лодев, Бедарье, Каркасон — в июле 1836 г.). Наконец, уже к 1837 г. относятся его поездки в департамент Соммы (март — июль) и *вторичные* визиты в департаменты Нижней Сены (июнь) и Северный (август). В этом же году, 2 мая 1837 г., и состоялось публичное выступление Виллермэ в Париже на объединенном собрании пяти академий, где он произнес речь «о чрезмерной продолжительности детского труда на многих фабриках». В это же время, т. е. в период 1835—1837 гг., разворачивается пропагандистская деятельность Мюльгаузенского промышленного общества: по его просьбе Мюльгаузенская торговая палата и Генеральный совет департамента Верхнего Рейна обращаются с соответствующим представлением к министру торговли; в 1836 г. Генеральный совет возобновляет свою попытку,<sup>1</sup> а в 1837 г. Мюльгаузенское общество выступает самостоятельно. 31 мая общество заслушало доклад доктора Пено, нового и энергичного соратника промышленников-«филантропов», и в тот же день эльзасские фабриканты подписали петицию, адресованную на имя трех министров и обеих палат. В числе автографов, скрепляющих этот документ, не трудно разобрать подписи Schlumberger, Mieg, Dollfus, Heilmann, двух Koechlin'ов, и некоторых других промышленников.<sup>2</sup>

Простое перечисление всех наиболее значительных выступлений делает понятным значение периода 1837—1840 гг. в истории происхождения закона. Речь д-ра Пено отпечатывается и обращается в агитационную брошюру. К этому же времени относится и появление брошюры Жилле,<sup>3</sup> чиновника мэрии XI округа в Париже, и распространение анонимных брошюр Ле-Грана — «промышленника с Вогезских гор», прославляемого в новейшей литературе в качестве истинного «провозвестника» («plus authentiquement qu'Owen, que Villermé, que Blanqui») международного рабочего законодательства. Хотя первое выступление Ле-Грана с предложением о повсеместном соблюдении *воскресного отдыха* состоялось еще раньше, в 1832 г., но именно в период 1837—1839 гг. у «промышленника с Вогезских гор» созревает идея законодательной охраны детского труда, — идея, появившаяся, по признанию самого Ле-Грана, отчасти под влиянием брошюры Жилле: в 1838 г. Ле-Гран печатает в Страсбурге свое «Lettre d'un industriel des montagnes des Vosges à M. M. Gros, Odier, Roman et C<sup>ie</sup> à Wesserling» и рассылает его членам обеих палат и министрам. В 1839 г. тот же самый круг политических деятелей прочитывает «Nouvelle lettre d'un industriel des montagnes des Vosges», хотя и адресованное в этот раз на имя члена палаты депутатов Франсуа Делессера («pour être communiquée à M. le ministre du commerce»), но также розданное всем депутатам. Известная часть периодической печати подхватывает и защищает идею

<sup>1</sup> Gueneau, op. cit., p. 432.

<sup>2</sup> Нац. арх. F<sup>12</sup> 4704, Pétitions, vœux et propositions, 1837—1840.

<sup>3</sup> Gillet, Quelques réflexions sur l'emploi des enfants dans les fabriques et sur les moyens d'en prévenir les abus, Paris 1837.

«вмешательства государства» в священную сферу частных интересов. Со ступеньки узко-локальной и частной инициативы движение в пользу закона поднимается теперь на высоту политической кампании. Перечислим и правительственные мероприятия: летом 1837 г., когда министром был Мартэн (du Nord), издается циркуляр (31 июля), учреждающий большую анкету по вопросу о детском труде; все компетентные торгово-промышленные организации — совещательные палаты ремесл и мануфактур, торговые палаты, советы прюдомов — должны были ответить на ряд самых интересных вопросов: с какого возраста дети поступают на фабрику, как велика их заработная плата, какова продолжительность рабочего дня, вынуждаются ли дети к ночной работе, посещают ли школы, не подвергаются ли дурному обращению и т. д. В то же время правительственные чиновники внимательно изучают английское фабричное законодательство, отчеты английских фабричных инспекторов и т. п.

Однако первые результаты кампании должны были глубоко разочаровать промышленников-«филантропов»: в 1837—1839 гг. большинство было еще не на их стороне.

В 1840 г. агитация в пользу закона с новой силой возобновилась. В это время выходит в свет полное издание известной книги Виллермэ «Tableau de l'état physique et moral des ouvriers», представляющей значительно дополненное воспроизведение его трудов, написанных и опубликованных ранее.<sup>1</sup> Значение книги Виллермэ трудно переоценить: так часто она цитировалась с политической трибуны в обеих палатах.

Одновременно не прекращает агитацию и Мюльгаузенское промышленное общество, пиетистский идеализм которого проявился теперь в новой и еще более «убедительной» форме: ассоциация промышленников выступает совместно с «Протестантским обществом содействия первоначальному образованию». В том же 1840 г. переиздается вышеназванная брошюра Жилле.

Теперь мы уже у самого преддверия узкой парламентской истории закона. 11 января 1840 г. министр торговли Кюнэн-Гриден, бывший депутат от департамента Арденн, представил на обсуждение палаты пэров известный законопроект, последовательное и длительное обсуждение которого в обеих палатах и закончилось принятием закона 22 марта 1841 года.

Плодотворно и интересно изучать парламентские дебаты по этому вопросу. Ниже будут использованы соответствующие высказывания различных участников этой продолжительной дискуссии. Здесь же хотелось бы сильнее всего подчеркнуть *недостаточность* изучения истории закона 22 марта 1841 г. в хронологических рамках одной лишь предъистории (1827—1839 гг.) и парламентской истории (1840—1841 гг.), как это делает Гено. Для научного исследования, претендующего не только на описание,

<sup>1</sup> Гено в своей статье называет лишь публикации Виллермэ в издании Академии политических наук. Как видно, ему неизвестны статьи Виллермэ в журнале «Annales d'hygiène publique».

и он на *объяснение*, нужна не только методологическая, марксистская «поправка» к формальным и эклектическим приемам Гено, но необходимо и расширение сферы исследования. В архивном и литературном материале периода 1841—1857 гг., в частности же в материалах парламентского обсуждения *поправок* к закону в феврале 1848 г., исследователь находит множество данных, ретроспективно бросающих потоки света на всю историю происхождения закона о детском труде.

Мы кратко перечислили все наиболее значительные выступления в пользу закона. Какими же хронологическими вехами размечен весь длинный и извилистый путь от первых высказываний в Мюльгаузенском обществе до решающего вотума в палатах? 1827—1829 годы — первый «буркартовский» период. 1833 год — не «спонтанное» выступление Мюльгаузенского общества, но лишь волеизъявление *по поводу*, созданному правительством Гизо. Годы 1835—1836 отмечают оживление интереса к вопросу об охране детского труда в Мюльгаузенском обществе, но лишь к 1837 г. назревает готовность выступить с самостоятельной петицией, а в 1839 г. мюльгаузенские «филантропы» развивают энергичную пропаганду в союзе с Протестантским обществом. Во всей предъистории закона период 1837—1839 гг. резко выделяется как по обширности пропаганды, так и по значительности ее результатов. Наступают 1840—1841 гг., и движение не только не ослабевает, но достигает своего апогея: законопроект превращается в закон. Проходит еще несколько лет. Вопреки оптимистическим заверениям в правительственных отчетах, для промышленников «филантропов» становится совершенно ясен провал их «святого» дела; неоплачиваемость инспекторской службы, «выполнение» ее «друзьями торговли» и терпимость правительства по отношению к фабрикантам-преступникам — все это привело к тому, что ограничительное законодательство о детском труде превратилось в своих действительных результатах в жалкую карикатуру. Тем не менее даже «филантропы» на время умолкают, и только в 1846—1848 гг. поднимается новая волна движения: начинается агитация в пользу пересмотра бесплодного закона 22 марта.

Но что же другое представляют годы 1827—1829, 1837—1838, 1839, 1840—1841, 1846—1848, как не периоды промышленных кризисов и промышленных депрессий?

Сам Гено констатирует «совпадение» промышленного кризиса 1827 г. с началом агитации в пользу закона: «...une crise économique avait, en effet commencé en 1827 à l'heure même où s'ouvrait la question du travail des enfants. Elle s'aggrava en 1829 et atteignit son paroxysme après la Révolution de 1830».<sup>1</sup>

Как известно, кризис начался еще в 1825 г. в Англии. «В 1830 г. кризис 1825 г. был почти что ликвидирован».<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Gueneau, op. cit., p. 428.

<sup>2</sup> Lescure. Des crises générales et périodiques de surproduction, Paris 1907, p. 31.

Через десять лет — новый промышленный кризис. Известно то особенное значение, которое в кризисе 1837 г. приобрела экономика Северо-Американских Соединенных Штатов. Именно здесь, в Америке, еще задолго до кульминационного развития кризиса, в результате спекуляций на фондовой бирже, создалась угрожающая конъюнктура. Это было в 1835 г. Как оказалось, кризис еще не наступил, и тревога миновала. Но вот проходит всего лишь несколько месяцев, и «*les premières symptômes de déséquilibre économique se manifestèrent dans la balance du commerce*».<sup>1</sup> В Соединенных Штатах уже в 1836 г. торговый баланс сводится с превышением импорта на 50 миллионов долларов. А «события в Соединенных Штатах немедленно отозвались в Англии. Английский банк поднял дисконт, чтобы задержать отлив золота из своей кассы (золото это уходило в Соединенные Штаты), и этим подал первый сигнал к тревоге».<sup>2</sup>

Но возникает вопрос о конкретном значении кризиса 1836—1837 гг. и вообще о значении внешнего рынка для *эльзасских фабрикантов*. Значительны ли были их экспортные операции? Не ограничивались ли их сделки одним лишь внутренним рынком? Ответ на эти вопросы дает нам Леви, автор основательной монографии о хлопчатобумажной промышленности в Эльзасе: «... Начиная приблизительно с 1830 г. внешний рынок приобретал все более и более крупное значение, особенно же для дорогих сортов [тканей]»... «Многие *крупные* фабриканты экспортировали в 1834 г. *половину* своей продукции».<sup>3</sup>

Кризис 1836 — 1837 гг. закончился, но период промышленного подъема наступил не сразу. Как известно, те искусственные меры оздоровления сложившейся конъюнктуры, которые были предприняты в Северо-Американских Соединенных Штатах, лишь затянули продолжительность кризиса, разразившегося в 1839 г. «с удвоенной силой».<sup>4</sup> В Англии в 1839 г. произошел так называемый «денежный кризис». Что же касается Франции, то Banque de France, представляющий «драгоценный термометр для оценки упадка и процветания торговли», еще в сентябре 1838 г. сигнализировал приближение нового пика, а в 1839 г. развитие бедствия достигло наивысшей точки: «*le mal... maintenant il est au comble*», как выразился Шарль Дюпен в одной из своих речей.<sup>5</sup>

К 31 декабря 1839 г. в Париже было зарегистрировано 1 013 банкротств.<sup>6</sup> Об условиях же, создавшихся в 1839 г. для эльзасской хлопчатобумажной промышленности, можно судить по выразительному замечанию Леви: «*subitement, le marché des indiennes s'était limité presque exclu-*

<sup>1</sup> *Lescure, Des crises générales et périodiques, de surproduction. Paris 1907, p. 31.*

<sup>2</sup> *Туган-Барановский, Промышленные кризисы в современной Англии, стр. 110.*

<sup>3</sup> *Robert Lévy, Histoire économique de l'industrie cotonnière en Alsace, Paris, 1912, p. 234.*

<sup>4</sup> *Туган-Барановский, op. cit., стр. 120.*

<sup>5</sup> «*Mémorial du commerce et de l'industrie*», t. III, 1839, p. 7. Речь Дюпена, произнесенная 7 апреля 1839 г. в Conservatoire des Arts et Métiers.

<sup>6</sup> *Ibid.*, t. IV (a. 1840), p. 15.



«sivement au marché national».<sup>1</sup> Совершенно понятно поэтому, что при таких обстоятельствах эльзасским фабрикантам было уж не под силу сдерживать мощный прилив христианских чувств: вспомним об энергичной агитации мюльгаузенских филантропов в 1838—1839 гг., когда они выступили в союзе с протестантской ассоциацией.

Промышленная депрессия продолжалась и в следующие годы. В Англии только с 1843 г. началось оживление.<sup>2</sup> О смене конъюнктур во второй половине 40-х годов XIX века писал еще Маркс, представив, на основании инспекторских отчетов, чрезвычайно выразительную в своей краткости картину всего периода, предшествовавшего хлопчатобумажному кризису 60-х годов. Позволим себе сокращенно процитировать это место.<sup>3</sup>

«1845 г. Расцвет хлопчатобумажной промышленности. Горнер пишет, об этом времени: «За последние восемь лет я не наблюдал ни одного периода столь интенсивного оживления в делах, как прошлым летом и осенью, в особенности в бумагопрядении».

«1846 г. Начинаются жалобы. «Уже в течение довольно продолжительного времени я слышу от очень многих хлопчатобумажных фабрикантов жалобы на угнетенное состояние в их деле...»

«1847 г. В октябре денежный кризис. Дисконт 8%. Уже ранее произошел крах железнодорожного грюндерства и спекуляции ост-индскими векселями. Но... «стоит бросить взгляд на опубликованные официальные отчеты, чтобы убедиться, что хлопчатобумажная промышленность за последние три года возросла почти на 27%. Вследствие этого хлопок повысился в цене, в круглых цифрах, с 4 пенсов до 6 пенсов за фунт, в то время как цена пряжи, благодаря увеличившемуся предложению, стоит лишь немного выше своего прежнего уровня».

Продолжим же нашу сравнительную параллель и исследуем вопрос о промышленных конъюнктурах во *французской* хлопчатобумажной промышленности за те же годы. При этом вновь обратимся к конкретным данным об *Эльзасе*.

1843 г. Число безработных не только не возрастает, но уменьшается «en raison d'une légère reprise des travaux dans les filatures».<sup>4</sup> Префект департамента Верхнего Рейна надеется, что «катастрофа» уже миновала. К концу года цены на пряжу и ткани немного упали, но зато сырье подешевело приблизительно на 10%.<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Lévy, op. cit., p. 235.

<sup>2</sup> Энгельс в «Положении рабочего класса» писал: «Когда я в конце ноября 1842 г. прибыл в Манчестер, я нашел еще везде толпы безработных, стоявшие на перекрестках улиц, и множество фабрик, еще не работавших; в следующие месяцы до середины 1843 г. эти недовольные, праздношатающиеся стали исчезать, и фабрики начали постепенно работать» (Сочинения К. Маркса и Ф. Энгельса, под ред. Д. Рязанова, т. III, стр. 381—382).

<sup>3</sup> Маркс, Капитал, т. III, ч. 1, стр. 101—105 (рус. перев., Гиз, 1922).

<sup>4</sup> Нац. арх. F:2 4467 B, Haut-Rhin, секретное отношение префекта — министру 8 марта 1843 г.

<sup>5</sup> Ibid., Bas-Rhin, префект — министру в отчете за IV квартал (8 февраля 1844 г.).

1844 г. Первые три месяца года «хлопчатобумажное производство в Нижне-рейнском департаменте — «en pleine activité». До октября положение остается без перемен».<sup>1</sup>

1845 г. Ровное течение дел в начале года сменяется заметным расширением производства в III триместре. Большой спрос на коленкор и пряжу (?) для экспорта.<sup>2</sup> Но в IV триместре оживление приостанавливается; причины — тревожные слухи (bruits facheux) о результатах урожая и волнения по поводу спекуляций с железнодорожными акциями.<sup>3</sup>

1846 г. Еще в апреле положение в хлопчатобумажном производстве было удовлетворительным, несмотря на *вздорожание* хлопка; затем началось падение цен. К середине года «высокие цены на хлопок не оставляли никакой прибыли прядильщикам».<sup>4</sup> В III триместре отмечается оживление, но все время удерживаются высокие цены на сырье, до самого конца года.<sup>5</sup>

1847 г. Застой в течение всего I триместра. Еще надеются, что сокращение производства оздоровит конъюнктуру. К середине года сокращение производства на всех ткацких и бумагопрядильных фабриках. Положение не улучшается.<sup>6</sup>

История дальнейшего развития кризиса 1847 г. достаточно известна. Нам важно было проследить на примере наиболее механизированного производства ту цепь промышленных конъюнктур, которая связывает эпоху подготовки и опубликования закона 22 марта с парламентской ревизией этого закона в феврале 1848 г. Перелом, наступивший в 1846 г., и кризис 1847 — 1848 гг., — промышленный кризис небывалого размаха, захвативший не только хлопчатобумажную промышленность, но и все другие, *к этому времени уже революционизированные* отрасли текстильного производства, — вот что, в конечном счете, превращает даже некоторых «вчерашних» врагов закона 22 марта в красноречивых «защитников» детей.

К вопросу об этой метаморфозе, т. е. о том, как менялось отношение к закону у фабрикантов-шерстопрядильщиков, льнопрядильщиков, вообще у тех «капитанов» текстильной промышленности, капиталы которых были инвестированы не в хлопчатобумажное (или не только в хлопчатобумажное) производство, — мы еще вернемся ниже. Теперь же внимательно рассмотрим к самым текстам прославленных филантропических сочинений, написанных на тему о необходимости законодательного ограничения детского труда.

«С некоторого времени (depuis quelques années) промышленность нашего края развилась необычайно (d'une manière extraordinaire)».<sup>7</sup> Такими

<sup>1</sup> Ibid., префект — министру 15 октября 1844 г.

<sup>2</sup> Ibid., префект — министру 28 октября 1845 г.

<sup>3</sup> Ibid., префект — министру 30 января 1846 г.

<sup>4</sup> Нац. арх. F<sup>12</sup> 4476 С, Bas-Rhin, отчет префекта — министру за II триместр 1846 г.

<sup>5</sup> Ibid., отчеты за III и IV триместры 1846 г.

<sup>6</sup> Ibid., отчеты за I и II триместры 1847 г.

<sup>7</sup> «Bulletin de la Société Industrielle de Mulhouse», t. I, p. 325.

словами *начиналось* «Предложение Жан-Жака Буркарта из Гебвиллера о необходимости фиксировать возраст принимаемых рабочих и сократить продолжительность работы в прядильных предприятиях», то самое филантропическое предложение, которое, как мы уже отмечали выше, было прочитано Буркартом в Мюльгаузенском промышленном обществе в 1828 г. Развитие христианской аргументации представлялось, далее, в следующем виде. Высказав беглое замечание о несоответствии бурного промышленного расцвета с отсутствием или «очень малым» улучшением положения рабочего класса (вопиющих фактов о резком *ухудшении* докладчик предпочел не оглашать), сантиментальный промышленник ссылается на поучительный пример Англии, где рабочие в течение 12-часового рабочего дня производят *столько же и даже больше*, чем французские рабочие при 15-часовом дне. Аргумент, как видим, хоть и не вполне богословский, но, бесспорно, достаточно сильный. Развивая свои мысли дальше, Буркарт *допускал*, что у них во Франции, в Эльзасе, «в какой-либо бумагопрядильне продукция рабочего при 13-или 15-часовом рабочем дне больше продукции работника, занятого в течение 12 часов»; но это не должно радовать эльзасцев, так как «ведь вследствие избыточности выработанных товаров по отношению к потреблению наш сбыт хлопчатобумажной пряжи находится, к несчастью, в таком печальном положении, что фабриканты-прядильщики *должны* желать сокращения производства, лишь бы непременно это уменьшение было равномерным и в одинаковой степени касалось как одних промышленников, так и других».<sup>1</sup>

Как уже сказано, в том же Мюльгаузенском обществе через десять лет снова раздался призыв к «самоотречению». «Я хочу говорить о каторжном труде детей на некоторых фабриках», так многообещающе начал свою речь д-р Пено. Понятно, что, прочитав такую фразу, с нетерпением пробегаешь строчку за строчкой, надеясь найти хоть какие-нибудь новые обличительные данные. Но «филантропические» чувства совершенно сбивают докладчика, и он сразу же переходит к вопросу о «могуществе страшной конкуренции, возрастающей с каждым днем», а затем прибегает к поучительному сравнению Франции с Англией, где «с 1818 г., вслед за волнениями и мятежами (*révoltes*), которые нанесли серьезный ущерб многим бумагопрядильням, появились регулирующие продолжительность рабочего дня ордоннансы Роберта Пиля».<sup>2</sup>

Раньше, чем подвести итог, рассмотрим еще один образчик филантропической аргументации. Выше мы уже называли имя Даниэля Ле-Грана. Из всех агитаторов в пользу закона решительно никто не может сравниться с Ле-Граном по яркости того пизетистского нимба, которым он сияет и в своих сочинениях и в буржуазной историографии.

<sup>1</sup> «Bulletin de la Société Industrielle de Mulhouse», t. I, p. 326—327.

<sup>2</sup> Цитируемый доклад был издан отдельной брошюрой. Мы пользовались экземпляром, сохраняющимся в картоне F<sup>12</sup> 4704 (Нац. арх.).

В конце этой статьи биография Ле-Грана и его роль в общем движении в пользу закона будут рассмотрены особо. Пока же мы познакомимся лишь с одной из тех анонимных агитационных брошюр Ле-Грана, которые депутаты палаты с удивлением находили на своих пюпитрах в 1838—1839 гг.

Прежде всего следует отметить характерный эпиграф «*Нового письма промышленника с Вогезских гор господину Делессеру, члену Палаты депутатов, для сообщения министру торговли*», — эпиграф, которым автор старательно подчеркивал значение «истинного» источника своего вдохновения. Обращаясь к своим читателям-депутатам, Ле-Гран риторически вопрошает: неужели и в ближайшую сессию закон о детском труде не будет принят? Неужели одни только «вопросы политические и чисто материальные интересы станут попрежнему поглощать наши законодательные сессии, в то время как самые важные моральные интересы будут отодвинуты на задний план?»<sup>1</sup> Далее следует самый текст «письма», начинающегося с описания наиболее известных примеров эксплуатации детского труда. Но подобно тому, как это делали и другие пропагандисты идеи закона, автор брошюры указывает и на *чересчур быстрый темп промышленного развития*, намекает на «l'éruption du Volcan»<sup>2</sup> в своих сравнениях с «просвещенной Англией» и, наконец, вполне уравнивает значение «долга» и «выгоды», когда говорит о катастрофе как о возможном результате непонимания промышленниками «ses devoirs» и «ses intérêts». В целом брошюра все же отличается от речей Буркарта и Пено большей смелостью: министру торговли Кюнэн-Гридену, бывшему в это время противником «этатизма», Ле-Гран бросает упрек в недостаточной осведомленности и сообщает о самоубийствах детей, работавших в шерстяной промышленности. Таково, вкратце, содержание этого «Нового письма», написанного, как видим, с большим искусством: автор «согрешил» всего лишь один раз, прибегнув к аргументу заинтересованности самой промышленности в предлагаемой реформе.

Историки, писавшие о Ле-Гране, всегда пользовались только печатным текстом этой брошюры. Но в Национальном архиве в Париже сохраняется рукописная «Копия письма...». Сравнивая манускрипт и отпечатанный экземпляр брошюры, можно установить чрезвычайно, на наш взгляд, характерную психологическую черту, обнаруживающуюся в различии подчеркивания одной и той же фразы в «Письме» и в «Копии». Вот наглядное сопоставление отрывков, о которых идет речь:

#### Печатный экземпляр.

Le mal existe; il ne s'agit plus le constater, mais de lui porter un remède *prompt et efficace*; car de mois en mois la propagation *des tissages mécaniques*, l'agrandissement des fila-

#### Манускрипт.

Le mal existe; il ne s'agit plus le constater, mais *de lui porter un remède prompt et efficace*; car de mois en mois la propagation des tissages mécaniques, l'agrandissement des

<sup>1</sup> «Nouvelle lettre d'un industriel des montagnes des Vosges á M. F. Dellestert», Strasburg 1839.

<sup>2</sup> Op. cit., p. 4.

tures de coton et de laine et l'établissement de filature de lin, fait de nouvelles victimes et rendent la loi plus difficile.<sup>1</sup>

filatures de coton et de laine et l'établissement de filature de lin, fait de nouvelles victimes et rendent la loi plus difficile.<sup>2</sup>

Историк-экономист не без удивления прочтет отрывок даже *печатного* текста: подчеркивание быстрой механизации именно *ткацкого* производства совершенно не может быть оправдано действительным ходом промышленного переворота и представляет преувеличение, которое нам станет совершенно понятным, когда мы поближе познакомимся с Ле-Граном, проводив его с кафедры протестантского проповедника до ворот скромного промышленного предприятия в Вогезских горах.

Подчеркивание же в *рукописи* ежемесячного (!) возрастания числа механизированных предприятий изобличает главную причину панистической тревоги автора письма: эта причина — быстрый рост конкуренции. Конечно, не исключена возможность, что «Копия» написана не собственно-ручно Даниэлем Ле-Граном. Нам еще не удалось найти бесспорный образчик почерка «промышленника с Вогезских гор», выступавшего, как уже сказано, анонимно. Но перед нами во всяком случае *не стереотипная* копия, т. е. не копия в обычном смысле этого слова. Во-первых, «Письмо» и «Копия» датированы не одним и тем же числом. Характерно, что дата напечатанной брошюры — 11 ноября 1838 г., а «Копия» подписана 7 ноября того же года. Во-вторых, на манускрипте имеется приписка о том, что «изложенные соображения заставляют автора прибегнуть к ходатайству перед его величеством *«en lui adressant sous pli un double de la présente»*. Таким образом, перед нами одна из этих *двух* «Копий», предназначенных такому адресату, обращаясь к которому не принято было пользоваться услугами небрежных переписчиков.

Итак, у всех трех наиболее прославленных «филантропов» один и тот же эгоистический мотив, крикливо выделяющийся из общего тона: это — постоянное подчеркивание быстроты промышленного развития, порождающего перепроизводство.

Исследуем теперь вопрос о том, кто же такие были инициаторы законодательного ограничения детского рабочего дня. Их имена нам уже известны, но пока еще не установлено, какое место принадлежит фабрикантам «филантропам» в той пирамиде, которая могла бы графически изобразить весь массив текстильной промышленности, от широко распространенных мелких гидравлических фабрик, вырабатывающих только одну пряжу, до крупнейших предприятий с паровой двигательной силой, объединяющих и прядильное и ткацкое производства.

Мы знаем, что инициаторами движения в пользу закона были мюльгаузенские фабриканты.

<sup>1</sup> «Nouvelle lettre d'un industriel des montagnes des Vosges à M. F. DelleSSERT».

<sup>2</sup> Нац. арх. F<sup>12</sup> 4704, dossier «Pétitions, vœux et propositions pour soumettre à certaines conditions le travail des enfants dans les manufactures» 1837—1840.

Послушаем же, что рассказывал об эльзасской хлопчатобумажной промышленности д-р Юр, дополнивший французский перевод своей известной «Philosophy of the manufactures» особыми additions, написанными, конечно, не на посмшище французским читателям, а со всей ответственностью за сообщаемые факты. Прежде всего Юр ссылается на показание крупного эльзасского фабриканта Nicolas Koechlin'a, «который в результате своих путешествий по промышленным кантонам Англии и Франции», т. е. на основании личного сравнительного обследования обеих стран, считал, что к началу 30-х годов XIX века «в отношении тех номеров пряжи, которые составляют 9/10 потребления», французам было «абсолютно не в чем позавидовать англичанам» и что, «за исключением лишь самых высоких номеров, эльзасская пряжа стоит английской».<sup>1</sup> А эльзасский промышленник Schlumberger (из Гебвиллера) даже англичан удивил качеством своей тонкой пряжи (т. е. как-раз высокими номерами). Эти показания вполне совпадают с оценкою эльзасского бумагопрядильного производства одним из лучших английских специалистов по высоким номерам пряже, манчестерским фабрикантом Conelle'ем, лично уверявшим д-ра Юра, что в Гебвиллере имеются «машины мюль-дженни, столь же усовершенствованные («métiers... aussi parfaits»), как и его собственные». Наконец, сам д-р Юр, будучи во Франции, посетил предприятия Dollfus'a и Mieg'a и убедился, что эти фабрики ни в чем не уступают английским.<sup>2</sup>

Кто же такие Koechlin, Schlumberger, Dollfus и Mieg? Это как раз те самые эльзасские фабриканты, которые подписали уже известную читателю петицию 1837 г.

«Филантроп» же Буркарт, инициатор борьбы за ограничение продолжительности рабочего дня и «защитник» детей, был *совладельцем* Schlumberger'a, «удивившего» англичан. Фабрика Буркарта даже с трибуны палаты депутатов была аттестована как крупнейшее из всех существующих во Франции бумагопрядильных предприятий.<sup>3</sup>

Мюльгаузенское промышленное общество в целом — замкнутая ассоциация крупных капиталистов. В этом убеждает простая справка из устава общества. В члены его вступали лица, рекомендованные председателем, избранные путем тайного голосования и способные заплатить, сверх ежегодных членских взносов по 50 франков, еще вступительный взнос в размере 100 франков.<sup>4</sup> Итак, инициаторы движения — «капитаны» хлопчатобумажной промышленности, владельцы предприятий, оборудованных по последнему слову техники эпохи. Аналогия с Англией и Россией напрашивается

<sup>1</sup> Ure, Philosophie des manufactures, v. II, additions faites par l'auteur à l'édition de la traduction française, p. 305.

<sup>2</sup> Ibid., p. 308: «La grande galerie aux cardes surtout, chez M. M. Dollfus et Mieg, est la plus automatique que l'on puisse voir en aucun endroit, et travaille avec moins de main d'oeuvre qu'aucune autre en Angleterre».

<sup>3</sup> «Moniteur», 1840, p. 2517, речь Dietrich'a.

<sup>4</sup> «Bulletin de la Société Industrielle de Mulhouse», t. I, 1828, устав, ст. 2 и 4, гл. II.

sans phrases. Но задача исследования происхождения закона, к сожалению, не исчерпывается вопросом об *инициаторах* движения. Даже в среде мюльгаузенских фабрикантов не было единодушия в 1827—1829 гг. Крупные капиталисты-бумагопрядильщики вне Эльзаса и «капитаны» других отраслей текстильной промышленности еще и в 1837 г. упорно борются с инициативой эльзасцев. Затем, с известного момента, и они становятся на сторону «этатистов». Попытаемся же проследить и объяснить эту эволюцию от черствого эгоизма к «филантропии».

В 1837 г., когда уже не отдельные члены Мюльгаузенского общества, а вся ассоциация в целом выступила с предложением об ограничении детского труда, из среды текстильщиков Северного департамента выдвинулся решительный противник идеи «вмешательства государства». Это был промышленник Барруа, сочинивший апологетический мемуар, наименование которого очень похоже на заголовки вышеназванных работ Виллермэ: «L'état physique et moral des ouvriers employés dans les filatures et particulièrement sur l'état des enfants». Гено довольно подробно изложил его содержание, и поэтому нет нужды в перечислении всех мыслей, высказанных в этом мемуаре. Кратко можно сказать, что в лице Барруа французские промышленники обрели доморощенного «Пиндара фабрики», который категорически отрицал факт чрезмерной эксплуатации детей; он объяснял болезненный вид последних не производственными, а жилищными условиями, и всерьез уверял, что смертность фабричных детей не больше, чем смертность школьников. Добродушный Гено, пространно излагая всю эту смехотворную апологию, роняет лишь замечание, что Барруа сохранил «все буржуазные предрассудки своего времени», и во всей истории яркого выступления этого промышленника видит интерес только в том, что, резюмируя идеи «L'état physique», можно показать, что не все французские промышленники были одухотворены чувствами филантропии и прогресса.<sup>1</sup>

Причины же консерватизма и эволюцию настроений в Северном департаменте он не только не исследует, но даже не ставит о них вопроса. Между тем, выступление Барруа не было случайностью, но отражало определенное отношение известной сплоченной группы. Сам Гено вынужден признать, что в описываемый период «la Chambre de Commerce de Lille n'est guère plus favorable à une réglementation». По его выражению, Лилль — «крепость оппозиции». Присмотримся же к динамике изучаемых явлений: отношение лилльской торговой палаты к идее закона совершенно изменяется к началу 50-х годов XIX века. Вот отдельные характерные моменты этой поучительной эволюции.

Еще до закона 22 марта, осенью 1840 г., палата обращается с «Письмом к г-ну министру земледелия и торговли», в котором водянисто и пространно развиваются банальные мысли о росте конкуренции, вспоминаются desiderata, высказанные еще раньше, в ответ на циркуляр

<sup>1</sup> Gueneau, op. cit., p. 443.

1 июля п. т. д. Интереснее всего проследить отношение к вопросу о формах инспекторского надзора. Существование института оплачиваемых инспекторов в Англии, а также и та решительность, с которой эти инспектора выполняли свою службу, были достаточно хорошо известны промышленникам континентальной Европы. Поэтому изучение прений по вопросу о типе инспекции лучше всего обнаруживает действительное отношение к идее законодательной охраны труда. С этой точки зрения цитируемое «Письмо г-ну министру» хотя и преисполнено благочестивыми пожеланиями о сокращении «безграничной конкуренции», но по главному вопросу — по вопросу о строжайшей инспекции — в «Письме» не произносится ни одного нового, решительного слова: не правительственный, оплачиваемый инспектор, а *местный совет* («conseil local») — вот наиболее подходящая форма!<sup>1</sup>

Меньше чем через год, 21 мая 1841 г., та же палата обсуждает проект своего «Письма г-ну префекту». Специальный вопрос об инспекции и составляет содержание «Письма». Как оказывается, в палате состоялась «продолжительная и углубленная дискуссия» на эту тему.<sup>2</sup> Единодушно было отвергнуто предложение об английском типе инспекции, т. е. предложение о том, чтобы всецело возложить функции надзора на особых оплачиваемых инспекторов. Торговая палата считала, что «исключительное применение элемента принуждения не было бы ни благоразумным, ни приличествующим (convenable), ни возможным»... Но и форма совершенно добровольной неоплачиваемой инспектуры теперь уже решительно отвергается многими членами палаты, останавливающейся в конце концов на междуумочном выборе «entre le système des inspecteurs spéciaux rétribués... et le système de l'inspection purement gratuite».<sup>3</sup>

В заседании 5 декабря 1845 г., после того как был обсужден волнующий вопрос «об улучшении породы скота», почтенные члены лилльской палаты еще раз великодушно вернулись к вопросу о породе вымирающих фабричных детей.

Доклад специальной комиссии, предложившей сокращение рабочего дня даже для взрослых, опять вызвал оживленную дискуссию. Большинство палаты и на этот раз высказалось против решительных мер в борьбе с злоупотреблениями; так, например, категорически (d'une manière absolue) отвергалась юрисдикция полицейского трибунала как мера пресечения рецидивов. Вместе с тем палата высказывается и по вопросу о возрасте поступающих на фабрику детей: она считает «рациональным» не принимать детей моложе десяти лет, с тем чтобы десятилетних заставлять работать столько же часов, сколько отрабатывают взрослые.<sup>4</sup>

Следующий этап — 1848 год, когда, как уже было сказано выше, в ре-

<sup>1</sup> Archives de la Chambre de Commerce de Lille», t. I, p. 517.

<sup>2</sup> Archives de la Chambre de Commerce de Lille», t. II, p. 62.

<sup>3</sup> Ibid., p. 68.

<sup>4</sup> Archives de la Chambre de Commerce de Lille», t. III, p. 37.



зультате небывалого промышленного кризиса, назрело решение пересмотреть «бесплодный» закон 22 марта 1841 г. Французское правительство еще до обсуждения «поправок» к закону в палате депутатов, как и в 1837 г., обратилось к торгово-промышленным организациям с предложением высказаться по вопросу о различных редакциях нового законопроекта. И вот, в лилльской торговой палате 7 января 1848 г. от имени специальной комиссии по вопросу о детском труде в качестве докладчика выступает теперь убежденнейший «филантроп» Бернар, вполне усвоивший фразеологию мюльгаузенских пиэтистов.<sup>1</sup>

По вопросу о продолжительности детского рабочего дня теперь за стеною «крепости оппозиции» заговорили даже не о 8-часовом дне для детей в возрасте от 8 до 12 лет, а о 6½ часах работы для каждой смены по образцу и подобию английской системы, обеспечивающей возможность обучения подрастающих рабочих кадров.

Инспекция же должна быть такой, как в Англии: «comme l'ont fait les Horner, les Saunders, les Richards, les Howell»!

В заключение остановимся еще на выступлении Эмиля Дельсала, бессменного депутата палаты в течение нескольких лет (из периода «оппозиции»), который 19 августа 1853 г. в своем большом докладе (представленном впоследствии министру земледелия и торговли) решительно высказался против *ночного труда*: «la suppression aussi complète que possible du travail de nuit». <sup>2</sup> Для рабочего, — рассуждает Дельсаль — ночной труд вреден; для капиталиста же такая эксплуатация труда, при хорошей промышленной конъюнктуре, является средством временного увеличения своей прибыли, а во времена кризиса — средством уменьшения общих издержек (производства), но в обоих случаях «одно и то же последствие, а именно непосредственно следующее затоваривание (un encombrement de produits fabriqués) и, в силу этого, возобновление или ухудшение бедствия».

Замечательнее же всего тот факт, что уже за два года до выступления Бентама-Дельсала в Северном департаменте была учреждена должность *оплачиваемого* инспектора. Это и был тот самый Дюпон, имя которого мы называли в первой части статьи. Как справедливо заметил Кольмар, должность оплачиваемого инспектора (с окладом в 2 000 франков, впоследствии 3 000 фр. и, наконец, 5 000 фр. в год) была учреждена не французским правительством, а *департаментским Генеральным советом*.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Ibid., p. 288: «...Votre commission a-t-elle unanimement reconnue que, si elle avait à examiner la question, par rapport aux intérêts et aux droits de l'industrie, elle ne devait pas moins s'occuper des devoirs de l'industrie envers l'humanité» (!)

<sup>2</sup> «Archives de la Chambre de Commerce de Lille», t. V, p. 20.

<sup>3</sup> Кольмар на стр. 32 своей работы «De l'inspection du travail en France» попытался таким образом исправить неточность, вкравшуюся в одно из примечаний Маркса в I томе «Капитала», где было сказано, что во Франции «только с 1853 г. в одном единственном департаменте (départ. du Nord), учреждается оплачиваемая должность правительственного инспектора» («Капитал», т. I, стр. 251, русск. перев. 1925 г.). Приходится, однакоже, уточнить и поправку Кольмара. Долж-

Раньше чем обратиться к исследованию причин этой совершенно явной эволюции настроений в Северном департаменте, рассмотрим еще несколько примеров подобной же перемены во взглядах у видных представителей *других* промышленных районов. Из четырех крупных отраслей текстильного производства три отрасли: хлопчатобумажная, шерстяная и льнопрядильная, достигли в Северном департаменте замечательного развития. Ниже будет показано значение именно льняной промышленности, как важнейшего фактора «оппозиции» в 1837 г. и уступчивости в более поздние годы. Теперь же присмотримся к тем высказываниям, которые характеризуют отношение к закону со стороны шерстопрядильщиков и сукноделов. В первой части нашей статьи сообщались некоторые данные о департаменте Арденн. Крупным политическим деятелем, защищавшим интересы департамента сначала в палате, а потом в кабинете министров, был уже знакомый читателю Кюнэн-Гриден. В период подготовки закона позиция Кюнэн-Гридена в вопросе о строгой регламентации детского труда была резко отрицательной. Кюнэн-Гриден беззастенчиво отрицал даже самый факт хищнической эксплуатации детского труда в шерстяной промышленности, но достойную отповедь он вскоре же услышал и от Виллермэ, и от Ле-Грана. Виллермэ в своей известной работе констатировал 14-часовой рабочий день на фабрике самого Кюнэн-Гридена,<sup>1</sup> а Ле-Гран в брошюре, которую мы цитировали выше, писал: «Как же почтенный депутат из Седана в заседании 28 мая мог усомниться в необходимости подобного закона или считать его излишним для шерстяной промышленности, раз в одном лишь маленьком эльзасском городе, занимающемся тем же самым производством, совершились три самоубийства в среде фабричных детей». <sup>2</sup> Не трудно установить, что в период 1837—1842 гг. и в других районах шерстопрядильного производства было еще враждебное отношение к идее регламентации труда, особенно же к системе так называемых *relais* (*relayssystem* — «система перекладных лошадей»); этот зоологический термин, придуманный христианнейшими английскими капиталистами, был хорошо усвоен и во Франции). В департаменте Тарн, как видно из отчетов де-Фальгерия и Ольмьера, шерстопрядильщики из округа Бюрля считали, что введение *relais* фактически вынудит их совершенно расстаться с детьми моложе 13 лет. Подобное отношение было и у шерстопрядильщиков в округе Кастра.<sup>3</sup>

Но вот проходит несколько лет, и отношение к закону у крупнейших

---

ность инспектора была учреждена не в 1853 г., а в 1851 г., как явствует из «*Extrait du registre aux délibérations du Conseil Général*» от 27 августа 1853 г., где, между прочим, мы читаем: «...et c'est dans ce but qu'il a créé, *il y a deux ans*, un inspecteur spécial chargé de veiller à l'uniforme l'exécution de la loi sur le travail dans les manufactures» (Над. арх. F<sup>12</sup> 4712, Nord, цит. документ).

<sup>1</sup> *Villermé*, op. cit., t. I, p. 256.

<sup>2</sup> «*Nouvelle lettre d'un industriel*», p. 7.

<sup>3</sup> Над. арх. F<sup>12</sup> 4714. Tarn, отчеты по округу Burlat 18 июня 1842 г.; ср. также отношение мэра — супрефекту Кастра, 1 июня 1843 г.

представителей шерстяной промышленности меняется. Чрезвычайно поучительна эволюция взглядов самого Кюнэн-Гридена. «Почтенный депутат из Седана» еще в период оппозиции сделался министром торговли. Как и следовало ожидать, в первое время новый министр не только не содействовал фабрикантам-«филантропам», но даже саботировал борьбу с злоупотреблениями. Вскоре же по опубликовании закона 22 марта Кюнэн-Гриден особым циркуляром предписывает префектам только «уговаривать», а не карать фабрикантов-преступников. Министр-фабрикант напоминает о сакральности сферы капиталистической собственности. Затем, хотя тон последующих циркуляров и становится несколько более решительным, Кюнэн-Гриден почти совершенно игнорирует значение полезной деятельности инспекторов-контролеров мер и весов. В нескольких департаментах вполне удался опыт присоединения этих чиновников к составу местных инспекторских комиссий. Усердие отдельных добросовестных чиновников не поощрялось, присоединение их к составу комиссий не было всеобщим и производилось по департаментам в разные сроки. Энергия способного и очень добросовестного человека г. Фонтэна, ревизора службы контролеров мер и весов, получившего секретное предписание обследовать положение на местах, была использована совершенно недостаточно. Но в 1848 г., при обсуждении «поправок» к закону 22 марта в палате пэров, Кюнэн-Гриден уже находится в рядах защитников предложения о шестичасовой продолжительности рабочего дня для детей в возрасте от 8 до 12 лет. Теперь даже и Кюнэн-Гриден «аргументирует» излюбленным приемом мюльгаузенских филантропов — *сравнением с Англией!*<sup>1</sup>

Еще одним примером изменчивости отношения к закону являются разновременные высказывания по этому вопросу крупнейшего представителя *шелковой* промышленности, известного депутата Фюльширона из департамента Роны. При обсуждении законопроекта о детском труде в палате депутатов, на одном из заседаний в самом конце 1840 г., депутат Грандэн с трибуны рассказывал о тех возражениях, которые ему пришлось услышать от Фюльширона при предварительной разработке законопроекта в парламентской комиссии. Фюльширон категорически отрицал своевременность и необходимость закона для Лиона. С увлечением развивая мысль о своеобразии шелкового производства, Фюльширон говорил: «Пакетботы, знаете ли, не ждут; а поэтому-то вот нам и приходится пользоваться детским трудом, даже по ночам,—иначе бы мы ничего не достигли (*sans quoi nous n'arriverions pas*)».<sup>2</sup> Однако спустя семь лет, в феврале 1848 г., при пересмотре закона 22 марта в палате пэров, тот же Фюльширон категорически возражал против поправки Жирара, предлагавшего создать исключительные условия для предприятий, работающих не круглый год, а всего лишь несколько месяцев.<sup>3</sup> Эти условия должны были гарантировать неограниченную

<sup>1</sup> «Moniteur», февраль 1848 г., р. 49.

<sup>2</sup> «Moniteur», декабрь 1840 г., р. 2498.

<sup>3</sup> «Moniteur», 19 февраля 1848 г., № 50.

эксплоатацию труда в мелких предприятиях с сезонным производством. Разумеется, всякий «беззаветный» защитник своевременного и срочного выполнения заказов должен был бы горячо поддержать предложение Жирара, как предложение, обеспечивающее возможность даже и мелким фабрикам максимально увеличивать производительность труда: «Пакетботы, знаете ли, не ждут!» Но, как оказывается, Фюльширон не заботился о пакетботах. Фюльширон и его родственники имели в департаменте Дрома шелкопрядильные фабрики, работавшие круглый год, поэтому сохранение исключительных условий для мелких предприятий, еще очень многочисленных и сильно конкурировавших с крупным производством, противоречило интересам Фюльширона и его родственников.

Так как развитие конкуренции есть общее явление для всех отраслей промышленности, притом явление, существовавшее уже в течение очень многих лет, то очевидно, что наше исследование не может остановиться на утверждении одного лишь общего тезиса о роли конкуренции. Необходимо изучение конкретных условий развития отдельных отраслей производства.

В рамках этого небольшого этюда, конечно, невозможно удовлетворительно изложить историю экономико-технических преобразований даже в одной лишь текстильной промышленности. Здесь можно сообщить лишь некоторые данные из нашего более обширного исследования, в котором проблеме развития промышленной революции в хлопчатобумажном, шерстяном, льнопрядильном и шелковом производствах уделяются особые главы.

Вернемся прежде всего к хлопчатобумажному производству. Освещая вопрос об инициаторах движения в пользу закона, мы уже определили экономико-техническое значение эльзасского сектора бумагопрядильной промышленности. Инициаторами были именно эльзасцы, потому что, во-первых, они не только ничего не теряли, вступая в борьбу, но, напротив, значительно выиграли бы, если бы с момента первого же выступления Буркарта закон был принят: большая часть хлопчатобумажных фабрик не только в 1828—1829 гг., но и много позднее все еще не перешла к применению паровой двигательной силы, для владельцев которой двухсменный 12-часовой рабочий день представлялся «идеалом». Во-вторых, также понятно, что инициативу борьбы взяли на себя представители *хлопчатобумажной*, а не какой-либо другой промышленности. Конкуренция—явление общее, но именно в хлопчатобумажном производстве впервые появились *особенно* бурные темпы развития, характерные темпы промышленного переворота: в 1818 г. в Эльзасе насчитывалось 70 336 механических веретен; всего через десять лет, в 1828 г., число механических веретен было более 500 000. В одном только Верхне-рейнском департаменте число механических веретен за те же годы возросло почти в десять раз.<sup>1</sup> В период же с 1827 г. по 1870 г. число веретен в Эльзасе увеличивается приблизительно лишь в 4 раза.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Levy, Histoire économique de l'industrie cotonnière en Alsace (P. 1912), p. 87.

<sup>2</sup> Meininger, Essai de description, de statistique et d'histoire de Mulhouse (M. 1885), p. 103.

Изучая документы 40-х годов, т. е. периода, непосредственно следовавшего за опубликованием закона 22 марта, мы постоянно убеждались, что если некоторые фабриканты и склонялись к выполнению требований закона 22 марта, то они всегда оказывались крупными предпринимателями, чаще всего владевшими паровой двигательной силой. Особенно ярким примером может служить департамент Вогезов, где «крупные фабриканты (*des principaux fabricants*) даже сами поспешили приступить к выполнению существеннейших требований [закона] у себя в мастерских, не дожидаясь постановления со стороны власти».<sup>1</sup> Наряду с известным количеством мелких хлопчатобумажных фабрик здесь существовали крупные по тому времени предприятия с общим количеством рабочих по 150—250 человек и больше, — предприятия, объединяющие в руках одного и того же владельца и механическое прядение, и *механическое ткачество*.

Мы должны теперь объяснить, почему же другой центр хлопчатобумажного производства во Франции в конце 30-х и в начале 40-х годов — Северный департамент и в частности Лилль — оказался «крепостью оппозиции».

Главная причина, предопределявшая «филантропию» эльзасцев и «эгоизм» фабрикантов из Северного департамента, заключалась, по нашему мнению, в том, что в Северном департаменте, кроме хлопчатобумажного производства, была сильно развита шерстопрядильная и *льнопрядильная* промышленность. Можно с точностью установить, что некоторые из членов лилльской торговой палаты занимались одновременно и хлопчатобумажным, и льнопрядильным производством.<sup>2</sup>

Между тем развитие фабричного способа производства в льнопрядильной промышленности происходит гораздо позже, чем в хлопчатобумажной; еще в 1836 г. во Франции в льнопрядильной промышленности было всего лишь 6 000 механических веретен; в 1840 — 25 000; но в 40-х и в 50-х годах механическое льнопрядение бурно развивается: в 1860 г. насчитывалось уже 502 000 механических веретен. И вот, не конкуренция «вообще», а конкуренция, возрастающая темпами, характерными для *Sturm und Drang*'а, заставляет в 1853 г. льнопрядильщика и члена палаты Дельсаля выступить с филантропическим предложением об уничтожении ночного труда.

Шерстяное производство революционизировалось также позднее, чем хлопчатобумажное, и, кроме того, как и в Англии,<sup>3</sup> самый переворот в шерстяной промышленности совершался во Франции хотя и не путем «эволюции», но все же не так круто, как, например, переворот в бумагопрядильном производстве.

<sup>1</sup> Над. арх. F<sup>12</sup> 4714, Vosges, префект — министру 9 января 1843 г.

<sup>2</sup> В протоколах, напечатанных в «Archives de la Chambre de Commerce de Lille» (т. I, II, III, IV, V), они фигурируют как члены палаты, в «Almanach du Commerce» — как промышленники.

<sup>3</sup> Ср. «хронологию» у Knowles: *The Industrial and Commercial Revolutions in Great Britain* (L. 1921), p. 16.

В шерстяной и суконной промышленности очень долго сохраняется применение *гидравлических* двигателей. Для середины и второй половины 30-х годов мы имели свидетельство Виллермэ. Посмотрим же, что представлял, например, департамент Арденн в начале 40-х годов. В округе Мезьер в 1842 г. была всего лишь одна прядильня с паровым двигателем; вообще же в этом округе насчитывалось 27 «*moteurs mécaniques*» (в различных предприятиях), но все эти «*moteurs*» были гидравлической силой. Число занятых детей (на одну шерстопрядильную фабрику) колеблется в пределах от 6 до 65 человек.<sup>1</sup> На многочисленных шерстопрядильных предприятиях в Седанском округе количество детей на каждой отдельной фабрике также незначительно: оно не превышает 45 человек и чаще меньше (иногда даже по 2 и по 3 человека, но чаще в пределах от 5 до 20 человек). Понятно, что в производстве камвольной шерсти в это время даже и сравнительно крупная фабрика в округе Вузье (всего 99 рабочих) работала на гидравлической двигательной силе.<sup>2</sup>

Шерстопрядильщики же из департамента Гарн прямо указывали, что применение гидравлического двигателя делает для них совершенно невозможным проведение тех преобразований, за которые боролись мюльгаузенские текстильщики. Здесь уместно вспомнить, что и в Англии в известный период именно фабриканты-шерстяники относились враждебно к закону о детском труде, нарушая закон чаще, чем бумагопрядильщики. Например, в 1834 г. в Глазго даже те промышленники, которые еще накануне работали по 14 часов, с одобрением отнеслись к введению 12-часового рабочего дня. Но некоторые шерстопрядильщики из района, обслуживавшего Ногрег'ом, жаловались на убыточность этой реформы. В западной части Англии, где, как это достоверно известно, еще и в 1833 г. было много фабрик с водяной двигательной силой, сокращение работы до 48 часов в неделю и обязательное обучение детей, по мнению фабрикантов, были равносильны обязательному увольнению с производства всех малолетних детей. Шерстопрядильщики же в 1836 г. уверяли контролера в том, что они не могут не пользоваться трудом малолетних детей ввиду ловкости их маленьких пальцев и низенького роста.

В шелковой промышленности различаются три производства: шелкомотальное, шелкокрутильное и шелкоткацкое.

Чтобы понять, почему изменялись взгляды Фюльширона, представлявшего в палатах не только интересы ткачества, но и «прядения», достаточно нескольких справок из экономической истории шелкового производства.

Средняя годовая продукция шелкомотальных фабрик в период 1831—1840 гг. равнялась 960 тысяч кг; в период же с 1841 по 1845 г.— 1500 тысяч кг, а с 1846 по 1852 г.— 2109 тысяч кг.<sup>3</sup> О росте шелкокрутильного

<sup>1</sup> Нац. арх. F<sup>12</sup> 4708, Ardennes, таблица предприятий, подчиненных закону 22 марта, при отношении префекта — министру от 13 июня 1842 г.

<sup>2</sup> Ibid., при отношении префекта — министру от 27 марта 1843 г.

<sup>3</sup> Reynier, La soie en Vivarais, p. 94.

производства можно судить по данным французского экспорта: в 1835 г. было вывезено 2 354 кг, в 1840 г.— 5 995 кг, в 1845 г.— 51 947 кг.<sup>1</sup> Что же касается шелкоткацкого производства и в частности Лиона как крупнейшего центра этой промышленности, то всего за восемь лет, с 1845 по 1853 г., производство возрастает почти на 100%: в 1845 г. в Лионе было кондицировано 1 444 982 кг, а в 1853 г.— 2 375 387 кг.<sup>2</sup>

\* \* \*

Как уже было отмечено выше, особое место в рядах промышленников-«филантропов» занимает Даниэль Ле-Гран, тоже принявший участие в агитации за законодательную охрану детского труда. Ле-Гран не был *фабрикантом*. Постараемся же хотя бы в беглых штрихах обрисовать те особенные условия, которыми определилась идеология Даниэля Ле-Грана, прославившегося не только в качестве филантропа-защитника детей во Франции, но и в качестве провозвестника *международного* рабочего законодательства. Теперь своевременно поближе познакомиться с этим «промышленником с Вогезских гор».

Так как из предисловия к новейшей большой работе о Ле-Гране мы узнаем (а это предисловие написано пресловутым Альбером Тома), что автора монографии—вышеназванного Раймонда Вейса—следует особенно благодарить за объяснение развития идеологии Ле-Грана данными его *биографии*, то послушаем же прежде всего, что говорит эта биография.

Даниэль Ле-Гран родился в Базеле 28 ноября 1783 г. Отдаленные предки его когда-то жили в Пикардии, но после отмены Нантского эдикта эмигрировали из Франции. Отец Даниэля Жан-Люк Ле-Гран, близкий друг Песталоцци, сам очень образованный человек, обучавшийся в Лейпцигском и Геттингенском университетах, был крупным политическим деятелем, особенно высоко поднявшимся после термидора, когда он сделался президентом педолговечной директории Гельветийской республики. Отстранившись затем от всякой политической жизни, отец Даниэля Ле-Грана занялся в Базеле ленточным производством. В это время проходят детские годы Даниэля, который, закончив свое образование к 17 годам, возвратился к отцу.<sup>3</sup> Но долго пожить в родном городе не удастся. Французская оккупация вынуждает Ле-Гранов переселиться. Вместе со своими рабочими они не надолго поселяются в Arlesheim, откуда в 1804 г. вся колония снова переезжает. На этот раз якорь брошен в эльзасской деревне Saint-Morand, в департаменте Нижнего Рейна, где Ле-Граны остаются вплоть до 1813 г. Кроме ленточного производства, Ле-Граны занимаются производством пряжи из шелковых очесов. Биограф Даниэля, признавая, что производство Ле-Гранов было «relativement importante pour l'époque», особенно подчеркивает «патриархальность» производства: рабочие,

<sup>1</sup> «Tableau décennal du commerce de la France» 1827 — 1836, 1837 — 1846.

<sup>2</sup> Нац. арх. F<sup>13</sup> 2390. Relevé statistique de la quantité de soie conditionnée à Lyon.

<sup>3</sup> Weiss, op. cit., p. 16.

квартировавшие в помещении одного заброшенного монастыря, столовались вместе с хозяином и членами его семьи. В 1810 г. Даниэль знакомится с семьей знаменитого протестантского пастора Оберлена, проживавшего, как известно, в Бан-де-ля-Роше. И вот в то время как старик Ле-Гран все еще остается верным приверженцем Вольтера и Руссо, Даниэль делается ревностным протестантским святошей, убеждающим своего отца скорее познакомиться с «патриархом из Бан-де-ля-Роша». Два года спустя, старик Ле-Гран послушался своего сына: поехал к Оберлену. Вейс сообщает нам, что, «как промышленник, Ле-Гран был только наполовину удовлетворен своим пребыванием в Saint-Morand»; и Ле-Гран «совершенно отчаялся найти там ту дополнительную рабочую силу, которая была ему необходима для того, чтобы выдержать конкуренцию соседних предприятий». Между тем, население в Бан-де-ля-Роше уже имело навыки к так называемой домашней промышленности. В двух километрах от дома Оберлена, в деревне Fouday, нашлось подходящее помещение. И вот, семья Ле-Гранов снова переселяется со всеми станками и с тем небольшим основным контингентом рабочих (12 семейств), который повсюду следовал за своими хозяевами в их скитаниях. Здесь-то, в Вогезских горах Ле-Граны и нашли прибежище на многие годы. Население окрестностей Fouday, обнищавшее вследствие быстрого развития в Эльзасе механического хлопчатобумажного производства, оправдало надежды Ле-Гранов, охотно восприняв от ле-грановских рабочих-переселенцев техническую выучку в новом деле: в производстве лент на так называемых «цюрихских станках». Рабочие-швейцарцы обладали исключительным умением пользоваться такими станками. Станки с успехом раздавались по хижинам, «et la prospérité de l'entreprise alla sans cesse en augmentant». <sup>1</sup> Управление делом все больше и больше сосредоточивается в руках Даниэля; значительную же часть своего свободного времени «промышленник с Вогезских гор» посвящает религиозной пропаганде: в религиозном воспитании он усматривал лучшее средство устранения социального неравенства. Даниэль Ле-Гран еще больше сближается с пастором Оберленом; в эпоху Реставрации оба они являются лидерами евангелической агитации, которая, однако же, не ссорит их с католическими епископами: настолько Оберлен и потомок гугенотов были «тактичны».

Биограф сообщает нам далее о женитьбе Даниэля на знатной Алисе Шефер (1819 г.), о знакомстве с Шлейермахером и... с баронессою Крюденер, о смерти влиятельного Оберлена (1826 г.), об июльской революции и «о смятении духа» у промышленника с Вогезских гор, который, по уверению Вейса, «ne redoute pas moins les abus de la répression que les excès de l'anarchie». <sup>2</sup>

В такой обстановке, уже после лионского восстания 1831 г., Даниэль Ле-Гран выступает со своим первым мемуаром—анонимной брошюрой на

<sup>1</sup> Weiss, op. cit., p. 26.

<sup>2</sup> Ibid., p. 28.



имя графа Монталивэ, министра внутренних дел.<sup>1</sup> Это было в 1832 г. Таким образом, период от 1832 по 1858 г. является для нас наиболее важным: за это время Ле-Гран не менее двенадцати раз печатает свои анонимные брошюры, начав с вопроса о воскресном и праздничном отдыхе, перейдя затем (с 1838 г.) к агитации в пользу ограничительного закона о детском труде и закончив (1840 — 1855 гг.) обращением к европейским правительствам с предложением о *международной* законодательной охране труда.<sup>2</sup> Между тем биограф Даниэля Ле-Грана как-раз об этом-то периоде 1832—1855 гг. и сообщает очень мало собственно-биографических подробностей. Упомянув о смерти Даниэля Ле-Грана (10 марта 1859 г.), Вейс переходит к подробному рассказу об «идеологической» эволюции своего героя: выступая так часто в печати, Ле-Гран не просто повторяет одни и те же идеи, но видоизменяет некоторые из своих первоначальных проектов. Что же дает анализ идейного наследия Ле-Грана и как в действительности идеология объясняется фактами самой биографии у Вейса? Вез большого труда биограф уславливает влияние Сисмонди,<sup>3</sup> констатирует резко отрицательное отношение Ле-Грана к *relaussytem*, признавая при этом, что борьба за охрану детского труда являлась для «промышленника с Вогезских гор» больше *средством*, чем целью;<sup>4</sup> наконец, цитируя известное письмо Ле-Грана к барону Дюпену, то письмо, где была высказана идея международного закона, воспрепятствующего *l'actien des moteurs mécaniques* более 12 часов в сутки, биограф никак не может сформулировать четкого определения идеологии своего героя. Истинный облик романтика и *реакционера* остается завуалированным. Отдельные же очень ценные биографические данные, прямо наталкивающие на материалистическую постановку вопроса, нисколько не помешали Альберу Тома установить из работы Вейса «два глубоких источника идей Ле-Грана» — «протестантский идеал и среднее производство»! Почему же «среднее» производство не развилось в большую фабрику? И если до 30-х годов XIX века процветание предприятия Ле-Гранов «*alla sans cesse en augmentant*», то как обстояло дело в период 1832—1858 гг.? Не экономическими ли условиями

<sup>1</sup> «Mémoire adressé d'une chaumière des Vosges à M. le Ministre de l'Intérieur. Réflexions sur la sanctification du septième jour de repos». Paris 1832.

<sup>2</sup> Предлагаемая статья была уже окончательно подготовлена к печати, когда Д. Б. Рызанов обратил мое внимание на книгу Н. Н. Кравченко «Идея международно-правовой регламентации фабричного труда в ее историческом развитии до Берлинской конференции 1890 года». (Томск 1913, 8°, стр. 272). Две главы этой работы посвящены целиком Даниэлю Ле-Грану. Рассматривая только ту часть названной книги, которая имеет отношение к вопросам, затронутым в нашей статье, следует отметить, что именно Н. Н. Кравченко уточнил вопрос о первом выступлении Даниэля Ле-Грана в пользу международно-правовой регламентации труда. Кравченко установил, что уже в декабре 1840 г. Ле-Гран обратился к правительству Германии и Швейцарии с предложением о *договоре* промышленных стран по вопросу об определении размеров рабочего дня. (См. назв. соч., стр. 30 и сл.) В работе Кравченко привлекается обширная библиография и обстоятельно рассматривается эволюция идей Ле-Грана. Но, к сожалению, нет постановки вопроса об экономических мотивах агитации Ле-Грана.

<sup>3</sup> Weiss, op. cit., p. 124.

<sup>4</sup> Ibid., p. 180.

определился и поворот Даниэля Ле-Грана к идее *международного* рабочего законодательства? Только на первый из наших вопросов мы находим смутный ответ у Вейса, и лишь самостоятельная разведка в области экономической истории того производства, которым занимался «промышленник с Вогезских гор», поможет разобраться и в остальных вопросах.

«Больше, конечно, чем всякий другой, Ле-Гран должен был оплакивать упразднение прежних способов прядения и ткачества, которые позволяли работникам разделять свой труд между мастерской и полем, сохраняя преимущества семейной жизни», — пишет Вейс и, цитируя брошюру Монье, наивно сообщает, что сам Ле-Гран «энергично отказывался» применять паровую двигательную силу, «чтобы сохранить семейный характер» своей промышленности! Но мог ли оборудовать настоящую фабрику «промышленник с Вогезских гор», не располагавший достаточным контингентом «свободных» рабочих? Очевидно, рабочую силу пришлось бы *выписывать* в Ван-де-ла-Рош на Вогезские горы. Все продать и покинуть Fouday? Но из «самой биографии» можно понять, что и этот шаг было не легко сделать той семье, которая уже несколько раз переселялась. Биограф к тому же упомянул, что брак благочестивого промышленника был очень плодовит.

Между тем с известного времени, поразительно совпадающего с несколько поздним началом литературной деятельности Ле-Грана (в 1832 г. ему было 49 лет), стала развиваться, хотя и не «из месяца в месяц», механизация ткачества, в частности же и фабричная механизация *ленточного* производства. Рассмотрим же некоторые данные из экономической истории этой промышленности.

Мы уже знаем, что станки, перевезенные в Fouday и розданные Ле-Гранами по хижинам обитателей Вогезских гор, были так называемые *métiers à la Zurichoise*. Лицемерие Ле-Грана и наивность его биографа явствуют уже из того, что в восхвалениях «старины», в гимнах прежним техническим способам производства промышленник-филантроп превозносил *простейшую ручную прялку* (*quenouille*),<sup>1</sup> между тем как сам он пользовался такими станками, которые, если еще и не были фабричными машинами, то все же представляли из себя значительно механизированные «рабочие инструменты». Эти станки были изобретены в Голландии и затем между 1660 и 1670 г. ввезены в Базель. Ткачи сначала протестовали против их применения, но с разрешения местного совета новый способ именно здесь стал быстро развиваться, между тем как в других кантонах, а также в Германии, в испанских Нидерландах и во Франции пользование новыми станками все еще воспрещалось. В 1726 г. и в Цюрихе воспрещение было отменено; вот почему вновь изобретенные станки и стали называться «*métiers à la Zurichoise*» или «*à la Bâloise*».<sup>2</sup>

И во Франции еще в XVII столетии некоторым ткачам удавалось со-

<sup>1</sup> Weiss, op. cit. p. 117: «Dans le conte «La mère de famille et le fileur»... Le Grand a décrit avec attendrissement les bienfaits de l'ancienne quenouille.»

<sup>2</sup> Ballot, L'Introduction du machinisme dans l'industrie française (P., 1923), p. 255.

орудить подобные же станки, «на которых один работник одновременно выделывал по 10 и по 12 штук лент», но эти ленты были конфискованы, а станки разбиты. В XVIII веке некоторые «фабриканты» из Сент-Этьенна и Сен-Шамона усердно пытались развить это «швейцарское» производство у себя дома, но большим препятствием было отсутствие квалифицированной рабочей силы: рабочих приходилось выписывать, и в общем производство оказывалось дорогим и невыгодным. Лишь в 70-х годах XVIII века наступает перелом, и в 1786 г. во Франции, в одной лишь области Forez и Velay, насчитывалось 1 600 станков «à la Zurichoise»<sup>1</sup> Это и был почти единственный район названного производства. Однако следует подчеркнуть, что почти на всех этих станках еще и при Наполеоне I производились лишь *одноцветные* ленты; производство «брошэ» и бархатных лент было гораздо более сложным, поэтому отнюдь не французы, а немцы (из Крефельда) и швейцарцы были хозяевами рынка этих лент: во Франции в 1811 г. насчитывалось во всем сент-этьеннском районе всего лишь около сотни станков для их производства.

Таким образом, во Франции еще и в первой трети XIX века ленточное производство, очень рано поднявшееся на ступень некоторой механизации в области *working-machine*, остается «домашней промышленностью», и там, где удастся эксплуатация рабочих-швейцарцев, это производство оказывается очень выгодным. Но вот как-раз в той самой части Франции, где проживал Ле-Гран, в Эльзасе (в Гебвиллере), в 1832 г. наследники *Wagü-Mérian* впервые оборудовали настоящую ленточную фабрику.<sup>2</sup> Заметим, что рабочие-швейцарцы, до 1832 г. работавшие у *Wagü-Mérian*, не захотели превратиться в фабричных рабочих и эмигрировали к себе на родину. Однако Гебвиллер был обеспечен рабочей силой, и эмигрантов удалось с выгодой заменить эльзасскими рабочими. Задача превращения «домашней промышленности» в фабрику была разрешена промышленником *Wagü* далеко не сразу, и лишь к началу 50-х годов XIX века другие эльзасские ленточники переняли новый способ производства. Вообще во Франции фабричный способ ленточного производства до 1850 г. еще плохо распространялся. Иначе шло развитие за границей, и если во Франции даже и во второй половине XIX века еще крепко держалась «домашняя» ленточная промышленность, то, напротив, в Швейцарии, в Базеле, в это время уже все ленточники — *фабриканты*.<sup>3</sup> Едва ли нужно настаивать на значении этих данных, как факторов идейной эволюции Ле-Грана. Совершенно понятно, что успех первого опыта организации фабричного ленточного производства в самом Эльзасе не мог не обеспокоить «промышленника с Вогезских гор».<sup>4</sup> Поиски различных

<sup>1</sup> *Gras*, Histoire de la rubanerie et des industries de la soie à Saint-Etienne et dans la région stéphanoise suivie d'un historique de la fabrique de lacets de St.-Chamond.

<sup>2</sup> *Gras*, Etudes statistiques sur l'industrie de l'Alsace, t. I, p. 218.

<sup>3</sup> *Gras*, op. cit., p. 364.

<sup>4</sup> По *Gras*, у еще за три года до оборудования ленточной фабрики в Эльзасе лионский промышленник де-Шазель основал первую во Франции ленточную фабрику с паровой двигательной силой, но это предприятие «ne put se soutenir» (*Grad*, op. cit., p. 363).

изобретателей, стремившихся усовершенствовать ленточное производство, не только не прекращались, но, напротив, все умножались; одно лишь перечисление изобретательских патентов, выданных во Франции с 1809 по 1850 г., занимает  $11\frac{1}{2}$  страниц убористого петита! С другой стороны, главная опасность конкуренции «домашнему» ленточному производству со стороны «автоматической фабрики» шла *из-за границы*. В начале 50-х годов, после Лондонской промышленной выставки, эти заграничные достижения становятся особенно широко известными. В частности же конкуренция одного лишь Базеля на французском внутреннем рынке в 50-е годы характеризуется следующими данными: в 1852 г. Базель продал во Францию 16 000 кг лент, в 1853 г.— 31 000 кг, в 1854 г.— 29 000 кг, в 1855 г.— 32 000 кг.<sup>1</sup>

Но ленточное производство — не единственный вид промышленной деятельности Ле-Грапа. Точную справку о нем, как о коммерсанте, дает прозаический «Торговый альманах». Вот что сообщается в нем о промышленности в Fouday.

*Фудэ, Ван-де-ля-Рош, департамент Нижнего Рейна.*<sup>2</sup>

1825 год. Производство лент из филозелы, шелка и бумаги: одноцветных, круазэ, сатиновых и «фасонэ»; двойной басон.

*Братья Легран.*

1840 год. Производство лент и *шнурков* из филозелы, шелка и бумаги: разноцветных, «фасонэ» и «а-дан»; подтяжки и бумажный басон для подтяжек.

*Братья Легран.*

То же самое производство было и в 1846 г. Шелковую пряжу, новидому, обрабатывали уже только для себя, как необходимый полуфабрикат. Вопреки неверному утверждению Альбера Тома, можно сказать, что Ле-Гран не был «шелкопрядильщиком», точнее — перестал заниматься продажей шелковой пряжи к 30—40-м годам XIX века. Причины этой «эволюции» вполне понятны: в 30-х и 40-х годах в шелкомотальном производстве во Франции произошел промышленный переворот.<sup>3</sup> Жесточайшая эксплуатация детского труда лежала в основе того успеха, с которым развивалось механическое шелкопрядение, и поэтому без труда можно согласиться с Вейсом, что для Ле-Грана борьба за ограничение детского труда «была больше средством, чем целью»!

Что касается *производства шнурков*, то в первой части статьи цитировалось показание о положении детского труда в этой промышленности. Нам остается лишь справиться, когда же и здесь появляется фабричный способ производства. Прежде всего заметим, что и фабрикация шнурков, подобно производству лент, даже в системе так называемой «домашней

<sup>1</sup> *Gras*, op. cit., p. 491.

<sup>2</sup> *Almanach-Bottin*, 1825, 1840, и 1846.

<sup>3</sup> «*История-марксизм*», т. XII, ст. «Переворот в шелкопрядильном производстве».

промышленности» велась вовсе не на примитивных «патриархальных» станках типа *quenouille*: механизация «рабочего инструмента» и здесь была уже развита. Даже на старых шнурковых станках, знакомых еще Франции старого режима, можно было производить сразу от 9 до 25 шнурков,<sup>1</sup> а в 1816 г. в Лионе впервые стали применять и паровую двигательную силу в этом производстве. В 1818 г. небольшая паровая машина устанавливается на предприятии Розе в Сен-Шамоне. В той же области и в том же производстве еще одна паровая машина появляется в 1828 г., наконец еще две машины — в 1833 г. С этого времени «производство шнурков... незамедлительно усваивает применение паровой машины», делаясь настоящим крупным производством.<sup>2</sup> Таким образом, в этой отрасли производства опасным для Ле-Грана было развитие конкуренции на *внутреннем* рынке.

Итак, поскольку наш небольшой историко-экономический экскурс убеждает нас в том, что именно в 30-х и 40-х годах XIX века в коммерческих делах «промышленника с Вогезских гор» создается все более и более угрожающая промышленная конъюнктура, мы приходим к выводу, что не «протестантский идеал», а падающее в своем развитии «среднее производство» побудило 49-летнего (в 1837—1838 гг. 54-летнего) Ле-Грана выступить в качестве филантропа.

Мы подошли к заключительной части нашей работы. Прежде чем подвести итоги, хотелось бы резко подчеркнуть, что в рамках этого этюда отнюдь не ставилась задача дать полную историю закона 22 марта 1841 г. Чтобы расчистить путь для исчерпывающего марксистского исследования, необходимо было подробно изучить роль фабрикантов-«филантропов» в агитации в пользу закона. Мы видели, какое важное значение в истории всех «филантропических» выступлений приобретало развитие конкуренции. Но можно ли одним только этим стимулом всецело объяснять поведение фабрикантов, можно ли при исчерпывающем исследовании истории закона элиминировать значение всех остальных факторов? Конечно нет. Маркс был глубоко прав, когда писал об Англии, что, *«не говоря уже о нарастающем рабочем движении, с каждым днем все более грозном, ограничение фабричного труда было продиктовано той же самой необходимостью, которая заставила выливать гуано на английские поля. То же слепое хищничество, которое в одном случае истощало землю, в другом случае в корне подрывало жизненную силу нации. Периодически повторявшиеся эпидемии говорили здесь так же вразумительно, как уменьшение роста солдат в Германии и во Франции»*.<sup>3</sup>

Мы уже видели, как прозрачно намекали капиталисты-«филантропы» на возможность «*révoltes*», «извержений вулкана» и т. п. Несомненно, что Ле-Гран свою первую брошюру писал также и под влиянием лионского

<sup>1</sup> *Ballot*, op. cit., p. 259.

<sup>2</sup> *Gras*, op. cit., p. 710.

<sup>3</sup> *Маркс*, Капитал, т. I, стр. 210.

восстания в 1831 г. Еще более «назидательными» были уроки рабочего движения в 40-е годы. Что же касается «слепого хищничества», то его общая картина была достаточно показана в первой части нашей работы. Здесь уместно лишь показать, как цинично пользовались «аргументом к гуано» во время парламентских дебатов. Например, барон Мунье, обращаясь к оппозиционно-настроенным депутатам, говорил: «В некотором роде вы находитесь в положении того человека, который исчисляет продукцию машины и рассуждает так: при чрезмерной перегрузке механизма моей машины я ее скорее потеряю, но зато прибыль, которую я получу от машины, компенсирует ее недолговечность» Так вот, «*quand l'entraînement de telles circonstances s'applique à l'emploi des enfants*», т. е. когда методы слепого хищничества применяются к эксплуатации детского труда, то «могут последовать плачевные результаты». <sup>1</sup>

Если мы и не смогли изложить здесь «полную» историю закона 22 марта 1841 г., то, думается, нам все же удалось покончить с идеалистической легендой, созданной в литературе вопроса. В самом деле, социально-экономическое исследование некоторых важнейших проблем привело нас к следующим выводам:

1) Инициативные выступления (как отдельных лиц, так и организаций) в пользу ограничения детского труда, т. е. все публичные высказывания в докладах, брошюрах, журналах, петициях и т. п., были периодическими. Периодичность же подобных выступлений совпадала с периодичностью промышленных кризисов и промышленных депрессий, т. е. таких моментов, когда невыгоды, проистекающие из анархии производства и необузданной конкуренции, сознавались промышленниками отчетливее, чем во всякое другое время.

2) В тексте различных литературных выступлений в пользу ограничительного закона не только наряду с мотивами «любви к ближнему», но чаще *раньше всего* отмечается слишком быстрый темп промышленного развития, порождающего перепроизводство.

3) Фабриканты-инициаторы законодательного ограничения детского рабочего дня и фабриканты, выполняющие некоторые из статей закона, в подавляющем большинстве случаев крупные, а не мелкие предприниматели. Но не все вообще крупные фабриканты сразу присоединяются к борьбе за ограничение детского рабочего дня. Существует определенная последовательность переходов от отрицательного отношения и противодействия агитации в пользу закона к фазису совместных выступлений за ограничительное законодательство.

4) Последовательность отмеченных переходов есть в то же время последовательность развивающегося промышленного переворота. Вначале выступают крупные фабриканты-*бумагопрядильщики*, обладающие уже к началу борьбы не гидравлической, а паровой двигательной силой. В этот

<sup>1</sup> «Moniteur», 1840, p. 429.

период даже и многие крупные фабриканты, как, например, владельцы шерстопрядилен, шелкомотальных, шелкокрутильных и льнопрядильных фабрик, выступают против законопроекта. Позднее же, чаще всего на ступени более совершенного технического оборудования (паровая двигательная сила), *крупные* предприниматели и в этих отраслях присоединяются к агитации в пользу закона. «Эгоисты» превращаются в «филантропов». Но рядом с капиталистами, уже «нагулявшими себе щеки», появляются все новые и новые кадры начинающих «эгоистов». И таким образом изучаемое движение противоречий лишь в результате воздействия самого рабочего класса приводит к действительно соблюдаемым законам об охране труда.

5) Участие же некрупного промышленника-мануфактуриста Даниэля Ле-Грана и его роль как «провозвестника международного рабочего законодательства» объясняются комплексом своеобразных экономических условий, от которых зависело материальное благополучие фирмы Ле-Гранов. Изучение истории выступлений «промышленника с Вогезских гор» лишний раз убеждает в сложности движения в пользу закона: блок самых различных и даже враждебных элементов оказывался возможным (по крайней мере по некоторым вопросам). «Романтики» Ле-Граны, как и французские «тории», присоединяют свои голоса к хору промышленников-«филантропов». Но их голоса не смешиваются: у каждого — своя партия, четко определяющаяся классовыми интересами.

*Ф. Потемкин.*

ОТДЕЛ ВТОРОЙ

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДСТВА  
К. МАРКСА и Ф. ЭНГЕЛЬСА



- К. МАРКС и Ф. ЭНГЕЛЬС. Великие люди эмиграции. С вступительной  
статьей Э. Цоеля.
- К. МАРКС. Критические замечания о книге Адольфа Вагнера. С пре-  
дисловием Д. Рязанова.

# ВЕЛИКИЕ ЛЮДИ ЭМИГРАЦИИ

## ПАМФЛЕТ МАРКСА И ЭНГЕЛЬСА ПРОТИВ ЛИДЕРОВ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ЭМИГРАЦИИ (1852)

### ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ

I. «Утраченная» и вновь обретенная рукопись. — II. Стратегическая концепция Маркса на другой день после поражения революции: борьба против правительственной партии будущего, против мелкобуржуазной демократии, борьба за самостоятельность рабочей партии. — III. Союз коммунистов и демократическая эмиграция в Лондоне до «фактического» роспуска Союза в середине 1851 г. — IV. «Великолепие и убожество» лондонской демократической эмиграции. Попытки объединения. Отношения с союзом Виллиха-Шаппера. «Центральный комитет европейской демократии». «Немецкий эмигрантский клуб». «Немецкий агитационный союз». Немецкий революционный заем. Немецкий революционный фонд. — V. Маркс, Энгельс и «великие» люди эмиграции «после «фактического» роспуска Союза коммунистов. — VI. Иоганн Баниа, начальник полиции «in partibus infidelium». Отношения Маркса с Баниа до апреля 1852 г. «Солидное» предложение. — VII. История написания памфлета. — VIII. Подозрительные задержки и проволочки. Маркс между надеждой и унынием. В сетях шпика. — IX. «Публичное разоблачение». «Жертва шпионской системы». — X. Некоторые позднейшие отголоски старого дела. — XI. «Великие люди эмиграции» как исторический документ.

### I

Памфлет Маркса и Энгельса против «великих людей эмиграции», т. е. против наиболее видных и крикливых главарей мелкобуржуазно-демократических эмигрантских кругов, публикуемый здесь впервые (с рукописи), относится к 1852 г. На немецком языке он до сих пор еще не был напечатан. Факт написания Марксом и Энгельсом этого памфлета оставался до последнего времени почти совершенно неизвестным. Меринг, главный представитель биографического марксведения довоенной поры, знал об этом факте, но не упоминает о нем в своей биографии Маркса ни единым словом. В более ранних работах он затрагивает эту тему дважды. В 1902 г. он высказывает, по поводу одного места из письма Лассаля к Марксу от 24 июня 1852 г., *предположение*, что Маркс и Энгельс написали «брошюру против Руге и Кинкеля».<sup>1</sup> Лет пять спустя, издавая выдержки из собранных

<sup>1</sup> «Aus dem literarischen Nachlass von Karl Marx, Friedrich Engels und Ferdinand Lassalle». Hrsg. von Franz Mehring. Stuttgart, 1902, т. IV, стр. 60.

Ф. А. Зорге писем Маркса и Энгельса к их очутившемуся в Америке другу и соратнику Иосифу Вейдемейеру, Меринг писал:

«В связи с кельнским процессом коммунистов эмигрантские распри, не прекращавшиеся все это время, вспыхнули снова ярким пламенем. В 1852 г. Маркс и Энгельс совместно работали над памфлетом против враждебных им эмигрантов; его заглавие, «Die grossen Männer des Exils», неоднократно встречается в переписке с Вейдемейером. Энгельс возлагал большие надежды на впечатление от этой новой работы, но, как известно, она так и не появилась в печати. Вероятно, рукопись именно этого сочинения, порученная авторами венгерскому беженцу Баниа для передачи ее какому-нибудь немецкому издателю, и была препровождена этим Баниа в руки одного из немецких правительств.<sup>1</sup>

В 1922 г. Густав Майер, переиздавая письма Лассаля к Марксу (вместе с найденными им письмами Маркса к Лассалю), сделал следующее примечание к упомянутому уже месту в письме Лассаля, где говорится про работу «о grands hommes Кинкеле, Руге и т. д.», написанную Марксом по сообщению Дронке, совместно с этим последним:

«Рукопись этого сочинения утрачена. Маркс предполагал, что венгерский эмигрант Баниа препроводил ее в руки прусской полиции».<sup>2</sup>

Вот и все, что было известно марксведению о нашем памфлете до самого последнего времени. Что рукопись памфлета пропала по вине венгерского эмигранта Баниа, Меринг и Майер решили на основании одного замечания самого Маркса, который в своем «Господине Фогте», разоблачая шпиона Баниа, бывшего доверенным лицом Кошута, между прочим сообщает, что рукопись, порученная ему им, Марксом, «для передачи какому-нибудь берлинскому издателю, была им перехвачена и препровождена в руки одного из германских правительств».<sup>3</sup> Это замечание, которое не заключает в себе ни слова о содержании рукописи и находится к тому же в одном сочинении Маркса от 1860 г., давно ставшем чрезвычайной редкостью и переизданном лишь несколько лет тому назад, тоже не могло способствовать привлечению внимания к забытому памфлету.

Тем не менее, история его происхождения и его существование должны были бы стать известными уже несколько десятилетий тому назад, если бы главный душеприказчик литературного наследия Маркса и Энгельса, Эдуард Бернштейн, не постарался искусственно воспрепятствовать этому с усердием, достойным лучшей цели. В самом деле, в своей переписке от 1852 г. Маркс и Энгельс подробнейшим образом обсуждают план и содержание, а впоследствии судьбы, этого сочинения и в особенности роль Баниа. Но в бернштейновском издании переписки обо всем этом нет ни слова. Имя

<sup>1</sup> *Franz Mehring*, Neue Beiträge zur Biographie von Karl Marx und Friedrich Engels. «Die Neue Zeit», Jg. XXV, B. 2. (1907), S. 162. — Перепечатано в сериал «Aus der Waffenkammer des Sozialismus». Frankfurt, 1907, S. 55. <sup>2</sup> *Ferdinand Lassalle*, Nachgelassene Briefe und Schriften. Hrsg. von G. Mayer. Stuttgart, B. III, «Der Briefwechsel zwischen Lassalle und Marx... 1922, стр. 52. <sup>3</sup> *Karl Marx*. Herr Vogt. Лондон, 1860, стр. 124.

«Баниа» в нем не встречается вовсе. Бернштейн считал своим долгом вытравить из переписки все следы этого инцидента. И теперь, когда из полного текста переписки, изданного Рязановым, и из его предисловий мы знаем методологические принципы, которых придерживался Бернштейн, «очищая» переписку, мы можем констатировать, что Бернштейн остался вполне верен себе и своему редакторскому методу, сочтя все это дело за нечто весьма компрометирующее и решив набросить на него покров забвения. Он всячески стремился затушевать ту ожесточенную, беспощадную борьбу, которую Маркс и Энгельс вели против мелкобуржуазной демократии, когда дело шло о создании чисто пролетарско-коммунистической партии. И вот обнаруживается, что Маркс и Энгельс задумали выступить с памфлетом, следовательно публично, против вождей демократической эмиграции, против обреченных на изгнание жертв контр-революции, против таких мужей, как Руге и Кинкель, стяжавших себе столь громкую славу в истории буржуазного радикализма! То, что Маркс и Энгельс были готовы публично «кошеть-мочеть» (как представлялось Бернштейну) таких людей, было печальным эпизодом в их деятельности, прискорбной ошибкой, о которой нужно забыть. И к тому же эта неприличная связь с венгерским эмигрантом Баниа! В период издания переписки Бернштейн, как известно, относился уже к Марксу в высшей степени «критически», и «недоверчиво». Весьма возможно, что он даже вовсе не верил в то, в чем Маркс был убежден, именно, что венгерский беженец находится на содержании у какого-нибудь контр-революционного правительства. Ведь Маркс не подтвердил это никакими документальными данными, и Бернштейн легко мог прийти к выводу, что он имеет здесь дело с легкомысленным «клеветническим» утверждением Маркса и что эта мнимая «клевета» должна быть изъята из переписки. Или, быть может, Баниа был действительно шпионом? В таком случае интимная связь Маркса с таким субъектом является в высшей степени компрометирующей, и в интересах «благоразумия» ее надо предать забвению.

Если бы Бернштейн не издал в 1913 г. «очищенного» текста переписки, то подробные указания, имеющиеся в полном тексте писем, наверное дали бы марксоведам сильный толчок к розыскам пропавшей рукописи. Но ни о чем Бернштейн не думал так мало, как о содействии подобным исследованиям. Если он считал целесообразным набросить на все это дело покров забвения, то он не был заинтересован и в том, чтобы облегчить отыскание рукописи. Он был, наоборот, крайне заинтересован в том, чтобы нескромные люди, исследователи, желавшие познакомиться и познакомить публику с каждой строчкой, а тем более с целым еще не известным сочинением Маркса и Энгельса, примирились с мыслью, что данная рукопись потеряна безвозвратно. И действительно, Меринг и Майер, как мы видели, оба считали рукопись погибшей, ни один из них и не думал тратить усилия на ее разыскивание, хотя они могли бы найти ее без особого труда, ибо какова бы ни была судьба копии, переданной Баниа, самый подлинник рукописи находился не у кого иного, как у того же Эдуарда Бернштейна.

Как известно, часть литературного наследия и писем Маркса и Энгельса, особенно последнего, оставалась еще много лет после передачи главной массы их бумаг в архив германской социал-демократической партии в руках Бернштейна. С количественной стороны эта часть была сравнительно не очень велика, но тем значительнее была она по своему качеству. Кроме «переписки» в нее входили прежде всего «Немецкая идеология» и «Диалектика природы». Эти хранившиеся у него рукописи Бернштейн собирался опубликовать сам, и частично он это намерение действительно выполнил — как, это нас сейчас не интересует. Но была у него одна рукопись, которую он выделил и оставил у себя не для того, чтобы опубликовать ее самому, а, наоборот, для того чтобы не дать ей появиться в печати: это была рукопись о «великих людях эмиграции».

Вместе с остальными хранившимися у Бернштейна бумагами Маркса и Энгельса и эта рукопись была лишь по инициативе Д. Рязанова, согласно письменному соглашению от конца 1924 г., передана в архив германской социал-демократической партии, где с нее, как и со всего остального литературного наследия первоучителей научного социализма, в течение 1925 г. были изготовлены фотографические снимки для Института К. Маркса и Ф. Энгельса. Когда в прошлом году Рязанов выпустил первый том переписки между Марксом и Энгельсом, он не только отметил в своем введении многочисленные места (выключенные Бернштейном в 1913 г.) с указанием об условиях возникновения нашего памфлета, но и дал, на основе знакомства с его полным текстом, характеристику его содержания.<sup>1</sup>

Мы постараемся в дальнейшем, опираясь на опубликованный теперь полный текст переписки Маркса и Энгельса, составляющей главный источник для изучения разбираемого вопроса, и обращаясь к некоторым другим письмам, которые находятся среди оставшихся бумаг Маркса и Энгельса, дать общий очерк истории происхождения нашего памфлета. Но прежде чем приступить к этой задаче, мы должны вкратце напомнить о некоторых моментах из истории первых лет эмигрантской жизни Маркса и Энгельса в Англии.

## II

23 августа 1849 г. Маркс, которого французское правительство хотело выслать в Морбиган, в «понтийские болота Бретани»,<sup>2</sup> покинул Париж и в ожидании самого скорого подъема революционной волны, с широкими политическими и публицистическими планами в голове, переселился в Лондон. В течение нескольких месяцев он играл там, вместе с Энгельсом, последовавшим за ним в начале ноября признанную руководящую роль среди живших в Лондоне многочисленных немецких рабочих и вначале еще не

<sup>1</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, том XXI (1929), стр. XV — XVI. Несколько подробнее в введении к Marx-Engels Gesamtausgabe, 3. Abteilung, Bd. I. (1929) — S.: XXVIII—XXX.

<sup>2</sup> Маркс — Энгельсу, Париж, 23 августа 1849 г.

очень многочисленных немецких беженцев. Приехав в Лондон, он увидел, что тамошний Центральный комитет Союза коммунистов успел воссоздаться из обломков и возобновить связи с германскими кругами Союза, разгромленными или заглохшими во время революции, но уже более или менее восстановившимися к осени 1849 г.<sup>1</sup> Он становится председателем Центрального комитета.<sup>2</sup> Он принимает активнейшее участие в организации помощи беженцам. 18 сентября лондонский коммунистический союз рабочего просвещения избирает на открытом митинге Социал-демократический комитет беженцев в составе пяти членов, выпустивший 20 сентября свое первое воззвание. Маркс входит в этот комитет, находящийся под руководством Центрального комитета. Он возобновляет свои связи с Гарни и Джонсом, вождями радикального крыла чартистов. 31 декабря он принимает участие — вместе с приехавшим тем временем в Лондон Энгельсом и Виллихом, которые были выбраны в Центральный комитет Союза, — в одном банкете «братских демократов» (международной организации чартистов). Он подготавливает издание немецкого журнала, два выпуска которого вышли в начале марта 1850 г., несмотря на огромные материальные и организационные затруднения. Журнал назывался «Новая рейнская газета», подобно издававшейся Марксом в Кельне большой революционной газете, но его подзаголовок гласил не «орган демократии», как в Кельне, а «политико-экономическое обозрение»: новый орган обращался уже не ко всей «демократии», как его предшественник, он уже не собирался быть представителем радикального крыла *внутри* германского демократического движения, — он должен был стать теоретическим боевым органом той партии, организацию которой Маркс и Энгельс поставили себе в Лондоне как ближайшую и важнейшую задачу, — *самостоятельной* рабочей партии, германской коммунистической партии, вооружающей немецкий пролетариат для надвигающихся новых революционных битв уже не под знаменем демократии, а под своим *собственным*, коммунистическим знаменем.

Маркс и Энгельс ждали взрыва новой революции в ближайшем будущем. Во всех важнейших странах они видели назревание внутренних и внешних конфликтов, которые неминуемо должны были привести к революционным восстаниям, к европейской войне. Положительный революционный итог переворотов 1848 — 1849 гг. они усматривали в усилении и заострении классовых противоречий, в образовании сплоченной и могущественной контр-революции, в борьбе с которой партия противников существующего строя впервые созревала в подлинно революционную партию. Почва контр-революции представлялась им не устойчивой, а революционной почвой, контр-революционные правления — питомниками революции.<sup>3</sup> Германия, думали

<sup>1</sup> Ср. *K. Marx*, Herr Vogt, Лондон, 1860, стр. 35. <sup>2</sup> *K. Marx*, Der Ritter vom edelmütigen Bewusstsein, New York, 1853, S. 4; по-русски: *К. Маркс и Ф. Энгельс*, Сочинения. т. VIII (1930 г.), стр. 562. <sup>3</sup> Ср. письмо Маркса Энгельсу от 17 августа 1849 г.; *Маркс*, Классовая борьба во Франции (особенно введение и заключение); «Обзоры» от 31 января 1850 г. и от апреля — мая 1850 г. в «Обзрении Новой рейнской газеты».

они, тоже находится накануне новой революции. Но эта новая революция начнется не с господства либерально-конституционной крупной буржуазии, готовой на компромиссы со старым режимом, а прямо приведет к власти мелкую буржуазию, которая опрокинет феодальный класс и поставится подчинить пролетариат своему господству.

Главная задача коммунистической партии заключается, стало быть, не в том, чтобы, как в 1848 г., призывать пролетариат к поддержке и углублению демократической революции, а в том, чтобы мобилизовать его на борьбу с господствующим классом завтрашнего дня, с мелкой буржуазией, чтобы добиваться перерастания предстоящей демократической революции в пролетарскую. Поэтому восстановленная коммунистическая партия, руководительница нового пролетарского движения, должна теперь же вполне освободиться, идеологически и организационно, от всякого мелкобуржуазного демократического влияния; она ни в коем случае не должна идти за мелкой буржуазией, она должна самым решительным образом отвергнуть всякий союз с ней, несмотря на ее социал-демократическую фразеологию, и выступить с самого начала как самостоятельная, независимая сила, всегда действующая, тайно ли или открыто, под своим собственным знаменем. Борьба против мелкобуржуазной демократии, создание независимой, самостоятельной организации и массовое движение — таковы были лозунги, под которыми Маркс и Энгельс возобновили в Лондоне свою организационную и публицистическую работу.<sup>1</sup>

### III

Ясно само собой, что эта политика привела к ожесточенным конфликтам между Марксом-Энгельсом, с одной стороны, и действовавшими в эмиграции представителями и сторонниками мелкобуржуазной демократии — с другой. Старания Маркса и Энгельса восстановить Союз коммунистов на континенте, расширить и укрепить сеть его организаций в континентальной Европе и прежде всего, разумеется, в Германии, словом — создать коммунистическую партию (ввиду тогдашних условий — нелегальную) были неотделимы от борьбы с теми представителями мелкобуржуазной демократии, которые, подобно Марксу и Энгельсу, тоже хотели руководить из Лондона демократическим движением Германии и тоже стремились завоевать влияние среди многочисленной и одно время все возрастающей лондонской эмиграции, равно как и среди живших в Лондоне многочисленных немецких рабочих, чтобы обеспечить себе опорный пункт для развертывания организационной и пропагандистской работы.

Около полугода Маркс и Энгельс занимали господствующее положение в кругах лондонской эмиграции. В это время среди немецких беженцев преобладали рабочие; новые элементы, приток которых еще не принял мас-

<sup>1</sup> Ср. составленное Марксом и Энгельсом первое обращение лондонского Центрального комитета Союза коммунистов (март 1850).

сового характера, включались главным образом в старый лондонский Рабочий просветительный союз; связи с чартистами и французскими бланкистами сделались теснее. Организацией помощи беженцам полновластно руководил до весны 1850 г. Социал-демократический комитет беженцев: теоретический орган партии, «Обозрение Новой рейнской газеты», выпустил до мая 1850 г. четыре номера. Посредством посылки эмиссаров и оживленной переписки удалось снова поднять на ноги общины Союза во многих городах Германии, и в мае уже был поставлен вопрос о созыве союзного съезда.<sup>1</sup> В устной и письменной пропагандистской работе, в обращениях Центрального комитета Союза и в теоретическом органе партии подчеркивание самостоятельности и независимости рабочей партии неразрывно связывалось с самой решительной полемикой против мелкобуржуазной демократии. Свое наиболее заостренное теоретическое и тактическое выражение эта борьба нашла в мартовском обращении, а практически наиболее действенное выражение — в IV выпуске «Обозрения»,<sup>2</sup> в статье против Кинкеля, против превзошедшего всякую меру культа, предметом которого стал, после замены ему смертной казни заключением в крепости, этот революционный демократ и республиканец, провозгласивший в своей защитительной речи перед военным судом «ура» гогенцоллернской монархии.

А между тем реакция в Бельгии, Франции и Швейцарии гнала в Лондон все новые толпы беженцев, среди которых все больше начинали преобладать мелкобуржуазные элементы. К началу 1850 г. относятся первые попытки некоторых лидеров демократической эмиграции — Рудольфа Шрамма, Струве, Гейнца и др. — объединить всех беженцев под демократическим руководством. В феврале 1850 г. Гейнцен выпускает листовку «Программа германской революционной партии». В конце апреля они сделали в особом «циркулярном послании всем друзьям немецкой политической эмиграции» вылазку против Социал-демократического комитета беженцев, который они в то же время в газетных заметках открыто обвиняли от имени «Комитета немецкого общества беженцев»<sup>3</sup> в партийном пристрастии. Вдохновителем этого выступления, целью которого было вырвать дело помощи беженцам из рук коммунистов, явился Арнольд Руге, связавшийся в это время с организованным Мадзини Центральным комитетом европейской демократии, в который он входил как представитель Германии наряду с Мадзини, Ледрю-Ролленом и Дарашем. Начиная с июля 1850 г. его имя фигурировало под всеми, преисполненными гуманитарной и националистической фразеологии, воззваниями и манифестами Центрального комитета, которые появлялись в органе комитета «La voix du proscrit» и перепечатывались многими газетами.

<sup>1</sup> Ср. второе обращение Центрального комитета от начала июня 1850 г.;

<sup>2</sup> Вышел во второй половине мая 1850 г. Ср. введение Рязанова к VIII тому Сочинений Маркса и Энгельса, 1930 г., стр. XII.

<sup>3</sup> За подписью Г. Струве, Фр. Бобцина, Г. Освальда, М. Кюнгейма, Ф. Грюниха, Э. Резенблума. — Ср. «Abendpost», № 111 от 16 мая 1850 г.



Пока Центральный комитет Союза коммунистов представлял собой сплоченное единство и пока, следовательно, лондонские немецкие рабочие имели единое руководство, этот поход мелкобуржуазной демократии не оказывал в организационном отношении разлагающего действия на коммунистическое движение. Но с середины 1850 г. во взглядах Маркса и Энгельса на политическую ситуацию наступил резкий перелом. Они считали, что революционный взрыв сможет произойти только в результате нового экономического кризиса. В мае они еще ждали общего хозяйственного кризиса в Англии, который превзойдет размерами все предшествовавшие и охватит с одинаковой силой промышленность, торговлю и сельское хозяйство. Однако кризис не наступал: уже замеченное ими в мае, но истолкованное тогда как нечто скоропреходящее хозяйственное оживление продолжалось (оно было признано и официально законом от 6 сентября 1850 г., уполномочивавшим Английский банк возобновить платежи наличными деньгами), и это вызвало резкий перелом в их оценке существующего положения.

Перелом этот совпал, как мы видели, по времени с началом повышенной активности в кругах мелкобуржуазно-демократической эмиграции, которая как раз в этот момент стала возрастать. Ясно, что при таких условиях антагонизм между Марксом-Энгельсом и мелкобуржуазной демократией должен был обостриться еще больше и что с точки зрения Маркса и Энгельса стало еще гораздо необходимее утверждать самостоятельность коммунистической партии, пролетарского движения, посреди хоть и не очень интенсивной, но все громче возвышавшей свой голос демократической агитации, перед лицом широко рекламируемых демократических жестов временных будущих правительств и национальных комитетов, выраставших, как грибы, среди заброшенных в Лондон бывших парламентских депутатов, радикальных журналистов и клубистов. Однако в лондонском отделении Союза коммунистов и среди пролетарских беженцев в Лондоне преобладало настроение, обратное тому, которого добивались Маркс и Энгельс. Правда, в Центральном комитете Союза Маркс привлек большинство на свою сторону, но в Рабочем просветительном союзе большинство, руководимое Виллихом и переселившимся в июле 1850 г. в Лондон Шаппером, высказалось против Маркса. Нельзя сказать, чтобы вся пролетарская беженская колония Лондона перешла целиком на сторону мелкобуржуазной демократии, но так как под руководством Виллиха и Шаппера она все еще продолжала верить в непосредственную близость революционного взрыва, то это создавало почву для совместных выступлений. Виллих высказывался еще до происшедшего в середине сентября раскола Центрального комитета за сближение с демократами (он предложил принять приглашение на одно собрание демократов),<sup>1</sup> а после раскола он и Шаппер открыто принимали участие не

<sup>1</sup> Ср. *Karl Marx, Der Ritter vom edelmütigen Bewusstsein*. New-York, 1853, S. 4 (по-русски: *Карл Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения*, т. VIII, стр. 563); *K. Marx, Herr Vogt*, S. 36.

только персонально, но и как представители оставшихся под их руководством организаций Союза коммунистов, в целом ряде демократических манифестаций и выступлений.

Пока Маркс и Энгельс, хотя и не ждавшие уже взрыва новой революции со дня на день, но все еще уверенные в том, что через несколько лет разразится новый экономический кризис, а вслед за ним и новая революция, работали над сохранением тех общин Союза, которые остались верны им или находившемуся под их влиянием новому Центральному комитету в Кельне, стараясь упорной агитационной и организационной работой укрепить их до нового взрыва революции, — в это самое время виллик-шапперовский союз, крупнейшие общины которого находились, кроме Лондона, в Париже и во многих швейцарских городах, продолжал вместе с французскими бланкистами (во главе которых стояли Адам, Видиль, Бартеlemi и Ландольф) свою агитацию за немедленный «удар». Частью совместно с демократами, частью самостоятельно они устраивали демонстрации, митинги и издавали манифесты, в которых излагались фантастические соображения о надвигающемся военном конфликте между революционными и контр-революционными силами. <sup>1</sup> 11 февраля 1851 г. Шаппер председательствовал на митинге памяти Бема в Tottenham Court Road, организованном Рабочим союзом вместе с Луи Бланом и с Таузенау, доверенным лицом Руге. <sup>2</sup> На состоявшемся 24 февраля 1851 г. лево-демократическом «банкете равных» (banquet d'égaux) Виллик занимал председательское место. <sup>3</sup>

Маркс и Энгельс, бывшие еще до середины 1850 г. безусловными господами положения в лондонской эмиграции, оказались осенью 1850 г., особенно после раскола Центрального комитета, почти совершенно изолированными среди лондонских эмигрантов. Из Рабочего союза они были исключены. Их связи с французскими пролетарскими беженцами порвались. Из чартистских лидеров Гарни оказался ненадежным соратником, принявшим участие и в митинге памяти Бема, и в «банкете равных». Все попытки Маркса сохранить в живых или воскресить «Обозрение», последний выпуск которого вышел в ноябре 1850 г., оставались безуспешными. С ноября 1850 г. Маркс остался в Лондоне и без Энгельса, который переселился в это время в Манчестер.

Круг лиц, с которыми Маркс встречался в Лондоне, ограничивался

---

Вот что пишет об этом Виллик в 1853 г.: «Первое разногласие между Марксом и мною возникло тогда, когда находившиеся в Лондоне революционеры, игравшие более или менее крупную роль, прислали нам приглашение на одно собрание. Я был за то, чтобы принять это приглашение...» («New-Yorker Criminal-Zeitung» от 28 октября 1853 г.).

<sup>1</sup> О манифесте от 16 ноября 1850 г. «Aux démocrates de toutes les nations», подписанном лидерами виллик-шапперовской фракции, лидерами бланкистов, польской и венгерской демократической группой, ср. письмо Маркса Энгельсу от 2 декабря 1850 г., где полностью приведен текст этого манифеста. Далее, *Karl Marx*, Herr Vogt, S. 36.

<sup>2</sup> Ср. Маркс — Энгельсу от 11 февраля 1851 г.

<sup>3</sup> Ср. по этому поводу письмо Маркса Энгельсу от 24 февраля 1851 г. и письмо Пипера и Маркса от 26 февраля.

немногими единомышленниками (Вильгельм Вольф, Пипер, К. Шрамм, молодой Либкнехт, Эккариус, Пфендер и т. д.), входившими в лондонский округ Союза коммунистов—округ, который, по всей видимости, не опирался даже на требуемую уставом минимальную базу из двух общин. Из чартистских лидеров Маркс еще поддерживал связь только с Джонсом. Кроме того, он иногда встречался с эмигрантами самых различных национальностей, с поляками, французами, венграми, но не состоял ни с кем из них в партийной, организационной связи. И несмотря на случайные визиты отдельных недовольных и будирующих членов Союза коммунистов и демократических групп, в общем Маркс был в Лондоне буквально подвергнут бойкоту всеми демократическими кругами, а также Рабочим союзом.

В печати — как в некоторых демократических газетах Германии, так и в немецко-американской печати — тоже поднялась травля против «марксовой клики». «Впрочем, нельзя было и ожидать, — пишет Энгельс Марксу от 9 мая 1851 г., — что брань по нашему адресу получит в Германии меньшее распространение, чем в Америке и в Лондоне. Ты находишься сейчас в том завидном положении, что тебя одновременно атакуют два мира, а этого даже с Наполеоном ни разу не случилось».

Тем не менее, до середины 1851 г. Маркс еще стоял во главе организованной партии: ведь часть Союза коммунистов, находившаяся под официальным руководством кельнского Центрального комитета, осталась ему верна. Но и эта связь с партийной организацией, хотя бы тайной и действовавшей лишь в узких рамках, прекратилась в середине 1851 г., после ареста Нотьюнга (10 мая) и вскоре последовавшего за ним ареста кельнского Центрального комитета, почти сразу совершенно парализовавшего деятельность всех связанных с ним общин. В течение ближайших полутора лет Маркс еще всячески старался повлиять на ход и исход кельнского процесса коммунистов, инсценированного с большой помпой. В этом отношении ему деятельно помогали немногие члены лондонского «округа». С того момента, как сеть организаций Союза была целиком раскрыта полицией, вся эта деятельность Маркса, требовавшая огромной затраты времени и энергии, была уже направлена не на построение коммунистической партии, а в сущности лишь на то, чтобы с честью ликвидировать ее. Когда Маркс или, что то же, возведенный после кельнских арестов в ранг Центрального комитета лондонский «округ» Союза объявил 17 ноября 1852 г. (через пять дней после осуждения кельнских обвиняемых) о роспуске Союза, это было только официальным подтверждением того, что фактически произошло уже в середине 1851 г. В самом деле, со времени арестов в Германии всякие связи с континентом были порваны,<sup>1</sup> т. е. «союз фактически уже перестал существовать».<sup>2</sup>

<sup>1</sup> К. Marx, Herr Vogt, S. 36.

<sup>2</sup> Маркс — Энгельсу от 19 ноября 1852 г.

## IV

Кельцкие аресты, т. е. «фактический роспуск» Союза коммунистов, совпали по времени с новым подъемом организационной и пропагандистской деятельности лондонской демократической эмиграции, приведшей на этот раз к созданию более прочных организаций.

Чтобы облегчить читателю понимание публикуемой ниже работы Маркса и Энгельса, в которой они подвергают язвительной критике дела демократической эмиграции, мы считаем полезным дать сжатый обзор различных группировок немецкой демократической эмиграции в Лондоне.

Выше мы уже упомянули, что в начале 1850 г. некоторыми лидерами мелкобуржуазной демократии были сделаны различные попытки сплотить всю немецкую эмиграцию вокруг одного демократического центра и захватить в свои руки организацию помощи беженцам.

Эти попытки не привели, однако, к созданию каких-либо организаций. Руге, бывший в числе лиц, подписывавших разные манифесты мадзинистского Центрального комитета европейской демократии, не опирался ни на какую организацию, и «нация», которую представлял созданный им восьмичленный немецкий национальный комитет, насчитывала едва ли больше членов, чем этот последний. В феврале и марте 1851 г. состоялось несколько митингов и празднеств, в результате которых ряды немецкой демократической эмиграции сплотились теснее, ее отношения с пролетарскими сторонниками Виллиха и Шаппера, а также с различными, правыми и левыми, фракциями польской и венгерской эмиграции сделались интимнее. На митинге, устроенном 11 февраля 1851 г. в годовщину смерти Вема, председательствовал Шаппер, а главными ораторами выступили Луи Блан от французской и австрийский беженец Таузенау, доверенное лицо Руге, от немецкой «нации». 24 февраля, в годовщину французской революции, состоялись две торжественные манифестации. На «банкете равных», под председательством Виллиха, говорили от имени бланкистских беженцев Видиль и Ландольф, от лица немецких лондонских рабочих — Шаппер, от левого крыла польской эмиграции — Завашкевич и от левого крыла французских демократов — Луи Блан. На другом празднестве, где французские демократы были представлены в первую голову Ледрю-Ролленом, среди немецких демократов задавали тон Руге, Струве и Кинкель. Однако все эти выступления не имели еще своим последствием образование какой-нибудь организации. Комитет по немецким делам в Лондоне, основанный 13 марта во время празднования годовщины венской революции (председательствовал на празднестве Эрнст Гауг, главными ораторами были Руге, Кинкель, Струве и Ронге), распался уже через несколько недель. Кинкель выступил из комитета, и выпущенное последним обращение к немцам с призывом принять участие в итальянском революционном займе, не встретило ни малейшего отклика.

Только в мае, в момент «фактического роспуска» Союза коммунистов, объединительные попытки немецкой демократической эмиграции оживились

снова и привели на этот раз к созданию различных организаций и к ряду шумных пропагандистских выступлений. Сильный толчок повышению активности эмиграции дала открывавшаяся 1 мая лондонская промышленная выставка — первая всемирная выставка, привлекавшая в Лондон множество немцев, которых демократические эмигранты тотчас же «взяли в работу». В мае демократы уже стали издавать в Лондоне журнал «Космос» (правда, оказавшийся недолговечным) под редакцией Гауга и при ближайшем участии Руге и Кинкеля, этих двух столпов немецкой демократической эмиграции. С прибытием в Лондон еще новых демократических «сил», из которых отметили берлинских радикальных журналистов Мейена, Фаухера и Оппенгейма и баденских революционных лидеров Фиклера, Зигеля и Гегга, начался период наибольшего расцвета в деятельности демократической эмиграции, продолжавшийся около года.

14 июля на квартире у Фиклера состоялось предварительное собрание с целью учреждения союза, долженствовавшего охватить всех эмигрантов, разумеется кроме Маркса, который «своим характером и предшествующим поведением сделал невозможным всякое с ним общение»<sup>1</sup> и который «как обрешивший себя на изгнание «Наполеон критики» должен был отстраниться от всякой партийной работы и живет теперь в мрачной злобе, никем не запрашиваемый и всеми забытый, на какой-то одинокой улице Лондона».<sup>2</sup> 20 июля состоялось новое совещание под председательством Руге и Фиклера, на котором было окончательно решено основать новый союз. Официально он был учрежден через неделю, 27 июля, под названием *Клуба немецких эмигрантов* (назывался также Союзом немецких эмигрантов). Во всех этих совещаниях и собраниях принимали участие как сторонники Руге, так и сторонники Кинкеля, но когда в момент окончательного оформления, 1 августа, сторонники Кинкеля получили большинство и провели свою платформу, приверженцы Руге внесли ряд предложений с определенной целью обеспечить своей группе некоторую автономию внутри нового клуба. Так как на втором официальном заседании клуба, 8 августа, их предложения были отклонены, то они основали контр-организацию под названием *Немецкий агитационный союз в Лондоне*, выпустившую 15 августа свое первое воззвание. Центральное руководство агитационным союзом было поручено Таузенау; что касается Руге, то его «идейное» руководство проявилось в том, что союз санкционировал его фиктивное «положение» в Центральном комитете европейской демократии.

Немецкая демократическая эмиграция раскололась, таким образом, на два отдельных лагеря, на две особые организации. В полуторагодовой истории лондонской немецкой эмиграции антагонизм этих двух, теперь уже официально размежевавшихся, группировок всегда давал себя чувствовать

<sup>1</sup> Выражение Руге в его письме к Фрейлпрату от 4 июля. См. письмо Маркса к Энгельсу от 13 июля 1851 г.

<sup>2</sup> Так выразился Мейен в одной листовке от 30 августа 1851 г. См. подпольный журнал «Mitteilungen zur Beförderung der Sicherheitspflege», 1852 г., приложение к № 3451.

очень ясно. В центре одной группы стоял Руге, в центре другой — Кинкель. Уже выше, говоря о более ранних эмигрантских выступлениях, мы отметили, что антагонизм обеих групп проявлялся и в их международной установке, а также в их отношениях с Лондонским немецким рабочим союзом. Руге был в союзе с правым крылом итальянской, французской, польской и венгерской эмиграции, с Мадзини, Ледрю-Ролленом, Дарашем и Пульским, позднее с Кошутом. С бланкистами он не имел никаких связей. Из немцев его главными сторонниками, относившимися к нему, впрочем, порой весьма критически и недоверчиво и во многих случаях протестовавшими против его руководства, были австрийский журналист Таузенау, основатель немецко-католического движения Иоганн Ронге, берлинские демократы Мейен, Оппенгейм, Фаухер, баденские демократы Фиклер, Гегг и Зигель. С Немецким рабочим союзом ругеанцы не были связаны вовсе.

В лагере Кинкеля наиболее деятельными лицами были: студент Шурц, освободивший Кинкеля из тюрьмы, Адольф Штротдман, составитель напыщенно-сентиментальной биографии Кинкеля, в которой он превозносил его как мифологического героя, берлинский демократ Рудольф Шрамм, принадлежавший раньше к группе Руге, бреславльский демократический граф Оскар Рейхенбах, революционные офицеры Техов и Шиммельпфенниг. Маркс писал в одном письме к Энгельсу,<sup>1</sup> что в антагонизме между группами Руге и Кинкеля, между Агитационным союзом и Клубом эмигрантов, называется антагонизм между пруссаками и южными немцами. И в самом деле, хотя среди сторонников Руге и было несколько берлинских демократов, однако активнейшими вождями Агитационного союза были южные немцы Фиклер и Гегг и «юго-восточный немец» Таузенау. Кинкелю удалось заключить временный союз с Виллихом и Шаппером, особенно с первым, который жаждал одобрения демократических базарных крикунов и тоже хотел пожирать плоды демократической демагогии.<sup>2</sup> Благодаря этому Кинкель и его группа завязали связи с Лондонским рабочим союзом, с антимарксовым союзом коммунистов и его лидерами Гебертом, Дитцем, Шертнером, Герингером, а через них временно также с бланкистами и Луи Бланом.

На собрании Клуба эмигрантов 22 августа, на котором члены только что образовавшегося Агитационного союза официально заявили о своем выходе из клуба, произошло слияние Социал-демократического комитета беженцев, оставшегося в руках Виллиха и Шаппера, с Клубом эмигрантов. Виллих оставил работу по организации помощи целиком в руках демократов, а сам теснейшим образом связался с Кинкелем, который в мае 1849 г. сражался в его вольном отряде как простой солдат. За последние месяцы популярность Виллиха в Рабочем союзе сильно упала. Он утратил руководство отколовшимся по его инициативе Союзом коммунистов, хотя, впрочем,

<sup>1</sup> Письмо от 25 августа 1851 г.

<sup>2</sup> Ср. *К. Маркс*, Разоблачения о кельнском процессе коммунистов. *К. Маркс и Ф. Энгельс*, Сочинения, т. VIII (1930), стр. 549.

показная деятельность этого союза, гальванизируемая полицейскими шпионами, все равно прекратилась в начале сентября 1851 г., после разгрома его парижских общин французской полицией.<sup>1</sup> Большие надежды Виллих возлагал на широкую финансовую операцию, предпринятую Кинкелем и его друзьями в конце августа.

Ввиду ободряющих известий и кое-каких денежных посылок, полученных из Соединенных Штатов, было решено выпустить *большой немецкий революционный заем*, облигации которого предполагали разместить главным образом среди очень многочисленного и в большинстве своем демократически настроенного немецкого населения Америки. Немецко-американские демократы выпустили воззвание, обращенное ко всей эмиграции, но кинкелянцы откликнулись на него раньше всех, и к концу августа Клуб эмигрантов выработал финансовый план, рассчитанный на 2 миллиона долларов, а также положение о займе, и постановил откомандировать Кинкеля для пропагандистской поездки в Америку. Был избран Временный финансовый комитет в составе Кинкеля, графа Рейхенбаха и Виллиха. Кинкель тотчас же отправился в путь и 14 сентября прибыл в Нью-Йорк.

Для уяснения специфически буржуазного характера этого плана — поставить германскую революцию на акционерную базу — мы приведем одно место из речи Кинкеля, произнесенной им в Цинциннати на съезде гарантов немецкого революционного займа. Заметим только сначала, что согласно § 3 положения о займе его «гарантия» заключалась в том, что «люди, заслужившие, как демократические революционеры, общее признание в предшествующую революцию», дают «обещание» добиваться до и после новой революции «признания займа как приносящего проценты государственного долга»... На облигациях займа значилось: «Владельцу настоящей облигации... сим обеспечивается гарантами..., что после установления республиканского образа правления в Германии они употребят все свое влияние, чтобы это долговое обязательство было признано в качестве германского национального долга, который должен будет погашаться с уплатой 5%, считая от сегодняшнего дня, согласно постановлениям республиканского правительства Германии».

В упомянутой речи Кинкель дал по поводу этой «гарантии» следующее разъяснение: «Если около ста честных человек, которых нация выбрала когда-то своими представителями, военными вождями или революционными функционерами и которые ни разу не изменили революции, ручаются за выплату займа, то народ не будет после своей победы настолько неблагодарен, чтобы попать ногами честь этих людей своим отказом от признания займа. Что образование такого государственного долга не ляжет бременем на будущий бюджет, я разъяснил уже выше. Германская республика, раз она будет установлена, приобретет в бывших княжеских владениях и в

<sup>1</sup> Окончательная ликвидация антимарксовского союза коммунистов произошла в начале 1853 г.

конфискованном земельном имуществе своих врагов такое огромное национальное богатство и в то же время настолько облегчит себе финансовое положение аннулированием монархических долгов, что выплата двух миллионов республиканского займа не составит для нее ни малейшего труда.<sup>1</sup>

В обращении Виллиха и Рейхенбаха с призывом к поддержке займа (8 октября 1851 г.) днем начала германской революции было назначено 1 июня. Только в том случае, если бы революция не разразилась к этому сроку, рядовые гаранты получали право откомандировать одного депутата в учреждаемый в Лондоне центральный комитет по революционному займу.

Лидеры Агитационного союза не могли, конечно, помириться с тем, что одним кинкельяцам достанется вся слава и денежная пожива от блестящей финансовой затеи. Они собрались с духом, нисколько не растерялись при виде произведенного Наполеоном государственного переворота (да и могло ли это *историческое* событие помешать в чем-нибудь их отнюдь не историческому, чисто показному выступлению?) и послали на Рождество 1851 г. Гегга и Фиклера в Америку для основания там конкурирующего предприятия, Немецкого революционного союза, с тем, чтобы его отделения собрали особый революционный фонд.

О дальнейшем ходе всех этих затей достаточно сказать несколько слов. Пропагандистские поездки Кинкеля и Гегга наделали много шума в немецко-американской печати, но дали очень слабые финансовые результаты. Хуже, однако, было то, что, когда они оба вернулись со своей добычей в Лондон (к середине 1852 г.), они сами не знали, что предпринять с собранными деньгами. Несмотря на протесты Руге, который, особенно после происшедшего в марте распада мадзиниевского Центрального комитета европейской демократии, растерял последние крохи своего политического авторитета и, нисколько не заботясь о своем атеистическом прошлом, примирял теперь вместе с Иоганном Ронге, как прежде вместе с Мадзипи, «религию» и «политику», чтобы получать кое-какие подачки от немецких купцов Сити,<sup>2</sup> — несмотря на его протесты, Гегг заключил осенью соглашение с Кинкелем о передаче оставшихся денег (около 20 000 долларов) в распоряжение общего комитета. Виллиха, сделавшегося теперь бельмом на глазу, в середине января 1853 г. сплывили в Америку.<sup>3</sup>

Дальнейшие подробности о судьбе «революционного фонда» стали известны благодаря лейпцигскому процессу по обвинению в государственной измене Либкнехта, Бебеля и Геппнера в 1872 г.,<sup>4</sup> но здесь нет надобности останавливаться на этом.

<sup>1</sup> Ср. уже цитированные выше «Mitteilungen etc.», 1852 г., приложение к № 3439.

<sup>2</sup> Марке — Энгельсу от 23 сентября 1852 г. Ср. также Дронке — Лассалю от 1 сентября 1852 г. (*F. Lassalle, Nachgelassene Briefe und Schriften*, Hgb. v. G. Meyer, B. II, S. 57 ff.).

<sup>3</sup> Марке — Энгельсу от 29 января 1853 г.

<sup>4</sup> «Der Hochverratsprozess wider Liebknecht, Bebel und Heppner vor dem Schwurgericht zu Leipzig vom 11 bis 26 März 1872». Neudruck. Berlin, 1911, S. 819 — 823. Ср. также «Herr Vogt», S. 183 — 185.



## V

Маркс и Энгельс следили с величайшим вниманием за всеми выступлениями демократической эмиграции, даже осенью 1850 г. — в состоянии полной изолированности среди лондонских эмигрантов, и делали все, что было в их силах, для разоблачения никчемности и вредности демократической игры в революцию.

В последнем выпуске «Обозрения» (ноябрь 1851 г.) Маркс подверг убийственной критике появившийся в июле первый манифест Центрального комитета европейской демократии.<sup>1</sup> Он бичевал «высокопарную бессмыслицу», пошлую филистерскую мудрость, таящуюся за расплывчатыми фразами этого «призыва к безмозглости», за всеми этими речами о прогрессе, ассоциации, моральном законе, о свободе, равенстве и братстве, о семье, общине и государстве, о святости собственности, о кредите, о воспитании, о боге и народе — *Dio e popolo*. И в то же время он разоблачал социальный и политический смысл этого нового «евангелия». Новые «евангелисты» отрицают существование классовой борьбы; «они устраняют всякое определенное содержание, всякий определенный партийный взгляд», они «отрицают за отдельными классами право формулировать свои интересы и требования в противовес другим классам. Они предлагают им забыть противоположность интересов и помириться под знаменем пошлой и наглой расплывчатости, которая под видом примирения интересов всех партий скрывает лишь господство интересов одной партии — буржуазной». «Революция для них вообще состоит в ниспровержении существующего правительства; движение, развитие, борьба после этого прекращаются»; народу нечего заботиться о завтрашнем дне, «загадка будущего чудесным образом раскроется ему». Манифест хочет, другими словами, задушить развитие пролетарского классового сознания; он представляет собою «прямую попытку обмануть именно самые угнетенные классы народа».

Таким образом, и после своего поражения среди лондонской эмиграции Маркс и Энгельс считали своим политическим долгом продолжать борьбу против мелкобуржуазно-демократической эмиграции, являвшуюся по существу борьбой за политическую и организационную самостоятельность «самых угнетенных классов народа», за независимость коммунистической партии.

Энгельс собирался в феврале 1851 г. поместить ряд статей о «континентальной демократии» в газете Гарни «Друг народа» с целью опельмовать всю официальную демократию и скомпрометировать ее в глазах английского пролетариата, поставив ее, включая и Мадзини, Ледрю-Роллена и др., на одну доску с *financial reformers*. Он решил беспощадно расправиться с попавшими в изгнание героями фразы. «Европейский комитет, — писал он о своем плане Марксу. — *will catch it nicely*. Я проберу этих господ каждого в отдельности: сочинения Мадзини, блестящие геройские подвиги

<sup>1</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. VIII (1930), стр. 258 — 262.

Ледрю-Роллена с февраля до июня 1848 г.; не будет забыт, конечно, и господин Руге. Итальянцам, полякам и венграм я скажу достаточно ясно, что во всех современных вопросах им следовало бы молчать. Шарлатанство Гарни с попрошайническими письмами Мадзини и К<sup>о</sup> становится слишком неприятным, и так как иным путем его не исправить, то я вынужден буду раскрыть глупость и низость этих молодцов в его собственной газете и разоблачить перед английскими чартистами таинства континентальной демократии».<sup>1</sup> Три статьи Энгельс действительно написал. В дальнейших статьях он хотел нанести удар за ударом Ледрю-Роллену, Мадзини, Руге и т. д., и притом «в наиболее прямой и личной форме, какая только возможна»;<sup>2</sup> после того, однако, как Гарни принял участие в митинге памяти Вема, он решил не печатать этих статей в его органе,<sup>3</sup> и так эти статьи (между прочим, не сохранившиеся) и остались неопубликованными.

И после происшедшего в середине 1851 г. «фактического» роспуска Союза коммунистов, т. е. утратив уже всякую возможность развивать *прямую* деятельность по строительству партии,<sup>4</sup> Маркс старался использовать всякий представлявшийся случай, чтобы противодействовать работе демократов. Его партийная организация была частью разгромлена, частью сошла на-нет. Он не разделял иллюзорных надежд на новую революцию в ближайшем будущем. Но и он ждал, что через несколько лет разразится новый кризис, который повлечет за собой революцию, и он определенно рассчитывал на скорое пробуждение немецкого пролетариата, на новый стихийный подъем немецкого рабочего движения. А когда грянет революция, когда немецкий пролетариат поднимется снова, тогда опять важнейшей задачей дня будет отделение пролетарской демократии от буржуазной, борьба за самостоятельность рабочего движения, за независимость рабочей партии, борьба с теми самыми героями, которые стремятся теперь в эмиграции завоевать рабочих, — борьба с мелкобуржуазными демократами, — станет тогда снова актуальнейшим вопросом революции, вопросом создания пролетарской партии.

Итак, мы видим, что и после «фактического роспуска» Союза коммунистов, пока революционная шумиха демократов не заглохла окончательно, Маркс и Энгельс пользовались каждым поводом, чтобы ударить по рукам мелкобуржуазных революционных героев, а также их пролетарских союзников. С помощью своих немногочисленных сторонников Маркс делал в Лондоне все возможное, чтобы при разных выступлениях и манифестациях демократов вставлять им палки в колеса. Его единомышленники — Пипер, Шрамм, Либкнехт, Вольф, Имандт, Ульмер — появлялись на демократических митингах и совещаниях, чтобы заклеить их организаторов.

<sup>1</sup> Энгельс — Марксу от 5 февраля 1851 г.

<sup>2</sup> Энгельс — Марксу от 12 февраля 1851 г.

<sup>3</sup> Энгельс — Марксу от 13 февраля 1851 г.

<sup>4</sup> В Соединенных Штатах Вейдемейер, которому Маркс и Энгельс оказывали литературную поддержку, сделал несколько позже (в 1852 г.) слабые попытки основать «общины».

Энгельс тщательно собирал всяческие материалы о деятельности демократических лидеров и думал «составить алфавитную коллекцию их биографий, которые постоянно можно было бы пополнять и держать наготове до наступления великого момента «развязки», когда их внезапно можно было бы бросить в обращение».<sup>1</sup> В ряде статей о «революции и контр-революции в Германии», появившихся в «Нью-йоркской трибуне» за подписью Маркса, Энгельс бичевал позорную роль демократического мещанства во время прошлой германской революции. Подобные же инвективы появляются по инициативе Маркса в еще открытом для него чартистском органе Эрнеста Джонса. Были у него кое-какие сторонники и в Америке; наиболее деятельными и способными из них были Адольф Клуз и переселившийся в октябре 1851 г. в Америку Иосиф Вейдемейер. Последним удалось завоевать несколько газет в немецко-американской прессе, находившейся в своем подавляющем большинстве в распоряжении противников Маркса и Энгельса, отразить некоторые нападки на Маркса и сорвать кое-где агитацию за «революционный» заем. Тех, правда немногочисленных, эмигрантов разных национальностей, с которыми Маркс еще оставался в личном или письменном общении, он старался информировать и направлять в своем духе. Среди них был, между прочим, и живший тогда в Париже лидер левого крыла венгерской эмиграции, последний председатель венгерского революционного правительства, Варфоломей Семере, который находился в ожесточенной оппозиции к своему бывшему шефу Людвигу Кошуту. В апреле 1852 г. Маркс послал на имя Семере через другого венгерского беженца, полковника Иоганна Банпа, несколько набросков о «великих немецких мужах в Лондоне».<sup>2</sup>

При таких обстоятельствах не было ничего удивительного и вполне соответствовало политической линии Маркса, что, когда названный Банпа передал ему предложение одного немецкого издателя написать брошюру в несколько печатных листов с «политическими портретами» руководящих деятелей немецкой эмиграции, — Маркс, посоветовавшись с Энгельсом, решил принять это, показавшееся им вполне солидным, предложение.

Так возникли «политические портреты» «великих людей эмиграции».

## VI

Главным источником для реконструирования ближайших обстоятельств, при которых был написан памфлет, и судеб его уже готовой к печати рукописи является переписка Маркса и Энгельса. Эта переписка содержит, кроме того, множество указаний на дальнейшие письма, документы и публицистические материалы, откуда можно почерпнуть еще целый ряд более или менее важных подробностей, относящихся к полной всяческих злоключений неутешительной истории этого сочинения Маркса и Энгельса.

<sup>1</sup> Энгельс — Марксу от 1 мая 1852 г.

<sup>2</sup> Маркс — Энгельсу от 30 апреля 1852 г.

30 апреля 1852 г. Маркс пишет довольно длинное письмо Энгельсу с разными новостями о том, что творится во враждебном эмигрантском стане, о травле против «марксовой клики», ведущейся одинаково усердно в Швейцарии, в Лондоне и в Америке. Далее он говорит:

«A propos! Я дал Банна для Семере несколько набросков великих немецких мужей в Лондоне. Это письмо, не знаю каким образом, было прочитано одному немецкому издателю, которому имя мое не было названо. Он потребовал «политических портретов» этих господ и, как говорит Банна, готов заплатить 25 фунт. стерл. за несколько печатных листов. Конечно анонимно или псевдонимно. Qu'en penses-tu? Собственно говоря, такие юмористические характеристики нам следовало бы писать вместе. У меня есть некоторые сомнения. Если ты думаешь, что я должен согласиться на это предложение, тогда ты должен составить коллекцию из моих писем, а также из других имеющихся у тебя вещей, где могут найтись отрывки для характеристики этих негодяев. Во всяком случае ты должен прислать мне несколько заметок о Виллхе «на работе» и «в Швейцарии».<sup>1</sup>

Маркс познакомился с венгерским беженцем Иоганном Бания весной 1850 г. — тогда же, когда познакомился и с венгерским революционным офицером Стефаном Тюрром, который принимал участие в баденском восстании и впоследствии приобрел европейскую известность в качестве гарибальдийского генерала.<sup>2</sup> Бания, венгерский дворянин, поступил на военную службу и служил в 1833—1841 гг. в австрийской армии. Вследствие сделанных им крупных долгов он был вынужден уйти с военной службы и поступил чиновником в придворную канцелярию в Вене. С 1846 г. работал в качестве журналиста и к началу революции был редактором либеральной «Прессбургской газеты». Позднее вступил в венгерскую революционную армию и под конец служил в крепости Коморне под командой Клапки в чине полковника и в должности начальника полиции. После капитуляции крепости в октябре 1849 г. он, подобно всем офицерам, получил паспорт на выезд за границу. В апреле 1850 г. он приехал из Гамбурга в Лондон, где пробыл на этот раз не больше двух месяцев. К этому времени относится его первое знакомство с Марксом и, вероятно, также с Энгельсом.

Вместе с несколькими другими венгерскими эмигрантами — Тюрром, Касоньи, Мисковским — он выступил в качестве радикального демократа, и Маркс с Энгельсом наверное причисляли его к той «самой прогрессивной», «настоящей революционной партии венгерской эмиграции», с которой Союз коммунистов находился в связи и о которой во втором июньском обращении Центрального комитета было сказано, что ее «выдающиеся военные... будут во время революции в распоряжении Союза».<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Маркс пишет здесь, как и везде, Вануа, вместо правильной формы Bangya. Эта ошибочная орфография объясняется, вероятно, тем, что правильное произношение этой фамилии затруднительно для немца, и немецкое ухо не улавливает различия между обеими формами. Позже, в 60-х годах, Маркс писал уже правильно: Bangya. <sup>2</sup> *Karl Marx*, Herr Vogt, S. 124.

<sup>3</sup> *К. Маркс и Ф. Энгельс*, Сочинения, т. VIII, стр. 495 — 496.

Из Лондона Баниа вернулся в апреле 1850 г. в Гамбург. Здесь и в Альтоне он прожил до конца года, работая в качестве журналиста. В 1851 г. он переселился в Париж, где вступил в тесное общение с тамошними лидерами и агентами венгерской эмиграции. Кошут и его парижские представители поручали ему всевозможные дипломатические задания; между прочим, Кошут предложил ему организовать нечто вроде контр-разведки против правительства. Он занял, таким образом, как бы пост начальника полиции при Кошуте. В то же время, однако, он поддерживал связи с лидерами антикошутовской оппозиции, с Батьяньи, Морицом Перцелем и особенно с Семере,<sup>1</sup> которому он ничего не говорил о своей близости к Кошуту и даже прямо отрицал ее. Из Парижа он часто приезжал в Лондон на разные сроки. Там он снова увиделся с Марксом (в первый раз — 3 февраля 1852 г.) и стал теперь навещать его довольно часто.<sup>2</sup>

Утвержденный грамотой Кошута обер-полициеймейстером на службе революции, по обязанности совавший нос во все политические кухни эмиграции и осведомленный о всех заговорах разных партий и групп, равно как и о мероприятиях и происках политической полиции, Баниа был для Маркса желанным гостем. Его постепенно выяснявшиеся для Маркса связи со всевозможными партиями, орлеанистами, бонапартистами и т. д., его близость с полицейскими агентами разных правительств заставляли, правда, быть настороже. Но эти связи можно было объяснить его профессией. Баниа выдавал себя за партийного единомышленника Батьяньи, Перцеля и Семере, левых лидеров венгерской эмиграции, за решительного противника эмигрантской деятельности Кошута. Он предложил Марксу сотрудничество Семере и Перцеля для «Революции» Вейдемейера.<sup>3</sup> Он заявил, что венгерская эмиграция будет согласна дать на эту газету 500 долларов, если только часть газеты будет отведена Венгрии и он сам будет принят в качестве одного из редакторов.<sup>4</sup> Семере поручил Баниа перевести и издать большой памфлет, написанный им против Кошута, Людвиг Батьяньи и Гергея, и Баниа попросил Маркса стилистически выправить его перевод.<sup>5</sup> Уже в первое свое посещение Баниа сообщил Марксу ценные сведения о Кошуте, Мадзини, Чарторыйском.<sup>6</sup> Он сообщил даже некоторые важные подробности о прусском правительстве.<sup>7</sup> Ему удалось завоевать полное доверие

<sup>1</sup> О Семере ср. содержательную статью *Andreas Sass'a*, *Marx' Beziehungen zu Bartholomäus von Szemere* («Archiv für die Geschichte des Sozialismus...»), 1922, В. X, S. 38 — 48.

<sup>2</sup> Относительно биографических данных о Банна ср. *Szinyei*, *Magyar irók életrajzi lexikona*, Будапешт, т. I (1891); «Free Press», Лондон, от 27 мая 1858 г., т. VI, № 16, стр. 121—125; «Zeitung für Norddeutschland» (Hannover), № 2539 от 25 августа 1857 г. (Статья о Банна перепечатана из пражской газеты «Bohemia».) Далее: неопубликованные письма Маркса от 1852 г. к Юлиусу Церфи, венгерскому эмигранту, жившему тогда в Париже.

<sup>3</sup> Маркс — Энгельсу от 4 февраля 1852 г.

<sup>4</sup> Маркс — Вейдемейеру от 25 марта 1852 г. — Ср. статью Меринга в «Neue Zeit», XXV/2, S. 102.

<sup>5</sup> Маркс — Энгельсу от 6 мая 1852 г.

<sup>6</sup> Маркс — Церфи от 28 декабря 1852 г.

<sup>7</sup> Маркс — Церфи от 28 декабря 1852 г.

Маркса, так что последний в середине апреля 1852 г., на похоронах своей дочери Франциски, предложил ему ввести его в еще не распущенный тогда Союз коммунистов.<sup>1</sup> Когда Баниа передал Марксу предложение написать «политические портреты», в оценке этого предложения со стороны Маркса сомнения в личности посредника не играли ни малейшей роли.

## VII

Не играли они никакой роли и для Энгельса.

У последнего кое-какие сомнения, правда, были, но не насчет Баниа, которого он считал доверенным лицом Семере. Выпуск подобной брошюры в *Германии*, — думал он, — при нынешнем режиме может произвести впечатление поддержки реакции, а «это всегда неприятно». «Несмотря на всю анонимность и псевдонимность», легко сообразят, «de quel côté ces flèches viennent». Опасность, что авторы будут угаданы, уменьшится, если ограничиться дюжиной «наиболее известных ослов — Кинкелем, Геккером, Струве, Виллихом, Фогтом»; в этом случае анонимность будет соблюдена, подумают даже, что памфлет «исходит прямо от реакции». На удочку попадутся, таким образом, и осмеянные эмигрантские герои, и реакция.<sup>2</sup>

Энгельс тут же предлагает свое сотрудничество, настаивает, чтобы Маркс продолжал переговоры с издателем, и после дальнейшего размышления становится на совершенно правильную точку зрения, которую Маркс занял с самого начала: дело можно будет устроить так, что «paternité не будет открыто, и даже, если бы оно было открыто, то это нисколько не повредило бы делу».<sup>3</sup>

6 мая Маркс получил через Баниа окончательное предложение издателя и тотчас стал готовиться к работе, ибо «издатель торопит». Он решил написать начало вместе со своим, только что приехавшим в Лондон (в конце апреля), другом Эрнстом Дронке,<sup>4</sup> одним из его главных сотрудников по редактированию «Новой рейнской газеты», и немедленно приступить к собиранию материалов.<sup>5</sup> Через несколько недель должен был быть готов черновик, с которым Маркс думал поехать в Манчестер и там закончить работу вместе с Энгельсом.

Совместная работа с Дронке началась, но двигалась не очень-то быстро. Было написано не больше восьми страниц — о революционном периоде Готфрида Кинкеля; в качестве источника для этой части можно было ограничиться одной книгой, панегирической биографией Кинкеля, написанной его учеником Адольфом Штротдманом.

Май ушел главным образом на собирание материалов, и Маркс с

<sup>1</sup> Баниа — Марксу от 25 августа 1852 г.

<sup>2</sup> Энгельс — Церфф от 1 мая 1852 г.

<sup>3</sup> Энгельс — Марксу от 4 мая 1852 г.

<sup>4</sup> Маркс — Энгельсу от 30 апреля 1852 г.

<sup>5</sup> Маркс — Энгельсу от 6 мая 1852 г.

Энгельсом занялись этим делом так усердно, словно речь шла о каком-нибудь научном исследовании. Они просматривают письма, газетные вырезки, листовки, старые газеты, размечают их, делают из них выписки; заказывают книги; просят своих друзей — Вольфа, Веерта, Вейдемейера и т. д. — сообщать им новые данные. В конце мая Маркс запаковывает вещи и едет, как было решено, на несколько недель к Энгельсу, который успел уже собрать целый архив. Забытые статьи Энгельса о Гейнцене из «Немецко-брюссельской газеты» от 1847 г. дослала жена Маркса.<sup>1</sup> Дронке присылает из Лондона 14 июня подробные сведения об Эдуарде Мейене, Юлиусе Фаухере и Г.-Б. Оппенгейме. С Энгельсом работа идет быстро. 25 июня брошюра готова, Маркс возвращается в Лондон, рукопись — около 70 страниц in folio, большей частью написанных рукою Энгельса, — переписывают начисто жена Маркса и Дронке. Через два дня, 30 июня, Баниа выплачивает гонорар, от которого, правда, после вычета аванса в 7 фунтов и нескольких фунтов, отданных Дронке за его сотрудничество, «осталась сумма, которой нехватало даже для домашних расходов».<sup>2</sup> В остальных же отношениях все шло, повидимому, превосходно. Брошюра должна была прибыть в Лондон в готовом виде через три-четыре недели. И если «банда» — Мейены и Виллихи — кое-что пронюхала<sup>3</sup> и со страхом ломала себе голову, как быть, то это отнюдь не мешало авторам искренно радоваться окончанию своей работы.<sup>4</sup>

## VIII

«Надо надеяться, что экземпляры получатся через 3 — 4 недели», — пишет Энгельс Марксу 6 июля.

Но месяц проходит, а экземпляров все нет и нет. Авторы несколько раз запрашивают Баниа. Он нисколько не смущается и успокаивает Маркса разными объяснениями и обещаниями. Он еще больше втирается к нему в доверие интересными сообщениями о конспиративной деятельности орлеанистов. Он доставляет, далее, действовавшему тогда еще в Берлине орлеанисту Ремюза и его агентам важные сведения о так называемом «complot Allemand-Français», который был раскрыт французской полицией при содействии прусской в начале сентября 1851 г. и в который были впутаны парижские общины виллих-шапперовского союза коммунистов. На Баниа пало тогда подозрение в предательстве; он протестовал против этого подозрения в открытом заявлении в «Кельнской газете». Ремюза обратил после этого внимание на Баниа и запросил у своих тайных агентов в парижской полиции сведений о нем, но получил справку, что Баниа вне вся-

<sup>1</sup> Маркс — Энгельсу от 18 июня 1852 г.

<sup>2</sup> Маркс — Энгельсу от 3 июля 1852 г.

<sup>3</sup> Вероятно, вследствие нескромности Дронке, который сообщил Лассалю о подготовлявшейся брошюре. Ср. Лассаль — Марксу от 24 июня 1852 г.

<sup>4</sup> Ср. Маркс — Энгельсу от 3 июля 1852 г.

ких подозрений и что предателем оказался некий Шерваль, руководитель одной из трех парижских общин антимарксового союза коммунистов. Об этой справке узнал и Маркс, очевидно от одного орлеанистского агента в Лондоне, с которым его познакомил, повидимому, не кто иной, как сам Баниа. Через Баниа Маркс получил сведения о связях Шерваля с прусским посольством в Лондоне. Все эти данные были для Маркса чрезвычайно ценны как материал для защиты обвиняемых в кельнском процессе коммунистов, которых Штибер всячески старался впутать в «complot Allemand-Français». <sup>1</sup> Без достаточных оснований Маркс не хотел, конечно, отказаться от услуг такого полезного информатора.

Все же в августе он уже энергичнее требует у него объяснений по поводу брошюры, он требует полной ясности. Баниа сваливает вину на издателя и ставит вопрос о доверии. Если Маркс ему не доверяет, то им лучше всего порвать всякую связь. Он напоминает, что в апреле им было отклонено предложение Маркса ввести его в Союз коммунистов. «Если бы я был шпионом, — восклицает он, — то я, конечно, всячески старался бы проникнуть в тайны вашей партии». <sup>2</sup>

Проходит еще шесть недель без всякого толка. Лишь теперь обеспокоенные Маркс и Энгельс считают нужным не только торопить, но и проверять сообщения Баниа за его спиной. Маркс просит Веерта, жившего тогда в Брэдфорде, справиться у его друга, берлинского издателя Франца Дункера, об Эйзермане, от имени которого Баниа передал Марксу заказ на брошюру. <sup>3</sup> Особенное нетерпение проявляет Энгельс.

«Мне надоела уже, — пишет он Марксу 10 октября, — эта вечная волокита с брошюрой. Ее появление откладывалось с месяца на месяц, и все же она никак не может появиться. Приводится один предлог за другим, которые потом отбрасываются... Это невыносимо. Мы должны, наконец, вывести дело на чистую воду. Дело становится с каждым днем все более подозрительным. Я не хочу, вероятно и ты также, чтобы наша общая работа попала в ненадежные руки. Мы писали для публики, а не для удовольствия берлинской или какой-нибудь другой полиции, и если через Баниа ничего нельзя сделать, то я на собственный страх и риск предприму некоторые шаги в этом деле. Наш приказчик Чарльз... едет на следующей неделе... на континент. Я поручил ему в Берлине подробно узнать об этом деле... Бьюсь об заклад, что мы таким образом выясним причину этих пустых отговорок. Что это за история с издателем Эйзерманом или Эйзенманом, которого даже нельзя найти в списке издателей?.. Если дело неладно, то нам безусловно надо выступить с *публичным заявлением во всех*

<sup>1</sup> Ср. Маркс — Энгельсу от 3 июля, 13 июля, 28 сентября, 28 октября 1852 г.

<sup>2</sup> Баниа — Марксу от 25 августа 1852 г. — Это письмо имеет в виду Маркс в своем «Господине Фогте»: «Баниа, — читаем мы там (стр. 124), — подчеркнул еще в одном имеющемся у меня оправдательном письме, что у меня не может быть никаких оснований считать его шпионом, ибо он всегда избегал (и это верно) говорить со мной о моих собственных партийных делах».

<sup>3</sup> Веерт — Марксу от 11 октября 1852 г.



*наиболее распространенных газет*, чтобы с нами не выкинули такой штуки, какую сыграл Ташеро с Бланки опубликованием своего документа».

12 октября Баниа снова уверяет в письме, что через 10—12 дней он сможет сообщить о «благоприятном результате», т. е. о выходе брошюры в свет. Но уже на следующий день приходит ошеломляющее известие от Георга Веерта: по наведенным справкам оказалось, что никакого издателя по имени Эйзерман в Берлине нет.

Теперь уже в дело вмешивается и Дронке, весьма заинтересованный в разгадке тайны как один из авторов и переписчик рукописи; он бьет тревогу, сводит воедино все подозрительные обстоятельства и требует, чтобы Маркс и Энгельс сделали, наконец, решительные шаги. В стане Виллиха-Кинкеля и ругеанцев уже рассказывают, что Баниа продал полиции одну рукопись Маркса. Виллих, — уверяет Дронке, — предложил кое-кому из своих использовать этот инцидент в американской печати; Шиммельпфенниг уже сообщил о нем в Париж. Вильгельм Вольф тоже считает, что упорная доверчивость Маркса совершенно непонятна. Для Маркса, — доказывал далее Дронке, — дело может принять особенно неприятный оборот, ибо против него можно оперировать тем фактом, что его зять прусский министр.<sup>1</sup>

Несмотря на запутанность положения и на все более подозрительный оборот дела, Баниа удалось и на этот раз если не рассеять недоверие, то все же отдалить минуту, когда у Маркса сложилась окончательная уверенность в его мошенничестве. Он приводит новые объяснения, предъявляет письмо издателя Кольмана, Берлин, Neue Königsstrasse, № 58 или 59; с тонким психологическим расчетом он прикидывается, что не «помнит» в точности номера дома, заявляет, что если издатель не обязуется выпустить книгу в короткий срок, то он будет готов вытребовать ее обратно.<sup>2</sup>

Маркс опять начинает надеяться. Банпа, — рассуждает он, — был дважды заподозрен совершенно напрасно: его обвиняли в том, что он выдал «парижский заговор», и затем в плутовстве в кельнском деле. «В обоих случаях обнаружилось противоположное».<sup>3</sup> И лишь после того, как от Веерта приходит сообщение, что никакого издателя по имени Кольман в Берлине нет,<sup>4</sup> лишь тогда — 3 декабря 1852 г. — Маркс выкладывает, наконец, Баниа, но и то еще с разными оговорками и ссылаясь на Энгельса, все возникающие против него подозрения и требует от него прямого и ясного ответа.<sup>5</sup>

Ответное письмо Баниа (от 3 декабря), классический образец утон-

<sup>1</sup> Дронке — Энгельсу от 27 октября 1852 г.

<sup>2</sup> Банпа — Энгельсу от 29 октября 1852 г.; Дронке — Энгельсу от 30 октября 1852 г.; Энгельс — Марксу от 5 ноября 1852 г.; Маркс — Энгельсу от 10 ноября 1852 г.

<sup>3</sup> Маркс — Энгельсу от 10 ноября 1852 г.

<sup>4</sup> Энгельс — Марксу от 27 ноября 1852 г.

<sup>5</sup> Текст своих писем Маркс сообщает Энгельсу дословно. См. Маркс — Энгельсу от 3 декабря 1852 г.

ченной шпионской изворотливости, мы — в назидание! — приведем здесь в выдержках:

Глубокоуважаемый друг!

Только что я получил ваше письмо... Ответ мой совершенно прост: где бы ни наводил свои справки г. Энгельс, он никогда не сможет доказать мне, что г. Якова Кольмана в Берлине не существует, ибо я знаю такового лично; и если г. Энгельс замечает, что даже письменный ответ на мое письмо... ничего не доказывает, то он, пожалуй, прав, — но ведь я и не старался доказать что-нибудь г. Энгельсу. Разве я служащий г. Энгельса? или мошенник, которому еще нужно оправдываться? Если бы я не действовал в этом деле вполне честно, то я бы, конечно, поостерегся выпустить из своих рук адресованные ко мне письма, и уж во всяком случае я не отдал бы их вам, если бы моя совесть заставила меня тщательно сличать почерки. Так как у меня не было решительно никаких оснований сверять их, то я и передал вам письма сразу, а схожи ли почерки или нет... это меня несколько не интересует, на этот счет я совершенно спокоен, ибо я знаю, что ничего компрометирующего со мной не случится и не может случиться...

Недоверие г. Энгельса я нахожу естественным... но это не производит на меня никакого впечатления: его доверие или недоверие для меня безразлично, ибо он слишком мало меня знает. Если бы он знал меня так же хорошо, как вы, и все-таки относился бы ко мне с недоверием, тогда я поговорил бы иначе. Но будем откровенны: я, с моей стороны, знаю, что я всегда был с вами откровенен и искренен, может быть слишком откровенен. Да, если я могу упрекнуть в чем-нибудь себя как политика, то именно в том, что я был слишком откровенен. Скажите сами, не оказывал ли я своим сообщениям, даже в последнее время, существенные услуги вашей партии и вашему делу? Стал бы я это делать, если бы я играл двусмысленную роль? Вы видите, мое поведение по отношению к вам было открыто и доверчиво. А кто не доверяет мне, тому я сам доверяю еще меньше. Подождем же еще немного, и все станет для вас совершенно ясно. Если вы захотите тогда оставить рукопись там, где она находится сейчас, отлично; если же не захотите, то берите ее обратно, и делу конец. В одном, впрочем, могу вас уверить: больше я уж в подобную кашу вмешиваться не буду...

Маркс, который теснее всех связался с Баниа и поэтому особенно тяготился сознанием, что он обманут, продолжал, по видимому, еще несколько недель ждать благоприятной развязки. Только 24 декабря сообщил он в письме к Густаву Церфи в Париж о своих злоключениях с Баниа. Одновременно он попросил его передать обо всем Семере, ибо именно тесная связь Баниа с Семере и внушила ему, Марксу, доверие.

Церфи обсудил весь инцидент вместе с Семере. На обоих разоблачения Маркса подействовали ошеломляюще. Они считали Банпа честным человеком. Теперь они прозрели. Баниа сумел втереться в доверие к Семере, хвастая перед ним дружбой с Марксом. Утверждение Банпа, что Семере знал о его отношениях с Кошуттом, было ложью. По мнению Церфи, Баниа продал рукопись прусской полиции, вероятно известному из кельнского процесса коммунистов полицейскому комиссару Грейффу, с которым он поддерживал связь.

Семере советовал как можно скорее предать инцидент с рукописью широкой огласке. Но Маркс не спешил с этим. Он считал, что публичное оглашение дела до выхода брошюры в свет могло бы вызвать подозрения против него или в лучшем случае сделать его «смешным» в глазах публики. Он все еще был склонен думать, что Банпа — «не настоящий шпион, а...

человек, который в качестве «посредника» между различными партиями и политического сводника попал на кривую дорожку».<sup>1</sup>

От Церфи и «через посредство третьего, подробно осведомленного лица»<sup>2</sup> (что это было за лицо, нам неизвестно) Маркс получил в ближай-шие месяцы точную информацию, которая избавила его от этой иллюзии. Маркс сообщает об этом следующее (23 февраля 1853 г.).

«Ad voset Баниа. Он теперь находится в Париже. Теперь у меня в руках имеются доказательства, что сей доблестный муж состоит агентом австрийского правительства. Своего возвращения во Францию он добился ценой принятия тайной должности во французском министерстве полиции. В то же самое время он является в Париже официальным агентом Кошута, желающего получить деньги от Бонапарта. Этот господин, впрочем, плетет в Париже сеть, в которую он сам попадет. Что касается нашей рукописи, то он продал ее Грейфу, разъезжавшему под именем «Шульца». Впрочем, оба в свою очередь обманули правительство, заявив, будто они «ухитрились получить» этот «документ» из архива «тайного» общества. Это их техническое выражение».

И действительно, изыскания, производимые по поручению Института К. Маркса и Ф. Энгельса в Венском государственном архиве и пока еще не законченные, уже установили, что по своей главной профессии Баниа был агентом австрийского правительства и что его основная задача заключалась в слежке за венгерской эмиграцией.

По всей видимости, он продал рукопись Маркса лондонским агентам прусской полиции, чтобы иметь небольшой «приработок». Но ни в делах прусской полиции, ни в обширных отчетах лондонских агентов до сих пор нельзя было обнаружить никаких следов этой сделки, как не удалось и найти приготовленную к печати рукопись памфлета.

## IX

Маркс не спешил с *публичным* разоблачением Баниа, который в начале января 1853 г. перенес арену своей деятельности в Париж, где он (согласно сообщениям Церфи) продолжал одновременно поддерживать связи с агентами Кошута и с орлеанистскими агентами. Маркс, как мы видели, некоторое время еще не считал его «настоящим» шпионом. Но и после того как в середине февраля он убедился в противном, он не считал, вместе с Энгельсом, ни своевременным, ни безусловно необходимым торопиться с публичным разоблачением. Против каких-либо подозрений по поводу его связей с Баниа он был, как выражался Энгельс, «совершенно защищен Кошутотом и Семере; раз Баниа имел рукопись Семере, то почему он не мог бы иметь и нашу?»<sup>3</sup> Публичное оглашение могло бы, далее, иметь дурные

<sup>1</sup> Маркс — Церфи от 28 декабря 1852 г.

<sup>2</sup> К. Marx, Herr Vogt, S. 214.

<sup>3</sup> Энгельс — Марксу от 10 апреля 1853 г.

последствия для кое-каких беженцев, проживавших в Париже, ибо Баниа был, повидимому, свой человек и в парижской полиции. Кроме того, Маркс имел основания рассчитывать на то, что его письма с разоблачениями махинаций Баниа сильно подорвали кредит последнего и что в той сети интриг, в которую Баниа попал, он не сможет долго продолжать свою слишком уж запутанную игру в прятки.<sup>1</sup> С другой стороны, пока Баниа оставался под крылом Кошута, было не так-то легко его дискредитировать. Но главное, что заставляло Маркса медлить с публичным разоблачением Баниа, было желание *сначала* выпустить брошюру, чтобы отнять всякую почву у подозрения, будто в выманенной у него рукописи содержались какие-нибудь доносы, какие-нибудь до того не известные полиции факты.

Но для выпуска брошюры время было в высшей степени неподходящее. У самого Маркса не было на это средств. На швейцарского издателя Шабелица, издавшего «Разоблачения о кельнском процессе коммунистов», он не мог рассчитывать, так как весь транспорт этой брошюры попал в начале марта в Бадене в руки полиции.<sup>2</sup> В Лондоне у Маркса не было ни одного издателя. Он попросил поэтому своих друзей в Америке, Клуса и Вейдемейера, позаботиться об издании брошюры. И не исключена возможность, что старания его американских друзей увенчались бы успехом: ведь как-раз в это время им удалось опубликовать «Разоблачения» в одной бостонской немецкой газете. Но еще до того, как ими были достигнуты в этом направлении какие-нибудь положительные результаты, Маркс был вынужден выступить с публичным заявлением благодаря одному шагу своего фракционного противника Виллиха.

Произошло это следующим образом:

Одним из главных сподручных полицейского комиссара Грейфа, хорошо известного по кельнскому процессу, и его агента Флери был некто Вильгельм Гирш, торговый служащий из Гамбурга, который примерно в ноябре 1851 г. эмигрировал в Лондон. Он принадлежал к той небольшой группе рабочих, которая в Лондонском рабочем союзе составляла одновременно оппозицию против руководства Виллиха-Шалпера,<sup>3</sup> и обратился в марксовский Союз коммунистов с просьбой принять его. Несмотря на то, что по справкам из Гамбурга он оказался лицом, находящимся на подозрении, его приняли, чтобы проследить за ним и удостовериться в его виновности или невиновности. Через несколько дней выяснилась его связь с полицией, и он был исключен из союза.<sup>4</sup> Гирш был подкуплен Грейфом и Флери, и именно по заказу последнего он фабриковал в течение нескольких месяцев, за сдельную плату, знаменитые «подлинные протоколы» заседания марксовского Союза коммунистов, — те самые «протоколы», которые:

<sup>1</sup> Ср. уже цитированное выше письмо Маркса Энгельсу от 23 февраля 1853 г.

<sup>2</sup> Ср. Маркс — Энгельсу от 10 марта 1853 г.

<sup>3</sup> Маркс — Энгельсу от 1 декабря 1851 г.

<sup>4</sup> Ср. *Маркс*, Разоблачения и т. д., Сочинения, т. VIII, стр. 529.

сыграли такую крупную и в конечном счете *благоприятную* для обвиняемых роль в кельнском процессе.

Фабрикацией этой фальшивки Гирш был загнан в тупик с двух сторон. Во-первых, Марксом, который поручил своим друзьям, Дронке и Имандту, взять его под обстрел и хотел мобилизовать против него лондонские суды; а во-вторых, Виллихом, который в интересах контр-разведки не порвал связей с Флери и Гиршем. Шаги, предпринятые Виллихом, быстрее привели к цели. Виллиху удалось заставить рассорившегося со своим работодателем шпиика подать в ноябре 1852 г. в один лондонский суд письменное заявление о том, что «подлинная книга протоколов» сфабрикована им и Флери.<sup>1</sup> Но ему удалось в то же время уговорить Гирша подробно описать в довольно длинной «оправдательной записке», озаглавленной «Die Opfer der Moucharderie» («Жертвы шпионской системы»), свои отношения с полицией и в частности историю знаменитой фальшивки. Виллих отвез этот документ, помеченный концом ноября 1852 г., в Америку, куда он, как известно, приехал в феврале 1853 г., и передал его в «Belletristisches Journal und New-Yorker Criminal-Zeitung» для опубликования.

В своей исповеди Гирш коснулся мимоходом и отношений Баниа с прусской полицией и с Марксом. Он писал, что Флери, следить за которым Маркс поручил Имандту, обратил внимание этого последнего на то, что «полковник *Баниа*, знакомый с Марксом, продал будто бы его письма полицейскому комиссару Грейфу; Флери сказал, что он слышал это от *Виллиха*, и прибавил, что *Марксу* следовало бы вытребовать у *Баниа* свои письма».

Еще до опубликования исповеди Гирша Маркс был информирован об ее содержании своими американскими друзьями; вероятно, им удалось даже достать для него один экземпляр этого документа или присылать ему по частям корректурные оттиски.<sup>2</sup> *Первая* часть разоблачений Гирша появилась в упомянутом нью-йоркском еженедельнике 1 апреля. Но уже 10 апреля Энгельс пишет Марксу:

«История с Баниа неприятна. Впрочем au bout du compte лучше разделиться с ним теперь, чем после. Как ты мне писал, у тебя теперь имеются полные доказательства против Баниа. К тому же теперь есть и Церфи...<sup>3</sup> Я разыщу письма Баниа и мнимого Кольмана...»

Маркс наверное получил четвертую часть исповеди, содержащую вышеприведенное место о нем и Баниа и появившуюся в нью-йоркской «Criminal-Zeitung» 22 апреля 1853 г. еще до ее появления в печати, ибо его «публичное разоблачение», подписанное его именем, было напечатано в той же газете 5 мая 1853 г.

<sup>1</sup> Ср. Маркс — Энгельсу от 10 ноября 1852 г. — «Разоблачения и т. д.», Сочинения, т. VIII, стр. 545.

<sup>2</sup> Ср. Энгельс — Марксу от 10 апреля 1853 г.

<sup>3</sup> Он находился в Лондоне с 11 февраля 1853 г.

К сожалению, текст этого публичного заявления нам неизвестен. О произведенном им впечатлении Маркс писал в 1860 г. в «Господине Фогте», что, хотя Кошут и его сторонники не отказались от Баниа, оно затруднило последнему дальнейшие операции в Лондоне (куда он вернулся в апреле из Парижа), так что он вскоре воспользовался возможностью проявить в связи с восточным кризисом свои таланты на другом поприще, поступил на службу в турецкое посольство в Париже и отплыл из Марселя в Константинополь.<sup>1</sup>

## X

После «публичного разоблачения» в нью-йоркской «Criminal-Zeitung» Маркс уже не был заинтересован в выпуске памфлета. Опубликованием всего памфлета, черновик которого находился у него в руках, он хотел отнять всякую почву для возможных подозрений. Но для этой цели оказалось достаточно опубликования «заявления». Последнее заставило противников молчать о деле, которое явным образом было им неизвестно или известно только в самых смутных очертаниях. Когда Виллих, которого Маркс жестоко отделал в своих «Разоблачениях», выступил в октябре и ноябре 1853 г. в «Criminal-Zeitung» с двумя большими статьями против «доктора Карла Маркса и его разоблачений», он не упомянул ни словом об инциденте с Баниа, так что Маркс в своем ответе, в брошюре «Рыцарь благородного сознания»,<sup>2</sup> не имел надобности останавливаться на этом эпизоде.

С другой стороны, памфлет потерял всякое актуальное политическое значение уже через несколько месяцев после своего написания. В середине 1852 г., когда он писался, эмигрантский котел еще бурно кипел. Начиная с 1852 г. все «большие» выступления, все «прочные» организации эмигрантов стали быстро рушиться друг за другом. Отзвуки кельнского процесса коммунистов заглушили жалкое хныканье, еще раздававшееся там и сям в быстро таявших рядах «р-р-революционной» демократической эмиграции.

<sup>1</sup> Там он тотчас же перешел в мусульманство и до конца жизни служил в турецкой армии под именем «Мехмед-бея». В 1855—1858 гг. он был начальником черкесских вооруженных отрядов и играл в Черкесии роль «освободителя». За тайную переписку с русским генералом Филиппсоном, ведшуюся им, как он заявил, с ведома и по поручению Кошута, он был приговорен к смерти военным судом польского легиона. Ввиду того, однако, что он был в чине турецкого полковника, приговор не был приведен в исполнение. Баниа вернулся в Константинополь и продолжал служить в турецкой армии; в последние годы своей жизни — он умер в 1868 г. — он был жандармским полковником. Маркс, внимательно следивший за похождениями этого авантюриста, не уставал разоблачать его происки в Черкесии перед европейским и американским общественным мнением. См. «The Free Press», Лондон, 1. IV. 1857 г. (т. IV, № 34, стр. 268); там же, 27. V. 1857 г. (№ 42, стр. 337); там же, 12. VI. 1858 г. (т. VI, № 16, стр. 121—125; «Recent treachery in Circassia»); там же, 30. VI. 1858 г. (№ 17, стр. 143—144); там же, 25. VIII. 1858 г. (№ 20, стр. 153—155). — «New York Tribune», 10. VI. 1858 г. — Общую характеристику «деятельности» Баниа в Черкесии Маркс дает в «Herr Vogt» (1860 г.), стр. 124 — 125.

<sup>2</sup> Переиздана Д. Б. Рязановым в VIII томе Сочин. К. Маркса и Ф. Энгельса, стр. 559—582.

С осени 1852 г. осмеянные в памфлете лица и действия уже отошли в область «истории». После напечатания «публичного разоблачения» у Маркса уже не было никакого интереса гальванизировать с помощью своей критики живые трупы «великих людей эмиграции» и их ликвидированные историей выступления.

После публичного заявления Маркса сплетни и рассказы по поводу «инцидента с Баниа» смолкли, правда, в лагере его врагов, но все же инцидент не был позабыт совершенно.

Марксу самому пришлось коснуться его в 1860 г. в своем «Господине Фогте» — в том месте, где он упрекал «сообщника» Фогта — Людвигу Кошута — в том, что он не отказался от своего «начальника полиции» Баниа, несмотря на его предательство в Черкесии. А когда в 60-х годах Маркс снова находился в центре партийной борьбы, некоторые его прстивники опять вспомнили старую историю. В бостонском «Пионере», еженедельнике *Карла Гейнца*, 28 сентября 1864 г. появилась небольшая заметка, в которой было сказано, что «из Германии сообщается как достоверный факт, что Маркс продал Штиберу рукопись об эмигрантах за 1000 талеров». Маркс не счел нужным отвечать на это. Но другой выпад заставил его нарушить свое молчание.

22 марта 1865 г. на собрании *гамбургских* членов Всеобщего германского рабочего союза *Бернгард Беккер*, тогдашний председатель союза, произнес речь, в которой обрушился на всех своих противников и в том числе на «марксову клику», т. е. на Маркса, Энгельса, Либкнехта. Между прочим он заявил:

... Где можно было сделать какое-нибудь грязное дело, там была замешана ее рука (рука «клик»)... Как черви (которые рождаются из гнили и разложения), сладострастно упивалась она взаимным самоистязанием беженцев... Маркс предложил даже через Дронке одну рукопись за 1 000 талеров, которую и купил полицейский комиссар Штибер, руководящий шпионской работой среди беженцев в Лондоне. Я думаю, что этот факт мы должны запомнить раз навсегда!..

И в заключение он резюмировал свои излияния против Маркса следующим образом:

Человек, который за все время ничего не сделал для немецких и даже для английских рабочих..., который из низкой ненависти не поддержал нашего Лассалья и косвенно уступил Штиберу одну свою рукопись за 1 000 талеров, — этот человек не встретит отклика в сердцах немецких рабочих. Пусть он забальзамирует себя со своим «Международным товариществом» или пусть он даст себя повесить, как забеспившуюся сельдь, в дымовой трубе.

Этот выпад Маркс не мог оставить без ответа ввиду упоминавшихся в нем «фактов». В своем ответе, появившемся под заглавием «Председатель человечества» в берлинской «Reform» (13 апреля 1865 г., № 88), Маркс отводит брошенное против него обвинение ссылкой на то место в «Господине Фогте», где он изложил весь инцидент с Баниа, а также на свое «публичное разоблачение» в нью-йоркской «Criminal-Zeitung».

Из письма Маркса к Энгельсу от 7 мая 1865 г. видно, что бывший член

виллих-шалперовского союза *Карл Брун*, тогдашний редактор гамбургской «Nordstern», органа лассальянцев, в одном из своих писем выдвинул против Маркса «баниевскую историю с рукописью».

Сплетни Бруна дали повод Герману Шлютеру, тогдашнему руководителю социал-демократического партийного издательства в Цюрихе, обратиться в конце 1887 г. к Фридриху Энгельсу с запросом по поводу «дела Баниа». В своем ответе (от 10 января 1888 г.) Энгельс дал удивительное по своей сжатости изложение всего инцидента:

«Искаженная Бруном история упоминается в *«Господине Фогте»*, стр. 124, примечание. Баниа прикинулся представителем одного якобы недавно обосновавшегося в Берлине издателя, Эйзермана, или что-то в этом роде, и заявил, что тот напечатает рукопись. Последняя написана Марксом и мной, и ее оригинал находится здесь, у нас. Но настоящим покупателем копии оказался Штибер, который по глупости думал, что *в рукописи, приготовленной нами для печати*, прусская полиция найдет *секретные разоблачения*, а не только осмеяние великих людей эмиграции; на самом же деле в ней, конечно, только это и было. С напечатанием нашей рукописи мы попали впросак, но по-настоящему попала впросак прусская полиция, которая никогда и не решалась похвалиться этим делом, а мимоходом попался также Кошут, который только из этого эпизода узнал, какой птице он протезировал, хотя, впрочем, он и после этого старался удержать ее при себе».<sup>1</sup>

## XI

О дальнейших судьбах «оригинала», о том, как после смерти Энгельса он попал к Бернштейну, как последний утаил его и тщательно вытравил из «Переписки» все места, имеющие к нему хоть какое-нибудь отношение, как Д. Б. Рязанов снова включил его в «литературное наследие», сделав его таким образом доступным для исторического исследования, — обо всем этом мы уже говорили в начале настоящей статьи. В заключение скажем еще несколько слов о содержании и композиции памфлета.<sup>2</sup>

Маркс и Энгельс описывают «организации» и «выступления» немецкой демократической эмиграции с начала 1850 г., т. е. с ее первых организационных попыток, до осени 1851 г., т. е. до выступления Кинкеля с планом «революционного» займа. Но они не ограничиваются изображением событий в эмигрантской среде; всякий раз, как на сцене появляется какая-нибудь

<sup>1</sup> Цитируется Д. Б. Рязановым во введении к первому тому переписки Маркса и Энгельса (в «Marx-Engels Gesamtausgabe», Dritte Abteilung, Bd. I., 1929, S. XXX).

<sup>2</sup> Рукопись состоит из 80 страниц in folio и написана в большей своей части рукою Энгельса. Дронке написаны первые восемь страниц — о дореволюционном периоде Кинкеля (до стр. 30.); Марксом только VI и VII отделы о Гейпцене и о «колонии самоотречения Струве. Все остальное написано Энгельсом, но, наверно, в тесном сотрудничестве с Марксом, который затем еще проредактировал всю рукопись и сделал в ней многочисленные поправки, стилистические и по существу.



выдающаяся фигура из числа демократических лидеров, они более или менее подробно знакомят с ней читателя, набрасывая биографический очерк, уходящий далеко вглубь домартовского прошлого, рисуя «политический портрет» данного лидера. Нельзя сказать, чтобы этот метод изложения пошел на пользу брошюре. Мы знаем, что первоначальный план заключался, согласно фиктивному заказу издателя, в том, чтобы дать серию самостоятельных «портретов» отдельных *grands hommes de l'exil*; авторы и начинают с подробной биографии Кинкеля, не упомянув ни словом об общем положении эмиграции. Однако в ходе работы они убедились, что совершенно *изолированная* трактовка отдельных лиц едва ли будет возможна, потому что эти лица участвовали в эмиграции в одних и тех же событиях и выступлениях и при описании их эмигрантского периода пришлось бы слишком часто повторяться. Поэтому Маркс и Энгельс изменили свой первоначальный план и скомбинировали биографическое изложение с историческим. Но им не удалось слить обе составные части — «портреты» отдельных вождей и описание эмигрантских движений — в одно вполне живое целое; некоторый «дуализм» сильно дает себя чувствовать в композиции памфлета. Особенно неприятно то, что материал не включен в единую *рамку*: события эмигрантской жизни вырастают из биографии Кинкеля.

Эти недостатки композиции без сомнения объясняются отчасти тем, что Маркс и Энгельс усердно старались не касаться событий внутри *пролетарской* эмиграции, внутри Союза коммунистов, хотя выступления демократов находились в тесной связи с движением пролетарских беженских масс. Это наложенное ими на себя ограничение значительно уменьшает ценность памфлета как исторического источника. Только в «Разоблачениях о кельнском процессе коммунистов» и в «Рыцаре благородного сознания», т. е. уже после того как деятельность Союза была раскрыта полицией и судебным разбирательством и проникла на страницы печати, только после этого Маркс стал писать для широкой публики о делах Союза и о проблемах строительства пролетарской партии. В середине 1852 г., в «Великих людях эмиграции», он этого еще не мог делать.

Тем не менее, ценность памфлета как *исторического документа* остается весьма значительной. О делах немецкой демократической эмиграции в Лондоне, о которых в свое время появилось в печати множество сообщений и статей, частью основанных на полицейских данных, брошюра Маркса и Энгельса дает *самый подробный связный отчет* (правда, только до осени 1851 г.), какой мы вообще имеем. В своих позднейших работах Маркс и Энгельс упоминают мимоходом о своих конфликтах с мелкобуржуазными лидерами тех годов — Маркс в «Господине Фогте» (1860 г.), Энгельс в своем введении к «Разоблачениям» (1885 г.). Наш памфлет значительно помогает понять эти позднейшие высказывания. Он дополняет одновременно или почти одновременно написанные полемические работы Маркса — «Разоблачения» и «Рыцаря». Тогда как в этих последних одна сторона партийных боев того времени, — борьба против мелкобуржуазной демократии, — за-

трагируется только мимоходом, без всяких подробностей, в «Великих людях» мы имеем памфлет, посвященный целиком этой борьбе. И хотя борьба ведется здесь не в форме теоретической и тактической дискуссии, как в первом «обращении» Центрального комитета от марта 1852 г., а в виде бичующей критики *ми*, все же принципиальная, теоретическая точка зрения здесь и там одна и та же.

Ни один из осмеянных в памфлете демократических героев не опроверг своей позднейшей деятельностью того презрения, которым заклеили их Маркс и Энгельс. Кинкель, Руге, Эдуард Мейен, Рудольф Шрамм пришли к Бисмарку, Юлиус Фаухер сделался личным секретарем Кобдена, а позднее одним из столпов самого плоского немецкого манчестерства. Гейнцен остался на всю жизнь базарно-крикливым, безмозглым пожирателем князей и коммунистов, Ронге — «самым поверхностным из подонков немецкого лжепросвещения». Виллих показал, правда, во время гражданской войны в Северной Америке, что он «не только фантазер»,<sup>1</sup> но на раз покинутый им путь рабочего движения, коммунизма, он все же так и не вернулся. Биографические исследования не смогут пройти мимо характеристики этих людей, набросанной Марксом и Энгельсом в их памфлете, равно как и историография домартовского радикализма и германской революции 1848 — 1849 годов должна будет основательно использовать весь собранный ими материал о «прошлой жизни» эмигрантских героев, особенно материал, содержащийся в очерках о Кинкеле, Руге, Гейнцене и Струве.

Подобно остальным полемическим сочинениям, а также разным историческим работам 1850 — 1852 гг. («Кампания за имперскую конституцию», «Революция и контр-революция в Германии» и т. д.), и разбираемый нами памфлет является *партийным документом*, документом партийной работы Маркса и Энгельса, направленной на сохранение и развитие самостоятельной, коммунистической, пролетарской партии, которая может отстоять себя только в неутомимой, беспощадной борьбе с мелкобуржуазной демократией. Детально изложить и проанализировать эту борьбу, которой Маркс и Энгельс отдали столько времени и энергии, — одна из важнейших задач марксологии, которой до сих пор уделяли, к сожалению, слишком мало внимания. Меринг отнесся к этой стороне деятельности Маркса и Энгельса с досадливым пренебрежением. Он был склонен считать эти бои, которые Маркс вел с глубочайшей серьезностью, какой-то печальной «беженской склокой», справедливо забытой «эмигрантской историей». Неудивительно поэтому, что он, зная, как мы видели, о существовании памфлета, написанного Марксом и Энгельсом против Кинкеля, Руге и К<sup>о</sup>, не сделал ни малейшей попытки разыскать его следы.

Как следует на самом деле оценивать, политически и исторически, эти «эмигрантские истории» и, в частности, «Великих людей эмиграции», на

<sup>1</sup> Маркс в послесловии 1875 г. к «Разоблачениям о кельнском процессе коммунистов».

этот счет мы можем привести суждение *Ленина*, высказанное им в связи с ссылкой на одно замечание Лассаля.

Когда в 1901 г. «Искра» подверглась нападкам за свою непримиримую полемику, за то, что она придает слишком большое значение спорам в лагере эмиграции, бывшим, по мнению противников «Искры», в сущности только личными или даже прямо фиктивными разногласиями, тогда Ленин напомнил об одном замечании Лассаля: «А что касается эмигрантов», — писал он, — то вот послушайте, как судил действовавший в 1852 г. среди рейнских рабочих Лассаль о спорах в лондонской эмиграции:

«Едва ли, — писал он Марксу, — со стороны полиции встретятся затруднения к изданию твоего сочинения против «великих людей» — Кинкеля, Руге и др. ... Правительство, я полагаю, даже радо появлению таких сочинений, ибо оно думает, что «революционеры перегрызут сами себя». Что партийная борьба придает партии силу и жизненность, что величайшим доказательством слабости партии является ее расплывчатость и притупление резко обозначенных границ, что партия укрепляется в том, что очищает себя, — этого чиновническая логика не подозревает и не опасается» (из письма Лассаля к Марксу от 24 июня 1852 г.).

«К сведению всех, — добавляет Ленин от себя, — столь многочисленных ныне, прекраснодушных противников резкости, непримиримости, полемического задора и пр.»<sup>1</sup>

«Сочинение», о котором пишет Лассаль и политическое значение которого не ускользнуло от пронизательного взора Ленина, и есть разысканный Д. Б. Рязановым и теперь впервые публикуемый на нижеследующих страницах памфлет «Великие люди эмиграции».

*Э. Цобель.*

<sup>1</sup> *Ленин*, Собрание сочинений, изд. 2-е, т. IV, стр. 344. — Ленин познакомился с цитируемым им письмом Лассаля из IV тома опубликованного Мерингом «Aus dem litterarischen Nachlass von Karl Marx, Friedrich Engels und Ferdinand Lassalle», Stuttgart, 1902.

«Воспой, бессмертная душа, грешных людей спасение»... через Готфрида Кинкеля.

## I

Готфрид Кинкель родился лет сорок тому назад. Жизнь его описана в автобиографии: «Готфрид Кинкель. Правда без вымысла. Биографические очерки». Издана она его бывшим учеником Адольфом Штротдманом (Гамбург, Гофман и Кампе, 1850, in 8<sup>o</sup>).

Готфрид является героем демократического зигвартовского периода, породившего в Германии столь бесконечную патриотическую тоску и слезоточивую скорбь. Дебютировал он в качестве посредственного лирического Зигварта.

Календарная отрывочность, с которой его земное существование преподносится читателю, так же как и назойливая развязность сих откровений принадлежат апостолу Штротдману, «компилятивному изложению» коего мы в дальнейшем будем следовать.

*Бонн. Февраль — сентябрь 1834 г.*

«Юный Готфрид вместе со своим другом (Паулем Целлером) изучал евангелическую теологию и трудолюбием и благочестием снискал уважение своих славных учителей (Зака, Нитча и Блека)» (стр. 5). С самого же начала мы видим его «явно погруженным в глубокие размышления» (стр. 4), «мрачным и расстроенным» (стр. 5), совсем как подобает grand homme en herbe (будущему великому человеку). «Карие, мрачно мерцающие очи Готфрида» следили за несколькими буршами «в коричневых фраках и голубых плащах». Готфрид тотчас же почувствовал, что бурши эти «стремились прикрыть внутреннюю пустоту внешним блеском» (стр. 6). Студент теологии и ученик «славного Блека», конечно, не мог при преисполняющем его сознании мировой важности его «глубоких размышлений» и «внушающего почтение благочестия» не восчувствовать нравственного возмущения по поводу коричневых фраков и голубых плащей, осмеливающихся появляться рядом с его черным кандидатским сюртуком. Его нравственное негодование (богослова, постоянно чувствующего в себе великого человека

и мечтающего о своей будущей роли) объясняется тем обстоятельством, что Готфрид «защищал Гегеля и Маргейнеке», когда эти бурши назвали последнего «пошляком». Однако впоследствии, когда он на предмет продолжения научных занятий отправился в Берлин и сам должен был кое-чему поучиться у Маргейнеке, он записал в своем дневнике следующий стишок на его счет (стр. 61):

Кто в дебри умозренья погружен,  
Ослу на чухлом пустыре подобен:  
Водимый сатаной за нос, он  
На луг цветущий выйти неспособен.

Тут Готфрид позабыл о другом изречении, когда Мефистофель издается над жаждущим познания учеником: «уничтожь же разум и науку!»

Весь назидательный рассказ о студентах служит, таким образом, лишь вступлением к тому, чтобы дать будущему освободителю мира возможность изречь следующее откровение (стр. 6).

И сказал Готфрид: «Не погибнуть этому колену, если не быть войне... Лишь сильно действующими средствами можно спасти наше погрязшее поколение!» А друг его отвечивал: «Новый потоп, и ты в нем — Ной, но во втором, исправленном издании».

Таким образом, голубые плащи помогли Готфриду провозгласить себя «Ноем второго потопа». Студент теологии, причисляющий Блека к сонму «славных учителей», обещает уже своему «погрязшему поколению» спасение при помощи «сильно действующих средств». А друг его делает по этому поводу замечание, которое можно было бы поставить в качестве эпиграфа ко всей биографии: «Отец мой и я не раз посмеивались втихомолку *над твоей способностью увлекаться неясными представлениями!*» (стр. 7).

Из всех этих прекраснородушных излиятий для меня выясняется одна, но весьма определенная мысль, а именно, что Кинкель уже в зародыше был великим человеком. Обыденнейшие вещи, происходящие с обыденнейшими людьми, становятся у него многозначительными событиями. Ничтожные радости и горести, переживаемые любым кандидатом теологии в более интересной форме, столкновения с мешанской обстановкой, на каждом шагу наблюдаемые во всякой бурсе и всякой консистории Германии, становятся роковыми и мировыми событиями, по поводу которых преисполненный мировой скорби Готфрид непрестанно рисуется. Поэтому во всех этих его излипаниях бросаются в глаза две черты — рисовка, смехотворная важность, с которой Готфрид набрасывается на малейшие пустяки, лишь бы провозгласить предчувствие своего будущего величия и заранее выставить себя в выгодном свете, — и *багвальство*, лживость, с которой он задним числом пропитывает своей *vanité* (тщеславием) незначительнейшие мелочи своего лирически-теологического прошлого. Под углом зрения этих двух главных черт мы и будем рассматривать в дальнейшем сказание о Готфриде.

Семья «друга Пауля» покидает Бонн и возвращается в Вюртемберг. Вот каким образом Готфрид изображает это событие.

Готфрид любит сестру Пауля и возвещает при этой okazji, что он «уже дважды любил». Но теперешняя любовь его — не какая-нибудь обыкновенная любовь, а «пламенное и благочестивое служение богу» (стр. 13). Готфрид в сопровождении друга Пауля совершает восхождение на гору Драхенфельс и там, среди романтической декорации, разражается следующим дифирамбом:

«Пусть отходит дружба, — во Спасителе найду я брата! Пусть отходит любовь, — невестой моей будет вера! Пусть отходит верность сестры, — я вошел в многотысячную общину праведников! Выйди же, о мое юное сердце, и научись быть наедине с твоим богом, и борись с ним, пока не одолеешь его и не наречет он тебе нового имени, имени священного Израиля, неведомого никому, кроме обретающего его! Привет тебе, величавое восходящее солнце, прообраз моей пробуждающейся души» (стр. 17).

Итак, разлука с другом служит для Готфрида поводом воспеть восторженный гимн свободной душе (причем гимн этот заносится со стенографической точностью в дневник и, по истечении нескольких десятилетий, преподносится изумленному миру через посредство подставного лица Штротдмана). Однако этого недостаточно, — другу также полагается разразиться гимном. Во время вдохновенного излияния Готфрида он говорит «приподнятым голосом, с пламенеющим лицом», «забывает о присутствии друга», «очи его искрятся», «восклицания его увлекательны» и т. д. (стр. 17), — словом, инсценируется все ветхозаветное явление Ильи-пророка.

«Со скорбной усмешкой взирал на него Пауль преданными очами и молвил: «В груди твоей бьется более мужественное сердце, нежели в моей, — ты много возвысишься надо мной, — но позволь мне быть твоим другом — хотя бы издалека». «Готфрид с радостью пожал протянутую ему руку и закрепил старый союз» (стр. 18).

В этой сцене горнего осияния Готфрид добился чего хотел. Друг Пауль, недавно еще посмеивавшийся над «пристрастием Готфрида к неясным понятиям», склоняется ниц при имени «священного Израиля» и признает превосходство и будущее величие Готфрида. Готфрид ликует и с дружеской снисходительностью возобновляет старый союз.

\* \* \*

Перемена декорации. День рождения матери Кинкеля, супруги оберкассельского пастора. Семейное торжество дает повод провозгласить, что, «подобно матери Спасителя, почтенная мать семейства именовалась Марией» (стр. 20), — явное указание на то, что Готфрид также призван быть спасителем мира. Таким образом, студент теологии на протяжении первых же двадцати страниц выставляется по поводу ничтожнейших событий *Поэм, священным Израилем, Илией и, наконец, Христом.*

\* \* \*

Готфрид, в сущности ничего не переживающий, конечно, непрестанно копается в своих «переживаниях», в различных своих ощущениях. Пиэтизм, прилипший к нему, как к сыну проповедника и будущему богослову, вполне соответствует как природной слабости его темперамента, так и жеманному самоуглублению в собственную личность. Мы узнаем, что мать и сестры были строго благочестивы и что Готфрид обладал сильным сознанием своей греховности. Столкновение этого набожного *копания в грехах* с «веселым жизнерадостным времяпрепровождением» обыкновенных студентов, — столкновение, встречающееся в жизни любого *набожного* кандидата на звание проповедника, — у Готфрида, сообразно его мировому историческому призванию, претворяется в соревнование между религией и поэзией, — и кружка пива, которую сын обер-кассельского пастора выпивает в компании других студентов, становится роковой чашей, по поводу которой борются обе души Фауста. Из описания набожной семейной жизни мы узнаем, как «мать Мария» борется с «греховным» пристрастием Готфрида к театру (стр. 28), — многозначительная раздвоенность, которая должна знаменовать призвание будущего поэта, но в действительности лишь обнаруживает склонность Готфрида к актерскому ломанию. Об его сестре Иоганне, пиэтистской мегере, рассказывают, что она однажды дала пощечину пятилетней девочке, недостаточно смирно державшейся в церкви. Грязная семейная сплетня, оглашение которой было бы непонятно, если бы в конце книги не оказалось, что именно эта сестра Иоганна ревностнее всех восставала против брака Готфрида с госпожой Мокель.

Как о значительном событии, упоминается о том, что в Зельшейде Готфрид произнес «великолепную проповедь на тему об умирающем зерне».

\* \* \*

Семья Целлеров и «возлюбленная Элиза», наконец, уехали. Мы узнаем, что Готфрид «горячо сжал руку девушки» и прошептал ей на прощанье: «Элиза, прощайте. Больше я ничего не смею сказать». За этой интереснейшей повестью следует первое зигвартовское слезоточение:

«Уничтожен!» «Безмолвно...» «Безутешная надорванность!» «Пылающее чело...» «Глубочайшие вздохи!..» «Безумнейшая боль пронизала его мозг» и пр., и пр. (стр. 37).

Вся сцена à la Илья-пророк становится, таким образом, чистой комедией, разыгранной перед самим собой и другом Паулем. Пауль вновь появляется на сцене, также в виде Зигварта, с прискорбием восседающего тут же и шепчущего ему на ухо: «сие лобзание моему Готфриду» (стр. 38).

Готфрид снова возвеселился.

«Крепче, чем когда-либо, утвердился я в том, чтобы не предстать вновь пред очи моей милой, пока не составлю себе имени» (стр. 38). Повидимому, и любовная тоска не вытесняет размышлений о будущем имени, щеголянья в кредит лавровым венком. Готфрид пользуется этим интермеццо, чтобы

с напыщенным бахвальством занести на бумагу повествование о своей любви, дабы не были утеряны для мира впечатлевающиеся в дневнике его чувствования. Однако сцена не достигла еще своего высшего напряжения. Верный Пауль принужден обратить внимание своего собирающегося перевернуть мир учителя на то обстоятельство, что, быть может, впоследствии Элиза, которая остановится в своем развитии, между тем как он сам будет развиваться дальше, перестанет его удовлетворять.

«О нет! — изрек Готфрид. — Этот небесный цветок, едва распустивший свои первые лепестки, благоухает так сладко. Что же будет, когда... пламенный луч мужской силы заставит развернуться и самое ее сердцевину!» (стр. 40).

На это грубое сравнение Пауль принужден возразить, что доводами от разума поэта не убедить.

«И все же мудрость ваша столь же мало защищает вас от жизненных случайностей, как наше *милое* безумие»... — отвечивал *с улыбкой* Готфрид (стр. 40).

Что за трогательная картина — Нарцис, улыбающийся самому себе! Мешковатый кандидат внезапно выступает в качестве милого безумца, Пауль становится Вагнером, восторгающимся великим человеком, а великий человек «улыбается», он даже «улыбается мягко и дружески». Эффект спасен.

\* \* \*

Готфриду, наконец, удается покинуть Бонн. Достигнутым им там высотам научного образования он сам подводит такой итог:

«От гегельянства я, к сожалению, отхожу все дальше и дальше; быть рационалистом — самое мое горячее желание, однако я в то же время являюсь супра-натуралистом и мистиком, а в случае надобности даже и пиезистом» (стр. 45).

К этому автопортрету прибавить нечего.

*Берлин. Октябрь 1834 г.—август 1835 г.*

Из мизерной семейной и студенческой обстановки Готфрид попадает в Берлин. Однако никаких следов влияния условий жизни большого города — по крайней мере по сравнению с Бонном, — никаких признаков участия в тогдашнем научном движении мы в повествовании не находим. Записи в дневнике Готфрида отмечают лишь настроения, переживаемые им совместно с новым *compagnon d'aventure* (товарищем по приключениям), Гуго Дюнвегом из Бармена, а также мелкие будничные заботы бедного богослова: денежные затруднения, потертые фраки, устройство в качестве рецензента и пр. Жизнь его протекает совершенно вне всякой связи с общественной жизнью города; она сосредоточена в семье Шлепинг, где Дюнвег сходит за *мейстера Вольфрама*, а Готфрид — за *мейстера Готфрида*



*Страсбургского* (стр. 67). Образ Элизы бледнеет все больше и больше; Готфрид чувствует новое увлечение — по адресу фрейлейн Марии Шлепинг; к тому же он на беду узнает о помолвке Элизы с другим и в конце концов резюмирует свои берлинские настроения и стремления в «*неясной* тоске по женскому существу, которое он мог бы назвать *вполне* своим».

Однако нельзя же покинуть Берлин без необходимого эффекта.

Перед тем, как ему покинуть Берлин, старик (режиссер) Вейс *еще раз* ввел его внутрь театра. Странное чувство обуяло юношу, когда в огромном зале, в котором расставлены бюсты германских драматургов, ласковый старик, указывая на несколько пустых еще ниш, многозначительно сказал:

«*Есть еще свободные места!*» (стр. 81).

Место для платеновского последыша Готфрида, столь невозмутимо принимающего воскуривание фимиама по поводу «будущего бессмертия» от старого шутника, — место это еще не занято.

#### *Бонн. Осень 1835 г. — осень 1837 г.*

«Постоянно колеблясь между искусством, жизнью и наукой, работая во всех трех областях без определенных стремлений, он надеялся из них всех извлечь, изучить и самому создать столько, сколько возможно было при его нерешительности» (стр. 89).

С этим сознанием нерешительного дилетантства возвратился Готфрид в Бонн. Настроение это ему, конечно, не помешало сдать экзамен на степень лиценциата и стать приват-доцентом Боннского университета.

«Ни Шамиссо, ни Кнапп не приняли посланных им стихотворений в издаваемые ими альманахи, и это очень его огорчало» (стр. 99).

Таков дебют на общественном поприще великого человека, привыкшего жить в частном кругу в кредит под будущее величие. С этого момента он окончательно становится сомнительной величиной местного значения для балующихся беллетристикой студенческих кружков, пока огнестрельное ранение в Вадене не произвело его внезапно в герои германского филистерства.

«В груди Кинкеля все больше и больше зрела тоска по верной и стойкой любви, — тоска, которую никакой работой невозможно было заглушить» (стр. 103).

Первой жертвой этой тоски явилась некая Минна. Готфрид заигрывал с Минной и для разнообразия иногда выступал в качестве сострадательного «магадо», позволяющего деве на него молиться и при этом изрекающего размышления относительно ее здоровья. Кинкель мог бы ее полюбить, если бы он был в состоянии обманывать себя насчет ее положения; но *любовь* его могла бы лишь ускорить *гибель* увядающей розы. Минна была первой девушкой, которая могла его понимать вполне; но она была бы для

него Гекубой, порождающей не детей, а огонь, и жар родителей сжег бы собственный дом, как Приам сжег Троию. Однако он не мог от нее оторваться, сердце его обливалось кровью при мысли о ней, он страдал «не от любви, а от любовного сострадания» (стр. 106).

Богоподобный герой, любовь которого, как лицезрение Юпитера, смертоносна, в действительности вульгарный, постоянно любующийся самим собою фат, при выборе невесты впервые пробуящий выступить в роли сокрушителя сердец. Тошнотворные рассуждения по поводу болезненного состояния и могущих возникнуть из него последствий при деторождении становятся тем более противными, что служат поводом к продолжению внутреннего самолюбования, и герой только тогда отказывается от них, когда находит повод для новой мелодраматической сцены.

Готфрид отправляется к одному из своих дядей, у которого только что умер сын. И у самого гроба, в жуткий полуночный час, разыгрывает он со своей кузиной, мадемуазель Элизой 2-й, сцену во вкусе опер Беллини: обручается с ней «на глазах у покойника», и на следующее утро благополучно принимается дядюшкой в качестве будущего зятя.

«Он часто думал о Минне и о том мгновении, когда он должен будет предстать пред ней, навеки для нее потерянный; однако он не страшился этого мгновения, ибо она не могла предъявлять никаких притязаний на сердце, отданное другой» (стр. 117).

Новое обручение имело значение лишь с той точки зрения, что вызвало в отношениях с Минной драматическую коллизия, в которой сталкивались «долг и страсть». Коллизия эта проводится с самой мещанской подлостью, причем герой даже перед самим собой отрицает притязания Минны на «отданное другой» сердце. При этом добродетельного мужа, конечно, нисколько не стесняет то обстоятельство, что нагать самому себе он может, только трусливо подтасовав сроки «отдания сердца».

И Готфрид примирился с интересной необходимостью разбить «бедное великое сердце»:

«После некоторого молчания Готфрид продолжал: «Кажется, я должен, милая Минна, попросить у вас прощения, — быть может, я провинился перед вами... Минна, рука эта, которую я вам вчера с такой лаской дал... эта рука больше не свободна, — я обручен!» (стр. 123).

Мелодраматический кандидат остерегается, однако, сказать ей, что обручение это произошло через несколько часов после того, как он ей «с такой лаской» дал руку.

«О, Боже!.. Минна, можете ли вы простить меня?» (стр. 123). «Я мужчина и должен оставаться верным своему долгу, — я не должен любить вас! Но я вас не обманывал» (стр. 124).

После этого добродетельного долга, выдвигаемого задним числом (и с такой неопрятной искусственностью), недостает только самого невероятного, эффектного выверта всего положения, при котором не Минна прощает его, а лицемер прощает обманутую. На этот предмет измышляется

возможность, что Минна станет «ненавидеть его издали», и к этому предположению пристегивается нижеследующая мораль:

«Это я вам охотно прощаю, и, в случае если оно так и выйдет, вы можете быть заранее уверены в моем прощении. А теперь будьте счастливы! Долг зовет меня, я вынужден покинуть вас». «И он медленным шагом вышел из беседки... С этого часа Готффрид почувствовал себя несчастным» (стр. 124).

Актер и воображаемый любовник превращается в лицемерного святошу, с елейной благостью выпутывающегося из положения. При помощи выдуманных любовных осложнений Зигварт благополучно доходит до того, что может воображать себя несчастным.

В конце концов выясняется, что все эти выдуманные любовные перипетии — не что иное, как кокетливая рисовка Готффрида перед самим собой. Все дело сводится к тому, что мечтающий о будущем бессмертии святоша смешивает ветхозаветные сказания с модными фантазиями из дешевой беллетристики Шписса, Кляурена и Крамера и наслаждается, воображая себя в роли романтического героя.

«Роясь в книгах, он наткнулся на новалисовского Офтердингена, который еще за год до того так часто его вдохновлял. Еще когда он гимназистом вместе с несколькими товарищами основал кружок, по имени «Тевтония», на предмет совместного изучения немецкой истории и литературы, он избрал себе псевдоним *Генриха фон-Офтердингена*... Теперь для него выяснилось значение этого имени. *Он казался самому себе тем Генрихом*, который томится в городке у подножья Вартбурга, и тоска по голубому цветку охватила его с непреодолимой силой. Не Минне суждено было стать, как ни допрашивал он сердце свое, сияющим сказочным цветком, и не его невесте. Углубившись в мечтания, он жадно продолжал читать, причудливый мир сказок овладел им, и он с плачем бросился в кресло, тоскуя по голубому цветку» (стр. 126 — 127).

Тут Готффрид раскрывает всю романтическую ложь, в которую он облекается; его «внутренняя сущность» сводится к склонности наряжаться в маскарадные личины. Подобно тому как он раньше называл себя Готфридом Страсбургским, так он теперь выступает в роли *Генриха фон-Офтердингена*, и ищет он вовсе не «голубой цветок», а женщину, которая согласилась бы признать в его лице этого Генриха.

Такой «голубой цветок», хотя и несколько увядший, он нашел в конце концов в некоей особе, в его и своих интересах разыгравшей с ним желаемую комедию.

Фальшивая романтика с переодеванием и карикатурой старых сказаний и приключений, подражательно переживаемых Готфридом за отсутствием собственного содержания, вся эта пустая шумиха выдуманных чувств и ходульных коллизий с Мариями, Миннами, Элизами №№ 1 и 2, — все это довело его до того, что он кажется самому себе достигшим высот гетевских переживаний. Подобно тому как Гете после любовных бурь внезапно

отправляется в Италию и там пишет свои элегии, так и Готфрид, после воображаемой любовной канители, считает себя тоже в праве совершить поездку в Рим. Гете предчувствовал появление Готфрида:

Ведь даже у кита есть вши, —  
Так мне ли быть от них свободным?

*Италия. Октябрь 1837 г. — март 1838 г.*

Путешествие в Рим открывается в дневнике Готфрида безмерно длинным описанием переезда от Бонна до Кобленца.

Новый период начинается совершенно так же, как закончился предыдущий, а именно — многозначительным применением чужих переживаний к собственной особе. На пароходе Готфрид припоминает «тонкий штрих Гоффмана», у которого «Иоганн Вахт создает художественное произведение непосредственно после того, как он пережил величайшее горе»; в подтверждение этого «тонкого штриха» Готфрид после «величайшего горя» по поводу Минны начинает думать над «давно запавшей ему в душу мыслью о написании трагедии» (стр. 140).

Во время путешествия Кинкеля из Кобленца в Рим произошло следующее:

«Ласковые письма его невесты, которые он часто получал и на которые обычно немедленно отвечал, разогнали его мрачные мысли» (стр. 144).

«Любовь к прекрасной Элизе Г. пустила глубокие корни в тоскующей душе юноши» (стр. 146).

(Готфрид сочинил новые стихи на тему о Драхенфельсе) (стр. 146).

\* \* \*

В Риме произошло следующее:

«По приезде в Рим Кинкель застал там письмо от невесты, еще усилившее чувство любви к ней, и образ Минны стал все больше и больше отступать на задний план. Сердце ему подсказывало, что Элиза может его осчастливить, и он с чистым восторгом предавался этому чувству... Лишь теперь он научился любить» (стр. 151).

Таким образом, Минна, которую он раньше любил из одного только сострадания, опять выплыла на сцену. В отношениях же с Элизой он мечтает о том, как Элиза осчастливит его, а не о том, чтобы ей дать счастье. Однако отмеченные выше фантазии о «голубом цветке» свидетельствовали о том, что сказочный цветок, к которому он чувствовал столь поэтическое влечение, не мог воплотиться ни в Элизе, ни в Минне. Вновь проснувшиеся в нем чувства по отношению к обеим девушкам создают обстановку для инсценировки новой коллизии:

«В Италии муза Кинкеля, повидимому, дремала» (стр. 151).

Почему?

«Потому что ему недоставало еще *формы*» (стр. 152).

Впоследствии мы узнаем, что в результате шестимесячного пребывания в Италии он благополучно привез в Германию «форму». И так как Гете написал свои элегии в Риме, то Готфрид тоже сочинил элегию «Пробуждение Рима» (стр. 153).

Служанка Кинкеля передала ему по приезде домой письмо от его невесты. С радостью вскрыл он его — и, вскрикнув, опустился на свое ложе». «Элиза сообщала ему, что некий доктор Д., состоятельный человек, имевший обширную практику и даже державший верховую лошадь (!!!), присватался к ней, и так как должно пройти еще не мало времени, покуда бедный богослов сумеет создать себе прочное положение, она просила его развязать узы, соединявшие их».

Полная реминисценция ненависти к людям и раскаяния...

Готфрид «уничтожен», «ужасающее окаменение», «сухие очи», «чувство мести», «меч», «грудь соперника», «кровь сердца противника», «ледяной холод», «безумная боль» и пр. (стр. 156—157).

В этих «радостях и горестях бедного богослова», несчастного кандидата, огорчает преимущественно мысль о том, что она «презрела» его из-за «проходящих земных благ» (стр. 157). Предавшись, сколько полагалось, книжным чувствам, его обуявшим, он, наконец, обрел следующее утешение:

«Она была недостойна тебя, — и тебе ведь остаются крылья гения, которые высоко вознесут тебя над мрачным горем! И когда *современем слава твоя облетит земной шар*, тогда изменница в собственном сердце найдет отмщение!.. Кто знает, быть может, пройдут годы, — и *ее дети* придут молить меня о помощи, и я не хотел бы лишиться этого» (стр. 157).

После неизбежного предвкушения «будущей славы, имеющей облететь мир», выступает пошлый лик ханжи-филистера. Он рассчитывает на то, что, быть может, впоследствии поверженные в нищету дети Элизы придут молить великого поэта о милостыне, — «этого он не хотел бы лишиться». Почему же? А потому, что «будущей славе», о которой Готфрид постоянно мечтает, Элиза «предпочла верховую лошадь», потому что ради «земных благ» она отвернулась от убогой комедии, которую ему хочется разыгрывать вокруг имени Генриха фон-Офтердингена. Еще старик Гегель правильно заметил, что благородное сознание всегда переходит в низменное.

*Бонн. Весна 1838 г. — лето 1843 г.*

*(Коварство и любовь.)*

После того как Готфрид в Италии карикатурил Гете, он по своему возвращении решил приняться за изображение шиллеровского «Коварства и любви».

Несмотря на снедаемую мировой скорбью душу, Готфрид физически чувствовал себя лучше, чем когда-либо (стр. 167). Он положил «завоевать трудом литературное имя» (стр. 169), что ему, впрочем, не помешало впо-

следствии, когда «труды» не «дали литературного имени», добыть себе более дешевое имя без труда.

«Неясное томление», с которым Готфрид постоянно гонялся за «существом женского пола», выразилось в удивительно быстрой смене обручений и помолвок. Обещание брака — классическая форма, с помощью которой сильный человек и «будущий» возвышенный ум старается завоевать и привязать к себе возлюбленных. Как только он завидит голубой цветочек, с которым он может сыграть роль Генриха фон-Офтердингена, богатая, но туманная сентиментальная канитель поэта стучается в весьма явственную мечту кандидата дополнить идеальное сродство душ узами «долга». Мещанская поспешность, с которою он à tort et à travers (подходя), чуть ли не после первой встречи, «обручается» с первой попавшейся простушкой (Gänse-und Wasserblümchen), делает еще более отвратительной ту кокетливую рисовку, с которою Готфрид непрестанно раскрывает сердце, дабы видели его «великую муку поэта».

По возвращении из Италии Готфрид, конечно, не может вновь не «обручиться». На сей раз предмет его томления прямо указывается ему его сестрицей, той самой Иоганной, благочестивый фанатизм которой уже был увековечен ранее восклицаниями в дневнике Готфрида.

«Бёгеһольд в это время как-раз объявил о своей помолвке с фрейлейн Кинкель, и Иоганна, еще навязчивее прежнего вмешивавшаяся в сердечные дела брата, по всякого рода основаниям и семейным соображениям, о которых предпочтительнее умолчать, пожелала, чтобы Готфрид в ответ на это женился на сестре ее жениха, фрейлейн Софии Бёгеһольд» (стр. 172). «Кинкель, — это разумеется само собою, — естественно почувствовал влечение к кроткой девушке... То была мягкая, невинная девушка» (стр. 173). С необычайной нежностью, — это тоже разумеется само собою, — стал Кинкель добиваться ее руки, и осчастливленные родители радостно обещали ему ее, как только, — само собою разумеется, — он добьется в жизни прочного положения и сможет предоставить своей невесте, — что опять-таки само собою разумеется, — «мирный профессорский или пасторский очаг» (стр. 174).

Склонность к браку, проявляющаяся во всех приключениях пламенного кандидата, в данном случае вылилась на бумаге в виде следующего изысканного стихика:

Мне в жизни ничего не надо,  
Лишь ручка белая нужна.

Все остальное — очи, уста, кудри — он считает «пустяками».

Мне этого всего не надо,  
Лишь ручка белая нужна.

Интрижку, которую он завязывает с фрейлейн Софией Бёгеһольд, по приказу «более чем когда-либо назойливой сестры Иоганны» и из стремления к «ручке», он называет в то же время «глубокой, тихой и мирной»

любовью (стр. 175), и выходит даже так, будто «*религиозный момент сыграл большую роль в этой новой любви*» (стр. 176).

Вообще в любовных историях Готфрида религиозный элемент постоянно сменяет элемент романтический и актерский. В тех случаях, когда ему не удается путем комедийных эффектов выставить себя в зигвартовской ситуации, на сцену выступают религиозные чувства, чтобы придать пошленьким историям высокое значение. Зигварт становится благочестивым Jung-Stilling, которому господь даровал столь чудесную силу, что три супруги погибли в его мужских объятиях, а он все же мог «сочетаться браком» с новой любовью.

\* \* \*

Мы подходим, наконец, к роковой катастрофе в этом полном театраль-ных эффектов жизнеописании, а именно к знакомству Штиллинга с Иоганной Мокель, разведенной Матье. В ней Готфрид обрел романтическое alter ego, Кинкеля женского пола, только поумнее, пожестче, менее расплывчатого и по причине зрелого возраста уже пережившего первые иллюзии.

Общего у Мокель с Кинкелем было — непризнание их со стороны света. У нее была отталкивающая и вульгарная наружность: в первом браке она была «несчастлива». Она обладала музыкальным талантом, но недостаточным, чтобы своими композициями или техническими способностями составить себе крупное имя. В Берлине, когда она вздумала было копировать устарелые детские шалости Беттины, ее постиг провал. Горький опыт ожесточил ее характер. Хотя у нее и была общая с Кинкелем черта — ломаться и будничным событиям придавать напыщенный «высокий» характер, у нее с возрастом развилась «*потребность*» (см. Штротдмана) в любви гораздо большая, нежели в поэтических разглагольствованиях о ней. То, что у Кинкеля было в этом отношении женского, у нее стало мужским. Вполне естественно поэтому, что подобного рода личность с радостью пошла на то, чтобы разыграть с Кинкелем комедию непризнанного прекрасодушия вплоть до взаимно-удовлетворяющего конца — признать Зигварта в роли Генриха фон-Офтердингена и дать со своей стороны обрести себя в качестве «голубого цветка».

Непосредственно после того, как Кинкель при помощи сестры благополучно обручился не то в третий, не то в четвертый раз, Мокель завела его в новый лабиринт любви.

Готфрид — в «верхах общества» (стр. 190), т. е. в одном из тех небольших профессорских и вообще «привилегированных» кружков маленького немецкого университетского городка, какие могут знаменовать собой нечто лишь в жизни христианско-германского кандидата. Мокель поет и пожиная лавры. За столом Готфрид оказывается ее соседом — и тут происходит следующая сцена.

«Испытываешь, должно быть, возвышенное чувство, — сказал Готфрид, — когда при всеобщем восторге носишься на крыльях гения над

радостным миром». — «Так вам кажется, — с волнением возразила Мокель. — Я слышала, что у вас прекрасный поэтический дар; быть может, вам *также* станут воскуривать фимиам... и тогда я вас спрошу, счастливы ли вы, если только я не...» — «Если я не...?» — переспросил Готфрид, когда она запнулась» (стр. 188).

Мешковатому лирическому кандидату закинута была удочка.

После сего Мокель сообщает ему, что недавно «слышала его проповедь о христианской тоске и подумала, насколько прекрасный юноша далеко отошел от мира, если он даже в ней пробудил тихое томление по невинному сну души, который некогда навевали на нее утраченные звуки веры».

Готфрид был «пленен» (стр. 189) этой любезностью. Ему было необычайно приятно «убедиться в том, что Мокель несчастлива» (там же). И он тут же решил «вновь завоевать, благодаря своему воодушевлению, этот томящийся дух для веры в спасение через Иисуса Христа» (там же). Так как Мокель католичка, то отношения завязываются на том вымышленном основании, что для «служения всемогущему» предстоит завоевать человеческую душу, — и на эту комедию охотно пошла и Мокель.

«В течение 1840 г. Кинкель получил назначение сверхштатным пастором евангелической общины в Кельне, куда он стал ездить проповедывать по воскресеньям утром» (стр. 193).

Это замечание биографа побуждает нас сказать несколько слов по поводу богословской позиции Кинкеля. «В течение 1840 г.» критика успела уже решительнейшим образом разобрать содержание христианства, научное [исследование? критика?] <sup>1</sup> в лице Бруно Вауэра вступило в открытое столкновение с государством. В это-то время Кинкель выступает в качестве проповедника, с одной стороны — без энергии правоверного, а с другой — без уменья объективно охватить теологию. Подобно Круммахеру, он строит сантиментальное декламаторски-лирическое христианство, в котором он выводит Христа в качестве «друга и учителя», отбрасывает все «некрасивое» в *форме* христианства и подменяет содержание его пустой фразеологией. Эта манера подмены содержания формой, а мысли — фразой порождена была в Германии целым рядом декламаторов-святош, что, естественно, должно было впоследствии выродиться в *демократию*. Если в теологии хоть изредка требовались хотя бы поверхностные знания, то в области демократии пустая фразеология нашла полнейшее применение, — здесь звучная, лишенная содержания декламация, *nullité sonore* (пустозвонство), вполне заменяет смысл и понимание обсуждаемого вопроса. Кинкель, богословские изыскания которого не повели его далее сантиментальных извлечений из христианского учения в изложении Кляурена, в речах и писаниях своих являл образец краснобайства с амвона, каковое краснобайство иногда обозначается именем «поэтической прозы» и курьезным

<sup>1</sup> [В этом месте рукопись надорвана, — нехватает слова. Повидимому, здесь было либо «исследование», либо «критика».]



образом явилось теперь указанием к избранию «поэтического призвания». Его поэтическое творчество состояло [не]<sup>1</sup> в насаждении подлинных лавров, а в разведении волчьих ягод, которыми он украшал будничную путь свой.

Та же душевная дряблость, стремящаяся разрешать конфликты не по существу, а по форме, проявилась и в его позиции университетского преподавателя. Уклоняясь от борьбы с цеховым педантизмом стариков, он держится «как бурш», причем доцент превращается в студента, а студент выпячивается до степени приват-доцента. Из этой школы действительно и вышло целое поколение Штроттманов, Шурцев и подобных им субъектов, которые могли в конце концов применить свою фразеологию, свои познания и свое легковесное «высокое призвание» только в сфере демократии.

\* \* \*

Новая любовная канитель приняла характер сказочки о курочке и яичке.

1840 год ознаменовал собой поворотный пункт в истории Германии. С одной стороны, критическое применение философии Гегеля к теологии и политике произвело революцию в науке; с другой стороны, с вступлением на престол Фридриха-Вильгельма IV началось брожение среди буржуазии, конституционалистские стремления которой казались вначале вполне радикальными. От неясной «политической поэзии» того времени до нового явления — революционной силы повседневной печати...

Что же делал в это время Готфрид? Мокель основала вместе с ним журнал «Maikäfer» («Майский жук»), орган «не-филистеров» и «Союза майских жуков». Задачей этого листка было «лишь доставлять раз в неделю тесному дружескому кружку веселый и приятный вечер, а также давать участникам возможность представлять свои произведения на суд благожелательных и любящих искусство критиков» (стр. 209 — 210).

Истинной же задачей «Союза майских жуков» было разрешение загадки о голубом цветке. Заседания происходили в доме Мокель и имели ту цель, чтобы в кружке малозначительных балующихся беллетристикой студентов Мокель играла роль «королевы» (стр. 210), а Кинкель — ее «министра» (стр. 252). Обе непризнанные прекрасные души нашли возможность вознаградить себя сторицей в кружке «Майских жуков» за «несправедливость», причиненную им бездушным светом (стр. 296). Они могли признавать друг друга в избранных ими ролях Генриха фон-Офтердингена и голубого цветка, и Готфрид, у которого переигрывание чужих ролей стало второй природой, должен был чувствовать себя счастливым, когда ему, наконец, удалось создать настоящий «любительский театр» (стр. 254). Ломанье комедии послужило вместе с тем вступлением к практическим последствиям: «вечера эти дали ему возможность посещать Мокель также в доме

<sup>1</sup> [Опять надорванное место — выпало слово «не».]

ее родителей» (стр. 212). Прибавим к этому, что кружок «майских жуков» был подражанием геттингенскому «Heimbund'у», с той только разницей, что последний являлся целой эпохой в развитии немецкой литературы, между тем как кружок «майских жуков» остался лишенной всякого значения провинциальной карикатурой. По свидетельству самого биографа-аполлогета, «веселые майские жуки» (стр. 254) в лице Себастьяна Лугарда, Лео Гассе, Шлёнбаха и т. д. были скучными, бледными, ленивыми и незначительными людьми (стр. 211 и 298).

\* \* \*

Готфрид, разумеется, вскоре стал заниматься «сравнительным рассмотрением» (стр. 294) своей невесты и Мокель, но пока что не имел времени заняться столь привычным ему «будничным обсуждением вопроса о браке» (стр. 219). Словом, он, подобно буриданову ослу, находился в нерешительности между двумя стогами сена. Однако Мокель, умудренная опытом и настроенная практически, «ясно узрела невидимые узы» (стр. 225); она положила помочь «случаю или персту судьбы» (стр. 229).

«Однажды, в такое время дня, когда ученая и учебная деятельность обычно не позволяла Готфриду видаться с Мокель, он отправился к ней и, тихо подойдя к ее комнате, услышал звуки жалобного пения. Он стал внимать песне:

Ты приблизишься, и мне как будто  
Заря обвевала чело.  
Неизреченные страданья, —  
Увы, тебе они чужды.

«Длительный и печальный аккорд заключил ее пенье и медленно замер в воздухе» (стр. 230 и 231).

Готфрид тихо и, как ему казалось, незаметно выскользнул на улицу. Придя домой, он решил, что создается весьма интересное положение, и стал писать отчаянные сонеты, сравнивая Мокель с Лорелеей (стр. 233). Дабы избежать чар Лорелеи и сохранить верность фрейлейн Бёгехольд, он попробовал искать места преподавателя в Висбадене, но безуспешно. К вышеописанной случайности прибавился еще другой перст судьбы, на этот раз решительный. Не только «солнце стремилось к знаку Девы» (стр. 236), но и Готфрид с Мокель совершили прогулку в лодке по Рейну, причем проходивший мимо пароход перевернул лодку, и Готфрид поплыл к берегу, держа в объятиях Мокель. «Когда он, прижимая к сердцу спасенную, приближался к берегу, его впервые осенило сознание, что одна только *эта* женщина могла даровать ему блаженство» (стр. 238).

На этот раз Готфриду удалось, наконец, пережить не воображаемую, а действительную сцену из романа — из «Сродства душ». Это и решило вопрос. Он расстался с Софией Бёгехольд.

\* \* \*

После любви — коварство. От имени консистории пастор Энгельс изложил Готффриду, что брак с разведенной женщиной, притом католичкой, недопустим для проповедника-протестанта. Готффрид ссылается на неотъемлемые права человека, с великой елейностью подчеркивая следующие пункты:

1. Нет ничего преступного в том, что он с той дамой пил кофе в Гирценкюмпхене (стр. 249).

2. Вопрос еще не решен, ибо он еще не заявлял публично ни о том, что он намерен сочетаться браком с этой дамой, ни о том, что такого намерения не имеет (стр. 251).

3. Что касается вопроса вероисповедания, то неизвестно, что покажет будущее (стр. 251).

«А теперь, прошу вас, зайдите ко мне и выкушайте чашку кофе» (стр. 250).

С такими словами «под занавес» Готффрид в сопровождении пастора Энгельса, который не в силах противостоять приглашению, покидает сцену. Так властно и так мягко умел Готффрид разрешать конфликты с существующими условиями.

\* \* \*

К характеристике того, как «Союз майских жуков» должен был действовать на Готффрида, может служить следующее:

«То было 29 июня 1841 г. В этот день должно было быть впервые отпраздновано основание «Союза майских жуков» (стр. 253). «Когда вопрос зашел о том, кому присудить премию, решение последовало единодушно. Готффрид скромно преклонил колено перед королевой, возложившей ему неизбежный лавровый венец на пылающее чело, между тем как заходящее солнце бросало жгучие лучи на просветленный лик поэта» (стр. 285).

К этому пышному увенчанию воображаемой поэтической славы «Генриха фон-Офтердингена» голубой цветок поспешил присоединить и свои собственные чувства и пожелания. В этот вечер Мокель выступила с сочиненной ею самой национальной песней «майских жуков», заканчивавшейся следующей строфой, в которой резюмировался весь ее смысл:

Какой же павлечем урок!  
Жучек, лети!  
Кто стар, тот пары не найдет, —  
Так брось сомненья и расчет!  
Жучек, лети!

Простодушный биограф замечает по этому поводу, что «содержащееся в этой строфе приглашение к вступлению в брак было совершенно не предумышленно» (стр. 255). Готффрид уразумел смысл песни, «но предпочел не торопиться уклониться» от того, чтобы в течение двух лет его в «Союзе майских жуков» увенчивали лаврами и с обожанием ухаживали за ним. На Мокель он женился 23 мая 1843 г., после того как она, хотя и была не

верующей, перешла в протестантское вероисповедание под плоским предложением, будто «протестантская церковь построена не столько на определенных формулах веры, сколько на *этических* понятиях» (стр. 315).

А вот еще один урок:  
Не верен ни один цветок.

\* \* \*

Готфрид сблизился с Мокель с намерением обратить ее от неверия к протестантской церкви. Теперь же Мокель потребовала штраусовскую «Жизнь Иисуса», вновь впала в неверие, и с стесненным сердцем... последовал он за ней по стезе сомнений в бездну отрицания. Вместе с ней он стал прокладывать себе дорогу в запутанном лабиринте новой философии (стр. 308). Таким образом, не развитие философии, в то время оказывавшей уже влияние даже на массы, а случайные настроения привели его к отрицанию.

Что он нашел в этом лабиринте философии, лучше всего видно из его собственного дневника:

«Посмотрим, однако, не отбросит ли меня великий поток от Канта до Фейербаха — к пантеизму!!» (стр. 308).

\* \* \*

Точно этот поток не отходил как раз от пантеизма, точно Фейербах представлял собой последнее слово немецкой философии!

«Краеугольным камнем моей жизни, — сказано дальше в дневнике, — является не историческое познание, а твердая система, и ядром теологии является не история церкви, а догматика» (там же).

Точно германская философия не растворяла твердые системы в историческом познании, а догматические ядра — в истории церкви! В этих признаниях сквозит вся контр-революционность демократа, для которого и само движение представляется лишь средством уцепиться за несколько неопровержимых вечных истин в качестве прибежища для лени.

Читателю предоставляется на основании вышеприведенной апологетической бухгалтерии Готфрида самому судить о его духовном развитии, — были ли скрыты революционные элементы в этом мелодраматически-актерствовавшем богослове.

## II

Так заканчивается первый акт жизни Кинкеля, и вплоть до февральской революции нет в ней больше ничего примечательного. Отметим лишь мимоходом, что книгоиздательство Котта издало его стихи, не заплатив, впрочем, сполна гонорара, и что издание так и осталось нераспроданным, пока пресловутый выстрел в Бадене не придал автору политического ореола и не создал рынка для его произведений.

Об одном характерном обстоятельстве биограф умолчал. По собственному признанию Кинкеля, ему хотелось умереть старым директором театра. Идеалом ему представляется некий Эйзенгут (старый спившийся субъект), странствовавший во главе своей труппы по рейнским городкам и в конце концов помешавшийся.

На-ряду с академическими, преисполненными проповеднического красноречия лекциями, Готфрид от времени до времени устраивал в Кельне серии теологических и эстетических художественных представлений. Он прекратил их, когда разразилась февральская революция, следующим про-рицанием: «Гром победы, раскаты которого доносятся до нас из Парижа, знаменует собой и для Германии; и для всей Европы начало нового и великого времени. За ревом грозы и бури следует блаженное дуновение свободы. Начинается великая благословенная эра — конституционная монархия».

Конституционная монархия отблагодарила Кинкеля за этот комплимент тем, что произвела его в экстраординарные профессора.

Это признание не могло, однако, удовлетворить *grand homme en herbe* (будущего великого человека). Конституционная монархия отнюдь не торопилась дать его «славе облететь земной шар». К этому прибавилось, что лавры, доставшиеся Фрейлиграту за его новые политические стихотворения, не давали спать увенчанному майскими жуками поэту. И вот Генрих фон-Офтердинген сделал поворот налево и стал сперва конституционным демократом, а затем и демократическим республиканцем *honnête et modéré* (умеренным и аккуратным). Он стал стремиться в депутаты, но на майских выборах не попал ни в Берлин, ни во Франкфурт. Не взирая на эти первые неудачи, он продолжал, однако, добиваться своей цели, и можно сказать — досталось это ему не легко. С мудрой сдержанностью действовал он сперва лишь в небольшом провинциальном округе. Он основал газету «*Vonner Zeitung*», скромный листок, отличавшийся лишь особенной бесцветностью демократической декламации и наивностью спасающего отечество невежества. Он возвысил «Союз майских жуков» до степени демократического студенческого клуба, из которого вскоре вышел сонм учеников, прославивших учителя по всем селениям Боннского округа и навязывавших господина профессора Кинкеля на всех собраниях. Сам же он подолгу беседовал с лавочниками в клубе, братски пожимал руку честным ремесленникам и продавал вразнос свой вольнолюбивый пыл даже крестьянам в Кинденихе и Зельшейде. Но особую симпатию он испытывал к честному цеху ремесленников. Вместе с ними он оплакивал падение ремесла, жестокие последствия свободной конкуренции, вновь народившееся господство капитала и машин. Вместе с ними он строил планы возрождения цехового строя и уничтожения биржевой спекуляции, и, чтобы не оставить их втуне, он изложил сущность своих клубных бесед с мастеровыми в брошюре: «Спасайся, ремесло!!»

Дабы всякому сразу ясно стало, где собственно место господина Кинкеля и какое франкфуртски-национальное значение имеет его произве-

деньце, он посвятил его «Тридцати членам хозяйственного комитета Франкфуртского национального собрания».

Исследования Генриха фон-Офтердингена о «красоте» ремесл тут же привели его к тому, что «сословие ремесленников в данный момент разделяется на две равные половины» (стр. 5). Раздвоение это состоит в том, что некоторые ремесленники «посещают клубы лавочников и чиновников» (какое великое достижение!), а другие не посещают, а также в том, что некоторые ремесленники получили образование, а другие не получили его. Несмотря на это раздвоение, автор усматривает благоприятный симптом в том обстоятельстве, что по лицу всего любезного отечества устраиваются союзы и собрания ремесленников, а также в том, что идет агитация за улучшение общего положения ремесленников (ведь памятна вся Winkelblechiade — «шумиха по закоулкам» 1848 г.). Чтобы внести и свою каплю меда в это благотворное движение, он развивает собственную программу действий.

Прежде всего автор рассматривает вопрос о том, каким образом, путем некоторых ограничений, устранить темные стороны *свободы конкуренции*, отнюдь, впрочем, ее не отменяя. И он приходит к следующим выводам:

«Законодательство должно воспрепятствовать тому, чтобы неопытные и неумелые юноши становились мастерами» (стр. 20). «У каждого мастера может быть лишь один ученик» (стр. 29).

«Для получения права обучения мастерству необходимо сдать экзамен» (стр. 30).

«На экзамене обязательно должен присутствовать мастер, у которого учился экзаменуемый» (стр. 31).

«Для обеспечения необходимой зрелости мы требуем, чтобы законодательство установило для мастеров минимальную возрастную границу в 25 лет» (стр. 42).

«Для обеспечения же высокого уровня профессиональной искусности мы требуем, чтобы и впредь каждый мастер подвергался публичному экзамену» (стр. 43). «При этом чрезвычайно важно, чтобы экзамен был совершенно бесплатный» (стр. 44). «Этим экзаменам также должны подвергнуться все местные мастера всех цехов» (стр. 55).

Друг Готфрид, сам промышленный политиком вразнос, в других областях желает отменить «торговлю бродячую или вразнос» как неблагоприятную (стр. 60).

«Фабрикант ремесленных изделий стремится создать себе состояние и извлечь из своего дела выгоду, обманывая своих кредиторов. Такое деяние (как все двусмысленное) обозначают заморским именем: это называется банкротством. Поэтому он быстро перекидывает готовые изделия в соседние местности и старается их немедленно сбыть тому, кто предлагает наибольшую цену» (стр. 64). Распродажи эти «представляют собой способ разделываться с обязательствами, услужливо подсовываемый нам нашим милым соседом, торговым сословием», и их необходимо отменить. (Не проще ли

было бы, друг Готффрид, смотреть в корень вещей и отменить самое банкротство?)

«С ярмарками — дело другое» (стр. 65). «При этих обстоятельствах законодательство должно предоставить отдельным местностям самим решать, — по обсуждению на общих собраниях всего гражданского населения по большинству голосов, — вопрос о том, желательна ли сохранить ярмарку или отменить ее» (стр. 68).

Готффрид переходит затем к сложному и спорному вопросу об отношениях между ремеслом и машинной работой и по этому поводу преподносит нам следующие рассуждения:

«Пусть каждый, кто продает готовые изделия, держит на складе *лишь то, что он может произвести сам собственными руками*» (стр. 80). «От того, что произошло разделение между машиной и ремеслом, оба пошли не по надлежащему пути и сбились» (стр. 84). Объединить их он хочет таким путем, чтобы ремесленники — например переплетчики данного города — образовали товарищество и общими силами приобрели машину. И так как они пользуются машиной только для себя и только для определенного задания, они могут производить дешевле, нежели владеющий фабрикой торговец» (стр. 85).

«Капитал можно сломить ассоциациями» (стр. 84) (а ассоциацию можно сломить капиталом). Мысль свою «о приобретении машин для линования, обравнивания и резания картона» (стр. 85) объединенными дипломированными переплетчиками города Бонна он тотчас же расширяет до общего для всего города «машинного отделения» переплетного ремесла. Союз объединенных цеховых мастеров должен всюду устроить отделения наподобие фабрик частных владельцев, с тем чтобы отделения эти работали исключительно по заказу местных мастеров и не принимали никакой работы от других работодателей (стр. 86). Любопытнее всего в таком машинном отделении то, что «коммерческое ведение дела» необходимо «только вначале» (там же). «Всякая мысль, столь же новая, как и предлагаемая, — восклицает упоенный восторгом Готффрид, — должна быть обдумана и взвешена до мельчайших практических подробностей ранее, нежели она может быть осуществлена. Обдумывание, — замечает он, — должно производиться каждым цехом в отдельности» (стр. 87—88).

Сюда же приплетена полемика по поводу конкуренции, чинимой государством, пользующимся работой заключенных, приплетены реминисценции о колонии преступников («создание человеческой Сибири», стр. 102), а также выпады против «так называемых ремесленных команд и ремесленных комиссий» в военном деле. А именно, желательно тяготы военщины смягчить для ремесленного сословия тем, чтобы государство приобретало у ремесленников материалы по более дорогой цене, нежели оно их может само изготовить.

«Таким образом, отпали бы вопросы конкуренции» (стр. 109).

Второй основной вопрос, к которому затем переходит Готффрид, это —

материальная поддержка, которую государство должно оказывать ремесленному сословию. Готфрид, оценивающий государство исключительно с точки зрения чиновника, придерживается того мнения, что ремесленнику легче всего можно помочь ссудами из государственной казны на устройство касс взаимопомощи, ремесленных управ и пр. О том же, откуда казна должна черпать потребные на это средства, он не желает задумываться, ибо это ведь «некрасивая» сторона вопроса.

Напоследок наш богослов не может, конечно, избежать того, чтобы вновь не впасть в роль проповедника нравственности и не прочесть сословию ремесленников назидательную лекцию о том, каким образом оно само должно справиться с бедой. Сперва идут жалобы на «постоянные займы и списывание со счетов» (стр. 136), причем ремесленнику задается такого рода вопрос: «придерживаешься ли ты, друже, одинаковых и неизменных цен на работы, которые поставляешь?» (стр. 132). По этому поводу ремесленнику особо вменяется в обязанность не требовать чрезмерных цен от «богатых англичан». «Корень всего зла, — догадывается Готфрид, — заключается в годовых счетах» (стр. 139). Затем следуют сетования по поводу страсти к нарядам жен ремесленников и приверженности самих ремесленников к пивным (стр. 140 и далее).

Средства же, которыми ремесленное сословие само может улучшить свое положение, таковы: «объединение в цехи, больничные кассы, ремесленные третейские суды» (стр. 146) и рабочие просветительные союзы (стр. 153). Последним словом таких просветительных союзов является следующее: «наконец, пение в соединении с декламацией перекидывает мост к *драматическим представлениям и к ремесленному театру*, который необходимо постоянно иметь в виду, так как он является конечной целью этих эстетических стремлений. Только тогда, когда трудящиеся классы вновь начнут *двигаться по сцене*, их художественное воспитание будет закончено» (стр. 174 — 175).

Таким образом Готфрид благополучно превратил ремесленника в комедианта и приблизил его к самому себе.

Все это заигрывание с цеховыми поползновениями боннских ремесленников имело, однако, в виду весьма ощутительные результаты. Клятвенно обещавшись стоять за введение цехового устройства, друг Готфрид добился того, что был избран депутатом от Бонна в дарованную сверху вторую палату. «С этого мгновения Готфрид стал чувствовать себя счастливым».

Он немедленно отправился в Берлин, и так как он, повидимому, предполагал, что правительство намерено учредить в лице второй палаты постоянный «цех» дипломированных законодателей, он там устроился как на постоянное жительство и решил выписать к себе жену и ребенка. Однако палату распустили, и друг Готфрид после непродолжительных парламентских наслаждений вернулся в горестном разочаровании к Мокель.

Вскоре после этого разразился конфликт между правительствами и Франкфуртским собранием, после чего начались брожения в Южной



Германии и на Рейне. Отечество позвало, — и Готффрид последовал его зову. В Зигбурге находился цейхгауз запаса, — и Зигбург был тем местом, где Готффрид, после Бонна, чаще всего сеял семена свободы. Поэтому он в союзе со своим другом, отставным поручиком Аннеке, призвал всех своих верных сподвижников к походу на Зигбург. Местом условленной встречи был понтонный мост. Собраться должно было больше сотни человек. Но когда, после долгого ожидания, Готффрид пересчитал своих милых соратников, их оказалось еле-еле тридцать человек, и в том числе — к вечному позору «Союза майских жуков» — всего-навсего три студента! Однако Готффрид во главе этой горсточки людей храбро перешел через Рейн и направил стопы свои в Зигбург. Ночь была темна и дождлива. Вдруг позади храбрецов раздался конский топот. Храбрецы попрятались по боковым дорогам, и мимо них проскакал конный патруль. Низкие доносчики разболтали тайну задуманного предприятия. Власти были предупреждены, поход не удался, — пришлось разойтись. Горе, стеснившее в эту ночь грудь Готффрида, можно сравнить лишь с той болью, которую он ощутил, когда и Кнапп, и Шамиссо отказались дать приют его поэтическим излипаниям в своих «Альманахах муз».

После вышеописанного оставаться в Бонне было для него невыносимо. Но разве Пфальц не представлял собой для него широкого поля деятельности? Он отправился в Кайзерслаутерн, и так как надо же было ему занять какой-либо пост, то ему дали в военном ведомстве синекуру (по слухам, ему поручили управление морскими делами); хлеб же он зарабатывал себе привычной для него разносной торговлей среди окрестных крестьян свободой и народным благом, причем, опять-таки по слухам в некоторых реакционных кругах, это окончилось для него не совсем благополучно. Несмотря на эти мелкие неудачи, Кинкеля можно было видеть повсюду шествующим по столбовым дорогам, с дорожной сумкой на плечах, и с тех пор все газеты так его и изображают — с дорожной сумкой.

Однако движение в Пфальце быстро закончилось, и мы видим Кинкеля уже в Карлсруэ, причем вместо дорожной сумки у него на плече мушкет, который отныне становится его постоянным знаком отличия. Говорят, что у мушкета этого была и весьма красивая сторона, а именно — приклад из красного дерева. Очевидно, то был изящный художественный мушкет. Некрасивой стороной его было, впрочем, то, что друг Готффрид не умел ни заряжать, ни прицеливаться, ни стрелять, ни маршировать. По вышеизложенным причинам, один из его приятелей спросил: зачем же, собственно, он рвется в бой, — на что Готффрид отвечивал: «А как же, в Бонн возвратиться я не могу, — нужно же мне жить!»

Итак, Готффрид вступил в ряды воинов, в корпус рыцарственного Виллиха (с которым нам предстоит еще познакомиться поближе). Различные товарищи Готффрида по оружию стараются нас убедить в том, что он разделял все тяготы этой дружины, скромно и на правах добровольца, постоянно приветливый и ласковый как в удаче, так и при неудаче, однако по большей

части присаживаясь на телегу для отставших. При Раштатте этому исповеднику правды и права предстояло подвергнуться испытанию, из которого он впоследствии, на удивление всему немецкому народу, вышел незапятнанным мучеником. Точные обстоятельства этого события до сих пор не установлены с полной достоверностью; уверяют только, что когда взвод добровольцев рассыпался в стрелковую цепь, их стали обстреливать с фланга, причем шальная пуля задела голову Готфрида, и он упал, восклицая: «я убит!» Рассказывают также, что хотя убит он не был, однако отступить вместе с остальными не мог, почему и был препровожден в близлежащую крестьянскую избу, где он заявил простодушным обитателям Шварцвальда: «спасите меня: я — известный Кинкель». Кончилось, как говорят, тем, что здесь его настигли пруссаки и увели в вавилонское пленение.

### III

Со времени пленения в жизни Кинкеля начался новый период, составляющий в то же время эпоху в истории развития немецкого мещанства. Как только в «Союзе майских жуков» узнали, что Кинкель взят, — во все немецкие газеты полетели сообщения о том, будто великий поэт Кинкель может угодить под расстрел и что германский народ, в особенности образованные слои его, в частности же жены и девы, обязаны принять все меры к тому, чтобы спасти жизнь плененного поэта. Сам он, как уверяют, сочинил в это время стихотворение, в котором сравнивает себя со «своим другом и учителем Христом» и говорит о самом себе: кровь моя прольется за вас. С этого момента атрибутом его становится лира. Таким образом, Германия вдруг узнала, что Кинкель был поэтом, великим поэтом, и вся масса немецкого мещанства и все эстетствующие бездельники в течение некоторого времени принимали участие в разыгрываемой нашим Генрихом фон-Офтердингеном комедии о голубом цветке.

Тем временем пруссаки предали его военному суду. Это дало ему повод впервые после долгого перерыва вновь выступить с чувствительным призывом к слезным железкам аудитории, наподобие тех призывов, которые, по свидетельству Мокель, так великолепно удавались ему в бытность его сверхштатным проповедником в Кельне, причем Кельну суждено было вскоре вновь наслаждаться наиболее блестящими его достижениями на этом поприще. Он произнес перед военным судом защитительную речь, которая, благодаря бестактности одного из его друзей, к сожалению, вскоре стала известна широкой публике через посредство берлинской «Abendpost». В этой речи Кинкель «протестует против смешения его действий с грязью и тиной, которая, к сожалению, впоследствии примазалась к революции».

После этой крайне революционной речи Кинкель был приговорен к двадцати годам заключения в крепости, а затем получил помилование, — крепость была заменена каторжной тюрьмой. Он был переведен в Наугард,

где, по слухам, его заставляли прясть шерсть, почему вместо чемодана, потом мушкета, затем (в первое время его заключения) лиры его атрибутом отныне является *прялка*. Впоследствии мы увидим, как он переплывает океан с новым атрибутом — денежной сумкой.

Между тем в Германии произошли чрезвычайные события. Немецкий мещанин, как известно, по природе прекраснодушный, потерпел, благодаря тяжелым ударам 1849 г., крушение сладчайших своих иллюзий. Ни одна из надежд его не оправдалась, и даже в мятущейся груди юношей стали зарождаться сомнения относительно судеб отечества. Тоскливое уныние овладело всеми сердцами, и всюду стали жаждать Христа демократического, действительного или воображаемого страдальца, который с кротостью агнца нес бы на себе грехи мещанства и в страданиях которого обостренно проявлялась бы хроническая и бездеятельная тоска филистера.

«Союз майских жуков» с Мокель во главе взялся за удовлетворение этой назревшей потребности. И в самом деле, кто мог бы быть более подходящим для исполнения этой филистерской комедии страстей, нежели плененный страстоцвет (*Passiflore*) Кинкель с его прялкой, этот неиссякаемый источник слез и чувствительных переживаний, объединявший, кроме того, в своем лице проповедника, профессора изящных искусств, депутата, политического разносчика, мушкетера, новоявленного поэта и старого театрального директора? Кинкель был героем времени, и, как таковой, он был немедленно прославлен во всех газетах и принят немецким мещанством.

Все газеты были испещрены анекдотами, характеристиками, стихами, воспоминаниями о плененном поэте. Его тюремные испытания изображались в небывалом, сказочном виде. Раз в месяц волосы его, по сообщению газет, обязательно седели. Во всех мещанских клубах и за всеми чайными столами о нем вспоминали с прискорбием. Барышни хорошего тона вздыхали над его стихами, и все девы, познавшие тоску, оплакивали в разных городах отечества его надломленные мужественные силы. Все прочие, не-священные жертвы движения, расстрелянные, павшие, плененные, исчезали перед единым агнцем, перед мужем, покорившим сердца филистеров мужского и женского пола, и лишь о нем проливались потоки слез, на которые, впрочем, он один и был в состоянии должным образом ответить. Словом, то был в полной мере *демократический зигвартовский период*, ни в чем не уступавший зигвартовскому периоду предшествовавшего столетия; и Зигварт-Кинкель никогда и нигде не чувствовал себя так хорошо, как в этой роли, в которой он казался великим не тем, что он делал, а тем, чего не делал, великим не силой и сопротивлением, а слабостью и бездейственной распущенностью. И в этой роли задача его состояла только в том, чтобы терпеть, терпеть с чувством и толком. Умудренная же опытом Мокель сумела извлечь практическую выгоду из мягкотелости публики и немедленно организовала весьма энергичное попрошайничество. Она наладила новое издание всех напечатанных и ненапечатанных произведений Готфрида,

которые вдруг приобрели ценность и вошли в моду, и стала их рекламировать. Она воспользовалась случаем пристроить и свои собственные опыты из мира насекомых, как, например, историю светлячка, майского жука. Штротмана она заставила за хорошие деньги проституировать перед публикой интимнейшие записи из дневника Готфрида. Она устраивала всякого рода сборы и с несомненной деловой ловкостью и большой выдержкой сумела претворить мягкие чувства образованного общества в твердые галеры. При этом она, вдобавок ко всему прочему, испытывала удовлетворение «ежедневно видеть у себя в маленькой комнатке величайших людей Германии, как, например, Адольфа Штара».

Высшего напряжения зигвартовское помешательство достигло во время судебного процесса в Кельне, где весной 1850 г. Готфрид выступал на гастролях. Рассматривался процесс о нападении на Зигбург, и Кинкеля перевели в Кельн. Так как в настоящем очерке дневник Готфрида играет вообще столь значительную роль, то здесь вполне уместно будет привести отрывок из дневника одного из очевидцев дела (записи велись в Кельне во время процесса):

«Жена Кинкеля, совсем помешанная женщина, навестила его в тюрьме. Она приветствовала его через решетку в стихах, он отвечал, если не ошибаюсь, гекзаметром. После этого оба пали на колени друг перед другом, и тюремный надзиратель, старый фельдфебель, стоявший поодаль, не знал, имеет ли он дело с сумасшедшими или с комедиантами. Когда впоследствии прокурор спросил его, о чем говорилось при свидании, надзиратель объяснил, что хотя и говорили они по-немецки, тем не менее он не понял ни одного слова. На это госпожа Кинкель якобы заметила, что нельзя же назначать надзирателем человека, литературно и художественно совершенно необразованного».

«Перед присяжными Кинкель выступил в роли источника слез, или литератора зигвартовского периода времен «Страданий молодого Вертера». «Господа судьи, господа присяжные, глаза-незабудки моих детей... зеленые волны Рейна... нет унижения в том, чтобы пожать руку пролетария... бледные уста плененного мужа... мягкий воздух отечества... и прочая дрянь, — такова была вся прославленная речь, над которой и публика, и присяжные, и прокурор, и даже жандармы проливали горькие слезы, и судебное заседание закончилось единогласным оправданием и всеобщими вздохами и стенаньем. Кинкель, конечно, хороший, добрый человек, но в общем это все же тошнотворная смесь религиозных, политических и литературных воспоминаний». Слишком это отвратительно...

К счастью, этот горестный момент скоро закончился романтическим освобождением Кинкеля из тюрьмы в Шпандау. При этом освобождении повторилась история Ричарда Львиное Сердце и Блонделя, с той только разницей, что в данном случае Блондель сидел в тюрьме, а Львиное Сердце играл на шарманке; Блондель был просто мелким пиятой, а Львиное Сердце в сущности тоже не отличался особой отвагой. Львиным Сердцем

был студент Шурц из «Союза майских жуков», интриган с большой амбицией и малыми способностями, достаточными, однако, для того, чтобы ясно рассмотреть «германского Ламартина». Вскоре после освобождения студент Шурц заявил в Париже, что Кинкель, конечно, не *lumen mundi* (светоч мира), между тем как именно он, Шурц, а не кто иной, призван быть будущим президентом германской республики. Этому-то человеку, одному из тех студиозусов «в коричневых фраках и голубых плащах», за которыми уже некогда следили мрачно-мерцающие взоры Готфрида, удалось освободить Кинкеля, — правда, за счет горемыки — тюремного служителя, который теперь отсиживается, но с сознанием, что он является мучеником за свободу Готфрида Кинкеля!

В Лондоне мы застаем Кинкеля, благодаря его тюремной славе и слезливости немецкого мещанства, в качестве величайшего человека Германии. Друг Готфрид, сознавая свое высокое призвание, сумел использовать все выгоды положения. Романтические обстоятельства его освобождения дали новый толчок модному увлечению Кинкелем на родине, — увлечению, которое, будучи весьма ловко направлено, не преминуло дать ощутительные материальные результаты. В то же время мировая столица представляла для прославленного героя новое и обширное поле для инсценировки новых прославлений. Было ясно: ему нужно было сделаться героем сезона. С этой целью он на время отказался от всякой политической деятельности и, запершись дома, прежде всего позаботился о том, чтобы отрастить себе бороду, без которой, как известно, не бывает пророка. Затем он побывал у Диккенса, в редакциях английских либеральных газет, у немецких коммерсантов Сити, главным образом у тамошних эстетствующих евреев. Для всех он был един во всех лицах, для одного — поэтом, для другого — патриотом вообще, для третьего — профессором изящных искусств, для четвертого — Христом, для пятого — великолепным страдальцем Одисеем, но для всех одинаково — кротким, артистическим, благожелательным и приветливым Готфридом. Он не мог успокоиться до тех пор, пока Диккенс не прославил его в «Household Words», пока «Illustrated News» не поместили его портрета. Он поставил на ноги немногочисленных лондонских немцев, издав далеко тоже принимавших участие в кинкелевской шумихе, и заставил их, якобы, упросить себя прочесть ряд лекций о современной драме, причем билеты на эти лекции в огромном количестве рассылались немецким коммерсантам на дом. Он не пренебрегал ни беготней, ни рекламой, ни шарлатанством, ни назойливостью, ни пресмыкательством перед этой публикой. Зато и успех был полный. Готфрид самодовольно купался в лучах собственной славы и любовался на себя в огромном зеркале Хрустального дворца, и чувствовал он себя, можно сказать, необыкновенно хорошо.

Лекции его не прошли незаметно (см. «Kosmos»: *О лекциях Кинкеля*).

«Когда я как-то рассматривал картины Деблера, мне пришла в голову курьезная мысль, — можно ли передать «словами» такие хаотические

произведения, можно ли «рассказать» туманные картины? Правда, критику неприятно с первых же слов признаться, что в таких случаях критическое чутье всегда вибрирует в наэлектризованных нервах волнуемыми отзвуками, точно отлетающий звук замирающей ноты, скользящий по струнам. Поэтому я предпочитаю отказаться от скучного педантического анализа ученой бесчувственности, и не буду пытаться продлить тон, который очаровательная муза германского эмигранта окисляет в игре внутреннего *восприятия*. Основной тон кинкелевских образов, постоянно повторяющиеся его аккорды, это — звучное, творческое, созидательное, постепенно выявляющееся «слово» — «современная мысль». Человеческое «суждение» этой мысли выводит истину из хаоса лживых традиций и ставит ее в качестве неприкосновенной всеобщей собственности под защиту одухотворенных логических меньшинств, которые возвышают ее от верующего незнания до степени еще более верующего знания. На долю научного неверия выпадает профанировать мистицизм религиозного обмана, подрывать основы абсолютизма поглупевшей традиции при помощи скепсиса, — этой неустанно работающей философской гильотины, обезглавить авторитеты и путем революции вывести народы из пут теократии на цветущие поля демократии. Постоянное и упорное изучение летописей человечества, как и понимание самих людей, является величайшей задачей всех сторонников переворота, и это ясно сознал изгнанник, мятежный поэт, который в течение трех недавних майских вечеров развивал перед буржуазной публикой свои «*dissolving views*» (разрушительные идеи), рисуя историю современного театра).

Многие утверждали, что уже по выражениям «сфера резонанса», «отлетающий звук», «аккорды» и «наэлектризованные нервы» можно было догадаться, что лекции составляло весьма близкое Кинкелю лицо, «один работник», и что этим «работником» была Мокель.

Но и этому периоду в поте лица доставшегося самолюбования тоже не суждено было долго длиться. Судный день существующего порядка, страшный суд демократии, столь прославленный месяц май 1852 г. все больше приближался. Чтобы встретить этот великий день в полном вооружении, Готфриду Кинкелю нужно было вновь облачиться в свою политическую львиную шкуру, нужно было завязать сношения с «эмиграцией».

Здесь мы переходим к ознакомлению с лондонской «эмиграцией», — этой мешаниной из бывших членов Франкфуртского парламента, Берлинского национального собрания и палаты депутатов, джентльменов баденской кампании, великанов комедии имперской конституции, литераторов без читателей, крикунов из демократических клубов и съездов, газетных писак двенадцатого сорта и т. п. Так как мы сейчас занимаемся преимущественно рассмотрением жизни, мыслей и действий Кинкеля, то об остальных великих людях и героях мы можем лишь упомянуть вскользь, что нам, однако, не помешает воздать им по справедливости в дальнейшем.

Великие люди Германии 1848 г. казались обреченными на бесславный конец, когда победа «тирана» спасла их, выкинув их за границу и сделав

из них мучеников и святых. Их спасла контр-революция. Условия развития континентальной политики привели большинство из них в Лондон, ставший, таким образом, их центральным сборным пунктом в Европе. При таком положении разумелось само собой, что что-то должно прсизойти, что-то нужно предпринять, чтобы изо дня в день напоминать публике о существовании этих освободителей мира. Во что бы то ни стало надо было воспрепятствовать тому, чтобы казалось, что мировая история может двигаться вперед без помощи этих тиранов. Чем больше этот человеческий хлам терял возможность — отчасти из-за собственного бессилия, отчасти из-за внешних условий — делать действительное дело, тем ревностнее надо было заниматься никчемной, призрачной деятельностью, воображаемые акты которой, воображаемые партии, воображаемые битвы и воображаемые интересы столь напыщенно воспевались ее участниками. Чем бессильнее они были действительно подготовить новую революцию, тем больше приходилось им лишь учитывать эту будущую возможность, заранее распределять места и наслаждаться предвкушением власти.

Все это беспочвенное важничанье вылилось во взаимное страхование на звание великих людей, во взаимное гарантирование будущих правительственных постов.

#### IV

Первая попытка подобной «организации» была сделана уже весной 1850 г. В то время по Лондону распространялся напечатанный на правах рукописи напыщенный «Проект циркуляра к германским демократам», вместе с «сопроводительным письмом к вождям». В этом циркуляре и сопроводительном письме заключался призыв к созданию единой демократической церкви. Ближайшей целью выдвигалось создание центрального бюро по делам германской эмиграции, по управлению всеми делами эмигрантов, учреждение книгопечатни в Лондоне, объединение всех фракций против общего врага и пр. Затем эмиграция должна была стать руководящим центром движения внутри страны; организация эмиграции должна была положить начало широкой организации демократии. Не располагавшие личными средствами выдающиеся личности должны были в качестве членов Центрального бюро оплачиваться за счет регулярных взносов, собираемых среди немецкого народа. Такие сборы казались тем более уместными, что «германская эмиграция прибыла за границу не только без сколько-нибудь яркого героя, но также, — что было значительно хуже, — без общей *материальной основы*». Мы не ошибемся, предположив, что существовавшие уже венгерские, польские и французские комитеты послужили образцами для этой «организации», и некоторая зависть к привилегированному положению этих выдающихся союзников проглядывает на протяжении всего документа. Циркуляр явился результатом общего творчества господ Рудольфа *Шрамма* и Густава *Струве*, за спиной которых скрывалась, в ка-

честве члена-корреспондента, веселая фигура проживавшего тогда в Остенде господина Арнольда *Ruge*.

Г. Рудольф Шрамм, болтливый забияка, манекен с чрезвычайно слуханными понятиями, избрал себе девизом жизни цитату из «Племянника Рамо»: «Я скорее согласен быть нахальным болтуном, нежели вовсе не быть». Он был прусским профессором. Господин Кампгаузен, находившийся на вершине своей славы, охотно бы предоставил молодому, развязному крефельдцу ответственный пост, если бы допустимо было так возвысить простого референдаря. Таким образом, благодаря бюрократическому этикету для г. Шрамма оставалась открытой лишь демократическая карьера. На этом поприще он даже однажды попал в председатели демократического клуба в Берлине, и впоследствии, при поддержке нескольких левых депутатов, был избран от Штригау в Берлинское национальное собрание. Здесь словоохотливый Шрамм отличался упорным, хотя и сопровождаемым постоянной воркотней молчанием. После разгона конститутанты демократический избранник народа написал конституционно-монархическую брошюру, однако вновь избран не был. Позже, при правительстве Брентано, он вынырнул на короткое время в Бадене и там, в «Клубе решительных прогрессистов», познакомился со Струве. Приехав в Лондон, он объявил, что решил отказаться от всякой политической деятельности, почему и выпустил немедленно вышеупомянутый циркуляр. Будучи в сущности неудавшимся бюрократом, г. Шрамм воображает, вследствие некоторых семейных обстоятельств, что он представляет элемент радикальной буржуазии в эмиграции, в которой он действительно не без успеха изображает собой карикатуру радикального буржуа.

*Густав Струве* принадлежит к числу более значительных фигур эмиграции. Его лицо, цветом своим напоминающее сафьяновую кожу, его выпученные, хитренькие, но глуповатые глаза, его мягко светящаяся лысина, его славяно-калмыцкие черты сразу изобличают в нем человека необыкновенного, причем впечатление это усиливается еще благодаря глуховатому гортанному голосу, прочувствованной елейности речи и торжественной важности манер. Впрочем, воздавая должное истине, надобно отметить, что Густав наш, принимая во внимание, что в наше время все труднее становится как-нибудь проявить себя, старается отличиться от своих сограждан хотя бы тем, что выступает в роли то пророка, то промышленника, то мозольного оператора, своей основной профессией избирает самые причудливые занятия и ведет пропаганду за самые разнообразные выдумки. Так ему внезапно пришло в голову воспламениться, в качестве уроженца России, воодушевлением за свободу Германии как-раз после того, как он занимал какую-то сверхштатную должность при русском посольстве и написал небольшую брошюрку в защиту интересов Союзного сейма, при котором посольство было аккредитовано. Так как он свой собственный череп почитал образцом нормального человеческого черепа, он стал увлекаться краниоскопией, и с тех пор не доверял никому, чьего черепа он предварительно



не оцупал и не изучил. Кроме того, он перестал употреблять в пищу мясо и стал проповедывать евангелие исключительно растительного питания. Был он также и предсказателем погоды, возмущался курением табака и вел деятельную агитацию в интересах морали германского католицизма, равно как и в пользу водолечения. При великой его ненависти ко всякому положительному знанию он, разумеется, увлекался идеей свободных университетов, в которых, вместо предметов обычных четырех факультетов, должны были преподаваться крианоскопия, физиогномика, хиромантия и некромантия. Вполне подходило к нему и то чрезвычайное упорство, с которым он пытался прослыть великим писателем, — конечно, именно потому, что манера его писания противоречила всему, что принято называть стилем.

Уже в начале 40-х годов Густав изобрел «*Deutscher Zuschauer*», «Германского зрителя», издававшийся им в Маннгейме листок, который он считал своей монополией и который, точно навязчивая мысль, всюду преследовал его. Кроме того, он уже тогда сделал открытие, что обе книги, составлявшие для него ветхий и новый завет, а именно «Всемирная история Роттека и «Словарь государственных наук» Роттека-Валькера, утратили характер современности и нуждались в новом, *демократическом*, издании. Обработка эта, за которую Густав немедленно принялся (к сожалению, после февральской революции), поспешив выпустить выдержки из нее под названием «Основы государственных наук», — обработка эта «после 1848 г. стала неотложной необходимостью, ибо покойный Роттек не проделал опытов последних лет». (Этот демократический перевод Библии также преследовал его, точно навязчивая мысль, и с некоторым осуществлением его нам придется еще познакомиться.)

Тем временем вспыхнули одно за другим три баденских «народных восстания», изображенные самим Густавом как центр всего современного исторического мирового движения. Попав немедленно после первого же геккеревского восстания в эмиграцию и занявшись в Базеле возобновлением выпуска «Германского зрителя», он пережил тяжелый удар, а именно узнал, что маннгеймский издатель «тамошнего» «Германского зрителя» собирается продолжать выпуск его под другой редакцией. Борьба между подлинным и самозванным «Германским зрителем» была столь ожесточенной, что погибли в ней оба. Зато Густав составил конституцию для германской федеративной республики, согласно которой Германия должна была быть разделена на двадцать четыре республики, каждая со своим президентом и двумя палатами. К конституции приложена была отлично выполненная карта, на которой ясно отмечено было предполагаемое распределение территории.

В сентябре 1848 г. началось второе восстание, в котором наш Густав объединял в своем лице Цезаря и Сократа. Он воспользовался временем, в течение которого для него оказалось возможным вновь побывать на германской почве, чтобы весьма энергично доказывать шварцвальдским крестьянам вред курения табака. В Лёррахе он стал издавать вестник под

названием: «Правительственный орган. Свободное германское государство. Свобода, благосостояние, просвещение». Орган этот поместил на своих столбцах, между прочим, следующий декрет: «Ст. 1. Взимавшееся дополнительное 10-процентное обложение ввозимых из Швейцарии товаров отменяется. Ст. 2. *На управляющего таможеней, Христиана Мюллера, возлагается проведение в жизнь этого постановления.*»

Его верная Амалия делила с ним все тяготы и невзгоды и впоследствии живописала их в романтических красках. Кроме того, она принимала участие в приведении к присяге пленных жандармов, а именно каждому, присягнувшему на верность германскому свободному государству, прикрепляла красный нарукавный знак и затем заключала его в объятия и удостоивала его поцелуем (плотское наслаждение, которое Густав полагал в принципе несовместимым с его нравственными правилами).

К сожалению, Густав и Амалия были взяты в плен и томились в узнице, где неунывающий Густав немедленно стал продолжать прерванное республиканское переложение роттековой всемирной истории, пока третье восстание не вернуло ему свободы. Тогда Густав стал членом действительного временного правительства, и с тех пор к его прочим навязчивым мыслям прибавилась мания временных правительств. В должности президента военного совета он поспешил по возможности запутать дела вверенного ему учреждения, предложив в военные министры «предателя» Майергофера (см. *Gögg, Rückblick, Paris 1851*). Впоследствии он тщетно всячески пытался стать министром иностранных дел и получать 60 тысяч флоринов в свое распоряжение. Господин Брентано вскоре освободил вновь нашего Густава от бремени власти, и Густав стал во главе оппозиции «Клуба решительных прогрессистов». Особенно охотно он направлял оппозицию против таких мероприятий Брентано, с которыми он сам ранее соглашался.

Когда и этот клуб был разогнан и Густаву пришлось эмигрировать в Пфальц, бедствие это имело ту хорошую сторону, что неизбежный «Германский зритель» вновь вышел единственным номером в Нейштадте у Гардта, что вознаградило Густава за многие незаслуженно перенесенные им страдания. Дальнейшим утешением послужило то, что в каком-то горном захолустьи его при дополнительных выборах избрали членом Баденской конституанты, так что он как официальное лицо получил возможность вернуться туда. Свое пребывание в этом собрании Густав отметил лишь тремя внесенными им во Фрейбурге предложениями: 1) 28 июня: объявить предателем всякого, кто предложит вступить в переговоры с неприятелем; 2) 30 июня: назначить новое временное правительство, в котором Струве предоставлены были бы честь и место; 3) по отклонении вышеизложенного предложения, в тот же самый день: после того как неудачная стычка при Рапштатте сделала невозможным дальнейшее сопротивление, избавить население Оберланда от ужасов войны и для этого выдать всем чинам и солдатам жалованье за десять дней вперед, а членам конституанты — суточные

за десять дней, равно как и прогонные, а затем с развернутыми знаменами и с барабанным боем — переправиться в Швейцарию. Когда и это предложение было отклонено, Густав самостоятельно пробрался в Швейцарию, а будучи изгнан оттуда палочными ударами Джемса Фази, очутился в Лондоне, где провозгласил новое открытие, а именно о шести *язвах человеческих*. Язвы эти таковы: князья, дворянство, попы, бюрократия, постоянное войско, денежный мешок и клопы. В каком духе Густав перерабатывал покойного Роттека, — явствует из того, что он сделал еще одно дальнейшее открытие: будто денежный мешок является изобретением Луи-Филиппа. Об этих шести язвах Густав стал проповедывать в немецкой «Londoner Zeitung» бывшего герцога Брауншвейгского, за что получал приличный гонорар, и потому с благодарностью подчинялся цензуре его светлости, пока последний не заявил, что если Струве не научится лучше владеть пером, он не сможет ни помещать его статей, ни продолжать «поддержку».

Вышесказанное выясняет отношение Густава к первой из язв — к князьям. Что касается отношения его ко второй язве — к дворянству, то наш религиозно-правственный республиканец заказал себе визитные карточки, на которых именовался «бароном фон-Струве». Если ему не удалось вступить в столь же дружественные отношения и с остальными язвами, то не его в том вина.

Затем Густав употребил свои лондонские досуги на сочинение республиканского календаря, в котором, вместо имен святых, приводились имена идейных людей, — чаще всего встречались «Густав» и «Амалия»; месяцы названы были переделанными на немецкий лад названиями французского республиканского календаря; кроме того, в календаре можно было найти еще много столь же общепользных, сколь и общих мест.

Впрочем, в Лондоне опять появились прежние излюбленные навязчивые мысли — о возобновлении «Германского зрителя» и «Клуба решительных прогрессистов» и об учреждении временного правительства. По всем этим пунктам он встретил полное согласие со стороны Шрамма, — и таким образом составлен был циркуляр.

Третий член этого союза, великий *Арнольд Руге* (также чрезвычайно значительный человек), ярко выделяется над всей прочей эмиграцией своей фигурой фельдфебеля, не получившего еще должности в гражданском управлении. Нельзя сказать, чтобы сей рыцарь отличался весьма приятной внешностью. Парижские знакомые обычно называли его померанско-славянские черты хорьковой мордочкой (*figure de fouine*). Арнольд Руге, сын крестьянина с острова Рюгена, семилетний страдалец в прусских темницах, посаженный туда за демагогические проделки, бурно ринулся в объятия гегелевой философии, как только узнал, что достаточно просмотреть гегелевскую «Энциклопедию», чтобы освободиться от необходимости изучать остальные науки. Кроме того, он придерживался того правила (которое он изложил в некоей повести и старался провести в жизнь своих друзей —

бедняга Гервег кое-что знает об этом), — того правила, что нужно браком повысить свое значение — и поэтому в молодые еще годы создал себе жеманством солидную почву.

С помощью гегельянских фраз и «солидной почвы» ему удалось сделаться привратником германской философии, в качестве которого он был обязан возвещать как в Галлеских, так и в Немецких «Jahrbücher» о восходящих светилах и прославлять их, и он, пользуясь этим, довольно ловко эксплуатировал их в литературном отношении. К несчастью, вскоре начался период философской анархии, тот период, когда в рядах науки не было общепризнанного короля, когда Штраус, В. Бауэр, Фейербах сражались друг с другом и когда разнообразнейшие чуждые элементы стали мутить ясную простоту классической доктрины. Тут наш Руге растерялся: он не знал, какого пути держаться; его и без того мало связанные между собой гегелевские категории разбрелись в разные стороны, и он вдруг почувствовал великую тоску по бурном движении, в котором не так уж важно, как мыслить и писать.

В «Hallesche Jahrbücher» Руге играл ту же роль, что покойный книгоиздатель Николай в старой «Berliner Monatsschrift». Подобно своему предшественнику, он полагал свою главную заслугу в том, чтобы печатать работы других, а самому извлекать из них как материальную выгоду, так и литературный материал для собственных духовных излияний. Однако этому переписыванию статей сотрудников, этому литературному пищеварению, вплоть до неизбежного его результата, Руге умел придавать гораздо большее значение, нежели его прообраз. В этом отношении Руге был не привратником германского просвещения, — он был Николай современной германской философии, он умел скрывать природную плоскость своего духа за густым терновником спекулятивных словесных построений. Однако, в отличие от Гегеля, он сходил с Николаем в том, что в качестве антиромантика воображал себя в праве выставить как совершенный идеал самое пошлое мещанство и прежде всего — свою собственную мещанскую фигуру. На этот предмет и с целью одолеть врага в его собственной сфере Руге сочинял также и стихи, несравненная, недоступная ни для одного голландца трезвость которых гордо и вызывающе бросалась в лицо романтикам.

Впрочем наш померанский мыслитель в сущности не особенно хорошо чувствовал себя в гегелевской философии. Если ему легко удавалось улавливание противоречий, ему тем труднее было разрешать их, и он питал весьма понятное отвращение к диалектике. Таким образом произошло, что в его догматическом мозгу величайшие противоречия мирно уживались рядом, а его и без того туговатое разумение чувствовало себя как нельзя лучше в таком смешанном обществе. С ним иногда бывало, что он одновременно переваривал на свой лад две статьи различных авторов и соединял их воедино, не замечая, что они написаны с совершенно различных точек зрения. Постоянно застревая в противоречиях, он выпутывался тем, что выдавал перед теоретиками свое слабое теоретическое мышление за сильное

практическое разумение, а перед практиками — свою практическую беспомощность и непоследовательность за высочайшее теоретическое достижение. И в конце концов заявлял, что это застревание в неразрешимых противоречиях, эта некритическая поэтическая вера во всякие модные фразы и есть его «мироощущение».

Прежде чем последовать за нашим Морицем Саксонским, как называли Руге в тесном кругу, в его дальнейших жизненных перипетиях, укажем на две его характерные черты, проявившиеся уже во времена «*Jahrbücher*». Первая из них — *страсть к манифестам*. Как только кто-либо делал какое-либо научное открытие или ему казалось, что он такое открытие сделал, и Руге думал, что это имеет будущность, он немедленно выпускал манифест. Так как никто никогда не укорял его в том, что он когда-либо обмолвился оригинальной мыслью, то подобный манифест всегда давал ему удобный повод выставить открытие — в более или менее напыщенной форме — как свое собственное и на этом основании немедленно пытаться образовать партию, фракцию, «массу», которая стояла бы за ним и при которой он мог бы исполнять фельдфебельские обязанности. Впоследствии мы увидим, до какой невероятной степени совершенства Руге довел изготовление манифестов, прокламаций и пронунциamento.

Второй его особенностью является своеобразное *трудолюбие*, на которое мастер наш Арнольд. Так как он не любит много работать или, как он выражается, «переписывать из одной библиотеки в другую», он предпочитает «черпать из живой жизни», т. е. с величайшей добросовестностью ежевечерне отмечать все выдумки, «курьезы», новые идеи и прочие сведения, которые он в течение дня услышал, прочитал или подхватил. Этот материал, смотря по надобности, пускается в ход для «урока» (*repsum*), который Руге ежедневно проделывает с такой же добросовестностью, как и прочие естественные отправления. Почитатели его поэтому говорят, что он страдает недержанием чернил. Совершенно безразлично, о чем идет речь в этом ежедневном писательском извержении. Важно лишь то, что на одну и ту же тему Руге проливает один и тот же чудесный соус стиля, который подходит ко всему решительно, точно так же, как англичане с одинаковым удовольствием приправляют *soey* (*Soyer's Relish*) или уорикские соусом рыбу, птицу, котлеты и всякую иную пищу. Этот ежедневный стилистический понос Руге охотно называет «изысканно-прекрасной формой» и видит в ней достаточное основание, чтобы выдавать себя за «художника».

Хотя Руге и был весьма доволен своим положением привратника при германской философии, в глубине души его все же глодал червь. Он не написал еще ни одной толстой книги и каждый день завидовал счастливому Вруно Бауэру, который еще в молодые годы выпустил восемнадцать увесистых томов. Чтобы устранить это недоразумение, Руге стал печатать одну и ту же статью трижды под разными названиями и в одном и том же томе и затем издавать один и тот же том в разнообразнейших форматах. Таким путем возникло *собрание сочинений* Арнольда Руге, аккуратно пе-

реплетенные экземпляры которого автор до сих пор перебирает по утрам, том за томом, у себя в библиотеке, причем с удовлетворением приговаривает: «а ведь у Бруно Бауэра мироощущения-то и нет!»

Если Арнольду так и не удалось постичь философию Гегеля, то он на самом себе осуществил одну из гегелевых категорий. Он удивительно верно изображал «честное сознание» и тем более утвердился в этом, что в «Феноменологии», — которая, впрочем, осталась для него книгой за семью печатами, — сделал приятное открытие, что «честное сознание» «никогда не испытывает самоудовлетворения». Это «честное сознание» скрывает под развязным добродушием все мелкие ужимки и ухватки филистера. Оно в праве разрешать себе всякую подлость, ибо знает, что оно подло по честности. Даже глупость становится достоинством, так как является неопровержимым доказательством твердости убеждений. Всякая задняя мысль его поддерживается убеждением во внутренней честности, и чем тверже он задумывает какой-либо обман или мелочную гадость, тем более простодушно и открыто он себя держит. Вся мелкая пошлость мещанина превращается в ореоле доброго намерения в добродетель, неопытная корысть омывается и выступает в виде якобы принесенной жертвы, трусость изображается в виде высшей храбрости, негодяйство становится благородством, грубые развязные мужицкие манеры облагороженно толкуются как проявление прямоты и хорошего настроения. Сточная труба, в которой чудовищно смешиваются все противоречия философии, демократии и всякого фразерства. Впрочем, малый, щедро одаренный природой всякими пороками, гнусностью и мелочностью, глупостью и хитрецей, корыстолюбием и беспомощностью, преждевременным старчеством и высокомерием, лживостью и добродушием вольноотпущенного крестьянина, — мещанин и идеолог, атеист, верующий во фразу, невежда и всеобъемлющий философ в одном лице, — таков Арнольд Руге, каким Гегель предсказал его еще в 1806 г.

После закрытия «Deutsche Jahrbücher» Руге перевез в специально для этого сооруженном экипаже свою семью в Париж. Несчастливая его судьба свела его там с Гейне, который приветствовал в нем человека, «сумевшего перевести Гегеля на померанское наречие». Гейне спросил его, не является ли имя Прутца его псевдонимом, что Руге добросовестно отрицал. Однако Гейне нельзя было разубедить в том, что наш Арнольд был автором прутцовских стихов. Впрочем Гейне очень скоро заметил, что если Руге и не обладает талантом, зато с успехом носит личину сильного характера, и таким образом наш друг Арнольд внушил поэту мысль об Атте Тролле. Если Арнольд Руге и не ознаменовал свое пребывание в Париже великим произведением, ему все же приходится вменить в заслугу, что Гейне сделал это за него. В благодарность за это поэт сочинил для него пресловутую эпитафию:

Атта Троль, медведь с уклоном  
К жизни в боге, страстный в браке;  
Духом века обращенный  
В матерого санюлота;

Хоть плохой плясун, но с строем  
 Лучших чувств в груди косматой;  
 В смысле вони не безгрешный,  
 Не талант, — зато характер.

В Париже с нашим Арнольдом приключилось еще то, что он спутался с коммунистами и стал печатать в «Deutsch-Französische Jahrbücher» статьи Маркса и Энгельса, в которых говорилось прямо противоположное тому, что возвещалось им самим в его предисловии. На эту беду обратила его внимание «Augsburger Allgemeine Zeitung», но он это перенес с философским смирением.

Чтобы возместить природное неумение держаться в обществе, Руге выучил наизусть некоторое число забавных анекдотов, называемых им «курьезами» (Schnurren), которые он и любил рассказывать в обществе. Долголетняя привычка оперировать этими «курьезами» привела к тому, что мало-помалу для него почти все события, происшествия и обстоятельства стали превращаться в приятные или неприятные, хорошие или дурные, верные или неверные, интересные или скучные «курьезы». Парижская суета, множество новых впечатлений, социализм, политика, Пале-Рояль, дешевые устрицы — все вместе так подействовало на несчастного, что в голове его водворилась постоянная сутолока, и Париж сделался для него неисчерпаемым источником «курьезов». Сам он дошел до такого «курьеза», что предлагал изготавливать одежду для пролетариев из стружек; да и вообще у него была слабость к промышленным «курьезам», для которых он, впрочем, всегда безуспешно разыскивал кредитоспособных акционеров. Так, впоследствии он как-то собирался стать в Лондоне кожевенным фабрикантом на том основании, что будто бы выдумал новый сорт лака; в другой раз ему пришло в голову исколесить Англию в качестве бродячего дагерротиписта.

Когда из Франции выслали заметных в политическом отношении немцев, Руге спасся от этой участи, представившись министру Дюшателю в качестве «солидного ученого» (savant sérieux). Должно быть, он при этом имел в виду «ученого» из поль-де-коковского «Amant de la Lune» («Поклонника луны»), который вообразил себя «ученым» на том основании, что умел по-особенному стрелять пробками в воздух.

Вскоре после того Арнольд перебрался в Швейцарию, где встретился с бывшим голландским унтер-офицером, кельнским хроникером и прусским податным чиновником К. Гейнценом. Обоих вскоре связали узы теснейшей дружбы. Гейнцен учился у Руге философии, Руге у Гейнца — политике. С этого времени Руге все более считал себя вынужденным выступать в качестве философа par excellence лишь перед менее квалифицированными элементами германского движения. Судьба даже толкала его в этом отношении все ниже и ниже, пока в конце концов его не стали считать философом одни только светлюбивые священники (Дюлон), немецко-католические пасторы (Роаге) и Фанни Левальд. В то же время анархия в германской

философии все разрасталась. «Единственный» Штирнера, социализм, коммунизм и пр. — все новые пришельцы — увеличивали сутолоку в голове Руге до нестерпимости. Необходимо было предпринять какой-нибудь смелый шаг. Вот тут-то Руге и стал искать спасения под сенью гуманизма, т. е. той фразы, под которою все путаники (Confusionarien) в Германии, от Рейхлина до Гердера, скрывали свою растерянность. Фраза эта казалась ему тем более своевременной, что Фейербах только что «вновь открыл человека», и Арнольд уцепился за нее с таким отчаянием, что до сего часа не может от нее оторваться.

Однако в Швейцарии Арнольд сделал еще одно несравненно более важное открытие, а именно, что «повторным появлением перед публикой «я» приобретает характер». С этого момента для Арнольда открывается новая полоса деятельности. Он возводит в правило самую наглую развязность и навязчивость. Руге должен был во всем принимать участие, всюду совать свой нос. Курица не могла снести яйца без того, чтобы Руге не «признал разумность этого действия». Во что бы то ни стало нужно было поддерживать связь хотя бы с самым захолустным листком, где бы можно было постоянно появляться. Ни одной газетной статьи он не писал больше, не подписывая ее полным именем и по мере возможности не говоря в ней о себе самом. Правило «повторного появления» распространялось на всякую малейшую статейку; она печаталась сначала в виде письма в европейских (а со времени переезда Гейнцена в Нью-Йорк) и американских газетах, затем — в виде брошюры и, наконец, повторялась в полном собрании сочинений.

В таком вооружении Руге мог возвратиться в Лейпциг и там окончательно быть признанным в качестве «характера». Но и там не все улыбалось ему. Его старый приятель, книгоиздатель Виганд, с полным успехом заменил его на ролях Николаи, и так как иных свободных вакансий не имелось, Руге стал предаваться мрачным размышлениям по поводу суетности всех и всяких «курьезов». И вдруг разразилась германская революция.

В ней наш Арнольд узрел спасение. Наступило, наконец, мощное движение, в котором и самый неуклюжий легко может плыть по течению, и Руге немедленно направился в Берлин, надеясь поудить там рыбку в мутной воде. Так как там только-что разразилась революция, он счел наиболее своевременным выступить с предложением «реформы» и основал листок под таким названием. Выходившая в Париже до революции «Réforme» была самой бездарной, невежественной и скучной газетой во Франции. Берлинская «Reform» доказала, что можно перещеголять даже ее парижский прообраз и невозбранно преподносить немецкой публике такую жалкую газетку даже в «метрополии интеллигенции». На том основании, что риторическая беспомощность Руге якобы является наилучшей гарантией глубины содержания, Арнольд был избран представителем Бреславля во Франкфуртский парламент. Там он немедленно воспользовался случаем выступить в качестве редактора от демократической левой с нелепым



манифестом. Впрочем, он проявлял особое пристрастие лишь к манифестам от конгрессов европейских народов и горячо присоединялся к общему пожеланию о том, чтобы Пруссия растворилась в Германии. Впоследствии, вернувшись в Берлин, он требовал, чтобы Германия растворилась в Пруссии, а Франкфурт — в Берлине, а когда ему, наконец, пришлось в голову стать саксонским пэром, он предложил Германии и Пруссии раствориться в Дрездене.

На поприще парламентской деятельности ему не пришлось пожинать лавры, и даже его собственная партия стала приходить в отчаяние от его безнадежной тупости. В то же время дела его «Reform» шли все хуже и хуже, и он считал, что поправить их он может лишь личным своим присутствием в Берлине. В качестве «честного сознания» он, само собою разумеется, нашел высоко-политическое основание для своего выхода из парламента и предложил также и всей левой выйти вместе с ним. Этого, конечно, она не сделала, и Руге пришлось отправиться в Берлин одному, и там ему удалось понизить тираж «Reform» еще более, нежели это до него успели сделать прежние редакторы — господа Оппенгейм, Мейер и К<sup>о</sup>. В Берлине он сделал открытие, что современные конфликты легче всего разрешаются по «дессаускому образцу», как он окрестил маленькое образцовое демократически-конституционное государство. Потом, во время осады Вены, он сочинил новый манифест, приглашавший генерала Врангеля выступить на защиту Вены от Виндишгреца. Санкцию демократического конгресса для этого странного документа он получил благодаря утверждению, будто он вместе с подписью уже набран и отпечатан. Наконец, когда и сам Берлин очутился в осадном положении, господин Руге отправился к Мантейфелю и сделал ему различные предложения относительно «Reform», которые Мантейфель, однако, отклонил. При этом Мантейфель признался ему, что не может пожелать себе лучших оппозиционных газет, нежели «Reform», — «Neue Preussische Zeitung» для него много опаснее. И наивный Руге с победоносной гордостью поспешил возвестить о сем по всей Германии. В то же время Арнольд воспыла восторгом к пассивному сопротивлению и показал это на деле, покинув на произвол судьбы газету, сотрудников и поспешно сбежав от них. Очевидно, активное бегство является наиболее решительной формой пассивного сопротивления.

Наступила контр-революция, и Руге бежал без передышки от Берлина до самого Лондона.

Во время майского восстания в Дрездене Арнольд вместе со своим другом Отто Вигандом и городским советом стал во главе движения в Лейпциге. Вместе с этими товарищами он выпустил решительный манифест к дрезденцам, приглашая их храбро сражаться, ибо в Лейпциге находится Руге, Виганд и отцы города, и стоят они на посту, а береженого и бог бережет. Не успел, однако, появиться этот манифест, как наш храбрый Арнольд без оглядки улетел в Карлсруэ.

В Карлсруэ он чувствовал себя не совсем в безопасности, хотя баденцы

стояли еще на Неккаре, и враждебные действия еще долго не начинались. Дабы найти почетный предлог для дальнейшего отступления, он упросил Брентано отправить его в Париж в качестве посланника. Брентано подшутил над ним, дав ему этот пост на двенадцать часов, а на другое утро выманил у него обратно верительные грамоты как-раз в тот момент, когда Руге собирался выехать. Тем не менее Руге отправился в Париж вместе с действительными представителями правительства Брентано, Шютцем и Блиндом, и держал себя так странно, что его собственный бывший редактор Оппенгейм счел себя вынужденным объявить в официальной «*Karlsruher Zeitung*», что господин Руге отправился в Париж отнюдь не в качестве официально уполномоченного лица, а «на свой собственный страх и риск». Когда однажды Шютц и Блинд захватили его с собой к Ледрю-Роллену, Руге вдруг прервал дипломатические переговоры и стал в присутствии французов отчаянно поносить немцев, так что его спутникам не осталось иного выхода, как сконфуженно ретироваться. Наступил день 13 июня, который нанес нашему Арнольду такой тяжкий удар, что он без всяких оснований дал тягу и опомнился только в Лондоне, на свободной британской почве. По поводу этого бедствия он впоследствии сравнивал себя с Демосфеном.

Тут возникает вопрос: почему, собственно, господин А. Руге находится в Англии? В 1849 г. для господина Руге начинается, наконец, выясняться один вопрос, а именно, что его положение в Германии совершенно нестерпимо, что он сильно скомпрометирован и что его необходимо пересадить на чужеземную почву, чтобы он мог сохранить хоть какой-либо повод для своих «повторных появлений». Внешние причины несколько не заставляли его покинуть материк. Когда он бежал от осадного положения в Берлине, его сотрудники оставались там. Когда он удалился из Лейпцига, Виганд и его прежние сообщники остались на месте, и ни один волос не упал с их голов. В Бадене, как и потом в Париже, он не принимал участия ни в каком компрометирующем деле. Но именно потому, что Руге не является эмигрантом в обычном смысле слова, он придает такое значение тому, чтобы занимать официальное положение в эмиграции.

В Лондоне Руге начал с новой попытки выступить в качестве посланника Баденского временного правительства, пока приезд действительного баденского посланника, Блинда, не положил конец этой праздной забаве. Затем он пытался выдавать себя английской прессе за великого германского писателя и мыслителя, однако получил со всех сторон отпор с ссылкой на то, что англичане, дескать, слишком материалистичны, чтобы понимать немецкую философию. Кроме того, ему задавали вопрос относительно его произведений, на что Руге мог ответить лишь вздохом, между тем как перед его умственным взором вновь предстал образ Бруно Бауэра. Ибо что представляли собой даже его собрания сочинений, как не несколько раз перепечатанные в различных форматах брошюры? И даже не брошюры, а сброшюрованные журнальные статьи, и в сущности даже не журнальные

статьи, а разбросанные заметки по поводу прочитанного. Необходимо было предпринять что-нибудь, и Руге написал две статьи для «Leader», в которых он под предлогом изображения немецкой демократии заявляет, что в Германии настала пора «гуманизма», представляемого Людвигом Фейербахом и Арнольдом Руге, автором следующих трудов: 1) «Религия нашего времени», 2) «Демократия и социализм», 3) «Философия и революция». Три эти выдающиеся произведения, которых пока нельзя найти ни в одной книжной лавке, представляют собой, разумеется, не что иное, как неопубликованные еще пока новые заглавия старых статей Руге. Одновременно с этим Арнольд принялся за свои ежедневные «уроки» (repsa), делая — себе самому в назидание, немецкой публике на пользу и к величайшему ужасу господина Брюггемана — обратный перевод на немецкий язык статей, попавших из «Kölnische Zeitung» в «Morning Advertiser».

Затем Арнольд примазался к какому-то американскому квакеру, рассчитывая съездить на его счет в Соединенные Штаты. Однако старый ханжа обладал достаточной смекалкой, присущей янки, чтобы вскоре сообразить, что в Америке друг наш Арнольд даже для господина Барнума не представляет собой ценного приобретения. Дело расстроилось. К тому же некоторые семейные обстоятельства побудили нашего померанского мыслителя отказаться от радостей холостой жизни и отправиться в Остенде.

Нельзя сказать, чтобы он удалился в Остенде, увенчанный лаврами, зато там его ждал досуг, необходимый для подготовки к роли премудрого путаника (Confusius) немецкой эмиграции.

Как Густав ломает копыа за овощи, (Gemüse), а Готффрид — за «душевность» (Gemüt), так Арнольд представляет разум или, вернее, неразумие немецкого мелкого мещанства. Он не открывает, подобно Арнольду Винкельриду, путей к свободе, — он собственной персоной представляет собой «свободу» сточной трубы. В германской революции Руге выделяется точно вывеска на углу некоторых улиц: здесь разрешается спускать свою воду.

Мы снова подходим, наконец, к нашему циркуляру с сопроводительным письмом. Руге разослал его всем своим знакомым кандидатам теологии и переправил его, хотя и владел одним только немецким языком, в различные страны, даже датским демократам. Однако дело позорно провалилось, и из первой попытки учредить вседемократическую церковь ничего не вышло. Впоследствии Шрамм и Густав объясняли, будто беда была только в том, что Руге не умел ни говорить по-французски, ни писать по-немецки. Однако великие люди вскоре снова стали действовать.

Один другого мощью был чудесней,  
О чем подробней — в следующей песне.

## V

Одновременно с Густавом приехал из Швейцарии в Лондон Родомонто Гейнцен. К. Гейнцен, годами живший тем, что угрожал истребить в Германии «всех тиранов», набрался такой неслыханной смелости после фев-

ральской революции, что вновь вступил на германскую землю, на остров Шустер после чего опять переправился в Швейцарию, и там, проживая в богоспасаемой Женеве, снова принялся громить «тиранов и народных угнетателей» и воспользовался случаем объявить, что «Копут — великий человек, однако он забыл о гремучей ртuti».

Из отвращения к кровопролитию Гейнцен стал алхимиком революции. Он мечтал о взрывчатом веществе, которое в мгновение ока могло бы смести европейскую реакцию, не обжегши пальцев метальщика. Он питал особое отвращение к «прогулкам под градом пуль» и к обыкновенному способу ведения войны, при котором убеждения не защищают от пуль. Во времена правительства г. Brentано он даже рискнул совершить революционную поездку в Карлсруэ. Так как он там не получил ожидаемой награды за свои подвиги, он решился на первых порах редактировать правительственный «Moniteur» «предателя» Brentано. Однако, когда к городу подступили пруссаки, он заявил, что он, Гейнцен, отнюдь не намерен «давать себя убивать за предателя Brentано», и под предлогом формирования образцового добровольческого корпуса, в котором политические убеждения и военная организация взаимно дополняли бы друг друга, — в котором, другими словами, воинская трусость сходила бы за политическую смелость, — он в постоянных поисках добровольческой дружины, «какой она должна быть», непрестанно отступал, пока не очутился вновь на знакомой швейцарской почве.

«Путешествие Софи из Мемеля в Саксонию» было более кровавым, нежели революционный поход Родомонто. Пробравшись в Швейцарию, он объявил, что в Германии нет больше людей, что настоящая гремучая ртуть еще не открыта, что война ведется не при помощи революционных убеждений, а обычным путем, посредством пороха и свинца, и что он станет революционизировать Швейцарию, ибо на Германию махнул рукой. Принимая во внимание странный жаргон, на котором говорят в идиллически-изолированной Швейцарии, Родомонто мог сойти там за немецкого писателя и за опасного человека. Он и добился того, чего хотел. Он был выслан и за счет Федерального союза препровожден в Лондон.

Родомонто Гейнцен не принимал прямого участия в европейской революции, но он несомненно не мало суетился из-за нее. Когда разразилась *февральская* революция, он стал производить в Нью-Йорке «революционные сборы», чтобы поспешить на помощь отечеству, и добрался до самой швейцарской границы. Когда провалилась мартовская революция, он за счет швейцарского союзного правительства перекочевал из Швейцарии по ту сторону канала. Он получил то удовлетворение, что взимал для своего отступления поборы как с революции, так и с контр-революции.

В итальянских рышарских эпопеях постоянно фигурируют огромные широкоплечие великаны, вооруженные громадными дубинами, которые, несмотря на свои варварские замашки и отчаянные крики, никогда не попадают в противника, а всегда — в окружающие деревья. Таким-то

ариостовским великаном в политической литературе и является Гейнцен. Наделенный природой угловатой фигурой и значительною тушей («uomo membruto»), он видел в этом указание на то, что ему предстоит стать великим человеком. Эта увесистая корпулентность царит над всей его литературной деятельностью, которая сплошь корпулентна. Противники его — всегда карлики, не доходящие ему по щиколку, и смотрит он на них с высоты своей коленной чашки. В тех же случаях, когда собственно необходимо физическое воздействие, «uomo membruto» ищет спасения в литературе или в суде. Так, едва он очутился в безопасности на британской почве, он написал рассуждение о нравственной смелости (в немецкой «Londoner Zeitung»). В Нью-Йорке нашего великана так долго и так часто поколачивал некий Г. Рихтер, что мировой судья, сперва налагавший лишь незначительные взыскания, в конце концов, принимая во внимание настойчивость карлика Рихтера, приговорил его к штрафу в 2 000 долларов.

Естественным дополнением этой крупной телесности, в которой все пышет здоровьем, является здравый человеческий смысл, который господин Гейнцен приписывает себе в больших размерах. Этому здоровому человеческому смыслу соответствует также и то, что Гейнцен, обладающий природным гением, ничему не учился и в литературном и научном отношении находится в совершенно первобытном состоянии. В силу здравого человеческого смысла, который он называет также «собственным» и на основании которого уверяет Кошута, что «проник до последних пределов идеи», он учится только из разговоров или из газет, и поэтому постоянно отстает от времени и всегда щеголяет в одеянии, за несколько лет до того сброшенной литературой, между тем как новые современные одежды, к которым он никак не может приспособиться, он объявляет безнравственными и презренными. Но в то, что он когда-либо усвоил, он верит непоколебимо, и это превращается для него в нечто изначальное, само собою разумеющееся, с чем должен согласиться каждый и чего не хотят понять только злоба, тупость или софистика. Столь крепкое тело и столь здравый человеческий смысл должны, конечно, обладать твердыми, честными убеждениями, и вполне естественно, что он доводит кичливость этими «убеждениями» до крайних пределов. В этом отношении Гейнцен не уступает никому.

По всякому поводу следует ссылка на убеждения, вместо возражения на аргументы выдвигаются убеждения, и про всякого, кто его не понимает или кого он не понимает, говорится просто, что у него нет убеждений и что он по злой воле и с дурными намерениями отрицает то, что ясно, как божий день. Против этих презренных последователей Аримана он взывает к своей музе — к негодованию; он бранится, он шумит, он непствует, он проповедует нравственность, он с пеной у рта выкидывает самые трагикомические штуки. Он показывает, до каких пределов может доходить бранная литература, когда ею пользуется человек, которому остроумие и литературное образование Берне столь же чужды, как его муза, как его стиль.

Постоянная история с бревном, но это бревно — самое обыденное, и даже сучки его не оригинальны и не колючи. Только в тех случаях, когда он наталкивается на нечто от науки, он на мгновение запинаятся. С ним происходит то же, что с торговкой рыбой в Биллингсгэте, с которой однажды сцепился О'Коннель и которую он заставил замолчать, ответив ей на долгий поток ругани: «Вы сами такая, вы еще много хуже, вы — равнобедренный треугольник, вы — параллелепипед!»

Из прошлого г. Гейнцена надо отметить, что он в голландских колониях дослужился если не до генерала, то до унтер-офицера, — обида, за которую он впоследствии всегда говорил о голландцах как о народе, лишенном всяких убеждений. Позже мы застаем его в Кельне сборщиком податей, в качестве какового он написал комедию, в которой его здравый смысл тщетно пытался высмеять философию Гегеля. Значительно лучше, совсем как у себя дома, чувствовал он себя в отделе происшествий «*Kölnische Zeitung*», в «подвальном этаже», где он с важностью рассуждал о недоразумениях в кельнском «Карнавальном обществе», — учреждении, из которого вышли все великие люди Кельна.

Его собственные горести, равно как и горести отца его, лесничего Гейнцена, испытанные в столкновениях с начальством, приняли у него, — как обычно происходит со здравым человеческим смыслом при всякого рода мелких личных конфликтах, — характер мировых событий. Он описал их в своей «*Preussische Bureaukratie*», — книге, которая значительно ниже венедеевской и в которой нет ничего, кроме претензий мелкого чиновника к начальству. За эту книгу возбуждено было против него судебное преследование. Хотя ему в худшем случае угрожало лишь шестимесячное заключение, он испугался, что голова его в опасности, и спасся бегством в Брюссель. Оттуда он требовал, чтобы прусское правительство не только гарантировало ему свободный пропуск, но также изменило в его пользу все французское судопроизводство и за простой проступок предало его суду присяжных. Прусское правительство издало приказ об его аресте; он ответил приказом об аресте прусского правительства, — приказом, в котором он, сверх того, проповедывал моральное сопротивление и конституционную монархию, а революционеров объявлял сплошь безнравственными иезуитами.

Из Брюсселя он переправился в Швейцарию. Там он, как мы уже видели, встретился с другом Арнольдом и, кроме философии, обучился у него весьма выгодному методу обогащения. Подобно тому как Арнольд старался присваивать себе в полемике мысли противника, Гейнцен стал натаскивать на себя (*sich anzuschimpfen*) новые мысли, с которыми он боролся. Не успел он сделаться атеистом, как со всем рвением и жаром неофита принялся за яростную полемику против бедного старика Фоллена за то, что последний не видел оснований вдруг сделаться на старости лет тоже атеистом.

Швейцарская федеративная республика, с которой он теперь столкнулся,

развила его здравый человеческий смысл до такой степени, что он пожелал ввести такую же федеративную республику и в Германии. Однако тот же здравый человеческий смысл привел его к заключению, что сделать это без революции невозможно, и таким образом Гейнцен стал революционером. Он принялся действовать памфлетами, требовавшими в грубейшем швейцарском мужицком тоне немедленного «выступления» и смерти для всех князей, от которых идет все зло на земле. Он пытался образовать в Германии комитеты для сбора средств на печатание и распространение этих листков, причем к этому весьма непринужденно присоединился обширный промысел попрошайничества, и члены партии подвергались сперва эксплуатации этим промыслом, а затем и жестокой брани. Подробности по этому поводу может сообщить старик Итцштейн. Памфлеты доставляли Гейнцену большую славу среди немецких торгующих вином коммивояжеров, которые всюду трубили о нем как о храбром «вояке».

Из Швейцарии он перебрался в Америку, где ему удалось за короткое время, хотя он ввиду своего мужицкого стиля считался истинным немцем, совершенно убить «New-Yorker Schnellpost».

Вернувшись в Европу после февральской революции, он послал в «Mannheimer Abendzeitung» несколько депеш по поводу приезда великого Гейнца и выпустил брошюру против Ламартина в отместку за то, что последний так же, впрочем, как и все правительство, игнорировал его, не взирая на его мандат на представительство американских немцев. Возвратиться в Пруссию он не желал, так как, несмотря на мартовскую революцию и на амнистию, он считал, что голова его там все еще в опасности. Он ждал, чтобы его призвал народ. Так как этого не произошло, он вздумал издали баллотироваться в Гамбурге в депутаты во Франкфуртский парламент. Будучи плохим оратором, он собирался тем энергичнее голосовать, но провалился.

Когда он после окончания баденского восстания появился в Лондоне, он стал сильно возмущаться по поводу молодых людей, из-за которых забывали о великом муже дореволюционного и революционного периода. Он всегда был лишь l'homme de la veille ou du lendemain (человеком канунов или завтрашних дней), никогда — l'homme du jour ou de la journée (человеком сегодняшнего дня, а тем паче дня решительного). Так как настоящей гремучей ртуты все еще не открыли, приходилось изыскивать новые средства борьбы с реакцией. Поэтому он потребовал два миллиона голов, дабы он в качестве диктатора мог бродить в крови, которую другие должны были проливать! В сущности все дело было в том, чтобы вызвать скандал. Реакция за свой счет препроводила его в Лондон, — теперь нужна была высылка из Англии, чтобы реакция безвозмездно препроводила его в Нью-Йорк. Затея не удалась и привела лишь к тому, что французские радикальные газеты обозвали его дураком, требующим два миллиона голов, между тем как он никогда не рисковал своей собственной головой. А чтобы достойно увенчать это дело, он свою кровожадную и кровопро-

литную статью напечатал... в немецкой «Londoner Zeitung» бывшего герцога Брауншвейгского, — конечно, за наличный расчет.

Густав и Гейнцен издавна питали друг к другу чувства взаимного уважения. Гейнцен выдавал Густава за мудреца, а Густав Гейнца — за вояку. Гейнцен с тоской дожидался окончания европейской революции, чтобы положить конец «губительному расколу в демократической эмиграции», и вновь принялся за свои до-мартовские дела. Он представил на обсуждение проект «программы германской революционной партии». Программа эта отличалась изобретением «особого недоверия» к одному из видов, — нисколько, впрочем, не уступающему в важности остальным, — публичных игр, площадок для борьбы (без дождя пуль), в особенности же на войне. См. «Сады» Клаузевица, а также «декретом отмененные преимущества лиц мужского пола в браке». Программа эта, представлявшая собой в сущности только дипломатическую ноту Гейнца к Густаву, вместо единения, вызвала лишь немедленный разрыв между обоими каплунами. Гейнцен требовал назначения для «революционного переходного времени» единоличного диктатора, непременно пруссака родом, причем, во избежание недоразумений, он пояснял свою мысль: «военный диктатором быть не может». Густав же, наоборот, требовал диктатуры троих, в число коих, кроме него, должны были войти по крайней мере два баденца. К тому же Густаву показалось, будто в поспешно выпущенной программе Гейнцен украл у него какую-то «идею». Так провалилась эта вторая попытка единения, и Гейнцен, не признанный светом, возвратился в тьму неизвестности, в которой пребывал, пока не нашел, что английская почва для него нестерпима, и не отчалил осенью 1850 г. в Нью-Йорк.

## VI

### Густав и колония воздержания

После того как неутомный Густав сделал еще одну безуспешную попытку образовать, вместе с Фридрихом Лаабци, Габбергом, Освальдом, Розенблюмом, Конгеймом, Грюнихом и другими «выдающимися людьми», *центральный эмигрантский комитет*, он направил свои стопы в Йоркшир, чтобы оттуда изумить мир новым этапом своей деятельности. Там должен был расцвести волшебный сад, в котором господствовал бы не порок, как в Альцире, а добродетель. Старый юморист-англичанин, к которому Густав приставал со своими теориями, поймал его на слове и отвел ему в Йоркшире несколько моргенов болотистой земли на том условии, чтобы там основана была «колония воздержания», где строжайше воспрещалось бы употребление мяса, табака и спиртных напитков, где допускалась бы одна растительная пища и где бы каждый член колонии обязан был по утрам, вместо молитвы, читать главу из «Государственного права» Струве. Кроме того, колония должна была жить только собственным трудом. В сопровождении своей



Амалии, желторотого шваба Шнауфера и еще нескольких верных сподвижников Густав смиренномудро отправился в поход и основал «колонию воздержания». Об этой колонии можно сказать, что в ней господствовали мало «благоденствия», много «образованности» и неограниченная «свобода» скучать и худеть. И вот в одно прекрасное утро наш Густав открыл обширный заговор. Сподвижники его, не обладавшие, подобно ему, жвачными наклонностями и питавшие отвращение к растительной пище, порешили за его спиной зарезать единственную старую корову, молоко которой являлось главнейшим источником дохода «колонии воздержания».

Густав всплеснул руками, проливая горькие слезы по поводу гнусного намерения по отношению к твари божией, с негодованием объявил, что колония распускается, и совсем, было, решил сделаться белым квакером, если ему только не удастся в Лондоне вновь вызвать к жизни «Германского зрителя» или основать какое-либо «временное правительство».

## VII

Арнольд, которому отнюдь не улыбалось отшельническое житье в Остенде и которого тянуло «повторно появиться» перед публикой, прослышал о густавовой беде. Он решил немедленно поспешить обратно в Англию и с помощью Густава стать Пентархом европейской демократии. Тем временем образовался из Мадзини, Ледрю-Роллена и Дараша Европейский центральный комитет, душой которого был Мадзини. Руге учуял там свободное местечко. Мадзини мог еще, правда, назначить им самим созданного генерала Эрнста Гауга немецким сотрудником своего «Proscrit» («Изгнанника»), но сделать его, Руге, совершенно неизвестного, членом Центрального комитета он никак не мог. Нашему Руге было известно, что Густав был знаком с Мадзини еще по Швейцарии. Он, со своей стороны, хотя и знал Ледрю-Роллена, но сам, к несчастью, был ему неизвестен. И вот, Арнольд поселился в Брайтоне, стал баловать и миловать простодушного Густава, обещал ему основать *вместе* с ним в Лондоне «Германского зрителя» и даже взять на свой счет совместное демократическое издание роттек-велькеро-вского лексикона государственных наук. В то же время он в захолустном немецком листке, каковым он, по своему обыкновению, всегда обзаводился — на этот раз жребий выпал на долю «Bremer Tageschronik» («Бременская хроника происшествий») пастора Люлона, из числа «друзей света», — стал прославлять нашего Густава в качестве великого человека и сотрудника. Рука руку моет. Густав познакомил Арнольда с Мадзини, и так как Арнольд изъяснялся на совершенно непонятном французском наречии, ему никто не мог воспрепятствовать представиться Мадзини в качестве величайшего человека и специально в качестве «мыслителя» Германии. Тертый калач, итальянский энтузиаст с первого взгляда узнал в Арнольде нужного ему человека, l'homme sans conséquence (совсем незначительного), которому можно было поручить ставить свою подпись под его направленными против

римского папы буллами. Таким образом, Арнольд Руге стал пятой спицей в государственной колеснице европейской центральной демократии. Когда какой-то эльзасец спросил Ледрю, как ему могло прийти в голову связаться с таким «болваном» (bête), Ледрю резко ответил: «C'est l'homme de Mazzi» (это ставленник Мадзини). Когда же спросили Мадзини, почему он связался с Ледрю, человеком совсем без идей, старый хитрец ответил: «C'est précisément pourquoi je l'ai pris» (именно поэтому я его и взял). Мадзини сам имел все основания держаться подальше от идейных людей. А Арнольд Руге увидел, что его идеал превзойден, и на некоторое время позабыл даже о Бруно Бауэре.

Когда ему пришлось подписать первый мадзиниевский манифест, он с тоской вспоминал о том времени, когда он сражался с профессором Лео из Галле, выступая в качестве поклонника святой Троицы, и со стариком Фолленом в Швейцарии — уже в качестве атеиста-юмориста. Теперь надобно было вместе с Мадзини объявить себя глашатаем Божиим против князей. За это время философская совесть нашего Арнольда успела уже значительно деморализоваться благодаря связям его с Дюлоном и прочими пасторами, среди которых он слыл философом. От некоторой слабости к религии вообще наш Арнольд в последнее время не мог отделаться, а кроме того его «честное сознание» нашептывало ему: «Подпиши, Арнольд! Paris vaut bien une messe (Париж стоит обедни). Даром нельзя стать пятой спицей в колеснице временного правительства Европы in partibus. Подумай, Арнольд! Каждые две недели подписывать манифест, притом в качестве membre du parlement Allemand (члена германского парламента), в обществе самых великих людей Европы». Обливаясь потом, Арнольд подписал. Вот так дела! — шептал он. — Ce n'est que le premier pas qui coûte (труден лишь первый шаг). Последнюю фразу он накануне вечером занес в свою записную книжку.

Однако Арнольд еще не дошел до конца своих испытаний. После того как Европейский центральный комитет выпустил ряд манифестов — к Европе, к французам, к итальянцам, к полабским славянам (Wassergolacken), к валахам, очередь дошла — благо произошло великое сражение при Бронцелле! — до *Германии*. В своем наброске Мадзини напал на немцев за недостаток космополитизма и, в частности, за излишнюю заносчивость по отношению к итальянским колбасникам, шарманщикам, кондитерам, дрессировщикам сурков и продавцам мышеловок. Арнольд в смятении своем все это признал. Больше того, он заявил, что согласен отдать Мадзини итальянскую часть Тироля и Истрию. Но и это оказалось недостаточным. Необходимо было не только усюветить немецкий народ, — надобно было подействовать на его слабые стороны. Арнольду дан был приказ проявить на этот раз собственное мнение, так как он, ведь, представляет германский элемент. Чувствовал он себя как кандидат теологии (Jobs). Он раздумчиво почесывал у себя за ухом и после долгого раздумья промолвил: «Со времен Тапита германские барды поют баритоном и зимнею порою

зажигают костры на вершинах всех гор, чтобы греть у них ноги». «Барды, баритон и костры на горах! Ну, уж если это не приведет в умиление немецкую свободу!» — ухмылялся Мадзини. Барды, баритон, костры на горах и немецкая свобода попали в манифест как приманка для германского народа. К своему собственному удивлению Арнольд Руге выдержал экзамен и впервые понял, как мало мудрости нужно, чтобы управлять миром. С этого момента он больше, чем когда-либо, стал презирать Бруно Бауэра, написавшего уже в молодые годы восемнадцать увесистых томов.

Пока Арнольд в хвосте Европейского центрального комитета подписывал, таким образом, вслед за Мадзини *воинственные* манифесты за бога против князей, — *движение в пользу мира* под предводительством Кобдена не только широко распространилось в пределах Англии, но перекинулось по ту сторону Немецкого моря, так что шарлатан из Йорка Элигу Ровит вместе с Кобденом, Юнгом, Жирарденом и индейцем Ка-ге-га-ги-ва-ва-ба-та могли устроить конгресс мира во Франкфурте-на-Майне. У нашего Арнольда руки чесались воспользоваться этим случаем, чтобы совершить «повторное появление» и выпустить еще манифест. Поэтому он сам себя назначил членом-корреспондентом Франкфуртского собрания и послал туда чрезвычайно путаный мирный манифест, «переложенный» им из речей Кобдена на свое спекулятивное померанское наречие. Некоторые немцы указывали Арнольду на противоречия между воинственной позицией его в Центральном комитете и его квакерскими ухватками в мирном манифесте. На это он обычно возражал: «На то и противоречия. Такова диалектика. В молодости я изучал Гегеля». «Честное же сознание» ему нашептывало, что Мадзини не понимает по-немецки, и поэтому ему легко втереть очки.

Арнольда прикрепляло еще к Мадзини то обстоятельство, что он желал воспользоваться протекцией *Гарро Гарринга*, только что высадившегося в Гилле. В его лице на сцену выступает новый в высокой степени примечательный тип.

### VIII

Великой драме демократической эмиграции 1849 — 1852 гг. предшествовал за восемнадцать лет до того пролог: демагогическая эмиграция 1830 — 1831 гг. Хотя всеильное время успело уже смести со сцены большую часть этой первой эмиграции, однако некоторые достойные ее эпигоны еще здравствовали. Нисколько не считаясь с ходом мировой истории, не заботясь об успешности своих действий, они продолжали свою агитаторскую профессию, составляли планы мирового переустройства, учреждали временные правительства и разбрасывали свои прокламации по всему свету. Ясно, что эти набившие руку в революционном прожектерстве бесконечно превосходили своих более молодых наследников в умении вести дела. Это практическая сноровка, приобретенная восемнадцатилетним опытом в конспиративной возне, в плетении разных комбинаций и интриг, в писании прокламаций, в обманах и в выпячивании своей персоны на передний

план, и придала г. Мадзини *смелость и дерзость*, с которой он, имея за собою трех менее его опытных в подобных делах подставных лиц, провозгласил себя Центральным комитетом европейской демократии. Столь же естественно и то, что эта первоначальная эмиграция давала прототипы для деятелей последующей эмиграции, этих Крапулинских, Вашлапских и Эвелинских всех национальностей, которые с стародавних времен (Аппо Товаск) трудились и страдали за свободу и с которых герои нынешней эпопеи являются лишь вялыми копиями.

Никто не находился в столь благоприятном положении, чтобы стать типичным эмигрантским агитатором, как наш друг *Гарро Гарринг*. И он действительно стал тем прообразом, которому более или менее сознательно и более или менее удачно стремятся подражать все великие люди нашей эмиграции, — все Арнольды, Густавы и Готфриды, и если ничто им не помешает, им, пожалуй, удастся с ним сравняться, но, конечно, не превзойти его.

Гарро, который, подобно Цезарю, сам описал свои подвиги (Лондон. 1852 г.), родился на Кимврийском полуострове. Он принадлежит к северофризскому племени провидцев, доказавшему уже при посредстве д-ра Клемента, что все великие народы мира произошли от него. Уже в ранней юности стремился он «доказать на деле свою преданность делу народов», отправившись в 1821 г. в Грецию. Наш друг Гарро, очевидно, уже с молодых лет чувствовал призвание быть всюду, где происходили замешательства. Впоследствии «странная судьба привела его к истокам абсолютизма, в непосредственную близость к царю, и он разглядел иезуитский характер конституционной монархии в Польше». Таким образом, в Польше сражался Гарро за свободу. Однако «кризис европейской истории после падения Варшавы заставил его глубоко задуматься», и это раздумье привело его к мысли о «демократизме в национальности», — мысли, которую он немедленно «запечатлел» в статье: «Народы», Страсбург, март 1832 г. По поводу этой статьи надобно заметить, что ее (на беду) чуть было не цитировали на празднестве в Гамбахе. В то же время он издал свои республиканские стихи: «Капли крови», повесть о царе *Сауле*, или о монархии, «Голос мужей» по поводу единства Германии, и стал редактировать выходивший в Страсбурге журнал «Германия». Все упомянутые его произведения и даже все его будущие произведения имели 4 ноября 1831 г. неожиданное счастье быть запрещенными Союзным сеймом. Только этого недоставало славному борцу, — теперь он получил заслуженную награду, а вместе с нею приял и мученический венец. Он был в праве воскликнуть: «Писания мои встретили широкое распространение и глубокий отзвук в сердцах народа. Их раздавали большею частью бесплатно. А что касается некоторых моих произведений, то я даже не покрыл расходов по их изданию».

Но его ожидали новые почести. Уже в ноябре 1831 г. г-н Велькер тщетно пытался в обширном послании «склонить его к *вертикальному горизонту* конституционализма» (zum *senkrechten Horizont* des Konstitutionalismus).

Потом, в январе 1832 г., к нему явился г. Мальтен, известный агент Пруссии за границей, и предложил ему поступить на прусскую службу. Вот двойное признание даже со стороны врагов!

Достаточно сказать, что предложение Мальтена пробудило в нем «невольное желание, ввиду этого династического предательства, вспомнить о скандинавской национальности», и с этого времени «вновь появилось, по крайней мере, слово «Скандинавия», считавшееся уже в течение столетий без вести пропавшим». Таким образом, наш северный фриз из Южной Ютландии, не знавший сам толком, немец он или датчанин, приобрел несколько фантастическую национальность, и первым результатом было то, что гамбахцы от него отказались.

После этих событий положение Гарро было обеспечено. Ветеран свободы еще со времени Греции и Польши, изобретатель «демократизма в национальности», вновь открывший слово «Скандинавия», поэт, мыслитель и журналист, признанный запретом Союзного сейма, мученик, великий человек, снискавший уважение даже врагов, которого причисляли к себе конституционалисты, абсолютисты, республиканцы, вдобавок достаточно пустой и путаный, чтобы верить в свое собственное величие, — чего нехватало ему для полноты счастья? Но вместе со славой росли также и требования, которые Гарро, как человек строгий, предъявлял к себе самому. Движение нуждалось в большом труде, который художественно объединил бы в занимательной и популярной форме великие учения свободы, идею демократии, национальности, все возвышенные свободолюбивые стремления пробуждающейся молодой Европы. Создать подобный труд мог лишь первоклассный поэт и мыслитель, а таким поэтом и мыслителем мог быть один только Гарро. Так возникли первые три части «драматического цикла *Народ*, в двенадцати частях, из которых одна на датском языке», — труд, которому автор посвятил десять лет жизни. К сожалению, из этих двенадцати частей одиннадцать до сих пор находятся в «рукописном виде».

Недолго, однако, продолжалось сладостное общение с музами. «Зимой 1832 — 1833 г. в Германии подготовлялось движение, молнией сверкнувшее в трагических беспорядках во Франкфурте. Мне было поручено в ночь с 6 на 7 апреля овладеть крепостью Кель. И люди, и оружие были в готовности». К сожалению, дело не выгорело, и Гарро пришлось удалиться (в Бургундию) в глубь Франции, где он стал писать свои «Слова человеческие». Оттуда вызвали его в Швейцарию готовившиеся к савойскому походу поляки. Там он «связался с их генеральным штабом», написал еще две части драматического цикла «Народ» и познакомился в Женеве с Мадзини. Затем весь сброд из польских, французских, немецких, итальянских и швейцарских авантюристов под командой благородного Раморино совершил пресловутое вторжение в Савойю. Во время этого похода наш Гарро почувствовал «ценность своей жизни и свою действительную силу». Но так как и остальные борцы за свободу так же, как и Гарро, почувствовали «ценность своей жизни», а относительно своей «действенной силы» также не питали ни-

каких иллюзий, то дело кончилось плохо, и компания возвратилась в Швейцарию разбитой, оборванной и рассеянной.

Лишь этого похода не доставало, чтобы рыцарский сонм эмигрантов получил полное представление о том, до чего он страшен тиранам. Пока отголоски июльской революции еще прорывались небольшими восстаниями во Франции, Германии и Италии, пока за ними еще стоял кое-кто, наши эмигрировавшие герои чувствовали себя лишь атомами в движущейся массе, — правда, более или менее выдающимися, руководящими атомами, но все же только атомами. По мере же того, как восстания эти теряли свою силу, как широкая масса «мямлей», «тепловатых» маловеров отходила от вспышко-пускательства, как наши рыцари стали чувствовать себя одинокими, — стало возрастать их самомнение. Если вся Европа была малодушна, глупа и своекорыстна, как должны были вырасти в собственных глазах верные смельчаки, жертвенно переживавшие в своей груди священный огонь ненависти к тиранам и хранившие традиции великой эпохи добродетели и любви к свободе для будущих более сильных поколений! Если бы и они изменили заветам, тираны были бы спасены на вечные времена. Так, подобно демократам 1848 г., черпали они в каждом поражении новую уверенность в победе и все больше и больше превращались в странствующих донкихотов с сомнительными источниками пропитания. Дойдя до этого положения, они могли предпринять величайший из их подвигов, а именно основание «Молодой Европы», и подписать 15 апреля 1834 г. в Берне составленный Мадзини договор о братстве. В новый союз Гарро вступил в качестве «инициатора Центрального комитета, приемного члена Молодой Германии и Молодой Италии и вместе с тем в качестве представителя скандинавского отдела», который он «представляет донныне».

День подписания этого акта о братстве составляет для нашего Гарро начало новой эры, от которого ведется летосчисление и вперед и назад, как это делалось до сих пор от Рождества Христова. Момент этот является кульминационным пунктом его жизни. Он был со-диктатором Европы *in partibus*, и хотя он миру был неизвестен, он все же был одним из опаснейших людей в мире. За собою он не имел никого, кроме нескольких немецко-ремесленников в Швейцарии, дюжины опустившихся молодцов, промышленявших политикой, и его остроумнейших, не напечатанных произведений. Но именно поэтому он мог утверждать, что за ним все народы. В том-то и особенность всех великих людей, что современники их не признают и что за это им принадлежит будущее. И это будущее наш Гарро носил за плечами, в котомке, написанным черным по белому в акте о братстве.

Но с этого времени начинается падение Гарро. Первое огорчение принесло ему то, что «Молодая Германия отделилась в 1836 г. от Молодой Европы». Однако Германия понесла за это достойное наказание. А именно вследствие этого отделения весной 1848 г. оказалось, что в Германии для национального движения *«ничего не подготовлено»*, и поэтому революция завершилась столь плачевно.

Еще более тяжкое огорчение причинило Гарро появление коммунизма. При этом мы узнаем, что изобретателем коммунизма был не кто иной, как «циник Иоганн Мюллер из Берлина, автор весьма интересной брошюры о политике Пруссии, вышедшей в 1831 г. в Альтенбурге», и что Мюллер отправился в Англию, где ему «не оставалось ничего иного, как пасти свиней на Смитфилдском выгоне» (Smithfield Market). Коммунизм вскоре стал свирепствовать среди немецких ремесленников во Франции и Швейцарии и сделался, таким образом, чрезвычайно опасным врагом для нашего Гарро, так как он закрыл единственный рынок для сбыта его писаний. Такова (по выражению Гарро) «косвенная цензура коммунистов», от которой бедный Гарро страдает и поныне, и даже горше прежнего, как он с грустью признает и как «доказывает судьба его драмы *Династия*».

Этой «косвенной цензуре» коммунистов удалось даже вытеснить нашего Гарро за пределы Европы, и таким образом он очутился в Рио-де-Жанейро (1840 г.), где он проживал в течение некоторого времени в звании художника. «Добросовестно следуя заветам времени», он напечатал там произведение «Стихи Скандинава» (в двух тысячах экземпляров), ставшие, благодаря своему распространению среди мореплавателей, как бы «океанской литературой». Однако из-за «щепетильного чувства долга перед Молодой Европой» он, к сожалению, вскоре вернулся в Европу, «поспешил в Лондон к Мадзини и там скоро разобрался в опасности, угрожавшей со стороны коммунизма делу европейских народов».

Его ждали новые подвиги. Братья Вандьера подготавливали поход в Италию. Дабы поддержать их в этом деле, а также вовлечь деспотизм в диверсию, Гарро «вновь отправился в Южную Америку, чтобы в единении с Гарибальди посылить содействовать торжеству идеи о будущности народов путем основания Соединенных штатов Южной Америки». Однако деспоты раскусили его намерения, и Гарро поспешил скрыться. Он отплыл в Нью-Йорк. «Во время океанского переезда я проявил большую умственную деятельность и написал, между прочим, драму «Власть идеи», относящуюся к циклу драм «Народ», также пребывающую доселе в рукописном виде!» Между прочим, он привез с собой из Южной Америки мандат от мнимой организации «Humanidad» и в качестве ее представителя вступил в Нью-Йорке в дискуссию с теми, кои себя там величали коммунистами.

Весть о февральской революции вдохновила его — и он написал на французском языке произведение «La France reveillée» («Пробужденная Франция»), а во время переезда в Европу «я вновь запечатлел свою любовь к отечеству в нескольких стихотворениях о Скандинавии».

Он прибыл в Шлезвиг-Гольштинию. Там он «после двадцатисемилетнего отсутствия застал беспримерное смешение понятий о международном праве, демократии, республике, социализме и коммунизме, наваленных, точно гнилое сено и солома, в авгиевых конюшнях партийного озверения и национальной ненависти». И неудивительно, «потому что мои политические писания, равно как и все мои стремления и моя деятельность,

начиная с 1831 г., остались чуждыми и неизвестными в этих пограничных местностях моей родины». В течение восемнадцати лет Аугустенбургская партия злостно замалчивала его. Чтобы помочь этой беде, он нацепил на себя саблю, ружье, четыре пистоleta и шесть кинжалов и в таком виде стал звать к образованию добровольческих дружин. Однако — тщетно. После нескольких скромных приключений он, наконец, очутился в Гулле на побережья. Там он поспешил обнародовать два воззвания — к шлезвиг-гольштинцам и к скандинавам и немцам, а также послал, как говорят, двум коммунистам в Лондон записку следующего содержания: «В лице моем пятнадцать тысяч рабочих Норвегии протягивают вам братскую руку!» Несмотря на это странное обращение, он вскоре, на основании старого договора о братстве, вновь сделался скромным членом Европейского центрального комитета, а вместе с тем «ночным сторожем и наемным слугой в Грэвзенде, на Темзе, где я должен был в интересах новообразовавшейся корабельной фирмы улавливать на девяти различных языках капитанов для судов, и это продолжалось до тех пор, пока мне не предложили прибегать для этого к обманным средствам, — чего, по крайней мере, не произошло с философом Иоганном Мюллером в бытность его свинопасом».

Итог своей богатой подвигами жизни Гарро подводит таким образом: «Можно легко подсчитать, что, помимо стихов, я подарил демократическому движению восемнадцать тысяч экземпляров моих произведений на немецком языке (ценой от десяти шиллингов до трех марок по гамбургскому курсу, а всего вместе около двадцати пяти тысяч марок по прежней цене), не получив возмещения за расходы по их изданию, не говоря уже о том, что я не извлекал из этих изданий никаких выгод или средств к существованию».

На этом мы закончим повесть о приключениях нашего демагогического Гидальго из южно-ютландской Ламанчи. В Греции, как и в Бразилии, на Висле, как и на Лаплате, в Шлезвиг-Голштинии, как и в Нью-Йорке, в Лондоне, как и в Швейцарии — то представитель Молодой Европы или южноамериканской «Humanidad», то художник, то ночной сторож или наемный слуга, то продающий свои собственные произведения книгоноша, сегодня среди полабских славян, завтра среди гаучо, после завтра среди морских капитанов, не признанный, осмеянный, замалчиваемый, но всюду странствующий рыцарь свободы, питающий основательное презрение к обычным буржуазным видам заработка, — наш герой всегда, во всех странах и при всех обстоятельствах, остается верным себе в идейном конфузионизме, претенциозной навязчивости, самомнении и, всему свету вопреки, будет о себе говорить, писать и печатать, что начиная с 1831 г. он был главным движущим колесом мировой истории.

## IX

Несмотря на свои неожиданные успехи, Арнольд все же еще не добрался до цели своих домогательств. Назначенный милостью Мадзини представителем Германии, он должен был получить утверждение в этом звании



хотя бы от германской эмиграции, а, с другой стороны, представить Центральному комитету людей, которые признавали бы его руководство. Правда, он утверждал, что в Германии за ним стоит «точно очерченная часть народа», но эта задняя часть отнюдь не могла внушать доверия Мадзини и Ледрю, пока они лицемерили только переднюю часть Руге. Словом, Арнольду пришлось позаботиться о создании «точно очерченного» хвоста в эмигрантской среде.

К этому времени в Лондон прибыл Готффрид Кинкель и вместе с ним, или вскоре после него, прибыли также некоторые другие эмигранты, частью из Франции, частью из Швейцарии и Бельгии: Шурц, Штродтман, Оппенгейм, Шимельпфенниг, Техов и др. Эти вновь прибывшие, отчасти уже в Швейцарии упражнявшиеся в деле образования временных правительств, внесли новую струю в жизнь лондонской эмиграции, и момент казался для нашего Арнольда более подходящим, чем когда-либо раньше. Вдобавок, к тому же времени Гейнцен возобновил в Нью-Йорке выпуск своей газеты «Schnellpost», и таким образом Арнольд имел возможность, кроме бременского листка, печататься часто также и в американской газете. Если бы у Арнольда оказался когда-либо свой Штродтман, последний нашел бы в комплекте «Schnellpost» начала 1851 г. совершенно неопенимый материал. Кто не читал этих писаний Арнольда, тот не может себе представить бесконечной болтовни и чисто муравьиной важности, с которой Арнольд этой болтовней занимается. В то время как Гейнцен говорит об Арнольде как о великой европейской державе, Арнольд обращается со своим Гейнценом как с оракулом американского газетного мира! Он сообщает ему тайны европейской дипломатии, а в частности, повседневные перемены в эмигрантской мировой истории; иногда же он в качестве анонимного корреспондента из Лондона или Парижа сообщает американской публике о некоторых светских выступлениях (*fashionable movements*) великого Арнольда. «А. Руге опять прижал коммунистов к стенке». — «А. Руге *вчера* (сообщение якобы из Парижа, но счет времени выдает неловкого обманщика) совершил прогулку из Брайтона в Лондон». И еще: «Арнольд Руге Карлу Гейнцену: Дорогой друг и редактор, — Мадзини тебе кланяется. Ледрю-Роллен *разрешает* тебе перевести его статью от 13 июня (предложи немецким газетам в Америке перепечатать эту статью)» и т. д. По этому поводу в письме из Америки говорится: «как я вижу из писем Руге в «Schnellpost», Гейнцен пишет Руге (в частном порядке) всякого рода небылицы о значении его листка в Америке, между тем как Руге по отношению к нему держит себя великой державой. Как только Руге сообщает Гейнцену какую-либо важную новость, он не упускает случая прибавить: можешь предложить другим немецким газетам в Америке это перепечатать. Точно они бы стали ждать разрешения Руге, если бы нашли известие стоящим. К слову сказать, я ни разу еще не видел, чтобы чрезвычайные известия эти были где-либо перепечатаны, несмотря на советы и разрешение г. Руге». Папаша Руге пользовался этим листком так же, как и бременской газеткой, для удов-

ления лестью новоприбывающих эмигрантов. Например: здесь теперь находится Кинкель, гениальный поэт и патриот; Штротдман, великий писатель; Шурц, молодой человек, отличающийся как любезностью, так и смелостью; кроме этих лиц, еще несколько выдающихся вождей революции и т. п.

Между тем образовался в противовес мадзиниевскому *плебейский* европейский комитет, за которым стояли «*подонки* эмиграции» и весь сброд, сбежавшийся из разных стран Европы. Ко времени битвы при Бронцелле они выпустили манифест, подписанный, между прочим, следующими выдающимися немецкими гражданами: Гебертом, Майером, Дитцом, Шертнером, Шапшером, Виллихом. Документ этот, написанный на своеобразном французском языке, сообщает, в качестве последней новости, что Священный союз тиранов собрал к этому времени (10 ноября 1850 г.) под ружье миллион триста тридцать тысяч солдат, за которыми держатся в резерве еще семьсот тысяч вооруженных княжеских служителей; что «немецкие газеты и кое-какие связи комитета» дали ему возможность узнать о тайных планах Варшавской конференции, каковые планы сводятся к тому, чтобы «перерезать всех республиканцев Европы». Заканчивается манифест неизбежным призывом к оружию. Этот манифест Fanon-Saragon-Goulé, как назвала его газета «Patrie», в которую он был послан, был жестоко высмеян контр-революционной прессой. «Patrie» назвала его «манифестом deorum minorum gentium (третьестепенных величин), написанным без блеска, без стиля, с жалкими цветами красноречия вроде «змеиных жал», «наемных убийц» и «резни». «Indépendance Belge» рассказывала, что он составлен никому неведомыми мелкими деятелями (les soldats les plus obscurs) демократии и что бедняги послали его своим корреспондентам в Лондон, хотя последние и принадлежали к консервативной партии. Так жаждали они увидеть свои имена в печати, но подписи в наказание как-раз и не были напечатаны. Несмотря на заискивание перед редакцией, этим рыцарям так и не удалось заслужить того, чтобы их признали опасными заговорщиками.

Создание конкурирующего учреждения заставило Арнольда удвоить свою деятельность. Он пытался основать вместе со Струве, Кинкелем, В. Шраммом, Бухером и др. газету «Друг народа» или, если Густав того непременно потребует, хотя бы «Германский зритель». Но дело не выгорело. Отчасти из-за того, что остальная компания противилась диктатуре Арнольда, отчасти потому, что «добродушный» Готфрид требовал выплаты тонора чистоганом, между тем как Арнольд придерживался взгляда Ганземана, что в денежных делах «добродушие» неуместно. К материальной поддержке этого предприятия Арнольд рассчитывал главным образом привлечь «Общество читателей», клуб немецких часовщиков, хорошо оплачиваемых рабочих и мелких буржуа. Однако и это не удалось.

Вскоре представился, впрочем, Арнольду новый случай опять «проявить» себя. Ледрю со своими приверженцами среди французских эмигрантов

не могли пропустить 24 февраля (1851 г.), не устроив «праздника братства» европейских народов, — праздника, на котором присутствовали, впрочем, лишь французы и немцы. Мадзини не приехал и прислал письменное извинение. Готфрид, присутствовавший на торжестве, возвратился домой до крайности возмущенный, так как его безмолвное появление не вызвало потрясающего эффекта, на который он рассчитывал. Арнольду пришлось даже перенести такой удар, что его друг Ледрю сделал вид, будто не узнает его, — и он, взойдя на трибуну, растерялся до такой степени, что оставил про себя одобренную высшими сферами (Мадзини) французскую речь и промямлил только несколько слов по-немецки, после чего с восклицанием: «A la restauration de la Révolution!» (за реставрацию революции) поспешно скрылся при всеобщем покачивании головами.

В тот же день состоялся контр-банкет под эгидой упомянутого выше конкурирующего комитета. С досады на то, что комитет Мадзини-Ледрю не привлек его с самого начала в свой состав, Луи Блан присоединился к эмигрантской мелкоте, заявив, что необходимо отменить и аристократию талантов! Собралась вся рядовая эмиграция. Председательствовал рыцарственный Виллих. Зал был декорирован знаменами и по стенам красовались имена великих народных борцов: между Гарибальди и Кошутом — Вальдек, между Бланки и Кабэ — Якоби, между Варбесом и Робеспьером — Роберт Блюм. Жеманная обезьянка Луи Блан с писком прочла адрес своих старых подголосков, будущих пэров социальной республики и бывших делегатов в Люксембургский дворец в 1848 г. Виллих огласил полученный из Швейцарии адрес, подписи под которым были собраны частью под ложными предложениями, причем бахвальное обнародование их впоследствии повело к массовой высылке подписавших воззвание. Из Германии адреса не было. Затем пошли речи. Несмотря на безграничное братство на всех лицах лежал отпечаток скуки.

Банкет этот послужил поводом для крайне назидательного скандала, разыгравшегося, подобно большинству подвигов Центрального европейского комитета эмигрантской мелкоты, на столбцах контр-революционной печати. Надо сказать, что всех весьма удивило, когда на этом банкете некий г. Бартеlemi в присутствии Луи Блана произнес напыщенную похвалу Бланки. Теперь дело разъяснилось. «Patrie» напечатала текст тоста, присланного Бланки по просьбе Бель-Иля (Belle-Isle) для этого банкета. В нем Бланки резко и решительно нападал на все временное правительство 1848 г. и, в частности, на г. Луи Блана. «Patrie» выразила удивление, почему тост этот не был оглашен на банкете. Луи Блан немедленно заявил в «Times», что Бланки — гнусный интриган и подобного тоста комитету вовсе не присылал. Комитет в лице гг. Виллиха, Ландольфа, Шаппера, Бартеlemi и Видиля в то же время заявил на столбцах «Patrie», что он этого тоста не получал. Однако «Patrie» напечатала это заявление лишь после того, как получила от г. Антуана, зятя Бланки, справку относительно тоста, текст которого он же ей сообщил. Рядом с заявлением комитета напечатан был

ответ г. Антуана: он послал тост лицу, подписавшему в числе прочих заявление, а именно Бартелеми, и получил от него сообщение о получении посланного! После этого г. Бартелеми пришлось сознаться, что он солгал: тост он действительно получил, но, найдя его неподходящим, скрыл его, не сообщив ничего комитету. К несчастью, однако, один из подписавших заявление, бывший капитан французской службы Видиль, написал без ведома Бартелеми в «Patrie» письмо, в котором заявил, что чувство воинской чести вынуждает его сознаться, что как он, так и Луи Блан, Виллих и все прочие солгали, подписывая первое заявление комитета. Комитет состоял не только из шести подписавшихся членов, а из тринадцати лиц. Всем им был показан тост Бланки, все они его обсуждали и, после долгих дебатов, большинством семи голосов против шести решено было его замолчать. Он, Видиль, был одним из шести членов, голосовавших за оглашение.

Легко представить себе торжество «Patrie», когда она, после письма Видиля, получила заявление г. Бартелемп. Она напечатала его со следующим вступлением:

«Мы часто задавали себе вопрос, — а на него ответить не легко, — что у демагогов развито сильнее — бахвальство их или глупость? Полученное нами четвертое письмо из Лондона усугубляет наше сомнение. Их там бог весть сколько людишек, до такой степени снедаемых жаждой писать и видеть свое имя напечатанным в реакционных газетах, что они не отступают даже перед бесконечным срамом и самоунижением. Ни насмешки, ни негодование публики им нипочем, — ведь сами «Journal des Débats», «Assemblée Nationale», «Patrie» напечатывают их литературные упражнения. За такое счастье никакая цена не может показаться слишком высокой этой космополитической демократии... Во имя литературного сострадания мы помещаем поэтому нижеследующее письмо «гражданина» Бартелеми, — оно является новым и, надеемся, последним доказательством подлинности отныне знаменитого «тоста Бланки», получение которого они сперва все вместе отрицали, а теперь передрались между собой из-за того, кто удостоит его получение»

## X

«Сила истинного происшествия», употребляя одно из изысканно-красивых арнольдовых выражений, состояла в следующем. 24 февраля Руге скомпрометировал в глазах иностранцев как себя, так и немецкую эмиграцию. Немногие эмигранты, имевшие еще склонность выступать совместно с ним, чувствовали себя весьма неуверенно и теряли почву под ногами. Арнольд сваливал все на раздоры в эмигрантской среде и сильнее прежнего настаивал на объединении.

Скомпрометированный уже до крайней степени, он тем не менее надеялся найти повод еще раз скомпрометировать себя.

Годовщину *мартовской революции в Вене* было поэтому решено отметить устройством немецкого банкета. Рыцарственный Виллих отказался

принять в нем участие, ибо, принадлежа гражданину Луи Блану, он не мог выступать вместе с гражданином Руге, который принадлежал гражданину Ледрю. Бывшие депутаты Рейхенбах, Шрамм, Бухер и др. также избегали общества Арнольда. Зато явились Мадзини, Руге, Струве, Таузену, Гауг, Ронге, Кинкель, и все они говорили, — о гостях без речей мы умалчиваем.

Выступление Руге было «безмерно глупо», как то признают даже его друзья. Однако присутствующей немецкой публике предстояло увидеть еще нечто более знаменательное. Арлекинады Таузену, карканье Струве, болтовня Гауга, причитания Ронге привели аудиторию в состояние оцепенения, так что большая часть ее разбежалась раньше, нежели слово взял оставленный на десерт велеречивый Иеремия Кинкель. Готфрид говорил в качестве мученика и для мучеников, обращаясь с жалобным словом примирения ко всем — «от рядового борца за конституцию и кончая красным республиканцем». Между тем как они все кряхтели в качестве республиканцев, они в то же время раскланивались в почтительном восхищении перед английской конституцией, — противоречие, на которое «Morning Chronicle» на следующее утро дал себе труд обратить их внимание.

Однако в тот же вечер Руге достиг-таки цели своих стремлений, как явствует из воззвания, наиболее блестящие места которого мы приводим:

#### *К немцам*

Братья и друзья на родине! Мы, нижеподписавшиеся, учреждаем ныне — впредь до вазского распоряжения — комитет по германским делам (по всем решительно).

Центральный комитет европейской демократии дал нам Арнольда *Руге*, баденская революция — Густава *Струве*, венская революция — Эрнста *Гауга*, тюрьма — Готфрида *Кинкеля*. Кроме того, мы предложили рабочим социал-демократам делегировать к нам своего представителя.

Братья немцы! События отняли у вас свободу... Мы знаем, что вы неспособны навсегда отказаться от нее; что же касается нас, то мы не пренебрегли никакими усилиями, никакими комитетами и манифестами (это может засвидетельствовать Арнольд), чтобы ускорить ее завоевание.

Когда мы... когда мы поддержали и гарантировали мадзиниевский заем, когда мы... когда мы... провозгласили священный союз народов в противовес кощунственному союзу их угнетателей, мы делали — мы это знаем — то, что вы от всей души желали, чтобы было сделано... Великая тяжба свободы против тираны подсудна всемирному трибуналу человечества (пока Арнольд состоит прокурором, тираны могут спокойно спать)... Мор, убийства, опустошение, голод и банкротства вскоре распространятся по всей Германии.

Взгляните на Францию, — она горит негодованием, единодушнее, чем когда-либо, рвется она к свободе (какой чорт мог предвидеть второе декабря!)! Взгляните на Венгрию, — даже кроаты распропагандированы! И верьте нам, — ибо мы это знаем, — Польша бессмертна (об этом им сообщил под секретом г-н Дараш, пропевший: «Еще Польша не згинела»).

Сила против силы, — такова справедливость, — и близится ее день. И мы ничем не пренебрежем, чтобы *установить временное правительство, более действительное* (ага!), нежели парламент, и народную власть, более могущественную, нежели Национальное собрание (о том, что установили эти господа, желавшие водить друг друга за нос, смотри дальше).

Наши проекты в области финансов и печати (декреты сильной власти № 1 и 2, — управляющему таможами Христиану Мюллеру поручается приведение в исполнение настоящего

постановления) мы вам представим особо. Их интерес главным образом практический. Что же касается общественности, то для нас важно лишь то, что всякий покушающий итальянский заем непосредственно содействует нашему комитету и нашему делу и что в настоящее время вы можете нам быть полезны главным образом усилением наших денежных средств. Деньги же мы сумеем претворить в общественное мнение и в общественную силу (Арнольд берется за дело претворения!)... Мы говорим вам: *подпишите на десять миллионов франков — и мы освободим континент!*

Немцы, помните... (что вы поете баритоном и разводите костры на горных вершинах) ...дайте нам ваши мысли (на это в данный момент большой спрос, почти такой же, как на деньги), ваш кошелек (смотрите, не забудьте) и вашу руку! Мы думаем, что рвение ваше возрастает вместе с гнетущими вас притеснениями и что в решительный час комитет найдет в вас необходимую поддержку (в противном случае пришлось бы прибегнуть к спиртным напиткам, что противоречило бы требованиям густавовой совести).

На всех демократов возлагается распространение нашего воззвания (управляющий таможами Христиан Мюллер позаботится об остальном).

Комитет по германским делам: *Арнольд Руге, Густав Струве, Эрнст Гауг, Иоганн Ронге. Готфрид Кинкель.*

Лондон, 13 марта 1851 г.

Наши читатели знают Готфрида, знают Густава: «проявления» себя Арнольда тоже «повторялись» достаточно часто. Таким образом, нам остается охарактеризовать только двух членов «сильного временного правительства».

Иоганн Ронге, — или, как он любит называть себя в тесном кругу, просто Иоганн, — Апокалипсиса, конечно, не написал. В нем нет ничего таинственного, — это человек плоский, обыденный, безвкусный, как вода, или, вернее, даже как теплая водица для полоскания. Как известно, Иоганн стал знаменитым человеком, ибо не хотел, чтобы за него заступались трирские носители священного одеяния, хотя не все ли, право, равно, кто заступается за Иоганна? Когда появился Иоганн, старик Паулюс пожалел о том, что Гегель умер, ибо теперь последний не мог уже прославить его как образец плоскости, а покойник Круг рад был умереть и таким образом избежать опасности прослыть глубокомысленным. Иоганн принадлежит к числу часто встречающихся в истории личностей, которые через несколько столетий после того, как возникло и закончилось какое-либо движение, преподносят известным слоям мешчан и восьмилетним детям бледнейшее и скучнейшее повествование об этом движении в качестве последней новости. Подобным ремеслом долго не проживешь, и наш Иоганн вскоре очутился в Германии в положении, день ото дня все более и более тягостном. Его седьмая вода на киселе германского просвещения вышла из моды, и Иоганн перебрался в Англию, где он без особенного успеха подвизается в роли конкурента падре Гавадци. Беспомощный, вялый, скучный деревенский пастор ступешевывался, конечно, перед горячим актерствующим итальянцем-монахом, и англичане стали биться об заклад на большие суммы, утверждая, что вряд ли этот нудный Иоганн мог оказать сильное влияние на глубокомысленную германскую нацию. Зато утешением ему служил лишь Арнольд

Руге, открывший поразительное семейное сходство между германо-католицизмом нашего Иоганна и своим собственным атеизмом.

Людвиг *фон-Гаук* — бывший имперско-австрийский капитан инженерных войск, впоследствии, в 1848 г., один из составителей конституции в Вене, еще позже батальонный командир венской национальной гвардии, и в качестве такового 30 октября с львиной отвагой защищал вход в Бург от имперских войск и покинул свой пост лишь тогда, когда все было потеряно. После этого бежал в Венгрию и в Семиградье, присоединился к армии Бемса, в которой благодаря своей храбрости дослужился до полковника генерального штаба. После сдачи Гергея при Вилагоше Людвиг Гаук был взят в плен и погиб геройской смертью на одной из виселиц, во множестве воздвигнутых в Венгрии австрийцами, мстившими за свои постоянные поражения и взбешенными тем, что не могли обойтись без покровительства русских. Наш *Гаук*, о котором никто не слышал ни в Венгрии, ни в Вене, появился в Гамбурге после подавления революции 1849 г. в качестве итальянского революционного генерала. В Лондоне Гаук долго сходил за пленного Гаука. Ныне как будто установлено, что он не есть покойник Гаук. Подобно тому как он после падения Рима принял от Мадзини назначение в генералы, он не препятствовал тому, чтобы Арнольд назначил его представителем венской революции и членом «сильного» временного правительства. Впоследствии он читал эстетические лекции об экономических основах космогонии мировой истории с геологической точки зрения и под аккомпанемент музыки. В среде эмиграции этот тоскливый человек известен под прозвищем «бедной скотинки», или, как французы говорят, *la bonne bête*.

Пожелания Арнольда были превзойдены. Манифест, сильное временное правительство, заем в десять миллионов франков — и к тому же какой-то недоносек еженедельного листка со скромным названием «Космос», под редакцией генерала Гауга.

Манифест прошел незамеченным, — его просто не читали; «Космос» умер от истощения на третьем номере; денег не поступало; сильное временное правительство разложилось на свои составные части.

В «Космосе» печатались прежде всего рекламы по поводу лекций Кинкеля, объявления о проблематичном сборе денег честного Виллиха в пользу шлезвиг-голлштинских эмигрантов и пивной Герингера. Кроме того, в ней помещена была грубая и тривиальная сатирическая вещь Арнольда. Старый шутник выводил в ней своего якобы друга Мюллера в Германии, с которым вел беседу под именем Шульце. Мюллер удивляется всему, что читает в газетах об английском гостеприимстве, и боится, как бы Шульце не стал «сибаритом» и как бы это не отразилось на его занятиях «государственными делами». Впрочем, это не беда, ибо по возвращении в Германию Шульце из-за государственных дел придется отказаться от мюллерова гостеприимства. В заключение Мюллер восклицает: «Значит, не предатель Радовиц, а Мадзини, Ледрю-Роллен, гражданин Виллих, Кинкель и *вы сами* (Арнольд Руге) были приглашены в Виндзор?» Если «Космос» тем не менее отошел в

вечность уже на третьем номере, то зависело это во всяком случае не от неумения практически поставить дело, — на всех английских митингах его подсовывали ораторам с просьбой рекомендовать его, так как он защищает-де именно их воззрения.

Не успело появиться воззвание относительно подписки на десятиmillionный заем, как распространился слух, будто в Сити устанавливаются денежные сборы на предмет отправки Струве (в сопровождении Амалии) в Америку. «Когда комитет постановил выпускать истинно-немецкий еженедельник и поручить редактирование его Гаугу, Струве, который сам желал стать редактором и назвать листок «Германским зрителем», запротестовал и решил перебраться в Америку. Таковы сведения, сообщаемые нью-йоркской немецкой «Schnellpost». Газета умалчивает, — а Гейнцен знал всю подноготную этого дела, — что Мадзини вычеркнул имя Густава, как (бывшего) сотрудника немецкой газеты герцога Брауншвейгского в Лондоне, из списка немецкого комитета. Густав немедленно пересадил своего «Германского зрителя» на нью-йоркскую почву. Однако вскоре после этого пришла депеша из-за океана: «Скончался густавов «Зритель». По утверждению Густава, это произошло не от недостатка в подписчиках вообще, а также не от того, что он не располагал нужным для писания досугом, а единственно из-за недостатка в *платных* подписчиках. Но так как демократическую обработку роттековой всемирной истории нет возможности дольше откладывать, — а начата эта работа пятнадцать лет тому назад, — то он, Густав, предлагает дать подписчикам обусловленное число листов не «Германским зрителем», а всемирной историей; он вынужден, однако, просить уплаты подписных денег вперед, и эта просьба при данных обстоятельствах никого не должна обижать. Пока Густав находился по сю сторону океана, Гейнцен объявлял его на-ряду с Руге величайшим человеком Европы. Но не успел он перебраться по ту сторону, как между ними разразилось резкое столкновение. Густав пишет: «Когда Гейнцен 6 июня в Карлсруэ увидел, что выдвигаются пушки, он сбежал в дамском обществе в Страсбург». Гейнцен, со своей стороны, называет Густава «гадалкой».

«Космос» погиб как раз в тот момент, когда Арнольд напыщенно провозглашал его славу в газете легковерного Гейнцена, а «сильное временное правительство» перестало существовать как раз в то время, когда Родомонто Гейнцен предложил ввести в отношении к нему «воинское повиновение». Пристрастие Гейнцена к военным делам в мирное время известно.

«Через короткое время после отъезда Струве вышел из комитета также и *Клинкель*, и комитет таким образом потерял свою силу», («New-Yorker Deutsche Schnellpost», № 23).

«Сильное временное правительство» состояло, следовательно, отныне из господ Руге, Ронге и Гауга. Даже Арнольд понял, что подобной троице не создать не только нового мира, но и вообще ничего; тем не менее, при всяких сменах, изменениях и комбинациях именно эта троица оставалась ядром его последующих комитетских образований. Этот неутомный



человек все еще не сдавался; для него все дело было в том, чтобы вообще что-нибудь делалось и предпринималось, что давало бы ему видимость деловитости и глубоких политических комбинаций, а паче всего — право важничать и говорить вкривь и вкось, право «проявлять себя» и предаваться самодовольной болтовне.

Что касается Готфрида, то читавшиеся им тогда драматические лекции для respectable city merchants (почтенных негоциантов) никак не позволяли ему скомпрометировать себя. С другой стороны, было слишком ясно, что манифест 13 марта не преследовал никакой иной цели, как подкрепить узурпированное господином Арнольдом положение в Европейском центральном комитете. Самому Готфриду пришлось в этом впоследствии убедиться. Однако подобное положение совершенно не соответствовало его интересам. Этим и вызвано было то, что вскоре после обнаружения манифеста в «Kölnische Zeitung» появилось заявление Dama aserba (злопыхательствующей дамы), Мокель: муж ее вовсе не подписал воззвания, он вообще не думает о публичных займах и успел уже выйти из только что образовавшегося комитета. В ответ на это Арнольд в нью-иоркской «Schnellpost» сосплетничал, что Кинкель, правда, по болезни не подписал манифеста, но вполне его одобрил, что план манифеста составлялся у него в комнате, что он взялся переправить известное число экземпляров в Германию и что из комитета он вышел потому, что председателем его был избран не он, а генерал Гауг. Заявление Арнольда сопровождалось сердитыми выпадами по поводу тщеславия Кинкеля, «абсолютного мученика», «демократического Бекерата» и многозначительными инсинуациями по адресу госпожи Иоганны Кинкель, имевшей-де возможность пользоваться такими запретными газетами, как «Kölnische Zeitung».

Зерно, брошенное Арнольдом, пало не на каменистую почву. Прекраснодушный Готфрид решил одурачить соперников и одному раздобыть революционный клад. Не успела Иоганна дезавуировать в «Kölnische Zeitung» это смехотворное предприятие, как Готфрид стал на собственный страх призывать в заокеанских газетах к займу, прибавляя, что деньги надлежит посылать человеку, «пользующемуся наибольшим доверием». Кто же мог быть таким человеком, как не Готфрид Кинкель? Для начала он *требовал* взноса пятисот фунтов стерлингов на предмет изготовления революционных бумажных денег. Руге, — не будь глуп, — объявил в «Schnellpost», что он, Руге, является казначеем демократического Центрального комитета и что у него можно приобретать уже изготовленные мадзиниевские ассигнации. Поэтому тот, кто желает выгадать пятьсот фунтов стерлингов, поступит разумнее, приобретя готовые ассигнации, нежели спекулируя еще несуществующими ассигнациями. А Родомонто Гейнцен просто завопил, что если господин Кинкель не бросит своих штук, его открыто объявят «врагом революции». Тогда Готфрид принял меры к тому, чтобы в «New-Yorker Staatszeitung», прямой сопернице «Schnellpost», появились ответные статьи. Таким образом, по ту сторону Атлантического океана война

уже велась по всем правилам искусства, когда по сю сторону еще обменялись иудовыми лобзаниями.

Однако, как Готфрид вскоре убедился, он все же несколько восстановил против себя прямодушных людей из демократических кругов, беззастенчиво объявив национальный заем от своего собственного имени. Чтобы исправить эту ошибку, он придумал объяснение: «Воззвание о денежных взносах на германский национальный заем исходило отнюдь не от него, — по всей вероятности, его именем воспользовались для этого не в меру усердные друзья его в Америке». Объяснение это вызвало в «Schnellpost» следующий ответ со стороны доктора Висса: «Как всем известно, воззвание об агитации в пользу германского займа было *прислано мне Готфридом Кинкелем с настоятельной просьбой* опубликовать его во всех немецких газетах. Всякому, кто в этом усомнится, я готов предоставить это письмо для прочтения. Если заявление исходит действительно от Кинкеля, то дело его чести публично от него отказаться и обнародовать мою переписку с ним, чтобы показать партии, насколько независимо, и уж никак не «не в меру усердно», я поступал по отношению к нему. В противном случае обязанность Кинкеля так же публично назвать почтенного автора заявления гнусным клеветником или, если здесь имело место недоразумение, легкомысленным и бессовестным болтуном. Я, со своей стороны, не могу верить в столь безмерное коварство Кинкеля. Доктор К. Висс» («Еженедельное приложение к «Schnellpost»). Что оставалось делать Готфриду? Он вновь выдвинул вперед *aspera donzella* (злопыхательствующую даму); он объявил, что «легкомысленным и бессовестным болтуном» была Мокель; он утверждал, что супруга его за его спиной вела все дело с займом. Тактика эта, спора нет, была весьма «эстетична».

Ибо Готфрид наш был гибок подобно тростинке, то выступая вперед, то прячась на задний план, то берясь за предприятие, то отказываясь от него — в зависимости от того, откуда, по его мнению, дует ветер народного расположения. Между тем как в Лондоне он позволяет эстетствующей буржуазии устраивать в честь его, мученика революции, официальные торжества и празднества, — он в то же время за спиной этой буржуазии находится в тайных сношениях с эмиграционной мелкотой, возглавляемой Виллихом. Живя в условиях, которые, по сравнению с его скромным положением в Бонне, могли быть названы блестящими, он в то же время писал в Сан-Луи, что он живет, как подобает «представителю бедноты». Так соблюдал он установленный этикет по отношению к буржуазии и в то же время расшаркивался пред пролетариатом. Но так как у него сила воображения далеко превосходила разум, он не мог не впасть в претенциозность и бесцеремонность выскочки, что оттолкнуло от него не одного накрахмаленного педанта эмиграции. Весьма характерной для него была его статья в «Космосе» по поводу промышленной выставки. Ничто не внушило ему такого восхищения, как чудовищных размеров зеркало, выставленное в Хрустальном дворце. Объективный мир низводится для него к зеркалу (*die objective*

Welt löst sich ihm in einen Spiegel auf), субъективный мир — к фразе. Якобы для обнаружения красоты во всех предметах он кокетничает с этими предметами и жеманство это называет, смотря по настроению, то поэзией, то самопожертвованием, то религией. В сущности говоря, все ему нужно лишь для того, чтобы приукрашивать себя самого. При этом на практике неизбежно выступает наружу некрасивая сторона, воображение переходит в лживость, а экспансивность — в гнусность. Впрочем, нашему Готфриду можно было заранее предсказать, что как только он попадет в руки таких многоопытных паяцов, как Густав и Арнольд, он скоро скинет с себя львиную шкуру.

## XI

Промышленная выставка составила эпоху в жизни эмиграции. Огромная волна немецких филистеров, наводнившая в течение летних месяцев Лондон, чувствовала себя неуютно в обширном, гудящем Хрустальном дворце и в еще много более обширном, гремящем, шумящем, рычащем Лондоне, и после дневных тягот и трудов по обязательному обозрению выставки и прочих достопримечательностей, завершив трудовой день в поте лица своего, немецкий филистер отдыхал в ресторане «Ганау» Шертнера или в кафе «Звезда» Герингера, где все пропахло пивным уютом, табачным дымом и трактирной политикой. Здесь «была налицо вся родина», и вдобавок здесь можно было безвозмездно лицезреть величайших людей Германии. Там заседали члены парламента, депутаты палат, полководцы, клубные ораторы прекрасных времен 1848 и 1849 гг., посасывая свои трубки, точно обыкновенные люди, и *сogam publico* (публично) обсуждали изо дня в день с невозмутимым достоинством высшие интересы родины. Это было место, где немецкий гражданин, если ему не жаль было нескольких бутылок весьма, впрочем, дешевого вина, мог в точности узнать все, что происходило на самых тайных совещаниях европейских кабинетов. Там можно было узнать с точностью до минуты, когда «начнется» дело и когда можно будет свернуть шею тиранам. При этом опустошалась одна бутылка за другой, и сторонники разных мнений расходились по домам, хотя и не совсем твердо переступая ногами, но зато с возвышающим душу сознанием, что они внесли свою лепту в дело спасения родины. Никогда эмиграция не вышивала больше с меньшими затратами, чем за время массового наезда в Лондон платежеспособных мещан.

Действительной организацией эмиграции была именно эта достигшая наивысшей степени процветания во время выставки *трактирная организация* под эгидой Силена-Шертнера в улице Long Acre. Там и происходили перманентные заседания подлинного центрального комитета. Все прочие комитеты, организации, партийные образования были чистым блефом, патристическими арабесками на этой истинно-германской, — из эпохи облаченных в медвежьи шкуры германцев, — харчевне с постоянными заседателями.

К тому времени эмиграция получила подкрепление в лице новопривыбывших господ Мейена, Фаухера, Зигеля, Гегга, Фиклера и пр.

*Мейен*, этот небольшой ёж, по ошибке родившийся на свет божий без колючек, был уже некогда под именем Poinsinet обрисован Гете следующим образом: «В литературе, как и в обществе, встречаются такие чудаковатые, забавные фигурки, одаренные небольшими талантиками, весьма навязчивые и назойливые и, хотя их вообще легко не заметить, дающие тем не менее поводы для всевозможных забав. И все же эти забавники ухитряются создавать себе некоторые репутации. Они живут, действуют, их имя называют и, случается, даже оказывают им подчас хороший прием. Если их постигает неудача, они не теряются, принимают ее как неприятную случайность и ожидают в будущем всяческих успехов. Во французском литературном мире такой фигурой является Poinsinet. Прямо невероятно, что над ним проделывали, во что его втравливали, как его мистифицировали, и даже его трагическая смерть, — он утонул в Испании, — не могла ослабить комического впечатления, которое производила его жизнь, подобно тому как ракета фейерверка не приобретает значения потому, что, потрещавши некоторое время, лопается с еще более сильным треском».

Современные ему писатели, со своей стороны, говорят о нем следующее: *Эдуард Мейен* принадлежал к числу «решительных», противопоставлявших массовой глупости остальной Германии интеллигентность Берлина. Вместе с его друзьями Мюгге, Клейном, Цабелем, Булем и прочими он также образовал в Берлине союз *Meukenkäfer*<sup>1</sup> (мейенских жуков). Каждый из этих мейенских жуков сидел на своем особом листочке<sup>2</sup> — Эдуард Мейен сидел на «*Mannheimer Abendblättchen*», на котором он с величайшими усилиями еженедельно сносил зеленую корреспондентскую колбаску. Мейенский жук добился даже того, что ему в 1845 г. *предстояло* редактировать ежемесячный журнал; с разных сторон поступали к нему работы, издатель ждал, но все дело расстроилось оттого, что Эдуард, обливаясь со страху холодным потом в течение восьми месяцев, в конце концов заявил, что не может составить объявления об издании. Так как наш Эдуард принимает все свои ребячества всерьез, он после мартовской революции прослыл в Берлине человеком, серьезно относящимся к движению. В Лондоне он вместе с Фаухером работал под редакцией и под цензурой старухи, лет двадцать назад понимавшей немного по немецки, в немецком издании «*Illustrated London News*», но устранен был от дела за неспособностью, а также потому, что с большим упорством пытался пристроить в этот журнал свою глубокомысленную статью о скульптуре, напечатанную уже лет за десять до того в Берлине. Когда кинкелевская эмиграция назначила его впоследствии своим секретарем, он убедился в том, что действительно является практическим *homme*

<sup>1</sup> [Непереводимая игра слов. См. выше о литературном обществе «Майских жуков» — *Maienkäfer* — Кинкеля.]

<sup>2</sup> [Опять игра слов: «*Blättchen*» означает п. листик зелени, и газетный листок.]

d'état (государственным деятелем), и возвестил в литографированном циркуляре, что он достиг «устойчивой точки зрения». После его смерти в наследии мейенского жука найдено будет множество заглавий для предполагавшихся работ.

К Мейену тесно примыкает его коллега по редакциям и секретариатам *Оппенгейм*. Об Оппенгейме утверждают, будто он вовсе не человек, а аллегорическая фигура; будто во Франкфурте-на-Майне богиня Скука разрешилась некогда от бремени сыном еврея-ювелира. Когда Вольтер писал «tous les genres sont bons hormis le genre ennuyeux» (все роды хороши, за исключением скучного), он, конечно, имел в виду нашего Генриха-Бернгарда Оппенгейма. Мы лично в Оппенгейме предпочитаем писателя оратору. От писаний его спастись можно, от речей — c'est impossible (нет возможности). Пифагорейская теория о переселении душ, быть может, и правильна, но имя, которое в прежние столетия носил Генрих-Бернгард Оппенгейм, не может быть установлено, так как никогда еще ни в каком столетии человек не составлял себе имени несносной болтовней. Жизнь его можно воплотить в трех блестящих достижениях: соратник Арнольда Руге, соратник Брентано, соратник Кинкеля.

Третьим членом компании является господин *Юлий Фаухер*. Он родом из той колонии гугенотов в Берлине, которые с большой деловитостью умеют использовать свои небольшие таланты. На арену общественности он выступил в качестве виндзорской кумушки германского фритредерства, в каком-то качестве и был нанят гамбургскими негоциантами на предмет ведения пропаганды. Во время революционного брожения они разрешили ему проповедывать свободу торговли под устрашающим видом анархизма. Когда это перестало соответствовать настроению, его рассчитали, и он вместе с Мейеном стал редактировать «Berliner Abendpost». Под тем предлогом, что государство должно быть вообще уничтожено, а на его место должна быть введена анархия, он в бытность свою редактором уклонялся от опасной оппозиции существующему правительству, и когда впоследствии листок погиб из-за неимения денег для установленного залога, «Neue Preussische Zeitung» выразила сожаления об ударе, постигшем Фаухера, единственного достойного писателя среди демократов. Интимные отношения с «Neue Preussische Zeitung» стали вскоре настолько тесны, что наш Фаухер начал писать для нее корреспонденции из Лондона. Участие Фаухера в эмигрантской политике, впрочем, не было продолжительным. Его фритредерство толкнуло его в область промышленности, к его старой профессии, к которой он ревностно вернулся и в которой он выполнил непревзойденный труд, — составил *прейскурант*, расценивавший его статьи по весьма усовершенствованной подвижной скале. «Breslauer Zeitung» с большой деликатностью ознакомила с этим ценным документом широкую публику.

Наряду с этим созвездием из трех величин берлинской интеллигенции сияло другое созвездие из трех убежденных южно-германцев: Зигелера, Фиклера, Гегга.

*Франц Зигель*, этот «небольшой, гладко выбритый, всем своим существом напоминающий Наполеона человек», как его описывал его друг Гегг, по словам того же Гегга — «герой», — «человек будущего», «прежде всего гениальный, умственно-продуктивный, беспрестанно носящийся с новыми планами». Между нами говоря, генерал Зигель — молодой баденский лейтенант с убеждениями и с амбицией (в силу этих качеств находивший обычный для мирного времени путь повышения в чинах чересчур медленным). Из истории войн французской революции он вычитал, что прыжок от подпоручика до полного генерала — сущий пустяк, и с этого момента для гладко выбритого человечка стало ясно, что Франц Зигель должен когда-нибудь стать новым генералом в какой-либо революционной армии. Популярность в армии, основанная на сходстве имен, и баденское восстание 1849 г. помогли ему исполнить его желание. Известны сражения, которые он вел на Неккаре и которые не вел в Шварцвальде, а его отступление в Швейцаршу даже его враги признают своевременным и правильным маневром. Его военные планы свидетельствуют о знании истории революционных войн. Дабы оставаться верным революционным традициям, герой Зигель, не считаясь с неприятелем, не заботясь о линиях наступления, линиях отступления и прочих подобных мелочах, добросовестно переходил с одной позиции Моро на другую, и если ему тем не менее не удалось пародировать походы Моро во всех подробностях, если ему, вместо Парадиза, пришлось перейти Рейн при Эглизау, то виной этому является ограниченность неприятеля, не сумевшего оценить столь ученый маневр. В своих приказах и инструкциях Зигель выступает в качестве проповедника и обнаруживает в них, правда, меньше стила, но зато больше убеждения, нежели сам Наполеон. Впоследствии он занялся разработкой руководства для революционных офицеров всех видов оружия, и из этого руководства мы имеем возможность привести следующий важный отрывок:

«Офицер революции должен, согласно регламенту, иметь при себе: 1 головной убор с фуражкой, 1 саблю с ножнами, 1 черно-красно-желтый шарф из верблюжьей шерсти, 2 пары черных кожаных перчаток, 2 мундирных сюртука, 1 плащ, 1 пару суконных брюк, 1 галстух, 2 пары сапог или башмаков, 1 чемодан из черной кожи в 12 дюймов длины, 10 дюймов вышины и 4 ширины, 6 сорочек, 3 пары кальсон, 8 пар чулок, 6 носовых платков, 2 полотенца, 1 прибор для бритья и умыванья, 1 письменный прибор, 1 лист патентованного пергамента, 1 платяную щетку, 1 регламент полевой службы».

*Иосиф Фиклер* — «образец честного, решительного, непоколебимо-твердого человека из народа, привлечший на свою сторону все население баденского Оберланда, а также и население Озерной области, единодушно пришедшее ему на помощь, и своими многолетними страданиями и борьбой снискавший популярность, почти такую же, как Брентано» (по характеристике друга его Гегга). Иосиф Фиклер, как и подобает честному, решительному и непоколебимому человеку из народа, имел тучное, похожее

на полнолуние, лицо, толстую шею и соответствующего объема пузо. Об его прежней жизни известно лишь, что с помощью художественных изваяний XV века и реликвий, относившихся каким-то образом к Констанцскому собору, он добывал себе пропитание, показывая за деньги путешественникам и иногородним любителям искусств эти достопримечательности, причем посетители иногда покупали «старинные» сувениры, которые Фиклер, как он с большим самодовольством рассказывает, постоянно снова заказывал изготовлять себе «под старину».

Единственными его подвигами во время революции были, во-первых, арест его, произведенный Мати после предпарламента, и, во-вторых, арест его, произведенный в Штутгарте Ремером в июне 1849 г. Благодаря этим арестам он счастливо избег опасности скомпрометировать себя. Вюртембергские демократы после этого внесли за него залог в 1000 гульденов, а Фиклер удалился под чужим именем в Тюрговию и, к величайшему огорчению лиц, внесших залог, так и не давал больше о себе знать. Нельзя отрицать, что он в озерных газетах удачно передавал на языке типографских чернил мысли и чувства жителей Озерной области. Впрочем, глядя на друга своего Руге, он придерживается того мнения, что от долгого учения глупеют, вследствие чего он и уговаривал друга своего Гегга не ходить в Британский музей.

*Амандус Гегг*, как видно уже по имени его, — человек любезный, « правда, не великий оратор, но честный гражданин, скромное и благородное поведение которого всюду завоевывает ему друзей» («Westamerikanische Blätter»). Из благородства Гегг сделался членом временного правительства в Бадене, где он, по собственному его признанию, ничего не мог поделаться с Брентано, и из скромности позволил себя именовать титулом: господин диктатор. Никто не отрицает того факта, что достижения его в качестве министра финансов были весьма скромны. Из скромности же он в последний день перед началом общего отступления в Швейцарию провозгласил в Донау-эшингене «социал-демократическую республику». Впоследствии он по той же скромности заявляет, что 2 декабря парижский пролетариат потерпел поражение потому, что он не обладал вчера еще свежим демократическим пониманием, процветавшим на французской и баденско-французской границе Южной Германии. Кто желает иметь дальнейшие доказательства скромности Гегга и сведения о «партии Гегга», тот может их найти в сочинении «Rückblick auf die Badische Revolution» etc., Paris, 1850), им самим написанном. Он окончательно доказал свою скромность, заявив на публичном собрании в Цинциннати: «после банкротства баденской революции к нему в Цюрих явились почтенные люди и заявили, что в баденской революции участвовали люди, принадлежавшие ко всем народностям Германии, — поэтому ее можно рассматривать только как революцию общегерманскую, точно так же как римская революция является революцией общейталийской. Он, Гегг, единственный ее деятель, продержавшийся до конца, — поэтому ему надлежало бы *стать немецким Мадзини*. Из

скромности он отказался. Почему же? Тот, кто был уже «господином диктором» и состоит закадычным другом «Нанолеона»-Зигеля, мог бы стать и «немецким Мадзини».

Когда благодаря прибытию вышеперечисленных лиц, а также и некоторых менее выдающихся, эмиграция оказалась au grand complet (в полном сборе), она могла приступить к великим боям, о которых читатель узнает из следующей песни:

Кто даст звучанье этой скромной лире,  
 Кто даст мне вдохновенных слов поток,  
 Чтоб описать невиданное в мире —  
 Непستовых богатырей наскок?  
 Все прежние бои — цветы на шпире  
 В сравненьи с тем, что петь осудил мне рок:  
 Ведь все, в ком жил чудесный дух отваги  
 Скрестили в этой славной битве шпаги.

(*Bojardo, Orlando, canto 27.*)

С пополнением эмиграции новоприбывшими fashionable arrivals (знатными приезжими) наступил момент, когда она, дойдя до целой дюжины, должна была попытаться «сорганизоваться». Можно было рассчитывать, что попытки эти поведут к новым и ожесточенным враждебным действиям. Разоблачительные бои в заокеанских газетах обострились до крайней степени. Личные дразги, интриги, сплетни, бахвальство — на такие пакости уходили все силы великих людей. Но эмиграция на этом выиграла — свою собственную историю, протекающую вне всемирной истории, свою кружковую политику на-ряду с политикой общественной. Из внутренних раздоров эмиграция черпала чувство собственной значительности. Так как за всеми этими течениями и столкновениями скрывается спекуляция на деньги демократической партии, на этот святой Грааль, то трансцендентальное соперничество, спор о бороде императора Барбароссы весьма быстро превращается в обыденнейшую конкуренцию. Тот, кто пожелал бы изучить эту лягушечье-мышиную войну по первоисточникам, может найти все необходимые документы в «New-Yorker Schnellpost», «New-Yorker Deutsche Zeitung und Staatszeitung», «Baltimore Korrespondent», «Wecker» и прочих немецко-американских газетах. Однако эта игра в выдуманные союзы и вымышленные заговоры, эта эмигрантская шумиха не лишены были некоторого серьезного значения. Они давали правительствам желанный повод арестовывать множество людей в Германии, повсюду, на местах, препятствовать движению и, словно огородными пугалами, застраивать немецких мещан жалкими лондонскими салонными чучелами. Далекое не будучи опасными для господствовавшего строя, герои эмиграции страстно желали лишь одного — чтобы в Германии наступила мертвая тишина, в которой тем громче звучал бы их голос, и чтобы общий умственный уровень опустился как можно ниже, дабы люди их калибра казались выдающимися величинами.



Новоприбывшие южно-германские герои не были связаны по приезде в Лондон ни с одной из борющихся сторон. Они находились в самом выгодном положении, чтобы добиться примирения между различными кликами и сгруппировать в то же время большинство эмиграции в виде хора вокруг «выдающихся личностей». Их живое чувство долга повелевало им не упустить представлявшегося случая.

Но в то же время они видели Ледрю-Роллена, который был с ними в этом отношении вполне солидарен, уже восседающим в кресле президента Французской республики. Им, как ближайшим соседям Франции, важно было получить признание от временного правительства Франции в качестве временных особоуполномоченных Германии. Зигелю в особенности важно было, чтобы Ледрю оставил за ним верховное командование. Однако путь к Ледрю лежал через труп Арнольда. К тому же им imponировала характерная личина Арнольда, освещавшего, в качестве философской звезды севера, их южно-германские сумерки. Поэтому они обратились прежде всего к Руге.

С другой стороны находились, во-первых, Кинкель со своими ближайшими приспешниками — Шурцем, Штротдтманом, Шиммельпфеннигом, Тетховым и пр., с Мейеном и Оппенгеймом в качестве их литературных представителей; затем бывшие «парламентарии» и депутаты во главе с Рейхенбахом; наконец, Виллих со своей дружиной, остававшейся, однако, в тени. Роли распределены были таким образом; Кинкель, в качестве страстоцвета, представлял немецкое мещанство вообще; Рейхенбах, будучи графом, представлял буржуазию; Виллих же, будучи Виллихом, представлял пролетариат.

Об *Августе Виллихе* надо заметить прежде всего, что Густав всегда питал к нему тайное недоверие из-за его островерхого черепа, в котором шишка самомнения, непомерно развитая, подавляла все остальные умственные способности. Некий немецкий филистер, увидав бывшего поручика Виллиха в одной из лондонских пивных, в страхе схватился за шляпу и выбежал, восклицая: «С нами крестная сила, — до чего этот человек похож на господина нашего Иисуса Христа!» Дабы усилить еще это сходство, Виллих незадолго до революции был некоторое время плотником. Потом, во время баденско-пфальцского похода, он выступил в качестве предводителя партизанского отряда.

Предводитель партизан, этот потомок старо-итальянских кондотьеры, представляет собой своеобразное явление при современных войнах, в особенности в Германии. Предводитель партизан, привыкший действовать на собственный страх, противится всякому общему верховному командованию. Его партизаны зависят только от него, но и он всецело зависит от них. Дисциплина в такой добровольческой дружине поэтому весьма своеобразна, — смотря по обстоятельствам она то бывает варварски-строга, то — и это чаще всего — в высшей степени слаба. Предводитель партизан не может постоянно вести себя властно и повелительно, — ему часто прихо-

дится угождать своим партизанам, задабривать каждого из них в отдельности и даже просто ласкать их. Личные военные качества играют при этом второстепенную роль, и, кроме храбрости, нужны другие качества, чтобы держать подчиненных в повиновении. Если предводитель не благороден по природе, он должен проявлять благородное поведение, обычно дополняемое хитростью, закулисными интригами и скрытой практической нечестностью. Таким поведением не только снискивают расположение своих солдат, но подкупают также и жителей, обманывают врага, а потом провозглашаются яркой личностью, особенно противниками. Всего этого, однако, недостаточно, чтобы держать в руках добровольческую дружину, масса которой либо сразу рекрутируется в рядах люмпен-пролетариата, либо же вскоре ему уподобляется. Для этого нужна высшая идея. Поэтому предводителю дружины необходимо располагать ядром постоянных идей, он должен быть человеком принципиальным, постоянно имеющим в виду свое призвание освободителя мира. Он должен уметь внушить эту высшую идею своим солдатам путем проповедей перед фронтом выстроенных войск и постоянной назидательной пропагандой в личных беседах с каждым из солдат и таким образом превратить всю дружину в своих сыновей по духу. Если эта высшая идея имеет спекулятивный характер, возвышающий ее над уровнем рассудка отдельного человека, если она имеет несколько гегельянские черты, — если она такая, какую генерал Виллисен пытался привить прусской армии, — тем лучше. Таким образом, благородное сознание внушается каждому отдельному дружиннику, и подвиги всей дружины освещаются спекулятивной идеей, высоко поднимающей их над уровнем личной импульсивной смелости, и слава подобной дружины зависит меньше от ее подвигов, нежели от ее мессианских стремлений. Стойкость дружины можно лишь укрепить, склонив всех бойцов поклясться в том, что они не переживут крушения дела, за которое сражаются, и предпочтут дать себя перерезать у последней пограничной яблони, распевая при этом возвышающие душу песни.

Совершенно естественно, что подобная дружина и подобный предводитель должны чувствовать себя запятанными общением с обыкновенными вульгарными воинами и должны по возможности стараться либо уйти из армии, либо немедленно освободиться от общества неверных; ничто не может быть для них ненавистнее больших армий и большой войны, при которой вдохновляемая свыше хитрость ничего не может сделать, если она пренебрегает обычными правилами военного искусства.

Таким образом, предводитель партизан должен быть в полном смысле слова крестопосцем, он должен объединять в одном лице Петра-Пустытника (Peter der Eremit) и Вальтера-Неимущего (Walter von Habenichts). При смешанном составе и распущенном образе жизни его дружинников он должен быть человеком добродетельным. Не должно быть такого, кто мог бы напоить его пьяным, и он сам должен попивать втайне от всех, хотя бы ночью у себя в постели. Если ему по слабости человеческой случится ночью

возвращаться после положенного времени в казарму, чрезмерно вкусив от благ земных, то он никогда не пройдет в ворота, а предпочтет перелезть через стену, чтобы не подавать дурного примера. К женским прелестям он должен оставаться холодным, но зато хорошее впечатление будет производить, если он от времени до времени будет давать приют на своем ложе какому-нибудь портновскому подмастерью, как то делал Кромвель со своими унтер-офицерами; вообще же он не должен быть чересчур аскетичен в своем образе жизни. Так как за *cavaliere della ventura* (рыцарями приключений) стоят все *cavalieri della dente* (рыцари челюсти) его дружины, которые свое содержание строят преимущественно на реквизициях и даровых квартирах, а Вальтеру-Неимушему чаще всего приходится смотреть на это сквозь пальцы, — то уже по одному этому необходимо постоянное присутствие Петра-Пустынника с готовым утешением, что подобного рода неприятные меры принимаются исключительно для спасения отечества, а, следовательно, и в интересах самих пострадавших.

Все эти достоинства предводителя партизан военного времени проявляются также и в мирное время, — правда, в измененном виде, но измененном не в благоприятную сторону. Прежде всего он должен сохранять кадры дружины, которые можно было бы развернуть в новую дружину, и постоянно иметь в разезде вербующих унтер-офицеров. Ядро, состоящее из остатков дружины и эмигрантской мелкоты вообще, содержится в казармах (хотя бы в Безансоне) за счет правительства или как-либо иначе. Однако жизнь в казармах должна быть освящена идеей; идея эта выявляется в казарменном коммунизме, благодаря чему презрение к обыденной гражданской деятельности приобретает высшее значение. Ввиду того, однако, что такая коммунистическая казарма не подчинена более воинскому уставу и что в ней господствуют нравственный авторитет и заповедь самопожертвования, иногда происходят взаимные потасовки из-за общей кассы, а бывает и так, что тумачи достаются при этом и на долю нравственного авторитета. Если где-нибудь поблизости находится союз ремесленников, то его можно сделать пунктом для пополнения всепьянейшего собора, причем ремесленникам в вознаграждение за их настоящий тяжкий труд сулятся разгульная жизнь и партизанские приключения в будущем. Быть может, возможно устроить так, чтобы, ввиду высокого принципиального значения данной казармы для будущности пролетариата, союз ремесленников вносил денежные суммы в полковой ящик. Как в казарме, так и в союзе проповеди и патриархально-фамильярные манеры личного обращения должны оказывать свое влияние.

Партизан и в мирное время не теряет необходимой ему дальновидности, и подобно тому как он на войне после каждого поражения предсказывал на завтрашний день победу, так он и теперь провозглашает ясную, как день, моральную уверенность и физическую необходимость «начала» никак не позже, чем через две недели. Так как ему непрестанно нужно иметь перед собою врага и так как благородным всегда противостоят нечестивцы,

то он в рядах последних непременно открывает яростную злобу по отношению к его собственной особе, он решает, что нечестивцы из одной ненависти к его заслуженной популярности задумали его отравить или подколоть, и поэтому он всегда держит у себя под подушкой длинный нож. Подобно тому как на войне предводитель партизан не может достигнуть никаких успехов, если не воображает, что население его обожает, точно так же он и в мирное время, хотя и не создает себе действительных политических связей, однако непрестанно их предполагает или воображает, что приводит иногда к курьезным мистификациям. Таланты по части реквизиций и добывания даровых помещений снова выдвигаются вперед и создают уютное паразитическое житье. Наоборот, строго нравственный аскетизм нашего Орlando в мирное время терпит, как все благородное и возвышенное, тяжкие искушения. Боярдо говорит в песне 26-й:

Тюрпен о графе Брави говорит,  
 Что в целомудрии он век свой прожил, —  
 Пусть верит, кто желает, господа!

Но известно также, что впоследствии граф Брави потерял рассудок из-за очей прекрасной Анжелики, и Астольф принужден был разыскивать этот рассудок на луне, как то очаровательно изобразил мессир Лодовико Ариосто. Наш современный Орlando, однако, принял самого себя за поэта, рассказывающего о себе, что и он от любви потерял рассудок и с помощью губ и рук стал разыскивать его на груди Анжелики, причем случилось так, что в благодарность его вытолкали за дверь.

В политике предводитель партизан доказывает свое превосходство всеми обычными приемами фиктивных сражений военных маневров. В соответствии с самым понятием о партизане он переходит от одной партии к другой. Мелкие интриги, низкие нападки из-за угла, когда нужно — ложь, нравственно негодующее коварство является у него естественными симптомами его благородства, и с глубокой верой в свою миссию и в высший смысл своих слов и действий он решительно восклицает: «я никогда не лгу!» Постоянные идеи дают великолепное прикрытие для скрываемой хитрости и побуждают эмигрантских простаков, лишенных всяких идей, думать, что он человек постоянной идеи, что он чистый сердцем безумец, — а для такого бывалого человека это именно и нужно.

Дон-Кихот и Санчо-Панса в одном лице, столь же влюбленный в сумку с провизией, как и в постоянную идею, восхищающийся даровым житьем странствующих рыцарей не менее, нежели их славой, герой междоусобных войн и мелких интриг, скрывающий свой лик проходимца под маской сильного характера, — да, действительная будущность Виллиха несомненно лежит в прериях у Рио-Гранде-дель-Норте.

В письме, помещенном в «New-Yorker Deutsche Schnellpost», господин Гегг сообщает следующие сведения о взаимоотношениях между обоими вышеописанными элементами эмиграции: «Они (южные германцы) решили

попытаются соединиться с остальными фракциями, чтобы поднять престиж *умиравшего* центрального комитета. Однако мало было вероятия, что это доброе намерение можно будет осуществить. Кинкель продолжает интриговать; вместе со своим избавителем, своим биографом и несколькими прусскими лейтенантами он образовал комитет, который должен действовать тайно, постепенно расширяться, где возможно — привлечь к себе денежные средства демократии и тогда внезапно выступить открыто уже в качестве могущественной партии Кинкеля. Это и нечестно, и некорректно, и неразумно».

«Честность» намерений южно-германских элементов при этих попытках единения явствует из следующего письма господина Зигеля, помещенного в той же газете: «Если мы, немногие люди, питавшие честные намерения, также прибегли отчасти к конспирации, то сделали мы это только для того, чтобы оградить себя от жалких махинаций и домогательств Кинкеля и его присных и доказать им, что они отнюдь не призваны властвовать над нами. *Нашей* главной задачей было заставить Кинкеля явиться на многолюдное собрание, где мы доказали бы ему и его, как он выражается, ближайшим политическим друзьям, что не все то золото, что блестит. К чорту сначала инструмент (Шурца), к чорту затем и виртуоза (Кинкеля) («*Wochenblatt der New-Yorker Deutsche Zeitung*» от 24 сентября 1851 г.). Насколько своеобразно организованы были обе стороны, бранившие друг друга «южными немцами» и «северными немцами», можно судить уже по одному тому, что в первой главе стоял «рассудок» Руге, а во главе второй — «душа» Кинкеля.

Чтобы понять последовавшую затем великую борьбу, необходимо предварительно сказать несколько слов о дипломатии обеих сотрясающих мир партий.

Арнольд (а, следовательно, и его приспешники) заботился прежде всего о том, чтобы образовать «закрытый клуб», показной целью которого была бы «революционная деятельность». Из этого клуба должен был вырасти его излюбленный «комитет по германским делам», а от этого комитета сам Руге должен был быть делегирован в Европейский центральный комитет. Арнольд неуклонно преследовал эту цель с самого лета 1850 г. Ему казалось, что в южных германцах он нашел тот «милый средний элемент», в среде которого он легко мог бы верховенствовать. Таким образом, официальное конституирование эмиграции, образование комитетов являлось необходимой основой политики Арнольда и его союзников.

Со своей стороны, Кинкель и его приверженцы, конечно, должны были стремиться не допустить ничего, что могло бы узаконить узурпированное Арнольдом Руге положение в Европейском центральном комитете. Кинкель, выпустивший воззвание о предварительной подписке на 500 фунтов стерлингов, получил из Нового Орлеана извещение о том, что ему высылаются деньги, и на этом основании уже успел образовать вместе с Виллихом, Шimmelъфеннигом, Рейхенбахом, Теховым, Шурцем и пр. *тайный фи-*

*нансовый комитет.* Они думали так: если у нас будут деньги,—за нами будет и эмиграция; если за нами будет эмиграция,—за нами будет впоследствии и правительство в Германии. Поэтому им прежде всего нужно было занять эмигрантскую массу собраниями по формальным вопросам, но всячески препятствовать ее официальному конституированию, выходящему за форму просто «неорганизованного общества», в особенности же не допустить образования какого-либо комитета, чтобы отвлечь внимание враждебной фракции, помешать ей действовать, а самим маневрировать за ее спиной.

Общей чертой обеих фракций, т. е. «именитых мужей» в них, было желание водить за нос эмигрантскую массу, не посвящать ее в свои конечные цели, а создать из нее обстановку и затем отстранить ее, как только цель будет достигнута.

## XII

Теперь последуем за этими Макиавелли, Талейранами и Меттернихами демократии в их выступлениях друг против друга.

*Явление первое.* — 14 июля 1851 г. После того как «не удалось частное соглашение с Кинкелем о совместном выступлении», Руге, Гегг, Зигель, Фиклер, Ронге приглашают выдающихся деятелей всех фракций на собрание у Фиклера 14 июля. Собирается 26 человек. Фиклер вносит предложение об образовании «закрытого кружка» немецких эмигрантов и о выделении из него «делового комитета для содействия целям революции». Предложение оспаривается больше всего Кинкелем и примерно шестью его приверженцами. После многочасовых страстных прений предложение Фиклера принимается (16 голосами против 10). Кинкель и меньшинство заявляют, что они не могут принимать участия в этой затее, и покидают собрание.

*Явление второе.* — 20 июля. Вышеуказанное большинство конституируется в особый союз. Новым членом является, между прочим, рекомендованный Фиклером Таузунау.

Подобно тому как Ронге является Лютером немецкой демократии, а Кинкель ее Меланхтоном, господин Таузунау состоит ее *Абрагамом а Санта Клара*. У Цицерона оба авгура не могут глядеть друг на друга без смеха, — господин Таузунау не может взглянуть в зеркало на свою собственную серьезную физиономию, чтобы не расхохотаться. Если Руге удалось встретить в лице баденцев людей, которым он импонировал, то судьба ему отомстила, послав ему австрийца Таузунау, который *ему* импонировал.

По предложению Гегга и Таузунау, заседание откладывается, чтобы попытаться еще раз достигнуть соглашения с фракцией Кинкеля.

*Явление третье.* — 27 июля. Заседание в гостинице Крэнбурн (Cranbourne Hotel). «Именная эмиграция» au grand complet (в полном сборе). Однако фракция Кинкеля пришла не для того, чтобы примкнуть к уже основанному союзу. Она настаивает на образовании «открытого дискуссионного клуба» без делового комитета и «без определенных практических целей».

Шурц, выступающий при всяких дипломатических переговорах в роли ментора юного Кинкеля, вносит следующее предложение: «Настоящее собрание учреждает закрытый политический союз под названием *«Клуб германской эмиграции»*. Новые члены принимаются из среды германских эмигрантов, по предложению каждого отдельного члена, простым большинством голосов». Принимается единогласно. Клуб постановляет собираться еженедельно, по пятницам. «Принятие этого предложения приветствуется общим одобрением и криками: «да здравствует германская республика!!!» Чувствуется, что благодаря общему единению выполнен долг и сделано нечто полезное для революции». (Гегг, «*Wochenblatt der Schnellpost*» от 20 августа 1851 г.). Эдуард Мейен был в таком восторге от этого успеха, что воскликнул в своих литографированных бюллетенях: «Теперь вся эмиграция образует единую сплоченную фалангу — вплоть до Бухера, за исключением лишь неисправимой марксовой клики». Эти же слова Мейена повторяются и в берлинских литографированных министерских бюллетенях.

Так при всеобщем единении и криках в честь германской республики возник великий *клуб эмиграции*, в котором состоялись столь возвышающие душу заседания, но который, однако, спустя несколько недель после отъезда Кинкеля в Америку мирно почил, что, впрочем, не мешает ему, и по сей день фигурировать в Америке в роли здравствующего учреждения.

*Явление четвертое.* — 1 августа. Второе заседание в гостинице Крэнбурн. «К сожалению, мы уже ныне должны признаться, что ошиблись, возлагая большие надежды на деятельность этого клуба» (Гегг, там же, 27 августа). Кинкель, без предварительного постановления большинства, вводит в клуб шесть прусских эмигрантов и шесть прусских посетителей промышленной выставки *«Дер Дамм»*<sup>1</sup> (председательствующий, бывший президент Баденского учредительного собрания) выражает свое удивление по поводу государственного преступления — нарушения статута. *Кинкель* поясняет: «Клуб — лишь свободное, неорганизованное общество, не преследующее никаких иных целей, кроме возможности лично знакомиться друг с другом и вести беседы, при которых все могут присутствовать. Поэтому желательно, чтобы в клубе было как можно больше сторонних посетителей». Студент Шурц спешит загладить бестактность своего профессора, внося дополнительное предложение о допущении гостей. Принято. Абрагам а Санта Клара-*Таузенану* встает и без смеха вносит два следующих серьезных предложения: 1) избрание комиссии (пресловутый комитет), которая делала бы еженедельные доклады о текущей политике, в особенности германской, доклады, которые должны сдаваться в архив союза и со временем должны быть обнародованы; 2) избрание комиссии (пресловутый комитет для регистрации в союзном архиве всевозможных подробностей относительно правонарушений и жестокостей, совершенных в течение истекших трех лет и еще совершаемых прислужниками реакции по отношению к дея-

<sup>1</sup> «Дер-Дамм тут?» — Кто — тут? — «Дер-Дамм!» — Кто? — «Дер-Дамм, Дер-Дамм, — неужели вы не знаете Дер-Дамма?»

телям демократии». Против этого решительно восстает *Рейхенбах*: «в невинных с виду предложениях он усматривает подозрительные задние мысли и стремление путем избрания этих комиссий придать клубу нежелательный для него и его друзей характер определенной организации». *Шиммельпфенниг и Шуриц*: «подобные комиссии могут присвоить себе функции и права, носящие конспиративный характер и мало-по-малу повести к образованию официального комитета». *Мейен вообще желал бы больше слов и меньше дела.*

Как утверждает Гегг, большинство казалось склонным принять предложения. *Макиавелли-Шуриц* вносит предложение отложить решение вопроса. *Абрагам а Санта Клара-Таузенау* по добродушию присоединяется к этому предложению. *Кинкель* полагает, что «голосование потому следует отложить до следующего заседания, что в этот вечер его фракция как будто бы в меньшинстве, и поэтому он и его друзья не могут считать голосование, которое состоялось бы при подобных условиях, *по совести для себя обязательным*». Заседание откладывается.

*Явление пятое.* — 8 августа. Третье заседание в гостинице Крэнбурн. Прения по поводу предложений Таузенау. *Кинкель* и *Виллих*, вопреки уговору, привели с собой «эмигрантскую мелкоту, *le menu peuple*, чтобы на этот раз связать свою совесть». *Шуриц* вносит поправку о добровольных докладах по вопросам текущей политики, и такие доклады, повидимому по предварительному соглашению, немедленно вызываются прочесть *Мейен* — о Пруссии, *Шуриц* — о Франции, *Оппенгейм* — об Англии, *Кинкель* — об Америке и о будущем (ибо ближайшее будущее ему предстояло провести в Америке). Предложения *Таузенау* отклоняются. Он трогательно заявляет, что складывает свой справедливый гнев на алтарь отечества и остается в кругу союзников. Однако фракция *Руге-Фиклера* раздраженно становится в позицию обманутого прекраснодушия.

*Интермеццо.* — *Кинкель* получил, наконец, из Нового Орлеана 160 фунтов стерлингов, которые он при участии еще нескольких именитых особ должен употребить во славу революции. Фракция *Руге-Фиклера*, и без того обозленная результатами последнего голосования, узнала об этом. Нельзя было больше терять времени, — нужно было немедленно действовать. Так образовалось новое эмигрантское болото, украсившее свое достойное и гнилое существование именем «*Агитационного союза*». Членами его были Таузенау, Франк, Гегг, *Зигель*, *Гертле*, *Ронге*, *Гауг*, *Фиклер*, *Руге*. Союз немедленно заявил в английских газетах: «он не дискуссионный, а практически действующий союз, и заниматься он будет не словоприем, а делами, и прежде всего предложит единомышленникам доставлять денежные средства. Агитационный союз вручает исполнительную власть *Таузенау*, а равно назначает его министром-корреспондентом по иностранным делам, но вместе с тем он признает и деятельность *Руге* в Европейском центральном комитете (в качестве блюстителя имперского престола — *Reichsverweser*), признает и его истекшую деятельность, и его представительство германского народа в истинно германском духе». В этой новой комбина-



ции ясно проглядывает первоначальная группировка: Руге—Ронге—Гауг. Таким образом, Арнольд, после многолетней борьбы и усилий, добился, наконец, того, чего хотел: он признан был пятой спицей в демократической центральной колеснице и имел за собою ясно, к сожалению, даже чересчур ясно, очерченную часть народа, состоявшую из целых восьми человек. Но и это наслаждение было для него отравлено, так как его признание было связано с одновременным косвенным снятием его с поста, на котором он удержался, лишь приняв поставленное мужиком Фиклером условие — «перестать писать и рассылать по белу свету всякую чепуху». Грубиян Фиклер только те писания Арнольда считал «солидными», которых он не читал и не был обязан читать.

*Явление шестое.* — 22 августа. Гостиница Крэнбурн. Сперва «дипломатический шедевр» (см. Гегга) Шурца: предложение образовать общеэмигрантский комитет из шести человек, принадлежащих к различным фракциям, присоединив к нему пять членов существующего уже эмигрантского комитета виллиховского союза ремесленников (при этом условии фракция Кинкеля-Виллиха всегда была бы в большинстве). Предложение принимается. Выборы должны быть произведены, но члены государственного кружка Руге отказываются принять в нем участие, благодаря чему дипломатический шедевр проваливается. Насколько дело с этим эмигрантским комитетом было серьезно задумано, видно, впрочем, из того, что четыре дня спустя Виллих выступил из давно уже существовавшего только по имени ремесленно-эмигрантского комитета, после того как повторные возмущения «эмигрантской черни» уже некоторое время делали неизбежным роспуск этого малочтенного (unrespectable) комитета.

Затем вносится интерpellация по поводу публичных выступлений Агитационного союза. Вносится предложение, чтобы эмигрантский клуб не имел ничего общего с Агитационным союзом и публично дезавуировал все его деяния. Бешеные выпады по адресу присутствующих «агитаторов» — Гегга и Зигеля-младшего (т. е. старшего, см. ниже). *Рудольф Шрамм* заявляет, что его старый друг Руге — прислужник Мадзини и «старая сплетница». И ты, Брут! Гегг возражает не как великий оратор, а как честный гражданин, и горько нападает на коварного, как Шаппер (Schapperfiede), поповски-елейного Кинкеля: «Недопустимо лишать возможности работать тех, кто желает работать! Но эти люди, очевидно, хотят объединения лишь кажущегося, бездеятельного, чтобы под его прикрытием определенными кликами преследовались известные цели». Когда Гегг коснулся публичного заявления Агитационного союза в английских газетах, Кинкель величественно поднялся и изрек: «Он уже господствует во всей американской прессе, и приняты меры, чтобы подчинить его влиянию также и французскую прессу». Предложение истинно германской фракции было принято и повело к заявлению «агитаторов» о том, что члены их союза не могут больше оставаться в эмигрантском клубе.

Так возник глубокий раскол между эмигрантским клубом и Агита-

ционным союзом, раздирающий на части всю современную историю. Любопытнее всего, что оба эти создания эмиграции существовали лишь до раскола, а со времени раскола и поныне продолжают прозябать лишь как бы в каульбаховском бою привидений, и этот бой в немецко-американских газетах и на собраниях будет длиться, повидимому, до скончания веков.

Все заседание протекало тем более бурно, что не поддающийся дисциплине Шрамм напал также и на Виллиха, который утверждал, что эмигрантский клуб осрамился, связавшись с этим рыцарем; председательствующий, на сей раз робкий Мейен, уже несколько раз придя в отчаяние, выпускал из рук кормило власти. Во время прений по поводу Агитационного союза и выхода его членов беспорядочный шум достиг крайних пределов. С криками, треском, гвалтом, угрозами, беснованием длилось назидательное заседание часов до двух ночи, пока, наконец, хозяин, закрыв газовое освещение, не погрузил воспламененных спорщиков в глубокую тьму и не положил конца делу спасения отечества путем их устрашения.

В конце августа рыцарственный Виллих и добродушный Кинкель попытались взорвать Агитационный союз изнутри, обратившись к честному Фиклеру со следующим предложением: «Он, Фиклер, должен образовать вместе с ними и их ближайшими политическими друзьями финансовую комиссию, которая должна взять в свои руки распоряжение прибывшими из Нового Орлеана деньгами до тех пор, пока не сможет собраться общественная, назначенная революцией, финансовая комиссия; с принятием этого предложения распускаются все существовавшие до того времени немецкие революционные и агитационные общества». Добрый Фиклер пришел в негодование от этой «самозванной, тайной, безответственной комиссии». — «Как может, — воскликнул он, — простая финансовая комиссия сгруппировать вокруг себя все революционные партии? Внесенные уже и имеющие быть внесенными деньги не могут сами по себе послужить основанием, ради которого расходящиеся между собою направления в демократии пожертвуют своей самостоятельностью».

Таким образом, вместо того чтобы вызвать желанное самоупражнение враждующих партий, этот призыв к дезертирству произвел обратное действие, и Таузенау мог заявить, что разрыв между обеими могущественными партиями Эмиграции и Агитации стал непоправимым.

\* \* \*

Чтобы показать, в какой милой манере велась война между Агитацией и Эмиграцией, приведем здесь несколько выдержек из немецко-американских газет.

#### *Агитация.*

Руге называет Кинкеля «агентом принца прусского».

Другой агитатор делает открытие, будто выдающимися членами эмигрантского клуба являются, «кроме пастора Кинкеля, еще три прусских лейтенанта, два бездарных литератора из Берлина и один студент».

Зигель пишет: «Нельзя отрицать, что Виллих привлек к себе несколько последователей. Конечно, если в течение трех лет проповедывать и говорить людям лишь то, что им приятно, то нужно быть уж очень глупым человеком, чтобы не расположить к себе этих людей. Кинкелевщина старается перетянуть на свою сторону этих приверженцев Виллиха. Виллиховские приверженцы заигрывают с кинкелевскими».

Четвертый агитатор называет приверженцев Кинкеля «идолопоклонниками».

Таузенау следующим образом характеризует эмигрантский клуб: «Отстаивание сепаратных интересов под личиной примиренчества, систематическое одурачивание большинства, выступление неизвестных личностей в качестве вождей и организаторов партий, попытки самовольного назначения тайной финансовой комиссии и всякие закулисные махинации, с помощью которых незрелые политики всегда пытались направлять в изгнании судьбу родины, между тем как первые же огни революции рассеивают подобные тщеславные планы и превращают их в ничто».

Наконец, Родомонто Гейнцен заявляет: «Единственные порядочные эмигранты в Англии, известные ему лично, это — Руге, Гегг, Фиклер и Зигель». Члены эмигрантского клуба — «эгоисты, роялисты и коммунисты»: Кинкель — «неизлечимо тщеславный болван и спекулянт-аристократ»; Мейен, Оппенгейм, Виллих и пр. — крохотные людишки, которых он, Гейнцен, «невооруженным глазом и разглядеть не может и которые не могут даже подняться до щиколотки Руге» («New-Yorker Schnellpost», «New-Yorker Deutsche Zeitung», «Wecker» etc., 1851).

### *Эмиграция.*

«Зачем нужен самозванный комитет, висящий в воздухе, сам себя уполномочивший, ранее не работавший, никем не избранный, даже не потрудившийся спросить тех, кого он якобы представляет, желают ли они, чтобы их представляли входящие в его состав лица?» — «Тем, кто знает Руге, известно, что мания прокламаций — его неизлечимая болезнь». — «В парламенте Руге не мог добиться даже такого положения, какое занимали какой-нибудь Раво (Raveaux) или Симон из Трира». — «Там, где требуется революционная действенная энергия, организационная работа, сдержанность и конспиративность, — там Руге опасен, ибо он не в состоянии ни молчать, ни воздержаться от пролития чернил и непрестанно жаждет представлять весь мир. Руге находится в сношениях с Мадзини и Ледрю-Ролленом, а в переводе на его, Руге, язык это означает сообщение во всех газетах: Германия, Франция и Италия заключили братский революционный союз». — «Претенциозное самозванство комитета, его самохвалствующая бездеятельность побудили ближайших и разумнейших друзей Руге, как Оппенгейм, Мейен, Шрамм, связаться с другими людьми для совместной работы». — «За Руге стоит не ясно очерченная часть народа, а ясно очерченная косичка мирного обывателя».

«Сколько сотен людей спрашивают каждый день, кто же такой этот Таузенау? И никто, никто не может им дать ответа. От времени до времени кто-либо из венцев уверяет, что он один из тех венских демократов, которые постоянно упрекали венскую демократию в реакционности, чтобы выставить ее в невыгодном свете. Однако это утверждение остается на совести венцев. Во всяком случае, он — величина неизвестная; еще более неизвестно, величина ли он вообще».

«Рассмотрим еще поближе, кто эти превосходные люди, которым все остальные представляются незрелыми политиками. Вот главнокомандующий Зигель. Если бы спросить музу истории, каким образом это плоское ничтожество добралось до верховного командования, она пришла бы в величайшее замешательство. Зигель только брат своего брата. Брат его стал популярным офицером благодаря тому, что высказывался против правительства, а высказывался он против правительства потому, что часто попадал под арест за самый обыденный разгул. Молодой Зигель считал это достаточным основанием для того, чтобы в первой суতোлке революционного движения провозгласить себя главнокомандующим и военным министром. В баденской артиллерии, часто обнаруживавшей в прошлом свои превосходные качества, было достаточно пожилых и превосходных офицеров, перед которыми молодой, едва успевший закончить свое учение лейтенант Зигель должен был бы ступешаться и которые были не мало возмущены, когда им пришлось подчиниться юному, неизвестному, столь же неопытному, сколь и бездарному человеку. Но нашелся такой Брентано, столь слабый разумом и столь предательски настроенный, чтобы идти на все, что должно было погубить революцию... Полнейшая неспособность, которую Зигель проявил во время всего баденского похода... Характерно во всяком случае, что в Раштатте и Шварцвальде Зигель бросил храбрейших солдат республиканского войска без *обещанного* подкрепления, между тем как сам он разъезжал по Цюриху в эполетах князя Фюрстенбергского и в его кабриолете, парадирюя в роли интересного и несчастного полковника. Таково известное всем величие зрелого политического деятеля, который с сознанием собственной значительности и своих былых геройских подвигов во второй раз сам себя назначает главнокомандующим... в Агитационном союзе. Таков наш великий знакомец, брат своего брата».

«Право же, смешно, когда подобные люди (как в Агитационном союзе) упрекают в половинчатости других, между тем как сами они — *политические ничтожества*, не представляющие собой ни половины, ни целого». «Личное честолюбие — вот что составляет их принципиальную основу». «Агитационный союз имеет, как союз, лишь значение частного кружка, как какой-нибудь литературный кружок или бильярдный клуб, и у него нет поэтому никаких оснований требовать, чтобы его признавали, нет никакого права выдавать мандаты». — «Вы сами бросили вызов (судьбе)! Непосвященные должны быть посвящены, дабы они сами могли судить о том, что вы собой представляете!» («Baltimore Correspondent»).

Из этих выдержек явствует, что эти господа, взаимно обличая друг друга, почти дошли до самопознания.

\* \* \*

Тем временем тайная финансовая комиссия Эмиграции избрала исполнительный комитет, состоявший из Кинкеля, Виллиха и Рейхенбаха, и постановила энергично приступить к проведению германского займа. Как сообщали в конце 1851 г. «New-Yorker Schnellpost», «New-Yorker Deutsche Zeitung» и «Baltimore Correspondent», студент Шурц был командирован во Францию, Бельгию и Швейцарию, с целью разыскать там всех старых, исчезнувших и забытых парламентариев, правителей государств, депутатов палат и прочих именитых мужей, вплоть до покойного Раво, и добиться от них, чтобы они гарантировали заем. Несчастные забытые люди поторопились дать свою гарантию предприятию. Ведь гарантия займа являлась как бы взаимной гарантией будущих правительственных постов *in partibus*, и господа Кинкель, Виллих и Рейхенбах получали таким путем гарантию для своих видов на будущее. И прозябавшие в Швейцарии бедняги до такой степени углубились в «самоорганизацию» и гарантирование постов, что успели даже распределить между собой права давности на занятие этих постов по номерам, причем не обошлось без длительных споров по поводу того, кому достанутся номера первый, второй и третий.

Словом, студент Шурц вернулся с гарантией в кармане, и компания принялась за дело. Правда, за несколько дней до того Кинкель на новом совещании с Агитацией обещал не предпринимать односторонних «эмигрантских» займов; но именно поэтому он и уехал с гарантийными подписями и с полномочиями Рейхенбаха-Виллиха, якобы для того, чтобы читать на севере Англии лекции по эстетике, в действительности же чтобы из Ливерпуля отплыть в Нью-Йорк и в качестве нового *Парсифала* разыскивать в Америке святой Грааль, т. е. деньги демократической партии.

Тут начинается сладкозвучная, чудесная, велеречивая, неслыханная, подлинная и исполненная приключений повесть о великих боях, которые Эмиграция и Агитация с обновленным ожесточением и не знающим усталости постоянством вели по обе стороны океана, — повесть о крестовом походе Готфрида, в которой он соперничал с Кошутом, повесть о том, как он, после тяжелых трудов и невыразимых искушений, в конце концов возвратился под родную кровлю со святым Граалем в дорожной сумке.

Теперь же, господа, я вас покину;  
А если вы придете вновь сюда,  
Я расскажу про шум и треск сраженья,  
С которым ни одно нейдет в сравненье.

(*Bojardo, canto 26.*)

# КРИТИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ О КНИГЕ АДОЛЬФА ВАГНЕРА

## ПРЕДИСЛОВИЕ

В одной тетради Маркса, относящейся к зиме 1880 — 1881 г., оказался совершенно неожиданно большой конспект вагнеровского «Руководства политической экономии». Маркс обработал второе издание этой книги, но только первую часть («Allgemeine oder theoretische Volkswirtschaftslehre». Erster Theil. Grundlegung. 1879).

Конспекту предшествует список литературы, взятый из библиографических указаний Вагнера. Мы его не приводим, хотя он дает интересные указания на те книги, которые Маркс к 1881 г. не читал еще и на всякий случай отметил для себя. За этим списком следует конспект, в который вкраплены довольно большие полемические экскурсы против Вагнера.

Мы сказали «совершенно неожиданно». И действительно, если вспомнить, что Маркс, как его неоднократно обвиняли, совершенно игнорирует — за исключением Листа, Родбертуса, Рошера, Штейна, т. е. представителей экономической мысли 40-х и 50-х годов — немецкую политическую экономию, резкую характеристику которой он дал в предисловии ко второму изданию «Капитала», то такой внезапный интерес к ней требует объяснения.

Конечно, Марксу было известно, что после 1872 г. в немецкой официальной, профессорской, экономической науке произошел перелом. Социализм, который до того времени являлся для нее жупелом, добился частичного «признания» и послужил даже поводом к расколу на правоверных экономистов и «катедер-социалистов». Но учение Маркса продолжали замалчивать или пытались дискредитировать, как это сделал один из талантливейших представителей «нового направления в экономической науке» — Brentano.

Поворот по отношению к Марксу начинается только с появления книжки Шеффле «Сущность социализма» (она сначала появилась анонимно, а в 1877 г. вторым изданием с именем автора). Она написана настолько «благожелательно» не только по отношению к социализму, но и по отношению к Марксу — «наиболее авторитетному теоретику и вождю пролетариата», — что нашла большое распространение и среди немецких социал-демократов как «объективное» изложение учений социализма. Когда она подпала — правда, на очень короткое время — под нож закона против социалистов, Карл Гехберг, который вместе с Шеффле был убежден, что «классы вла-

деющие по меньшей мере столько же, как и пролетарии, заинтересованы в коренном улучшении существующей экономической организации», на собственный счет распространил из Брюсселя 10 000 экземпляров этой книжки. Достаточно прибавить, что в «Русской социально-революционной библиотеке», вместе с «18 марта 1871 г.» П. Лаврова, вышел русский перевод книжки Шеффле в переводе В. Тарновского с примечаниями П. Лаврова.

Мост, который только что успел разочароваться в Дюринге, стал поклонником Шеффле и в первом томе издаваемого Гехбергом «Ежегодника социальной науки и социальной политики» дал восторженную статью о его многотомном труде «Жизнь и строение социального организма», в который вошла и книжка «Сущность социализма».

Известно, какой взрыв негодования вызвал у Маркса и Энгельса первый том этого «Ежегодника». «Эти люди, — писал Маркс своему другу Зорге, — теоретически равны нулю, практически никуда не годные, хотя совершенно обезвредить социализм (который они конструируют на основании университетских рецептов) и в особенности социал-демократическую партию, просветить рабочих или, как они выражаются, доставить им, при помощи своего путаного полужнаительства, «элементы образования» и в первую очередь сделать партию respectable в глазах филистеров. Это — жалкие контр-революционные болтуны».

Но Энгельса и Маркса не меньше, чем оппортунистическая премудрость Гехберга и Шрамма, авторов руководящей статьи, возмущала и теоретическая путаница, которая господствовала в статьях и рецензиях «Ежегодника». Так, Гехберг в специальной заметке дополнил апологию Шеффле, написанную Мостом, хвалебным гимном по адресу «катедер-социалистов».

Резкие отзывы Маркса и Энгельса, конечно, стали известны в рядах партии так же хорошо, как и их категорический отказ принять участие в теоретических журналах, издававшихся Гехбергом («Zukunft») и Виде («Neue Gesellschaft»).

Во второй книжке «Ежегодника» помещены были две статьи: «Основа научного социализма», принадлежавшая Г. О — гу, и ответ на нее К. Шрамма «К теории стоимости». Первая выступала против Моста и доказывала, что теория стоимости Шеффле не только не является дополнением к теории стоимости Маркса, но представляет ее прямую противоположность. Но вместе с этим автор доказывал, что научный социализм имеет свою основу в теории стоимости Маркса. Если последняя неверна, то вместе с ней падает и научный социализм.

Возражая Г. О — гу, Шрамм делает резкий выпад против Маркса за то, что последний упорно «замыкается в аристократическом молчании, которое почти производит впечатление, как будто ему решительно все равно, понимают его или не понимают рабочие. Мы думаем, — кончает Шрамм свою критику, — что уже давно пора, чтобы Маркс положил конец спору о том, как он собственно хочет, чтобы понимали его теорию стоимости, — спору, который уже стоил партии много сил и времени».

Трудно сказать, хотел ли Маркс действительно прервать свое «аристократическое молчание» и высказаться по вопросу о теории стоимости, но уже в связи с новым поворотом в немецкой политической экономии, как он отразился в работах Шеффле и Вагнера, несомненно, однако, что вся эта дискуссия, в которой имя Маркса повторялось все чаще, показала ему, что «Капитал» не только проник в твердыни университетской науки, но и заставил ее — это особенно ярко выразилось в работах Вагнера — противопоставить ему более приемлемого для буржуазной политической экономии теоретика. Подготавливалось поклонение Родбертусу, главными последователями которого в социал-демократических рядах явились Кварк, Шрамм и Шиппель.

В своей критике Вагнера Маркс главным образом останавливается на теории стоимости (стр. 382 — 401). Попутно Маркс дает и критику взглядов Родбертуса на стоимость и его противоположения «исторических» и «логических» понятий. Но и в той отрывочной форме, в которой высказаны Марксом его замечания, они дают прекрасный автентический комментарий к его теории стоимости. Если мы примем во внимание, что во втором томе «Капитала» самой поздней по времени написания частью является та, которая написана в 1878 г., то можно сказать, что этот экскурс Маркса в область теории стоимости является его последней экономической работой.

*Д. Рязанов.*



A. Wagner, Allgemeine oder theoretische Volkswirtschaftslehre, B. I, Grundlegung, 2. Auflage, 1879.<sup>1</sup>

1) Концепция господина Вагнера, «социально-правовая концепция» (стр. 2),<sup>2</sup> находится «в согласии с Родбертусом, Ланге и Шеффле» (стр. 2). В основных пунктах изложения он ссылается на Родбертуса и Шеффле. Даже о морском разбое, существующем у целых народов, господин Вагнер говорит как о «неправомерном способе приобретения», который, правда, является разбоем лишь при том условии, если «предполагается существование истинного *jus gentium*» (стр. 18, прим. 3). Он изучает прежде всего «условия хозяйственной жизни общества» и «в соответствии с ними определяет сферу хозяйственной свободы индивида» (стр. 2).

«Стремление к удовлетворению потребностей» «не действует и не должно действовать в качестве чисто естественной силы, но, как и всякое стремление человека, оно находится под руководством разума и совести. Поэтому всякое вытекающее из него действие является ответственным и подлежит всегда нравственному суждению, которое, правда (!), само подвергается историческим изменениям» (стр. 9).

В применении к «труду» (стр. 9, § 2) господин Вагнер не делает различия между конкретным характером всякого труда и затратаю рабочей силы, общую всем этим конкретным видам труда (стр. 9, 10).

«Даже простое управление имуществом в целях получения прибыли, равно как расходование полученного дохода для удовлетворения потребностей, вынуждает всегда к деятельности, которая подходит под понятие труда» (стр. 10, прим. 6).

По мнению Вагнера, исторически-правовые категории суть «социальные категории»<sup>3</sup> (стр. 13, прим. 6).

<sup>1</sup> [Рукопись написана Марксом в 1881 г.]

<sup>2</sup> [Вагнер называет свою концепцию «социально-правовой». Он признает свою близость к «этическому» направлению Шмоллера, с тем отличием, что Шмоллер подчеркивал роль нравов и нравственности в хозяйственной жизни, в то время как Вагнер выдвигает на первый план момент принуждения и права (см. Wagner, S. 2).]

<sup>3</sup> [Вагнер различает два вида экономических категорий: 1) «чисто экономические», или «чисто натуральные»; 2) «исторически-правовые», или «социальные». (Wagner, S. 13, Anmerkung 6).]

«Естественные монополии положения, особенно в городских условиях (! Естественная монополия положения в лондонском Сити!) или связанные с влиянием климата на сельскохозяйственное производство целых стран, далее естественные монополии в виде специфического плодородия почвы, например в применении к особенно хорошим виноградникам и даже к целым нациям, например при сбыте тропических продуктов в страны умеренного пояса [«Поэтому в отдаленных странах (Южная Европа, тропические страны) продукты, имеющие естественный монополичный характер, облагаются вывозными пошлинами, в твердой уверенности, что эти пошлины будут переложены<sup>1</sup> на иностранных потребителей» (см. стр. 15, прим. 11)]. Если господин Вагнер выводит отсюда вывозные пошлины, существующие в южных странах, то это показывает, что он не имеет никакого представления об «истории» этих пошлин!<sup>2</sup> — приводят к тому, что блага, которые от природы являются — по крайней мере частично — свободными, становятся хозяйственными благами и в торговом обороте (beim Erwerbe) весьма высоко оплачиваются» (стр. 15).

Область регулярного обмена (сбыта) благ есть их рынок (стр. 21).

В число хозяйственных благ включаются: Отношения к людям и вещам (res incorporales), — отношения, которые только при помощи абстракции могут быть представлены как отдельные предметы, а именно: а) в свободном обмене: клиентура, фирма и тому подобные случаи, когда выгодные отношения к другим людям, созданные человеческою деятельностью, могут быть возмездно уступлены и приобретены, б) на основе известных правовых ограничений обмена: исключительные права на производство, сервитуты, привилегии, монополии, патенты и т. д. (стр. 22, 23).

Господин Вагнер включает «услуги» в число «хозяйственных благ» (стр. 23, прим. 2, и стр. 28). В основе этого лежит в сущности его желание представить тайного советника Вагнера в качестве «производительного работника», ибо, говорит он, «ответ является решающим для оценки всех тех классов, которые в виде профессии занимаются доставлением личных услуг, т. е. прислуги, представителей либеральных профессий и, следовательно, также государственных чиновников. Только в том случае, если услуги также причисляются к хозяйственным благам, названные классы производительны в хозяйственном смысле» (стр. 24).

Следующее очень характерно для манеры мышления Вагнера и К<sup>о</sup>:

Рау сделал замечание: от «определения имущества и хозяйственных благ» зависит, «принадлежат ли к ним также услуги или нет». На это Вагнер возражает: надо принять «такое определение» «имущества», которое «включает услуги в число хозяйственных благ» (стр. 28).

Но «решающим аргументом» является тот, «что средства удовлетворения потребностей не могут состоять только в вещных благах, ибо пот-

<sup>1</sup> [У Вагнера на стр. 15 — слово wälzen. Маркс ошибочно написал слово werfen.]

<sup>2</sup> [Прямые уголки в тексте обозначают замечания Маркса, включаемые им в чужой цитируемый им текст.]

ребности распространяются не только на таковые, но и на личные услуги (а именно услуги государства, например правовая охрана и т. д.)» (стр. 28).

Имущество: 1) с «чисто экономической» точки зрения... «Существующий в данный момент времени запас хозяйственных благ, как реальный фонд для удовлетворения потребностей», есть «имущество само по себе», часть совокупного народного или национального имущества.

2) Как «исторически-правовое понятие», это — «запас хозяйственных благ, находящийся во владении или собственности какого-нибудь лица, «имущественное владение» (стр. 32). Это — «исторически-юридически-относительное понятие собственности. Собственность дает только определенные распорядительные и исключительные права по отношению к другим людям. Объем этих прав изменяется» [т. е. исторически] (стр. 34). «Каждое имущество во втором смысле есть единичное имущество, имущество какого-нибудь физического или юридического лица» (там же).

Публичное имущество, в особенности имущество принудительно-общественных хозяйств, а именно имущество государства, округов и общин. Это имущество предназначается для всеобщего пользования (дороги, реки и т. д.), и собственность на это имущество приписывается государству как юридическому представителю общества (народа, населения данного округа и т. д.); либо же это имущество государства и общин в собственном смысле слова, а именно либо имущество, служащее целям управления; т. е. выполнения государственных функций, либо имущество, служащее финансовым целям, т. е. употребляемое государством для получения доходов как средств для выполнения его функций (стр. 35).

Капитал, *capitale*, перевод слова *κεφάλαιον*, обозначал требование денежной суммы в отличие от процентов (*τόκος*). В средние века капиталы, *caput pecunie*, обозначали нечто основное, существенное, первоначальное (стр. 37). В Германии употребляли слово *Hauptgeld* (стр. 37).

Капитал. Фонд, служащий для приобретения; запас благ, служащий для приобретения; запас движимых средств приобретения. В противоположность этому потребительный запас есть масса движимых средств потребления, рассматриваемая в известном отношении как одно целое (стр. 38, прим. 2).

Оборотный и основной капитал (стр. 38, 2 а и 2 б).

Стоимость. По мнению господина Вагнера, теория стоимости Маркса составляет «краеугольный камень его социалистической системы» (стр. 45). Так как я никогда не создавал «социалистической системы», то это не более, как фантазия Вагнера, Шеффле и tutti quanti. Далее: Маркс будто бы «находит общую общественную субстанцию меновой стоимости, — только последнюю он имеет здесь в виду, — в труде, а мерило величины меновой стоимости в общественно-необходимом рабочем времени и т. д.» (стр. 45).<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Приводим в связанном виде критические замечания Вагнера на стр. 45—46, посвященные теории стоимости Маркса:

«Несравненно значительнее теория стоимости Маркса, см. «Капитал», стр. 1 и сл., который

Я нигде не говорю об «общей общественной субстанции меновой стоимости», а говорю, что меновые стоимости (меновая стоимость существует только при наличии по меньшей мере двух стоимостей) выражают нечто общее им обоим, нечто «совершенно независимое от их потребительных стоимостей» | т. е. от их натуральной формы |, а именно «стоимость». Так, например, мы читаем: «Таким образом, то общее, что выражается в меновом отношении или меновой стоимости товара, и есть его стоимость. Дальнейший ход исследования приведет нас опять к меновой стоимости как необходимому способу выражения или необходимой форме проявления товарной стоимости; тем не менее эта последняя должна быть сначала рассмотрена как таковая, независимо от этой ее формы» (2-е изд., стр. 13).<sup>1</sup>

Я, следовательно, не говорю, что «труд» есть «общая общественная субстанция меновой стоимости»; и так как я в особом разделе подробно разбираю форму стоимости, т. е. развитие меновой стоимости, то было бы странно сводить эту «форму» к «общей общественной субстанции», к труду. Также забывает господин Вагнер, что предметом для меня является не «стоимость» и не «меновая стоимость», а товар.

Далее: «Но эта теория (Маркса) представляет собою не столько всеобщую теорию стоимости, сколько теорию издержек, исходящую от Рикардо» (стр. 45). Господин Вагнер мог бы как из «Капитала», так и из сочинения Зибера (если бы он знал русский язык) увидеть разницу между мною и Рикардо, который на деле интересовался трудом лишь как мерилом вели-

находит общую общественную субстанцию меновой стоимости, — которую одну только он имеет здесь в виду, — в труде, а мерило величины меновой стоимости в общественно-необходимом рабочем времени, которое требуется для изготовления какого-либо блага (потребительной стоимости) при наличных общественно-нормальных условиях производства и при среднем в данном обществе уровне умелости и интенсивности труда (см. стр. 4 и сл. 1-го издания). Но эта теория представляет собою не столько всеобщую теорию стоимости, сколько теорию издержек, исходящую от Рикардо. Ср. также Лассалю, «Труд и капитал», гл. 3.

«Эта теория слишком односторонне обращает внимание только на один момент, определяющий стоимость, именно на издержки, а не на другой момент, а именно годность, полезность, потребность. Она не соответствует не только образованию меновой стоимости в современном свободном обмене, но, как превосходно и даже окончательно доказывает Шеффле в «Quintessenz» и особенно в «Sozialer Köbreg», она не соответствует даже условиям, которые необходимо образовались бы в марксовом гипотетическом социалистическом государстве. Это можно убедительно доказать на примере хлеба и т. п., меновая стоимость которого, под влиянием колеблющихся урожаев при неизменной потребности в нем, даже при системе «социальных такс» необходимо регулировалась бы иным образом, чем в соответствии только с издержками. Теория меновой стоимости Родбертуса также страдает односторонним подчеркиванием момента издержек: кроме того, он и Маркс поступают произвольно, когда они сводят эти издержки к так называемым трудовым затратам в узком смысле слова. Но для этого нужно предварительно привести доказательство, которое до сих пор отсутствует, а именно доказательство того, что процесс производства вполне возможен без деятельности частных капиталистов, направленной на образование и применение капитала. См. ниже 2-й раздел 3-й главы. Пока подобное доказательство не приведено, прибыль капиталиста на деле также составляет «конститутивный» элемент стоимости, а не, как думают социалисты, только вычет или «грабеж» рабочего.»]

<sup>1</sup> [Эта цитата взята из «Капитала», т. I, русск. изд. 1928 г., стр. 4.]

чины стоимости и в силу этого не нашел никакой связи между своею теорией стоимости и сущностью денег.

Если господин Вагнер говорит, что это не «всеобщая теория стоимости», то он в своем смысле вполне прав, так как под всеобщей теорией стоимости он понимает умствования насчет слова «стоимость»; это дает ему также возможность оставаться при традиционном и обычном у немецких профессоров смещении «потребительной стоимости» и «стоимости», так как обе они имеют общее слово «стоимость». Но если он далее говорит, что это — *«теория издержек»*, то это замечание либо сводится к тавтологии: товары, поскольку они суть стоимости, представляют нечто общественное, человеческий труд, и постольку величина стоимости товара определяется, по моему мнению, величиною содержащегося в нем рабочего времени и т. д., т. е. нормальным количеством труда, которого стоит производство предмета и т. д.; господин же Вагнер доказывает противоположное мнение тем, что он уверяет, что эта теория стоимости не есть «всеобщая», так как он, господин Вагнер, держится другого взгляда насчет «всеобщей теории стоимости». Или же он утверждает нечто ложное: Рикардо (вслед за Смитом) смешивает стоимость и издержки производства: я уже в *«К критике политической экономии»*, а также в примечаниях к *«Капиталу»* ясно указал, что *стоимости и цены производства* (которые лишь выражают в деньгах издержки производства) не совпадают. Почему они не совпадают? На этот счет я ничего не сказал господину Вагнеру.

Кроме того я «действую произвольно», так как привожу «эти издержки к так называемым трудовым затратам в узком смысле слова. Но для этого нужно предварительно привести доказательство, которое до сих пор отсутствует, а именно доказательство того, что процесс производства вполне возможен без деятельности частных капиталистов, направленной на образование и применение капитала» (стр. 45).

Вместо того чтобы взваливать на меня подобные доказательства, относящиеся к будущему, господин Вагнер, наоборот, должен был бы сперва доказать, что в многочисленных общинах, существовавших до появления частных капиталистов (древне-индийская община, южно-славянская семейная община и т. д.), общественный процесс производства, — не говоря уже о процессе производства вообще, — не имел места. Кроме того, Вагнер мог бы сказать лишь следующее: эксплуатация рабочего класса классом капиталистов, словом — характер капиталистического производства изображен Марксом правильно, но Маркс ошибается в том, что считает это хозяйство преходящим, как, наоборот, Аристотель ошибался в том, что рабское хозяйство считал не преходящим.

«Пока подобное доказательство не приведено иначе говоря, пока существует капиталистическое хозяйство, прибыль капиталиста на деле также здесь показываются копыта или уши осла» составляет «конститутивный» элемент стоимости, а не, как думают социалисты, только вычет или «грабеж» рабочего» (стр. 45, 46). Что такое «вычет из рабочего», вычет из его шкуры

и т. д., нельзя понять. Но и в моем изложении «прибыль капиталиста на деле» *не* есть «только вычет или грабеж рабочего». Наоборот, я изображаю капиталиста как необходимого функционера капиталистического производства и весьма подробно показываю, что он не только «вычитывает» или «*грабит*», но и вынуждает *производство прибавочной стоимости*, следовательно помогает создавать то, что подлежит вычету; далее я подробно показываю, что даже в товарном обмене, где обмениваются *только эквиваленты*, капиталист, как только он оплачивает рабочему действительную стоимость его рабочей силы, с полным правом, т. е. правом, соответствующим этому способу производства, приобретает *прибавочную стоимость*. Но все это не делает «прибыль капиталиста» «*конститутивным*» элементом стоимости, а лишь показывает, что в стоимости, «*конституированной*» не трудом капиталиста, имеется часть, которую он может присвоить себе «по праву», т. е. не нарушая права, соответствующего товарному обмену.

«Эта теория слишком односторонне обращает внимание только на один момент, определяющий стоимость | 1) Тавтология. Эта теория ложная, так как Вагнер имеет «всеобщую теорию стоимости», с нею расходящуюся, и поэтому «стоимость» Вагнера определяется «потребительной стоимостью», что доказывается размером профессорского жалования; 2) господин Вагнер подсовывает вместо стоимости «рыночную цену» данного момента или отклоняющуюся от стоимости цену товара, которая представляет собою нечто совершенно отличное от стоимости |, именно на *издержки*, а не на другой момент, а именно *годность, полезность, потребности* | т. е. она не смешивает «стоимость» с *потребительной стоимостью*, как хотел бы прирожденный путаник вроде Вагнера |. Она не соответствует не только *образованию меновой стоимости в современном обмене*<sup>1</sup> | он имеет в виду *образование цен*, которое абсолютно ничего не меняет в *определении стоимости*: вообще же в *современном обмене*, конечно, *происходит образование меновой стоимости*, как это известно любому грюндеру, фальсификатору товаров и т. п., которое не имеет ничего общего с *образованием стоимости*, но зорко следит за уже *образованными стоимостями*; кроме того, я, например, при определении *стоимости рабочей силы* исхожу из того, что стоимость ее действительно вполне оплачивается, что *фактически не имеет места*. Господин Шеффле в «*Capitalismus*» и т. д. полагает, что такой прием является «великодушным» или чем-то в этом роде. Но это лишь прием, необходимый с научной точки зрения |, но, как превосходно и даже *окончательно* (!) доказывает Шеффле в «*Quintessenz*» и особенно в «*Sozialer Körper*», она не соответствует даже условиям, которые необходимо образовались бы в *марксовом гипотетическом социалистическом государстве*. | Итак, социалистическое государство, которое господин Шеффле любезно «образовал» вместо меня, превращается в «*марксово*» (а не в «социалистическое государство», приписываемое Марксу в гипотезе Шеффле). | Это можно *убедительно* доказать на примере хлеба

<sup>1</sup> [У Вагнера сказано: «в современном свободном обмене» (*Wagner*, S. 45.)]

и т. п., *меновая стоимость* которого, под влиянием колеблющихся урожаев при неизменной потребности в нем, *даже* при системе «*социальных такс*», необходимо регулировалась бы *иным образом*, чем в соответствии *только с издержками*. [Сколько слов, столько нелепостей. Во-первых, я нигде не говорил о «*социальных таксах*» и при *исследовании стоимости* имел в виду буржуазные отношения, а не применение этой теории *стоимости* к «социалистическому государству», конструированному к тому же не мною, а господином Шеффле вместо меня. Во-вторых: если при неурожае цена хлеба повышается, то, во-первых, повышается его *стоимость*, так как данное количество труда *реализовано в меньшем продукте*; во-вторых, еще в гораздо большей мере повышается *продажная цена* хлеба. Какое отношение имеет это к моей теории *стоимости*? Насколько цена хлеба *превышает его стоимость*, ровно настолько же другие товары продаются, в натуральной ли или в денежной форме, *ниже их стоимости*, и даже в том случае, если их собственная денежная цена *не* понижается. *Сумма стоимостей* остается та же, если даже денежное выражение всей этой *суммы стоимостей* возросло, т. е. если возросла, по выражению господина Вагнера, сумма «*менной стоимости*». Это имеет место в том случае, если мы предположим, что *падение цен* для совокупности других товаров не компенсирует *повышения цен* на хлеб (превышения его цены над стоимостью). Но в этом случае *меновая стоимость денег* настолько же упала ниже их стоимости; *сумма стоимостей* всех товаров не только остается *та же*, но она не изменяется даже в *денежном выражении*, если в число товаров включаются и деньги. Далее: повышение хлебных цен выше стоимости хлеба, которая возросла в результате неурожая, будет в «социалистическом государстве», во всяком случае, меньше, чем при современных хлебных ростовщиках. «Социалистическое государство» заранее будет организовывать производство таким образом, чтобы годичное предложение хлеба лишь в самой минимальной степени зависело от колебаний урожая. Размер производства, предложение и потребление будут рационально регулированы. Наконец, говорит ли «социальная такса», — предполагая даже, что фантазии Шеффле на этот счет будут осуществлены, — что-нибудь в пользу или против моей теории *стоимости*? Так же мало, как мало принудительные мероприятия, предпринимаемые при недостатке провизии на корабле или в крепости или во время французской революции и т. д., — мероприятия, которым нет никакого дела до *стоимости*, — могут нарушать *законы стоимости* «капиталистического (буржуазного) государства», следовательно также теорию *стоимости*! Это не более, как детский вздор!]

Тот же Вагнер с одобрением цитирует слова Рау: «Во избежание недоразумений необходимо точно установить, что понимается под *стоимостью* вообще, и в соответствии с немецким языком для этого следует выбрать *потребительную стоимость*» (стр. 46).

*Выведение понятия стоимости* (стр. 46 сл.).

По мнению господина Вагнера, из *понятия стоимости* следует сперва

вывести *потребительную стоимость* и (из последней)<sup>1</sup> *меновую стоимость*, а не, как у меня, из *конкретной формы товара*; интересно проследить эти *схоластические* упражнения в его новейшем издании «Grundlegung».

«*Естественное* стремление человека заключается в том, чтобы довести до *ясного сознания и понимания* то *отношение*, в котором внутренние и внешние блага стоят к его потребностям. Это делается при помощи *оценки* (*оценки стоимости*), благодаря которой благам, в частности предметам внешнего мира, *придается стоимость*, и последняя *измеряется*» (стр. 46), а на стр. 12 читаем: «Все средства для удовлетворения потребностей называются *благами*».

Если мы вставим теперь в первом предложении вместо слова «*благо*» приписываемое ему Вагнером *логическое содержание*, то первая фраза приведенного отрывка будет гласить:

«*Естественное стремление «человека»* заключается в том, чтобы довести до *ясного сознания и понимания* то *отношение*, в котором «внутренние и внешние средства для удовлетворения его потребностей» стоят к его *потребностям*». Эту фразу мы можем несколько упростить, опуская «внутренние средства» и т. д., как это сейчас же делает господин Вагнер в следующем предложении при помощи слов «в частности».

«*Человек*»? Если здесь понимается категория «человек вообще», то он вообще не имеет «никаких» потребностей; если обособленный человек противостоит природе, то его следует рассматривать как любое не-стадное животное; если же это человек, живущий в обществе какой бы то ни было формы, — и именно это предполагает господин Вагнер, так как его «человек», хотя и не обладает университетским образованием, владеет, по крайней мере, речью, — то в качестве исходного пункта следует принять определенный характер общественного человека, т. е. определенный характер общества, в котором он живет, так как здесь производство, т. е. его *процесс добывания жизненных средств*, уже имеет какой-нибудь общественный характер.

Но у профессора-доктринера отношения человека к природе с самого начала выступают не как *практические отношения*, т. е. основанные на действии, а как *теоретические*; уже в первом предложении спутаны два отношения такого рода: так как в следующем предложении «*внешние средства для удовлетворения потребностей*» или «*внешние блага*» превращаются в «*предметы внешнего мира*», то первое из подразумеваемых отношений приобретает следующий вид: человек находится в *отношении к предметам внешнего мира* как к средствам удовлетворения его потребностей. Но люди никоим образом не начинают с того, что «стоят в теоретическом отношении к предметам внешнего мира». Как и другие животные, они начинают с того, что *едят, пьют* и т. д., т. е. не «стоят» в каком-нибудь отношении, а *активно*

<sup>1</sup> [В скобках < > заключены слова и фразы, зичеркнутые Марксом.]



*действуют*, при помощи действия овладевают известными предметами внешнего мира и таким образом удовлетворяют свои потребности. (Они, следовательно, начинают с производства.) Благодаря повторению этого процесса способность этих предметов «удовлетворять потребности» людей запечатлевается в их мозгу, люди и звери научаются и «теоретически» отличать внешние предметы, служащие удовлетворению их потребностей, от всех других предметов. На известном уровне дальнейшего развития, после того как умножились и дальше развивались потребности людей и виды деятельности, которыми они удовлетворяются, люди дают отдельные названия целым классам этих предметов, которые они уже отличали на опыте от остального внешнего мира. Это необходимо наступает, так как в процессе производства, т. е. в процессе присвоения этих предметов, люди постоянно находятся в трудовой связи (*werkstätiger Umgang*) друг с другом и с этими предметами и вскоре начинают также борьбу с другими людьми из-за этих предметов. Но это словесное наименование лишь выражает в виде представления то, что повторяющаяся деятельность превратила в опыт, а именно что людям, уже живущим в определенной общественной связи | а такое предположение вытекает необходимо из наличия речи |, определенные внешние предметы служат для удовлетворения их потребностей. Люди дают этим предметам особое (родовое) название лишь потому, что им уже известна способность этих предметов служить удовлетворению их потребностей и что они стараются при помощи более или менее часто повторяющейся деятельности овладеть ими и сохранить их в своем владении; они, возможно, называют эти предметы «благами» или как-нибудь иначе, что обозначает, что они на практике употребляют эти продукты, что последние им полезны; они приписывают предмету характер полезности, как будто присущий самому предмету, хотя овца вряд ли сочла бы своим «полезным» свойством тот факт, что она годится в пищу человеку.

Итак: люди начали фактически с того, что присваивали себе предметы внешнего мира как средства для удовлетворения их собственных потребностей, и т. д. и т. д., впоследствии они пришли к тому, что и *словесно* начали называть их *средствами удовлетворения их потребностей*, — каковыми они уже были в практическом опыте, — предметами, которые их «удовлетворяют». Если назвать то обстоятельство, что люди не только на практике относятся к подобным предметам как к средствам удовлетворения их потребностей, но также в представлении и в словесном выражении характеризуют их как предметы, «удовлетворяющие» их потребности, а тем самым и *их самих* | пока потребность человека не удовлетворена, он находится в состоянии *недовольства* своими потребностями, а следовательно и *самим собою* |, — если, «в соответствии с немецким словоупотреблением», сказать, что это и значит «придавать стоимость» предметам, то мы доказали, что общее понятие «стоимость» проистекает из отношения людей к предметам внешнего мира, удовлетворяющим их потребности, что, следовательно, это и есть *родовое понятие* «стоимости» и что все другие виды стоимости, например

химическая валентность<sup>1</sup> (Wert) элементов, представляет лишь разновидность этого понятия.

«Но <от того, что господин Вагнер имеет дело с «человеком», а не с «людьми»> эта «дедукция» не становится более красивой, <трудной>, <туманной>, <красивой>, <подходящей>. Эту весьма простую «дедукцию» господин Вагнер выражает следующим образом: *Естественное стремление человека* (читай: немецкого профессора политической экономии) заключается в том, чтобы «отношение», <в котором предметы внешнего мира не только являются средствами удовлетворения человеческих потребностей, но и словесно признаются, а потому и служат таковыми>>>».

«Естественное стремление» немецкого профессора политической экономии заключается в том, чтобы вывести экономическую категорию «стоимости» из какого-нибудь «*понятия*», и это достигается тем, что так называемая в политической экономии «потребительная стоимость», «в соответствии с немецким словоупотреблением», просто переименовывается в «*стоимость*». А как только найдена «стоимость» вообще, она в свою очередь служит для того, чтобы *вывести «потребительную стоимость»* из «стоимости вообще». Для этого нужно только опять прибавить перед словом «стоимость» опущенную раньше приставку «*Gebrauchs-*» (потребительная).

Действительно, Рау (см. стр. 88)<sup>2</sup> нам просто говорит, что «необходимо для немецкого школьного профессора точно установить, что понимается под *стоимостью вообще*», и наивно прибавляет, что «в соответствии с немецким словоупотреблением для этого следует *выбрать потребительную стоимость*». В химии химическую стоимость (Wert) элемента называется число его атомов, соединяющихся с атомами других элементов. Но и вес соединяющихся атомов также называют эквивалентностью, равноценностью разных элементов и т. д. Следовательно, сперва необходимо определить понятие «стоимости вообще» и т. д. ]

Если человек относится *к предметам как к «средствам удовлетворения его потребностей»*, то он относится *к ним как к «благам»*, — свидетельствует Вагнер. Он придает предметам атрибут «блага», но *содержание этой операции* ни в малейшей мере не изменяется от того, что господин Вагнер переименовывает ее в операцию «придавать стоимость». Его собственное неповоротливое сознание приходит к «пониманию» в нижеследующем предложении:

«Это делается при помощи *оценки* (оценки *стоимости*), благодаря которой *благам, в частности предметам внешнего мира, придается стоимость, и последняя измеряется*».<sup>3</sup> Мы не говорим уж о том, что господин Вагнер выводит *стоимость* из *оценки стоимости* (он сам прибавляет к

<sup>1</sup> [Непереводимая игра слов: и стоимость, и валентность обозначаются по-немецки термином «Wert».]

<sup>2</sup> [Здесь Маркс указывает страницу не по книге Вагнера, а по подлиннику Рау (см. *Rau, Grundsätze der Volkswirtschaftslehre, B. I, Abt. 1, 1868, S. 88*)]

<sup>3</sup> [См. *Wagner, S. 46*.]

слову «оценка» в скобках слова «оценка стоимости», чтобы довести вопрос до «ясного сознания и понимания»). «Человек» имеет «естественное стремление» оценивать блага как «стоимости» и таким образом позволяет господину Вагнеру исполнить обещание и *вывести* «понятие стоимости вообще». Вагнер не даром тайком вставляет вместо слова «блага» *в частности* «предметы внешнего мира». Он исходит из следующего: человек «относится» к «предметам внешнего мира», являющимися средствами удовлетворения его потребностей, как к «благам». Он, следовательно, *оценивает* эти предметы именно благодаря тому, что относится к ним как к «благам». И для этой оценки мы уже имели раньше «описание», которое, например, гласит: «Человек, как существо, имеющее потребности, находится в постоянном соприкосновении с окружающим его внешним миром и познает, что в последнем заключаются многочисленные условия его жизни и благосостояния» (стр. 8). А это и значит не что иное, как то, что он *оценивает* предметы внешнего мира, поскольку они удовлетворяют его как «существо, имеющее потребности». Теперь мы можем, — особенно если мы чувствуем «естественное» профессорское «стремление» вывести *понятие стоимости вообще*, — *окрестить* операцию придавать «предметам внешнего мира» атрибут «блага» названием «придавать стоимость». Можно было бы также сказать: человек, относясь к удовлетворяющим его потребности предметам внешнего мира как к «благам», «оценивает» (preist) их, придает им *цену* (Preis); тем самым понятие «цены вообще» было бы выведено из способа действий «человека» и доставлено немецкому профессору в готовом виде. Все, чего сам профессор не может сделать, он заставляет делать «человека», который, однако, сам на деле есть не более, как *профессорский человек*, который думает, что он понял мир, когда он подводит себя под абстрактные рубрики. Но поскольку «придавать стоимость» предметам внешнего мира означает здесь, только в других словах, то же самое, что придавать им атрибут «благ», мы этим никоим образом не придаем, как хочет обманчивым образом уверить Вагнер, «стоимость» самим «благам», как определение, отличное от их «бытия в качестве благ». Мы только подставляем слово «стоимость» вместо слова «блага». | Как видим, тут можно было бы подставить и слово «цена». Можно было бы подставить также слово «сокровище» (Schatz), так как «человек», накладывая на «предметы внешнего мира» штемпель «благ», «оценивает» (schätzt) их и потому относится к ним как к *сокровищу* (Schatz). Как видим, три экономические категории: *стоимость*, *цена* и *сокровище* могут быть сразу и волшебным образом выведены господином Вагнером из «естественного стремления человека», чтобы доставить профессору его ограниченный мир понятий (представлений). | Но в господине Вагнере живет смутное стремление выбраться из его лабиринта тавтологий и при помощи хитрости доказать «что-то дальнейшее». Отсюда фраза: «благодаря этому благам, *в частности* предметам внешнего мира, *придается стоимость*» и т. д. Так как превращение «предметов внешнего мира» в «блага», т. е. выделение и фиксация их в представлении как *средств удо-*

*влетворения* человеческих потребностей, также носит у господина Вагнера название «придавать предметам *стоимость*», то он так же мало может сказать, что *стоимость* придается самим «благам», как он не мог бы сказать, что *стоимость* *придается* «стоимости» предметов внешнего мира. Но он проделывает *salto mortale* при помощи слов: «благам, в частности предметам внешнего мира, *придается стоимость*». Вагнер должен был бы сказать: превращение известных предметов внешнего мира в «блага» можно также обозначить словами, что этим предметам «*придается стоимость*», и таким именно образом Вагнер *выводит* «*понятие стоимости* вообще». От этой *перемены* словесного выражения не изменяется *содержание*. На деле здесь всегда имеет место лишь *выделение и фиксация* в представлении предметов внешнего мира, являющихся средствами удовлетворения человеческих потребностей, следовательно лишь познание и признание известных *предметов внешнего мира как средств удовлетворения потребностей «человека вообще»* (который, однако, в качестве такового на деле страдает от «потребности в логических понятиях»).

Но господин Вагнер хочет нас или себя самого уверить, что он не дает тому же содержанию двух названий, а, напротив, от определения «благ» подвигается к отличному от него и более развитому *определению* «стоимость», и этого он достигает просто тем, что вместо «предметов внешнего мира» подставляет «*в частности*» слово «блага», — процесс, который опять таки «затемняется» тем, что он вместо «благ» подставляет «*в частности*» «предметы внешнего мира». Его собственная путаница производит таким образом верное действие: она путает его читателей. Он мог бы также перевернуть свое превосходное «выведение» следующим образом: человек, *отличая* и тем самым *выделяя* предметы внешнего мира, являющиеся средствами удовлетворения его потребностей, в качестве таковых средств удовлетворения из других предметов внешнего мира, оценивает (*würdigt*) эти предметы, придает им *стоимости* или атрибут «стоимости»; это можно также выразить таким образом, что он придает им в качестве отличительного признака атрибут «благ» или же ценит и оценивает (*achtet und schätzt*) их как «блага». Следовательно, «стоимостям», *в частности* предметам внешнего мира, *придается* понятие «блага». Таким образом, из понятия «стоимости» «выводится» понятие «блага» вообще. Все подобного рода *выведения* имеют свою целью лишь *отвести* от задачи, которая автору не по силам.

Но господин Вагнер единым духом и со всею поспешностью переходит от «стоимости» *благ* к «*измерению*» этой стоимости.

Содержание абсолютно ни в чем не изменяется, если вообще не употреблять контрабандного слова «стоимость». Можно было бы сказать: человек, накладывая на известные предметы внешнего мира, которые и т. д., штемпель «благ», все более и более сравнивает эти «блага» между собою и ставит их в известный ряд сообразно иерархии своих потребностей, т. е., если угодно, «*измеряет*» их. О развитии действительной меры этих благ, т. е. *меры их величины*, Вагнер поистине не должен здесь распространяться, так как это

слишком живо напомнило бы читателю, что здесь речь идет не о том, что вообще понимается под «мерой стоимости».

Что выделение (указание) предметов внешнего мира, являющихся средствами удовлетворения человеческих потребностей, в качестве «благ» может быть названо также «придавать этим предметам стоимость», — это Вагнер мог доказать не только, как Рау, на основании «немецкого словопотребления», но и при помощи латинизированного слова *dignitas* = значение, достоинство, ранг и т. д., которое, будучи приложено к предметам, обозначает также «стоимость»; *dignitas* происходит от *dignus*, а последнее слово от *dic*, point out, show — выделять, показывать; *dignus*, следовательно, означает *pointed out*, отсюда также *digitus* — палец, которым указывают на предмет; по-гречески *δείκνυμι*, *δάκτυλος* (палец); на готском языке *ga-tecta* (*dico*); по-немецки — *zeigen* (показать); а мы можем прийти еще к дальнейшим «выведениям», если принять во внимание, что *δείκνυμι* (или *δείκνω*) (делать видимым, проявлять, указывать) имеет общий корень *δέχομαι* (удерживать, брать) с *δέχομαι*. |

Столько банальностей, тавтологической путаницы, словесного крохоборства, обманчивых маневров господин Вагнер преподносит на неполных семи строчках.

Не приходится удивляться, что после этих кунштюков этот *vir obscurus* (темный муж) с большим самодовольством продолжает:

«Понятие стоимости, столь спорное и еще затемненное многими, нередко лишь мнимо-глубокомысленными исследованиями, очень просто [воистину <sup>1</sup>] распутывается | скорее <sup>2</sup> «запутывается» |, если, как это было сделано | именно Вагнером |, исходить из потребностей и хозяйственной природы, дойти до понятия блага и к последнему привязать понятие стоимости» (стр. 46). Мы имеем здесь чисто логическое понятие хозяйства; мнимое развитие его у *vir obscurus* сводится к «привязыванию» и в известной мере к «развязыванию».

Дальнейшее выведение понятия стоимости.

Субъективная и объективная стоимость. Субъективная стоимость или стоимость блага в общем смысле слова = значение, которое «придается» благу в силу его полезности... Это не свойство вещей самих по себе, хотя и имеет объективную предпосылку полезность вещи | следовательно, имеет предпосылку «объективную» стоимость |... В объективном смысле под «стоимостью», «стоимостями» понимаются также блага, имеющие стоимость, где (!) благо и стоимость блага и стоимости становятся в существенном идентичными понятиями» (стр. 46, 47).

После того как Вагнер просто назвал «стоимостью вообще» или «понятием стоимости» то, что обычно называется «потребительной стоимостью», он не может не вспомнить, что «выведенная (!) таким образом (так!

<sup>1</sup> [У Маркса английское слово indeed.]

<sup>2</sup> [У Маркса английское слово rather.]

так!) стоимость» есть «*потребительная стоимость*».<sup>1</sup> После того как он назвал «*потребительную стоимость*» «понятием стоимости» вообще или «просто стоимостью», он задним числом открывает, что он лишь гордит вздор насчет «потребительной стоимости» и таким образом «выводит» последнюю, так как в настоящее время гордить вздор и выводить суть «в существенном» — идентичные мыслительные операции. Но при этом случае мы узнаем, какое субъективное обстоятельство соединяет Вагнера с прежними путаными «объективными» понятиями. Он открывает нам секрет. Родбертус написал ему письмо, — которое можно прочесть в «*Tübinger Zeitschrift*» за 1878 год, — в котором объясняет, почему существует «только один вид стоимости», потребительная стоимость.<sup>2</sup> «Я» (Вагнер) «присоединился к такому взгляду, значение которого я подчеркнул уже в первом издании» | стр. 48 |. О словах Родбертуса Вагнер отзывается так: «Это вполне правильно и вынуждает к изменению обычного не-логического «деления» «стоимости»<sup>3</sup> на *потребительную стоимость и меновую стоимость*, которое я еще проводил в § 35<sup>4</sup> первого издания» (стр. 48, прим. 4); и тот же Вагнер причисляет (на стр. 49, примечание) меня к людям, по мнению которых «потребительная стоимость» должна быть совершенно «удалена» «из науки».

Все это «вздор». Во-первых, я исхожу вовсе не из «понятий», следовательно не из «понятия стоимости», и потому не имею никакой нужды в «делении» последнего. Я исхожу из простейшей общественной формы, в которой продукт труда представляется в современном обществе, а это и есть «товар». Я анализирую последний, и притом сперва в той *форме, в которой он проявляется*. Здесь я нахожу, что, с одной стороны, товар в своей натуральной форме есть *предмет потребления* или *потребительная стоимость*, а с другой стороны, *носитель меновой стоимости*, и с этой точки зрения сам является «меновою стоимостью». Дальнейший анализ последней

<sup>1</sup> [См. *Wagner*, S. 48.]

<sup>2</sup> [Приводим соответствующие слова Вагнера на стр. 48, прим. № 4: «Родбертус в письме ко мне в «*Tübinger Zeitschrift*», 1878, S. 223. Я присоединился к такому взгляду, значение которого я подчеркнул уже в первом издании. Родбертус заканчивает свое объяснение словами: «Меновая стоимость есть лишь историческая оболочка социальной потребительной стоимости в определенный исторический период. Если потребительную стоимость противопоставляют меновой стоимости как ее логическую противоположность, то тем самым ставят логическое понятие в логическую противоположность историческому понятию, что с логической точки зрения недопустимо». Это вполне правильно и вынуждает к изменению обычного не-логического деления стоимости на потребительную стоимость и меновую стоимость, деления, которое я еще проводил в § 35 первого издания...»

В согласии со взглядами *Родбертуса* и *Шеффле* я устанавливаю, что всякая стоимость имеет характер *потребительной стоимости*, и особенно подчеркиваю оценку потребительной стоимости, так как оценка меновой стоимости ко многим из важнейших хозяйственных благ просто даже неприменима, например к государству и его функциям, также к другим отношениям публичного хозяйства.]

<sup>3</sup> [У Вагнера эти слова не заключены в кавычки.]

<sup>4</sup> [Марке ошибочно указал здесь § 3.]

показывает мне, что меновая стоимость есть лишь «форма проявления», самостоятельная форма представления содержащейся в товаре *стоимости*, и после этого я перехожу к анализу последней. Поэтому я ясно пишу на стр. 36 второго издания:<sup>1</sup> «Когда мы в начале этой главы, следуя ходячему обозначению, говорили: товар есть потребительная стоимость и меновая стоимость, то, строго говоря, это было не верно. Товар есть потребительная стоимость, или предмет потребления, и «стоимость». Он обнаруживает эту свою двойственную природу, когда *его стоимость* получает собственную, *отличную* от его натуральной формы, *форму проявления*, а именно форму *менового* стоимости» и т. д. Я, следовательно, не подразделяю стоимость *вообще* на потребительную стоимость и меновую стоимость, — как противоположные понятия, на которые распадается абстрактное понятие «стоимости», — но конкретная общественная форма (Gestalt) продукта труда, «товар», есть, с одной стороны, потребительная стоимость, а с другой стороны — «стоимость», — а не меновая стоимость, так как одна только форма проявления не составляет собственно *содержания* его.

Во-вторых, только *vir obscurus*, не понявший ни слова в «Капитале», может заключать: так как Маркс в одном примечании в первом издании «Капитала» отвергает всю вздорную болтовню немецких профессоров насчет «потребительной стоимости» вообще и отсылает читателей, желающих получить какие-нибудь сведения о действительных потребительных стоимостях, к «руководствам по товароведению», то *потребительная стоимость* не играет у Маркса никакой роли.<sup>2</sup> Она, разумеется, не играет роли своей противоположности, «стоимости», которая с первой не имеет ничего общего, кроме слова «стоимость». С таким же правом он мог бы сказать, что я оставляю в стороне меновую стоимость, так как она лишь форма проявления стоимости, а не сама «стоимость», ибо для меня «стоимость» товара не есть ни ее потребительная, ни ее меновая стоимость.

Если мы хотим анализировать «товар», — это простейшее экономическое конкретное явление, — то мы должны оставить в стороне все отношения, не имеющие ничего общего с данным объектом анализа. Поэтому то, что следует сказать о товаре, поскольку он есть потребительная стоимость, я сказал в немногих строках, а с другой стороны, я подчеркнул *характерную форму*, в которой здесь является потребительная стоимость, продукт «труда, а именно: вещь может быть полезностью и продуктом человеческого труда, не будучи товаром. Тот, кто продуктом своего труда удовлетворяет свою собственную потребность, создает лишь потребительную стоимость, но не товар. Чтобы произвести товар, он должен произвести не просто *потребительную стоимость*, но *потребительную стоимость для других*,

<sup>1</sup> [См. первый том «Капитала», русск. изд. 1928 г., стр. 22.]

<sup>2</sup> [Упомянутое Марксом примечание находится не в первом издании «Капитала», а в «К критике политической экономии». См. русское издание 1929 г., стр. 60, примечание. Но уже в первом издании Маркс внес его в текст в следующей форме: «Потребительные стоимости товаров составляют предмет особенной дисциплины, товароведение.»]

*общественную потребительную стоимость»* (стр. 15)<sup>1</sup> | В этом корень «общественной потребительной стоимости» Родбертуса. | Благодаря этому потребительная стоимость — как потребительная стоимость «товара» — сама обладает исторически-специфическим характером. В примитивных общинах, в которых, например, средства существования сообща (*gemeinschaftlich*) производились и распределялись между членами общины, общий продукт удовлетворяет непосредственно жизненные потребности каждого члена общины, каждого производителя, и общественный (*gesellschaftlicher*) характер продукта или потребительной стоимости заключается здесь в его *общеполезном (gemeinschaftlicher) характере*. | Господин Родбертус, напротив, превращает «общественную потребительную стоимость» *товара* в «общественную потребительную стоимость» вообще и потому несет чепуху: |

Как вытекает из предыдущего, было бы чистейшим вздором к анализу товара, — на том основании, что он представляется, с одной стороны, как потребительная стоимость или благо, а с другой стороны как «стоимость», — «привязывать» всякого рода банальные рассуждения о потребительных стоимостях или благах, не относящихся к области мира товаров, каковы «государственные блага», «общинные блага» и т. д., как это делают Вагнер и вообще немецкие профессора, или насчет блага «здоровья» и т. д. Там, где само государство является капиталистическим производителем, как при эксплуатации рудников, лесов и т. д., его продукт есть «товар» и обладает поэтому специфическим характером всякого другого товара.

С другой стороны, *vir obscurus* проглядел, что уже в анализе товара я не остановился на двойственной форме, в которой он представляется, но сейчас же перехожу к тому, что в этом двойственном значении товара выражается двойственный *характер труда*, продуктом которого он является: — полезного труда, т. е. конкретных видов труда, создающего потребительные стоимости, и абстрактного *труда, труда как затраты рабочей силы*, независимо от того, в какой «полезной» форме она затрачивается (на этом в дальнейшем основано изображение процесса производства); что в развитии *формы товарной стоимости*, в последнем счете ее денежной формы, т. е. *денег, стоимость* одного товара представляется в *потребительной стоимости*, т. е. в натуральной форме другого товара; что сама прибавочная стоимость выводится из специфической *потребительной стоимости рабочей силы*, присущей исключительно последней и т. д.; что, следовательно, у меня потребительная стоимость играет совершенно другую важную роль, чем в прежней политической экономии, но — и это надо заметить — она входит в исследование (*Betracht*) лишь тогда, когда такое исследование вытекает из анализа данных экономических форм (*Gestaltungen*), а не из умствований по поводу понятий и слов «потребительная стоимость» и «стоимость».

Поэтому при анализе товара, даже когда речь идет о его «потребительной стоимости», мы не даем тут же определения «капитала», которое было бы

<sup>1</sup> [Цитата из «Капитала», т. I, русск. изд. 1928 г., стр. 6.]



чистою нелепостью, пока мы еще остаемся при анализе элементов товара.<sup>3</sup>

Но чем господин Вагнер недоволен в моем изложении, так это тем, что я не доставляю ему удовольствия и не следую отечественно-немецкому профессорскому «стремлению» к смешению потребительной стоимости со стоимостью. Хотя германское общество — правда, с большим запозданием — все более и более переходит от феодального, натурального хозяйства или, по меньшей мере, от преобладания такового к хозяйству капиталистическому, но профессора все еще одною ногою стоят в старом навозе, что вполне естественно. Из крепостных землевладельца они превратились в крепостных государства, *vi*lgo правительства. Поэтому и наш *vir obscurus*, который даже не заметил, что мой *аналитический* метод, исходящий не из человека *вообще*, а из данного экономического периода общества, не имеет ничего общего с немецко-профессорским методом связывания понятий («словами диспуты ведутся, из слов системы создаются»),<sup>2</sup> пишет: «В согласии с взглядами *Родбертуса* и *Шеффле* я устанавливаю, что *всякая стоимость* имеет характер *потребительной стоимости*, и особенно подчеркиваю оценку потребительной стоимости, *так как* оценка меновой стоимости ко многим из важнейших хозяйственных благ просто даже неприменима | Это и заставляет его высказаться; следовательно, в качестве служителя государства он чувствует себя обязанным смешивать потребительную стоимость со стоимостью! |, например *к государству и его функциям*, также к другим отношениям публичного хозяйства» (стр. 49, прим.). | Это напоминает старых химиков до появления химии как науки: на том основании, что топленое масло, называемое в обыденной жизни (по северному обычаю) просто маслом, отличается мягкостью, они называли масляными кислотами хлористые соединения, безводный хлористый цинк (*Zinkbutter*), сурьмяное соединение (*Antimonbutter*); следовательно, пользуясь выражением *vir obscurus*, они твердо верили в маслянистый характер всех хлористых, цинковых и сурьмяных соединений. | Эта болтовня сводится к следующему: Так как известные блага, а именно *государство* | благо! | и его «*функции*» | в частности функции его профессоров политической экономии |, не суть «товары», то содержащиеся в самих «товарах» противоположные особенности | которые к тому же *ясно* проявляются в *товарной форме* продукта труда | должны быть смешаны друг с другом! Вообще Вагнер и К<sup>0</sup> вряд ли могли бы доказать, что для них более выгодно, чтобы их «*функции*» оценивались по их «потребительной стоимости», по их объективному «содержанию», чем если бы они «оценивались» по их «содержанию» (соответственно «социальной таксе», как выражается Вагнер), т. е. по их оплате.

<sup>1</sup> [Маркс имеет здесь в виду буржуазных экономистов, которые выводят «капитал» из потребительных свойств некоторых «благ», а именно тех, которые служат средством для дальнейшего производства. По примеру других буржуазных экономистов, Вагнер также переходит непосредственно от анализа потребительных свойств товара к понятию «капитала». (см. *Wagner*, S. 37—38.)]

<sup>2</sup> [Цитата из «Фауста» Гете.]

Единственное, что явно лежит в основе всей этой немецкой чепухи, заключается в том, что слова: «стоимость» (Wert) или значение (Würde) применялись первоначально к самим полезным вещам, которые существовали в качестве продуктов труда задолго до того, как они сделались *товарами*. Но с научным определением товарной «стоимости» это имеет так же мало общего, как то обстоятельство, что слово *соль* применялось у древних народов первоначально для поваренной соли, а впоследствии, со времен Плиния, *сахар* и т. п. тела фигурировали как *разновидности соли* | фактически<sup>1</sup> все бесцветные твердые тела, растворимые в воде и обладающие специфическим вкусом |, не означает, что химическая категория «соль» включает в себя сахар и т. п. |

Так как товар покупается покупателем не потому, что он имеет стоимость, а потому, что он есть «потребительная стоимость» и употребляется для определенных целей, то само собою разумеется: 1) что потребительные стоимости «оцениваются», т. е. исследуется их *качество* (как *количество* их измеряется, взвешивается и т. п.); 2) что при наличии различных сортов товара, могущих заменить друг друга для тех же целей потребления, тому или иному сорту отдается предпочтение и т. п. |

В готском языке имеется только одно слово для *стоимости* (Wert) и *значения* (Würde)—слово *vairths*, *τιμή, τιμάω*, *schätzen*, т. е. оценивать, определять *цену* или *стоимость*, *таксировать*; в *метафорическом* смысле: уважать, ценить, почитать, выделять.—*Τιμή* оценка; отсюда: определение стоимости или цены, оценка, расценка. Далее: *оценка стоимости*, а также *сама стоимость* или *цена* (у Геродота, Платона), у *Демосфена* *αἰ τιμαί* в смысле *издержек*. Далее: *высокая оценка*, *честь*, уважение, почетное место, почетная должность. См. *Греческо-немецкий словарь Роста*. |

Стоимость, цена (по Словарю Шульце) в готском языке: *vairths*, прилагательное, *ἀξιός, ἰκανός*. В древнем северно-немецком языке: *verdhr*, достойный; *verdhr* стоимость, цена; в *англо-саксонском* языке: *veordh, vurdh*; в *английском* языке: *worth* — прилагательное; как существительное оно обозначает *стоимость и значение*. |<sup>2</sup>

В *средне-немецком* языке: *wert*, родительный — *werdes*, прилагательное (*dignus*), а также *pfennigwert*; *wert*, родительный — *werdes*, стоимость, значение, великолепие, *aestimatio*, *товар определенной стоимости*, например *pfenwert, pennyworth*; *werde*: *mertum, aestimatio, dignitas*, ценное качество (*Zieman, Mittelhochdeutsches Wörterbuch*). |

Таким образом, *стоимость* (Wert) и *значение* (Würde) и по этимологическому происхождению, и по смыслу тесно друг с другом связаны. Это обстоятельство затемняется благодаря тому, что в новом немецком языке стало обычным *неорганическое* (ложное) образование *флексий* от слова Wert (стоимость): Wert, Wertes вместо Werdes, так как готскому *th* соответствует

<sup>1</sup> [У Маркса английское слово *indeed*.]

<sup>2</sup> [Филологические замечания о термине «стоимость» Маркс приводит также в «Theorien über den Mehrwert», В. III, S. 355.]

верхне-немецкое *d*, а не *th=t*, и то же самое наблюдается в средне-немецком языке (*Wert*, родит. *Werdes*). По правилам средне-верхне-немецкого языка, *d* в конце слова должно было бы превратиться в *t*, т. е. *Wert* вместо *Werd*, но родительный падеж *Werdes*. |

| Все это, однако, имеет так же мало общего с экономической категорией «стоимость», как и с *химической* стоимостью<sup>1</sup> (*Wert*) *химических элементов* (атомистика) или с химическими эквивалентами (весовые соотношения соединений химических элементов). |

| Далее следует заметить, — даже с точки зрения этих словесных отношений, — что если из первоначальной идентичности *значения* (*Würde*) и *стоимости* (*Wert*) вытекало само собой, как из природы вещей, применение этого слова к вещам, продуктам труда в их натуральной форме, то впоследствии это слово в неизменном виде было прямо перенесено на *цены*, т. е. на стоимость в ее развитой форме, т. е. на меновую стоимость, а это так же мало вытекает из самих вещей, как то обстоятельство, что то же слово продолжало употребляться для значения (*Würde*) вообще, для почетной должности и т. д. С словесной точки зрения здесь нет никакого различия между потребительной стоимостью и стоимостью. |

Перейдем теперь к свидетелю, на которого ссылается наш темный муж, к Родбертусу (статью которого можно видеть в «*Tübinger Zeitschrift*»). Наш темный муж цитирует из Родбертуса следующее: На *стр. 48 текста*:<sup>2</sup> «Имеется только *один вид стоимости*, и это — потребительная стоимость. Последняя есть или *индивидуальная* потребительная стоимость, или *социальная* потребительная стоимость. Первая противостоит индивиду и его потребностям без всякого отношения к какой-нибудь социальной организации | это уже нелепость | (ср. «Капитал», стр. 171),<sup>3</sup> | где сказано, что *процесс труда*, как целесообразная деятельность для создания потребительных стоимостей и т. д., «*одинаково общ всем общественным формам*» (человеческой жизни) и «*независим от каждой из них*» |. | Во-первых, индивиду противостоит не слово «потребительная стоимость», а *конкретные потребительные стоимости*, а *какие именно* из них ему «противостоят» (у этих людей все «стоит»; все связано с «состоянием»<sup>4</sup>), — это целиком зависит от ступени общественного процесса производства и, следовательно, соответствует также «какой-нибудь социальной организации». Если же Родбертус хочет сказать лишь ту тривиальную истину, что потребительная стоимость, как предмет потребления, действительно противостоит какому-нибудь индивиду как индивидуальная потребительная стоимость для него, то это или тривиальная тавтология, или ложное положение, так как, если не говорить

<sup>1</sup> [Т. е. валентностью.]

<sup>2</sup> Имеется в виду текст книги Вагнера.]

<sup>3</sup> [См. «Капитал», т. I, русск. изд. 1929 г., стр. 125.]

<sup>4</sup> [Непереводимая игра слов: «состояние» здесь понимается в смысле «сословия» (ständisch).]

Маркс намекает на приверженность Родбертуса, Вагнера и др. к отсталому сословному строю Пруссии.]

о таких вещах, как рис, маис и пшеница или мясо [последнее не противостоит индусу как предмет питания], потребность индивида в титуле профессора или тайного советника или в каком-нибудь ордене возможна только в определенной «социальной организации». Вторая потребительная стоимость есть *потребительная стоимость*, принадлежащая социальному организму, составленному из множества индивидуальных организмов (или индивидов) (стр. 48 текста). Превосходный немецкий язык! Идет ли здесь речь о «потребительной стоимости» «социального организма», или о потребительной стоимости, находящейся во владении «социального организма» [какова, например, земля в первобытных общинах], или же об определенной «социальной» форме потребительной стоимости в каком-нибудь *социальном организме*, как, например, там, где господствует товарное производство, потребительная стоимость, доставляемая производителем, должна быть «потребительной стоимостью для других» и в этом смысле — «общественную потребительную стоимость»? С таким пустым багажом ничего не добьешься.

Перейдем к другому положению вагнеровского Фауста:<sup>1</sup> «Меновая стоимость есть только историческая оболочка социальной потребительной стоимости в определенный исторический период. Если потребительной стоимости противопоставляют, как *логическую противоположность*, *меновую стоимость*, то историческое понятие ставят в логическую противоположность к логическому понятию, что логически недопустимо» (стр. 48, прим. 4). «Это, — заявляет с торжеством Вагнер, — вполне верно!» Но кто же поступает таким образом? Нет сомнения, что Родбертус имеет в виду меня, так как, по словам его *famulus*'а Р. Мейера, он написал «большую толстую рукопись против «Капитала». Кто же ставит в логическую противоположность? Господин Родбертус, для которого и «потребительная стоимость», и «меновая стоимость» обе по природе своей суть лишь «понятия». На деле в любом прейскуранте каждый отдельный вид товара прodelывает этот нелогический процесс, а именно в качестве *блага* или *потребительной стоимости*, как хлопок, пряжа, железо, зерно и т. п., он отличается от других и представляет собою качественно совершенно (*toto coelo*) отличное от других «благо», но одновременно он выражает свою *цену* как нечто качественно однородное и количественно отличное от других. Он представляется в своей натуральной форме для того, кто им пользуется, и в совершенно отличной от нее и «общей» ему с другими товарами *форме стоимости*, т. е. в качестве *менового стоимости*. «Логическая» противоположность имеется здесь только у Родбертуса и родственных ему немецких школьных профессоров, которые исходят из «понятия», а не из «социальной вещи», «товара», и само это понятие потом раздваивают и спорят на тему о том, которое из этих обоих фантастических представлений является истинным Яковом!

<sup>1</sup> [Т. е. Родбертуса, играющего роль учителя (или Фауста) по отношению к Вагнеру. В «Фаусте» Гете Фауст имеет ученика по фамилии Вагнер.]

За этими надутыми фразами скрывается не что иное, как бессмертное открытие, что человек в любом состоянии должен есть, пить и т. д. | нельзя даже продолжать и сказать: одеваться или иметь нож и вилку, кровать и жилище, так как это имеет место *не при любом состоянии* |; словом, что он при любом состоянии должен для удовлетворения своих потребностей находить готовые внешние предметы в природе и овладевать ими или изготовлять из данных природою материалов; в этих своих действительных действиях человек фактически относится всегда к известным внешним вещам как к «потребительным стоимостям», т. е. обращается с ними как с предметами своего потребления; поэтому потребительная стоимость есть, по мнению Родбертуса, «логическое» понятие; следовательно, на том основании, что человек должен также дышать, «дыхание» есть «логическое» понятие, а отнюдь не «физиологическое». Весь плоский характер Родбертуса выступает в этой противоположности «логических» и «исторических» понятий! Он воспринимает «стоимость» (экономическую стоимость, в противоположность потребительной стоимости товара) лишь в форме ее проявления, в виде *меново́й стоимо́сти*, а так как последняя выступает лишь там, где, по меньшей мере, некоторая часть продуктов труда, предметов потребления, функционирует в виде «*товаров*», что имеет место не с самого начала, а лишь в известный период общественного развития, т. е. на известной ступени исторического развития, то *меновая стоимость* есть «*историческое*» понятие. Если бы Родбертус, — ниже я скажу, почему он этого не увидел, — анализировал дальше меновую стоимость товаров, — ибо последняя существует лишь там, где имеются *товары* во множественном числе, различные виды товаров, — он нашел бы за этою формою проявления «стоимость». Если бы он далее исследовал стоимость, то он нашел бы, что здесь вещь, «потребительная стоимость», выступает (gilt) лишь как *овеществление* человеческого труда, как *затрата равной человеческой рабочей силы*, и потому это содержание представляется как *вещный* характер *вещи*, присущий *ей самой* как вещи, хотя эта вещьность и *не* проявляется в ее натуральной форме | что, однако, вызывает необходимость в особой *форме стоимости* |. Он, следовательно, нашел бы, что «стоимость» товара лишь выражает в исторически развитой форме то, что существует также, хотя и *в другой форме*, во всех других исторических общественных формах, а *именно общественный характер труда*, поскольку последний существует как *затрата общественной рабочей силы*. Если, таким образом, «стоимость» товара есть лишь определенная, историческая форма чего-то существующего во всех общественных формах, то это же относится к «общественной потребительной стоимости», поскольку она характеризует «потребительную стоимость» товара. Родбертус взял меру величинности стоимости у Рикардо; но так же мало, как Рикардо, он исследовал или понял самую субстанцию стоимости, например «общественный (gemeinsamer) характер труда в первобытной общине, представляющей собою общественный организм связанных между собою рабочих сил и, следовательно, их *труда* в процессе затраты этих сил.

Дальнейшее о нелепостях Вагнера на эту тему излишне.

*Мера величины стоимости.*

Здесь господин Вагнер меня принимает,<sup>1</sup> но находит, к своему сожалению, что я «элиминировал» «труд по образованию капитала» (стр. 58, прим. 7).

«В обмене, регулируемом общественными органами, определение *таксированной стоимости* или *таксированных цен* должно сообразоваться с этим моментом издержек | так называет он затраченное в производстве количество труда |, как это в принципе имело место в прежних административных и цеховых таксах и как необходимо опять будет иметь место при любой *новой системе такс* | подразумевается социалистическая система такс|. Но в свободном обмене *издержки* не суть *единственная* основа определения меновых стоимостей и цен и не могут служить таковою ни при каком *мыслимом общественном*<sup>2</sup> строе. Ибо, независимо от издержек, должны иметь место<sup>3</sup> *колебания потребительной стоимости и потребностей, влияющие которых на меновую стоимость и на цены* (договорные и таксированные цены) видоизменяет и должно видоизменять влияние издержек» и т. д. (стр. 58, 59). «Эта остроумная | именно эта | поправка к анализу социалистической теории стоимости... составляет заслугу (!) Шеффле» (который пишет в «Sozialer Körper», III, стр. 278): «При любом влиянии общества на потребности и производство качественное и количественное равновесие всех потребностей с производством не может всегда сохраняться. Но если это так, то *социальные показатели издержек не могут одновременно* служить *пропорциональными социальными показателями потребительной стоимости*» (стр. 59, прим.). Что все это сводится только к тривиальному положению о повышении и падении *рыночных цен* выше или ниже стоимости и к предположению, что в «социалистическом государстве Маркса» *имеет* силу его теория стоимости, развитая для *буржуазного* общества,—показывает фраза Вагнера: «Они» | цены | «временно будут отклоняться более или менее от них | от издержек |, они будут повышаться для благ, потребительная стоимость которых поднялась, и падать для благ, потребительная стоимость которых уменьшилась. *Лишь для длительного периода времени* издержки могут оказать свое действие в качестве решающего регулятора» и т. д. (стр. 59).

*Право.* Для характеристики фантастических представлений нашего *vir obscurus* о творческом влиянии *права* на хозяйство достаточно одной фразы, хотя заключающуюся в ней абсурдную точку зрения он пространно излагает во многих местах: «Единичное хозяйство имеет во главе, в качестве органа его технической и экономической деятельности..., какую-нибудь *личность* в качестве правового и хозяйствующего субъекта. Оно не есть чисто хозяйственное явление, но одновременно зависит от характера

<sup>1</sup> [При определении понятия общественно-необходимого труда Вагнер ссылается на Маркса, но прибавляет, что Маркс элиминировал «труд по образованию капитала» (см. *Wagner*, S. 58).]

<sup>2</sup> [У Вагнера, на стр. 59, слово *gesellschaftlichen*. Маркс ошибочно написал слово *sozialen*.]

<sup>3</sup> [У Вагнера, на стр. 59, слово *stattfinden*. Маркс ошибочно написал слово *eintreten*.]

*права*. Ибо последнее решает, кто признается личностью и, следовательно, может стоять во главе хозяйства» и т. д. (стр. 65).

*Пути сообщения и транспорт* (стр. 75—76 и 80, прим.).

На стр. 82 «смена в (натуральных) составных частях массы благ»<sup>1</sup> (какого-нибудь хозяйства), называемая Вагнером «смена благ», выдается им за «социальный обмен веществ» Шеффле. (это, по меньшей мере, один случай последнего: я употребил это название также при «натуральном» процессе производства в смысле обмена веществ между человеком и природою); она *заимствована* у меня; у меня обмен веществ выступает впервые в анализе Т—Д—Т, а в дальнейшем перерывы в перемене формы обозначаются так же, как перерывы в обмене веществ.

То, что Вагнер говорит дальше о «*внутреннем обмене*» или о благах, находящихся в одной отрасли производства (у него в одном «единичном хозяйстве»), частью в применении к их «потребительной стоимости», частью в применении к их «стоимости», — также изложено у меня при анализе первой фазы Т—Д—Т, а именно Т—Д. См. в «Капитале», стр. 85, 86, 87, пример с ткачом холста, где в конце говорится: «Наши товаровладельцы открывают таким образом, что то самое разделение труда, которое делает их самих независимыми частными производителями, делает в то же время независимым от них процесс общественного производства и их собственные отношения в этом процессе, так что независимость лиц друг от друга дополняется системой всесторонней вещной зависимости» («Капитал», стр. 87).<sup>2</sup>

*Договоры для приобретения благ путем обмена*. Здесь наш *vir obscurus* ставит все на голову. У него существует сначала право, а потом обмен (*Verkehr*); в действительности же дело происходит наоборот: сперва существует *обмен* и лишь потом из него развивается *правовой порядок*. При анализе товарного обращения я показал, что при развитом обмене обменивающиеся лица молчаливо признают друг друга равными личностями и собственниками обмениваемых ими благ; они *делают* это уже тогда, когда они предлагают друг другу свои блага и совершают покупку. Это *фактическое* отношение, возникающее лишь благодаря самому обмену и в обмене, получает позднее *правовую форму* в виде договора и т. д.; но эта форма не создает ни своего содержания, обмена, ни *существующих* в ней *отношений лиц друг к другу*, а наоборот. В противоположном смысле говорит Вагнер:

«*Это приобретение | благ при помощи обмена | необходимо предполагает определенный правовой порядок, на основе которого (!) совершается обмен*»<sup>3</sup> и т. д. (стр. 84).

<sup>1</sup> [Эта фраза у Вагнера гласит: «Действие хозяйства необходимо приводит к постоянной смене — аналогичной естественному обмену веществ — в (натуральных) составных частях массы благ, находящихся в распоряжении хозяйства для его деятельности», (см. *Wagner*, S. 82).]

<sup>2</sup> [Русское издание 1929 г., стр. 60.]

<sup>3</sup> [После этих слов Вагнер продолжает: «Прежде всего должно быть признано *право собственности* хозяйства на произведенные им блага и — в связи с этим правом или как его следствие — право хозяйства возмездно уступать блага другим лицам по собственному усмотрению и большею частью на условиях, установленных участниками: см. «*право договора*» (*Wagner*, S. 84).]

*Кредит.* Вместо того, чтобы развить значение денег как *платежного средства*, Вагнер немедленно превращает процесс обращения, — поскольку он совершается в такой форме, что оба эквивалента в Т—Д не противостоят друг другу одновременно, — к *кредитную сделку* (стр. 85 и сл.), причем прибавляет, что она часто связана с платежом процентных денег; это служит также для того, чтобы выставить в качестве базиса «кредита» «оказание доверия» и тем самым «доверие».

О «юридическом понимании имущества» у Пухты и др., согласно которым к последнему принадлежат также *долги* в качестве *отрицательной составной части* (стр. 85, прим. 6).<sup>1</sup>

«Кредит» есть или «потребительный кредит», или «производительный кредит» (стр. 86). Первый преобладает на низших ступенях культуры, последний на «высших».

О *причинах задолженности* |причины пауперизма: колебания урожаев, военная служба, конкуренция рабов| в древнем Риме см. *Иеринг*, Дух римского права, 3-е изд., стр. 234, том II.<sup>2</sup>

По мнению господина Вагнера, на «низшей ступени» «потребительный кредит» господствует среди «низших угнетенных» и «высших расточительных» классов. А на деле: в Англии и Америке «*потребительный кредит*» стал общераспространенным с образованием системы депозитных банков! «В особенности *производительный кредит* обнаруживает себя... в качестве экономического фактора в народном хозяйстве, основанном на *частной собственности на землю и движимые капиталы* и допускающем свободную конкуренцию. Он связан с имущественным владением, а не с имуществом<sup>3</sup> как чисто экономической категорией», и поэтому составляет лишь «исторически-правовую категорию» (!) (стр. 87).

*Зависимость единичного хозяйства и имущества от воздействия внешнего мира, особенно от влияний народнохозяйственной конъюнктуры.*

1) *Изменения в потребительной стоимости*: они улучшаются в некоторых случаях благодаря течению времени как условию известных процессов природы (*вино, сигары, скрипки* и т. д.). «В большинстве случаев *ухудшаются*... разлагаются на свои вещественные составные части, *случайности* всякого рода». Этому соответствуют «*изменения*» меновой стоимости в том же направлении, «*повышение стоимости*» или «*понижение стоимости*» (стр. 96, 97). См. о договорах найма жилищ в Берлине (стр. 97, прим. 2).<sup>4</sup>

2) *Изменения в человеческом знании свойств благ*: благодаря этому «иму-

<sup>1</sup> [У Вагнера—стр. 86, прим. 8.]

<sup>2</sup> [Эта фраза — почти дословная передача примечания № 10 на стр. 87 книги Вагнера.]

<sup>3</sup> [О различии, которое Вагнер проводит между ними, см. выше, стр. 381—382.]

<sup>4</sup> [В примечании 2 на стр. 97 у Вагнера читаем: «В современных крупных городах, например в Берлине, в договорах найма, представляющих характерный пример экономической и юридической *фикции* равенства договаривающихся сторон, обычно имеется пункт: «Наниматель несет убыток, причиненный квартире и особенно окнам градом, бурей и другими непреодолимыми естественными событиями».]



щество возрастает» в *положительном случае*. Применение каменного угля к *плавлению железа* в Англии около 1620 г., когда уменьшение лесов уже угрожало дальнейшему существованию железодельного производства; химические открытия, например *иода* (использование иодосодержащих соляных источников). Фосфориты как удобрение. Антрацит как топливо. Материалы для газового освещения, для *фотографии*, открытие красящих и лечебных веществ. Гуттаперча. Каучук. Растительная слоновая кость (из *Phyteleptas масгосагра*). Креозот. Парафиновые свечи. Употребление *асфальта*, сосновой хвои (сосновая шерсть), газов в доменных печах, каменно-угольной смолы для приготовления анилина. Шерстяное тряпье, опилки и т. д. В *отрицательном случае уменьшения полезности, а тем самым и стоимости* (например, открытие трихины в свинине, ядовитых веществ в красках, растениях и т. д.) (стр. 97, 98). Открытие *ископаемых* в недрах земли, новых полезных свойств этих продуктов и новых способов их употребления умножает *имущество землевладельца* (стр. 98).

3) *Конъюнктура*. Влияние *всех* внешних «условий», «существенно влияющих на *производство благ для обмена*», на «спрос и сбыт» их, а тем самым и на их «*меновую стоимость*», а также на меновую стоимость «*отдельного, уже готового блага*... совершенно или почти *независимо*» от «*хозяйствующего субъекта*» или «*собственника*» (стр. 98). *Конъюнктура становится «решающим фактором»* в «*системе свободной конкуренции*» (стр. 90).<sup>1</sup> Один человек «при помощи принципа частной собственности» выигрывает то, чего он не «заслужил», а другой терпит «ущерб», «экономически незаслуженные убытки».

*О спекуляции* (стр. 101, прим. 10. *Цены на жилища*, стр. 102, прим. 11).

*Угольная и железодельная промышленность* (стр. 102, прим. 12). Многочисленные изменения в *технике* понижают стоимость промышленных продуктов, как и средств производства (стр. 102, прим. 10).<sup>2</sup>

В «народном хозяйстве с прогрессирующим народонаселением и благосостоянием *преобладают... благоприятные шансы*, — хотя и с случайными временными и местными отступлениями и колебаниями, — для *крупного землевладения*, особенно для *городского* (в больших городах)» (стр. 102). «Таким образом конъюнктура доставляет особенно большие выгоды *крупному землевладельцу*» (стр. 103). «Эти прибыли, как и большинство *других связанных с конъюнктурой, суть чистые спекулятивные прибыли*». Им соответствуют «*спекулятивные убытки*» (стр. 103). Также о «хлебной торговле»<sup>3</sup> (стр. 103, прим. 15).

Необходимо «открыто признать... что хозяйственное положение отдельного лица или семьи» в «*существенном есть результат конъюнктуры*», и это «необходимо ослабляет значение *личной хозяйственной ответственности*».

<sup>1</sup> [У Вагнера стр. 98—99.]

<sup>2</sup> [У Вагнера стр. 102—103, прим. 13.]

<sup>3</sup> [Вагнер отмечает спекулятивный характер хлебной торговли.]

ности» (стр. 105<sup>1</sup>). Поэтому «если современная организация народного хозяйства и ее правовой базис (!), частная собственность на землю и капитал и т. д., признаются строем, в основном не подлежащим изменению», то не существует никаких средств «для устранения... причин» | т. е. вытекающих из конъюнктуры бедствий, каковы заминки в сбыте, кризисы, увольнения рабочих, сокращение заработной платы и т. д. |, а следовательно нет средств для устранения «самого этого зла»; «симптомы» же или «следствия зла» господин Вагнер считает возможным устранить, например, путем «налогов» на «конъюнктурные прибыли», путем «рациональной... системы страхования» против «экономически незаслуженных» «убытков», являющихся продуктом конъюнктуры (стр. 105).

К этому результату, — говорит наш темный муж, — приходят, если современный способ производства с его «правовым базисом» считают «не подлежащим изменению»; но исследование его, отличающееся большею глубиной, чем социалистическое учение, проникнет в самую «суть вещей». Nous verrons (мы увидим), каким именно образом?

*Отдельные главные моменты, образующие конъюнктуру.*

1) Колебания урожаев основных средств питания под влиянием погоды и политических условий, например нарушений в обработке земли под влиянием войн. Влияние этого на производителей и потребителей, стр. 106. | О хлебных торговцах см. Tooke, «History of prices»; о Греции — Böck, «Staatshaushalt der Athener», 1, § 15; о Риме — Iehring, «Geist»,<sup>2</sup> S. 238. | Повышение смертности среди низших классов населения при каждом незначительном повышении цен «бесспорно доказывает, что для массы рабочего класса средняя заработная плата мало превышает абсолютно необходимую для жизни «сумму» (стр. 106, прим. 19). Улучшения в средствах сообщения | являющиеся «одновременно», как мы читаем в прим. 20,<sup>3</sup> «важнейшею предпосылкою спекулятивной хлебной торговли, выравнивающей цены» |, изменившиеся методы обработки земли | «плодопеременная система», при которой имеет место разведение различных продуктов, на которые перемены погоды оказывают неодинаковое благоприятное или неблагоприятное действие» |; отсюда «меньшие колебания хлебных цен в пределах коротких промежутков времени» в сравнении «со средними и древними веками». Но и теперь еще колебания очень большие (см. прим. 22, стр. 107, там же).

2) Изменения в технике. Новые методы производства. Бессемерова сталь вместо железа и т. д., стр. 107 (и к этому прим. 23). Введение машин вместо ручного труда.

3) Изменения в средствах сообщения и транспорта, влияющие на пространственное движение людей и вещей; это влияет... на стоимость земли и предметов, отличающихся низкою специфическою стоимостью; целые

<sup>1</sup> [У Вагнера стр. 104—105.]

<sup>2</sup> [Имеется в виду названная выше книга Иеринга «Дух римского права».]

<sup>3</sup> [На той же 106 стр.]

отрасли производства вынуждаются сделать трудный переход к другим методам производства (стр. 107). | К этому прим. 24, там же. *Повышение стоимости земли поблизости от хороших средств сообщения* благодаря лучшему сбыту добываемых здесь продуктов; *скопление населения* в городах, отсюда *колоссальное повышение стоимости земли в городах* и ближайших к ним местах. *Облегчение вывоза хлеба* и другого сельскохозяйственного и лесного сырья и горных продуктов из *местностей с дешевыми ценами* в местности с высокими ценами; отсюда ухудшение хозяйственного положения слоев населения со стабильным доходом в первых<sup>1</sup> местностях и, напротив, улучшение положения производителей и особенно землевладельцев там же. В обратном направлении влияет облегчение *ввоза хлеба* и других материалов, обладающих низкой специфической стоимостью. Оно выгодно потребителям и невыгодно производителям во ввозящей стране. Необходимость перейти к другим производствам, от земледелия к животноводству, например в Англии начиная с 1840-х годов или недавно в Германии, в результате конкуренции дешевого западно-европейского хлеба; для *германских сельских хозяев* это затруднительно, во-первых, ввиду характера *климата*, а затем вследствие *недавнего сильного повышения заработной платы*, которое сельские хозяева не могут с такою же легкостью, как промышленники, переложить на продукты и т. д.]

4) *Изменения во вкусах, моде* и т. д., часто быстро совершающиеся в короткое время.

5) *Политические перемены* в национальной и международной сфере обмена (война, революция и т. д.), поскольку при усиливающемся разделении труда, развитии международного и т. д. обмена все более *важное* значение приобретает *доверие* или *неуверенность*. Воздействие кредитного фактора, колоссальные размеры современных войн и т. д. (стр. 108).

6) *Изменения в аграрной, промышленной и торговой политике* (пример: реформа британских хлебных законов).

7) *Изменения в пространственном размещении и общем экономическом положении целых групп населения*, например переселения из сельских местностей в города (стр. 108, 109).

8) *Перемены в социальном и экономическом положении отдельных слоев населения*, например благодаря обеспечению свободы коалиции и т. д. (стр. 109).

| Французские 5 миллиардов,<sup>2</sup> прим. 29, там же. |

*Издержки в единичном хозяйстве.* Под «трудом», производящим «стоимость», — к которому сводятся все издержки, — следует понимать также «труд» в правильном *широком* смысле слова, охватывающем *всякую* человеческую целесознательную деятельность, необходимую для добывания дохода, следовательно также *духовный труд* руководителя и деятельность,

<sup>1</sup> [У Маркса ошибочно написано: «последних». См. Вагнер, стр. 107, прим. № 24.]

<sup>2</sup> [Имеется в виду влияние на хозяйственную жизнь Германии пятимиллиардной контрибуции, полученной ею от Франции после войны 1871 г.]

закрывающуюся в образовании и применении капитала», — «поэтому» и «прибыль на капитал», оплачивающая эту деятельность, относится к «конститутивным элементам издержек». «Этот взгляд противоречит социалистической теории стоимости и издержек и критике, направленной против капитала» (стр. 111).

Темный муж подсовывает мне утверждение, будто «прибавочная стоимость, производимая только рабочими, неправильно поступает к капиталистическим предпринимателям» (прим. 3, стр. 114). Я же утверждаю противоположное, а именно, что товарное производство на известном пункте необходимо становится «капиталистическим» товарным производством и что, согласно господствующему в нем закону стоимости, «прибавочная стоимость» причитается капиталисту, а не рабочему. Вместо того, чтобы пускаться в подобную софистику, катедер-социалистический характер нашего темного мужа обнаруживается в следующем банальном утверждении: «безусловные противники социалистов» «игнорируют многочисленные случаи эксплуатации, когда чистый доход распределяется неправильно (!) и издержки производства в отдельных предприятиях чрезмерно сокращаются к ущербу для рабочего (подчас и для капиталистов, ссужающих капитал) и к выгоде для работодателей» (там же).

*Народный доход в Англии и во Франции* (стр. 120)

*Годичный валовой доход нации:*

1) Совокупность вновь произведенных в течение года благ. Туземное сырье должно быть включено полностью на всю сумму своей стоимости; изделия, изготовленные из туземного и иностранного сырья, считаются | во избежание двойного счета сырья | на сумму повышения стоимости, достигнутого при помощи промышленного труда; обращающиеся в торговле и транспорте сырые материалы и фабрикаты<sup>1</sup> считаются на сумму вызванного этим повышения стоимости.

2) Ввоз денег и товаров из-за границы в качестве процента на долговые требования данной страны, основанные на кредитных сделках или на инвестировании капиталов за границею подданными данного государства.

3) Фрахтовые прибыли судоходства данной страны от внешней и транзитной торговли, реально оплаченные ввозом иностранных благ.

4) Наличные деньги или товары, переведенные из-за границы в данную страну для пребывающих в ней иностранцев.

5) Ввоз имущества без соответствующего возмещения, например при длительной уплате налогов другою страню данной стране, при регулярной иммиграции и регулярном ввозе имущества иммигрантов.

6) Избыток стоимости ввозимых в международной<sup>2</sup> торговле товаров и денег (по отсюда вычесть указанные в п. 2) над суммою вывоза за границу.

7) Стоимость пользования, доставляемых имуществом, предназначенным для пользования (например жилыми домами и т. д.) (стр. 121, 122).

<sup>1</sup> [У Маркса ошибочно написано: «полуфабрикаты» (см. Вагнер, стр. 121, прим. 3).]

<sup>2</sup> [У Маркса ошибочно «внутренней» (см. Вагнер, стр. 122).]

При *чистом доходе* следует исключить, между прочим, вывоз благ для оплаты *фрахтов иностранному судоходству* (стр. 123). | Дело не так просто: *Цена производства (внутренняя) + фрахт = продажной цене*. Если страна вывозит свои собственные товары на собственных судах, то за граница оплачивает фрахтовые издержки; если существующая здесь рыночная цена и т. д. |

«На-ряду с длительными налогами следует причислить регулярные платежи *иностранным подданным за границую*» (подкупы, например, уплачивавшиеся персами грекам, *вознаграждение иностранным ученым* при Людовике XVI, динарий св. Петра)» (стр. 123, прим. 9). Почему не *субсидии*, регулярно получавшиеся германскими князьями от Франции и Англии?

См. наивные виды *доходов частных лиц*, заключающиеся в «услугах государства и церкви»<sup>1</sup> (стр. 125, прим. 4).

Оценка стоимости с точки зрения отдельного лица и народного хозяйства.

*Разрушение одной части товарного запаса*, с целью дороже продать остаток, Курно (Cournot, «*Récherches sur les principes mathématiques de la théorie des richesses*», 1838) называет «истинным созданием богатств в коммерческом смысле этого слова»<sup>2</sup> (стр. 127, прим. 3).

Об уменьшении потребительских *запасов частных лиц* или, как называет их Вагнер, «*капитала, предназначенного для пользования*», — в современный культурный период, в частности в Берлине, ср. стр. 128, прим. 5, и стр. 129, прим. 8 и 10; в *производственных предприятиях* имеется слишком мало денег или собственного *оборотного капитала*,<sup>3</sup> стр. 130 и там же прим. 11.

*Относительно большее значение внешней торговли* в настоящее время, стр. 131, прим. 13, и стр. 132, прим. 3.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> [В данном месте Вагнер отчасти соглашается с мнением Ропера, что «услуги», получаемые от государства и церкви частным лицом, составляют часть «дохода» последнего.]

<sup>2</sup> [Судя по тому, что Маркс полностью выписал и подчеркнул заглавие книги Курно, можно думать, что эта книга была ему раньше неизвестна.]

<sup>3</sup> [Вагнер имеет в виду тенденцию к уменьшению размера наличных денег и оборотного капитала в предприятии по сравнению с основным капиталом.]

<sup>4</sup> [Точнее: примечание 13, пункт 3-й.]

ОТДЕЛ ТРЕТИЙ

**МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ**

# ДНЕВНИК ВИЛЬЯМА ОУЭНА

Написанная в 1824 — 1825 гг. рукопись изданного в 1906 г. Обществом историков в Индианополе дневника Вильяма Оуэна (1802 — 1840), сына Роберта Оуэна, хранилась до сих пор у единственной замужней дочери Вильяма Оуэна, Мэри-Фрэнсис Гайатт (Hiatt) в «Нью-Гармони» (в штате Индиана).<sup>1</sup> Этот дневник является лишь отрывком; в нем изложено то, что происходило в течение шести месяцев, от 10 ноября 1824 г. до 20 апреля 1825 г., и тем не менее этот дневник является важным документом для истории утопического коммунизма, так как он знакомит нас с тем периодом, когда Роберт Оуэн жил в Америке, чтобы осмотреть или купить колонию раппистов в Гармони (в штате Индиана). Дневник тем более важен в историческом отношении, что он доказывает, что на английском языке выражение «социалист» употреблялось уже в 1824 г.

Дневник начинается с ноября 1824 г., когда Роберт и Вильям Оуэны выехали из Гобокена (против Нью-Йорка) на корабле по реке Гудзону, чтобы осмотреть колонию шэкеров, находившуюся недалеко от Албани (местопребывание законодательного собрания штата Нью-Йорк). 11 ноября они прибыли в Албани, где Роберт Оуэн посетил англо-американского политического деятеля Де-Витт Клинтона<sup>2</sup> и получил от него рекомендацию к заведующему колонией шэкеров. Эта колония, о которой Оуэн узнал приблизительно в 1817 г. из сочинений Спенса, находилась на расстоянии семи английских миль (11,2 килом.) к северо-западу от Албани. Оба они поехали туда. Они предъявили рекомендацию Клинтона, и Сет-Юнг Уэльс, один из руководителей шэкеров, показал им различные помещения. Колония состояла из 3 — 4 кирпичных зданий и из нескольких прочно построенных деревянных домов. «Сперва мы вошли, — пишет Вильям Оуэн, — в большое здание, в котором помещалась мастерская колонистов. Мы нашли там изготовителей ремней, столяров, башмачников, портных и т. д. Ремни изготовляются для продажи из легкого материала, потому что покупатели предпочитают такой товар. Мы видели некоторые весьма изящные столярные изделия, в особенности некоторые винты, сделанные из белого грецкого орехового дерева. Повидимому, рабочие сами изготовляют свои инструменты. Мы видели лежащие вокруг мастерской стволы белых и желтых елей, кедров, дубов и т. д. Мы нашли там несколько молодых людей, обучавшихся портняжеству и башмачному ремеслу. Башмачники имели болезненный вид. Женщины носили башмаки с высокими каблуками, потому

<sup>1</sup> «Diary of William Owen, from November 10, 1824 to April 20, 1825» (Indiana Historical Society Publications, vol. I. Number I.) Indianapolis, The Bobbs Merrill Company. 1906.

<sup>2</sup> Де-Витт Клинтон (1769 — 1828) — политический деятель и естествоиспытатель, губернатор штата Нью-Йорк в 1817 — 1822 и в 1825 — 1828 гг.

что поддержание теплоты в пятках предохраняет от простуды. Колонисты показали нам также изготовленные ими самими серебряные перья, которые вставлялись в черные ручки; некоторые из них помещались в футлярах, и к другим концам их были прикреплены карандаши; кроме того они показали нам очень изящные курительные трубки с глиняными головками. Затем нас пригласили обедать. Стол был накрыт для четырех человек, и нам сказали, чтобы мы располагались поудобнее, потому что комната предназначена для нас. Мы нашли оловянный таз с теплой водой, чтобы вымыть руки, прежде чем сесть за стол. Нам прислуживали две девушки, которые носили платья из коричневого трико и белые квакерские чепчики; все было очень мило. Блюда были превосходно приготовлены; были поданы жареная телятина, суповое мясо, свинина с картофелем, брюквой, яблочный пирог, а затем еще и сыр, масло, хлеб и яблочное вино. При всем желании мы не могли съесть всего этого. Вечером нам отвели чрезвычайно опрятную и изящно убранную спальню...

На другой день утром Оуэны посетили кожевню, мастерскую для окрашивания кожи, женские мастерские. Они осмотрели молотилку и машину для приготовления яблочного вина. Кроме того в хозяйстве шэкеров было еще 20—30 коров, 150 овец, в том числе мериносов, и свинарня. «Я не знаю, — пишет Вильям Оуэн, — не был ли это счастливейший день в моей жизни. Уже этот небольшой отрезок из круга жизни на общинах начал усиливать мою любовь к нашей идее. Я спросил там одного человека, что он делал, когда ему нужен был сюртук. Он отвечал, что, когда он выражал желание получить сюртук, «ему предлагали несколько сюртуков». Частной собственности не существовало. Все общество, как мужчины, так и женщины, повидимому, были счастливы и довольны. Работали до тех пор, пока им хотелось работать. По их словам, они чувствовали бы себя несчастными, если бы не работали. Сперва они были очень бедны, а теперь все, повидимому, живут комфортабельно. По временам они могут путешествовать для развлечения. Желаящие вступить в общину должны прожить период стажу в отведенном для этого здании, пока не будет принято решение; принимаются лишь те, которые согласны во всех отношениях подчиняться правилам общины. Одним из главных условий принятия в общину является безбрачие». Роберт и Вильям Оуэны беседовали с женщинами-членами общины, которые оказались настолько же веселыми и довольными, как и мужчины (стр. 9—15). В печати появились сообщения о поездках Оуэнов, причем к ним выражалось почтительное отношение во всех городах, где они останавливались. Затем Роберт и Вильям Оуэны вернулись в Нью-Йорк, где первый посетил многих выдающихся ученых, политических деятелей и фабрикантов. Отец и сын особенно интересовались успехами промышленности, которые они всюду могли констатировать, и вынесли убеждение, что американская промышленность скоро догонит английскую.

Затем они отправились в город квакеров, в Филадельфию. Они совершили часть пути на лошадях, часть на пароходе; по дороге Роберт Оуэн познакомился со многими выдающимися лицами, говорил с ними о своих идеях, и в тех случаях, когда ему казалось, что его понимали, он излагал свой план колонии. Оуэн ближе познакомился с сенатором Лойдом и с несколькими немцами, а также с южно-американцем Карлосом де-Алвеаром, который родился в одной из старинных общин, основанных иезуитами в Парагвае. Оуэн долго разговаривал с ним.

После трудного путешествия они прибыли 19 ноября в Филадельфию. Как только они приехали, их посетили граждане, известные всему городу. Оуэны сделали ответные визиты, побывали на молитвенных собраниях ква-



керов, а затем вернулись в гостиницу. Затем Вильям пишет в своем дневнике 21 ноября:

«Мы собрались посетить Лойда, у которого должны были обедать в 1 ч. 30 м. Там мы встретили, кроме семейства Лойд, господина Гесса из Саванны, который провел лето у реки Огайо. Он с большим удовольствием говорил о Цинцинатти и выразил намерение поселиться там. После обеда Лойд пошел с нами в городскую думу (Mansion House), где мы прочли ему наши предложения относительно социалистической колонии. («Mr. Loyd after dinner returned to the Mansion House with us and we read him the proposals for a socialist community».)

Сделав много визитов и поговорив с влиятельнейшими семьями в Филадельфии, они уехали 23 ноября в Балтимору и прибыли туда 24 ноября. Владельцем гостиницы, в которой они остановились, был некто Барнум, который сообщил им, что незадолго до этого ему предлагали купить Гармони за 100 000 долларов. Он полагал, что Нью-Гармони находится в нездоровой местности. Затем Оуэны уехали в Вашингтон. Они посетили Капитолий и зал, в котором происходили заседания Конгресса. Там им показали две картины: на одной из них было изображено то заседание, на котором была составлена декларация независимости; на другой был изображен английский офицер, вручающий свою шпагу американскому генералу Линкольну. Роберт Оуэн посетил знаменитого государственного деятеля Джона-Квинси Адамса<sup>1</sup> — военного министра Calhoun'a<sup>2</sup> и долго беседовал с главным прокурором Виртом,<sup>3</sup> который очень заинтересовался планом Оуэна.

В Вашингтоне они посетили депутацию индейцев, которая должна была вести переговоры с правительством. Оуэн говорил с ними с помощью переводчика и сказал им, что он очень желает, чтобы различные индейские племена объединились и чтобы между индейцами и белыми заключались смешанные браки, так как индейцы превосходят белых искренностью, дружелюбием и честностью, хотя белые обладают многими преимуществами перед индейцами. На вопрос, хотят ли индейцы слиться с белыми, те ответили, что они признают превосходство белых и стараются им подражать. Но Оуэн предостерегал их от усвоения нравов и обычаев белых, которые вредны для цивилизованной жизни. Он сказал индейцам, что он проехал несколько тысяч миль и приехал в Америку для того, чтобы осуществить планы, которые дали бы индейцам возможность превзойти белых. Кроме того Оуэн выразил мысль, что, если поселить юных индейцев среди белых и воспитать их вместе с белыми детьми, то индейцы уподобятся белым, равно как и, наоборот, белые уподобятся индейцам, если их воспитать среди индейцев.

28 ноября 1824 г. отец и сын уехали из Вашингтона в Питтсбург, где их должен был встретить Рапп. Дальнее путешествие в повозке и в почтовой карете оказалось весьма тягостным и заняло 5 дней. 3 декабря 1824 г. они достигли цели. «Питтсбург, — пишет Вильям Оуэн в своем дневнике, —

<sup>1</sup> Джон-Квинси Адамс (1767 — 1848) — профессор университета, государственный деятель, посланник в Гааге, Петербурге, Берлине, Париже, Лондоне, впервые сформулировавший доктрину Монро, был президентом Соединенных Штатов в 1825 — 1829 гг. (преемником Монро); поддерживал движение против рабства.

<sup>2</sup> Джон Calhoun (1782 — 1850) — сенатор, вице-президент Соединенных Штатов в то время, когда Адамс был президентом.

<sup>3</sup> Вильгельм Вирт родился в 1772 г. в Бледенбурге (в Мэриленде); его отец был швейцарец, а мать немка. Он изучал право, стал адвокатом, писателем и политическим деятелем. В 1817 г. был назначен на пост главного прокурора и оставался им до смерти; в 1832 г. был кандидатом на президентских выборах.

расположен между реками Мононагелой и Аллейгэной и представляет собой очень закоптелый, грязный, фабричный город, в котором числится около 9 — 10 тысяч жителей. На другом берегу Мононагелы добывают уголь, песок и известняк; земля хороша, рекой пользуются для перевозки продуктов» (стр. 151).

В Питтсбурге они встретили Раппа<sup>1</sup> и его друзей Росса, Сеттона и Уэя. 4 декабря 1824 г. после обеда они выехали из Питтсбурга и прибыли вечером в возникавшую тогда новую колонию «Экономи». <sup>2</sup> Они переночевали в доме Раппа, где велись переговоры о планах Оуэна основать колонию. Сеттон рассказал Вильяму Оуэну, что Рапп полновластно распоряжается в колонии; он требует безбрачия, и это требование выполняется, потому что, хотя мужчины и женщины спят вместе, они воздерживаются от половых сношений. Но однажды один из колонистов все-таки стал отцом. Все думали, что его исключат из колонии, но Рапп сказал: «могло бы быть и еще хуже» и оставил этого человека в колонии.

6 декабря они поехали на пароходе по реке Огайо в Луисвилль (680 английских миль = 1088 километров) и прибыли туда 15 декабря. Оттуда Фридрих Рапп привел их в «Нью-Гармони». В этой колонии, которая была очень развита как в сельскохозяйственном, так и в промышленном отношении, говорили преимущественно на швабском наречии. Роберт Оуэн осмотрел колонию, обследовал ее во всех отношениях, и 3 января 1825 г. между Оуэном и Раппом был заключен и подписан договор о покупке этой колонии. Оуэн объездил окрестности, пропагандировал свои идеи, в особенности в находящемся недалеко от «Гармони» городке Альбионе, населенном исключительно англичанами. Там Оуэн нашел первых членов колонии «Гармони».

Вильям Оуэн остался в «Нью-Гармони», чтобы составить опись инвентаря и произвести межевание. Заметки в его дневнике становятся все короче и бессодержательнее и оканчиваются несколькими строками, относящимися к 18, 19 и 20 апреля.

*М. Беер.*

<sup>1</sup> Георг Рапп родился в 1757 г. в Ипплингтоне в Вюртемберге, в 1803 г. он переселился со своими последователями в Соединенные Штаты и основал колонию «Гармони» в графстве Бэтлер в Пенсильвании, откуда в 1814 — 1815 гг. из-за неблагоприятных климатических условий переселился в графство Позе в штате Индиане и основал «Нью-Гармони». Его сын Фридрих, архитектор, помогал своему отцу и стал его преемником.

<sup>2</sup> Колония «Экономи» была основана в 1824 г., когда Рапп вел переговоры с Оуэном относительно продажи колонии «Нью-Гармони». С течением времени колония «Экономи» чрезвычайно разбогатела, потому что в ней были найдены нефтяные источники и залежи каменного угля. Но количество членов этой колонии уменьшилось, и она постепенно превратилась в торговую компанию; в 1903 г. была куплена питтсбургским синдикатом.

# ИЗ БИОГРАФИИ ДЖОНА ФРЭНСИСА БРЭЯ

В 1839 г. в Лидсе, центре текстильной промышленности и все усиливавшегося тогда чартистского рабочего движения, появилась довольно почтенных размеров книга под заглавием «Labour's Wrongs and Labour's Remedy» («Угнетение рабочих и средства борьбы с ним»), автором которой был Дж. Ф. Брэй. Эта книга обращала на себя большое внимание в 1840 — 1850 гг. Бронтерр О. Брайен (O'Brien), самый выдающийся и самый влиятельный в качестве публициста вождь чартистов, считал ее самой лучшей книгой о капитале и труде. Чартисты перепечатали отдельные главы из нее в виде брошюр. Карл Маркс называет ее «заслуживающей внимания книгой» и приводит из нее длинные цитаты, «потому что в этой книге мы нашли, как нам кажется, ключ ко всем прошедшим, настоящим и будущим сочинениям Прудона».<sup>1</sup> Книга Брэя представляет, однако, нечто большее, чем думал тогда Маркс: это последний и самый блестящий манифест оуэнизма.

О жизни Брэя до недавнего времени было очень мало известно. Было только известно, что он был наборщиком в Лидсе. Вообще же до 1916 г. ничего не было известно о жизни этого человека. В 1916 г. Джозеф Эдвардс, ливерпульский купец и социалист, поместил в «Socialist Review» (London, Sept. 1916) статью, в которой он приводит некоторые данные, может быть и не вполне точные, о Дж. Ф. Брэе на основании писем, переданных ему семьей Брэя. Эдвардс умер в 1922 г. Согласно последней воле своего мужа, госпожа Эдвардс, голландка по происхождению, читавшая книгу Кваакса о жизни различных социалистов и, очевидно, имевшая влияние на своего мужа, передала фамильные письма Брэя Альфреду Маттисону, социалисту и служащему в городском самоуправлении в Лидсе. Просматривая бумаги Брэя, Маттисон нашел среди них адресованное мне в 1919 г. Эдвардсом, но не отправленное письмо, в котором он обращал мое внимание на свою статью о Брэе в «Socialist Review». Только летом 1928 г. Маттисон сообщил мне, что в наследстве Брэя-Эдвардса он нашел письмо ко мне, которое он пересылает мне вместе с бумагами Брэя. Маттисон в свою очередь также не терял даром времени и обогатил бумаги Брэя выписками из «Leeds' Times'a» за 1836—1837 гг., которые проливают свет на пропагандистскую деятельность Брэя при возникновении чартизма; на основании этих рукописей и выписок можно сказать следующее о жизни Брэя.

Джон Фрэнсис Брэй родился 26 июня 1809 г. в Вашингтоне, местопребывании центрального правительства Соединенных Штатов Америки. Он был самым старшим из семерых детей. Отец его, Джон Брэй, родился в 1782 г. в Годдерсфилде (Англия) и происходил из старинной семьи

<sup>1</sup> «Ницета философии», немецкое издание 1885 г., стр. 49, русский перевод 1928 г. Госиздат, стр. 68.

суконщиков в Йоркшире. Брэй-отец был рационалистом, актером и составителем песен; в 1805 г. он переселился в Америку, обзавелся там семьей и играл на сцене, главным образом в Бостоне и в Вашингтоне. Вследствие болезни он в 1822 г. оставил Америку и вернулся для отдыха на свою старую родину. Жену и детей он оставил в Бостоне. С собой в Англию он взял только старшего сына, Джона Фрэнсиса, и привез его к своим родственникам в Лидс. Брэй-отец вскоре после этого умер, и осиротевший Джон Фрэнсис, которому тогда было 13 лет, был отдан теткой в обучение к переплетчику. Это видно из письма, написанного им в 1822 г. своей матери в Бостон. Из письма автор его рисуется живым, умственно развитым мальчиком. Особенно поразительно его стилистическое чутье, которое предвещает в нем будущего тонкого стилиста, каким он проявился в своей книге.

От 1822 до 1835 г. мы ничего не знаем о Брэе. За эти годы мы ничего не находим в переписке. Точно так же нам ничего не известно о том, когда Джон Фрэнсис перешел от переплетного дела к профессии наборщика, так как в рабочем движении он участвовал в качестве наборщика или печатника. В «Times» (1837 г.) Лидса о нем упоминают как о «printer» («печатнике»).

Большая часть данных из духовной жизни Брэя за 1835 — 1856 гг. находится в письмах, которые его младший брат Чарльз, насквозь пропитанный буржуазными и антисоциалистическими тенденциями купец в Бостоне, писал либо в ответ Джону Фрэнсису, либо кому-нибудь из членов его семьи. Из писем самого Джона Фрэнсиса — кроме писем к его матери в 1822 г. — имеется еще только два письма за 1850 г. и 1856 гг., в которых больше говорится о внешних событиях, чем об его внутренних переживаниях.

Первые сведения о его умственном развитии дает письмо Чарльза Брэя из Бостона от 27 августа 1835 г., в котором вскользь упоминается, что Джон Фрэнсис сообщил ему из Лидса, «что в Англии подготавливаются события, в которых он решил принять участие, что он исповедует принципы, согласно которым он намерен поступать и которые могут принести ему несчастье, но не вред. По своему мировоззрению он атеист».

Затем в письме Чарльза Джону Фрэнсису из Бостона от 5 декабря 1835 г. говорится: «В своем письме ты предсказываешь, что в течение ближайших лет в Англии произойдет огромная перемена».

Это — чрезвычайно важные сообщения. Они показывают, что Джон Фрэнсис, бывший уже социалистом-оуэнистом, решился принять активное участие в рабочем движении. Необыкновенно бурные и интересные в идеологическом отношении 1830 — 1834 годы с их революционными выступлениями, с их удивительными яркими мыслями и глубоко захватывающими дискуссиями среди рабочей массы, организованной политически и экономически, увлекли молодого наборщика и внушили ему интерес к социальным проблемам и хилиастическим надеждам. Вскоре должно было наступить то время, когда он мог выступить в первых рядах рабочих Лидса. Основанный в июне 1836 г. Лондонский рабочий союз тотчас же послал пропагандистов в провинцию для призыва масс к политическим выступлениям. В Лидс прибыли два лучших лондонских рабочих оратора, Клив и Винсент, для устройства публичных собраний. Результатом этого было основание в конце августа 1837 г. рабочего союза в Лидсе. При организации союза Джошуа Гобсон (ставший через год издателем «Northern Star») был председателем, а Джон Фрэнсис Брэй в своей речи поддерживал внесенную Георгом Уайтом резолюцию в пользу демократической парламентской реформы. Между прочим Брэй говорил:

«Я поддерживаю резолюцию, будучи твердо уверен, что только посред-

ством введения законов и установлений, основанных на великом принципе человеческого равенства, рабочий класс будет иметь возможность добиться политической справедливости и освобождения от современной бедности и зависимости».

После этого избран был комитет из семи человек, в том числе Джон Фрэнсис Брэй, который тогда был назначен казначеем рабочего союза.<sup>1</sup> В том же номере помещено *воззвание* к рабочим Йоркшира, начинающееся словами: «Fellow Producers of Wealth» (товарищи-производители богатства) и заканчивается словами: «An Associate of the Leeds Working Men's Association» (член Лидского рабочего союза). Судя по слогу, воззвание составлено Брэем. То, что рабочие названы производителями богатства, характерно для оуэниста.

Через три недели после этого (21 сентября 1837 г.) рабочий союз устроил публичное собрание, на котором Дж. Фрэнсис Брэй выступил в качестве главного оратора и между прочим заявил:

«Мы должны принять во внимание также и другие перемены, кроме политических. Массы чувствуют, что необходимо устранить не только политическое («governmental») зло, но и социальное: изменение социального строя, который держит массы в бедности, так же необходимо, как и изменение правительственного аппарата, который угнетает массы, именно потому, что они бедны. Существующий строй позволяет капиталу эксплуатировать массы и осуждать таким образом большую часть народа на непосильный труд и на лишения в пользу меньшинства. До тех пор, пока мы не овладеем принципами политической экономии, которые в настоящее время являются продажными и которыми пользуется известный класс для сохранения своего господства, и не заставим их служить нам, мы не сможем добиться никакого облегчения нашего положения. Труд — такая же собственность, как дома и земля; он так же неприкосновенен, как и всякая другая собственность».

В ноябре 1837 г. Брэй прочел три публичные лекции на тему «The Working Class, their true Wrong and their true Remedy» («Рабочий класс, его истинное угнетение и его истинные средства борьбы с этим угнетением»). Он разбил свою тему на следующие пункты: *Первая* лекция: «1) Современное положение общества, состоящего из богатых и бедных; 2) неравенство социальных условий или нарушение равенства права и закона; 3) плохое управление есть следствие, а не причина неравенства социальных условий». *Вторая* лекция: «1) Прибыль капиталистов есть потеря производителей (рабочего); 2) противопоставление политического угнетения рабочего класса социальному угнетению последнего; 3) подавляющий перевес социального угнетения; 4) одни политические («governmental») реформы не имеют решительно никакого значения для рабочих». *Третья* лекция: «1) Социальные перемены необходимы и неизбежны; 2) рекомендуемые Робертом Оуэном перемены неосуществимы без переходного периода; 3) обескураживающие и ободряющие учения политической экономии; 4) окончательное торжество демократического принципа и установление политического и социального равенства».

Заголовки лекций являются очевидно схемой его подготовительных работ для вышедшей в 1839 г. книги «Labour's Wrongs and Labour's Remedy».

Как видно из письма Чарльза Брэя из Бостона от 2 октября 1841 г., Джон Фрэнсис Брэй напечатал книгу на собственный счет, что составило

<sup>1</sup> «Leeds' Times» от 2 сентября 1837 г.

70 фунтов стерлингов. Выручка, однако, не покрыла издержек по напечатанию книги.

В другом письме Чарльза Брэя из Бостона от 1 февраля 1842 г., адресованном Джону Фрэнсису Брэю, мы читаем: «Я надеюсь, что ты не выступишь твоего последнего произведения, пока я не просмотрю рукописи».

Джон Фрэнсис, таким образом, в 1842 г. подготовил уже к печати еще одну книгу. Но из нее ничего не было напечатано. Наконец, в письме Чарльза Брэя из Бостона от 10 апреля 1855 г., адресованном одному родственнику, мы находим следующее место: «Джон Фрэнсис в прошлом году (1854) пробыл у нас три месяца и все время был занят составлением новой книги, которой он еще не выпустил и, надо надеяться, не выпустит, так как в ней содержатся странные («queer») «идеи».

Из этого также ничего не было напечатано, и из имеющихся фамильных писем ничего нельзя узнать об этих рукописях.

Можно сообщить еще следующее из биографии Брэя. В 1841 г. он чрезмерным трудом сильно расстроил свое здоровье и для отдыха предпринял поездку к морю и в Лондон. Летом 1842 г. он оставил Англию и вернулся в Соединенные Штаты. О его жизни и деятельности до 1856 г. имеются его собственные прямые указания в двух его письмах, которые он в 1850 и 1856 гг. писал своему дяде Джозефу в Лидс. Из них видно, что по приезду в Америку он сперва не был ни печатником, ни писателем, а сделался фермером в Лепире близ Детройта в штате Мичиган. Сельскохозяйственная работа восстановила его здоровье, он опять стал бодрым, жизнерадостным, в 1844 г. женился, имел детей и оставался в Лепире до 1848 г. Затем он переехал в Понтье, отстоящий приблизительно на 50 километров от Лепира, где издавал газету до 1851 г. Свои взгляды в 1850 г. он высказывает в письме к дяде Джозефу:

«Я, с своей стороны, ничего не ожидал от богачей и спекулянтов, кроме мошенничеств, так как они приобрели свое богатство посредством узаконенного ограбления народа. В Англии нет и половины того числа мошенников, какое имеется здесь в Америке. Мы и в этом, как во всем остальном, побили рекорд. Я никогда не заработал и доллара иначе, как тяжелым трудом, поэтому мне нечего терять, как и большинству членов моего класса. Если бы я мог себе позволить делать то же самое, я точно так же достиг бы богатства. Но я предпочитаю всю жизнь оставаться бедняком, чем разбогатеть посредством лжи и плутней».

С 1851 до 1854 г. Брэй опять жил в качестве фермера близ Понтье, а затем переехал в Детройт. Оттуда он 1 февраля 1856 г. сообщает некоторые сведения из своей жизни своему дяде Джозефу в Лидс. Именно из этого письма я заимствовал вышеприведенные сведения за 1842 — 1856 гг.

Дальнейшая судьба Брэя с 1857 г. до конца его жизни в 1895 г. еще почти совершенно неизвестна. Из пропавших газетных вырезок, которыми, однако, прежде пользовались как Джозеф Эдвардс, так и Альфред Маттисон, мне сообщили, что Брэй в 70-х годах прошлого столетия при выборах в штате Мичиган был выставлен первым социалистическим кандидатом и что его называли «oldest Socialist in America» (старейшим социалистом в Америке). По сообщениям его родственников в Лидсе, Джон Фрэнсис Брэй умер в 1895 г. недалеко от Бостона на ферме у своих внуков. Он прожил 86 лет.

*М. Беер.*

# ВОССТАНИЕ ЧОМПИ И ГУМАНИСТЫ

## I

Что гуманисты не любили народ, подмечено давно. Уже первые историки Возрождения не могли пройти мимо очень красноречивых заявлений в этом смысле, которыми пересыпаны сочинения вождей и идеологов нового движения интеллигенции, начиная с Петрарки и Боккаччо.<sup>1</sup> Но, отмечая эти настроения, объясняли их чрезвычайно неудовлетворительно. Их считали следствием аристократизма гуманистов. А самый аристократизм изображали как явление чисто культурное, совершенно лишенное социального элемента. Гуманисты занимаются своей наукою, постигли тонкости латинского, а потом и греческого языка, знают хорошо классиков, подчиняются их влиянию. Это создает между ними ощущение некоего братства, сознание принадлежности к какой-то изолированной республике знаний, в которую народ невхож. Таково объяснение.

Ценз для членов «республики» требовался довольно большой. Это видно из одного любопытного эпизода, сохранившегося в письме Бруни к Поджо. При курии папы Евгения IV служил секретарем Бартоломео Арагацци, гуманист, каких тогда было не мало, и поэт. В его стихах, правда, не очень много было таланта: смысл их был тмен, форма лишена вкуса.<sup>2</sup> Славы большой он при жизни не снискал, зато капитал нажил такой, что после смерти мог заказать себе мраморный памятник, и не простым ремесленникам, а лучшим артистам своего времени Микелоцци и Донателло. Когда части уже готового монумента везли на волах в родной город Арагацци, Монтепульчиано, их по дороге встретил Бруни. Погонщик на его вопрос, что он везет, усталый, потный и злой, разразился проклятиями по адресу «поэтов». Свой негодующий ответ погонщику Бруни так передает в письме:<sup>3</sup> «Неужели ты думаешь, что это был поэт? Ведь он не обладал ни знаниями, ни образованием (*qui neque scientiam neque doctrinam cognovit*), а глупостью и тщеславием превосходил решительно всех людей». А ведь Арагацци был приятелем Поджо и Лоски, которые не гнушались его обществом в Риме, хотя тоже любили охранять входы. В письме Бруни

<sup>1</sup> Петрарка говорит («De remediis utriusque fortunae». I. 94): «Если тебя любит народ, это значит, что тебя любят дурные люди... Было бы лучше, если бы народ тебя не знал, чем чтобы он тебя хвалил. Ибо обычай его — любить и хвалить тех, кто этого не заслуживает. Хвала глупых у ученых людей почитается бесчестьем, а уважение их унижительным». Почти буквально повторяется та же мысль в письме к Боккаччо («Famili.», XXI, 15), с той только разницей, что раскрывается социальное содержание понятия «народ». Петрарка определенно говорит о красильщиках, валяльщиках, трактирщиках. Боккаччо («De casibus virorum illustrium», IV, 2) говорит почти то же. Он выражает презрение к «неверной и неблагодарной черни».

<sup>2</sup> См. *Vogt*. Wiederbelebung d. klass. Altertums, II, 26—27.

<sup>3</sup> «Epistolario». VI, 5, изд. Mehus.

поэтому чувствуется скрытый упрек Поджо за снисходительность. Бруни не мог не знать об их отношениях.<sup>1</sup>

Не всякий интеллигент, таким образом, может под тем или другим титулом («поэт», «ученый», «образованный») получить доступ в «республику». Нужны литературные заслуги, которые не вызвали бы сомнений. Подкладка такой тенденции ясна: пропасть между интеллигенцией и народом всячески углубляется, а между интеллигенцией и буржуазией всячески сглаживается. Почему это делается, тоже очень понятно. Потому что по своему социальному положению гуманисты тесно связаны с буржуазией.

Стоит только обратиться к выяснению социального положения интеллигенции с середины XVI века до наступления феодальной реакции, т. е. до второй трети XVI века, и мы легко увидим, что дело совсем не в «республике знаний», а в социальной группировке.

Каковы были источники добывания средств у интеллигенции за это время? Их было три: преподавание, канцелярско-дипломатическая служба и то, что может быть названо литературным гонораром. Только гуманисты-монахи могли спокойно работать, не думая о заработках: Лунджи Марсили, августинец, Амброджо Травесари, камальдулец. Этим хлеб насущный был уготован в монастыре. Другим зато порою было по-настоящему трудно. Если Боккаччо, пользовавшийся такой славой, только-только не нуждался, то первоначально большинство гуманистов, особенно смолоду, должно было постоянно метаться в поисках заработков. Исключения были, но их было мало. В XV веке, когда усилился спрос на интеллигентский труд, положение стало улучшаться, но очень медленно.

Какие возможности открывало, например, преподавание? Вначале было слишком мало университетов, потом стало слишком много профессоров. Вне университетов лекции иногда устраивались, но редко, и преподаватели, рассчитывающие на случайные лекции, должны были вести бродячий образ жизни. И вообще, если бы гуманисты надеялись только на преподавание, добрая половина должна была бы умереть с голоду. Служба давала больше, и использование интеллигентских сил государством непрерывно усиливалось до конца указанного периода. Гуманисты служили секретарями, как в папской курии, канцлерами, как во Флоренции, несли те же должности без специального наименования при дворах тиранов и получали всевозможные миссии политического и иного характера в качестве послов, или «ораторов», как стали называть их позднее. Что касается литературного гонорара, он получался только одним способом. Рукопись переписывалась, снабжалась посвящением какому-нибудь государю, папе, прелату и вообще лицу, от которого можно было надеяться получить денежную благодарность; потом она отправлялась по адресу или, иногда, преподносилась лично. Если ожидаемая мзда не получалась, рукопись переписывалась еще раз и шла с другим посвящением по новому адресу. Книгопечатание не успело за указанный период что-нибудь существенно изменить в этом порядке. Лишь к самому концу его интеллигенция, опираясь на печатное искусство, могла попробовать освободиться от такой организации литературного труда.

Все три источника интеллигентского заработка зависели целиком либо от очень богатых частных лиц, либо от власти, т. е. от придворных сфер в монархиях, от заправил политической жизни в республиках. Другими словами, спрос на интеллигентский труд определяла исключительно буржуазия. Эти вещи объясняют характер «республики» гораздо вернее, чем обычные

<sup>1</sup> Ср. *J. A. Symonds, Sketches and Studies in Italy and Greece, IV, p. 96 — 97.*



культурно-исторические соображения. Если мы бросим взгляд на фактическую группировку гуманистов в крупных центрах Италии, это станет совсем ясно.

В Неаполитанском королевстве гуманисты держатся главным образом, в кругу *seggi*—мелкой городской знати, из которой формировалось чиновничество при Анжуйской и особенно при Арагонской династии. Через *seggi* они становились ближе и ко двору, и к должностям. Многие из гуманистов Неаполя—Бекаделли при Альфонсо, Понтано при Ферранте—достигли блестящего положения, а Тристано Карраччоло, сам принадлежавший к неаполитанским седжп, дал настоящую идеологию своего класса, составленную по всем правилам гуманистической науки. В Риме гуманисты вращались исключительно около курии. Они были секретарями, библиотекарями, историографами и т. д. В Милане, в Мантуе, в Ферраре, в Урбино они устраивались при дворах. Многие из них пользовались прочной обеспеченностью: Лоски в Милане, Гуарино в Ферраре, Витторино в Мантуе, Порчелло в Урбино. В двух больших республиках Италии гуманисты — свои люди среди более богатых кругов: в Венеции — среди патрициата, во Флоренции — среди старших цехов.

В республиках картина яснее, и во Флоренции более ясна, чем в Венеции, ибо во Флоренции нет такой полицейской организации, как в лагунной республике. Там Совет десяти, созданный после восстания Байямонте Тьеноло (1310), чуть не вырвавшего власть у патрициев, зорко следил, чтобы не было в городе беспорядков. Во Флоренции к тому же экономические отношения создали более стройную и более дифференцированную классовую группировку. Гуманистам трудно было избежать соприкосновения с классовой борьбой в ее многообразных перипетиях, и они оставили в своих писаниях достаточно яркие следы своего к ней отношения.

Было бы очень сложно следить за тем, как складывались взгляды различных флорентинских гуманистов на последовательно развертывавшиеся стадии классовых отношений во Флоренции. Мы возьмем лишь один момент в эволюции этих отношений, самый острый, и посмотрим, какие он вызывал отклики у гуманистов. Этот момент — восстание чомпи 1378 г. Трудно подыскать лучший оселок.

## II

Все непосредственные источники, из которых мы черпаем знакомство с восстанием чомпи, освещают его в духе, враждебном рабочим, за исключением одного, так называемого «*Diario dello Squittinatore*». Объясняется это тем, что все летописцы и мемуаристы, современники восстания, принадлежат к числу тех, против кого оно было направлено. Среди них гуманистов не имеется. Но один из гуманистов, в тот момент наиболее видный член «республики знаний», Коллуччо Салутати, был канцлером и по должности стоял в самом центре событий. Другой, Лионардо Бруни, тоже канцлер, несколько позднее, написал «Историю Флоренции», в которой восстанию посвящено довольно много места. Третий, Поджо Браччолини, написал другую «Историю Флоренции», где о восстании лишь упоминается. Их отношение как к самому факту, так и к главному в нем действующему лицу, рабочим, проливает чрезвычайно яркий свет на позицию гуманистов в борьбе классов во Флоренции. На нем стоит остановиться подробнее.

Поджо на одиннадцать лет моложе Бруни и почти на пятьдесят — Салутати. Он родился (1380) после подавления восстания, и для него оно было самой настоящей историей. В современных ему отношениях он не находил никаких следов его влияния. Республика, правда, существовала по имени,

но осторожная тирания Козимо Медичи сглаживала — в своих, конечно, интересах — остроту классово-борьбы. У самого Поджо нет никакого участия к рабочему классу, который, стиснув зубы, несет свой тяжелый труд и никакими громкими выступлениями себя не проявляет. К тому же Поджо, в противоположность Бруни, главным образом интересуют не внутренние дела, а войны. Этим объясняется, что в его «Истории» восстание чомпи едва-едва упоминается.

В конце книги II, которая целиком посвящена изложению длинной и скучной войны Флоренции с папою Григорием XI (1375—1378), есть несколько строк, посвященных внутренним делам. «В это время, — говорится там, — редко случалось, чтобы не было во Флоренции раздоров в народе. Но четыре года, больше чем другие, были временем, когда государство испытало большие потрясения вследствие смерти и изгнания многих граждан. Виновниками этого были то дворяне, то низшие классы (*infima plebe*), то ремесленники, то самое подлое на свете людское отродье (*la più vile generazione d'iuomini della terra*).<sup>1</sup>

«Четыре года», это — 1378—1382, а «самое подлое на свете людское отродье», это — чомпи. Словом, все очень коротко, но чрезвычайно ясно.

Столь же ясно, хотя и более пространно, изложено отношение к чомпи в «Истории Флоренции» Бруни.<sup>2</sup>

Восстание чомпи происходило тогда, когда Бруни 9—10-летним мальчиком жил в Арццо. Кое-что он мог слышать тогда же от старших. Но главное — и факты, и освещение — он получил, конечно, из источников. Он мог знать и запись Маркионе ди Коппо Стефани, и мемуары о восстании, которые приписывали раньше Джинно Капони, а теперь склонны считать произведением Аламанно Аччайоли, бывшего приором в июле 1378 г.,<sup>3</sup> и дневник, известный теперь под названием «*Diario d'Anonimo*», и многое другое. Изложение Бруни — в фактическом отношении очень обстоятельное и совершенно очевидно опирается на хорошую документацию. Уклонения от фактической правды, которых не мало, целиком вытекают из тенденции.

В рассказе о восстании сразу обращает внимание крайне пренебрежительное отношение к толпе: «*infima moltitudine*», «*la moltitudine della città chè ve n'era molti roveri e uomini d'infima condizione*». Бруно всячески избегает социальной квалификации этой *moltitudine* и этих *roveri* и только нехотя говорит один раз о ремесленниках, а другой — о *popolo minuto*. Делается это, конечно, не просто и вовсе не потому, что в латинском языке, на котором написана «История», нет подходящих терминов. «Толпа» — понятие, в которое всегда входит элемент анархичности. «Бедные», «низшие сословия» — это всегда люди, жаждущие перемен, притом бесплановых и часто бессмысленных. Вся эта предвзятая теория становится ясна, когда Бруни, повествуя о центральном моменте восстания, сопровождает его своими политическими комментариями.<sup>4</sup>

«В это время, как бывает в городах многолюдных, где начались волнения и возбуждены новые надежды, каждый день возникали новые движения, потому что некоторые хотели разграбить имущество богатых, некоторые —

<sup>1</sup> «*Istoria di M. Poggio Fiorentino, tradotta di latino in volgare da Jacopo suo figlio*» (Флоренция, 1598), стр. 58. — Латинского оригинала ни Поджо, ни Бруни у меня под рукою не оказалось.

<sup>2</sup> *Lionardo Aretino, Istoria Fiorentina, tradotta da Donato Accianoli*, кн. IX, стр. 471—474.

<sup>3</sup> Гипотеза принадлежит Джинно Скарамелла, последнему издателю мелких хроник и записей о восстании чомпи в новом издании «*Rerum Italicarum Scriptores*» Муратори. Вопрос об источниках «Истории» Бруни вообще не разработан и ждет критического анализа.

<sup>4</sup> «*Istoria*», стр. 472—473.

отомстить врагам, некоторые — возвыситься. Это может служить постоянным примером для власть имущих в городе, чтобы они не допускали возбуждения и не давали оружия в руки толпы. Потому что, когда толпа закусила удила и решила, что она может все, раз на ее стороне численность, — удерживать ее невозможно. И больше всего нужно быть осторожным в начальных стадиях волнений, когда они еще только замышляются людьми из высших слоев общества... Сальвестро Медичи, муж из знатной семьи, почтенной и богатой, вызвал большие беспорядки и нанес ущерб республике, ибо вопреки его предположениям и его уверенности бедные ремесленники и люди низших классов (*uomini d'infima condizione*) сделались господами города... Ибо не было ни конца, ни сдержки разнузданной воле бедных и злоумышленников (*roveri e malfattori*), которые, имея в руках оружие, покушались на имущество богатых и пользующихся почетом и только и думали, что о грабежах, убийствах и изгнаниях граждан. И если бы не доблесть и твердость гонфалоньера Микеле, который не давал им воли, город был бы разрушен совершенно... Ибо он всегда противодействовал подлой жадности (*dishonesta cupidità*) *popolo minuto* и толпы..., сдерживая их злонамеренные стремления (*i loro maligni desiderii*)».

Рассказ о восстании чомпи у Бруни незаметно превращается в руководство для борьбы с народными волнениями. Это и вызывает необходимость изображения чомпи как преступников и злоумышленников. Если это преступники, которым случайно попало в руки оружие, то, конечно, нужно с ними бороться и истреблять их. Белый террор находит полное оправдание. В чьих интересах даются такие рецепты, тоже не требует объяснений. Восставшие — рабочие. Борьбу они ведут против хозяев, мастеров-капиталистов из промышленных старших цехов (три текстильных цеха: *Calimala, Lana, Seta*). Это — те цехи, которые, будучи объединены в политическую организацию (*la parte Guelfa*), правили городом. В первые дни восстания их изгонял, громил их дома, жег их имущество народ. Им больше всего сочувствует Бруни, хотя книга IX его «Истории», где рассказывается о восстании, писалась уже после 1439 г., т. е. в первые годы владычества Козимо Медичи,<sup>1</sup> свалившего еще раз и окончательно господство *la parte Guelfa*.

### III

Салутати не писал истории. Но он оставил огромную переписку, которую не так давно собрал и напечатал с исключительным, классическим мастерством и с совершенно исчерпывающим комментарием покойный Франческо Новати.<sup>2</sup> Письма Салутати дают необыкновенно яркий материал как для характеристики социальных воззрений гуманистов вообще, так и для иллюстрации их взглядов на восстание чомпи.

Салутати стал канцлером Флоренции при господстве *la parte Guelfa* в 1375 г.; а потом сохранял должность все время, пока продолжалось восстание: никому не пришло в голову его сместить. Когда восстание было подавлено, Салутати оставался канцлером, пока правили младшие цехи. А когда сокрушилось и их господство, Салутати все-таки не ушел и нес свою должность при реставрации.

Уже из этого одного факта можно было бы сделать вывод о чрезвычайно последовательном, если можно так выразиться, оппортунизме старого ученого. «Письма» дают тому очень показательные подтверждения. Первое

<sup>1</sup> *Frueter*, *Gesch. d. neuen Historiographie*, стр. 16.

<sup>2</sup> «*Epistolario di Colluccio Salutati*», 4 т., 1891—1911.

письмо Салутати, которое говорит о чомпи прямо, относится к 4 августа 1378 г., т. е. к моменту наибольшего торжества новой демократической власти. Диктатура рабочих установилась 22 июля. Они были едины. Микеле ди Ландо, поставленный ими гонфалоньер, представлял еще всю массу рабочих. О расколе, начале которому положило разделение нового двадцать второго цеха на три самостоятельных, еще не было речи. Власть рабочих казалась крепка. Между тем, по всей Тоскане среди буржуазии крупных и мелких городов, как всегда в дни революций, носились тревожные слухи. Говорили, что Флоренция разрушена толпою, что перебиты чуть ли не все богатые, что разграблены чуть ли не все дома. Словом, распространители паники не сидели сложа руки. И понятно. Еще никогда ни Флоренция, ни вообще какой-нибудь итальянский город не переживали переворота, который отдал бы власть в руки рабочих. Один из разстроженных итальянских граждан, тоже ученый, Доменико Бандини из Ареццо, прислал Салутати взволнованное письмо, где, передавая о слухах, просил его сообщить, что происходит во Флоренции. Салутати ответил ему 4 августа. Он успокаивает своего корреспондента и пишет:<sup>1</sup> «А я, который был зрителем столь великих событий, знаю, что хотя и были сожжены дома, но немногие, хотя были грабежи, но умеренные; были убийства, но в малом количестве, почти никаких. Не лежит во прахе Флоренция, не залита кровью, не опустошена хищениями. Стоят в целости дома, стоят высокие дворцы, в сохранности богатства и почти у всех неприкосновенно имущество. Полон народу город, и, созываемые отовсюду, стекаются в него его сыны то по необходимости момента, то вследствие отпущения проступков, то благодаря отмене наказаний. Если что здесь произошло, то к уврачеванию, не к несчастью. И борьба шла не из-за добычи, а из-за политической власти: грабителям не мирволили, а распущенность их подавляли... Что касается меня, то я здоров, здорова и семья. Ни имущественно, ни по службе не только не потерпел я умаления, наоборот — получил приращение. Я в руках добрейших людей, поднятых этим движением, которых, как мне представляется, избрал перст божественного провидения, чтобы разрушающуюся родину поддержать полностью согласия, силами благоразумия и добротой милосердия. Многое можно было бы сказать об этом, но я смолкну, чтобы не казалось, что я хочу льстить власть имущим. Скажу одно: возвысились до кормила столь великого государства те, кто был нужен во имя общего блага».<sup>2</sup>

В этом письме интересно не только фактическое сообщение, пополняющее наши скудные сведения о положении города в эти дни, но и оценка событий. *Benignissimi homines*, те, которые «нужны были у кормила правления во имя общего блага», это — все тот же Микеле ди Ландо, «доблесть

<sup>1</sup> *Novoti*, Epistolario di Col. Salutati, I, 289 п. сл.

<sup>2</sup> «Ego autem, qui tantarum rerum spectator fui, scio incendia domibus apposita, sed paucis, patratas esse rapinas, sed modicas; commissa quidem viricidia, sed paucorum, imo pene nullorum. Non est in cineres versa Florentia, non sanguine perfusa, non depredationibus vacuata. Stant domus, stant alta palatia, stant opes et pene cunctis intacta substantia. Frequens est civitas gentibus, iu quam undique convocati filii tum necessitate temporum, tum errorum remissione, tum restitutione supplicii convenerunt. Si quid in hoc factum est, ad medicinam, non ad excidium fuit, omnisque fuit de statu, non de preda contentio. Non grassa toribus indulta licentia, sed repressa... Valet corpus, valet etiam tota familia. Nulla rerum, nulla status facta diminutio, sed augmentum. In benignissimorum hominum, quos iste motus evexit, manus incidi, quos michi videtur divinae potentiae digitus elegisse, ut ruentem, nescio quomodo, patriam integritate concordiae, prudentiae viribus et clementiae benignitate fulcirent. Multa circa hoc dicenda occurrunt. Sed ne blandiri videar imperantibus, subdicebo. Unum dicam, quod emerserunt et ad tantae sunt reipublicae gubernacula sublimati, quos oportuit pro salute cunctorum».

и твердость» которого будет потом восхвалять Бруни.<sup>1</sup> Прославляя его и его советников, Салутати руководствовался, конечно, карьеристскими соображениями. Письма гуманистов почти всегда расходились в списках. Нельзя было ни молчать в ответ на запрос видного ученого, ни избежать прославления революционеров. Положение обязывало. Салутати был чиновник и служил победоносной революции. Его имя упоминается в одной из современных записей, в «Diario dello Squittinatore» от 27 августа. В этот день, совсем накануне разгрома чомпи, петиция их цеха к Синьории — уже было три рабочих цеха — прошла все инстанции и si suggellò per ser Colluccio, cancelliere dei Signori.<sup>2</sup> Эта петиция была попыткой положить конец заигрыванию Синьории с буржуазными группами и передать управление фактически в руки избранного чомпи совета рабочих делегатов. Салутати по обязанности скрепил ее печатью, что формально завершило вступление ее в законную силу. Но настроение канцлера, разумеется, не было тайною ни для кого из тех, в мнении которых Салутати сам был заинтересован. Сейчас же после победы над чомпи по декрету от 1 сентября 1378 г., который вводил новое политическое и корпоративное устройство, Салутати получил, не в пример приорам, которым — кроме Микеле — жалование выплачено не было, особую денежную награду.<sup>3</sup> Это одно показывает, что его никто не считал сторонником чомпи. Но сочувствовал ли он тем, кто пришел на смену чомпи, т. е. группе младших цехов, к которым были присоединены уцелевшие два цеха квалифицированных рабочих? Салутати, — мы знаем, — продолжал оставаться канцлером, но в переписке его нет никаких панегириков, похожих на письмо к Доменико Бандини, в течение всего времени, пока длилось господство младших цехов, т. е. до января 1382 г. В это время один из фискалов (scorridori) сделал на него донос,<sup>4</sup> обвиняя его в измене правительству. Сущность обвинения не ясна, но если там шла речь о том, что старый канцлер интригует против правительства вместе с заправилами Лапа, то это по всей вероятности соответствовало действительности. Донос был сделан в начале января, а в конце его переворот уже свершился. Власть перешла к parte Guelfa, а Салутати остался канцлером.<sup>5</sup> Едва ли это было бы допущено, если бы новые хозяева Флоренции не были уверены в его преданности. Косвенные указания о его настроениях мы находим в «Paradiso degli Alberti», автор которой приводит много его мнений и очень определенно указывает, к какой литературной и социальной группе он принадлежал.<sup>6</sup> А совсем ясно раскрыл свои политические настроения сам Салутати в письме, написанном уже в спокойные времена владычества Альбици, 21 августа 1383 г. Оно адресовано к Антонио ди сер Келло, нотариусу Синьории.<sup>7</sup> Речь идет о том, следовало или нет имущим людям

<sup>1</sup> Когда писал Бруни, он, конечно, уже знал о расколе в рабочей среде, послужившем причиной разгрома революции. Для него Микеле был вождем умеренных и противник крайних. Роль Микеле вообще всегда вызывала одобрительное отношение со стороны буржуазии и буржуазной интеллигенции, в XIX веке так же, как и в XIV. Когда в 70-х годах прошлого столетия флорентинские рабочие подали петицию в городскую думу о наименовании одной из городских улиц именем Микеле ди Ландо, городской голова Убальдино Перуцци, соглашаясь на просьбу, определенно разъяснил рабочим: «Вы прсите об этом потому, что Микелебыл вождем чомпи, а мы решили так, потому что он разбил чомпи».

<sup>2</sup> «Diario dello Squittinatore», в R. I. S. Муратори, 2 изд., т. XVIII, ч. 3 (Tumulto dei Ciompi, cronache e memorie, a cura di Gino Scaramella), стр. 80.

<sup>3</sup> См. *Perrens*, Histoire de Florence, т. V, стр. 294.

<sup>4</sup> См. *Perrens*, там же, стр. 368.

<sup>5</sup> Он оставался им до конца жизни. Всего пробыл в должности больше тридцати лет (1375 — 1406).

<sup>6</sup> См. *Александр Бессоловский*, Вилла Альберти, стр. 89 и сл.

<sup>7</sup> «Epistolario», II, 84 и сл.

бежать из Флоренции в дни восстания чомпи или нужно было оставаться в городе, чтобы бороться с засильем «черни».

«Вы позорно оставили город в руках грязных людей, настроение и свойства которых, обнаруженные во время их ужасной сорокадневной власти, пока свирепствовала та чума, — слишком хорошо известны. То были не люди, а самые дикие звери, которые, однажды подпалив город, изгнав столько граждан, разграбив дома столько богатых людей, опьяненные успехом, обремененные добычей, дошедшие до неистовства благодаря безнаказанности их преступлений, — захватили верховную власть и кормило правления... Если бы вы видели, как настойчиво и уверенно 21 числа прошлого июля эти люди, подлые и грязные, с развернутыми знаменами в безмолвии наступающей ночи овладели таким огромным городом и, носясь по всей области, подстрекали к грабежу бедных, вы не только сказали бы, что теперь нужно противопоставить им доблесть благонамеренных граждан, находящихся в городе, и военную силу, — но и тогда было и будет всегда, что если разбухнет подобное неистовство, с ним нужно бороться силами всех, принадлежащих к высшим классам, и всеми средствами государства. И никогда, верьте мне, эти люди, бедные, во всем нуждающиеся, вероломные, легко приходящие в возбуждение, жадные до переворота, если они проникнутся надеждою вновь разграбить ваши ценности и ваше великолепное домашнее имущество, памятуя о прежних добычах, — не успокоятся, пока их наглость не будет обуздана суровыми мерами. И не думайте, что государство уже избавлено раз навсегда от этой чумы».<sup>1</sup>

Это письмо, в противоположность предыдущему, как не трудно понять, выражает настоящее настроение Салутати. В нем все изображается не так, как в письме к Бандини, а совсем наоборот. Слово человек обрадовался, что может говорить, ничего не опасаясь, и дать волю накопившейся злобе. «Чума», «дикие звери», «подлые и грязные люди», опьяненные безнаказанностью преступлений», — это те, которые раньше восхвалялись. «Преступления» чомпи, «наглость, которую нужно обуздывать суровыми мерами», — это то, что раньше так решительно отрицалось. Времена переменились, и открылась возможность разговаривать по-душам. В дальнейшем Салутати уже не «ошибался». Линию, принятую им после реставрации господства крупной буржуазии, он выдержал до конца. В его письмах есть такие, например, характерные высказывания, как панегирик Лапо ди Кастильонки, вождю гвельфской партии.<sup>2</sup> Классовая идеология раскрылась вполне.

<sup>1</sup> «Et quoniam, ut ex epidemia mortis periculum evadatis, tu et ceteri, quos idem metus exagitat... in sordidorum hominum manibus, quorum qualis sit mens et quanta discretio horrendo XL dierum imperio, quibus pestis illa deseivit, notum est, turpiter dimisistis. Imo non hominum sed truculentissimarum beluarum qui alias urbe flammata, tot civibus expulsis, tot ditissimorum hominum domibus spoliatis, successu inflati, preda onusti et licentia scelerum efferati summam reipublicae et moderamen regiminis invaserunt... Quid? Si quonda animi magnitudine quantoque vigore XXI mensis Julii proxime elapsi geus illa vilis et sordida, vexillis erectis, primae noctis silentio tantam urbem invaserit et totam peragrando civitatem, pauperes ad predam invitaverit, vidissetis, non iam solum virtute bonorum civium, qui in patria sunt, aut militari potentia dice-retis obsistendum satis esse, sed et tunc fuisse et semper fore, si similis furor ingruerit, omnium optimatum viribus et totius reipublicae corpore dimicandum. Nec unquam, credite michi, gens illa, pauper et inops, infida, mobilis et rerum novarum avida, cum spem inceperit iterum pretiosas vestras res et splendidam suppellectilem posse diripere et veterum spoliatorum fuerit in memoriam revocata, nisi forsitan eorum protervia severius comprimatur, pacifice requiescat, ut iam non credatis hac peste rempublicam liberatam».

<sup>2</sup> «Epist.» II, 217. Интересно, что Лапо умер в 1381 г., а похвальное слово ему Салутати пишет только в 1389 г. Опубликовать панегирик сейчас же после смерти старого лидера la parte было неудобно, ибо у власти тогда была средняя буржуазия.

## IV

После январского переворота 1382 г. реакция чувствовала потребность отблагодарить Салутати, так же как деятели младших цехов — после поражения чомпи. Уже в марте 1382 г. канцлер был принят в число членов Лана.

В том, что Салутати стал членом одного из старших цехов, формально не было ничего необычайного. Это делалось давно. Хартия флорентинской буржуазной конституции, *Ordinamenti di Giustizia* 1293 г., преграждала доступ в число членов цеха людям, не занимающимся профессиональной цеховой работой. Это ограничение было направлено против дворян и проведено младшими цехами, которые шли за Джано делла Белла. Когда младшие цехи потеряли опору, старшие через два года (1295) внесли поправку, разрешавшую принимать в цех людей, не занимающихся профессиональной работой. В силу этой поправки представители интеллигенции, начиная с Данте, стали записываться в цех врачей и аптекарей — один из семи старших, — к которому принадлежали и книгопродавцы. Там сосредоточивались ученые, писатели, художники. Если бы Салутати вошел в цех *Medici e speziali*, это было бы вполне естественно. Но его приняла Лана, цех суконных фабрикантов, которые были главными деятелями реставрации, к которым принадлежали Альбицци. Картина получилась другая. Это была уже совершенно очевидная награда. Она послужила прецедентом. Бруни был принят в *Calimala*, Поджо, принадлежавший первоначально, как нотариус, к *Giudici e notai*, позднее, когда разбогател и стал крупным землевладельцем и рантье, записался с сыновьями тоже в Лана.<sup>1</sup> Все это — цехи крупной буржуазии. Это равняло отличаемых представителей интеллигенции с крупной буржуазией по гражданскому положению. Материальное положение их тоже было подстать.

О том, каковы были заработки выдающихся гуманистов, находящихся на службе, мы имеем возможность судить по данным о материальном положении Салутати, которые добыл тот же неутомимый Новати.<sup>2</sup> Официально Коллуччо получал жалование 140 золотых флоринов в год, фактически — раз в пять больше, в среднем едва ли меньше 600 флоринов.<sup>3</sup> Это было настолько порядочно, что, несмотря на огромную семью, Салутати имел возможность постоянно вкладывать свои сбережения в покупку и аренду земли. У него было в Буджано и Стиньано под Флоренцией собственных и арендованных 66 участков, которые приносили изрядный доход, потому что иначе он не стал бы стараться все время прикупать новые земли.

Эти цифры чрезвычайно красноречивы. Как мог старый канцлер любить чомпи, если в их действиях он видел угрозу своему благополучию, с таким трудом сколоченному?

Не все гуманисты были так богаты, как Салутати. Но все совершенно одинаково чувствовали, что обеспеченное положение может прийти только в том случае, если они будут идти с буржуазией, как в республиках, так и в монархиях. А это обязывало к определенной политической и социальной идеологии.

Восстание чомпи, в котором Салутати пришел в соприкосновение с ре-

<sup>1</sup> См. об этом в книге *Walser, Poggius Florentinus*, особенно в многочисленных новых документах, к ней приложенных.

<sup>2</sup> «*Epistolario*» di Col. Salutati, IV, 570 и сл.

<sup>3</sup> Золотой флорин принято считать равным 50 золотым лирам. Новати думает, что осторожнее будет ценить его вдвое меньше. И то заработки Салутати составляли 15000 золотых лир в год.

волюцией, направленной против крупной буржуазии и на короткое время восторжествовавшей, прояснило его классовое сознание. Следом за ним определили свое отношение к чомпи, — к народу не книжному, не отвлеченному, как у Ливия или Полибия, а живому, своими «бесчинствами» угрожавшему создать для них большие осложнения, — и другие гуманисты. Было ясно, что нужно идти с буржуазией и отгораживаться от народа.

Таким образом, «республика знаний» обнаруживает свою истинную природу. Под идейными настроениями гуманистов оказывается крепкий материальный фундамент.

Если бы оказалось возможно проследить по записям других гуманистов цифры их доходов, как удалось это Новати по отношению к Салутати и Вальзеру по отношению к Поджо, мы, вероятно, нашли бы картину приблизительно одинаковую. Так должно быть a priori. Дальнейшие исследования — и не только по отношению к итальянцам — должны будут доставить новые фактические подтверждения для априорных догадок.

Для истории интеллигенции вообще, для правильного построения линии ее роста, анализ отношений итальянских гуманистов к восстанию чомпи в свете данных об их материальном положении и об их классовых настроениях представляет совершенно исключительный интерес. Он показывает, что как только загорается где-нибудь классовая борьба, интеллигенция сейчас же начинает проводить линию того класса, идти с которым ей выгодно. Если бы чомпи победили, Салутати остался бы на позиции своего письма к Бандини. Если бы удержалось правительство младших цехов, Салутати шел бы с ними. Когда совершилась реставрация крупной буржуазии, на службу ей он отдал себя и свое перо. После переворота 1434 г., когда власть перешла к младшим цехам в лице Медичи, гуманисты, которые служили Альбицци, стали служить сначала Козимо (Бруни, Поджо, Марсупини), потом Пьетро и Лоренцо (Фичино, Полициано и др.). В других городах они, как мы видели, служили тоже правящей группе.

Восстание чомпи заставило все это обнаружиться особенно ярко. В этом — еще одна новая черта, которых вероятно будет обнаруживаться не мало, по мере того как будет шириться наше знакомство с этим фактом, столь глубоко потрясшим общественную жизнь Флоренции в последней четверти XIV века.

*А. Дживелегов.*



ОТДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ

**КРИТИКА И РЕЦЕНЗИИ**

# ТЕОРИЯ САКРАЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ВЛАСТИ

(ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР)

Марксистское учение о происхождении государства, резюмированное Энгельсом в «Происхождении семьи, частной собственности и государства», свое внимание сосредоточило преимущественно на процессе образования развитой политической организации. Государство выступает здесь перед нами как «продукт общества на определенной ступени его развития», как «сила, вышедшая из общества, но ставящая себя над ним», наконец — как организация классового господства.

Энгельсов анализ возникновения государства, вместе с основными положениями марксистской социологии, дает достаточные методологические и философские основания для исследования особого процесса возникновения и эволюции *персональной* политической власти как, в свою очередь, продукта того, основанного на общественном разделении труда, нарастания социальной дифференциации, которое мы наблюдаем в доклассовом обществе. Изучение этого, — надо сказать, довольно сложного и скудно освещенного конкретным материалом, — процесса, чрезвычайно важное для углубления в проблему происхождения господствующих классов и государства, к сожалению, до сих пор не привлекло к себе внимания марксистской мысли.

Между тем, проблема происхождения государства вообще и, в частности, вопрос об образовании персональной власти тем временем составляли предмет особого интереса буржуазной науки. В результате весьма длительного мудрствования по вопросу о «природе», источниках и эволюции персональной политической власти сложилась теория, получившая весьма широкое распространение и довольно прочно обосновавшаяся, — теория, утверждающая сакральное происхождение этой власти.

То обстоятельство, что эта теория до сих пор не вызвала специальной критики и иногда проникала даже в марксистские круги, вызывает необходимость ориентироваться в ее сущности и обоснованности. Историко-литературный обзор сюда относящихся высказываний, — кстати, великолепно иллюстрирующий хроническую беспомощность буржуазной мысли в этом вопросе, — займет преимущественно наше внимание и будет, нам думается, наилучшим путем к раскрытию сущности и идеологического значения данной теории.

Идея, заключающаяся в том, что персона политического властителя облечена божественностью, что монарх представляет собой воплощение божества либо является наместником бога или богов на земле, принадлежит к числу древнейших весьма распространенных представлений, связанных с воззрениями на политическую власть. Характерная для всех восточных деспотий, концепция сакральности власти заимствуется древней Грецией, а затем Римом, откуда переходит и в Европу. Здесь, охотно воспринятая «отцами церкви» и пропагандируемая патристикой, эта концепция

разрабатывается учениями средних веков в догмат божественного установления или божественной санкции власти и обращается в воинствующую политическую теорию.<sup>1</sup>

Дожив до значительно более позднего времени в форме учения о «божественном праве» королей, эта богословская теория в XVII века вытесняется в Англии демократическими и свободомыслящими направлениями так называемой «договорной теории» власти и государства.<sup>2</sup> В свою очередь, защитники теократической власти пытаются найти иные, более соответствующие духу времени, аргументы: их новый тезис сводится к утверждению, что по природе своей, естественным образом и с самого начала своего существования, власть в человеческом обществе имеет сакральный характер.

К этой эпохе относится попытка оживить умирающую догму, своеобразно историзировав учение о сакральном происхождении власти, пресловутого в свое время монархиста *Роберта Фильмера* (1604—1653).

«Историческая» конструкция Фильмера сводится к следующему. Он принимает Библию как не подлежащий сомнению исторический источник и в изображенном здесь патриархальном обществе находит подлинную картину первобытного состояния человечества. Первый человек, Адам, обладал не только отеческой, но и, по праву отцовства, царской властью над своими детьми. Подчинение детей отцу есть источник всякой царской власти в силу рукоположения самого бога. Вместе с тем, как единственный в свое время патриарх, Адам обладал неограниченной властью, порученной ему свыше, над всем миром. От Адама, по прямому наследственному преемству, той же властью обладали патриархи до и после потопа. Все цари и короли, бывшие и сущие, являются подлинными прямыми потомками и наследниками прародителей человечества, наследующими в качестве «отцов народов» неограниченную власть над своими подданными, власть, идущую, таким образом, исторически от бога и составляющую их естественное право.<sup>3</sup>

Вслед за Фильмером английский дипломат и политический писатель *Вильям Темпл* (1628—1699) говорит, что власть возникает из убеждения в мудрости, доброте и доблести тех личностей, которые ею обладают. В частности, убеждение в уме дает власть возрасту. Но существует иной источник, дающий обычно основание еще большей власти, чем все остальные, это — убеждение в божественном призвании или предназначении личностей или родов, которые стоят во главе управления.<sup>4</sup>

Влияние конструкции Фильмера на политическую мысль не только своего, но и последующего времени, нельзя преуменьшать. Частичное заимствование ее находим, например, у *Джамбаттисты Вико* (1668—1744). Он также представляет себе начальный строй человеческого общества как строй патриархальный. В эпоху «естественного» состояния человечества патриархи-герои были мудрецами, владеющими наукой предвещаний. В силу этого они были и жрецами, на которых лежала обязанность приносить жертвы, чтобы получать и понимать предвещения богов. Наконец, одновременно

<sup>1</sup> См. *R. W. and A. J. Carlyle*, A history of mediaeval political theory in the West. 4 v-s. L., 1903 — 1922.

<sup>2</sup> См. *J. N. Figgis*, The theory of divine right of kings. C., 1896.

<sup>3</sup> *R. Filmer*, Observations upon Aristotle's Politics [?]. *Idem*, Observations concerning the original of government. L., 1652. *Idem*, Patriarcha. or The natural power of kings. L., 1680 (*J. Locke*, Two treaties of civil government. Preceded by Sir R. Filmer's «Patriarcha». Ed. by H. Morley. L., 1903).

<sup>4</sup> *W. Temple*, An essay upon the original and nature of government. 1673 («Works», vol. I, L., 1770). Здесь и далее в наших ссылках указывается сначала первое издание цитируемого сочинения, в скобках — издание, которым мы пользовались, в следующих скобках — издание русского перевода, поскольку о существовании такового нам известно.

они были и царями, которые должны были передавать законы, получаемые свыше, своим семьям, становясь таким образом законодателями. Первобытные патриархи учили религии, ими восхищались как мудрецами, их почитали как жрецов, их боялись и им повиновались как царям.<sup>1</sup>

Но проходит тридцать лет, вступает в свои права XVIII век, и уже совершенно иную постановку вопроса о возникновении власти и иное его освещение находим у представителя английской школы нравственной философии и демократической политической мысли, *Адама Фергюсона* (1728—1781). Основываясь при обрисовке начальных общественных форм на этнографическом материале, Фергюсон относит появление постоянной персональной власти к эпохе варварства, следующей за примитивным состоянием дикости. Лишь с развитием политической власти она окрашивается и сакральным элементом. Часто, — говорит он, — суеверие дает возможность какому-либо претенденту на обожествление найти в вере в его сверхъестественные способности путь к овладению властью и первой форме деспотизма.<sup>2</sup>

С своей стороны, энциклопедист Буланже (1722—1759) и в самой «Энциклопедии», и в своих посмертно изданных сочинениях объявляет зародышем всяких форм государственного управления примитивную теократию, обращающуюся в деспотию.<sup>3</sup>

Несомненно замечательное для своей эпохи явление представляет собой имевшая в свое время большой успех, затем незаслуженно забытая и почти игнорируемая современными историками социологической мысли книга шотландского юриста *Джона Миллара* (1735—1801), специально посвященная проблеме происхождения и эволюции социального неравенства и политической власти.<sup>4</sup>

Начиная в духе своих предшественников с характеристики власти отца в первобытной семье, Миллар указывает, что эта власть основывается прежде всего на физической силе и уважении к уму и опыту старших. Далее, в примитивном обществе уже на того, кто понимает явления природы, не знакомые другим, смотрят с суеверным страхом и почитательностью; якобы сверхъестественные способности таких людей еще преувеличиваются и считаются неограниченными. Такое лицо считается поддерживающим непосредственные сношения с невидимыми существами, способным предвидеть будущее и при помощи чудесной силы изменять последствия человеческих поступков. На этом основывается влияние и авторитет стариков во всех примитивных обществах. Таково же основание и власти отца в примитивной семье: на него смотрят как на высшее существо. Основания власти главы более широкой — развившейся из семьи — общины Миллар видит в ряде личных качеств, в особенности в достоинствах данного лица как военного вождя. Возникновение скотоводства дает новый могущественный источник власти — богатство, а с развитием земледелия правитель становится и крупным земельным собственником.

Вместе с тем, уже в раннюю эпоху правитель становится в глазах своих подвластных лицом, особо покровительствуемым небом, способным

<sup>1</sup> *G. Vico*, De universi juris uno principio et fine uno. 1720. *Idem*, Principi di scienza nuova. 1730 («Opere», t. V. Napoli, 1859).

<sup>2</sup> *A. Ferguson*, An essay on the history of civil society. L., 1767 (5 ed. L., 1782) (русский перевод — П., 1817).

<sup>3</sup> *Encyclopédie, ou Dictionnaire* etc., t. 11 (1765), Art. «Oeconomie politique». *N. - A. Boulanger*, Recherches sur l'origine du despotisme oriental. 1761 (s. 1. 1775). *Idem*, L'antiquité dévoilée par ses usages etc. Amsterdam, 1766.

<sup>4</sup> Книга Миллара (по 2-му ее изданию, 1773 г.) была подробно конспектирована К. Марксом. См. открытую Д. Б. Рязановым тетрадь — рукопись Маркса от августа 1852 г. (в Архиве Института К. Маркса и Ф. Энгельса).

быть посредником в их делах, истолкователем воли богов, обладающим средствами и умением устранять их гнев и привлекать их благоволение. Восхищение военным вождем часто идет так далеко, что приводит к вере в его небесное происхождение и делает его предметом обожания, оказываемого высшему существу. При таких условиях главарь племени естественно становится высшим жрецом, по меньшей мере, руководителем и верховным блюстителем религиозного культа.<sup>1</sup>

Эта данная Милларом характеристика происхождения и сущности персональной власти в примитивном обществе, в частности и в особенности подчеркнутая им сакрализация военного вождя, как мы увидим, на многие годы и до сей поры определяет воззрения различных авторов в данном вопросе. Меняя окраску, по-своему освещаемый и трактуемый, больше или меньше детализируемый и аргументируемый, — взгляд Миллара в сущности только повторяется и варьируется последующей литературой. Ряд писателей, например, применяет тот же тезис к истории Востока и античного общества. Так, в известном сочинении об античном государстве *Фюстель-де-Куланж* (1830—1889), исходя из впервые выдвинутого им значения культа предков, характеризует античного царя как жреца-священнослужителя, приобретающего на этом основании функции политического главы. «В этом слиянии жречества с политической властью, — говорит французский историк, — нет ничего необычайного. Мы находим его в начальной стадии почти всех обществ либо потому, что в детстве народов только религия может добиться повиновения, либо потому, что наша природа испытывает потребность не подчиняться никакой иной власти, как только власти моральной идеи».<sup>2</sup>

Выступившие в 70—80 годах прошлого столетия основоположники генетической социологии в ее различных направлениях, Мен, Морган и Тейлор, коснулись нашей проблемы лишь мимоходом и, в свою очередь, только повторяли старый тезис. Разбрасывая различные, широко усвоенные затем последующей литературой, мысли о происхождении и основах примитивных социальных форм и политической власти, *Генри Мен* (1822—1888) в своей «Древнейшей истории учреждений», посвященной преимущественно истории ирландского права, лишь попутно ссылается на то, что древний ирландский племенной глава или король был в одно и то же время жрецом, судьей и военным вождем. «Позднейшая история арийского племени, — говорит он, — показывает уже разделение или дифференциацию этой смешанной власти».<sup>3</sup>

В свою очередь *Луи Генри Морган* (1818—1881) только в виде общей схемы указывает, что примитивный военный вождь превращается у более развитых племен в предводителя союзных войск, которому придаются жреческие функции, а затем — в полководца нации, обладающего функциями жреца и судьи.<sup>4</sup>

Наконец, точно так же лишь в одном замечании коснулся нашей темы *Эдуард Тейлор* (1832—1917). Указывая на процесс возвышения на-

<sup>1</sup> *J. Millar*, Observations concerning the distinction of ranks in society. L., 1771. С 3-го изд. 1781 г. под заглавием: «The origin of the distinction of ranks, or An inquiry into the circumstances which give rise to influence and authority in different members of society. 3 ed., corrected and enlarged. L., 1781; 4-е изд. — Edinburgh, 1806, с биографией автора.

<sup>2</sup> *Fustel de Coulanges*, La cité antique. P., 1864 (16 éd. P., 1898) (русский перевод П., 1896).

<sup>3</sup> *H. S. Maine* Lectures on the early history of institutions. L., 1875 (русский перевод — П., 1876).

<sup>4</sup> *L. H. Morgan*, Ancient society. L., 1877 (русский перевод — П., 1900).

следственно вождя или патриарха племени, Тейлор отмечает, что этот носитель власти в более широкой политической организации является первым по сану в качестве представителя предка. Затем, в позднейшем развитии, копь скоро религия становится в государстве силой, она соединяется или смешивается с гражданским и военным управлением.<sup>1</sup>

Повторные попытки систематизировать весь накопленный этнографический материал, касающийся социально-правовых явлений у примитивных народов, были сделаны *Альбертом-Германом Постом* (1839—1895). Пытался Пост и кратко охарактеризовать разнообразные формы соотношения сакрального и политического элементов, почти не меняя, в нескольких последовательных работах, своей формулировки.

На примитивных ступенях развития общества, — говорит Пост, — главарство обычно совпадает с жречеством. Жрец, колдун и «доктор», главарь и судья являются первоначально одним лицом, и лишь постепенно соответствующие функции разделяются по разным лицам и сословиям. От этого начального соединения сакральной и политической функций ведет свое происхождение то религиозное почитание, которое часто воздается царям.

Где происходит разделение светской и духовной власти, оно ведет, по общему правилу, к ожесточенной борьбе за власть между этими двумя властями, причем то одна, то другая на время или на более долгий срок одерживает верх. Нередко поэтому жрец является в сущности единственной правящей силой в данном обществе, и царская власть, которая часто с внешней стороны кажется неограниченной, на самом деле подчинена первой.<sup>2</sup> Таким образом, к известным уже нам положениям Пост добавляет лишь мотив борьбы между светской и духовной властью на пути их раздельного самостоятельного развития.

Попытка детальной разработки проблемы происхождения и эволюции политической власти и государства на основе этнографического и исторического материала принадлежит *Герберту Спенсеру* (1820—1903). Интересующий нас вопрос трактуется Спенсером следующим образом.

В первобытном обществе, принципиально безначальном, существуют, по мнению английского ученого, лишь временные вожди, появление которых вызывается потребностями общей охоты или военных действий и которые выдвигаются в силу своих личных качеств. Одним из факторов, — наряду с военным, — укрепления персональной политической власти и обращения ее из временной в постоянную Спенсер считает влияние и значение колдунов, появление которых он связывает с распространением веры в духов.

«Когда вера в духов умерших, — говорит он, — становится общераспространенной, люди, утверждающие за собой способность управлять ими и внушающие доверие к такой способности, начинают внушать боязнь окружающим, чем и упрочивают за собой известный род власти». «Большей частью вождь и колдун не соединяются в одном лице... и представляют собой два различных вида власти, стоящих совершенно самостоятельно. Но когда в лице вождя власть, приобретенная естественным образом, соединяется с приписываемым ему сверхъестественным могуществом, то, в силу этого, его влияние необходимо начинает увеличиваться».

<sup>1</sup> *E. B. Tylor*, *Anthropology*. L., 1881 (русский перевод, 4-е изд. — П., 1924).

<sup>2</sup> *A. H. Post*, *Die Anfänge des Staats- und Rechtslebens*. Oldenburg, 1878 (русский перевод — М., 1901). *Idem*, *Bausteine für eine allgemeine Rechtswissenschaft auf vergleichend-ethnologischer Basis*. Band II, Oldenburg, 1881. *Idem*, *Grundriss der ethnologischen Jurisprudenz*. 2. Band. Old.—I eipzig, 1894.

Новым фактором упрочения политической власти, имеющим, по мнению Спенсера, наибольшую важность, представляется возникновение культуры предков, возведение умершего патриарха в ранг божества и возникающая отсюда особая преемственность авторитета его наследника. «Во-первых, — говорит он, — считается, что потомок унаследовал от своего великого прародителя большую или меньшую часть его отличительных свойств, признаваемых сверхъестественными и послуживших к упрочению за ним власти; во-вторых, он, принося жертвы своему великому прародителю, считается в силу этого поддерживающим с ним такие сношения, которые обеспечивают за ним божеское содействие».

И далее, усиление власти правителя при посредстве сверхъестественного доходит до крайних пределов тогда, когда правитель в одно и то же время представляется и потомком богов, и самим богом; он становится «табу», власть его делается неограниченной, он соединяет в своем лице все виды власти: военную, законодательную, судебную и духовную. С расширением своих функций и своей территории, правитель принужден прибегать к помощи других лиц в деле управления. С другой стороны, его божественные свойства делают его недоступным для массы: сношения с ним возможны только через посредников, которыми он окружает себя. В результате, при известных условиях, власть божественного правителя ограничивается властью его министров.<sup>1</sup>

Как можно видеть, рассуждения Спенсера представляют собой не что иное, как развитие положений, высказанных Мппларом, с присоединением лишь некоторых черт, заимствованных из нового этнографического материала.

Создавшаяся, таким образом, традиция повторения сказанного поддерживается и далее. Ряд авторов конца XIX века, а равно и принадлежащих даже современности, воспроизводят известные уже нам старые положения и в особенности перефразируют Спенсера.

*Юлиус Липперт* (1839—1909) уже во «Всеобщей истории жречества» останавливается на социально-политическом значении и роли колдунов или их различных превращений у примитивных и исторических народов.<sup>2</sup> В позднейшем, общеизвестном труде «История культуры в ее главных разделах» Липперт дает следующую схему. Уже в примитивной семье достоинство отца освящалось и возвышалось близким отношением его к религиозным моментам. Но несравненно большее значение имел этот элемент в семье, разросшейся до стадии государства. Как в семье отец исполнял обязанности жреца, так и правитель государства, разросшегося из семьи, исполняет жреческие функции. Это обстоятельство доставило ему такой авторитет и такую полноту власти, что они стали опорой абсолютизма. Но глава государства не только жрец, он является носителем, воплощением божества. Он — сам бог. Божественность таких властителей, — продолжает Липперт, — и отрешенность их от жизни может повлечь за собой необходимость обзаведения их особой посвященной «мирской рукой», которая не боится соприкосновения с внешним миром. Но этот светский правитель приобретает полную власть, в результате чего получается дуалистическая форма власти, встречающаяся у ряда народов Азии. Эта система проникает и в Европу.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> *H. Spencer*, The principles of sociology, vol. II. L., 1879 — 1882 («A system of synthetic philosophy. VII. «The principles of sociology», vol. II. L., 1902) (русские переводы: П., 1882 и П., 1898).

<sup>2</sup> *J. Lippert*, Allgemeine Geschichte des Priesterthums. 2 Bände. B., 1883 — 1884.

<sup>3</sup> *J. Lippert*, Kulturgeschichte in ihren Hauptstücken. 3 Bände. L., 1885 — 1886 (два русских перевода и ряд изданий их).

В общих выражениях поддерживает те же тезисы и *Фридрих Ратцель* (1844—1904). Соединение светской и духовной власти можно найти на всех ступенях развития человечества. Власть начальника племени не полна без силы волшебства, которую он проявляет сам или путем тесной связи с жрецами. С другой стороны, почитание предков также придает святость политической власти. Вожди и военные герои становятся божествами. Это сообщает существенную поддержку наследственности власти. Далее, правящая власть значительно укрепляется, вступая в союз с духовенством. Склонность к теократии свойственна всем государственным образованиям, и в лице начальника племени значение жреца весьма часто преобладает над значением светского правителя.<sup>1</sup>

Совершенно несамостоятелен и точно так же повторяет своих предшественников *Генрих Шурц* (1863—1903). Вождь, основывающий свою власть на силе и богатстве, имеет, при известных обстоятельствах, средство поднять свой авторитет, притом такое средство, которое часто действует сильнее, чем оба первые, а в соединении с ними дает в руки вождю непреодолимую власть. А именно, благодаря связи с духами предков, обладая этой монополией, вождь становится одновременно и жрецом. Далее, наследование особой чудодейственной силы сыном от отца дает основание для установления наследственной власти. Но тесная связь,— продолжает Шурц,— между духовной и светской властью составляет, скорее, исключение, нежели правило, и вообще сословие колдунов и жрецов развивается самостоятельно и притом в высшей степени различным образом. «Но каким образом вообще, — спрашивает Шурц, — могло произойти это отделение жреческого сословия, и почему сословие вождей не постаралось сохранить только для себя всю громадную силу религиозного влияния?» Ответ заключается в следующем. Жрец должен обладать, чтобы иметь влияние, известными врожденными способностями. Между тем, мало вероятно, чтобы именно вождь всегда обладал такими свойствами, и поэтому ему, волей неволей, приходится допускать, чтобы другой брал в руки магический жезл; и этот жезл иногда даже становился орудием господства над племенем, в случае столкновения обеих властей, светской и духовной. В дальнейшем, по Шурцу, отношения между жречеством и властью вождей развиваются очень разнообразно. Иногда ранг жреца совпадает с рангом вождя. В иных местах, однако, роды вождей и жрецов мирно уживаются рядом, но в таких случаях предание обыкновенно указывает на их первоначальное общее происхождение.<sup>2</sup>

Наконец, в ряду писателей, повторяющих сказанное, стоит немецкий социолог *Альфред Фиркандт*. В небольшой статье он делает попытку охарактеризовать политические отношения у примитивных народов по различным ступеням их культурного состояния. Считая, что низшая стадия представляет собой анархическое состояние, Фиркандт на второй стадии, полуанархической, находит главарей, возвышающихся благодаря своим личным достоинствам, среди которых — искусство колдовства и сношений с миром духов. На следующей и самой высшей из присущих современным, так называемым примитивным народам стадиям, например у полинезийцев и микронезийцев, мы находим аристократическое правление, где главарь облечен сакральностью; ему воздаются божеские почести, он табуирован и т. д.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> *F. Ratzel*, Völkerkunde. Band I. L., 1885 (русский перевод — П., без даты).

<sup>2</sup> *H. Schurtz*, Urgeschichte der Kultur. L., 1900 (два русских перевода: П., 1907 и П., 1910).

<sup>3</sup> *A. Vierkandt*, Die politische Verhältnisse der Naturvölker. — «Zeitschrift für Sozialwissenschaft», 4 (1901); см. его же: «Führende Individuen bei den Naturvölkern» — Ibid., 11 (1908).



В позднейшей работе Фиркандт почти дословно повторяет Шурца. Политическая власть в примитивном обществе, — говорит он, — часто тесно сближена с властью колдуна и жреца. Влияние последних само по себе, в своей сфере, — громадно. Возникает вопрос, — говорит Фиркандт, — почему главаря упускают это средство влияния и не используют его путем тесного союза с колдунами или путем подчинения их себе. Местами, во всяком случае, подобного рода союз имеет место, и функции главаря иногда совмещаются с функциями колдуна. Но в общем такое отношение встречается редко. Причина этого заключается в том, что призвание жреца требует особых личных качеств и длительной подготовки. Частично, однако, мы видим, что колдуны выходят за круг морального влияния и исполняют политические функции, участвуют в законодательстве, суде и пр.<sup>1</sup>

В тех или иных выражениях формулируемый, по содержанию же совпадающий взгляд на связь сакрального элемента с возникающей в примитивном обществе персональной политической властью и на дальнейшую эволюцию этого соотношения стал, таким образом, общим местом историко-социологической литературы конца XIX века.

В начале текущего столетия этот взгляд был вновь обстоятельно развит известным английским историком религии *Джеймсом Фрезером*.

Во втором издании (1900 г.)<sup>2</sup> его известного, постепенно расширяющегося и ныне многоотомного этнолого-исторического исследования магии и религии под заглавием «Золотая ветвь» Фрезер лишь самым кратким образом коснулся вопроса о совмещении рангов короля и жреца у исторических народов.<sup>3</sup> Позднее тема о сакральном характере и магических функциях политического главы в примитивном обществе и у исторических народов была изложена Фрезером в специальном курсе лекций, напечатанных затем отдельной книгой<sup>4</sup> и вошедших позднее, в виде особой части под названием «Магическое искусство и эволюция царей», в состав нового, третьего, издания «Золотой ветви».<sup>5</sup> Наконец, новое издание «Магического искусства» появилось в 1917 г.<sup>6</sup>

Взгляд Фрезера сводится в сущности только к тому, что, как это явствует из многих примеров, заимствованных из этнографии и истории, маги и колдуны нередко становились политическими главарями, и, наоборот, эти последние часто монополизировали за собой функции верховного колдуна и жреца.

Как это ни кажется странным, если знать предшествующую литературную историю этих взглядов, тезисы Фрезера были приняты некоторыми писателями как некое откровение и возведены в новую универсальную теорию происхождения политической власти. Так, например, Краулей, ссылаясь на Фрезера, говорит: «Этнологические исследования последнего времени революционизировали представление о происхождении царского достоинства».<sup>7</sup> Однако во втором (1911) и третьем (1917) изданиях «Маги-

<sup>1</sup> *A. Vierkandt*, Die Anfänge der Verfassung und Verwaltung und die Verfassung und Verwaltung der primitiven Völker. («Die Kultur der Gegenwart», III; II, 1. L., 1911.)

<sup>2</sup> Первое издание, 1890 г., осталось для нас, к сожалению, недоступным.

<sup>3</sup> *J. G. Frazer*, The Golden Bough. A study in magic and religion. 2 ed., revised and enlarged. 3 v-s. Vol. I. L. 1900 (русский пер. сокращенного французского издания — М. 1928).

<sup>4</sup> *J. G. Frazer*, Lectures on the early history of the kingship. L., 1905.

<sup>5</sup> *J. G. Frazer*, The Golden Bough. 3 ed. Part I. «The magic art and the evolution of kings». 2 v-s. L., 1911.

<sup>6</sup> *J. G. Frazer*, The magic art and the evolution of kings. 2 v-s. 3 ed. L., 1917 («The Golden Bough». Part I). Нам известно о существовании нового издания той же работы под заглавием «The magical origin of kings». L., 1920.

<sup>7</sup> *A. E. Crawley*, статья «King» в *Hasting's* (red.) Encyclopaedia of religion and ethics, vol. VII (1914).

ческого искусства» Фрезер энергично протестует против подобного понимания его положений. «Фактически,— говорит он,— представители магии, повидимому, часто обращались в вожди и королей. Однако магия не единственный путь или, может быть, даже не главный путь, по которому человечество шло к трону». Указывая на сложность факторов, образующих социальные явления, Фрезер пространно предостерегает от тенденции к упрощению и подчеркиванию одного фактора в ущерб другим. «Выдвинув магию в качестве объяснения факта возникновения монархии в некоторых обществах,— продолжает настаивать Фрезер,— я далек от мысли или утверждения, что этот фактор может объяснить данное явление полностью или, другими словами, что цари являются всегда и везде потомками или преемниками колдунов. И если кто-либо станет впредь,— что может случиться,— возвещать подобную теорию либо приписывать ее мне, я хотел бы заранее заявить свое предостережение против этого».

Вновь возвращаясь к этому вопросу в предисловии к изданию 1917 г., Фрезер говорит: «Хотя я и дал повод полагать, что во многих обществах священные короли произошли из колдунов, я далек от предположения, что это было всеобщим явлением».

Наконец, еще далее и еще более характерным образом эволюционирует Фрезер, не упуская случая вернуться к тому же вопросу, в предисловии к французскому переводу своей книги: «Я далек,— говорит он и здесь,— от того, чтобы утверждать или приходить к заключению, как я, впрочем, и очень далек от мысли, что магия одна объясняет или даже что она главным образом объясняет достижение определенными индивидами высшей власти. Их возвышение... было несомненно основано, в бесконечном числе случаев, на более солидных и ценных заслугах (*des mérites plus solides et précieux*), чем тщеславное притязание какого-либо колдуна владеть силами природы»... и т. д.<sup>1</sup>

Несмотря на столь методическое отступление Фрезера от своих позиций, у него все еще имеется не мало последователей. Почти полностью стоит, например, на позиции Фрезера, пытаясь лишь по-своему ее аргументировать, финляндец *Рудольф Хольсти*. Основная цель автора заключается, впрочем, в доказательстве того, что постоянное главарство вырастает не из функций военного вождя.<sup>2</sup>

Обращаясь к новейшим работам, принадлежащим писателям различных направлений и касающимся проблемы происхождения и ранней организации политической власти, мы видим, что вопрос этот затрагивается и освещается преимущественно весьма неотчетливо и нерешительно. В частности, тезис о сакральном характере власти повторяется в сущности по-старому, иногда лишь с некоторыми фразеологическими изменениями. Общее место составляет указание на двойственное происхождение власти—военное и сакральное.

*Вильгельм Вундт* (1832—1920) замечает только, что взаимоотношение воина и колдуна, которое уже в племенном строе переходит в соперничество между главарем и знахарем, обращается в начале политического развития в борьбу между светским властителем и жрецом.<sup>3</sup> Американский этнограф *Роберт Лоуи*, сводя возникновение политической власти всецело к возвышению отдельных персонажей в силу их личных качеств, указывает что способности колдуна, на-ряду с охотничьим искусством, военной доблестью и богатством, оказываются в различных обществах основой для

<sup>1</sup> *J. G. Frazer*. Les origines magiques de la royauté. Trad. par P. H. Loyson. P., 1920.

<sup>2</sup> *R. Holsti*, The relation of war to the origin of the state. Helsinki, 1914.

<sup>3</sup> *W. Wundt*, Völkerpsychologie. Band VIII. Die Gesellschaft. 2. Teil. L., 1917.

индивидуальной дифференциации и приобретения особого социального влияния.<sup>1</sup> Отмечая неразработанность данного вопроса, немецкий этнограф *Макс Шмидт* в нескольких кратких замечаниях указывает, что религия уже у примитивных народов часто служит главным средством укрепления власти главаря. Профессия колдуна первоначально часто совпадает с персоной главаря, составляя в таком случае зародыш теократической формы правления, но затем часто принимает самостоятельные формы развития и ведет к образованию особого сословия.<sup>2</sup>

Одним из наиболее типичных выразителей ходячих и ставших шаблоном взглядов является американский социолог *Эльвуд*. Военный вождь,— говорит он,— постепенно становится лицом, воплощающим в себе постоянную светскую власть, что имеет место в особенности у воинственных народов либо при известном постоянстве военных действий. Более абсолютные формы монархии возникают при содействии и других факторов. Противоборствующую военному вождю силу представляет собою жреческое сословие, и состязаться с ним вождь может только, взяв в свои руки и религиозную власть. Уже в примитивном обществе вожди разными путями овладевают этой властью. Чаще всего они утверждают, что религиозная сила дана им непосредственно божеством, и сами претендуют на свое божественное происхождение. Одним словом,— заключает *Эльвуд*,— военная власть плюс божественная или религиозная власть дали начало политическому абсолютизму.<sup>3</sup>

Наконец, пресловутый патер *Вильгельм Шмидт* начальное, первобытное состояние человечества изображает как состояние идеального безвластия, несмотря на существование индивидуальной семьи, частной собственности и единобожия. Персональная власть появляется на более высокой ступени, в «экзогамно-отцовско-правовом или тотемическом культурном круге». Здесь глава клана является по большей части также и колдуном, что увеличивает его власть и укрепляет единство клана. В более широкой племенной организации один из главарей кланов занимает особое положение в силу своих личных достоинств, в том числе и больших колдовских способностей. Затем, уже в патриархальной культуре, со свойственной ей широко развитой политической организацией, верховная власть, какую мы знаем в исторических государственных образованиях, получает сакральное обоснование. Шмидт различает два типа этой сакральной власти: в одном типе правитель, не будучи сам божественным, является лишь верховным жрецом божества и только с укреплением своей власти становится в родственные отношения к божеству; в другом, более высоком типе, правитель обожествляется, становится богом-солнцем, наделенным бессмертием.<sup>4</sup>

\* \* \*

Сопоставим теперь итоги разработки интересующей нас проблемы с данными обширного, вновь накопленного за последнее время этнографического материала. Однако извлечь характеристики персональной власти

<sup>1</sup> *R. H. Lowie*, Primitive society. N. Y., 1920 (10 ed. N. Y., 1925). В новой работе о происхождении государства «The origin of the state», N. Y., 1927, Лоуи совершенно обходит этот вопрос.

<sup>2</sup> *M. Schmidt*, Grundriss der ethnologischen Volkswirtschaftslehre. 2 Bände. St., 1920 — 1921.

<sup>3</sup> *Ch. A. Ellwood*, Cultural evolution. A study of social origins and development. N. Y., 1927.

<sup>4</sup> *W. Schmidt*, Die menschliche Gesellschaft (*W. Schmidt und W. Koppers*, Gesellschaft und Wirtschaft der Völker (Völker und Kulturen, I). Regensburg, 1924.)

в примитивных обществах из необычайно большой, прямо необозримой сейчас, этнографической литературы представляется слишком сложной задачей.

Новейшая этнографическая литература обнаруживает стремление,— на смену общеэволюционным построениям,— ограничиться интенсивным изучением социологии отдельных конкретных обществ и определенных этнических групп либо в более широком по теме масштабе, либо в пределах отдельных проблем. В результате этого несомненно более плодотворного течения мы имеем ряд сводных исследований, посвященных изучению различных культур, а равно и ряд специальных работ о политической организации примитивных обществ. Последняя тема все больше привлекает к себе внимание, начиная претендовать даже на место специальной отрасли социологической науки.<sup>1</sup>

Нам остается, таким образом, посмотреть, как освещается проблема сакральности власти в существующих работах об австралийцах, североамериканских индейцах и народах Океании (меланезийцах и полинезийцах).

Начнем с австралийцев, служащих постоянным примером простейших социальных форм.

Мы должны здесь вернуться к взглядам Фрезера. Хотя английский этнолог уже сам, как мы видели, весьма ограничил свою теорию, именно австралийский материал послужил ему для утверждения тесной связи между сакральным и политическим элементом. Организацию персональной власти у австралийцев Фрезер представляет себе следующим образом. Старики, управляющие в Австралии делами своей группы, являются,— говорит он,— повидимому, большей частью главами своих тотемов. Эти главы облечены важной обязанностью исполнять магические церемонии умножения тотемов, а громадное большинство тотемов — съедобные животные и растения. Следовательно, эти люди обычно заняты снабжением людей пищей при помощи магических средств. Другие обязаны вызывать дождь или выполнять иные функции на пользу всей общины. Короче говоря, — заключает Фрезер, — у племен Центральной Австралии главари являются общественными колдунами. Эти соображения и несколько примеров из австралийского материала дают Фрезеру основание, на наш взгляд совершенно недостаточное, прийти к следующему выводу в подкрепление своей теории: «В общем,— говорит он,— весьма знаменательно, что в самом примитивном обществе, о котором мы имеем точные сведения, главным образом колдуны или «доктора» оказываются на пути превращения в главарей».

В приведенных утверждениях и выводах Фрезера содержится и ряд фактических ошибок. Носителями персональной власти у австралийцев действительно оказываются так сказать «выдающиеся» личности из среды стариков, но здесь мы видим и колдунов, и знахарей (Фрезер ошибочно не делает различия между этими двумя персонажами), и выдающихся воинов и пр. В действительности, в Австралии главарем может стать и бывает лицо, вовсе не обладающее качествами колдуна. При этом не одно качество, а скорее соединение их выдвигает в разных случаях то или иное лицо. Ошибочно, далее, отождествление колдуна с тотемным главой, как и весьма спорна характеристика последнего в его функциях и роли. Наконец, хотя политическое главарство и совмещается иногда с возглавлением тотемной

<sup>1</sup> Cp. *A. Goldenweiser*, *Anthropological theories of political origins.* (*C. E. Merriam and H. E. Barnes* (edit.). *A history of political theories. Recent times.* N. Y., 1924.)

группы, но это отнюдь не составляет общего правила, и в иных районах Австралии главарь ничего не имеет общего с главенством в тотеме. Таким образом, факт совпадения или соединения у австралийцев политического главарства с постом главы тотема или профессией колдуна не дает основания преувеличивать значение этого явления, его обобщать и делать из этого какое-либо универсальное для примитивного общества утверждение.

Совершенно правильную (в данном специальном вопросе) позицию занимают другие исследователи социально-политического строя австралийцев. Так, *Уилер* вовсе не подчеркивает сакрального или магического основания власти у туземцев Австралии.<sup>1</sup> Точно так же автор подробного исследования политической организации австралийцев, *Кнабенханс*, тоже не настаивает на сакральном характере власти и лишь показывает, как, иногда, но не обязательно, магические функции совмещаются с политическими.<sup>2</sup>

Наконец, *Гортензия Поудермейер*, в небольшой работе, посвященной новому толкованию политической организации австралийцев, в значительной степени следует за Фрезером. Однако доминирующую политическую роль автор приписывает не главарям, а старикам, и власть их обосновывает присущей им важной функцией руководства играющими громадную роль в быту австралийцев тотемическими церемониями. Старики достигают руководящей роли в исполнении этих церемоний благодаря своему знанию племенных мифов. Достигнув в этом качестве особого авторитета и власти, старики переносят и распространяют свое влияние на другие стороны жизни и деятельности племени.<sup>3</sup>

Иное изображение и толкование австралийской политической организации предложено нами. Одной из задач нашей небольшой работы было показать, что политическое главарство в Австралии вовсе не необходимым образом связано, как органически, так и внешне, с профессией колдуна или рангом главы тотемической группы, что сакральный элемент участвует в образовании власти лишь эпизодически. Господствующая же над персональным главарством форма политической власти у австралийцев, геронтократия, еще менее необходимым образом основывается на сакральных функциях стариков. Наконец, здесь же было показано, что у австралийцев, дающих пример простейшей социальной организации, основания политической власти коренятся не в личных качествах или достоинствах отдельных индивидов, а в производственных отношениях, и самая власть выступает перед нами как организация господства привилегированной группы.<sup>4</sup>

Совершенно иное освещение интересующего нас вопроса дают также исследования политической организации северо-американских индейцев.

Автор специальной работы о положении главаря северо-американского клана, швед *Рудольф Эландер*, приходит к решительному заключению, что колдуны здесь, хотя и пользовались известным влиянием как в частной, так и в общественной жизни, однако никоим образом не были правящей властью.<sup>5</sup>

*Вильям Мак-Леод* в работе, представляющей собой попытку пересмотреть проблему возникновения государства на основе северо-американского

<sup>1</sup> G. C. Wheeler, The tribe and intertribal relations in Australia. L., 1910.

<sup>2</sup> A. Knabenhans, Die politische Organisation bei den australischen Eingeborenen. В. — L., 1919.

<sup>3</sup> H. Powdermaker, Leadership in Central and Southern Australia. — «Economica», 1928, 23.

<sup>4</sup> М. Косвен, Первобытная власть. — «Революция права», 1929, 2.

<sup>5</sup> R. Elander, The chief of the indian clan in North America. Göteborg, 1909.

этнографического материала, указывает, что религиозные функции политического главы были у северо-американских индейцев, за исключением племени *начез*, развиты весьма слабо. Вообще же, Мак-Леод приходит к заключению, что, как это показывают американские этнографические данные, религиозная санкция лишь закрепляет уже ранее сложившиеся социально-политические отношения.<sup>1</sup>

Далее, судя по материалу, представленному другим автором, *Морисом Смитом*, исследовавшим политическую организацию равнинных индейцев, персональная власть у тех племен, где она существовала, совершенно не имела сакрального характера. С другой стороны, Смит не говорит и о том, чтобы в исследованном им районе колдуны или знахари играли политическую роль. Лишь у некоторых северо-американских племен, составляющих одну из ветвей нации *дакота*, политическая власть, — вообще своеобразно организованная, — имела двойственный, светский и религиозный, характер. Точно так же коллективный политический орган индейских племен, совет стариков, имел и некоторые религиозные функции, поскольку религия была вообще тесно связана с общественной и политической жизнью племени.<sup>2</sup>

Наконец, автор новой работы о политическом главарстве у северо-американцев, *Бернар*, лишь отмечает искусство магии среди других личных качеств и средств влияния политического вождя.<sup>3</sup>

Большая сводная работа о меланезийском обществе принадлежит выдающемуся английскому этнографу *Вильяму Риверсу* (1864 — 1922). Разбросанные по разным местам этого сочинения замечания, — преимущественно очень нерешительные, — о характере политической власти сводятся к следующему. По мнению Риверса, в прошлом Меланезии, до вторжения сюда чужой, более высокой культуры, здесь существовала чистая геронтократия; таким образом, персональное главарство возникло вместе с пришельцами; характер главарства, существующего ныне в различных местах Меланезии, обнаруживает большие различия, и в некоторых местах оно связано с сакральным достоинством.<sup>4</sup>

Немецкий этнограф *Рихард Турнвальд*, основываясь частично на собственных наблюдениях в Меланезии, дал ряд повторных попыток характеристики примитивной политической организации. Вместе с тем, Турнвальд пытается обобщить свои положения и выводы, намечая преемственный ряд стадий или ступеней политического развития в догосударственном обществе.<sup>5</sup>

Политические формы у примитивных народов обнаруживают, — говорит Турнвальд в последней своей работе, — крайнее разнообразие. В Океании можно констатировать следующие типы. Первый, свойственный папуасской культуре, представляет собой гомогенную демократическую общину,

<sup>1</sup> *W. Ch. Mac Leod*, The origin of the state, reconsidered in the light of the data of aboriginal North America. Philadelphia, 1924; см. также интересную работу того же автора: «Natchez political evolution» — «American Anthropologist», 26 (1924), 2.

<sup>2</sup> *M. G. Smith*, Political organisation of the plains indians, with special reference to the council — «University Studies», published by the University of Nebraska, 24 (1924), 1/2.

<sup>3</sup> *Y. Bernar*, Political leadership among North American indians. — «American Journal of Sociology», 34 (1928), 2.

<sup>4</sup> *W. H. R. Rivers*, The history of Melanesian society, vol. II. C., 1914.

<sup>5</sup> *R. Thurnwald*, Stufen der Staatsbildung bei den Urzeitsvölkern (auf Grund von Forschungen bei den melanesischen Stämmen der Südsee). — «Zeitschrift für vergleichende Rechtswissenschaft», 25 (1911). *Idem*, Politische Gebilde bei Naturvölkern. Ein systematischer Versuch über die Anfänge des Staates (Auf Grund eigener Forschungen in der Südsee). — *Ibid.*, 37 (1920). *Idem*, Entstehung von Staat und Familie. — «Blätter für vergleichende Rechtswissenschaft und Volkswirtschaftslehre», 16 (1921).

которая управляется только стариками (геронтократию). Во втором типе, свойственном меланезийской культуре, в уже дифференцированном обществе, мы находим главаря, выделившегося из группы стариков, обладающего разнообразными функциями: главари выступают здесь и как военные вожди, и как руководители церемоний, колдовства и гостеприимства; эта форма часто имеет определенно выраженный характер двойственности главарства: военного и религиозного. В третьем типе, с отслоившейся аристократией, мы находим могущественных наследственных политических вождей, принадлежащих по происхождению к привилегированной касте, ведущих свою генеалогию и обладающих нимбом сакральности. Этот тип находим в Меланезии и в Полинезии. Дальнейшее выражение этого типа находим в древней истории Востока, в Египте и Вавилоне, где политическая власть выступает в качестве эманации сверхъестественной силы. Персона политического главы табуируется, окружается особым почетом и ореолом святости. Царю приписывается предикат божественности, он сам — бог или его воплощение.

Охарактеризованные таким образом типы политической власти Турнвальд считает в известной мере абстракциями, но они представляют собой, по его мнению, именно типы, под которые можно подвести и иные политические формы, свойственные иным культурам. С другой стороны, Турнвальд не считает необходимым, чтобы эти типы были взяты как ступени политической эволюции, следовательно считались универсально свойственными истории всего человечества: каждая этническая группа может в известной мере идти своим путем; формы государственных образований и пути их развития могли быть весьма разнообразны. И все же намеченные типы представляют собой, по мнению автора, определенный ряд, связанный между собой логической последовательностью.

Собранный английским этнографом *Вильямсоном* в трехтомной работе о социальной и политической организации полинезийских племен литературный материал показывает, что и здесь мы встречаемся с значительным разнообразием как вообще социально-политического строя, так и характера политической власти. На некоторых островах мы наблюдаем наличие двойственной, сакральной и светской, власти. Но и существующая в других местностях отчетливо выраженная единая светская власть не лишена сакрального характера, и некоторые главари являются одновременно жрецами. Вильямсон приходит к выводу, что, по всем видимостям, в прошлом Полинезии власть повсюду была единой, обладающей одновременно светским и сакральным характером, и лишь с течением времени эта единая власть приняла в некоторых местах дуалистическую форму. В более осторожных выражениях Вильямсон высказывает предположение, что начальное основание авторитета и власти в Полинезии было сакральным. С течением времени некоторые из главарей стали чисто сакральными, а в дальнейшем постепенно уменьшили или утратили и сакральную власть. Автор предлагает следующее объяснение этого процесса изменения характера власти.

Первоначально социальные группы, которыми правили сакрально-светские главари, были вероятно относительно малы и их политическая организация проста. При таких условиях двойственные функции главарей были тогда вообще не велики, и не было серьезных мотивов их сокращать. С течением времени, однако, примитивные группы расширялись образовывались подгруппы, социально-политическая организация их усложнялась, распространялась на большую территорию и требовала более экстенсивного управления. Обязанности политического главы умножались. У него могло явиться желание передать часть своих функций другому

лицу, — вероятно близкому родственнику, — сохраняя за собой лишь сакральный сан, на котором его власть была основана, а равно последующий контроль над светскими делами, переданными его представителю. Эта уступка или передача в другие руки части функций вероятно в большей или меньшей мере включала военные функции, тогда как главной обязанностью верховного главы оставалась, вероятно, молитва. В особенности, если главарь был стар, у него могли быть особые основания для того, чтобы переложить ответственность за подготовку к войне и за предводительство армией в сражении на другое лицо, оставив за собой лишь великую религиозную обязанность — молиться богам за успех. Это, — говорит Вильямсон, — конечно, не представляет собой единого акта; такой процесс мог растягиваться на целые столетия, в течение которых разделение сакральных и светских обязанностей могло протекать и более интенсивно, мужественные и честолюбивые светские главари могли стараться расширить свою власть, и положение священных главарей могло становиться немного более значительным, чем положение высшего жреца, хотя и в этом качестве он должен был вероятно сохранять, в особенности вначале, громадную власть.

Этим процессом Вильямсон предлагает объяснять то разнообразие форм и характера власти, которое мы наблюдаем в Полинезии.<sup>1</sup>

\* \* \*

Возвращаясь к истокам изложенной выше истории занимающего нас вопроса, мы можем теперь утверждать, что вся эта теория сакрального происхождения власти имеет несомненную преемственную связь, если не всегда идеологическую, то во всяком случае литературную, с той концепцией власти, которая была создана идеологами древних деспотий и вновь разработана в средних веках в теолого-политическую догму божественного происхождения и божественной санкции власти.

Выраженный кратко писателями XVII и XVIII веков взгляд на участие сакрального элемента в образовании политической власти был впервые развит Милларом, а затем, преимущественно через посредство Спенсера, стал общим местом буржуазной социальной науки, с удивительным убожеством до сего дня повторяющей и варьирующей отдельные положения. Влияние и своего рода успех взглядов Фрезера объясняется лишь незнакомством с историей предшествующей социально-политической литературы. Если мы обратимся к существу высказанных взглядов и сопоставим их с современным этнографическим материалом и его сводками в специальных работах, то увидим, что на самом деле роль личности в примитивной политической организации проявляется вообще весьма разнообразно. При этом во многих случаях сакральный элемент в образовании политической власти совершенно отсутствует. Нет ничего удивительного поэтому, что новейшие общие работы подходят к нашему вопросу либо с крайней неуверенностью, либо с готовым и некритически взятым штампом.

Общая установка, взятая буржуазной литературой в данной проблеме, представляет собой естественный результат методологического порока, присущего упрощенному компаративизму и эволюционизму, пытающемуся соединить воедино и уложить в одну схему удивительное разнообразие внешних проявлений социальных отношений, свойственных различным

<sup>1</sup> R. W. Williamson, The social and political systems of Central Polynesia. 3 v-s C., 1924.



формациям и различным конкретным обществам. Между тем, только путем исследования политической организации отдельных обществ, отправляясь от анализа первичного их базиса, мы можем прийти к раскрытию сущности власти в доклассовом обществе, установить источники, пути и формы возвышения персональной власти и тем самым определить долю и форму участия и роль сакрального элемента.

При таких условиях естественно, что, в конце концов, единственным общим результатом исследования нашей проблемы в буржуазной науке остается указание на то, что сакральный, вернее, быть может, суеверный, элемент играл известную роль при выдвижении в отдельных примитивных обществах персональной власти и что в иных таких обществах персональная власть имела или имеет сакральный характер. Подобный результат, однако, не заслуживает, конечно, титула «теории» и представляет собой слишком незначительное достижение в разработке проблемы возникновения и эволюции политической власти. При столь незначительных результатах столь длительной разработки данной проблемы мы не имеем даже постановки ряда вопросов, касающихся участия сакральных персонажей в политической сфере, а именно средств, путей и форм их влияния, условий их соединения или соперничества со светской властью и пр., т. е. той характеристики, которая должна осветить хотя бы формы политической активности сакральных персон.

В существе же своем взгляд на сакральное происхождение власти в той трактовке, в какой он дается, представляет собой лишь разновидность широко распространенной в буржуазной социологии и представленной различными ее направлениями индивидуалистическо-психологической теории власти, приписывающей образование власти индивидуальным качествам или достоинствам отдельных личностей, военным способностям, уму, добродетели, колдовскому искусству и пр.

Этим чисто идеалистическим подходом к изучению социальных явлений объясняется блуждание в потемках всех представленных нами буржуазных писателей.

Надо сказать, что проблема возникновения и организации власти в доклассовом обществе далеко не может считаться в достаточной мере освещенной и ждет еще марксистского исследования.

*М. Косвен.*

# ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В ВИЗАНТИИ XIV ВЕКА

*Diehl, Ch.*, Journées révolutionnaires byzantines («La Revue de Paris» от 1 ноября 1928 г.).  
Г. Κορδάτου, 'Н. Κορμούνα της Θεσσαλονίκης 1342 — 1349. Αθήναι, 1928.

История Византийской империи популяризировалась до сих пор очень мало; она стала, особенно у нас, предметом узко-специальных занятий историков, далеких от интереса к широким экономическим и социальным проблемам происхождения и развития современного капиталистического общества с присущей ему разрушительно-созидательной динамикой внутренних противоречий.

Не говоря о марксистской исторической мысли, — даже торные пути европейской исторической науки задевали Византию лишь мимоходом; история Византия стала в XIX веке, так сказать, предметом мелкого исторического стиля, предметом по преимуществу антикварно-политических, церковно-исторических и искусствоведческих интересов.

Последним, «делающим эпоху» произведением, изучавшим всемирно-историческую роль Византии, был знаменитый труд Гиббона (1737 — 1794) «История величия и падения Римской империи», грандиозная работа, вышедшая в первом издании (1776 — 1789) в шести томах и переведенная на все европейские языки. Гиббон изобразил тысячелетнее существование Византийской империи как процесс непрерывной деградации в рамках столь же непрерывного роста *западно-европейской* государственности и культуры. В этой концепции чрезвычайно ярко сказался представитель английской буржуазии эпохи промышленного переворота, — эпохи, когда полный сил капитализм действительно сделал Западную Европу центром мирового развития. Линия исторического развития мыслилась по географической смежности: Римская империя, романизованная Галлия (Франция), германские варвары — сначала разрушители, потом созидатели (для романистов — восстановители), наконец, бесспорные восстановители в эпоху так называемого «Возрождения» и т. д. Отцом этой схемы в значительной мере является Гиббон как автор первого всемирно-исторического труда широкого размаха и редкой учености. Подобная схема продолжает, в сущности, и до сих пор господствовать в западно-европейской историографии. Между тем, названная концепция создалась отнюдь не на основе изучения действительного хода экономического развития Европы и даже не на основе историко-теоретических исканий (Гиббон был весьма далек от занятий философией истории), но просто некритически переносила в прошлое отношения конца XVIII века. С тех пор, конечно, внесено не мало поправок в эту точку зрения, византинология накопила ценный материал, но далеко еще не достаточно для широкой оценки роли Византии в историческом ходе развития Европы.

Но, несмотря на то, что изучение экономической истории до-капиталисти-

ческой Европы почти всегда приводило к Византийской империи как к руководящему центру хозяйственных связей, очерченная выше старая схема продолжает лежать в основе даже таких построений, как «Allgemeine Wirtschaftsgeschichte» Г. Кунова.

Второй и третий томы своей работы Кунов подразделяет на традиционные рубрики западно-европейской историографии, начиная с древних арийцев, переходя затем к классической древности, для которой он берет в качестве типологического материала легендарные и полуполулегендарные данные о древнейшей римской истории; далее следуют германский погром и развитие франкского и англосаксонского государств в качестве центральных фокусов всемирного развития. Весь юг Европы, вся область Средиземья, не говоря уже о Востоке, не существует для автора «Всеобщей истории хозяйства». Он доводит свое изложение до XI века, и «внешней торговли», как он выражается, отводит из 475 всего 3½ страницы (!), где говорится: «Если до сих пор (до XI века) эти города (Неаполь и Салерно) ограничивались торговым судоходством у берегов Италии, то теперь они попытались завязать торговые сношения с Византией и Левантом» (стр. 475), как будто не только Салерно и Неаполь, но и Амальфи и другие прибрежные итальянские города не продолжали своего античного существования в качестве опорных пунктов византийской торговли! Про Венецию, впрочем, бегло сообщается, что она «рано сумела использовать свое благоприятное положение у Адриатического моря, примкнув к Византии и сделавшись промежуточным торговым пунктом между Византией и Ломбардией». «Первоначально зависящая от Византии, Венеция быстро создала значительный военный и торговый флот, который приобрел господство в восточной части Средиземного моря, так что к началу крестовых походов она располагала величайшей в Европе морской силой». Венеция превратилась в главный порт, через который в Европу шли ценные товары с Востока, венецианская торговля экономически оживила Ломбардию и через Сен-Бернарский перевал дала толчок экономическому развитию южно-германских и рейнских городов, — все это как будто достаточно значительные явления, чтобы им посвятить не 3½ странички, а, по крайней мере, 3½ главы, в особенности если хочешь выяснить, каким же образом Венеция быстро создала военный и торговый флот, так что к началу крестовых походов располагала величайшей в Европе морской силой». Но Кунов переходит к дальнейшим «привычным» рубрикам, — к аграрной истории Европы XII — XVI веков, к морской торговле на Балтийском и Северном морях, забывая как будто, что и здесь важнейшим торговым контрагентом была все та же Венеция — Византия; и в третьем томе византийско-европейской торговли посвящено всего 15 страниц.

Между тем на стр. 102 у короля европейского торгового капитала (Фуггерах) говорится, что крупные капиталы и крупные «купцы появились в обеих метрополиях торговли с Италией и Балканами, в Нюрнберге и Аугсбурге». Крупнейшие европейские капиталы впервые создавались на торговле с Византией; это у Кунова даже как следует не констатируется!

Я высказал здесь эти несколько соображений по поводу новейшей работы по истории хозяйства для того, чтобы показать, что тема настоящей статьи не случайна: пересмотр основных линий исторической эволюции Европы делается все более и более назревшим.

Если мы возьмем, например, старую, но все еще продолжающую быть основной работой W. Heuß'a «Histoire du commerce du Levant au moyen age»,<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Авторизованный и значительно дополненный автором перевод с основного немецкого издания: Reimpression, O. Harassowitz, Leipzig, 1923, т. I — II.

то сразу увидим, что при изучении мировых торговых путей эпохи автор все время возвращается к Византии как к государству, приблизительно до XIII века господствовавшему на этих путях. Ведь до мусульманского завоевания Византийская империя охватывала большую часть всего Средиземноморья; на языке эпохи Средиземное море называлось Ромейским, или Византийским, озером. Но и мусульманская экспансия не лишила Византию экономического господства на Средиземном море; арабская и вообще мусульманская морская торговля развилась вдоль тех же путей, по которым произошла и начальная политическая консолидация арабского мира, именно вдоль путей, ведущих к Индийскому океану и Китаю; в районе же Средиземного моря контрагентом мировой арабской торговли была Византия. В эту эпоху итальянские торговые республики, как Амальфи, Пиза, Венеция, Генуя и др., были лишь провинциальными факториями византийской торговли, и лишь с XII века начинают их первые попытки завязать самостоятельные торговые сношения с восточным бассейном Средиземного моря.

Но Византия была не только фокусом транзитной торговли; многие отрасли промышленности (например, шелковая, стекольная, металлообрабатывающая, кораблестроительная) там стояли на высокой ступени развития, что делало Византию и самостоятельной областью экспорта.

Эти общие выводы, которые делает всякий внимательный читатель исследования Нейд'а, тем более поучительны, что сам Нейд в беглых, попутных замечаниях характеризует политическое положение Византии совершенно традиционно, именно как положение дряхлеющего и разваливающегося организма.

В работах византинологов этот гиббоновский синтез уже превзойден, тысячелетнее существование византийской государственности и культуры исследуется как самостоятельное историческое явление, а не только в аспекте падения Римской империи, — таковы работы, например, Дилия, Крумбахера, Гельцера, Гесселинга, Рамбо и многих других. Русская византинология разрабатывала вопрос о влияниях Византии на культурную и политическую революцию Восточной Европы, и здесь надо в первую очередь, конечно, отметить труды основателя русской византинологической школы Г. В. Васильевского (1838—1899); Васильевский соединял огромное знание первоисточников с интересом к проблемам социальной истории и сравнительно-историческому методу, что видно уже в его первой крупной работе: «Политическая реформа и социальное движение в древней Греции» (1869 г.) Но историки «средневекового» Запада проходили до сих пор мимо роли византийских влияний в эволюции западно-европейского государства и общества.

Маркс, судя по ряду рассеянных в его разных работах замечаний, придавал большое значение Византии в экономическом, политическом и культурном развитии Европы. Так, например, в статьях в «Нью-йоркской трибуне», посвященных восточному вопросу, Маркс дает историческое обоснование важности этого вопроса для европейских международных отношений, подчеркивая, что исторически Константинополь-Византия в продолжение многих столетий определяла экономические и политические отношения Европы; Европейская Турция являлась наследницей поставленных ходом исторического развития проблем, разрешить которые сможет только общеевропейская социальная революция.

В одной из передовых статей 1853 г. он говорит: «Англия не может согласиться, чтобы Россия стала повелительницей Дарданелл и Босфора. Это событие нанесло бы и в коммерческом, и в политическом отношении крупный,

если не смертельный, удар великодержавному положению Англии. Чтобы убедиться в этом, бросим беглый взгляд на торговые отношения между Англией и Турцией. *До открытия прямого пути в Индию Константинополь был огромным торговым рынком; турецкие гавани еще и теперь являются посредниками для очень значительного и все растущего торгового оборота между Европой и внутренней Азией...* Далее Маркс подробно характеризует торговые пути, ведущие от восточных берегов Средиземного моря во внутреннюю Азию, пути, являвшиеся мировыми для эпохи до-капиталистической Европы, западным фокусом которых была Византия.

29 марта 1853 г. он пишет в «Трибуне»: *«Константинополь, это — вечный город, это Рим Востока. Западная цивилизация, весьма амальгамированная восточным варварством при греческих императорах, восточное варварство, весьма амальгамированное западной цивилизацией при господстве турок, — это делает этот центр теократической империи настоящей преградой для распространения европейского прогресса. Когда греческие императоры были вытеснены турецкими султанами, то дух старой Византийской империи пережил эту смену династии, и если султан будет когда-нибудь замещен царем, то вновь возродившаяся Восточная Римская империя будет иметь еще более деморализующее влияние, чем при императорах древности, и станет более агрессивной и более сильной, чем при султанах... Вопрос о борьбе между Западной Европой и Россией за обладание Константинополем приводит к вопросу о том, уступит ли византизм свое место западной цивилизации или же его губительное могущество снова оживет в более ужасных и насильственных формах, чем когда-либо раньше. Константинополь, это — золотой мост между Востоком и Западом, и западная цивилизация, подобно солнцу, не может обойти вокруг мира, не перейдя через этот мост, а через этот мост нельзя перейти без борьбы с Россией.*

Огромное богатство рассеянных по всем работам Маркса и Энгельса исторических замечаний еще ждет своих собирателей и интерпретаторов; эта работа имеет большое теоретическое значение, так как, только проделав ее, можно будет точно установить взгляды основоположников научного социализма на ход развития исторического процесса и на все с этим связанные теоретические и методологические вопросы. Приведенные цитаты, если отвлечься от их несколько приспособленного к злободневным потребностям американской газеты стиля, показывают, как в злободневном вопросе международной политики Марксу удалось наметить одну из кардинальных проблем исторической эволюции Европы.

Если история восточно-славянской Европы в течение нескольких столетий может в значительной степени рассматриваться как история глухой провинции Византийской империи, то — *mutatis mutandis* — на ту же точку зрения можно стать и при синтетическом изучении истории Запада.

Что такая точка зрения может быть очень плодотворной, доказывают две недавно появившиеся работы на одну и ту же тему: о малоизвестном социально-революционном и демократическом движении в Фессалониках середины XIV века, о так называемом восстании зелотов. Одна из этих работ — статья Ch. Diehl'я в «La Revue de Paris» от 1 ноября 1928 г., под заглавием «Journées révolutionnaires byzantines», другая — небольшая книга на новогреческом языке Г. К. Кордату: «Н Κορυμβια τῆς Θεσσαλονικῆς: 1342 — 1349» (Г. К. Кордату, Фессалоникская коммуна 1342 — 1349), вышедшая осенью того же 1928 г. в Афинах.

Описываемая в этих работах фессалоникская революция бросает новый свет на революционно-демократические движения в итальянских торгово-промышленных городских республиках в XIV веке, которым посвя-

щалося не мало исследований, особенно восстанию чомпи во Флоренции. Движение же зелотов, которое представляет собой факт для понимания социально-экономической эволюции Европы, гораздо более, по видимому, значительный, чем восстание чомпи, до сих пор оставалось почти совершенно неизвестным.

Статья Диль носит популярный характер; она представляет собой, в основном, французский пересказ трех-четырех греческих источников, современных событиям писателей, настроенных ярко враждебно по отношению к зелотам. Диль делает, конечно, поправки, указывая на тенденциозность источника, но все же в общем рисует революцию зелотов красками своих аристократических и церковных источников как кроваваджное восстание и господство черни.

Другой автор, Кордату, близок к марксистской точке зрения и характеризует движение зелотов как первое революционное выступление новых городских классов, в среде которых еще не произошла достаточная дифференциация буржуазных и пролетарских элементов; но все же партия зелотов, по Кордату, имела оформленную политическую и социальную программу, действовала как организованная политическая единица; она являлась, таким образом, авангардом новой, еще аморфной городской массы, но действовала и боролась за интересы пролетариата, выдвинув не только политические лозунги (отмена всех феодальных привилегий и распространение политических прав на всю массу «простого народа»), но и лозунги социальные (требование справедливого распределения общественных богатств).

И Кордату, и Диль ставят фессалоникскую революцию в связь с революционными движениями в итальянских городах XIV века, в частности с генуэзской революцией 1339 г., но оба автора, даже близкий к марксизму Кордату, не пытаются найти общих экономических корней всех этих городских революций, происходивших в фокусах мировых торговых путей эпохи; обоим авторам по традиции кажется, что революционный ветер пришел с Запада, что фессалоникская революция была до известной степени отраженным явлением. Диль, например, характеризует чрезвычайную напряженность социальных отношений с самого начала XIV века в Византийской империи и вот что говорит о жестокой эксплуатации масс ростовщическим капиталом: «Результатом этого крайнего экономического неравенства, еще обострявшегося дерзкой и непримиримой жестокостью богатых, была классовая борьба, особенно ожесточенная и острая, которая проявлялась в страстных выступлениях, в бурных движениях, в непрерывающейся агитации: эксплуатируемые богатыми простой народ только и думал о том, чтобы восстать, вознаградить себя, разграбив своих притеснителей, и это с тем большим ожесточением, что ему нечего было терять». Диль цитирует, далее, ряд источников, говорящих о напряженном настроении надвинувшейся революции, сообщает о грозном революционном взрыве в Фессалониках в 1322 г., вызванном арестом 25 вожakov «народной партии», и после всего этого пишет: «В 1339 г. в Генуе вспыхнула народная революция, и аристократическое правительство было свергнуто. Это событие дало большие отзвуки в византийском мире; они должны были быть особенно значительными в Фессалониках, где имелась большая генуэзская колония. Пример не прошел даром». Правда, о связи между итальянскими революциями и революцией фессалоникской у обоих авторов говорится очень мало и бегло, но традиционность этого высказывания тем интереснее, что все остальное их изложение подсказывает совершенно обратную схему зависимости.

Действительно, и Диль, и Кордату дают характеристику Фессалоник XIV века как центра мировой торговли эпохи, как второго по значению после

Константинополя города всего Средиземноморья и Европы: «Рынок Фессалоник был всебалканским торговым центром. Порт города был полон торговых кораблей и привозимых и вывозимых товаров; движение товаров было таково, что торговля города носила для той эпохи международный характер. На рынке можно было найти какие угодно товары, — не только продукты питания, но и шерстяные и льняные ткани Европы (фландрские, французские, тосканские), вина и растительные масла Италии, мыла Венеции и Анконы, а также всевозможные одежды и ткани Азии и Греции. *Морская торговля того времени поддерживалась главным образом греческими, в частности фессалоникскими кораблями*» (Кордату, *op. cit.*, p. 31). Несколько дальше Кордату приводит источники XII в., называющие Фессалоники самым известным городом во всем мире, и исчисляет его население приблизительно в 200 000 человек, причем население это носило в значительной степени интернациональный характер. Соответственно с этим в составе населения Фессалоник обнаруживались все признаки далеко зашедшей классовой дифференциации: Кордату сообщает о значительных массах пролетаризированных ремесленников и портовых рабочих, об обширной и прекрасно организованной корпорации моряков, живших в районе порта, о революционном настроении этих пролетарских элементов в результате их жестокой эксплуатации со стороны торгового и ростовщического капитала. Больше того, эти эксплуатируемые и политически угнетенные элементы общества можно рассматривать как политический прообраз современного пролетариата, поскольку, по данным Кордату, они проявляли свою политическую активность не только в форме стихийно-разрушительных движений, но имели свою постоянную политическую организацию, политическую партию — партию zelотов; на стр. 57 своей книги Кордату подчеркивает, что «zelоты были не порождением момента, но организованной партией, существовавшей задолго до восстания» (1342 г.). Вспомним арест 25 народных вожakov в 1322 г. в Фессалониках, и мы согласимся с утверждением Кордату. «Партия zelотов, — говорит наш автор, — была революционной партией, так как она требовала не только политической свободы, но и социально-экономического переворота»; «... в итальянских городах борьба носила чисто политический характер, тогда как движение zelотов с самого начала приняло характер социальный». Прямой вывод отсюда, что фессалоникские рабочие XIV века проявляли немалую долю классового самосознания, что и доказывают события 1342 — 1349 гг.

Таким образом, и сообщаемые Кордату данные, и его собственные сравнения и характеристики рисуют революцию zelотов как движение масс, имеющее гораздо большее значение для истории классовой борьбы и капиталистического общества, чем одновременные движения в итальянских торговых республиках; однако усвоить до конца эту точку зрения он не может, центром развития для него все же остается Запад. Такова сила историографической традиции.

Впрочем, Кордату грешит склонностью к историографической традиции и во многих других местах своей книжки; так, например, он принимает бюхеровское понятие «натурального хозяйства»: по словам Кордату, в Византийской империи, до XI века по крайней мере, господствовало замкнутое хозяйство, и *никогого* обмена между соседними районами не существовало, все сведения источников о торговле в приморских центрах преувеличены, так как торговать было не с кем и нечем. Кордату доказывает это положение более чем сомнительным аргументом, что до XI века в Византийской империи не существовало торгового законодательства! Вообще книжка Кордату оставляет желать многого; например, при общих синтетических характе-

ристикah исторического развития Византийской империи вся восточная торговля Средиземья остается вне поля зрения автора.

Обратимся теперь к фактической стороне фессалоникской революции. Летом 1341 г. загорелась династическая борьба между законным наследственным претендентом на престол и ставленником высшей феодальной знати, крупнейшим малоазиатским землевладельцем И. Кантакузеном. Эта династическая борьба быстро превратилась в гражданскую войну, в которой новый (по Кордату) торгово-промышленный, городской слой населения стал на сторону законного претендента.

Городские массы не были настроены монархически в строгом смысле слова, для них «монархический лозунг был только политической маской для вооруженной борьбы против феодального гнета» (Кордату). Полного развития и успеха эта борьба достигла в Фессалониках, где под угрозой наступавших войск Кантакузена события развернулись стремительно. Вожди зелотов подняли знамя восстания, и народная масса обрушилась на господствующий класс феодальной знати.

Восстание было, повидимому, хорошо подготовлено, так как решительная победа была одержана быстро. Зелоты очутились у власти, руководимые своим вождем, неким Михаилом Палеологом. Однако новая народная власть очутилась сразу в очень тяжелой и ответственной обстановке: ее врагами были и Кантакузен со своими сторонниками, и вся остальная феодальная знать, и внешние враги в лице сербского короля и турецкого принца, с которыми Кантакузен вступил в переговоры, прося у них помощи главным образом для подавления фессалоникской революции. Зелоты так быстро и блестяще организовали защиту, что даже вызвали восхищение у турецкого принца. Этот успех мог, однако, быть достигнут только единой и сильной властью, и зелоты, окруженные внешними и внутренними врагами (в Фессалониках осталось много аристократов, которые тайно организовывали сопротивление новой власти), твердо стали на путь диктатуры и террора.

Чрезвычайно интересно, что эта диктатура народных масс в XIV в. носила не только антицерковный, но даже антирелигиозный, безбожный характер. В этом сходятся показания всех приводимых источников, это составляет главное обвинение, которое, на-ряду с обвинением в грабеже, бросается писателями-аристократами, современниками событий. Ш. Диль цитирует рассказы источников о том, что зелоты пародировали самые священные христианские таинства, например останавливали на улице подозрительных лиц, наряжали их в патриаршие облачения и подвергали затем грубым издевательствам или производили над ними тут же на улице шутовской обряд крещения со всеми церковными аксессуарами, а потом отправлялись в соседний кабачок, чтобы за выпивкой продолжать свои антирелигиозные действия.

Враждебность зелотов к церкви находит свое полное объяснение в том, что византийская церковь являлась не только одним из главных слагаемых господствовавшего феодально-землевладельческого класса, но была вместе с тем в Фессалониках и представительницей ростовщического капитала: Кордату приводит ряд свидетельств церковных источников, содержащих резкие выпады против ростовщических операций монастырей.

Итак, с 1342 по 1345 г. партия зелотов, во главе с Михаилом Палеологом, защищаясь на нескольких фронтах, проводила диктатуру масс в Фессалониках. Однако на-ряду со своей фактической властью зелоты сохранили и представителя власти императорского центра, И. Апокаукоса, который был лишь номинальным носителем титула.

Вокруг Апокаукоса и стали группироваться контр-революционные



силы, которые в 1345 г. нанесли тяжелый удар зелотской диктатуре: вождь зелотов Михаил Палеолог был вероломно убит. В первый момент массы не реагировали на это решительное наступление своих классовых врагов, и контр-революция, казалось, торжествовала, Фессалоники, казалось, были накануне сдачи Кантакузену.

Но на сцену быстро выдвинулись новые и, повидимому, наиболее организованные элементы нового общества, которых источники называют «боевым авангардом народа» (*τὸ χράτιστον τοῦ δήμου*), — кадры моряков фессалоникского порта во главе со своим вождем Андреем Палеологом; этот вождь фессалоникских масс представлял собой, повидимому, чрезвычайно интересную и крупную фигуру, внушавшую уважение даже врагам, но, к сожалению, и Диль, и Кордату смогли дать ему лишь беглую характеристику.

Войска Апокаукоса и моряки А. Палеолога стояли друг против друга; первые занимали укрепленные возвышенности, вторые наступали от гавани. Но наемники и солдаты Апокаукоса в последний момент побратались с революционными моряками, и опять зелотская диктатура одержала легкую и полную победу.

Мы не будем останавливаться на внешних подробностях этой второй победы восставших народных масс, хотя в приводимых нашими авторами, (особенно Дилем) первоисточниках эти подробности занимают главное место. Эффектное описание кровавых ужасов может интересовать историка литературы, в частности исследователя влияний древне-греческого историографического стиля на стиль византийский.

Книжка же Кордату сосредоточивает все внимание на улавливании в пространных декламациях первоисточников основных социальных и политических моментов движения. Что же выясняет Кордату?

После кратковременной заминки в 1345 г. вновь устанавливается в Фессалониках диктатура партии зелотов, продолжающаяся до 1349 г. Один случайный документ, именно содержащаяся в одной из византийских рукописей Национальной библиотеки в Париже судебная речь некоего Кавазилоса, дает драгоценный материал для характеристики общей социально-политической программы зелотов. Кавазилос выступал защитником интересов церкви и монастырей, недвижимые имущества которых были конфискованы фессалоникской революцией. Сам по себе факт конфискации духовного землевладения, известный и из других источников, является чрезвычайно многозначительным, особенно в связи с отмеченным выше общим антирелигиозным характером политики зелотов.

Но речь Кавазилоса, повидимому произнесенная во время судебного процесса, в котором одной стороной являлось правительство зелотской диктатуры, а другой — церковь, характеризует самым фактом своего существования столь высокое развитие конституционных начал в установленном зелотами строе, что возникают большие сомнения относительно интерпретации этих данных; во всяком случае они говорят о глубине и значительности фессалоникской революции.

Кавазилос — враг правительства зелотов, и тем не менее при чтении его речи перед нами встает стройная и величественная программа подлинных социальных революционеров; вот к чему сводит Кордату основные пункты программы зелотов по данным Кавазилоса:

1) Правители имеют право предпринимать какие угодно действия, если они считают их полезными для народного блага; зелоты говорили, что свою диктаторскую власть они основывают на поддержке народных масс, что свои решительные меры, проводимые в порядке диктатуры и имеющие целью

уничтожение старого строя и создание нового, они принимают от лица народных масс.

2) Правители могут отбирать имущества у богатых и обращать их на общественные нужды, действуя при этом насильем, так как эти действия диктуются им не личными интересами, но интересами общественного блага; *ведь именно поэтому всякий налог является принудительным.*

3) Старые законы не вечны и не священны, они изменяются, и вместе с ними изменяются общественные отношения; и новые установления могут стать на место старых, хотя бы и писанных законов.

4) Представители власти не должны рекрутироваться из среды немногих, *из одного какого-нибудь прежнего сословия, но из всего народа.* Чтобы быть представителем власти, не требуется *никакого ценза, ни сословного, ни возрастного; раньше государственные должности были безраздельной собственностью господствующего класса;* теперь они стали временными и подконтрольными.

5) Церковные должности должны быть *выборными* на таких же основаниях.

6) Имущества церквей и монастырей отнюдь не являются «священными»; *они принадлежат народу,* и поэтому народ в праве наложить на них свою руку; по большей части имущества церквей и монастырей являются дарениями и пожертвованиями; но первые жертвователи вовсе не имели в виду лень и сытое житье монахов, но жертвовали для бога и имели в виду поддержку бедных.

7) *Имущества* как движимые, так и недвижимые *богатых дворян* не являются неприкосновенными, *но принадлежат народу, всему трудящемуся люду.*

8) Не должно существовать привилегированных сословий.

Эта программа руководящей партии фессалоникской революции носит, как мы видим, черты несомненной социальной революции, и не только в смысле борьбы городского слоя (буржуазии) против феодализма; она во многом напоминает крайнюю левую струю Великой французской революции, ее центральный лозунг — знаменитый «аграрный закон». Это подтверждается тем впечатлением, которое производил введенный зелотами строй на современников. Вот, например, приводимый Кордату чрезвычайно интересный отрывок из Григория Паламы:

«Власть принадлежала группе людей, которые назывались зелотами. Строй, который был ими введен в Фессалониках, не походил ни на один известный политический строй, ибо он не был аристократическим, подобно установленному в древние времена Ликургом у спартанцев, ни демократическим, подобно установленному у афинян сначала Солоном, а потом преобразованному Клисфеном, установившему десять фил вместо прежних четырех. Не походил он и на тот строй, который, как полагают, был установлен в Локрах, так называемых Эпизефирских, законодателем Залевком, ни на тот, который установил в сицилийской Катане Харонд. Не был он, далее, похож и ни на один из позднейших строев, созданных *смешением двух или большего числа политических начал*, вроде того, который был у киприян или который был выработан в древнем Риме народом, восставшим и установившим законы по отношению к властвовавшим тогда богатым. *Но был строй зелотов впервые появившейся властью черни, строй, который только зарождался и не мог быть обдуман человеком.* Власть эта ликвидировалась после того, как совершила много дерзостей, соблазняя фессалоникскую чернь демагогией, ограбив по ее воле имущества богатых и этим укрепив свою власть. Они издавали приказы, чтобы масса не подчинялась

ничьим распоряжениям, ни Палеолога, ни Кантакузена, но чтобы весь народ руководствовался решениями зелотов как правилами и признавал эти решения за законы».

Эта цитата вдвойне интересна: во-первых, в ней содержится ясное указание на глубоко-социальный характер революции зелотов, на движение беднейших масс крупнейшего торгово-промышленного центра XIV века, вливавших в это движение коммунистическую струю; во-вторых, это показание характеризует *политическую образованность*, по крайней мере, верхушки византийского общества, непосредственно унаследовавшей развитую политическую теорию античного мира, *которая была рецитирована западно-европейской буржуазией гораздо позднее* и играла столь значительную роль в политических формулах Великой французской революции.

Но античное политическое наследство существовало в Византийской империи не только как академическая ценность, сохранившаяся в среде избранной интеллигенции; социально-политическая программа революции зелотов показывает, что и широкие городские массы в Византии тоже владели этим унаследованным теоретическим оружием и умели пускать его в ход. Городские массы Константинополя и других городских центров никогда не переставали принимать живое участие в политической жизни, часто принимавшее формы грозных восстаний, и византийские самодержцы должны были с этими массами считаться, несмотря на всю «божественность» своего абсолютизма. На примере зелотской революции мы видели большую политическую и, я бы даже сказал, классовую сознательность этих масс. И если Византия в течение многих столетий была руководящим центром хозяйственной жизни Западной Европы, то и в отношении своего социально-политического развития она Западную Европу значительно опережала.

Культура так называемой эпохи «Возрождения», в частности ее политические идеи, есть не что иное, как следовавшие за экономическими влияниями культурные влияния Византии на юг и запад Европы. И влияния эти шли отнюдь не каким-то единовременным шквалом, а просачивались в течение многих столетий: в Англии, например, еще в XIII веке начинается рецепция римского права (Брактон); но ведь знаменитое римское право, основа гражданского законодательства буржуазной Европы, есть, в сущности говоря, *византийское* право, — право кодексов Юстиниана и Феодосия. Тем настоятельнее необходимость исследовательской работы над подлинным синтезом исторического развития Запада и Востока Европы; и изучение почти неизвестной до сих пор революции зелотов может явиться для этой работы особенно значительным и актуальным исходным пунктом.

Фессалоникская революционная коммуна пала в 1349 г. после героической обороны на нескольких фронтах, и центральной императорской власти удалось ее сломить, повидимому, только ценой иностранной интервенции, а именно военной силы турок-османов. Но именно это последнее обстоятельство говорит нам о том, что экономические и политические силы Византийской империи уже иссякли, восточные торговые пути начали засоряться турецкими завоеваниями, экономические и культурные центры передвигались к берегам Атлантического океана, вызывая жестокий кризис на прежних, средиземноморских торговых путях.

А. Бергер.

# НОВЫЕ КНИГИ О МАКИАВЕЛЛИ

*Ferrara, Orestes, Machiavel.* Traduit par Francis de Miomandre. Paris, Société de l'Histoire de France, 1928, VIII, 370 p., 4°.

(*Ferrara, Orestes, Maquiavelo.* Prólogo de Luis Octavio Divinó. La Habana, «El Siglo XX», 1928, XXVIII, 361 p., 4°.)

*Prezzolini, Giuseppe.* Vita di Nicolò Machiavelli fiorentino. Milano, A. Mondadori, 1927, 254 p. et index, 8°.

*Vignal, L. Gauvillier,* Machiavel. Avec 16 héliogravures. Paris. Payot, 295 p., 8°.

Послевоенная эпоха вновь пробудила интерес к Макиавелли, особенно в Германии, где появилось новое издание его большой работы «Discorsi» в серии «Классики-политики», работы Опельна-Брониковского, Форлендера и других. Этот интерес еще больше возрос в связи с 400-летием со дня смерти Макиавелли. Рецензируемые книги представляют собою работы преимущественно биографического характера. В литературном отношении все они стоят высоко, объем их значителен; книга Феррары вышла во французском переводе, а затем в оригинале, на испанском языке; книга Преццолини переведена уже на немецкий и английский языки; книга Виньяля по самому своему характеру рассчитана на французский и итальянский книжный рынок; поэтому перечисленные книги заслуживают внимания и наших читателей.

Наибольшее значение имеет первая книга, написанная юристом и политическим писателем латинской Америки — О. Феррара, бывшим представителем Кубы в Лиге наций и в панамериканском союзе, затем послом Кубы в Соединенных Штатах. Автор — либерал, франкофил, у себя на Кубе — профессор и академик, о чем любезно и очень пространно сообщают в предисловиях к обоим изданиям книги Фр. де-Миомандр и Л.-О. Дивиньо.

Книга Феррары представляет собой в значительной части довольно самостоятельную переработку биографического материала и включает обстоятельную характеристику политических и исторических работ Макиавелли.

Работа Преццолини — занимательное, полубеллетристическое произведение. Почти не давая нового материала, она интересна как попытка в красочных эскизах, иногда несколько аляповатых, воспроизвести личность Макиавелли — политика, дипломата, драматурга, — не вырывая ее из окружающей среды.

Книга Виньяля также не дает почти ничего нового в отношении биографии Макиавелли; это — простая компиляция, но она интересна подробным очерком событий французской истории, связанных с историей Италии и биографией Макиавелли, а также хорошими иллюстрациями, портретами Макиавелли и современных ему политических деятелей.

Подробного отзыва заслуживает книга Феррары. Содержание ее 15-ти глав следующее: различные суждения о Макиавелли, юность, государственная служба, Макиавелли и Чезаре Борджиа, Макиавелли — шпион

Содерини, организация милиции и путешествие в Германию, апогей влияния Макиавелли, падение республики, ссылка в Сан-Кашьяно, бессмертие и «Il Principe», представление о свободе и об управлении у Макиавелли, подчинение его Медичи, Макиавелли-драматург, Макиавелли-историк, его военная работа и смерть.

В отличие от большинства биографов Макиавелли, Феррара думает, что предки Макиавелли не принадлежали к аристократии. «Гипотеза о происхождении его от знаменитых тосканских маркизов, — пишет автор, — лишена всякого основания. Также недостоверно и то, что одна из ветвей его рода (не нося имени Макиавелли) принадлежала к феодальным сеньерам Монтепертоли» (стр. 44). Феррара выводит отсюда, что Макиавелли по происхождению не был вообще аристократом, но его аргументы нельзя признать достаточными, так как прямых положительных данных он не дает; если же фамильные предания семьи Макиавелли и были неправильны, а сам он в буржуазной республике, отменившей феодальные привилегии, естественно, не хвастался своим происхождением, это не уничтожает того факта, что его считали аристократом по происхождению, и сам он, человек без претензий, ставил свой род наравне с аристократами Пацци. Аргументы Томмазини были в свое время более серьезны. Во всяком случае и Преццолини, и Виньяль поддерживают версию об аристократическом происхождении Макиавелли.

Интересна справка о социальном положении Макиавелли, этого вечно нуждавшегося дипломата и секретаря правительства Флорентийской республики. Его имущество не возросло за время службы на этой должности. По должности он получал на наши деньги 500 рублей золотом в месяц, имея еще некоторый доход от дома во Флоренции и от дачи в Сан-Кашьяно. Это, как выражается Феррара, была только «зажиточность» (*bien-être*), он не был предпринимателем в полном смысле слова.

Феррара подробно анализирует политическое положение Флорентийской республики в эпоху Макиавелли, партии, действовавшие там. Он признает правильным «общее мнение крупнейших политиков того времени, что во Флоренции никогда не было лучшего правительства, чем то, которое существовало в 1494—1512 гг.» (стр. 55).

Хорошо освещена в книге политическая роль Макиавелли. Он никогда не был полномочным послом, он — посол для информации, для подготовки почвы («готовлю пути господу», — говорит он иронически про себя), но он пользовался огромным доверием правительства и фактически делал очень много, сидя бессменно 14 лет его секретарем, в то время как правительство переизбиралось и сменялось (стр. 57). С 1502 по 1512 г. главой республики стал Пьетро Содерини, в звании пожизненного гонфалоньера. Этот честный демократ без всяких диктаторских приемов управления (за что его и осудил впоследствии Макиавелли), будучи вождем буржуазии, пользовался авторитетом и у массы мелкой буржуазии. Макиавелли был, как указывает Феррара, не только его сторонником, но и принадлежал к его «*samarilla*», (ближайшим друзьям). Записка Макиавелли о реформе финансов — «первый шаг к политической зрелости секретаря», — где впервые он высказывает свои основные политические идеи, написана скорее для Содерини, чем для ее автора (стр. 105). Но апогея влияния и славы Макиавелли достиг организацией армии и своим решающим участием в завоевании Пизы; здесь его роль, хотя и преувеличенная друзьями, была очень велика (стр. 140). Полная политическая зрелость обнаруживается особенно в его письмах 1509 г. Характерно, что теперь он ставит своим лозунгом: *prius vivere, deinde philosophare* (сначала жить, потом философствовать) (стр. 146).

Интересны замечания Макиавелли о папстве, извлеченные автором из одного дипломатического письма Макиавелли: «Если бы Флоренция не была в том положении, в котором она находится теперь, было бы полезно, чтобы эти попы получили хороший урок». И еще: «Для того, чтобы оказать сопротивление папе, не нужно иметь столько императоров и делать столько шума» (стр. 155).

Однако после свержения республиканского правительства Макиавелли пришлось не столько «жить», сколько «философствовать», — в ссылке он стал настоящим писателем. Феррара подробно анализирует работу Макиавелли над его основными политическими сочинениями «*Il Principe*» и «*Discorsi*», а затем оценивает его как историка. Он правильно критикует легенду о Макиавелли — защитнике монархов, разоблачает клевету на Макиавелли и лицемерные обвинения его в безнравственности. Феррара подчеркивает, что в то время, когда Макиавелли больше всего ненавидели — от Монтеня до Монтескье, — «его советам следовали с большим или меньшим лицемерием все, не исключая нежного и надоедливового Боссюэта» (стр. 229). Но его собственные объяснения общих политических взглядов Макиавелли, по нашему мнению, далеко нельзя признать верными. Макиавелли был буржуазный демократ — это понимает Феррара, хотя он и не анализирует Макиавелли с классово-экономической точки зрения. Макиавелли допускал единоличную власть лишь как временную диктатуру для установления буржуазно-демократической республики, власть «разумного организатора» нового строя. Феррара же думает, что, изучая единоличную власть и республику беспристрастно (*avec impartialité*) и ставя себе основной задачей сохранить государство всеми средствами среди «бушующего моря» тогдашней действительности, среди переворотов и войн, — Макиавелли считал обе эти формы власти — «тиранию и свободу» — «одинаково полезными» (стр. 204). Это скорее рассуждение современного буржуа, знающего, конечно, цену современной буржуазной республике, которую действительно не отличишь от тирании. В других случаях автор прав, указывая, что Макиавелли рассуждает часто, как наш современник; в идеях буржуазной революционной диктатуры и фашизма — буржуазной реакционной диктатуры — есть общее, именно то, что обе формы диктатуры являются диктатурой одного и того же класса. Это выражается ясно у Макиавелли в его отношении к мелкой буржуазии и особенно к рабочим мануфактуры, но на этом Феррара, естественно, не останавливается. Что касается характеристики «Флорентийской истории», то Феррара, следуя за Томмазини, считает, что как фактическая история эта книга уступает даже более ранним и современным ей работам Л. Бруни, Бьондо, Поджо Гвиччардини, Джовио, Аммирато; что Макиавелли «постоянно впадает в ошибки, все время списывает у других»; что первые четыре книги почти сплошь списаны у предшественников, вторая половина — более самостоятельная компиляция (стр. 331), но в те времена подобное списывание у других авторов было очень распространено (стр. 332). Феррара признает все же, что Макиавелли, вместе со своими современниками, открывает новую фазу в развитии истории — «передачу фактов в их взаимной связи, в понятной и логичной форме» (стр. 333). Новое у него: 1) «современная проблема столкновений между буржуазией и пролетариатом (*popolo* и *plebe* того времени)»; 2) рассмотрение флорентийской истории в связи с историей Италии (чего нет у Бруни и Поджо), 3) «очень интересные политические введения к каждой книге, нечто вроде философии истории» (стр. 335). Эти черты как раз и ставят книгу Макиавелли выше всех современных ему исторических сочинений. Для нас особенно важна последовательно проводимая им классовая точка зрения, конечно в его понимании. Книга Феррара полезна

для всех интересующихся Макиавелли как политическим деятелем и писателем.

Вторая из рецензируемых работ — книжка Преццолини — предназначена для широкой публики.

Для характеристики полубеллетристической манеры писания Преццолини приведем два примера. Один — глава III под заглавием «Паспорт Никколо Макиавелли». В форме паспорта дана беглая характеристика Макиавелли. «Сын покойного Бернардо и Бартоломеи ди Стефано Нелли; родился во Флоренции 3 мая 1468 г.; профессия: секретарь Комиссии десяти по военным делам и других комиссий Флорентийской республики (с 19 июня 1498 г. по 7 ноября 1512 г.); рост — средний; телосложение — худой; глаза — черные и живые; волосы — черные, как ворон; голова — маленькая, лоб — широкий; рот — маленький, губы — тонкие; улыбка, естественно, «макиавеллическая»; скулы — выдающиеся, как у кошки, у куницы, у обезьяны и у других хитрых животных; особые приметы: волосатый; семейное положение: женат на Мариетте ди Бартоломео Корсини. Печати и марки на отметках о прибытии и отбытии: Пьомбино, Форли, Сиена, Рим, Пиза, Ареццо, Мантуя, Феррара, Перуджия, Ассизи, Сенигалия, королевство Франция, Швейцарская федерация, Германская империя, Верона, Пьяченца, Чивитавеккиа и т. д. (стр. 25—26).

Другой пример: замечательное воспроизведение протокола Большого совета республики 10 июня 1527 г., когда, после вторичного изгнания Медичи и восстановления республики, Макиавелли выставил свою кандидатуру в секретари правительства. Однако времена изменились: вместо буржуазии капиталистического типа у власти стала мелкая буржуазия, весьма демократическая, но примыкавшая к партии *riagnopì* (плаке), бывших сторонников Савонаролы, враждебных всякому экономическому и социальному прогрессу. Присутствуют 567 членов Совета, отсутствуют 23, «извинились» 20. Председательствует Никколо ди Джинно Каппони, gonfalonьер республики. На обсуждение поставлено предложение назначить секретарем республики Флоренции Никколо ди Бернардо Макиавелли, по профессии историка. Б. Аванчини — против: Макиавелли стал сторонником Медичи и после того, как служил республике, изменил ей; достаточно сказать, что он получал жалованье от папы Климента VII. Другие ораторы указывают, что Макиавелли осуждал внешнюю политику флорентинцев, — в его комедиях осмеяны самые уважаемые граждане, он оказывал предпочтение немецким солдатам над итальянскими. Лунджи Аламани — за Макиавелли: он всегда хотел добра отечеству, знает политические дела, как никто другой; если к нему хорошо относятся знать и иностранцы, тем лучше; наконец, он честный человек, за столько лет службы ни одного флорина не пришло к его рукам. Вновь говорят, что Макиавелли критиковал Флоренцию, близок к иностранцам, получает от них деньги, его нельзя признать за доброго итальянца. Леоне дель Альбизи не верит Макиавелли: он — ученый (*голосо*: долой ученых!); отечество нуждается в людях благонадежных, а не в ученых; Макиавелли — историк, который оправдывает всех: хорошо отзывался о тиранах и выражал сочувствие их убийцам; это можно делать в истории, но нельзя допустить в государственных делах. Другие: он насмешник и считает себя выше всех, он слишком симпатизировал герцогу Валентинскому, хотел быть его министром; очевидно, если бы опять у нас был такой сосед, он мог бы изменить. Макиавелли ведет жизнь, не соответствующую обычаям и нерелигиозную, он ел скоромное в день святой пятницы, — кто видел его на проповедях? Он учил богатых отбирать имущество у бедных. — говорит Тото (Антонио) Браччолини, — учил Медичи отнимать

власть у народа. Один *riagnone* говорит: он плохо отзывался о Савонароле. (*Весь Совет: у, у, угу! угу!*) Тогда опять говорит Л. Аламанти: но поймите же, что вы совершаете настоящую глупость; Макиавелли один из немногих людей, на которых вы можете рассчитывать; сколько человек из вас были сторонниками Медичи до вчерашнего дня? (*Голоса: Не клеветать! Где он был, когда мы боролись? Где его раны? Вот наши! Он спрятался... сидел в трактире... хуже того — в библиотеке, читал старые книжонки. Не хотим философов! Долой философов! На голоса!*) Гонфалоньер ставит на голосование: 555 черных бобов, 12 белых бобов. Предложение отвергнуто (стр. 234—237). Здесь, конечно, есть подработка материала, но «дух эпохи» передан очень живо. Для религиозной и крайне патриотической мелкобуржуазной массы Макиавелли не был своим человеком, несмотря на его плебейские манеры; верно, что он служил Медичи, получал жалованье как историограф, но он не учил их угнетать народ, а советовал восстановить республику; во время свержения Медичи он был на фронте — против германского императора.

Остальное приблизительно верно. Верно и то, что новая флорентийская республика оказалась чрезвычайно неустойчивой и очень скоро привела Флоренцию к монархическому строю.

У Преццолини интересны еще некоторые социологические замечания о влиянии среды, особенно флорентийской улицы, на Макиавелли. Но автор увлекается: он пишет об улыбке Макиавелли, о его жене, любовниках и даже о том, что он ел и как он ел. Оказывается, есть два типа людей, которые различаются не меньше, чем «христиане и евреи, большевики и капиталисты»: это те, кто едят на оливковом масле, и те, кто предпочитают коровье. Так, Макиавелли любил оливковое. Вообще он не любил много есть и в ответ на приглашение эмигрировать во Францию сказал: «Предпочитаю скорее умереть от голода во Флоренции, чем от несварения желудка в Фонтенебло» (при дворе французского короля). Это, конечно, делает честь его патриотизму, которым так восторгается Преццолини.

Очень ярко описаны в книге Преццолини странствования Макиавелли, в качестве дипломата, по Италии и другим странам, его служба в качестве секретаря, его личная жизнь, его остроумие, живой, скорее оптимистический характер, несмотря на известные черты достаточно обоснованного пессимизма в его суждениях о людях, особенно о правителях государств. Излагая и оценивая политические взгляды Макиавелли, автор высказывает некоторые верные мысли, но переплетает их такими формулировками, которые искажают смысл положений Макиавелли, а иногда характеризуют больше самого автора, чем того, о ком он пишет. Например, совершенно верно, что, по Макиавелли, основатель государства «должен быть один», но это вовсе не какое-то необычайное существо, не «герой», каким его изображает автор (стр. 165). Верно, что Макиавелли объективно изучает государства, законы их движения и в числе их двигателей указывает *virtù*, т. е. человеческую активность (*attività umana*) (стр. 168). Весьма удачно написано, что про «макиавеллистов» XVII—XVIII веков, сторонников абсолютной монархии, Макиавелли мог бы сказать: «я не был макиавеллистом» (стр. 252). Но столь же неправильно утверждать, как это делает автор, что Макиавелли «не был ни монархистом, ни республиканцем, так как у него не было идеала, он писал о возможном» (*possibile*) (стр. 202). Республиканские взгляды Макиавелли достаточно ясно выражены в «*Discorsi*». Кроме того, если согласиться с автором, становится непонятно, почему Макиавелли советовал Медичи восстановить во Флоренции республику в тот момент, когда Медичи шли к установлению там монархии и ждали



от Макиавелли указаний в этом именно духе. И дальше, мотивируя точку зрения Макиавелли, Преццолини, пишет: по его мнению, «у каждого народа свои нужды, у одного не те, что у другого» (ibid.). Это скорее точка зрения Монтескье, а не Макиавелли; автор сам пишет в другом месте, что в основном правила государственного устройства, по мнению Макиавелли, одинаковы везде и всегда (стр. 167). Автор не уясняет себе исторической и классовой точки зрения Макиавелли, который полагает, что монархия уместна в феодальном или полуфеодальном обществе и что она падает вместе с ним, заменяясь новым, т. е. буржуазным, государством республиканского типа.

Всего курьезнее собственные политические высказывания автора. Во времена Макиавелли, — пишет он, — люди еще не умели жить. Теперь «мы знаем, что сражаться за свободу, — это глупость. Мы знаем, что народы не всегда хотят свободы: это — аристократическое чувство, им одарены немногие, так же как немногие бывают поэтами, немногие на самом деле моральны, гениальны и т. п.... народы в известные моменты охвачены потребностью быть под командой, хотят не думать, а повиноваться... и тогда Тиран [с большой буквы. — В. М.] полезен, необходим, послан провидением» (стр. 62).

Оказывается, Макиавелли это знал уже тогда, в то время как другие не знали. Такое толкование его идей слишком современное и фашистское: Макиавелли ведь рекомендовал истреблять тиранов. И если автор правильно отметил, что «тираны» (т. е., конечно, не тираны, а предполагаемые Макиавелли основатели новых централизованных государств) «представляли прогресс и современное государство перед лицом средневековья» (стр. 63—64), то у автора нет никаких оснований заявлять, что Макиавелли вдохновлял всех позднейших тиранов, начиная с Наполеона и кончая Муссолини, что он «подготавливал в Саландре объявление войны Австрии и сопровождал Муссолини в его марше на Рим»; это уж такой комплимент, за который старый флорентийский секретарь не поблагодарил бы своего новейшего биографа. Впрочем, может быть, по мнению последнего, этот «марш» тоже прогресс... по сравнению с средневековьем? Времена изменились, и диктатура буржуазии и ее вождей, тогда прогрессивная, стала теперь реакционной.

Книга Виньяля интересна, прежде всего, некоторыми общими соображениями, высказанными автором в предисловии. Макиавелли жил в момент наивысшего общественного подъема. Крутом него все было в состоянии возникновения и движения. «Мы присутствуем, — пишет Виньяль, — при образовании современных больших государств, при установлении нового европейского равновесия и при первых итальянских войнах, последствия которых огромны во всех областях» (стр. 9). Открытие Америки, морского пути в Индию опрокидывают экономику и политику всего мира. Одним словом, «не было на свете эпохи более плодотворной, чем эта» (стр. 10). Жизнь Макиавелли во многих отношениях малозначительна: он некрасив, беден, он играл небольшую роль, современники ставили его весьма невысоко, но от каждой эпохи остаются, в конце концов, «только произведения искусства да кой-какие книжки», и вот Макиавелли «в течение четырех веков медленно берет над большинством своих великолепных современников обычный реванш человека мысли над человеком действия» (ibid.). Все это слишком драматизировано. Оценивая кратко основные политические идеи Макиавелли, Виньяль приходит к такому выводу: «Средства, употребляемые в политике, нисколько не изменились со времен Макиавелли. Случаи, когда обман и сила одерживают верх над честностью и правом, составляют вплоть до нашего времени все содержание:

истории. Но всякий изображает дело так, что это — обычай прошлого времени и что теперь в политических отношениях народов царствует новый порядок. Таким образом, Макиавелли обязан своей славой наивности одной части человечества и лицемерию другой» (ibid.). Это недурная характеристика современной буржуазной политики.

Книга Виньяля излагает события жизни Макиавелли, истории Флоренции, других итальянских государств, Франции и смежных стран, поскольку эти события между собою связаны. Изложение идет в строго хронологическом порядке, месяц за месяцем. Автор пользуется разнообразными печатными источниками, главным образом французскими, широко использует сочинения Макиавелли, особенно его отчеты о посольствах и обширную переписку с правительством Флорентийской республики; многое, как указывает сам автор, изложено словами Макиавелли. Благодаря этому методу автор успешно достигает своей цели — изобразить Макиавелли «на его собственном маленьком месте, предоставляя другим играть первую роль, если этого требуют исторические обстоятельства» (стр. 11).

В общем изложение остается узко-фактическим. Мы не находим в книге анализа классовых отношений во Флоренции того времени, слишком мало социальной истории вообще. Виньяль повествует по типу старых историков о политических событиях в их прагматической связи, иногда вставляя в цепь фактов небольшие характеристики лиц, народов, обстановки. Автор неправ, говоря, что Макиавелли чужд всего, что имеет отношение к искусству (стр. 17): он оставил крупный след в истории драматического искусства своей комедией «Мандрагора». Другие драматические отрывки и незаконченная поэма «О золотом осле» тоже неплохие вещи.

Рассуждения Виньяля об основных работах Макиавелли «Il Principe» и «Discorsi», о республиканских и монархических тенденциях этих книг и т. п. не имеют серьезного значения, хотя некоторые из них обоснованы и разумны. Книга заканчивается несложной, но довольно удачной характеристикой Макиавелли как политика и писателя и большой, хорошо составленной библиографией, включающей свыше 200 названий. В книге очень ценна ее иллюстративная часть: даны прекрасно исполненные портреты Макиавелли, Цезаре Борджиа, Лодовико Моро, королей Карла VIII и Людовика XII, пап Юлия II, Льва X и Климента VII, императора Максимилиана и др.

*В. Максимовский.*

# НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ О ВЕЙТЛИНГЕ

Литература о Вейтлинге довольно обширна. Ни его современники, ни позднейшие историки немецкого рабочего движения не умаляли той роли, которую играл талантливый подмастерье в первой фазе этого движения. Однако до сих пор еще не имеется полной биографии, которая охватывала бы все стороны бурной жизни Вейтлинга, представляла бы единое целое и изображала вызванное и руководимое им движение как одно из звеньев в цепи развития классовой борьбы предмартовской Германии. Многочисленные статьи о Вейтлинге, брошюры, отдельные главы в книгах, введения к новым изданиям его произведений ограничиваются почти исключительно его трехлетней деятельностью в Швейцарии. Бесспорна, конечно, важность этой организаторской и литературной работы в Швейцарии как первой попытки обосновать требования немецкого рабочего класса. Но и последующие годы жизни Вейтлинга, — его влияние на движение 40-х годов в Германии, его деятельность в Лондоне, Брюсселе, Гамбурге, Америке — все это имеет не одно лишь психологическое значение.

До сих пор мы очень мало знали о периоде 1844—1847 гг. Трехмесячному пребыванию Вейтлинга в Германии, от мая до августа 1844 г. даже в наиболее полной биографии Вейтлинга, написанной Э. Калером,<sup>1</sup> посвящено несколько строк, повторяющих то, что Бруно Бауэр написал еще в 40-х годах.<sup>2</sup> Позднейшие историки ничего не могли прибавить к этим, отчасти неправильно освещающим события, строкам, и даже Меринг не дал ничего существенно нового в своем биографическом очерке. Не лучше обстояло дело с материалами, относящимися к дальнейшему семнадцатимесячному пребыванию Вейтлинга в Лондоне. Они сводятся к двум напечатанным речам Вейтлинга, произнесенным на празднествах 22 сентября 1844 и 1845 гг., и к протокольным записям дискуссий в Лондонском коммунистическом клубе, опубликованным М. Неттлау.<sup>3</sup> Этот пробел теперь может быть пополнен интересными материалами из западно-европейских архивов. Когда Институт К. Маркса и Ф. Энгельса несколько лет тому назад приступил к созданию архива по истории социализма и рабочего движения на Западе, эти материалы (в Прусском тайном, Гамбургском и Швейцарском государственных архивах) были полностью сфотографированы. Но оказалось, что кроме нас ими заинтересовались также и представители «христианского социализма» в Германии. Осенью

<sup>1</sup> *Emil Kaler*, Wilhelm Weitling, seine Agitation und seine Lehre im geschichtlichen Zusammenhange dargestellt. Hottingen-Zürich, 1887.

<sup>2</sup> *Br. Bauer*, Vollständige Geschichte der Parteikämpfe in Deutschland während der Jahre 1842—46. Bd. 3. Charlottenburg, 1847, S. 60—61.

<sup>3</sup> *Max Nettlau*, Londoner deutsche kommunistische Diskussionen. 1845. В. «Grünberg-Archiv», 10 Jg., 1922, S. 362—391.

1929 г. проф. богословия *Барниколь* напечатал наиболее интересные данные из этих архивов — прежде всего большое произведение самого Вейтлинга — и комментарии к ним.<sup>1</sup> Но прежде чем перейти к характеристике этих новых материалов, а также к характеристике их обработки и комментирования Барниколем, скажем несколько слов о том течении в современной общественной жизни Германии, одним из идеологов которого является проф. Э. Барниколь, течение, которое старается представить Вейтлинга, во-первых, в качестве «провозвестника» своих идей, во-вторых, как пример осуществимости этих идей.

Два тома материалов о Вейтлинге открывают серию документов и исследований под общим заглавием: «Христианство и социализм», издаваемую Барниколем. Это течение стремится создать и противопоставить «церкви сверху» — «церковь снизу», «отцом и основателем которой является не Маркс, а Вейтлинг» (стр. 7). Но своими публикациями Барниколь преследует не только цели пересмотра «истории церкви». Нет. «Эта серия служит, с другой стороны, социализму и исторической науке. Историки культуры и государства забывали до сих пор о научном исследовании истории социализма... Но и сам социализм пренебрегал своей историей и не освещал ее, довольствуясь остроумной легендой о Марксе и прославлением его Францем Мерингом, который принес в жертву герою исторического материализма все, даже предшественника, Вейтлинга. Можно сказать, что социализм постыдно скрыл свою предмартовскую историю и свое — будь это антитезис или тезис — религиозное происхождение и отрекся от них»... (стр. 9). Блестящими исключениями из этого правила Барниколь считает книгу Онкена о Лассале и биографию Энгельса, написанную Майером. Но верную общую историю социализма обещает дать сам проф. Барниколь. Это «Общее изложение», (для которого Барниколь пока что собирает материалы, — ибо, «чтобы заговорили факты, нужно обнаружить засыпанные и скрытые источники и сделать выводы») — мыслится автором как реконструкция «подлинного», не испорченного марксизмом социализма. Задача эта представляется ему особенно важной именно сейчас, когда «атеистический» период социализма, «заполненный» Марксом и Энгельсом, окончательно миновал после 1918 г. Это тем более, — по его мнению, — необходимо, что «большевизм культивирует с технической виртуозностью, могущественным аппаратом и искусной пропагандой с позволения сказать историю марксизма». — Автор имеет в виду в первую очередь деятельность Института К. Маркса и Ф. Энгельса... «Все совершается согласно атеистической программе Москвы. Однако дни марксистского атеизма сочтены, а с религиозно-политической точки зрения этот атеизм был в принципе для Германии лишь эпизодом и сопутствующим явлением 1848—1918 гг.» (стр. 9). Рассматривая, таким образом, социализм не как научное мировоззрение осознавшего свою историческую роль класса промышленного пролетариата, а как религиозную систему «народа снизу», Барниколь, естественно, ищет в системе Вейтлинга не ту сторону его двойственной теории ремесленного коммунизма, которая составляет историческую ценность ее как *первой* фазы немецкого рабочего движения, как *первого* документа проявления классовой сознательности рабочего класса, когда на определенной исторической ступени его развития *ремесленные подмастерья* были его идеологами. Напротив, религиозные

<sup>1</sup> Prof. D. Dr. *Ernst Barnikol*, Weitling der Gefangene und seine «Gerechtigkeit». Kiel, Walter G. Mührlau Verlag, 1929, 280 S.—Gerechtigkeit. Ein Studium in 500 Tagen von *Wilhelm Weitling*. Erstausgabe von Prof. D. Dr. Ernst Barnikol. Kiel, Walter G. Mührlau Verlag, 1929, 379 S. (Christentum und Sozialismus. Quellen und Darstellungen, herausgegeben von Prof. D. Dr. Ernst Barnikol, Bd. 1 — 2.)

элементы ремесленного коммунизма, являющиеся результатом классовой *недоразвитости, отсталости* подмастерьев, проф. Варниколь превращает в *основу* социализма и, сближая ее с теорией и практикой современной германской социал-демократии в области религии, провозглашает «атеистический марксизм» лишь «эпизодом и сопутствующим явлением». Нужно сказать, что эта теория Варниколя не оригинальна и не нова. Приблизительно те же идеи высказывал еще *Ф. Маллинг* в своей работе, вышедшей в 1921 г.<sup>1</sup> Но с тех пор движение так называемого религиозного социализма, как в протестантской, так и в католической церквях Германии, расширилось: по существу оно представляет собою новый тактический прием господствующего класса, направленный на завоевание рабочих масс.

Работая над Бруно Бауэром и немецким сектантским движением, Варниколь, — как он рассказывает в предисловии, — натолкнулся и на Вейтлинга. Разыскивая в немецких архивах материалы о нем, он открыл в Гамбурге конфискованные при аресте в 1849 г. бумаги Вейтлинга; среди них оказались и рукописи произведений, которые упоминались кое-где в литературе и в воспоминаниях самого Вейтлинга, но которые считались пропавшими или уничтоженными. На основании этих новых архивных данных Варниколь устанавливает, что, кроме известных, опубликованных работ Вейтлинга, им были написаны еще следующие произведения: 1) «Denklehre», 2) «Gerechtigkeit», 3) «Sozialwerk», 4) Wahrheitssystem, 5) «Astronomie» и 6) «Klassifikation des Universums». Из них, — как рассказывает в своей книге Герм. Шлютер<sup>2</sup>, — первая работа — «Denklehre» — была уничтожена самим Вейтлингом в 1869 г. Из других среди гамбургских бумаг оказались рукописи «Gerechtigkeit», «Klassifikation des Universums» и «Theorie des Welt-systems».<sup>3</sup>

Переходя к обзору и характеристике опубликованных Варниколем документов, нужно прежде всего сказать, что социалистическое мировоззрение, как и история социализма, являются для нашего профессора terra incognita. Нужно только удивляться, что историк, подобный Онкену, мог рекомендовать эти публикации.<sup>4</sup> Кроме того, Варниколь, резко отличаясь этим от обычно столь педантичных немецких университетских буржуазных ученых, издал документы в очень неряшливом виде как со стороны их классификации, так и со стороны обработки текста и, особенно, комментирования.<sup>5</sup> Первая книга публикаций Варниколя содержит «Gerechtigkeit» Вейтлинга, в другой дано длинное и скучное внешнее описание рукописи, затем изложение ее содержания и «психологической ценности», а также приложения — документы о допросе Вейтлинга, тюремные стихи; наконец, документы из швейцарского, австрийского, прусского и гамбургского архивов о следовании Вейтлинга через Германию, о полицейском наблюдении за ним в Лондоне и ряд писем как Вейтлинга, так и к Вейтлингу. Все эти документы так разбросаны в книге, что читателю трудно получить общее представление о том важном и новом, что дают эти материалы. Кроме того, Варниколь опубликовал из всего огромного архивного материала о Вейт-

i

<sup>1</sup> *Friedrich Mahling*, Das religiöse und antireligiöse Moment in der ersten deutschen Arbeiterbewegung. (Festgabe für A. von Harnack zum 70. Geburtstag. Tübingen, Mohr, 1921, S. 183 — 214.)

<sup>2</sup> *Herm. Schlüter*, Die Anfänge der deutschen Arbeiterbewegung in Amerika. Stuttgart, Dietz, 1907.

<sup>3</sup> Варниколь обещает опубликовать и две последние работы (будущие III и IV тома серии «Христианство и социализм»).

<sup>4</sup> По рекомендации Онкена и др. Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft финансировало печатание публикации Варниколя.

<sup>5</sup> Нужно также указать на обилие опечаток (неоговоренных) и неправильных датировок.

линге лишь документы, казавшиеся ему самыми важными. В нашем обзоре мы поэтому будем 1) придерживаться хронологического порядка характеристики опубликованных материалов, давая необходимые комментарии и устанавливая те исторические и биографические связи, которые нужны для понимания этих документов; 2) попутно критикуя те комментарии, которыми Барнколь снабдил свою публикацию, мы будем давать и некоторые важные дополнения как из материалов германских архивов, так и из архива Института К. Маркса и Ф. Энгельса.

Опубликованные шесть допросов Вейтлинга, которые произведены были цюрихской полицией с 8 июня по 15 сентября 1843 г., и три прошения его из тюрьмы (I, стр. 137—147), затем отчеты об обыске, процессе и высылке его после отбывания наказания не дают, за исключением некоторых деталей, ничего особенно нового по сравнению с известным отчетом Блюнчи и др. опубликованными источниками. Совсем новый свет на дело Вейтлинга проливают лишь документы из Прусского тайного архива с момента ареста Вейтлинга немецкой полицией. 20 июня 1844 г. он был передан полицией Бадена — вюртембергской, а в конце июня — прусской полиции, и 1 июля прибыл в Магдебург по этапу. Прусский министр внутренних дел Арним сейчас же, не дожидаясь известий из Магдебурга, послал туда распоряжение «озаботиться о том, чтобы Вейтлинг немедленно покинул страну, с применением, в случае надобности, принудительных мер». Если у него нет необходимых средств для существования, обер-президент может его поддержать. «Если бы, впрочем, возник вопрос о привлечении Вейтлинга к ответственности и по сию сторону границы вследствие инкриминируемой ему изменнической деятельности, то я должен заметить, что более важные соображения говорят против этого и делают желательным возможно скорое избавление от этого субъекта». Но это было не так легко.<sup>1</sup> По прибытии в Магдебург Вейтлинг тотчас же был отдан под надзор полиции, и ему запретили всякое посещение ремесленных постоялых дворов; он выразил желание поехать через Гамбург в Париж. Обер-бургомистру Франке было поручено выдать ему паспорт, предупредив, что всякое возвращение его в Пруссию повлечет за собою два года исправительной тюрьмы. На это Вейтлинг, однако, не согласился. Он требовал паспорта со всеми правами прусского подданного и свободы возвращения. Магдебургские власти также считали это требование основательным, так как они сами находили, что такого рода паспорт не гарантирует в достаточной мере Вейтлинга: из Франции могут его выслать, что повлечет за собой «неприятные затруднения». На запрос в Берлин, как произвести принудительное изгнание, Арним ответил 27 июля: «как каждого бродягу» и «безотлагательно». Но, как показал неудачный опыт высылки Вейтлинга в Брауншвейг,<sup>2</sup> выполнение этого приказа оказалось невозможным, да и само министерство внутренних дел к тому времени вынуждено было изменить свою тактику: с одной стороны, радикальная и социалистическая пресса сделала историю с Вейтлингом предметом публичных дебатов — и даже гораздо более шумных, чем это могло нравиться прусскому правительству при тогдашнем положении вещей; с другой стороны, сам король был втянут в это дело и требовал подробного отчета. Фридрих-Вильгельм IV получил уже в начале июня, когда Вейтлинг даже не был еще в Пруссии, анонимное *угрожающее письмо* (с датой: Париж, 6 июня),

<sup>1</sup> Барнколь не использовал в достаточной мере акты прусского архива о Вейтлинге, и поэтому многие закулисные полицейские и политические интриги вокруг «дела Вейтлинга» так и остались невыясненными.

<sup>2</sup> Брауншвейгская полиция просто вернула его обратно в Пруссию.

в котором, между прочим, говорилось, что Вейтлинг, по окончании тюремного заключения в Цюрихе, был выдан прусским властям, после того как прусский посланник в Швейцарии отказал ему в паспорте для эмиграции в Америку.<sup>1</sup> К тому же было получено еще личное обращение Вейтлинга, в котором он сообщал королю о своем пребывании за границей и, как прусский подданный, просил о легитимации, которая дала бы ему возможность во всякое время вернуться в Пруссию. В результате подробного отчета королю об этом деле до поры до времени были приостановлены всякие агрессивные меры по отношению к Вейтлингу, и нескольким референдариям поручено было заняться изучением его произведений и коммунистического ремесленного движения.

Если задать вопрос, какими мотивами руководилось прусское правительство, действуя подобным образом по отношению к «наборщику»<sup>2</sup> Вейтлингу, то и здесь Барниколь не понял связи этих поступков с общественно-политическим положением тогдашней Германии. Барниколь думает, что «судьба Вейтлинга и обращение с ним, как в Цюрихе, так и в Магдебурге, существенным образом определились анонимными угрозами мести его друзей. И именно в одном, благоприятном для Вейтлинга, смысле» (I, стр. 99). В особенности это анонимное письмо из Парижа, по мнению Барниколя, «наугало прусского министра и живейшим образом побудило его возможно скорее и под благовидным предлогом убрать этого опасного Вейтлинга в далекую Америку» (I, 100). Но не только Барниколь, еще задолго до него Г. Адлер,<sup>3</sup> а также и Ф. Меринг<sup>4</sup> склонны были объяснять этот «мягкий» образ действия «гуманностью прусского правительства», между тем как — это подтверждается полностью архивными документами — простое политическое благообразие диктовало необходимость быстро и незаметно выпроводить Вейтлинга из страны. То обстоятельство, что его нельзя было как бродягу переправить через границу, объяснялось, как показала история с Брауншвейгом, именно не «гуманностью» предмартовской Пруссии, а прусским подданством Вейтлинга. Взять его на военную службу или посадить в тюрьму казалось опасным, потому что это прежде всего взбудоражило бы общественное мнение, а правительство всячески старалось этого избежать. Всего за несколько дней до прибытия Вейтлинга в Магдебург было жестоко подавлено восстание более чем 5000 силезских ткачей; в Бреславле около того же времени произошли волнения рабочих, в Глуме взбунтовались матросы и т. д. В соседней Богемии также высоко поднялась волна рабочих восстаний, например 16 июня в Праге, затем в Рейхенберге, в Богемском Лепе среди ткачей. В Саксонии волнения происходили среди железнодорожных рабочих, в самом Магдебурге среди рабочих на сахарных заводах, а в Ингольштадте среди фортификационных рабочих. Хотя эти восстания имели

<sup>1</sup> Королю и министрам цензуры очень важно было унать автора анонимного письма. Вследствие этого завязалась длинная переписка между парижским префектом полиции Делессером и прусским посланником в Париже Арнимом, с одной стороны, и между последним и министрами цензуры в Берлине — с другой стороны. Из документов видно, что Делессеру удалось получить два письма В.-Г. Мейрера, с которыми он сравнил почерк анонимного письма: он утверждал, что автором письма является Мейрер. Министр внутренних дел не мог, однако, найти «ни малейшего сходства», но высказался в том смысле, что мнение Делессера может послужить поводом для мотивировки предложения об изгнании Мейрера из Франции, тем более, что последний состоял сотрудником «Vorwärts».

<sup>2</sup> Арним тщательно исправлял всегда слово «Schriftsteller» (писатель) в черновиках своих чиновников и заменял его словом «Schriftsetzer» (наборщик).

<sup>3</sup> *Georg Adler*, Die Geschichte der ersten sozialpolitischen Arbeiterbewegung in Deutschland mit besonderer Rücksicht auf die einwirkenden Theorien. Breslau, 1885, S. 79.

<sup>4</sup> *Franz Mehring*, Einleitung zur Jubiläumsausgabe von Weitlings Garantien, Berlin, 1908, S. XXXIV.

лишь спорадический характер и не были непосредственно связаны с вейтлингианским коммунистическим ремесленным движением, все же в Берлине отлично сознавали, что такой человек, как Вейтлинг, так хорошо умевший говорить с этими людьми в казарме или в тюрьме, являлся в высшей степени опасным подданным. Нужно также иметь в виду, что шум, поднятый весной 1844 г. вслед за опубликованием отчета комиссии Блюнчли о Вейтлинге и коммунистическом ремесленном движении, заставил, повидимому, прусское правительство считать этого человека более опасным, чем он был на самом деле. Отчет, разосланный всем посланникам и попавший также на книжный рынок, был в Германии единственным источником для ознакомления с системой Вейтлинга, так как его произведения были доступны лишь немногим. Отчет этот в теоретическом отношении представлял очень поверхностное изложение учения Вейтлинга. Так как при составлении его большую роль играли личные счеты Блюнчли с Ю. Фребелем и партийные мотивы по отношению к цюрихским радикалам (прежде всего указание на их связи с коммунистами имело в виду уничтожить этих последних), то характеристика Вейтлинга и его системы вышла карикатурной и утрированной. Забив тревогу по поводу сильной коммунистической опасности, угрожающей всему человечеству, Блюнчли с негодованием говорит: «Так, все прежние права, все учреждения, создававшиеся в течение веков тяжелым трудом для блага народов и человечества, весь божественный и человеческий порядок должны быть низвергнуты в необъятную пропасть и поглощены ею».<sup>1</sup> Этот «призрак коммунизма» вероятно пугал тогда и берлинских правителей и еще усиливал их страх перед его немецким основателем и агитатором.<sup>2</sup> Хотя и было известно, что ремесленное движение в Германии, вследствие принятых правительствами разнообразных мер предосторожности и угнетения, не находится ни в какой прямой связи с Швейцарией, но, во-первых, социальное положение рабочего класса, чудовищно эксплуатируемого ранним капитализмом, так ухудшилось, а почва для недовольства, для восстания была так благоприятна, что всегда достаточно было одной искры, для того чтобы зажечь пожар восстания. Во-вторых, определенная группа немецкого общества сделала Вейтлинга мучеником свободы еще до его прибытия в Германию и подняла его на щит. Это были в особенности два кружка: первый составил из остатков различных фракций литературной «Молодой Германии», группировавшихся по большей части вокруг гамбургского «Телеграфа»; вождями его были Карл Гукцов, а затем Георг Ширгес. Второй кружок состоял из представителей различных оттенков домартовского истинного социализма; главным органом его была «Трирская газета». Вейтлинг еще в Швейцарии вступил в связь с обоими кружками. Гукцов вошел с ним в сношения еще ранее Ю. Фребеля и в одном письме высказывался за коммунистический принцип, не будучи, однако, согласен с Вейтлингом. В 1843 г. «Телеграф» приводит выдержку из «Гарантий гармонии и свободы» с довольно бесцветным введением, в котором коммунизм характеризуется как «животрепещущий жизненный вопрос».<sup>3</sup> Вейтлинг находился в дружеской переписке и с главой истинных социалистов того времени, Моисеем Гессом, хотя последний и относился критически к его принципам. Вот что говорит Бруно Бауэр о значении Вейтлинга для первого кружка:

<sup>1</sup> *Bluntschli*, Kommissionalbericht, S. 124.

<sup>2</sup> Г. Ширгес по этому поводу пишет: «Не получает прусского ордена Орла великий коммунист Блюнчли. Он, несомненно, оказал плохую услугу немецким правительствам тем, что, вместо того чтобы предоставить коммунизму критику, он стал везде трубить о нем и забил тревогу». («Telegraph», № 141, September 1844.)

<sup>3</sup> «Telegraph», № 107, Juli 1843.



«Жертва государственной мудрости господина Блюнчли Вейтлинг сидел еще в тюрьме, когда его дело, организация общества, стало в Германии общим делом «ищущих» умов. Правда, его «Гарантии» читали лишь очень немногие, так как не смогли найти правильного пути для распространения их через книжную торговлю, но тайна только усиливала представление об огромной смелости и страшной истине открытия, для распространения которого не нашлось даже ни одного комиссионера-книгопродавца; для слабого же интереса, который обыкновенно проявляют «ищущие» любопытные радикалы к частностям и подробностям, было достаточно отчета цюрихской комиссии, опубликованного по предложению Блюнчли. Организация труда, организация общества стали теперь лозунгами прогресса, и сантиментальность, «божественная скорбь» радикализма приобрели огромное значение *общественной совести*, которая во имя общества скорбела о бедности и преступлениях. Настало, наконец, время, которого так жаждал К. Гуцков в начале года, которое «святыми слезами преобразует мир». Гуцков, в конце концов, наслаждался блаженством «исходить слезами», ибо вскоре после этого он оставил почву коммунизма и своей горячей любви к человечеству, чтобы предоставить разработку ее более молодым силам.<sup>1</sup>

Таким «работником на почве коммунизма» был редактор (после Гуцкова) и издатель «Телеграфа» Георг Ширгес. К нему Вейтлинг обратился после своего освобождения из тюрьмы со всеми своими литературными планами. Спустя некоторое время после своего прибытия в Магдебург он получил письмо от Ширгеса (от 4 июля 1844 г.) (напечатанное Барниколем, I, стр. 231), обещавшего содействовать опубликованию их. Барниколь дает целый ряд писем из прусского архива без всяких введений или примечаний, так что они не имеют никакой связи друг с другом. В частности, для понимания длинного письма Карла Фребеля от 31 июля 1844 г. Вейтлингу нужно иметь в виду следующее: коммунистическое движение в Швейцарии было так ослаблено арестом его организатора, что оно, являясь уже исторически пройденной фазой в рабочем движении, не могло больше оправиться и вернуться к своему прежнему цветущему состоянию. При слабом характере Августа Беккера, преемника Вейтлинга, руководство движением перешло к пророкам Альбрехту и Кульману, и, в то время, когда Вейтлинг жил в Магдебурге, оно уже совершенно выдохлось. Не лучше были отношения Вейтлинга к радикалам в Швейцарии, особенно к братьям Фребель. Если они, как говорит Бруно Бауэр, уже до катастрофы только упустили подходящий момент «отказаться от Вейтлинга», то теперь, после того как они публично были скомпрометированы и им был нанесен политический удар, — опубликованием взятых у Вейтлинга документов, — их симпатии к нему стали еще слабее. Действительно, Фребели, к которым Вейтлинг также обратился после своего освобождения, открыто дали ему понять, что ему нечего рассчитывать ни на материальную, ни на какую-либо другую поддержку с их стороны. Ответ Карла Фребеля (I, стр. 228 — 230) является вместе с тем отречением от коммуниста Вейтлинга.

Наибольшее сочувствие Вейтлинг, само собою разумеется, встретил среди немецких ремесленников. Хотя в самой Пруссии у него не было организованной группы ремесленников, с которой он в это время состоял бы в личных сношениях, зато его старый друг и партийный товарищ еще по Парижу столяр *И.-Ф. Мартенс* уже за несколько месяцев до этого вернулся на свою родину в Гамбург и устроил маленькую общину. 23 июля Вейтлинг написал этой общине письмо, в котором он, вероятно, изображал свое по-

<sup>1</sup> *Bruno Bauer*, I. c., S. 61 — 62.

ложение и особенно подробно — свои литературные планы. Уже 4 августа был получен ободряющий ответ Мартенса, напечатанный у Барниколя (I, стр. 231—232). Но и в Магдебурге симпатии к Вейтлингу в «народе»<sup>1</sup> все усиливались, что все сильнее и сильнее беспокоило полицию. Поэтому Вейтлинга отправили парохомом по Эльбе в Гамбург. «Масса народа и видных магдебургских граждан провожали его на пароход».<sup>2</sup> В Гамбурге, где полиция приняла его весьма вежливо, он пробыл пять дней — от 18 до 23 августа.<sup>3</sup> Это пребывание его имело для рабочего движения в самом Гамбурге и в его окрестностях самое большое значение и на многие годы. Факт этот должен был, конечно, иметь свою отрицательную сторону в будущем, потому что движение подпало, таким образом, под влияние идей ремесленного коммунизма и еще в 1848—1849 гг. являлось единственным местом, где велась успешная вейтлингианская агитация. Хотя там существовал уже не-большой коммунистический кружок под руководством Мартенса, но его влияние было очень слабо. Теперь Вейтлинг познакомил членов этого кружка, главным образом И.-Ф. Мартенса, со своим другом и покровителем Георгом Ширгесом и навел их на мысль об образовании просветительного общества, которое вскоре после этого и было основано.<sup>4</sup> Другим важным делом для Вейтлинга в Гамбурге были его переговоры с издательством Гофман и Кампе. Во время его заключения в Цюрихе у него возник целый ряд новых идей, которые он собирался литературно обработать. Собрание стихотворений, написанных в тюрьме, было уже готово к печати, другие работы начаты. Среди последних Ширгес настаивал в особенности на быстром окончании истории его осуждения, заключения в Цюрихе и высылки из Швейцарии и из Пруссии. Сенсация, вызванная осуждением Вейтлинга, давала право надеяться, что эта «история» привлечет особенное внимание публики и принесет пользу коммунизму. При посредничестве Ширгеса Вейтлинг познакомился с владельцем издательства, Юлиусом Кампе, продал ему за 10 лудиров свои стихотворения, изданные вскоре под заглавием «Тюремные стихотворения»<sup>5</sup> и, по всей вероятности, сговорился и об издании вновь задуманных произведений. Как известно, в одно из своих посещений книжного магазина Кампе он встретился с Гейне, который жил тогда в Гамбурге и издавал у Кампе свою «Зимнюю сказку». Гейне описал эту встречу в своих «Признаниях».<sup>6</sup>

Как Вейтлинг был встречен своими друзьями из Лондонского коммунистического общества и чартистами — известно. Здесь он в первую очередь принялся за описание своего цюрихского заключения, составляющее толстый том публикации Барниколя. Так как последний очень подробно останавливается на истории этой рукописи, времени ее написания и т. д., то мы приводим здесь два письма Вейтлинга к Кампе, которые дают нам всю историю этого произведения.<sup>7</sup> Первое письмо датировано 26-м ноября 1844 г. и гласит:

<sup>1</sup> См. «Telegraph» № 141 от сентября 1844 г.

<sup>2</sup> Там же.

<sup>3</sup> Важнейшие документы по допросу Вейтлинга в Магдебурге и Гамбурге напечатаны у Барниколя.

<sup>4</sup> См. *H. Laufenberg*, *Geschichte der Arbeiterbewegung in Hamburg, Altona und Umgegend*. Hamburg, 1911, S. 96.

<sup>5</sup> Перепечатаны Барниколем (I, стр. 154 — 184).

<sup>6</sup> 21 сентября 1844 г. Гейне писал из Гамбурга в Париж Марксу: «Я собираюсь уезжать из страха предостережения свыше, у меня нет охоты подвергаться преследованиям, мои ноги не в состоянии носить оковы, как носил их Вейтлинг. Он показал мне следы их» («Neue Zeit», XIV, 1).

<sup>7</sup> Оригиналы этих двух писем хранятся в архиве Института К. Маркса и Ф. Энгельса.

Дорогой господин Кампе!

*«Справедливость, наблюдение в течение 500 дней».*

Содержание: сцена из десятого года моей жизни, затем мое цюрихское заключение и перевозка со всеми сопровождавшими ее интригами и преступлениями. Общий обзор.

*Форма:* три отдела: Первоначальная школа. — Средняя школа. — Экзамен. Вся пьеса разделена на 100 сцен, из которых каждая сопровождается датой. Все происходящее в ней сцены, все факты соответствуют действительности. За каждой сценой следует рассуждение, дающее читателю представление о том впечатлении, которое эта сцена произвела на меня, как я объяснял себе ее и что я считал причиной ее и что следствием. Часто я к рассуждениям о частях присоединял рассуждения о целом. Содержание отдельных частей: интересная характеристика и уголовная сцена в первоначальной школе. В средней школе масса раскрытых интриг и оставшихся не раскрытыми подозрений, факты о шпионаже, подделке почерка, лжи, обмане, отравлениях; на экзамене—маневры в Пруссии. Действующие лица: статский советник Блюнчли, президент Орелли, попы, врач, шпионы, полицейские, тюремные надзиратели, адвокаты, жандармы и т. д. Произведение это занимает около 25 листов, следовательно, наверное больше 20 листов. Для этого я нуждаюсь в вашей помощи. Хотите вы его издать? Хотите вы просмотреть рукопись? Можете вы указать мне оказию, которая будет дешевле и так же верна, как почта? Через две недели эта вещь будет готова, не имеете ли вы в виду частную оказию? Прислать ли мне вам эту вещь для просмотра? Прошу вас сообщить мне обо всем этом.

Если вы ее возьмете, то мои условия — 2 ф. ст. за лист.

Ширгес сделал с меня дагерротип, он хотел даже сделать литографию — по крайней мере мне об этом сказал художник. Это должно было быть сделано к моему бенефису. Я отказался от этого, и пока это не делается. Но если теперь художник намерен еще заняться этим, то у меня есть основания согласиться. Могу я вас просить дать знать об этом Ширгесу?

Мне очень хочется походить в этом произведении Пруссии. Что вы об этом думаете? Это нужно, чтобы подчеркнуть некоторые места. Надо, чтобы подчеркнуты были только сцены из Швейцарии и чтобы все внимание было исключительно обращено на них.

После этого произведения я хочу закончить Евангелие бедного грешника, а затем философа, который учит мыслить, если я при этом не промахнусь, в чем я теперь сильно сомневаюсь.

До сих пор у меня не было времени для английского языка. Я жду, пока получу от вас благоприятный ответ. Когда я овладею языком, несколько англичан повезут меня по стране для проповеди моего коммунизма. Мои немецкие друзья настаивают на издании обозрения социальных и новых идей, другие на издании народного календаря. Одним словом, у меня так много дела, что я вероятно не в состоянии буду сделать всего. Поэтому я отложу в сторону все, что только возможно, чтобы моя «Система мышления» не пострадала вместе с другими работами. Это будет вам стоить 10 лудиров с листа, если вы ее издадите, но, собственно говоря, если только не окажется при обработке, что я ошибаюсь, эту работу совершенно невозможно оплатить деньгами.

Пока ограничусь этим. Я совершенно здоров. И мне здесь нравится. Для полного моего удовлетворения мне нехватает только уверенности в приобретении солидного издателя в качестве друга и покровителя. Будьте здоровы!

Уважающий вас

*В. Вейтлинг.*

Кампе заявил, что готов издать это произведение. В конце 1844 г. Вейтлинг послал ему рукопись. Однако ни Кампе, ни Ширгес, повидимому, не были довольны этим произведением, и Кампе находил чрезмерным требование автором 2 ф. ст. за лист и бесконечно затягивал переговоры. Ширгес, очевидно, советовал Вейтлингу уступить, на что последний ответил 28 марта 1845 г.:

Дорогой Ширгес!

Во время моего заключения спасенные отрывки «Евангелия бедного грешника» были проданы Иенни<sup>1</sup> за 100 швейцарских франков. Ему хотели вернуть деньги, но он на это не соглашается и хочет издать эти отрывки, если я не договорюсь с ним в будущем обо всем произведении. Таким образом, я не могу, как я предполагал, печатать это Евангелие на счет моих друзей, и, следовательно, его нельзя раздавать бесплатно. Я перевел его на английский язык и веду теперь об этом переговоры с книгопродавцем. Иенни просил мне передать, что он намерен выпустить второе издание «Гарантий» и дать мне за это гонорар, если я соглашусь на второе издание. Издание в 2 000 экземпляров было конфисковано. Скажи Кампе, что я прошу его поспешить. Ведь произведение теряет от долгой задержки. Скажи Кампе, что, так как я отказываюсь от права на издание, я не могу уступить его дешевле; если, однако, Кампе хочет выпустить только 1 000 экземпляров, то мы можем заранее об этом столковаться. Ты не можешь сравнить своего романа с этой работой. Роман можно написать скоро, если уже составлен план для

<sup>1</sup> Радикальный издатель в Швейцарии.

имеющегося материала. Здесь же приходится ужасно напрягать память, чтобы правильно передать. Нельзя дать полной свободы фантазии, всегда приходится обдумывать и делать сравнения. Герою романа можно приписать то или другое слово, то или другое действие, тут ничем не рискуешь, если только легкий и приятный стиль возбуждает избалованный вкус. Поэтому помоги мне покончить с этим делом. Если бы ты только знал, каким напряженным и неприятным трудом сопровождалось для меня это произведение. Воспоминания эти не представляют ничего отрадного. Будь здоров.

Твой Вейтлинг.

Уменьшение гонорара было, новидимому, для Кампе только предлогом для того, чтобы не печатать этой работы, ибо Кампе и Ширгес по прочтении ее отлично поняли, что ее автор уже не тот Вейтлинг, который написал «Человечество, как оно есть и как оно должно быть», «Гарантии» или «Евангелие бедного грешника», а человек, переживший себя самого, считающий себя пророком, не способный к дальнейшему развитию, страдающий навязчивой идеей, что он призван создать «систему мышления» человечества, новую систему космоса и т. д. В письме к своим друзьям Вейтлинг в это время жалуется на Кампе, что он не печатает работы и ответа не дает. В записке Вейтлинга без даты к Ширгесу, имеющейся в архиве Института К. Маркса и Ф. Энгельса, он просит его взять рукопись у Кампе и вернуть ее через подателя записки. Поэтому и случилось, что при аресте Вейтлинга в 1849 г. полиция отобрала у него не только черновик «Gerechtigkeit», но и чистовик, и оба варианта использованы Барниколем при опубликовании.

Из приведенных выше двух писем мы можем уже судить как о содержании этого произведения, так и о характере его изложения. Работа действительно начинается эпизодом из юношеской жизни Вейтлинга, когда он еще десятилетним мальчиком в личных страданиях осознал социальную несправедливость и познакомился с полицейской кутузкой. Этот отрывок, кстати сказать, — единственное *новое*, что дает рукопись для биографии Вейтлинга. Остальное — почти 400 печатных страниц — представляет собою воспоминания Вейтлинга о цюрихской тюрьме, его высылке и следовании через Германию. Что касается общей оценки «Gerechtigkeit» как *психологического* биографического документа, то можно согласиться с характеристикой, данной Барниколем: «Изложение фактов, данное Вейтлингом, почти совершенно свободно от ошибок и сделано добросовестным и обладающим прекрасной памятью рассказчиком» (I, стр. 94). Другое дело, насколько соответствует действительности безапелляционное утверждение Вейтлинга, что его хотели *отравить*. При мании преследования, которой он в это время страдал, возможно, что он и ошибся. Вейтлинг, кроме того, был убежден, что его друзья устроили заговор с целью мощного революционного восстания в день его выхода из тюрьмы, и он также непоколебимо верил, что полная победа будет на его стороне; он уже видел себя в главе армии бродяг и в роли диктатора. Известно, что швейцарская полиция выслала Вейтлинга раньше срока отбытия наказания, боясь выступления его друзей. Существовал ли такой заговор в действительности или же только в воображении Вейтлинга, нам неизвестно. Но, во всяком случае, в этих воспоминаниях, написанных в форме *диалога*, наподобие драмы, несомненно переплетается действительность и фантазия, реалистически очерченные фигуры надзирателя, врачей, судей и т. д. и призраки убийц и шпионов. Даже Барниколь, везде и всюду прославляющий своего пророка, местами сомневается, не был ли тогда Вейтлинг временами психически больным? Во всяком случае «Gerechtigkeit» имеет для исследователя жизни и творчества Вейтлинга большую биографическую ценность; это произведение убедительно доказывает нам, что Вейтлинг, как теоретик ремесленного коммунизма, как руководитель первой фазы немецкого рабочего движения, закончил свое развитие

и свою историческую миссию ко времени ареста в 1843 г. «Gerechtigkeit» служит первым документом второго периода жизни и деятельности Вейтлинга, более не способного к пониманию дальнейшего хода развития общества, и поэтому мы никак не можем согласиться с оценкой теоретической части «Gerechtigkeit», данной Барниколем. Вырывая из контекста отдельные мысли Вейтлинга о религии, например его утверждение: «Именно потому, что вера является бальзамом, дарующим индивидам исцеление и утешение, когда самая мудрая организация общества не в состоянии исцелить и вознаградить, когда оно ничего не может предложить им взамен утраты жизни, телесного и душевного здоровья, — именно потому даже при самом совершенном коммунизме вера — в частной жизни — будет играть роль» (II, стр. 40), — Барниколь делает обобщения в том смысле, что социализм при своем возникновении был в гармоническом союзе с религией, и лишь марксистам на время удалось разорвать эту связь. А ныне, — рассуждает наш профессор богословия, — опять победил союз религии и социализма, поэтому, видите ли, в историческом смысле не Маркс одержал победу над Вейтлингом, а, наоборот, Вейтлинг над Марксом. «В христианстве много пищи для чувства», — пишет Вейтлинг в «Gerechtigkeit». «Вейтлинг знает это, — продолжает Барниколь, — это «знание», почерпнутое из области нужды, он, как настоящий выходец из народа, всегда страстно защищал в противовес высокомерному и беспредельному интеллектуализму и самообожанию младогегельянских академиков. В особенности же против Карла Маркса в 1846 г. Это по необходимости привело к разрыву. Но это остается исторической, точнее религиозно-политической, заслугой Вейтлинга в истории немецкого раннего социализма. Может быть, уже сейчас можно сказать, что он этим защитил для социализма доступ к этому источнику силы, и, несмотря на то, что демонический борец против религии, Карл Маркс, постоянно старался засыпать этот источник и действительно прекратил его действие для двух поколений, — в высшем смысле Вейтлинг победил. Это право за ним будет признано» (I, стр. 120). Нас не удивляет, что проф. богословия Барниколю не нравятся «разрыв религии с социализмом», проповедуемый марксизмом, но нужно страдать политической и научной близорукостью Барниколя, демонстрируемой им на каждом шагу, чтобы видеть в религиозном бреде Вейтлинга 1844 г. историческую победу над Марксом.

В приложении к первому тому своего издания Барниколь напечатал все письма Вейтлинга (к Марксу, Гессу, Оттендорфу и др.), хранившиеся в Центральном архиве германской социал-демократии, предоставившей ему эти материалы для напечатания. Напомним, что Барниколь претендует на звание историка социализма. Но если даже ранний немецкий социализм является для нашего автора terra incognita, то о марксведении он не имеет абсолютно никакого понятия. Трудно себе представить, что в настоящее время можно еще издавать, во-первых, текст этих писем (Барниколь имел в своем распоряжении машинописные копии из архива социал-демократической партии) со столькими ошибками, а во-вторых, снабдить этот текст такими наивными и неправильными комментариями. Но чтобы и теперь лучше понять эти письма — частично и раньше уже напечатанные Калером и Мерингом, — будем опять придерживаться хронологической последовательности.

Сейчас же по приезде Вейтлинга в Лондон прусское посольство начало тщательные наблюдения за ним. Из многочисленных отчетов одного специально приставленного к Вейтлингу шпиона, Луи Брандиса, отправленных послу Х. фон-Бунзену, видна вся жизнь и деятельность Вейтлинга, его выступления на коммунистических собраниях и т. д. Еще осенью 1844 г.

он вступил с Марксом в переписку (письмо от 18 октября 1844 г.). Все бы шло хорошо, если бы Вейтлинг не погружался все больше и больше в свою «систему». Несмотря на кажущееся влияние, которое, согласно отчетам прусского шпиона, Вейтлинг имел в 1845 г. на Лондонский просветительный союз, значение его с весны 1845 г. начало уменьшаться. Его прежние партийные товарищи (Шаппер, Бауэр, Молль и др.), благодаря изучению капитализма в Англии, а также своим сношениям с коммунистами других наций, переросли уже принципы ремесленного коммунизма. У Вейтлинга произошло, как и следовало ожидать, несколько стычек с руководителями Просветительного союза, после которых он оказался совершенно изолированным. К этому времени относятся его письма к Зейлеру (приписка к письму Г. Криге, без даты, весной (1845), и большое письмо к Марксу и Энгельсу от мая 1845 г. — I, стр. 275—276; 271—274).<sup>1</sup> Летом 1845 г. Вейтлинг почти совсем отошел от деятельности коммунистического клуба, оставил Лондон и работал некоторое время инкогнито в редакции «Трирской газеты» (см. письмо к Гессу от 2 сентября 1845 г., I, стр. 267—268). Письмо это было уже известно Калеру, но до сего времени неизвестно, когда именно Вейтлинг вернулся в Лондон и виделся ли он на обратном пути с Гессом и вестфальскими коммунистами. В архиве Института К. Маркса и Ф. Энгельса хранится письмо, написанное тотчас же после его возвращения в Лондон. Письмо является ответом на письмо Гесса и др. социалистов, относящееся к журналу «Зеркало общества» и переданное Вейтлингу через *Георга Веерта*. Ответ Вейтлинга гласит:

Лондон, 22 сентября 1845 г. <sup>2</sup>

Дорогие детки!

Ваши карандашные каракульки были для меня ценны во всех отношениях, хотя Веерт <sup>3</sup> и ступевался так внезапно, что сегодня, когда я собрался навестить его в его гостинице, я узнал, что он уехал уже позавчера. Я хотел спросить у него, должен ли я запастись паспортом в случае простого визита в Бельгию; если нет, то я намереваюсь посетить вас, если, — как я на то надеюсь и в чем я почти уверен, — сбдуду свои тюремные рассказы. Я охотно бы взглянул на ваших женщин, пошел вашего пива, отведал бы вашей жарыги, подышал вашим воздухом и подымил вашими сигарами, остальное само собой разумеется.

«Зеркало общества» очень нравится здешним людям. Общество на него подписалось, и я уже об этом писал, но ошибся, когда указал, что журнал нужно посылать бандеролью; я тогда упустил из виду, что он без штемпеля. Правда, из Швейцарии и Франции я получаю и без штемпеля довольно дешево, именно из Швейцарии немецкую печать по 2 пенса за лист и французскую — по 1/2 пенса. Но это очень сомнительно; нельзя рассчитывать ни на что определенное. Кроме всего Общества в целом, следующие лица требуют номера «Зеркала общества»:

*Молль* — 20 Great Chapel St., Soho sqr.

*Бауэр* — Dean St. 64, Soho sqr.

*Гундт* — 17 Duke St., St. James sqr.

Лучше ли посылать этим и будущим абонентам журнал бандеролью — ничего не могу сказать. Если вам кажется лучше через книжную торговлю, то адресуйте или велите адресовать Nutt Foreign Bookseller, Fleet st. City. Посылка, однако, дойдет до него только в том случае, если вы ее передадите его комиссионерам, именно Брокгаузу и Авенариусу в Париже или

<sup>1</sup> Барниколь пользуется своими комментариями, чтобы «кстати» лягнуть Маркса и Энгельса. Он почему-то решил, что адресатами этого письма не могут быть Маркс и Энгельс. Это и неудивительно, раз Барниколь вообще не подозревает, что уже во второй половине 1845 г. в Брюсселе существовало Коммунистическое корреспондентское бюро, лондонским корреспондентом которого являлся Вейтлинг. Так, к месту, где Вейтлинг отказывается от предложения Комитета издавать в Лондоне журнал, Барниколь делает следующее глубокомысленное примечание: «Хотели завоевать Вейтлинга и его имя для журнала; после 11 июня 1846 г. Вейдемейер пишет Марку: «Сегодня я получил вашу дискуссию по поводу «Народного трибуна». Что Вейтлинг и здесь отказывается, это уже слышком». Барниколь не подозревает, что это две совершенно разные вещи; что в письме Вейдемейера речь идет об отказе Вейтлинга подписать Манифест против Криге.

<sup>2</sup> Письмо ошибочно датировано 1844-м годом.

<sup>3</sup> По-немецки игра слов: Wert (ценность) и Weerth.

Бренш и К<sup>о</sup> в Гамбурге. Напишите мне немедленно по поводу истории с паспортом и как поступать с платой за «Зеркало общества».

Шаппер кланяется вам всем. Мне кажется, его состояние мало утешительно. Старик еще не выздоровел и его нужно резать в пятый раз; до сего времени появляются все новые фистулы на той стороне, где резали. Они очень сильно гноятся, что может ослабить его, если это продолжится.

Гарни был у меня как раз тогда, когда Веерт навестил меня. Недавно мы устроили *soirée* у меня в столовой. Я сделал яичницу и приготовил салат, а остальные щедро поливали их пивом и обкуривали сигарами. Молль также присутствовал.

В прошлый понедельник мы были на митинге. В общем, было лучше, чем каждый ожидал. Вы увидите это в «Полярной звезде», из речи Гарни, которая мне очень понравилась, как вообще сам парень. Он производит впечатление настоящего политического и радикального плутяги, парня, способного весть что совершить.

О Веерте мне больше нечего сообщить, кроме того, что он написал мне из своей «курительной свечки», что нужда в деньгах выгнала его так внезапно. Я очень обязан вам за это новое знакомство. Всего вам хорошего!

Вейтлинг.

Из этого письма видно, что, как до сего времени предполагалось, Вейтлинг во время своей поездки из Трира в Лондон не виделся с Гессом и вестфальскими коммунистами; во-вторых, что его отношения с руководителями коммунистического общества в Лондоне и с чартистами были еще не окончательно испорчены, по крайней мере в области *личных* отношений. Митинг, о котором говорится в письме, это — международный митинг 22 сентября 1845 г. в честь Великой французской революции, на котором выступал и Вейтлинг.<sup>1</sup> Но несмотря на все это, его влияние в Лондоне с каждым днем уменьшалось. Озлобленный, он все более отходил от всех и принялся за работу над своим «учением о языке и мышлении». Однако он не смог найти в Лондоне издателя и в начале 1846 г. решил переехать в Брюссель, к Марксу и Энгельсу, с которыми у него, однако, также вскоре произошел разрыв (первый — 30 марта, а второй и окончательный — 16 мая 1846 г.).<sup>2</sup> Уже 24 мая Вейтлинг написал Марксу *последнее* письмо (I, стр. 266—267), — всего в несколько строк, — в котором он просит вернуть ему рукопись. Комментарии, которыми Барниколь снабдил это письмо, опять показывают, насколько невежественным он является в области марксологии. Повидимому, машинистка, переписывавшая это письмо, расшифровала «Брюссель, 24 мая», как «Бремен, 24 мая», и на этом основании Барниколь сотворил целую легенду. Приводя цитату из письма Гесса к Марксу от 20 мая, в котором говорится о том, что Вейтлинг не знает, куда уехать, Барниколь торжествующе восклицает: «Вейтлинг уехал 20 мая из Бельгии в Бремен» (I, стр. 267). И дальше: «Эта в действительности имевшая место поездка в Бремен подтверждается словами Энгельса в недатированном письме, по всей вероятности, от октября 1846 г.: «Там был еще также бременский Кютман, или как его там звали, которого сманили от нас Моисей [Гесс] и Вейтлинг». И Барниколь докторальным тоном заявляет, что фамилия этого бременского издателя не *Кютман*<sup>3</sup>, а Пютман, т. е. он не знает даже, что один из столпов истинного социализма, издатель почти всех периодических органов его в Рейнской области, Герман Пютман, никогда не жил в Бремене, а был душой всего движения в Рейнской провинции! Но Барниколь идет еще дальше. В своем коротеньком письме к Марксу Вейтлинг требует свою ру-

<sup>1</sup> См. об этом митинге статью Энгельса «Праздник народов».

<sup>2</sup> О взаимоотношениях между Марксом и Вейтлингом см. нашу статью «Маркс и Вейтлинг» в сборнике статей в честь шестидесятилетия Д. Б. Рязанова «На боевом посту». Москва, 1930. У Барниколя не напечатано письмо Вейтлинга к Криге от 16 мая 1846 г., в котором излагается история окончательного разрыва.

<sup>3</sup> Правильно: Китман.

копись обратно в течение 24-х часов — стало быть, — отмечает Барниколь, — Маркс в это время также был в Бремене!! На самом деле Вейтлинг все лето и осень жил в Бельгии и Люксембурге. Его отношения с Гессом также очень скоро испортились, и он очутился изолированным от всех европейских коммунистов. Повидимому, он пытался еще завязать сношения с рейнскими истинными социалистами, — так, он посылал статьи для «Вестфальского парохода» Отто Люнинга. 30 июля 1846 г. Вейдемейер пишет по этому поводу Марксу: «Статьи Вейтлинга для «Парохода» были очень плохи. Кроме статьи об Ирландии, — которой можно воспользоваться только как газетной информацией, — он прислал еще извлечение из старой английской книги, найденной, вероятно, у какого-нибудь букиниста, в которой в юмористической форме говорится о наших условиях; но об этом уже гораздо лучше говорилось в сотне других мест. Я тотчас же сообщил Люнингу мое мнение об этом и знаю, что он не пропустит большей части этой статьи».

В этом отчаянном положении Вейтлинг прибег к тому средству, к которому он уже неоднократно прибегал: он занялся изобретениями в портновском деле. Но когда он, наконец, в декабре получил от нью-йоркской ассоциации социальной реформы, органом которой был «Народный трибун» Криге, деньги на переезд в Америку, он 25 декабря 1846 г., побыв инкогнито одни сутки в Париже, где его приверженцы собрали ему еще 110 франков, отбыл из Гавра в Нью-Йорк.

Другие документы, главным образом о деятельности Вейтлинга в 1848 — 1849 гг. в Гамбурге, напечатанные Барниколем, не дают чего-либо существенно нового. Но, повторяем, нас поражает не только классификация и выбор документов, но и самый метод и характер публикации Барниколя. А каково будет, в связи с этим незнанием самых элементарных вещей из области истории социализма и марксизма, обещанное Барниколем «Общее изложение» истории и теории социализма — пока трудно себе представить.

*Ф. Шиллер.*



# РЕЦЕНЗИИ

*Ernst Simon, Ranke und Hegel. Beiheft 15, der «Historischen Zeitschrift». München und Berlin, K. Oldenburg, 1928, XVI + 204 S.*

За этой книгой следует прежде всего признать ту заслугу, что в ней собран и ясно изложен довольно обширный материал по философским и особенно историко-методологическим спорам первой половины XIX века. Чтобы осветить связь между Ранке и Гегелем, разделяющий их антагонизм и родство, якобы все-таки существующее между ними, автор дает характеристику различных научных течений того времени, знакомя таким образом читателя с разбросанным и часто мало доступным материалом. Однако и по поводу этой заслуги рецензируемой книги нужно тотчас же сделать оговорку. Как ни старается автор взглянуть на описываемые им конфликты с широких точек зрения, он все же слишком часто не идет дальше незатейливого описания перебранки между отдельными университетскими или академическими кликами. Эта плененность немецко-буржуазной академической перспективой приводит к тому, что, вообще говоря, добросовестный и широко осведомленный автор обнаруживает грубое невежество, как только вопрос хоть сколько-нибудь выходит из академической сферы. Так, он говорит (стр. 91) о направленной против Ранке статье «Берлинские историки» в «Hallesche Jahrbücher» (1841), не зная и даже не пытаясь узнать, что ее автором был Фридрих Кеппен. Но и там, где он имел перед собой уже собранный официальной литературой готовый материал (по-скольку разбираемые им ученые были «признанными» академиками), у него нет надлежащей перспективы для понимания реальной подоплеки, подлинных движущих сил происходивших споров. Особенно резко это проявляется, например, в его оценке спора между Тибо и Савиньи (стр. 115 — 119): борьбу за единый, писанный свод законов для всей Германии, т. е. типичное классовое требование восходящей германской буржуазии, он снижает до уровня формалистически-идеологического, в лучшем случае «чисто» политического вопроса о «германском централизме и децентрализме». Такая перспектива или, вернее, такое отсутствие перспективы, такая скованность чисто идеологическими рамками мешает автору, как мы постараемся показать ниже, правильно понять и изложить отношение между Ранке и Гегелем.

Несмотря на этот основной порок, испортивший всю книгу, несмотря на некоторые другие, еще более глубоко заложенные ошибки, о которых мы сейчас скажем подробнее, все же по сравнению с новейшей литературой о Ранке книгу Симона следует признать шагом вперед. Это следует признать потому, что автор порвал, наконец, с укоренившейся в немецкой историографии легендой, будто Ранке и Гегель связаны близким духовным родством, будто они — представители одного и того же направления. Если мы не ошибаемся, духовным отцом этой легенды является Фридрих Мейнеке.

В своей известной книге «Weltbürgertum und Nationalstaat» он ставит Ранке и Гегеля в один ряд как предшественников Бисмарка (эта концепция господствует и в книге Розенцвейга «Hegel und der Staat»). Сначала попытки Кантианцев создать философскую теорию истории привели к возвылению Ранке как непревзойденного классика историографии (особенно у Риккерта и его школы), а затем первые робкие попытки «возрождения Гегеля» приблизили вплотную «мертвого пса» Гегеля к «великому классику историографии». Трельч до некоторой степени повернул острие в обратную сторону. В своем «Historismus» он просто относит Ранке к последователям Гегеля. Перед лицом этих и тому подобных, совершенно превратных характеристик мы должны подчеркнуть как заслугу нашего автора то, что он (хотя и с излишними оговорками о «родстве» между Гегелем и Ранке) делает ударение на различии и даже противоположности основных тенденций Гегеля и Ранке.

Правда, необходимо отметить, что автор подчеркивает эту противоположность потому, что он хочет выставить Ранке как *самостоятельную, имеющую актуальное значение духовную силу*. Эта тенденция, представляющая в изменившихся условиях послевоенной Германии возрождение концепции Мейнеке, является по сравнению с концепцией Трельча симптомом развития немецкой буржуазии в реакционном направлении, приближением к агностико-мистическим течениям в современной немецкой истории философии. Мейнеке поставил Ранке и Гегеля в один ряд, рассматривая их обоих как предшественников гнилого компромисса между германской буржуазией и «старыми силами» Пруссии, т. е. как предшественников дела Бисмарка, создавшего национальное единство (в противовес объединительному движению буржуазной революции). Такой взгляд мог, несмотря на все искажение исторической истины и при наличии всех элементов этого гнилого компромисса, таить в себе все-таки и некоторые элементы прогрессивной буржуазной теории. Пытаясь стилизовать Ранке, изображая его самостоятельной духовной силой, наш автор исправляет, правда, некоторые ошибки в концепциях Мейнеке и Трельча, но вместе с тем он идет на встречу идеологическим потребностям послевоенной германской буржуазии и оказывается поэтому еще более реакционным, чем Мейнеке, и более реакционным, чем Трельч, ибо Ранке, как теоретик, символизирует *прославление агностицизма в истории*, тогда как построения Трельча были хоть и противоречивой, далеко не свободной от агностицизма и эклектической, но все же некоторой попыткой найти базу для исторического познания.

Совершенно ясно, что этот агностицизм Ранке не признается нашим автором за таковой и не характеризуется им как агностицизм. Наоборот, он пытается, сопоставляя и систематизируя «миросозерцательные» места из произведений и писем Ранке, представить его агностицизм по отношению к исторической действительности как мистико-религиозную философию истории. Скажем тут же, что он делает это с полным успехом и на этот раз (по отношению к Ранке) в полном соответствии с действительными фактами. Такой взгляд на Ранке несколько не противоречит и взгляду Риккерта, ибо исторический эмпиризм Ранке, его установка на «однократность» и «единственность» исторических фактов, в чем, в противовес исканию закономерностей, Риккерт усматривал научную заслугу Ранке, этим вовсе не оспаривается, а даже, наоборот, еще резче подчеркивается. Только у Ранке эта прилепленность к «однократному» не довольствуется одной лишь методологической санкцией, как у Риккерта, а превращается в вопрос «миросозерцания», именно религиозно-мистического. Как это ясно показывают многие фазы развития буржуазной идеологии, между эмпиризмом (в отдельных вопросах) и мистицизмом (как общим миросозерцанием) нет

никакого принципиального противоречия. Энергичное выдвигание на первый план мистического принципа следует расценивать лишь как дальнейший, более развитый симптом разложения буржуазной идеологии.

Выставлять Ранке, как «самостоятельный духовно-исторический фактор», против Гегеля — значит таким образом отрицать, во-первых, *принцип прогресса*, который составляет, разумеется, у Гегеля основное ядро его системы и метода. Правда, Ранке и в этом вопросе далеко не последователен. Симон показывает на основе обширного материала цитат (стр. 189 и сл.), что Ранке в своей научной практике никак не мог обойтись без обращения к принципу прогресса. Но теоретически он всегда восставал против этого принципа. Это видно уже из той борьбы, которую вел против гегелевой философии его друг, ученик Шлейермахера и историк философии Генрих Риттер (1829 г., стр. 34 и сл.), причем Ранке стоял целиком на стороне Риттера; о том же свидетельствует его отношение к Савиньи и исторической школе права в их борьбе против Гегеля (стр. 51). И ярче всего это обнаруживается в резкой полемике Ранке против принципа «хитрости Разума», связующей у Гегеля индивидуум с закономерным ходом истории. Возражение Ранке настолько характерно, что мы должны привести его здесь дословно: «В основе учения о том, что мировой дух производит события как бы с помощью обмана и пользуется человеческими страстями для достижения своих целей, лежит крайне недостойное представление о боге и человечестве; в своем последовательном развитии оно и может привести только к пантеизму: человечество оказывается становящимся богом, который порождает сам себя посредством заключающегося в его природе духовного процесса» (стр. 193).

Мы видим, таким образом, что Ранке протестует как-раз против прогрессивных сторон мировоззрения Гегеля, что под идеалистически-мистической оболочкой гегелевой философии, в ее апологетической тенденции, он совершенно определенно чувствует революционный принцип и борется против него. В противовес Гегелю он формулирует свою точку зрения следующим образом: «Перед богом все поколения человечества равноправны, и так должен смотреть на дело и историк», т. е. историк должен стать апологетом *существующего в данный момент реакционного режима*. Эта тенденция, обусловившая влияние Ранке в его время (как апологета реставрации) и объясняющая его возрождение в наши дни (как идеолога загнивающей буржуазии), открыто не высказывается, конечно, автором нашей книги ни разу. Наоборот. Хотя он, с одной стороны, вскрывает все источники, связывающие Ранке с реакционным крылом современной ему науки (Шлейермахер, Риттер, Савиньи и т. д.; ср. также его отношение к романтике), а с другой стороны, резко и отчетливо выделяет агностико-мистическую струю в мышлении Ранке, тем самым в сущности уже отмежевывая его от Гегеля, — однако все эти вопросы наш автор считает «чисто» философскими, «чисто» миросозерцательными, не имеющими никакого отношения к обыденной общественной действительности. Но именно этим он и разоблачает себя как апологета современного буржуазного строя.

Присмотримся, однако, несколько ближе к антитезе Гегель — Ранке. В своем изложении методологических споров того времени (речь идет о нападении на Ранке со стороны находившегося тогда под гегелевским влиянием Лео) Симон приводит несколько чрезвычайно характерных фраз Ранке. Ранке говорит, что, в противоположность Гегелю, он «пытается... представить *всеобщее непосредственно* и без дальних околичностей через частное» (стр. 97 — 98; курсив наш). Каждому, кто хоть сколько-нибудь знаком с методом Гегеля, должно быть ясно, что в этих словах затронута суть во-

проса. Выход за пределы непосредственности, систематическое введение конкретных категорий опосредствования является у Гегеля той методологической основой, которая дает ему возможность как в исследовании категориальных проблем, так и в анализе истории проникать местами до постижения действительных движущих сил. Резко и сознательно подчеркивая расхождение именно в этом пункте, Ранке признает себя прежде всего принципиальным противником анализа исторических фактов, раскрытия движущих сил исторического процесса. Симон решительно неправ, он ставит факты прямо вверх ногами, когда в чисто описательной тенденции Ранке («я хочу только изображать, как оно в сущности было») он усматривает наибольшее сближение между Гегелем и Ранке (стр. 126). Гегелево «благоговение перед данной реальностью» не имеет ничего общего с концепцией Ранке, кроме слова «реальность». Они понимают под этим словом не только различные, но прямо противоположные вещи. Далее, из вышеприведенной фразы Ранке неизбежно следует, что бог может быть непосредственно введен в историю. Правда, в гегелевой философии истории бог тоже играет большую роль, но верный инстинкт подсказывает Ранке, что бог Гегеля был вовсе не богом в собственном смысле, а лишь мистифицированным в форме мирового духа единством и закономерностью исторического процесса и что, стало быть, Гегель, употребляя слова самого Ранке, был пантеистом, а не верующим (ср. выше цитату со стр. 193). Ранке же хочет ввести «непосредственно» в историческую науку надмирного бога, бога христианства.

Из всего сказанного уже должно быть ясно, как у Ранке сочетаются в одно целое агностицизм, эмпиризм, мистика и апологетика. Следует еще только добавить, что их связь *по необходимости осуществляется эклектическим путем*. Симон сам отмечает несколько раз противоречие между теорией и практикой у Ранке (например, стр. 150—153). С полной ясностью обнаруживается этот эклектизм в полемике Ранке против Лео. Симон резюмирует мысли Ранке в следующих словах: «Он утверждал не то, что перст божий поднимается лишь изредка; Ранке объяснил только, почему он, как историк, «будет лишь изредка говорить о его руководстве», которое он «лишь изредка отчетливо постигает». Здесь перед нами в зародыше уже вся противоположность между гегельянством, для которого все — и в том числе бог — является действительностью, лишь поскольку оно познаваемо, и благочестивым настроением историка, который смиренно склоняет голову перед непознаваемостью надмирного бога и лишь изредка с уверенностью чувствует его перст в «хаосе мировой истории» (стр. 97).

Вот тот пункт, где впервые находит свое завершение апологетический характер историографии Ранке, ибо то, что «перст божий» появляется на сцене только тогда, когда в нем возникает необходимость для защиты какого-нибудь реакционного общественного строя, когда эмпиризм, отрицание прогресса и агностицизм оказываются недостаточными для этой цели, настолько самоочевидно, что не требует дальнейших разъяснений. Нет нужды распространяться и о том, что при такой постановке вопроса мнимая научность этого чисто эмпирико-агностического метода окончательно рушится и переходит в *иррациональный произвол*, ибо то, когда именно «изредка» сказывается «перст божий», зависит исключительно от субъективного усмотрения историка.

Наш автор считает, однако, что именно здесь корепится значение Ранке. В заключительной главе он прославляет в Ранке именно это смиренное благоговение перед «тайной»: «Гегель знал бога — Ранке верил в него», — говорит он в заключение (стр. 209). И он поясняет эту мысль следующим образом: «Тайная гармония управляла жизнью Ранке; в эпоху

апокалиптических эксцессов он не высказывал о боге больше, чем знал о нем, он предпочитал лишь «изредка» говорить о его поднятом персте, чем грубыми словами нечестиво разрушать тайну» (стр. 203—204). В этих словах скрытая тенденция книги обнаруживается совершенно ясно. Несмотря на все старания так называемой «Hegelrenaissance» реципировать из Гегеля только его реакционные элементы и прямо выковать из него оружие против Маркса и марксизма, некоторые уже начинают чувствовать, что игра с Гегелем, это — игра с огнем. Против опасности, таящейся в Гегеле, в диалектическом методе (как бы его ни искажали), наш автор хочет выдвинуть Ранке как «самостоятельную духовную силу». Но ему удастся только полностью разоблачить эклектическое убожество идей Ранке. В этом самая большая — хотя, правда, невольная — заслуга его книги.

*Георг Лукач.*

*Hermann Glockner, Hegel. Erster Band: Die Voraussetzungen der Hegelschen Philosophie, Stuttgart, 1929, XXIV + 443 S.*

Герман Глокнер, приват-доцент Гейдельбергского университета, бесспорно сделал полезное дело, переиздав фотомеханическим путем полное собрание сочинений Гегеля, выпущенное в свое время «кружком друзей» покойного философа, и открыв таким образом доступ более широким читательским кругам к этому все еще лучшему, но теперь довольно редкому изданию.

Глокнер присоединяет к своему изданию обширное, рассчитанное на несколько томов «Исследование о личности и философии Гегеля», первый том которого уже вышел в свет.

То обстоятельство, что автор переиздал сочинения Гегеля, само по себе было бы еще недостаточно, чтобы заставить нас высказаться по поводу его «Исследования». Ввиду общего «возрождения Гегеля» в Германии, а также в связи с приближающейся столетней годовщиной смерти философа, естественно появление всевозможных «биографий» и «изложений» Гегеля (уже имеются биографии, написанные Теодором Л. Герингом и Ник. Гартманом). Но «исследование» Глокнера приобретает особенное значение, можно сказать «политико-философскую» важность, потому, что автор принадлежит к числу лиц, энергичнее и выше других возносящих «знамя Гегеля», и является одним из основателей только что возникшего «Всемирного союза гегельянцев».

Здесь не место говорить о том, какие специальные причины вызвали настоящее «возрождение» Гегеля; анализ этого вопроса увлек бы нас далеко за рамки рецензии.

Поэтому в дальнейшем я изложу только содержание, главные идеи или, вернее сказать, программу этого «неогегельянства» Глокнера.

Глокнер предпосылает своей книге «предисловие», которое очень сжато, но очень прозрачно и ясно излагает путь, цель и программу этого «исследователя Гегеля».

Глокнер пользуется случаем, чтобы в предисловии «принципиально высказаться о своей философской позиции», о своем «личном философском отношении к Гегелю и к возможному неогегельянству» (стр. IX).

Начинает он с истории развития этого «отношения». Десять лет тому назад Глокнер находился еще «всецело под влиянием Дильтея и «философии жизни». Он «сочувствовал метафизическим воззрениям Гегеля», как они выразились в его юношеских работах, но «диалектическое построение позднейшей системы» настраивало его «скептически»; «схематическое выпол-

нения» и «специфически логический» характер гегелевской диалектики отталкивали его (стр. IX). Риккерт был тем мыслителем, который вызвал перемену во взглядах Глокнера, когда последний «занялся изучением внутренней связи проблем от Канта до Гегеля». Он «начал понимать гегелевскую диалектику», стал анализировать метод Гегеля и пришел к выводу, что сущность гегелевского «понятия» составляет «совместность рационального и иррационального».

Книга Кронера «Von Kant bis Hegel», особенно подчеркивающая «иррационализм» Гегеля, поселила в Глокнере убеждение, что оба они «стремятся сделать идеи германского идеализма плодотворными для современности и использовать их в борьбе за истинную философскую систему».

Однако Глокнер занимается иным кругом проблем, чем Кронер. Для него «задача конкретного мышления» важнее, чем ее «диалектическое решение» у Гегеля, через всю систему которого тянется «противоречие». Учение о противоречии не принадлежит, по мнению Глокнера, к тем элементам гегелевской философии, которым «предстоит будущее». Противоречие Глокнер признает «центральным логическим феноменом», но не таким, который определял бы собою метод.

К этому, для ученика Гегеля (каким себя называет Глокнер) несколько странному, взгляду его приводят тройкого рода соображения: 1) соображения, вытекающие из историко-философской последовательности проблем, 2) соображения по поводу судеб гегелевской философии. Третьим соображением, по которому Глокнер отказывается видеть в «логически-формальной и схематически-конструктивной стороне диалектического метода» «существенный смысл» гегелевской философии, является «факт мироотношения Гете и философское рассмотрение этого факта» (стр. XIX).

Что касается «историко-философской последовательности проблем», то Глокнер несомненно прав, что Кант — не единственная предпосылка гегелевской философии. Ее предпосылками являются, по Глокнеру, все европейское мышление и «христианско-германское мировоззрение».

Гегель знал уже «большую часть философских задач» из области «современной проблематики» и «разрешил их — правда, диалектическим способом». Но мы находим у него не одну только «диалектическую схему». «Так называемая» диалектика Гегеля имеет «две стороны: диалектико-формальную в тесном смысле слова и выходящую за пределы диалектического формализма». Ни принципиальная точка отправления, ни всеобщая схема его философии не заключают в себе «существенного» (стр. XV). «Существенное» составляет, по Глокнеру, «каждый данный, вводимый согласно диалектическому порядку, но всегда безусловно неповторимый философский миг, в котором понятие... овладевает предметом». Это «существенное» Глокнер называет «техникой опосредствования» (стр. XV), и в этом он усматривает «существенное» не только самого Гегеля, но и своего истолкования гегелевской философии. Это свое «открытие» он излагает в предисловии к новому изданию гейдельбергской «Энциклопедии», а подробное раскрытие гегелевского «опосредствования» он обещает дать во втором томе своего исследования о Гегеле. Так как этот том еще не появился в печати, то мы можем коснуться лишь в самых беглых чертах этого важнейшего для Глокнера понятия «опосредствования», поскольку соответствующий материал имеется в упомянутом предисловии к «Энциклопедии».

Глокнер приходит к своему взгляду, отправляясь от «противоречия», которое есть абсолют. Субъект и субстанция фиксированы в своей отдельности по форме рефлексии, но в то же время постигаются как тождественные. Противоречие противоречит самому себе, иначе оно бы не было абсолютным.

На противоречии, «этой темной точке совпадения логической и метафизической проблем», нельзя остановиться. «Существенное абсолютного, состоящее в том, что оно «в мире» приходит к самому себе как «мир», есть не мертвое противоречие, а живое опосредствование» («Энциклопедия», стр. XXI). Опосредствование Глокнер определяет как «функцию формы рефлексии, поскольку она знает себя тождественной с субстанцией и разрешает противоречие». Это — «синтетический принцип, как разум, постоянно стремящийся восстановить истинное отношение между... действительностью и идеей...» «Внутри» системы опосредствование во всех возможных случаях достигает своей цели лишь несовершенно... Совершенно достигает она своей цели в замкнутом кругу систематического целого как «сама система» («Энци.», стр. XXVI). «Разум, как происходящий из духа, способен осуществлять опосредствование в единичном и примирение в целом» («Энци.», стр. XXVII).

Итак, мы видим, что «кардинальным пунктом», вокруг которого «вращается вся система Гегеля» («Энци.», стр. XXVI), является для Глокнера опосредствование: в нем разоблаченная «тайна» гегелевской философии.

Мы остановились на этом взгляде Глокнера, этой его концепции гегелевского «опосредствования», по той причине, что она содержит в себе основу для всего его «изложения» Гегеля; но не по одной только этой причине. Учение Глокнера об «опосредствовании» бросает сразу самый яркий свет на различие между буржуазным подходом к Гегелю, сильнейшим представителем которого является Глокнер, и подходом марксистским.

Глокнер и вместе с ним неокантианские и прочие исследователи Гегеля стремятся к опосредствованию, к примирению, «разбивают» гегелевский метод, т. е. диалектику (стр. XXI), и хотят показать, что философия Гегеля «есть нечто большее, чем диалектика»; они с радостью открывают у него «следы» «третьего метода», «не гносеологического и не диалектического» (стр. XXIII), и усматривают задачу философии *не* в том, чтобы с ее помощью «изменять» мир, а в том, чтобы быть его «живым сознанием и адекватной его субстанции *истолковательницей*» (стр. 5), без чего «едва ли удастся проникнуть в сокровенное святилище гегелевского учения» (стр. 5); они хотят свести Гегеля к Гете, который был представителем конкретного мышления без малейших следов диалектики (стр. X), т. е. хотят «выявить *иррациональные* моменты всякого конкретного мышления в более дифференцированном виде, чем это сделано у самого Гегеля» (стр. XXI); они требуют «ревизии» гегелевского «панлогизма». В противоположность всему этому марксизм усматривает, как это достаточно хорошо известно, существеннейший и важнейший результат гегелевской философии именно в методе Гегеля, в его диалектике; диалектика является для него логикой и теорией познания (Ленин), «противоречие» — движущим моментом истории; в материалистическом применении диалектики он владеет средством не только для постижения и «постоложения» мира, но и, прежде всего, для его «изменения»; «тайну» гегелевской философии он видит не в «опосредствовании» или «примирении», а, согласно тому, как это было доказано Марксом, — в «отчуждении», в «противоположности внутри самой мысли «в-себе» и «для-себя», между сознанием и самосознанием, объектом и субъектом», что и заставило Гегеля «рассматривать самопорождение человека как процесс, опредмеченное (*Vergegenständlichung*) как распродмечивание (*Entgegenständlichung*), как отрешение и снятие этого отрешения». Гегель понимает, таким образом, «сущность *труда* и предметного человека, истинного, действительного чело-

века, как результат его *собственного труда*... он рассматривает — в рамках абстракции — труд как акт *самопорождения* человека».<sup>1</sup>

Глокнер занимался в течение своего десятилетнего изучения предмета не только Гегелем и его предшественниками, но также и «судьбой» абсолютного идеализма. Этой «судьбой» является «исполнитель воли мирового духа», не отделимый от Гегеля, как «кубок с цикутой от Сократа», — Людвиг Фейербах. Фейербах «сублимировал гегелевскую логику в материализм».<sup>2</sup>

Глокнер находит, что Фейербах был «настоящим гегельянцем», «по-скольку он пытался мыслить конкретно». И именно поэтому Фейербах должен был «беспощадно выступить против гегелевской системы в тех местах, где Гегель сам не удовлетворил полностью запросов конкретного мышления» (стр. XVI). «Существенно» в Фейербахе при этом то, что «он самым решительным образом восстал против утверждений Гегеля, будто логос «отпускает от себя» природу и будто естественное «переходит» в духовное». Но вскрытая здесь ошибка коренится уже в «диалектической точке отправления» Гегеля, ибо Гегель «абсолютизировал противоречие, существующее только для рефлексии» (стр. XVII—XVIII). Фейербах «зорко видел» некоторые «несостоятельные следствия из диалектического формализма» и сделался, таким образом, «роком» Гегеля. «Сущность опосредствования осталась непонятой Фейербахом».

Хотя Глокнер и хочет «учиться» у Фейербаха, чтобы «быть в состоянии и иметь право следовать за Гегелем» (стр. XVIII), однако он полагает, что Фейербах, подобно «эмпирически ориентированным критикам» Гегеля, не понял «соналичности смысло-понятого самому себе и конкретно-элементарного», «ниспал на ступень некритического сенсуализма, рискованным образом сообщив философии односторонний характер физиологии, т. е. частной науки» (стр. 31). Мирозерцание Фейербаха, как вполне правильно замечает Глокнер, есть «мирозерцание интимной общности, для которой разделения и соотношения мысли могут последовательным образом иметь значение только относительных полаганий» (т. е. Фейербаху были чужды противоречия классового общества). Как «философ существующего», он «отнюдь не устарел». Фейербах «жил теми же самыми проблемами, которые именно сейчас снова занимают нас живейшим образом» (стр. XVI). Такими проблемами являются для Глокнера прежде всего «вечные проблемы праационального», т. е. «бога, любви, жизни, трагического конфликта».

Так высказывается Глокнер о Фейербахе. И здесь ясно обнаруживаются замысел и цель всего философствования Глокнера. Мыслить конкретно значит для него, как уже было сказано, «выявить праациональные моменты в более дифференцированном виде, чем это сделано у самого Гегеля». Он хочет показать, что эти моменты «могут быть связаны в единство научно-философского метода *не только* диалектически». Глокнер хочет «разбить» метод Гегеля, чтобы «постичь философию Гегеля и тем самым мир» (стр. XXI). В центр своего «толкования» он выдвигает «проблему трансцендентального синтеза» (стр. XX).

Так как Глокнер хочет не только «исторически» изложить одну из философских систем, но создать философскую систему *как таковую* для современности, то он не может, конечно, не затронуть и вопроса о социализме. Правда, он уделяет ему место только в подстрочном примечании. Излагая

<sup>1</sup> См. *Маркс*. Подготовительные работы для «Святого семейства», Сочинения, т. III, стр. 637, 639 и 649.

<sup>2</sup> *Glockner*, *Krisen und Wandlungen in der Geschichte des Hegelianismus*, Logos, XIII, S. 340.



взгляды Гегеля на национальное государство, он ставит перед собой «трудный вопрос»: «В какой мере существует действительно нечто связующее или даже общее между мировоззрением Гегеля и мировоззрением современного социализма?» «Мост» между ними он находит в понятии «вечного человека», т. е. «не человечества, которое лишь внешне объединяется посредством договоров, и не человечества как регулятивной идеи», а именно — «вечного человека», живущего в «вечном настоящем». Гегель, — говорит Глокнер, — воспринимал «абстрактный рассудочный космополитизм» как концепцию «просвещения». «Не иначе он отнесся бы к нему и в XX веке, а значит [это «значит» представляет собой шедевр *не*-диалектической логики Глокнера — В. Р.] он вероятно отвергнул бы его в значительнейшей его части как «бескровное построение мысли». И отвергнул бы не в силу политического «квизитизма аристократии», а в силу «философской осмысленности» (стр. 267), — изображение, которым г. Глокнер показывает, что его собственная «философская осмысленность» прямо пропорциональна его историческим и политическим знаниям.

Из всего вышесказанного, думается нам, вполне ясно, какие именно мотивы руководят Глокнером и наверное большинством представителей неогегельянского движения в их «исследовании Гегеля». Отметим здесь еще только некоторую дифференциацию этого движения, для чего обратимся к кругам, представляемым кантианцем Либертом. Либерт приходит в своей книге «Geist und Welt der Dialektik» к выводу, что в потрясаемом социальными боями буржуазном обществе «гармония» «философской» системы уже невозможна, что эта «гармония» стала теперь лишь «прекрасным сном». Вполне последовательно и сознательно он констатирует «трагизм» буржуазной философии и видит единственное спасение в вере как в утешении и пристанище от бурь жестокой, «негармонической» действительности. Глокнер, наоборот, старается затушевать существующее положение. Он пишет: «Но если пытаешься философски строить науку о мире, то никак не обойдешься одной лишь наукой о рациональном. Мир заключает в себе *иррациональное* ядро, и именно им-то и нужно философски овладеть. Если это удастся, тогда наступит, наконец, мир, тогда вера и знание будут примирены..., европейский вопрос будет разрешен» (стр. 199). Между тем как Либерт ясно видит и вскрывает «трагизм», «антиномии» современности, Глокнер стремится разрешить с помощью своего прославленного «опосредствования» этот «европейский вопрос», старается осуществить *примирение веры и знания*.

Глокнер говорит в одном месте, что «Гегель развивался обратно в сторону Канта, по мере того как ему удавалось «снять» кантианство». В другом месте он признает, что «было бы трудно привести его «неогегельянство» к какой-нибудь формуле» (стр. XXI). Мы же должны сказать, что, по мере того как Глокнер «снял» Гегеля, он развивался в обратном направлении — не к Канту или Гегелю, а к «старому Шеллингу», к «сокрушителю Гегеля», который тоже пытался когда-то в Берлине «примирить» веру и знание и который получил достойную характеристику, более чем актуальную теперь для истории философии, в работе Энгельса «Шеллинг и откровение».

В. Пор.

F. Funck-Brentano, Rétif de la Bretonne. Ames et visages d'autrefois. 8°, 425 p. Paris, 1928.

Николай-Эдм Ретиф-де-ла-Бретонн, родившийся в 1734 г. в Саси в Оссерском округе, умерший в Париже в 1806 г., известен главным образом как романист-порнограф. Это был одаренный, но неразборчивый, неуравновешенный человек, странности и, можно сказать, цинизм которого поражают

и даже отталкивают. Его прозвали «Руссо сточной ямы» («Rousseau du tuisseau»). В этом прозвище есть доля правды. Действительно, вместе с сентиментализмом мы находим у Ретифа почти все идеи и причуды женеvского философа.

Но, понятно, что нас интересует не сентиментальный и распутный Ретиф, обольщающий женщин, живущий на средства проституток и уступающий своих кратковременных любовниц высокотитулованным особам. На этой особенности, которая относится скорее к патологии, Функ-Брентано был вынужден остановиться потому, что сексуальная страсть, как и страсть к писанию (Ретиф написал 200 томов), очень характерная черта у автора «Господина Николая». Но мы-то, читая труд Функ-Брентано, хотели бы найти в нем больше подробностей о том, что имеет отношение к условиям жизни рабочих и крестьян XVIII века. Ретиф вложил в свое огромное творчество, — которое мы, за непременем досуга, не можем прочитать полностью, — наблюдения, цифры, впечатления, документы большого социального значения, неоспоримой исторической ценности. Он был пастухом, а затем «попником» (семинаристом), наборщиком в Оссерре и в Париже и наконец литератором; он вращался в самых разнообразных кругах: от сельской школы и от янсенистских кружков до полицейских участков. Бывая и в швейных мастерских и в игорных домах, в клубе Пантеона и в Пале-Рояль, он об всех этих слоях общества давал яркие художественные подробности, полезные сведения. Если бы Функ-Брентано придал большее значение этой особенности Ретифа и рассмотрел бы ее критически, он внес бы большой вклад в социальную историю XVIII века. Очень жаль, что он этого не сделал.

Приходится пожалеть и о том, что он не посвятил особой главы Ретифу-коммунисту, а Ретиф был убежденным коммунистом.

В поколении утопистов, предшествовавших Великой французской революции, Ретиф, — близкий с Луп-Себастьяном Мерсье, автором «2440 года», и Николаем де-Бонвиллем, первым «народным трибуном», которые были общими друзьями Сильвена Марешаля, будущего редактора «Манифеста равных», — занимает место в первых рядах.

Во всех его произведениях в большей или меньшей мере излагаются взгляды, предвосхитившие фаланстерские, которыми воспользовался Фурье: его взгляды на общину, почерпнутые из опыта товарищества Жо, Пинон-Тьер и т. д., его проекты коммунистических республик, отличающихся в особенности от республик Марешаля тем, что это не были «человеческие республики без бога», так как Ретиф, несмотря на все свое вольнодумство, часто сохранял католицизм в своих утопиях.

Ретиф пошел гораздо дальше, чем большая часть утопистов его времени; он думал об обобществлении продукции городских рабочих, он только не представлял себе социализма в деревне. Как уже сказано, Ретиф работал в Оссерре наборщиком в типографии Фурнье, которая насчитывала не менее тридцати двух рабочих — число значительное для провинциального города XVIII века. Тесное соприкосновение с рабочими и натолкнуло, очевидно, Ретифа на мысль о социальном возрождении в городских кругах. Это чрезвычайно важное обстоятельство Функ-Брентано, к сожалению, не заметил. Он также не рассмотрел вопрос о размерах влияния Руссо, Мабли и Морелли на формирование коммунистических идей Ретифа и о влиянии, которое Ретиф, со своей стороны, оказал на таких людей, как Жак Ру и Бабеф.

Отличительной особенностью Ретифа было то, что он оказался одним из немногих коммунистов того времени, которые пытались практически

осуществить свои теоретические социальные проекты. Правда, он не сделался пылким революционером, он не понял громадного значения диктатуры для победы коммунизма, но не раз он вступал в борьбу. Во время выборов в Конвент он два раза пытался выставить свою кандидатуру, один раз в Париже, другой раз в Эндре, с целью заставить Национальное собрание принять его коммунистические планы. Функ-Брентано даже утверждает в введении к «Революционным ночам» Ретиф де-ла-Бретонна, что Ретиф выставлял свою кандидатуру в Вандее, в Фонтенэ-ле-Конт, с «определенно коллективистической» программой, но приходится удивляться, что он в своем последнем труде умалчивает об этой кандидатуре. Не обнаружилось ли в результате более глубокого изучения, что это утверждение оказалось неверным? В таком случае было бы полезно нас осведомить об этом. Но вот и еще один из фактов практической деятельности Ретифа. Когда пантеонисты, возмущенные невыносимо тяжким экономическим положением парижского народа, стали готовить «питательную среду» для «Заговора равных», — Ретиф присоединяется к ним. Он усердно читает газету Бабефа. Неудача же движения погружает его в такое уныние, что с тех пор он прекращает писать на социальные темы.

Все это заслуживало глубокого изучения. Но, по зрелом размышлении, мы видим, что предъявляем слишком большое требование к такому буржуазному историку, как Функ-Брентано, который, несмотря на значительный объем его исследования, в итоге дает нам только поверхностный очерк.

*М. Домманже.*

*Walter Geer, Campaigns of the Civil War. XXII + 490 pp., New-York, Brentanos, 1926.*

Американская литература о гражданской войне 1861—1865 гг. достаточно обширна. Еще больше литература о ее военных кампаниях, оперативно-стратегических планах, армиях и героях. По свидетельству одного из ее виднейших знатоков и участников — генерала-майора Стиля,<sup>1</sup> автора «Американских кампаний» — уже в 1886 г. количество опубликованных монографий, историй, мемуаров и разных биографий на тему о военном искусстве гражданской войны переходило за 6000. Несомненно, что за последние десятилетия это количество значительно возросло.

Ряд новых исследований по этому вопросу, а также интересных мемуаров и биографий был опубликован в последние несколько лет.

К числу новейших исследований и монографий в этой области следует отнести работу бригадного генерала Джона Гиббона «Личные воспоминания о гражданской войне»;<sup>2</sup> работу Фредерика Мауриса<sup>3</sup> о главешем полководце конфедератов Роберте Ли; полковника Фуллера о Гранте;<sup>4</sup> капитана Лиделля Харта<sup>5</sup> о Шермане; исследование Вальтера Гира о кампаниях в гражданской войне Северо-Американских Соединенных Штатах, работе которого посвящена настоящая рецензия, и ряд менее значительных работ.

Мы не знаем, включил ли упомянутый генерал-майор Стиль в свою обширную статистику работ о гражданской войне в Соединенных Штатах также и известные работы Маркса и Энгельса на эту тему, но так или иначе, по ознакомлении с перечисленными новейшими работами, нужно сказать, что, за исключением работ Маркса и Энгельса, во всей литературе о воен-

<sup>1</sup> *Steele, American Campaigns.*

<sup>2</sup> *John Gibbon, Personal recollections of the Civil War.*

<sup>3</sup> *Frederick Maurice, Robert E. Lee the soldier.*

<sup>4</sup> *Fuller, Generalship of U. S. Grant.*

<sup>5</sup> *Liddell Hart, Sherman, the Genius of the Civil War.*

ных операциях в период гражданской войны в Северо-Американских Соединенных Штатах, изданной до 1886 г. или после, мы напрасно стали бы искать работу, освещающую эти военные события в связи с их основными, политическими причинами.

Одна группа исследователей изощряется в подборании материала, свидетельствующего о стратегической бездарности Мак-Клелана, затянувшего войну и задержавшего победу северных штатов на целых четыре года; другая группа прибегает к тому же методу, но уже для того, чтобы возвысить Мак-Клелана до небес и свалить всю вину на южан, на пассивность негров и рабов в рабовладельческих штатах, на крайних аболиционистов в штабе федеральной армии, на отдельные ошибки второстепенных генералов и т. д.

Внушительная группа военных историков годами специализировалась на выдвигании всепобедительного гения генерала Гранта (Орас Грили, Фуллер); другая же группа, напротив, обходит Гранта, считая, что причиной окончательной победы северной армии была гениальная способность к маневрированию генерала Шермана, сменившего Гранта на посту командующего союзными армиями (Чаннинг, Мюзей, Харт). Ищут обоснования своих надуманных схем то в несовершенстве тактики, то в не предусмотренных «случайностях» войны, то в совокупном действии обоих факторов.

Вальтер Гир, автор рецензируемой книги, не представляет исключения: он также игнорирует политические стимулы развертывания военных операций.

Но зато он любопытен для нас в другом отношении. Как никто из американских военных исследователей гражданской войны, автор развернул перед нами правдивую картину боевой беспомощности этой многочисленной, превосходно снаряженной и всегда сытой армии Севера, как бы фатально пожираемой сравнительно малочисленной, полуголодной, полураздетой и плохо вооруженной армией конфедератов.

На основе огромного исторического материала о важнейших ее сражениях, отступлениях, наступлениях, боевых приказах и на основе документов о героях и лицах, связях и т. д. Вальтер Гир выносит северной армии и ее командованию беспардонный приговор о полной ее боевой бездарности, трусости и глупости. Свои симпатии в этом историческом вооруженном поединке автор безраздельно отдает боеспособной и талантливой, по его разумению, армии конфедератов, возглавленной одним из шести, как он утверждает, величайших полководцев мира — Робертом Ли.

Если обычно американские военные историки и специалисты по истории гражданской войны охотно усматривают случайные мотивы в многочисленных фактах превосходства южан над северянами, — Вальтер Гир, напротив, допускает случайные мотивы как-раз для обоснования «неожиданного» финала победы Севера над Югом.

Надо признать, что автор рецензируемого исследования мужественно переступил установившийся в американской военно-исторической литературе ритуал обязательного выгораживания своих «общепризнанных» героев национального флага. Автор, в своем стремлении восстановить и рассказать доподлинную историческую правду о военно-стратегических явлениях исторической эпохи, отважился даже пренебречь утвердившимися национальными традициями. Не слишком ли много храбрости для буржуазного радикального демократа и безупречного патриота?

Но нащупав правду, скрываемую десятилетиями, автор либо не сумел, либо побоялся продумать ее до логического конца. Он остановился на этих по существу правильных, но ничего еще не объясняющих выводах. Вместо

анализа этих выводов в свете конкретной социально-политической обстановки, в которой развернулись военные события на Юге и Севере, в свете реального соотношения классовых сил и сложной игры расовых и групповых интересов по обе стороны фронта и даже внутри каждого фронта в отдельности, автор предпочел докучливый трафарет, стереотипное замыкание стратегических явлений в рамки ограниченных, аполитичных военно-технических и административных исследований.

Оттого, что этот шаблон Вальтер Гир подправил разоблачением потрешанных патриотических легенд, обоснованием исторического превосходства южного генералитета над северным, анализ военных кампаний 1861 — 1865 гг. в Северо-Американских Соединенных Штатах несколько еще не выигрывает. Истина от этого, наоборот, еще более запутывается.

Книга Гира пропитана неукротимой злобой и ненавистью к военному командованию Севера. Об этом у него можно прочесть на каждой странице, в каждой строке.

«Первый год войны, — пишет он, — был для Севера годом военной неподготовленности, второй — военной нераспорядительности, третий — переменных успехов и ошибок. Четвертый год принес некоторое улучшение в политическом руководстве вооруженными силами. В первый раз руководство военными операциями было тогда поручено настоящему военному специалисту. Потребовалось три года войны, чтобы убедить союзных вождей в том, что армиями могут оперировать лишь только высококвалифицированные военачальники, подобно тому как руководить больницей могут только высококвалифицированные врачи» (стр. 436).

Автор добросовестно перечисляет факты преступного игнорирования союзным командованием массового добровольческого движения, распространившегося в первые же годы войны на Севере (стр. 432). Он с горечью рассказывает о царившем в командных сферах недоверии к превосходно обученным и преданным старым кадровым частям (стр. 433); он указывает на повальное разложение в армейских частях, возникшее на основе этого преступного недоверия, и упоминает об открытом недоверии военных частей к своим верховным начальникам.

«Солдаты федеральной армии, — пишет Вальтер Гир, — наступали на востоке в неблагоприятных условиях недоверия к своим командирам. Мак-Клелан хотя и пользовался влиянием на своих подчиненных, но очень сомнительно, чтобы эти подчиненные уверовали в его боевые заслуги, в ценность его оперативных планов. Другим командирам поттомаской армии точно так же не удавалось окружить себя ни уважением, ни должным вниманием» (стр. 437).

Вину за постоянные неудачи и поражения союзных армий Вальтер Гир готов возложить даже персонально на президента Линкольна и его военного секретаря Стентона, которые только зря вмешивались в тактические операции фронта. «Ни президент Линкольн, — замечает автор, — ни его секретарь по военным делам мистер Стентон не обладали хотя бы элементарными военными познаниями; несмотря на это, они все же решались командовать своими генералами, действующими непосредственно на полях сражений. Многие из таких опытов вмешательства в оперативные дела высшего командования оказались прямо-таки губительными для исхода сражений. В подавляющей части такого рода распоряжения диктовались скорее политическими соображениями, нежели соображениями военной целесообразности. Назначение на ответственные посты таких людей, какими были Бутлер, Бенкс, Фремон и Зигель, ничем нельзя оправдать. До самого последнего года войны ни у президента, ни у его приближенных не хватало

достаточно ума, чтобы воздержаться от командования Грантом и Шерманом» (стр. 435).

Все это Вальтер Гир тщательно регистрирует, осуждает. Называя упомянутые и многие другие дефекты северного командования, он не стесняется в крешких выражениях и проявляет бурное негодование. Но его негодование и злоба есть злоба ограниченного военного филистера. Его политическая беспомощность в исследовании прямо пропорциональна стратегической бездарности иных союзных генералов. Ведь Вальтер Гир видит во всех злоключениях северян, — в том, что первые три года для хорошо экипированного Севера проходят в сплошных поражениях, что Север игнорирует добровольческое движение народных масс, что нет взаимного доверия между армией и ее командованием, — лишь неспособность и нераспорядительность.

Мы, конечно, далеки от попытки искать у радикально настроенного буржуазного военного публициста и историка правильного социально-политического анализа развертывания военных операций в американской гражданской войне, но мы в праве ожидать от каждого военного исследователя иного метода отображения динамики войны, чем тот, который можно применить к описанию футбольного матча. Именно такой метод автор и применяет в рецензируемой работе.

В теории войны Вальтера Гира первое место занимает полководец. Полководец — все; окружающая обстановка, тыл, солдатские массы — ничто.

«...Не армия южной Виргинии в течение трех лет удерживала федератов у бухты на ричмондовском фронте, а Ли, — восклицает Гир: — не армии, расположенные на широких фронтах парализовали вашингтонское правительство в 1862 году, а Джексон» (стр. 437). Но нам хорошо известно, что сказанное Гиром — не что иное, как перепев старых буржуазных стратегических теорий капиталистических войн — теории игнорирования социального фактора и выпячивания «механики войны» и исключительного значения личности. «Цезарь, а не римские легионы завоевали Галлию», — говорил задолго до Гира один из крупнейших стратегов империализма — маршал Фош.

Вальтеру Гиру, как это показывают отдельные места его книги, хорошо была известна не только «командная теория Фоша», но также судьба этой теории при малейшем ее историческом испытании отдаленным призраком революции. Вальтеру Гиру, следовательно, не безызвестно, что внезапное решение маршала Фоша сменить свой наступательный порыв весной 1917 г. скорейшим перемирием возникло, конечно, не по причине побудившегося у него милосердия к солдатам, а по причине его боязни неминуемого разложения своей армии. Отказ маршала Фоша от возможности овладения Берлином диктовался исключительно страхом перед перспективой перенесения революционного порыва, охватившего германскую армию, во французскую армию. Зная об этом, разве нашему автору трудно было догадаться, что точно такие же опасения возникали у генералитета северных штатов, когда они стремились к перемирию с Югом, когда они отказывались от добровольчества, когда они не доверяли своим лучшим старым солдатам.

И действительно, знакомясь с непревзойденными работами Маркса и Энгельса о гражданской войне, нельзя не убедиться, что командование северными армиями проявляло растерянность и нерешительность не столько по причине своей собственной бездарности, сколько по причине раздвоенности ее скрытых политических устремлений: удержание власти над отколовшимися штатами (secessionist states) и подавление возросших революционных

притязаний народных масс, воспринявших войну как священную революционную борьбу с рабовладельцами Юга и с буржуазией Севера.

Но то, что поняли Маркс и Энгельс во время гражданской войны из скудной и фальсифицированной хроник американской и европейской прессы, на свой лад интерпретировавшей события 1861 — 1865 гг., того еще не поняли и поныне десятки и сотни всемирно-известных буржуазных историков и военных специалистов с Вальтером Гиром включительно.

Если для Гира поражение северян в первые годы войны явилось следствием низкой квалификации военного командования, то для Маркса и Энгельса эти поражения были прежде всего результатом того, что буржуазия не желала воевать, что правительство пребывало в нерешительности и боялось всеобщего набора, потому что Конгресс избегал решительной финансовой политики и решительных нападков на рабство (Энгельс). Северяне терпели поражение, потому что, как писал Маркс Энгельсу в письме от 7 августа 1862 г., «подобную войну надо вести революционно, янки же до сих пор пытались вести ее конституционно».

Для Вальтера Гира Мак-Клеелан — только неудачный полководец, которому не удавалось приобрести у своих подчиненных необходимого доверия и уважения, а для Маркса и Энгельса Мак-Клеелан прежде всего представитель пограничных рабовладельческих штатов, который в чине главнокомандующего всеми армиями своим непосредственным вмешательством препятствовал каждой военной операции. Этот Мак-Клеелан «из ненависти к *civilians* (штатским) защищал всех изменников в армии, как, например, полковника Мэйнарда и генерала Стона» (письмо Маркса от 3 марта 1862 г.).

Если роль иностранных держав в гражданской войне, по суждению Вальтера Гира, сводилась к тому, что те «охотно» отпускали южанам под закупленный хлопок огнестрельное оружие в начальный период военных действий, то для Маркса и Энгельса участие иностранных держав на стороне конфедератов выражалось и в том, что европейские капиталистические круги и почти вся европейская печать требовали от своих правительств активного вмешательства в войну, и в том, что европейские державы с полной откровенностью выступали в защиту Юга. Хотя на формальное объявление войны с северными штатами Англия не решалась, но фактически скрытую войну вели и Англия, и Франция.

Для Вальтера Гира генерал конфедератов Ли является высшим выражением военного гения, равных которому очень мало в истории человечества. Вальтер Гир, например, пишет: «Если бы Джексон — «каменная стена» — был рядом с Ли у Гетебурга, — Юг несомненно завоевал бы себе свою независимость. Ли, — продолжает автор, — сравним с Александром, Ганнибалом, Цезарем, Фридрихом и Наполеоном, и он вошел в историю как один из шести величайших полководцев всех времен и народов. И несколько не умаляется его слава, если он [Ли], подобно Наполеону, пал под тяжестью необъятных по своему количеству миллионных масс» (стр. V).

А для Маркса и Энгельса генерал Ли, хотя и является талантливым полководцем, но прежде всего они видят в нем представителя рабовладельческой буржуазии, сумевшего изрядно использовать европейскую реакцию и все отрицательные условия северной «буржуазной» республики, где так долго царствовало неограниченное жульничество» (Маркс).

Доблесть южан, которой так восторгается автор, квалифицируется Энгельсом буквально в следующих выражениях: «В драчливом удалстве южан имеется значительная примесь трусливой страсти к убийству. Все они ходят обвешанные оружием лишь для того, чтобы в случае драки успеть убить своего противника еще до того, как он ожидает нападения» (письмо

Энгельса от 12 июня 1861 г.). А 16 апреля 1865 г., т. е. уже на исходе войны, Энгельс имел возможность подтвердить сказанное им о южанах еще в самом ее начале, да притом еще на примере самого Ли, этого «одного из шести величайших военных гениев». Энгельс писал Марксу 16 апреля 1865 г.: «Я ожидал, что Ли будет действовать, как солдат и, чтобы по крайней мере обеспечить армии лучшие условия, капитулирует, *вместо того чтобы бежать*. Однако хорошо, что вышло так. *Он теперь кончает, как прохвост. Трагедия имеет комический финал*». (Подчеркнуто мною. — А. А.)

Вот эту трагедию самого Ли и социальную трагедию неудавшейся революции не заметил и не понял автор рецензируемой работы.

В предисловии к своей книге Вальтер Гир говорит о возросшем интересе европейской учащейся военной молодежи к военной истории американской гражданской войны. Этот предмет введен ныне в учебные программы европейских высших военных академий. Мы думаем, что наши молодые советские военные кадры могли бы также извлечь не мало полезных для себя уроков, изучая стратегическую историю гражданской войны в Северо-Американских Соединенных Штатах.

Изучение стратегического развертывания и действий федеральной и конфедеральной армии американской гражданской войны облегчается ныне тем, что, после опубликования Институтом К. Маркса и Ф. Энгельса полностью переписки Маркса и Энгельса за 1861—1867 гг.,<sup>1</sup> их исторические высказывания об этой войне, особенно о стратегической ее стороне, стали, наконец, достоянием широких читательских масс.

Кстати, за последнее время в советской военной журнальной прессе все чаще раздаются смелые голоса, призывающие к конкретному изучению связи политики со стратегией. Некоторые авторы (Буткевич, Вольпе и другие) справедливо жалуются на существующее недопустимое положение, когда еще до сих пор в советской военной литературе тон задает не революционная военная мысль, а буржуазные военные идеологи.

«У нас имеются и «шлифенисты», и «жофристы», и «фошисты», — пишет А. Вольпе.<sup>2</sup> Но, увы, очень мало военных историков-марксистов.

Как для буржуазных военных историков, так, к сожалению, и для нашей советской военно-исторической литературы, по признанию наших наилучших военных советских публицистов, характерно полное пренебрежение почти всех авторов к политическим предпосылкам планов войны. «В лучшем случае, — признаются они, — политика представляется в таком реакционном шовинистическом виде, что полностью извращает истину».

Если неправильно и недопустимо игнорировать политический фактор в исследованиях стратегического развертывания империалистических войн, то еще более недопустимо и неверно игнорировать социально-политический стимул стратегических и тактических боев в революционных войнах. А ведь гражданская война в Америке — это и есть наиболее классическая форма революционной классовой войны, тщательно до настоящего времени скрываемая буржуазными историками и стратегами.

Книга Вальтера Гира может послужить незаменимой иллюстрацией для характеристики существующей стратегической литературы по истории революционных войн. Повторяем, книга Вальтера Гира не худшая, а лучшая из появившихся до настоящего времени работ в этой области. Его книга в сравнительно сжатом очерке (470 страниц текста) дает обобщенную военную

<sup>1</sup> *Карл Маркс и Фридрих Энгельс, Переписка. 1861—1867* (Собр. соч., т. XXIII. Институт К. Маркса и Ф. Энгельса — Госиздат, М. — Л., 1930).

<sup>2</sup> *Война и революция*, кн. I, 1930 г.



характеристику событий, где отдельные эпизоды и лица выступают наиболее рельефно, наиболее оформленно, гораздо лучше, чем во многих признанных и общеизвестных многотомных работах, посвященных этому же предмету (например, работы Maskartney, Livermore, Cox, Hosmer, Steele и др.).

С захватывающим интересом читаются главы, посвященные тем военным операциям, которые особенно интересовали Маркса и Энгельса. Таковы главы о потомакской операции Мак-Клелана (The peninsula) (стр. 83—105); об историческом поединке армий Борегара и Гранта при Коринфе (стр. 120—125); о позорных поражениях федератов у Гарперс-Ферри и блестящих атаках Джексона (стр. 149—173); о переломе в настроениях и руководстве федеральной армии, обусловившем продвижение северян к Ричмонду после отстранения Мак-Клелана (стр. 230—264); взятие Атланты Шерманом (стр. 370—388) и др.

Под талантливым, художественным пером Вальтера Гира эти исторические эпизоды и действовавшие в них фигуры как бы оживают, представ перед нами в реальном свете. Но все эти ценные качества, конечно, ни в какой мере не компенсируют основного ее недостатка — аполитичности.

Книга Вальтера Гира может принести максимальную пользу при условии изучения ее наряду с работами Маркса и Энгельса, относящимися к американским событиям эпохи гражданской войны.

*А. Аренский.*

# ИНСТИТУТ К. МАРКСА и Ф. ЭНГЕЛЬСА

## К. МАРКС и Ф. ЭНГЕЛЬС СОЧИНЕНИЯ

ПОД РЕДАКЦИЕЙ Д. РЯЗАНОВА  
ОТДЕЛ ПЕРВЫЙ

- \*ТОМ I. *К. Маркс*. Исследования, статьи, письма. 1837 — 1844 гг.
- \*ТОМ II. *Ф. Энгельс*. Статьи, письма. 1838 — 1845 гг.
- \*ТОМ III. *К. Маркс и Ф. Энгельс*. Исследования, статьи. 1844 — 1845 гг.
- ТОМ IV. *К. Маркс и Ф. Энгельс*. Немецкая идеология.
- \*ТОМ V. *К. Маркс и Ф. Энгельс*. Исследования, статьи. 1845 — 1848 гг.
- \*ТОМ VI. *К. Маркс и Ф. Энгельс*. Революция и контр-революция в Германии. Ч. I.
- \*ТОМ VII. *К. Маркс и Ф. Энгельс*. Революция и контр-революция в Германии. Ч. II.
- \*ТОМ VIII. *К. Маркс и Ф. Энгельс*. Исследования статьи. 1850 — 1853 гг.
- ТОМ IX. *К. Маркс и Ф. Энгельс*. Статьи и корреспонденции. 1852 — 1854 гг.
- ТОМ X. *К. Маркс и Ф. Энгельс*. Статьи и корреспонденции. 1854 — 1856 гг.
- ТОМ XI. *К. Маркс*. *Crédit mobilier*. История англо-русского союза.
- ТОМ XII. *К. Маркс и Ф. Энгельс*. Господин Фо т. Военные статьи.
- ТОМ XIII. *К. Маркс и Ф. Энгельс*. Статьи эпохи Интернационала.
- ТОМ XIV. *Ф. Энгельс*. Философские работы. Отдельные статьи.

### ОТДЕЛ ВТОРОЙ

ТОМЫ XIV — XX. *Экономические исследования*.

### ОТДЕЛ ТРЕТИЙ

- \*ТОМ XXI. *Маркс и Ф. Энгельс*. Переписка 1844 — 1853 гг.
- \*ТОМ XXII. *Маркс и Ф. Энгельс*. Переписка 1854 — 1860 гг.
- \*ТОМ XXIII. *Маркс и Ф. Энгельс*. Переписка 1861 — 1867 гг.
- ТОМ XXIV. *Маркс и Ф. Энгельс*. Переписка 1868 — 1883 гг.
- ТОМЫ XXV — XXVII. *К. Маркс и Ф. Энгельс*. Письма Лассалю, Беккеру, Зорге и др.

### ОТДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ

Указатели предметный и именной.

\*

Томы, отмеченные сбоку звездочкой, вышли в свет.

## ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ

ПЕРИОДСЕКТОРОМ ГОСИЗДАТА

МОСКВА, Центр, Ильинка, 3; ЛЕНИНГРАД, Проспект 25 Октября, 28, а также конторами, книжными магазинами и уполномоченными, снабженными соответствующими удостоверениями, во всех почт.-тел. конторах и у писмоношцев. По гор. Москве подписку направлять: Моск. обл. отд. Госиздата „Московский рабочий“: Москва, Неглинный пр., 9.

Условия подписки: задаток — 6 рублей и при высылке каждого тома — 2 руб. 75 коп. Пересылка за счет подписчика.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

ИНСТИТУТ К. МАРКСА и Ф. ЭНГЕЛЬСА  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

АРХИВ  
К. МАРКСА и Ф. ЭНГЕЛЬСА  
Под редакцией Д. РЯЗАНОВА

Круг задач „Архива“ определяется задачами самого Института Маркса и Энгельса. Это — изучение генезиса, развития и распространения идей научного социализма, иными словами — истории марксизма, его теории и практики. В исполнение этих задач „Архив“ печатает исследования и документы по истории международного рабочего движения, генетике и истории марксизма, диалектического материализма, публикует рукописи Маркса и Энгельса, а также материалы к их биографии, обзоры современной литературы о Марксе и Энгельсе и о марксизме.

КНИГА I, Изд. 3-е. М.—Л. 1930. Стр. 497.

Ц. 4 р.

**Содержание:** От редакции. — Отдел I. Статьи и исследования: А. Деборин. Очерки по истории диалектики. Очерк I. Диалектика у Канта. — Э. Цобель. К истории Союза коммунистов. Кельнская община Союза до мартовской революции. — Д. Рязанов. Международное товарищество рабочих. Возникновение Первого Интернационала. — Отдел II. Из неопубликованных рукописей Маркса и Энгельса. К. Маркс и Ф. Энгельс о Фейербахе: Предисловие редактора. Тезисы о Фейербахе. Проект предисловия к „Немецкой идеологии“. Фейербах (Идеалистическая и материалистическая точки зрения). — Д. Рязанов. Введение Энгельса к „Классовой борьбе во Франции“. — Отдел III. Из переписки Маркса и Энгельса. В. Засулич и К. Маркс. — Письма Ф. Энгельса к Э. Бернштейну. — Отдел IV. Критика и рецензии. А. Удальцов. К теории классов у Маркса и Энгельса. — А. Неусыхин. Новый опыт построения систематической истории хозяйства. — Ф. Ротштейн. Новая литература о чартизме. — Н. К. Карев. Маркс и Гегель. — И. Лупол и Гр. Баммель. Кант или Маркс. — Г. Тьямянский. Исторический материализм. — И. Рубин. Политическая экономия. — Э. Цобель. История.

КНИГА II. С портретом Ф. Энгельса на отдельном листе. М.—Л. 1925.

Стр. XXXII + 504.

Ц. 6 р.

**Содержание:** Фр. Энгельс. Диалектика природы (немецкий и русский тексты); с предисловием Д. Рязанова. Приложение: Вариант введения к „Анти-Дюрингу“. Zitatenaufhang. Список цитированных произведений. Указатель имен. — Приложение: Иностранная литература о Марксе, Энгельсе и марксизме (1914—1925). Библиографический опыт. Сост. Э. Цобель и П. Гайду.

КНИГА III. М.—Л. 1927. Стр. 521.

Ц. 5 р., в коленк. пер. 5 р. 70 к.

**Содержание:** Отдел I. Статьи и исследования. А. Деборин. Очерки по истории диалектики. Очерк II. Диалектика у Фихте. — Е. Тарле. Лионское рабочее восстание. — Отдел II. Из литературного наследства Маркса и Энгельса. Д. Рязанов. От „Рейнской газеты“ до „Святого семейства“ (вступительная статья). — К. Маркс. Критика философии права Гегеля. — К. Маркс. Подготовительные работы для „Святого семейства“. — Гимназические работы К. Маркса (с предисловием К. Грюнберга). — Отдел III. Материалы и сообщения. К. Грюнберг. Бруно Гильдебранд о коммунистическом просветительном рабочем союзе в Лондоне. — Р. Постгейт. Документы Первого Интернационала. — Е. Косминский. Книга протоколов Генерального совета Первого Интернационала. (1866—1869). Дополнение к сообщению Р. Постгейта. — Ф. Шиллер. Георг Вебер, сотрудник парижского „Vorwärts“. — Письма М. А. Бакунина к Альберу Ришару. С предисловием и примечаниями Ю. Стеклова. — Отдел IV. Критика и рецензии. И. Лупол. Интерпретация марксизма в Америке. — А. Гуральский. Проблема революции в новейшей социологии. — Е. Косминский. Английский рабочий в эпоху промышленного переворота. — Г. Лукач. Новая биография М. Гесса. — В. Волгин. Исторический памфлет против коммунизма. Рецензии. Г. Баммель. Демокрит и Платон. — А. Тальгеймер. К вопросу о социологическом методе. — И. Рубин. Из новой литературы о марксовской теории денег. — С. Лурье. Социализм в древности. — Г. Зайдель. Один из предшественников Маркса. — Ц. Фридлянд. Новое исследование о Парижской Коммуне.

КНИГА IV. М. 1929. Стр. 514.

Ц. 4 р. 50 к.

**Содержание:** Отдел I. Статьи и исследования. В. Максимова. Вико и его теория общественных круговоротов. — И. Рубин. К истории текста первой главы „Капитала“ К. Маркса. — В. Волгин. Социологические взгляды Фурье. — М. Домманже. Социальная критика в сочинениях Виктора Консидерана. — Ф. Потемкин. Причины восстания лионских рабочих в 1831 г. — Отдел II. Из литературного наследства Маркса и Энгельса. — К. Маркс и Ф. Энгельс. Из „Немецкой идеологии“. (С пред. Д. Рязанова). — Ф. Энгельс. Конспект первого тома „Капитала“. (С предисл. Д. Рязанова). — К. Маркс. Выписки из Макнавелли. Со вступительной статьей В. Максимова. — Отдел III. Материалы и сообщения. В. Николаевский. Русские книги в библиотеках К. Маркса и Ф. Энгельса. — Ф. Потемкин. Промышленная революция во Франции по новейшим работам. — Е. Косминский. Энгельс и Бюре. — Отдел IV. Критика и рецензии. И. Рубин. Новый „Анти-Маркс“. — Рецензии. Исторический материализм. Политическая экономия. История социализма и рабочего движения. — Письма в редакцию.

ПРОДАЖА ВО ВСЕХ МАГАЗИНАХ ГОСИЗДАТА

ИНСТИТУТ К. МАРКСА и Ф. ЭНГЕЛЬСА  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

ЛЕТОПИСИ МАРКСИЗМА

КНИГА ПЕРВАЯ

От редакции.— Статьи и исследования.— Д. Рязанов. Военное дело и марксизм.— А. Деборин. Новый поход против марксизма.— Г. Штейн. Карл Маркс и мозельские крестьяне.— Из неопубликованных рукописей К. Маркса и Ф. Энгельса. Ф. Энгельс. К. Маркс о капитале.— К. Маркс. Борьба якобинцев с жирондистами.— Из переписки К. Маркса и Ф. Энгельса. К. Маркс.— Франкелю и Варлену.— Ф. Энгельс.— Ламплé.— Два письма Энгельса к болгарам.— Из истории марксизма в России. Г. Плеханов. Речь на конгрессе в Париже в 1889 г.— Его же. Письма к Геду.— Его же. Анкета.— Е. Николаевский. Ленин в Берлине в 1895 г.— Е. Гурвич.— Из воспоминаний. Мой перевод „Капитала“.— Критика и рецензии.— Сообщения кабинетов Института.— Fichteana в Кабинете философии.— Труды английских экономистов XVII века (1582—1708).— Собрание рукописей, относящихся к Парижской коммуне 1871 г. Стр. 159. Ц. 1 р. 50 к.

КНИГА ВТОРАЯ

Статьи и исследования. А. Деборин. Наши разногласия. Г. Бакалов. Русские друзья Христо Ботевара.— Из неопубликованных рукописей К. Маркса и Ф. Энгельса. К. Маркс. „Бакунин: Государственность и анархия“.— Письма и документы. П. Лафарг. Письма к Николаю — ону.— М. Бакунин. Письма к А. Руге.— Критика и рецензии.— Сообщения кабинетов Института. Труды английских экономистов XVII века (1582—1708).— Сочинения А. Клоота в Кабинете истории Франции.— Сочинения Р. Оуэна в Кабинете истории социализма. Стр. 180. Ц. 1 р. 50 к.

КНИГА ТРЕТЬЯ

Статьи и исследования. А. Деборин. Спинозизм и марксизм. Д. Рязанов. Маркс и Энгельс о браке и семье.— Из неопубликованных рукописей К. Маркса и Ф. Энгельса. К. Маркс. Письма об Индии.— И. Гумбель. О математических рукописях К. Маркса.— Письма и документы. Б. Николаевский. К истории петербургской социал-демократической группы стариков.— А. Воден. На заре „дегального марксизма“.— М. Бакунин. Письма к графине. Е. В. Салиас.— Критика и рецензии.— Сообщения кабинетов Института. Стр. 160. Ц. 1 р. 50 к.

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

К 60-летию первого тома „Капитала“. Ф. Энгельс. Четыре рецензии на „Капитал“ Маркса.— Г. В. Плеханов. Философские и социальные воззрения К. Маркса.— Его же. О так называемом кризисе в школе Маркса.— Статьи и исследования. М. Дынин. От примирения с действительностью к апологии разрушения.— Из неопубликованных рукописей К. Маркса и Ф. Энгельса. Ф. Энгельс. Англия.— Из черновой тетради К. Маркса.— Материалы и сообщения. Из архивных материалов о Марксе.— Доклад гр. Лорис-Меликова Александру III о Плеханове.— Незнаемое стихотворение И. С. Тургенева.— Письма М. А. Бакунина к польским корреспондентам.— А. Воден. На заре „дегального марксизма“.— Критика и рецензии.— Письмо в редакцию.— Из деятельности Института К. Маркса и Ф. Энгельса. Постановление ЦИК СССР.— Из доклада Наркома по просвещению.— Сообщение Д. Б. Рязанова об Институте К. Маркса и Ф. Энгельса. Иностранная печать об Институте К. Маркса и Ф. Энгельса. Стр. 160. Ц. 1 р. 50 к.

КНИГА ПЯТАЯ

Статьи и доклады. Д. Рязанов. Деятельность Института К. Маркса и Ф. Энгельса и его ближайшей задачи.— Из неопубликованных рукописей К. Маркса и Ф. Энгельса. Письма К. Маркса и Ф. Энгельса к П. Л. Лаврову.— К 10-летию со дня смерти Г. В. Плеханова. Г. В. Плеханов. Два слова читателям-рабочим.— Г. Бакалов. Г. В. Плеханов в Болгарии.— М. М. Ковалевский о книге Белтова.— Материалы и сообщения. Письма М. А. Бакунина к Косилдовскому.— Х. Раппопорт. Воспоминания о Фридрихе Энгельсе.— Критика и рецензии.— Из деятельности Института К. Маркса и Ф. Энгельса. К. Шмюклер. Первый том международного издания Сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса.— Выставка по истории Великой французской революции. Стр. 153. Ц. 1 р. 25 к.

ПРОДАЖА ВО ВСЕХ МАГАЗИНАХ и КИОСКАХ ГОСИЗДАТА  
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: за 4 книги — 5 р., за 2 книги — 2 р. 50 к.

Подписка принимается с книги I (XI).

ПОДПИСКУ НАПРАВЛЯТЬ в Периодсектор Госиздата — Москва, Центр, Ильинка, 3; во все отделения и магазины Госиздата, в киоски „Союзпечати“ и на почту.



# ИНСТИТУТ К. МАРКСА и Ф. ЭНГЕЛЬСА

## ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

### ЛЕТОПИСИ МАРКСИЗМА

#### КНИГА ШЕСТАЯ

Новые данные к вопросу Маркс—Лассаль. Переписка Лассалья с Бисмарком. Статьи и исследования. Ю. Стеклов. Западные влияния в мировоззрении Н. Г. Чернышевского.—Д. Рязанов. Новые данные о русских приятелях Маркса и Энгельса.—Из неопубликованных рукописей переписки К. Маркса с М. Ковалевским.—Материалы и сообщения. Письмо Н. И. Сазонова к К. Гервегу.—П. Аксельрод. Группа „Освобождение труда“. (Неопубликованные главы из второго тома „Воспоминаний“).—Критика и рецензии.—Из деятельности Института К. Маркса и Ф. Энгельса. Выставка Маркса и Энгельса.—Читальный зал за 1923—1927 гг. Стр. 175. Ц. 1 р. 25 к.

#### КНИГА СЕДЬМАЯ—ВОСЬМАЯ

К столетней годовщине со дня рождения Н. Г. Чернышевского. А. Деборин. Философские взгляды Н. Г. Чернышевского.—И. Рубин. Чернышевский как экономист.—Ц. Фридлянд. Н. Г. Чернышевский как историк.—Д. Рязанов. Маркс и Чернышевский.—Из литературного наследства К. Маркса и Ф. Энгельса. Письмо Г. Лопатина к Ф. Энгельсу.—Письмо Ф. Энгельса к неизвестному о русских делах.—Материалы и сообщения. И. Книжник-Ветров. Героиня Парижской коммуны 1871 г. Е. Л. Тумановская („Елизавета Дмитриевна“).—Два письма Н. Г. Чернышевского к сыновьям.—Из переписки М. А. Бакунина (Письма к В. Ф. Лутовинову и К. И. Демосовичу). Письмо Жюль-Занди к М. А. Бакунину.—Критика, обзоры и рецензии. Д. Рязанов. Ответ на „открытое письмо“ В. Полонского.—Е. Каганович. Обзор статей по теоретической политической экономии, помещенных в „Вестнике Коммунистической академии“ за 1922—1927 гг.—Рецензии.—Из деятельности Института К. Маркса и Ф. Энгельса. Коллекция рукописей из литературного наследства Ф. Домелы Ньюенгуйса.—„Парижская коммуна 1871 г.“. Стр. 271. Ц. 2 р.

#### КНИГА ДЕВЯТАЯ—ДЕСЯТАЯ

Статьи и исследования.—Г. Бакалов. Христо Ботев и Сергей Нечаев.—Б. Николаевский. Взгляды М. А. Бакунина на положение дел в России в 1849 г.—Из литературного наследства К. Маркса и Ф. Энгельса. Письмо Флеровского К. Марксу.—Материалы и сообщения. Две статьи Г. В. Плеханова из болгарского „Социалиста“.—Анонимная брошюра М. А. Бакунина на „Положение в России“.—Письма М. А. Бакунина к брату Александру и к Н. И. Тургеневу.—Критика, обзоры и рецензии. А. Реуэль. Обзор статей по теоретической политической экономии в журнале „Под знаменем марксизма“ за 1922—1927 гг.—Рецензии.—Из деятельности Института К. Маркса и Ф. Энгельса. Коллекция писем Л. Фейербаха.—Иностранная печать об Институте К. Маркса и Ф. Энгельса. Стр. 250. Ц. 2 р.

#### КНИГА ПЕРВАЯ (ОДИННАДЦАТАЯ)

К двухсотлетию со дня смерти Гоббса. И. Луппол. Томас Гоббс.—И. Рубин. Экономические взгляды Томаса Гоббса.—Статьи и исследования. Ф. Шиллер. Энгельс и литература.—Х. Кабакчиев. Дмитрий Николаевич Благоев.—К истории „Капитала“ в России. А. Реуэль. Polemika вокруг „Капитала“ Карла Маркса в России 1870-х годов.—О. Маркова. Отлики на „Капитал“ в России 1870-х годов.—К истории марксизма в России.—Г. Плеханов. Фердинанд Лассаль. Его жизнь и деятельность.—Критика и рецензии.—Из деятельности Института К. Маркса и Ф. Энгельса. Постановление ЦК ВКП(б) от 1 июня 1929 г. Стр. 272. Ц. 1 р. 50 к.

#### КНИГА ВТОРАЯ (ДВЕНАДЦАТАЯ)

Статьи и исследования. Д. Рязанов. Новые данные о „героине Парижской коммуны“ Елизавете Дмитриевой.—Г. Бакалов. Как Парижская коммуна была встречена у болгар.—Из литературного наследства К. Маркса и Ф. Энгельса. Переписка К. Маркса с Николаем—оном.—Из жизни К. Маркса и Ф. Энгельса. Д. Рязанов. Маркс, Герцен, Чурпов и венская печать.—П. Виноградская. Поездка Энгельса на европейский континент в 1863 г.—Третье письмо Энгельса к болгарам.—Материалы и сообщения. Письма Лаврова к Юнту.—Критика, обзоры и рецензии. В. Попова. Обзор статей о диалектическом материализме в германской журнальной литературе за 1925—1928 гг.—Рецензии. Стр. 223. Ц. 1 р. 50 к.

**ПРОДАЖА ВО ВСЕХ МАГАЗИНАХ и КИОСКАХ ГОСИЗДАТА**

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: за 4 книги—5 р., за 2 книги—2 р. 50 к.

Подписка принимается с книги I (XI).

ПОДПИСКУ НАПРАВЛЯТЬ в Периодсектор Госиздата—Москва, Центр, Ильинка, 3; во все отделения и магазины Госиздата, в киоски „Союзпечати“ и на почту.